

Михаил Шишкин

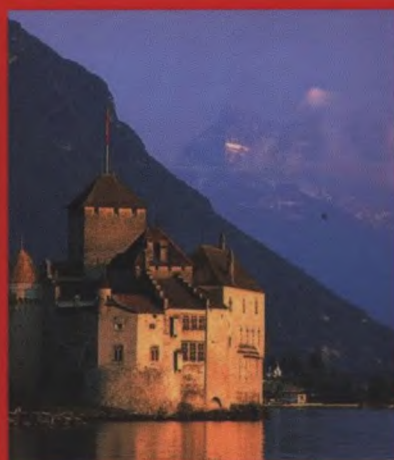


Русская Швейцария

ЛИТЕРАТУРНО -
ИСТОРИЧЕСКИЙ
ПУТЕВОДИТЕЛЬ



- А** Аксаков
Константин Сергеевич
Александр I
Анненков
Павел Васильевич
- Б** Бакунин
Михаил Александрович
Белый Андрей
Бунин Иван Алексеевич
- В** Вернадский
Владимир Иванович
Волошин
Максимилиан Александрович
Врубель
Михаил Александрович
- Г** Герцен Александр Иванович
Гоголь Николай Васильевич
- Д** Достоевская
Анна Григорьевна
Достоевский
Федор Михайлович
Дягилев Сергей Павлович
- Е** Екатерина Павловна,
Великая княгиня
- Ж** Жуковский
Василий Андреевич
- З** Засулич Вера Ивановна
- И** Иванов
Вячеслав Иванович



SEP 11 2018





Shogay.

J. H. CHAMBERLAIN.

Михаил Шишкин
Русская
Швейцария

ЛИТЕРАТУРНО -
ИСТОРИЧЕСКИЙ
ПУТЕВОДИТЕЛЬ

МОСКВА ВАГРИУС

УДК 882-992

ББК 84-4

Ш 65

Издание осуществлено при поддержке
«Санкт-Петербургского клуба» в Москве

На переплете
портрет автора – фото Yvonne Boehler

Редактор Елена Шубина
Художник Борис Трофимов

Шишкин М.П.
Ш 65 Русская Швейцария: литературно-исторический путеводитель /
Михаил Шишкин. – М.: Вагриус, 2006. – 656 с.

ISBN 5-9697-0290-0

Книга известного романиста Михаила Шишкина – это рассказ о русско-швейцарских связях; о том, как тесно переплелись биографии русских писателей – от Н.Карамзина и Ф.Достоевского до В.Набокова и А.Солженицына с маленькой и гостеприимной страной. Сюжеты многих великих произведений русской литературы неотделимы от швейцарского контекста, автор напоминает нам и о Базеле князя Мышкина, и о поэтических описаниях альпийских вершин, вышедших из-под пера И.Тургенева, Ф.Тютчева, И.Бунина, Б.Пастернака...

УДК 882-992

ББК 84-4

ISBN 5-9697-0290-0

Охраняется Законом РФ
об авторском праве

© Шишкин М.П., 2006
© Оформление. ЗАО «Вагриус», 2006

Оглавление

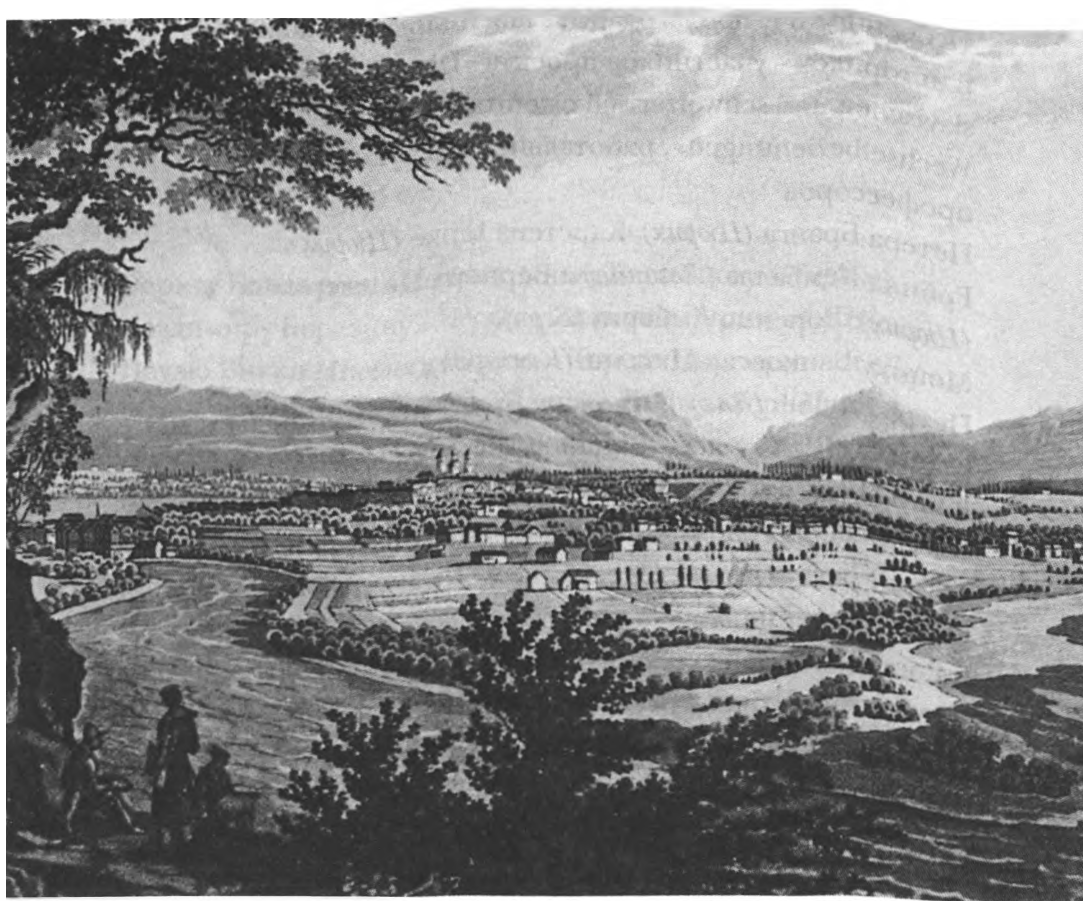
I	Вместо предисловия: УРОК ШВЕЙЦАРСКОГО	8
II	Русская столица Швейцарии ЖЕНЕВА	34
III	«Швейцария – самая революционная страна в мире...» ЦЮРИХ	166
IV	«Бернские мишки и медведь из Санкт-Петербурга» БЕРН	254
V	Город Гольбейна и Белого БАЗЕЛЬ	302
VI	«Рейнский водопад достоин своей славы...» РЕЙНСКИЙ ВОДОПАД И ШАФХАУЗЕН	332
VII	«Горная философия» в краю Телля ОТ СЕН-ГОТАРДА ДО РИГИ	346
VIII	«В этом глупом Швейцархофе...» ЛЮЦЕРН	382
IX	К вечным снегам Юнгфрау... БЕРНСКИЙ ОБЕРЛАНД	396
X	На курортах «светоносной страны» НА ВОСТОКЕ ШВЕЙЦАРИИ	424
XI	Пушкинский профиль Маттерхорна ВАЛИС	444
XII	За рвом «Рёштиграбен» НА ЗАПАДЕ ШВЕЙЦАРИИ	462
XIII	В поисках «Горы правды» ТЕССИН	484
XIV	«Когда судьба велит вам быть в Лозанне...» ЛОЗАННА	520
XV	В сторону Набокова ОТ ЛОЗАННЫ ДО ШИЛЬОНА	546
XVI	«Насыщайся, мое зрение...» ОТ ЛОЗАННЫ ДО ЖЕНЕВЫ	592
XVII	Вместо послесловия: ШВЕЙЦАРСКИЕ СТИХИ РУССКИХ ПОЭТОВ	610
	Указатель географических названий	631
	Указатель имен	639

*Автор выражает
искреннюю
признательность всем,
кто оказал содействие
в сборе материалов для
этого издания:*

*Борису Беленкину (Москва), Олегу Белинцеву (Цюрих),
Владимиру Березину (Москва), Зигмунду Видмеру (Цюрих),
Паулю Викки (Цюрих), Юрию и Терезе Гальпериным (Берн),
Фаине Гримберг (Москва), Валерии Даувальдер (Цюрих),
Андрею Добрицыну (Берн), Вернеру Зингеру (Увизен),
проф. Феликсу Филиппу Ингольду (Санкт-Галлен),
Надежде Карпушко (Лозанна), Беату Кляйнеру (Цюрих),
Марине Корендфельд (Цюрих),
Элиане Лейтенэггер (Винтертур), Еве Мэдер (Винтертур),
Дмитрию Рагозину (Москва), Ильме Ракуза (Цюрих),
Марине Румянцевой-фон Гунтен (Цюрих),
Михаилу Сазонову (Женева), Ольге Скопечной (Москва),
Доротее Троттенберг (Цюрих),
Виктору Федюшину (Цюрих), Тоне Фуррер (Ольтен),
Ирине Черновой-Бургер (Берн), Верене Хубер (Цюрих),
Йоргу Хюсси (Цюрих), Лиле и Иво Хукс (Рихтерсвилль),
Андреасу Шиндорферу (Шафхаузен),
Ульриху Шмидту (Цюрих),
Регуле и Манфреду Шпалингер (Андельфинген),
Эдуарду Шульману (Москва), Александру Шумову (Цюрих),
а также работникам посольства России в Швейцарии.*

Особенно хочу поблагодарить швейцарских славистов и историков – участников проекта «Die schweizerisch slavischen und schweizerisch-osteuropäischen Wechselbeziehungen», работавших под руководством профессоров Петера Бранга (*Цюрих*), Карстена Герке (*Цюрих*), Робина Кембалла (*Лозанна*) и Вернера Циммермана (*Цюрих*): Лоренцо Амберга (*Берн*), Моника Банковски-Цюллиг (*Кюснахт*), Петру Бишоф (*Давос*), Лилиану Брюггер (*Цюрих*), Светлану Геллерман (*Женева*), Кристину Гериг (*Берн*), Юрга Пляйса (*Цюрих*), Квиринауса Райхена (*Фрутиген*), Хайнриха Риггенбаха (*Базель*), Ирену Трокслер (*Цюрих*), Ханса Уреха (*Цюрих*), Петера Юда (*Цюрих*) и др., а также Евгения Нечепорука (*Симферополь*) и Ростислава Данилевского (*Петербург*). Их исследования и публикации очень помогли мне при работе над книгой. Я глубоко признателен профессору Петеру Брангу, прочитавшему рукопись и сделавшему ценные замечания и поправки, которые были учтены при публикации.

Впервые «Русская Швейцария» вышла в 2000 году в Цюрихском издательстве Pano Verlag.
Настоящее издание переработанное и дополненное.

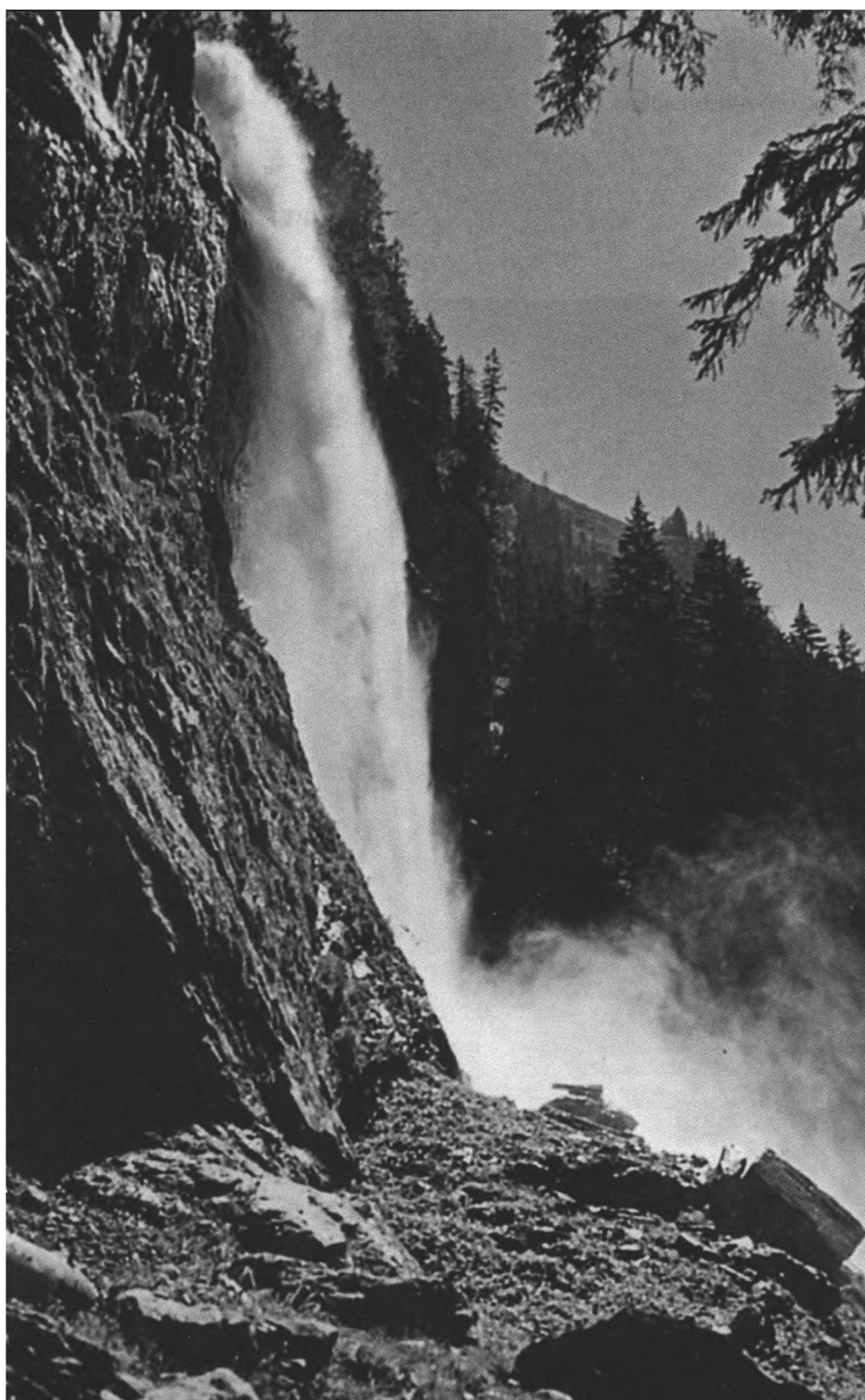


«Итак, я уже в Швейцарии, в стране живописной природы, в земле свободы и благополучия! Кажется, что здешний воздух имеет в себе нечто оживляющее: дыхание мое стало легче и свободнее, стан мой распрямился, голова моя сама собою подымается вверх, и я с гордостью помышляю о своем человечестве».

Н.М.Карамзин.
«Письма русского путешественника»

УРОК ШВЕЙЦАРСКОГО





«Скука здесь страшная. Место, в котором я обитаю, называется одним из прекраснейших в стране; и в самом деле, здесь совмещены все возможные, так называемые красоты природы. Для поэта, для художника здесь, я думаю, раздолье. Для меня мука: сколько я ни заставлял себя восхищаться закатами и восходами солнца, ничего не выходит. Все кажется глупо, бессмысленно».

С.Г.Нечаев. Из письма Наталье Герцен, 27 мая 1870 г.





Рай и скука. Между двумя этими полюсами раскинулся мир, в котором что-то не так.

Странно все здесь русскому путешественнику.

Нет шири, но есть горы. Земли мало, а молока много. Начальства не ждут, а улицы чисты. Национальный герой – убийца, а граждане законолюбивы. Исправно платят налоги, правительства не боятся и живут не от войны до войны.

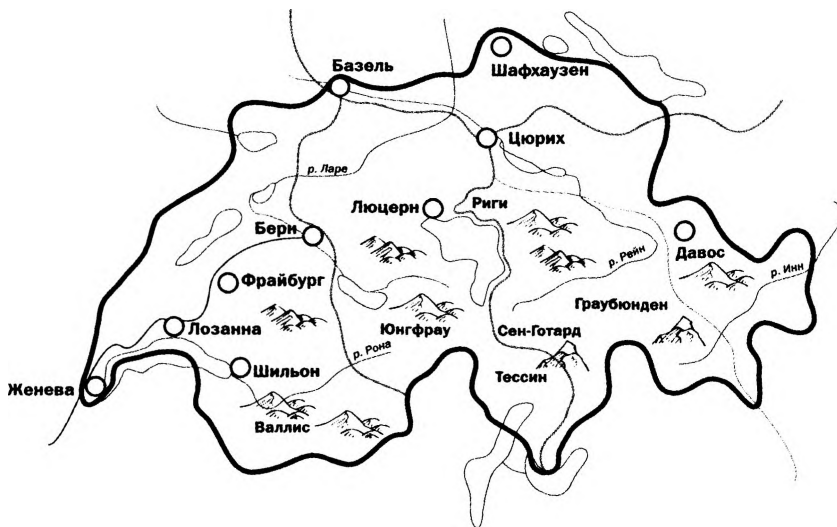
Что это вообще такое, Швейцария?

Ожившая витрина игрушечного магазина? Набор почтовых открыток вместо пейзажа? Послушание законам, самими же и придуманным? Святая уверенность деда, что его лужайка достанется внуку? Государство, скроенное по фасону гоголевской шинельки? Накопленный труд поколений, перед которым бессильны все революции и идеи? Россия наоборот?

На берегах альпийских озер тесно от русских теней.

Швейцарская география сцепляет русскую историю в самых непривычных комбинациях.

Скрябин спешит по женеvской улице навстречу бегущему за акушеркой Достоевскому, а потом оба отпевают в церкви на Рю-



Родольф-Тепфер своих дочерей. Пансионерка Муся Цветаева скачет к маме вприпрыжку по набережной Уши мимо задумавшегося Азефа. Герцен и Солженицын печатаются в одной газете. На вершине горы Риги встречают восход плечом к плечу Тютчев и Бунин.

Замусоленные достопримечательности превращаются в зеркало, отражающее всякого, кто заглядывает. Не русские путешественники рассказывают о Рейнском водопаде, но водопад о них. В падении Рейна отражается русский мир.

Чтобы полюбоваться рейнским чудом, Карамзин проделывает весь путь от Цюриха до Шафхаузена — без малого 50 километров — пешком. «Феномен действительно величественный! — заключает Карамзин свое знаменитое описание. — Воображение мое одушевляло хладную стихию, давало ей чувство и голос: она вещала мне о чем-то неизглаголанном!»

Мощь падающей реки производит на Александра I такое впечатление, что победитель Наполеона заказывает картину, изображающую его на фоне чуда природы. Полотно пишет художник Сильвестр Щедрин, подгоняя размеры водопада под рост царя. После большевистского переворота этот вид на падение Рейна будет запрещен для публичного показа и проведет долгие десятилетия в запасниках Русского музея.

Греч чувствует себя оскорбленным за унижение уникального явления природы, которое человек заставил банально крутить колесо табачной фабрики.

То, что побуждает Жуковского оставить восторженное романтическое описание, дает повод Толстому остаться равнодушным к месту обязательного восхищения и записать в дневнике: «Не нормальное, ничего не говорящее зрелище».

В 1902 году, совершив нашумевший в свое время побег из киевской тюрьмы, десять искровцев, в том числе Бауман и Литвинов, будущий сталинский министр иностранных дел, договариваются о встрече не где-нибудь, а в Швейцарии, в ресторане над водопадом, откуда отправляют телеграмму в Россию шефу жандармов: «Все вместе мы празднуем удачный исход нашего побега в ресторанчике у Рейнского водопада, о чем посылаем телеграфное извещение за всеми нашими подписями генералу Новицкому».

Через год в перерыве между заседаниями учредительного собрания «Союза освобождения» сюда придут отдохнуть от споров о судьбах империи основатели «партии профессоров»: Сер-

гей Булгаков, Владимир Вернадский, Семен Франк, другие будущие пассажиры «философского парохода».

В апреле 17-го здесь переедет мост через Рейн «пломбированный» вагон, но его пассажирам будет не до красот природы.

Русскому путешественнику чужд музейный пиетет. Он ощущает себя, вдыхая альпийский ветерок, законным наследником, хозяином, вступающим в права владения своей долей мирового наследства. Он подгоняет эту страну по своей фигуре.

Местные святыни пробуются русским зубом на фальшивость. Люцернский лев, знаменитый памятник швейцарским солдатам, погибшим при защите Тюильри от революционного народа, если и поражает, то своими размерами: «В Люцерне есть памятник, — пишет Жуковский, — которому нет подобного по огромности». Уже Александр Тургенев ставит под сомнение смысл монумента: «Мне все что-то больно, когда думаю, что этот памятник воздвигнут швейцарам и, конечно, за прекрасный подвиг, но этот подвиг внушен не патриотизмом, а только солдатским *point d'honneur* и швейцарскою верностью. Они умерли за чужого короля, защищая не свою землю, не свое правительство, — не за свое дело — а в чужом пиру похмелье». А Салтыков-Щедрин, не стесняясь, так интерпретирует латинскую надпись на памятнике «*Helvetiorum fidei ac virtuti*» («Доблести и верности швейцарцев») — «Любезно-верным швейцарцам, спасавшим в 1792 году, за поденную плату, французский престол-отечество».

Русский путешественник чувствует себя в Альпах как дома. Гоголь выцарапывает свое имя на камнях шильонской тюрьмы. Белый сжигает Гетеанум*, как бунтующий мужик помещицью усадьбу. Розанов усаживается в кресло Кальвина. Вольтер опускается на колени перед образованной русской гостьей — мучимый геморроем философ, принимая княгиню Дашкову, не может даже присесть по-человечески. Под строгим взглядом автора «Города Глупова» гордый символ Швейцарии, гора Юнгфрау, поднимается с насиженного места и отправляется на поселение в Уфимскую губернию. Монтрё приобретает рождественские очертания, набоковский карандаш рисует силуэт вершины Маттерхорна, а получается профиль Пушкина. Шагал пригоняет в Цюрих витебских коров, и они молчат о чем-то в витражах Фраумюнстера.

* Антропософская община доктора Штейнера.

Одна шестая часть суши и поднебесный пятачок связаны невидимой натянутой жилой. В стране-курорте происходят события, внешне незаметные, но влияющие самым роковым образом на судьбу страны-империи. Здесь в головы приходят идеи, которые потом претворяются за сотни и тысячи верст от Базеля и Лугано — и в книги, и в картины, и в расстрелы заложников. В тиши Женевских и Цюрихских библиотек составляются рецепты, по которым будет заварена кровавая каша на поколения едоков.

После Карамзина этот край становится неотъемлемой частью русского литературного ландшафта. Крик базельского осла разбудит князя Мышкина, Тургенев заставит говорить даже альпийские вершины, Бунин будет посылать своих героинь умирать на Женевское озеро, Ходасевич в 1917 году напишет стихотворение «В этом глупом Швейцархофе...». Знаменитый отель на набережной Люцерна станет именем нарицательным: Швейцархоф — мир, в котором все постояльцы.

День, проведенный отставным русским офицером в курортном городке на берегу Фирвальдштетского озера, становится днем суетной истины и мучительного бессмертия. «Проснулся в 9, пошел в пансион и на памятник Льва. Дома открыл тетрадь, но ничего не писалось. «Отъезжее поле» — бросил. Обед тупоумно-скупной... Чего хочется, страстно желается? Не знаю, только не благ мира сего. И не верить в бессмертие души! — когда чувствуешь в душе такое неизмеримое величие. Взглянул в окно. Черно, разорванно и светло. Хоть умереть.

Боже мой! Боже мой! Что я? и куда? и где я?»

Почему московский дворянин и душевладелец падает на колени на берегу Рейна под Базелем и восклицает: «Счастливые швейцары! Всякий ли день, всякий ли час благодарите вы небо за свое счастье, живучи в объятиях прелестной природы, под благодетельными законами братского союза, в простоте нравов и служа одному Богу?» Некое недоступное швейцарскому крестьянину-гражданину русское знание заставляет «генерала русских путешественников», как окрестит Карамзина Греч, назвать это пятнышко на карте земным парадизом. «Письма» Карамзина — не только удивительный односторонний договор об аннексии ничего не подозревающей страны, своеобразный акт о включении Швейцарии в русскую культуру, это и генеральная диспозиция с уста-

новкой ориентиров и цели, план движения, закодированный завет блуждающей русской душе. Будущий автор многотомной русской истории, пропитанной кровью, пущенной для высших необходимостей, ставит своим читателям вешки обыкновенного земного счастья.

Карамзин задает новый для тоталитарной системы вектор движения — к приоритету ценностей частной жизни.

Как Карамзин ехал сюда с томиком Руссо, так после него поедут с томиком Карамзина. Как Карамзин, будут смотреть на альпийские прелести, а видеть отечественную свистопляску. Гельветический пейзаж протыкают то и дело «проклятые русские вопросы». Поскачет от Веве в сторону Кларана и дальше по всему миру бричка с Чичиковым. В горном обвале привидится Жуковскому «бессмысленный и беспощадный». Швейцарские впечатления будут толкать под локоть автора «Философических писем».

Чаадаев после знаменитой отставки мечтает поселиться в Швейцарии. Увы, поездка в любую страну оказывается поездкой в Россию. В Берне, на чае у Свербеева, желчный отставник набрасывается с пылкостью на родную империю: «...обзывал Аракчеева злодеем, высших властей, военных и гражданских — взяточниками, дворян — подлыми холопами, духовных — невеждами, все остальное — коснеющим и пресмыкающимся в рабстве. Однажды, возмущенный такими преувеличениями, — вспоминает Свербеев, — я напомнил ему славу нашей Отечественной войны и победы над Наполеоном и просил пощады русскому дворянству и нашему войску во имя его собственного в этих подвигах участия. «Что вы мне рассказываете! Все это зависело от случая, а наши герои тогда, как и гораздо прежде, прославлялись и награждались по прихоти, по протекции». Говоря это, Чаадаев вышел из себя и раздражился донельзя».

Лозанна дает повод Жуковскому вспомнить отечество, где «в провинциях грубое скотство, в больших городах грубая пышность». При виде обвалившейся горы, похоронившей под собой деревушку Гольдау, у учителя будущего императора-освободителя рождается «горная философия»: «Проезжая сюда через кантон Швиц, я видел на прекрасной долине, между Цюрихским и Ловерцким озером, развалины горы, задавившей за двадцать лет несколько деревень и обратившей своим падением райскую область в пустыню. Это место называлось тогда Goldau (Золотой

луг). За двенадцать лет перед сим я уже видел его: с тех пор ничего не переменилось; те же голые, набросанные грудями камни, немногие покрылись мхом; кое-где пробиваются тощие кусты, но еще почти нет признаков жизни: время невидимо работает, но разрушение в полной еще силе. Рядом с этим хаосом камней простирается холмистая равнина, покрытая сочной травой, пышными деревьями, селениями, хижинами, садами; но бугристая поверхность ее, согласно с преданием, свидетельствует о древнем разрушении: за несколько веков и на этом месте упала гора, задавила несколько селений, и надлежало пройти сотням лет, дабы развалины могли покрыться слоем плодородной земли, на которой поселилось новое поколение, совершенно чуждое погибшему. Вот история всех революций, всех насильственных переворотов, кем бы они производимы ни были, бурным ли большинством толпы, дерзкою ли властью одного! Разрушать существующее, жертвуя справедливостью, жертвуя настоящим для возможного будущего блага, есть опрокидывать гору на человеческие жилища с безумною мыслью, что можно вдруг бесплодную землю, на которой стоят они, заменить другою, более плодородною. И, правда, будет земля плодородная, но для кого и когда? Время возьмет свое, и новая жизнь начнется на развалинах: но это дело его, а не наше; мы только произвели гибель; а произведенное временем из созданных нами развалин нимало не соответствует тому, чего мы хотели вначале. Время — истинный создатель, мы же в свою пору были только преступные губители, и отдаленные благие следствия, загладив следы гибели, не оправдывают губителей. На этих развалинах Гольдау ярко написана истина: «Средство не оправдывается целью; что вредно в настоящем, то есть истинное зло, хотя бы и было благотельно в своих последствиях; никто не имеет права жертвовать будущему настоящим и нарушать верную справедливость для неверного возможного блага»».

Восторгами от красот природы, чистоты улиц и порядочности гельветов переполнены описания путешествий, дневники и письма.

Но чу! Альпийский эдем в больших дозах вызывает у русских путешественников рвотный рефлекс. «Что тебе сказать о Швейцарии? Все виды да виды, так что мне уже от них наконец становится тошно, и если бы мне попало теперь наше подлое и пло-

ское русское местоположение с бревенчатую избою и сереньким небом, то я бы в состоянии им восхищаться, как новым видом». Это Гоголь.

«Рейн — естественная граница, ничего не отделяющая, но разделяющая на две части Базель, что не мешает нисколько невыразимой скуке обеих сторон. Тройная скука налегла здесь на все: немецкая, купеческая и швейцарская. Ничего нет удивительного, что единственное художественное произведение, выдуманное в Базеле, представляет пляску умирающих со смертью, кроме мертвых, здесь никто не веселится...» — Герцен.

Толстой о гелльетах: «Швейцарцы — непоэтичный народ».

Достоевский: «О, если б вы знали, как глупо, тупо, ничтожно и дико это племя! Мало проехать путешествуя. Нет, поживите-ка! Но не могу вам теперь описать даже и вкратце моих впечатлений; слишком много накопилось. Буржуазная жизнь в этой подлой республике развита до *pes plus ultra*. В управлении и во всей Швейцарии — партии и грызня непрерывная, пауперизм, страшная посредственность во всем; работник здешний не стоит мизинца нашего: смешно смотреть и слушать. Нравы дикие: о, если бы вы знали, что они считают хорошим и что дурным...»

Парадиз наизнанку. Или другое представление о спасении души?

В Цюрих и Женеву русский путешественник привозит с собой в багаже опыт предков, поровших и поротых, но дружно тянувших веками ляжку отечества. Вековая царская служба из поколения в поколение отбирала и тело, и волю, и мысли, но давала взамен наполненность души и праведный смысл существования. То, что послам с берегов Рейна казалось в России деспотией и рабством, воспринималось на Москве-реке самоотверженным участием в общей борьбе, где царь — отец и генерал, а все остальные — его дети и солдаты. Отсутствие частной жизни компенсировалось сладостью погибели за родину. Протяженность отечества в географии и времени были залогом спасения, всеобщее неосознанное рабство горько для тела, но живительно для духа.

Но вот счастливому детству воюющей со всем светом нации приходит конец — немцы на русском троне объявляют «Вольность», сперва дворянскую, а через сто лет поголовную. Начинается испытание дармовой свободой. Привычная к Службе душа задает себе новый вопрос — для чего жить? Очевидный на фоне Альп ответ — для себя, для детей — вовсе не представляется оче-

видным на берегах Волги и Невы. По страницам русских романов разбредаются, гонимые кириллицей, «лишние люди».

Ценности частной жизни, символом которых Карамзин в русском сознании сделал Швейцарию, поставлены в России под сомнение. Внезапная пустота под ложечкой вышедшего в отставку народа требовала замены Службы чем-то не менее возвышенным. Просто жизнь сама по себе, в ее «швейцарском» виде, преломилась в русском зрачке в тошнотворное бюргерство, в лишенное одухотворяющего смысла презренное мещанское существование.

Русско-швейцарскую границу сторожат, подобно васнецовским богатырям, привитое великой литературой презрение к «аисту на крыше», очевидная бессмысленность «трудодней» при любом режиме и генетическая предрасположенность к высоким идеалам. Устами швейцарского гражданина Герцена, «тяглового крестьянина сельца Шателя, что под Муртенем»: «Но спрошу, в чем их дело, в чем их высшие интересы? Их нет...»

С первой русской «перестройкой» – реформами Александра II – заканчивается многовековая изоляция. Заграничный паспорт, стоивший при Николае 250 рублей за полгода пребывания, за пять целковых не выправляет себе разве что ленивый. Население демократизируемой царем империи получает возможность самолично пощупать ценности «швейцарской» цивилизации. Впервые в истории за рубеж огромная масса русских отправляется не в виде армии, но в штатском. Русские за границей: когорта посвященных, узнающих друг друга с полувзгляда, перекати-Альпы с опричниной в прошлом и ГУЛАГом в будущем, туристическая группа, одержимая спасением души.

Многоязычная Швейцария считается провинцией великих европейских культур и столицей педагогики. Женевские и лозаннские пансионы переполнены русскими отпрысками. Получение Надеждой Суловой докторского диплома производит эффект взорвавшейся бомбы. Цюрих и другие университетские города переживают нашествие «казацких лошадок», как назовут здесь русских студенток. Высшие учебные заведения наполняются местечковой и разночинной молодежью из неслыханных дыр необъятной империи.

Однако неладно что-то в швейцарской системе образования: учатся на врачей, кромсают трупы гельветов в анатомическом кабинете, чтобы служить ближнему, облегчать болезни стражду-

щему, а становятся бомбистками. Герцен в «Цветах Минервы»: «Эта фаланга — сама революция, суровая в семнадцать лет... Огонь глаз смягчен очками, чтоб дать волю одному свету ума... Sans crinolines, идущие на замену sans-culotte'ам. Девушка-студент, барышня-бурш ничего не имеют общего с барынями-Травиатами. <...> Студенты-барышни — яacobинцы, Сен-Жюст в amazонке — все резко, чисто, беспощадно». Почти все, не доучившись, бросают учебу-безделицу и отправляются домой делать «дело», заканчивая свои университеты, по отечественной традиции, в тюрьмах и ссылках.

Всепоглощающую Службу может заменить только беззаветное Служение. Карамзинскому раю противостоит огненные русская Утопия. Эффектная формулировка Прудона — «собственность есть кража», рассчитанная на эпатаж читающей публики, при переводе на русский вдруг обрастает новым смыслом и читается совсем по-другому в стране, где народная мудрость подводит вековой итог: «Трудом праведным не наживешь палат каменных».

На берегах швейцарских озер начинается Великая промывка мозгов. Здесь, в комнатке с видом на белеющие мирные Альпы, ложатся на бумагу заветные нечаевские слова: «Нравственно все, что способствует торжеству революции. Безнравственно и преступно все, что мешает ему».

Старый поэт, давший на Воробьевых горах клятву посвятить жизнь счастью народа, пишет в женевских прокламациях: «Братцы! Приходит нам невтерпеж!.. Житье на Руси все хуже да хуже! Свободой нас обманули, только по губам помазали!..»; «Надо нам их всех вконец истребить, чтоб и духу их не осталось, чтоб и завестись они не могли опять никак. А для этого надо нам, братцы, будет города их жечь. Да выжигать дотла»; «Надо будет все бумаги огнем спалить, чтобы не было никаких ни указов, ни приказов, чтобы воля была вольная. Да, ждать-то нам нечего, чего зевать? Кому подошло, если какой из наших ворогов подвернулся под руку, и кончай с ним!».

Кумир русской молодежи, гражданин кантона Тессин Микеле Бакенини, провозглашает на Конгрессе мира в Женеве — или, по выражению Герцена, на «писовке»*: «Не заботясь о том, что подумают и скажут люди, судящие с точки зрения узкого и тщеславного патриотизма, я, русский, открыто и решительно про-

* От *англ.* *peace* — мир.

тестовал и протестую против самого существования русской империи. Этой империи я желаю всех унижений, всех поражений в убеждении, что ее успехи, ее слава были и всегда будут прямо противоположны счастью и свободе народов русских и не русских, ее нынешних жертв и рабов». И дальше: «Признавая русскую армию основанием императорской власти, я открыто выражаю желание, чтобы она во всякой войне, которую предпримет империя, терпела одни поражения».

«За этот год, — пишет народоволка Вера Фигнер в воспоминаниях об учебе в Цюрихе, — в моих мыслях произошел такой же переворот, как у других; то, что было прежде целью, мало-помалу превратилось в средство; деятельность медика, агронома, техника как таковых потеряла в наших глазах смысл; прежде мы думали облегчать страдания народа, но не исцелять их. Такая деятельность была филантропией, паллиативом, маленькой заплатой на платье, которое надо не чинить, а выбросить и завести новое; мы предполагали лечить симптомы болезни, а не устранять ее причины. Сколько ни лечи народ, думали мы, сколько ни давай ему микстур и порошков, получится лишь временное облегчение... Цель, казавшаяся благородной и высокой, была в наших глазах теперь унижена до степени ремесла почти бесполезного». Придя к такому выводу, Фигнер вместе с другими студентками решает «отдать себя всецело делу пропаганды социалистических идей среди народа и организации его для активной борьбы за эти идеи. Таков был итог цюрихской жизни. ...В декабре 1875 года я выехала из Швейцарии, унося навсегда светлое воспоминание о годах, которые дали мне научные знания, друзей и цель, столь возвышенную, что все жертвы казались перед ней ничтожными».

Невоплотившиеся врачи, инженеры, ученые уезжают в Россию — на эшафот — с упоением. Может ли бюргерское, «швейцарское», презренное и осмеянное существование сравниться со сладостным самопожертвованием, гарантирующим бессмертие в революционных святцах?

Урок швейцарского. Не языка, разумеется, но мироздания. «Schaffe, schaffe, Husli baue!» Одиннадцатая заповедь, не переведенная некогда на славянский: «Трудись, трудись, строй свой домик!» Нет-нет, под «делом» в России понимают что-то совсем другое.

Примеров обратного духовного переворота, обращения в «швейцарскую» систему ценностей совсем немного, тем они интересней. Лев Тихомиров – один из лидеров «Народной воли». В своих мемуарах он вспоминает долгие прогулки с беременной женой по окрестностям Женевы. Революционерам-народникам, посвятившим свою жизнь счастью русских крестьян, жизнь крестьянина швейцарского кажется диковинкой. «Это огромное количество труда меня поразило. Смотришь деревенские дома. Каменные, многосотлетние. Смотришь поля. Каждый клочок огорожен толстейшей, высокой стеной, склоны гор обделаны террасами, и вся страна разбита на клочки, огорожена камнем... Я сначала не понимал загадки, которую мне все это ставило, пока, наконец, для меня не стало уясняться, что это *собственность*, это «капитал», миллиарды миллиардов, в сравнении с которыми ничтожество наличный труд поколения. Что такое у нас, в России, прошлый труд? Дичь, гладь, ничего нет, деревянная дрянь, никто не живет в доме деда, потому что он еще при самом деде два-три раза сгорел. Что осталось от деда? Платье? Корова? Да ведь и платье истрепалось давно, и корова издохла. А здесь это *прошлое* охватывает всего человека. Куда ни повернись, везде прошлое, наследственное... И невольно назревала мысль: какая же революция сокрушит это каменное прошлое, всюду вросшее, в котором все живут, как моллюски в коралловом рифе?»

Тихомиров, не побоявшись проклятий бывших коллег по террору, напишет покаяние на имя царя и вернется в Россию. Остаток жизни он посвятит борьбе с русской революцией, будет неустанно писать, пытаться объяснить опасность ее, пока вдруг не замолчит накануне войны: «Господь закрыл очи царя, и никто не может изменить этого. Революция все равно неизбежно придет, но я дал клятву Богу не принимать больше никакого участия в ней».

Швейцарский урок остался в России невыученным.

Швейцария действительно становится раем, но для подготовки русского террора. Кто ищет бури – пристаёт к леманским берегам. В питательном швейцарском бульоне идеи распространяются молниеносно. Русская «освободительная» мысль за отсутствием предохранительных средств приобретает характер эпидемии. Альпийская республика – центр тамиздата той поры.

Половина всех русскоязычных эмигрантских изданий с 1855 по 1917 год выпускается в Швейцарии. Нелегальная Россия существует благодаря легальной Швейцарии. Эта страна с ноготок — колыбель русской смуты, потрясшей XX век. На смену страстным теоретикам разрушения вроде Бакунина, нашедшего успокоение на Бремгартенском кладбище Берна, приходят не менее страстные практики. Под защитой гельветических законов располагаются со всеми удобствами штаб-квартиры всех радикальных партий. Подготовка покушений, «эксов», взрывов проходит на фоне живописных нейтральных ландшафтов.

«Швейцарская таможня и пограничная охрана никаких неприятностей мне не преподнесли, — вспоминает большевик Васильев-Южин. — У меня не спросили ни паспорта, ни имени, ни какой я национальности и только полюбопытствовали, не везу ли я при себе много папирос и табаку. Очевидно, просто в фискальных интересах».

Другой большевик, Семашко, так объясняет привлекательность этой страны для революционеров: «Центром наших эмигрантских устремлений была тогда Швейцария. В Германии и даже во Франции бывали случаи выдачи эмигрантов по требованию русского правительства. Швейцария считалась «неприкосновенным убежищем политических». <...> Да к тому же жизнь в Швейцарии была значительно дешевле, чем в Германии или во Франции. Поэтому Швейцария в те годы была переполнена эмигрантами».

Примечательно, что не только в отечественном сознании Швейцария ассоциируется с плацдармом русской революции. Отправляясь заниматься альпинизмом в Швейцарию, знаменитый Тартарен встречается там не со швейцарцами, а с русскими террористами. Вот образ революционера из России, возникающий под пером Доде: «Похожий на русского мужика, с волосатыми руками, длинными черными жирными волосами и нечесаной бородой». Не менее примечательна и гоголевская фамилия борца с царизмом — Манилов. Тарасконец влюбляется в неотразимую красавицу-террористку Соню, которая «убила на улице генерала Фелялина, председателя военного суда, осудившего ее брата на вечную ссылку». Действие развивается достаточно brutally: уже через несколько страниц в дело идет знаменитая веревка из Авиньона. Одолженной у Тартарена бечевкой в лесу придушен русским певец, заподозренный в шпионстве.

Реальные бомбисты чувствуют себя в Швейцарии не менее привольно, чем персонажи «Тартарена в Альпах». Эхо бомбы, взорванной русскими «студентами» на Цюрихберге, прокатывается по всей Швейцарии. Взрывы гремят в женеvских квартирах, где готовят адские машины для царских сатрапов боевики Азефа и Савинкова. В Монтрё русские анархисты устраивают «экс» с ограблением банка. Охота за русскими министрами не прекращается и на швейцарских курортах. Случается, бывают ошибки. Как-то вместо министра Дурнова застрелили некоего Шарля Мюллера.

«Счастливые швейцары» морщатся, но терпят. «Высшие интересы» политической эмиграции вписываются в «фискальные интересы» почтенных бюргеров. Симбиоз полярных мироощущений. На русской революции делаются швейцарские деньги. На запрос общественности, обеспокоенной резким увеличением числа русских студентов, занятых не столько учебой, сколько партийной полемикой, ректорат Цюрихского университета отвечает: «Они ежегодно приносят с собой большие суммы денег в Цюрих и способствуют таким образом росту нашего народного благосостояния».

Эсер Клячко: «Нельзя сказать, чтобы франколюбивые швейцары относились очень благосклонно к русским эмигрантам. У этих граждан буржуазно-демократической республики, торгующих своим климатом и природой, франк — на первом плане. Ведь, в сущности говоря, Лозанна с ее окрестностями (Кларан, Монтрё, Веве и пр.) — это большая гостиница-пансион. Свыше 600 эмигрантов, т.е. 600 занятых комнат, около 600 студентов, вносящих плату за право учения в университете, наконец, содержание их, дающее приличный заработок, — это для франколюбивых швейцарцев была не шутка... Поэтому и терпели, скрепя сердце, русских эмигрантов».

Троцкий: «Через несколько дней безвестное дотоле имя Циммервальда разнеслось по всему свету. Это произвело потрясающее впечатление на хозяина отеля. Доблестный швейцарец заявил Гримму, что надеется сильно поднять цену своему владению и потому готов внести некоторую сумму в фонд Третьего Интернационала. Полагаю, что он скоро одумался».

Швейцария становится Меккой нового учения о светлом будущем. Пророки распределяют сферы влияния — Цюрих принадлежит Аксельроду, открывшему здесь кефирный заводик, Жене-

ва — Плеханову. Сюда едут на поклонение. Заехать в город на Роне, чтобы пожать руку первому марксисту, считает своим долгом всякий уважающий себя интеллигент — от Вербицкой, авторши тогдашних бестселлеров, до Бердяева.

Хародчинская, секретарша Плеханова, вспоминает, как в 1912 году во время прогулки по Променад-де-Бастион за Женевским университетом к ним, услышав русскую речь, подошла одна женщина и обратилась к импозантному господину с вопросом, не подскажет ли он, где можно купить хорошие часы, — она, мол, первый раз в Швейцарии, слышала, что женевские часы славятся на весь мир, и хотела бы привезти домой сувенир. «Юмор, — пишет Хародчинская, — составлял основную черту Плеханова. Он любил пошутить, но шутки его бывали такие тонкие, что часто собеседник, мало знавший Плеханова, не мог уловить иронии в его словах. <...> Г.В. с самым серьезным видом стал пространно объяснять ей, как надо пройти на такую-то улицу, в такой-то магазин... Какими-то путями разговор перешел на религиозную тему. Г.В. заявил, что верит в Бога так же слабо, как и в черта, и советует ей от души пересмотреть свои взгляды на сей предмет. Оскорбленная и испуганная дама поспешила прочь от нас, сказав на прощание, что она будет молиться за грешную душу безбожника. Эта встреча доставила нам большое удовольствие. Г.В. долго посмеивался, вспоминая, в какой ужас он вверг свою верующую собеседницу».

История, как известно, обожает рифмы. Пройдет несколько лет, и свою шутку Плеханов услышит при совсем других обстоятельствах. После октябрьского переворота к нему, больному, харкающему кровью, уже не встающему с постели, ворвутся революционные матросы и солдаты с обыском. «Краса и гордость русской революции» приставит ко лбу мыслителя дуло маузера. Жена Плеханова, Розалия Марковна, вскрикнет: «Ради Бога, не делайте этого!» Матрос засмеется и вдруг повторит слова, сказанные Плехановым некогда в женевском мирном парке. После обыска Георгий Валентинович признается супруге, что «его занимала мысль, увидит ли он раньше огонь или услышит звук выстрела». «Неоднократно, — напишет в воспоминаниях о последних днях своего друга Лев Дейч, — он обращался ко мне с вопросом, глубоко мучившим его: “Не слишком ли рано мы в отсталой, полуазиатской России начали пропаганду марксизма?”» Как бы подводя итог своей жизни, этот человек, умирая от туберкулезной ли-

хорадки, будет просить читать ему вслух греческих поэтов, а в предсмертном бреду, задыхаясь, погрозит кому-то бессильным кулаком.

С началом войны нейтральная конфедерация — удобная ступенька к «великому октябрю». «Конечно, и в Швейцарии армия мобилизована, а в Базеле слышен даже шум канонады, — вспоминает Троцкий, активист Швейцарской социал-демократической партии. — Но все же обширный гельветический пансион, озабоченный, главным образом, избытком сыра и недостатком картофеля, напоминал спокойный оазис, охваченный огненным кольцом войны».

Другой будущий основатель русской Утопии, любитель альпийских прогулок, учит неразумных швейцарских социалистов: «Есть только один лозунг, который вы должны немедленно распространять в Швейцарии, как и во всех других странах: вооруженное восстание!» Нобсу, председателю цюрихских социал-демократов, Ленин заявляет: «Швейцария — самая революционная страна в мире». Опешившему редактору социалистической газеты вождь большевиков объясняет, что ведь у каждого швейцарца, согласно вековой традиции, находится дома оружие с боеприпасами. Так или иначе, поставив себе жизненную цель прийти к власти, оба ее достигнут — каждый в соответствии со своими представлениями о целях и средствах политической борьбы. Ленину до поста премьера оставались считанные месяцы. Нобс станет президентом Швейцарской Конфедерации только в 1948 году.

Скорым поездом № 263 из Цюриха через Бюлах на Шафхаузен с 3-го пути в 15.20 отправляется группка эмигрантов осуществлять Великую русскую мечту. Стефан Цвейг назовет этот послеобеденный апрельский час «звездным часом человечества».

Исторический шанс перенять «низменные» ценности «счастливых швейцаров» Россия, нацепив на фрак красный бант и забросав шахту, откуда доносилась молитва, гранатами, упустила.

Против излучаемой Утопией идеологии замахнувшейся на собственность, гельветы проявляют отменный иммунитет. Лишь горстка швейцарских коммунистов, не имея никаких шансов на успех в своем отечестве, отправляется на восток во главе с Платтенем строить свой земной рай — они добираются лишь до чистилища. В августе 1937-го будет арестована жена Платтена Бер-

та, а в марте 1938-го он сам за связь с врагом народа – собственной супругой. В последнем письме из заполярного лагеря за несколько дней до смерти швейцарец нацарапает знакомой: «Я, дорогая Оля, сейчас лежу в больнице. Я был сильно слабый и пухлый, но сейчас все лучше и лучше».

Для нескольких закупоренных поколений Швейцария становится лишь отвлеченным понятием из учебника истории – там Вождь готовил Великий Переворот. Виктор Некрасов, лауреат Сталинской премии, оказавшись в женевской эмиграции, сохранил открытку с изображением Шильонского замка.

«С некоторым удивлением обнаружил я ее за стеклом газетного киоска на Крещатике, у выхода из Пассажа, – вспоминает он в книге «По обе стороны стены». – Купив ее, прочитал на обороте: «По Ленинским местам. Шильонский замок. Его посетили летом такого-то года В.И. Ленин и Н.К. Крупская». Оставшись в Швейцарии, я сразу же последовал их примеру. И, стоя в мрачном подземелье перед колонной, к которой прикован был Бонивар, я думал о Байроне – родился он на полстолетия позже, знал бы он, чем на самом деле знаменит этот замок, а то какой-то там Шильонский узник...»

Когда режим кажется вечным и строй прочным, два русских путешественника договариваются о встрече на берегу Женевского озера. Два титана русской словесности с видом на швейцарское жительство. Один прямиком из пропахшей потом и страхом московской тюрьмы, другой – инопланетянин с Зембли. Один – всеобъемный зэк, победивший собственный рак и почуявший призвание сокрушить Утопию, другой – коллекционер насекомой и человеческой лепидоптеры, успевший вовремя оставить три тонущие страны. Этой нейтральной территории суждено было стать местом их встречи, и она становится местом их невстречи.

Когда у короля экрана, поселившегося на старости лет в Швейцарии, спросили, почему он выбрал именно берег Женевского озера, тот ответил: «Потому что я это заслужил всей моей жизнью». Что-то подобное мог сказать про себя самый «швейцарский» русский писатель, выбравший для жизни и смерти Монтрё.

Постоялец шестикомнатного люкса в «Монтрё-Палас» называет это свое последнее убежище «unreal estate». Когда-то, в дале-

кие полунищие двадцатые годы, на вопрос, где бы он хотел жить, обитатель берлинских эмигрантских номеров ответил: «В большом комфортабельном отеле». Теперь в роскошной ванной комнате, отделанной в стиле *fin du siècle*, рядом с унитазом постоянно стоит шахматная доска с расставленными фигурами, а на полу каждый раз появляется новый коврик с днем недели на случай, если, глядя в окно на Лак-Леман и Савойские Альпы, гость забудет о времени.

Набоков в Швейцарии — оптимальное решение шахматной задачи на жизненной доске, приведение после нескольких цугцвангов своего короля, изгнанного из петербургского детства, в единственную безопасную счастливую клетку. «Высшие интересы» разорили его отеческий дом, расстреляли поэтов, изгнали профессоров, упразднили не только «ять», но кастрировали сам язык. Вся его жизнь — спасение своей семьи, своего языка и рукописей-карточек от идеологий и режимов. Своим героям он дарит край, где можно жить и умереть просто от частной жизни — без помощи тиранов. Себе он дарит страну «счастливых швейцаров».

Солженицын в Швейцарии — ментальное недоразумение, недосмотр верховного программиста, быстро исправленный адвокатами. Он переезжает из Цюриха в напоминавший рязанский лес Вермонт не только потому, что не хотел кормить «Архипелагом» швейцарских налоговых чиновников, но и потому, что швейцарские законы о беженцах делали невозможной борьбу. Его слово было предназначено для битвы. Сперва его книги должны были сокрушить режим, потом должен был вернуться победителем он сам.

На оси Карамзин—Нечаев они занимают полярные позиции. Два взаимоисключающих кода поведения по отношению к родной мясорубке. Мужественный Борец и несгибаемый Дезертир.

По максимовской версии, Солженицыны сообщают в письме предполагаемое время их визита, и Набоков записывает в дневнике: «6 октября, 11.00 Солженицын с женой», — не предполагая, что тот ждет ответного подтверждения. Ко времени отъезда Солженицыных из Цюриха ответа из Монтрё нет. Не зная, что означает молчание, Солженицыны приезжают в Монтрё, подходят к отелю и решают ехать дальше, думая, что Набоков болен или по какой-то причине не хочет их видеть. В это время Набоковы сидят целый час в ожидании гостей — был заказан

в ресторане ланч, — не понимая, почему их нет. Владимир Максимов, встретившийся потом и с тем и с другим, пытается прояснить очевидное недоразумение, но после этого случая ни Набоков, ни Солженицын уже не проявляют интереса к взаимным контактам.

Русские мойры следят, чтобы параллельные миры не пересекались даже в Швейцарии.

Режим пал. Но кто все-таки сокрушил Утопию? Борцы? Или дезертиры?

И вот снова русские за границей.

«Их везде много, особенно в хороших отелях. Узнавать русских все еще так же легко, как и прежде. Давно отмеченные зоологические признаки не совсем стерлись при сильном увеличении путешественников. Русские говорят громко там, где другие говорят тихо, и совсем не говорят там, где другие говорят громко. Они смеются вслух и рассказывают шепотом смешные вещи; они скоро знакомятся с гарсонами и туго — с соседями, они едят с ножа, военные похожи на немцев, но отличаются от них дерзким затылком, с оригинальной щетинкой, дамы поражают костюмом на железных дорогах и пароходах так, как англичанки за *table d'hôte* ом и проч.». Цитата из Герцена, но звучит актуально и через полтора столетия.

Русские в образе мира давосского кельнера — это те, кто дает на чай сумму большую, чем стоимость заказа.

Бизнесмены с повадками паханов ринулись в Цюрих. Их девиз: открыть счет в банке на Банхофштрассе — приобщиться к общечеловеческим ценностям.

В книге «Введение в историю европейскую...», вышедшую в Санкт-Петербурге в 1718 году, уже упоминается пословица: «*Point d'argent, point de Suisse*» с переводом: «Сие есть: нет денег, нет гельветов». Швейцарские банки есть символ победы человека над временем. Некогда, перед отъездом в Россию, Ленин, будучи клиентом Цюрихского кантонального банка, снял свой вклад, а сберегательную книжку с остатками в размере 5 франков и 5 сантимов вручил Раисе Харитоновой, жене секретаря цюрихской секции большевиков Моисея Харитонова, для уплаты партийных взносов. В своих мемуарах Харитонова описывает, как она пришла в банк и предъявила служащему в окошке ленинскую сберкнижку.

«— В.Ульянов. Как? Тот самый Ульянов, который жил как политический эмигрант у нас в Цюрихе, а сейчас в России стал таким знаменитым человеком? Ульянов, о котором пишут во всех газетах?! — воскликнул он.

— Да, — ответила я как можно сдержаннее. — Это тот самый Ульянов, политический эмигрант, который проживал в старом Цюрихе, на Шпигельгассе, 14, у сапожного мастера Каммерера. Теперь он после долгих лет изгнания вернулся в Россию, чтобы вместе с народом добиться свободы и счастливой жизни для своей страны».

Служащие банка сбегаются поглядеть на сберкнижку русской знаменитости.

«Все рассматривают, дивятся.

— Что же, — обратился ко мне наконец главный кассир, возвращая сберкнижку, — можете закрыть счет и получить этот вклад.

— Нет, благодарю вас, — ответила я. — Не для того я пришла к вам, чтобы получить вклад в 5 франков. Эту сберкнижку я увезу с собой на родину — в Россию, а вклад пусть остается в банке Швейцарии. Невелик вклад, но зато велик его вкладчик. Мне лишь хотелось, чтобы вы узнали об этом.

Я попрощалась и пошла к выходу. Оглянувшись, я увидела изумленных клерков; они все еще стояли у окна главного кассира».

На родине великого вкладчика по многу раз сменились не только деньги, системы, режимы, официальные идеологии, названия страны, но и сама страна успела рассыпаться, снова собраться и снова рассыпаться. А в Кантональном банке на Банхофштрассе методично из десятилетия в десятилетие начислялись проценты. Счет № 611361 пережил и вкладчика, и созданную им Утопию и будет и дальше дожидаться наследников Ильича.

«Высшие интересы» преходящи, в отличие от франка.

Во время войны в Швейцарию бежали из Германии русские военнопленные и угнанные на работы. В августе 1945 года в Швейцарии в 75 лагерях находилось около восьми тысяч интернированных из Советского Союза.

Около ста из них были размещены в открывшемся 8 декабря 1942 года лагере в Андельфингене, где они занимались раскорчевкой и строительством дороги. На карманные расходы они получали по 20 франков ежемесячно, к их услугам были библиотека, радио, музыкальные инструменты, показывались советские

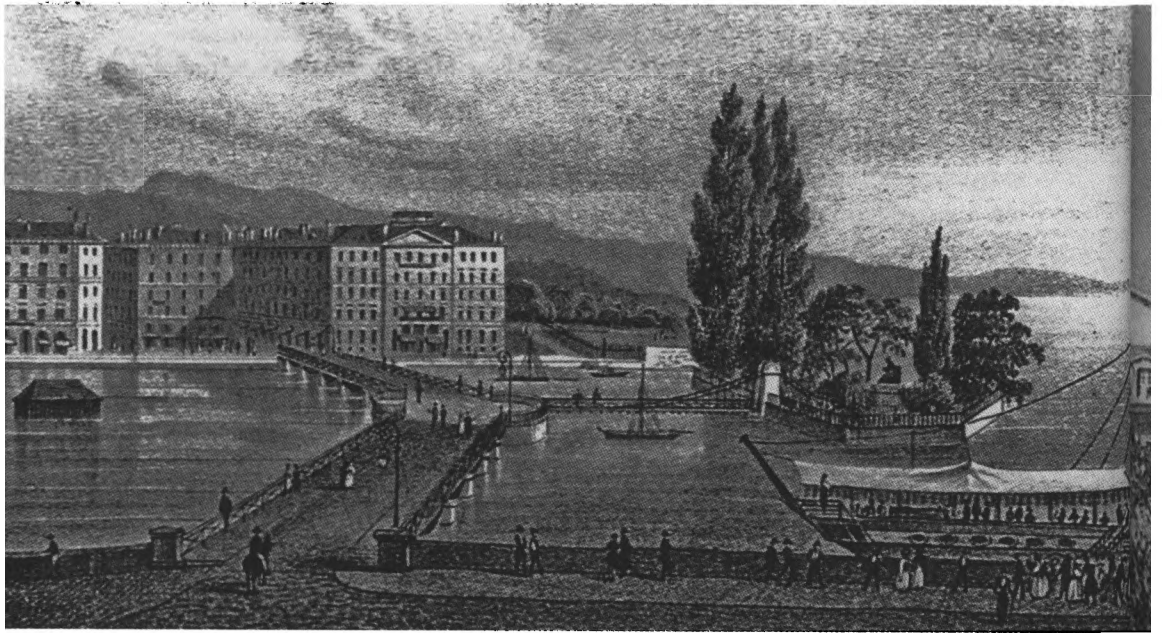
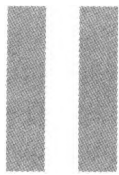
фильмы, устраивались экскурсии в Цюрих, в музеи, зоопарк, на озеро.

Регина Кэги-Фуксман работала в лагере уполномоченной швейцарской организации помощи беженцам. Она оставила воспоминания. «Русские попросили разрешения у центрального управления лагерем не работать в День Красной армии, который считается в Советской России главным праздником, и устроить концерт в гастхофе в Андельфингене, ближайшей к лагерю деревне. Они хотели пригласить тех, кто занимался вопросами беженцев, жителей деревни и своих воскресных друзей из Цюриха». Просьба русских была удовлетворена, за исключением того, что до обеда они от работ не освобождались, что обуславливалось всеобщей трудовой повинностью для всех швейцарцев даже в их национальные праздники. «Русские заявили, что в этом случае они вообще отказываются выступать и не выйдут на работу, так как это их национальный праздник. Руководство лагеря вызвало полицию и издало строгий приказ приступить к работе. <...> В назначенный день интернированные появились на завтраке в выходной одежде и отказались выйти на работу. После обеда русские построились в колонну по четыре и отправились строем из лагеря в деревню, дошли до гастхофа, где должен был состояться концерт, развернулись и двинулись маршем обратно в лагерь». Напряжение нарастало. Полученный на обед шпинат сыграл роль детонатора. «Все тарелки со шпинатом они повыбрасывали в окно столовой. Шпинатом, вероятно, в России кормят свиней, и русские чувствовали себя оскорбленными в своей чести советского солдата». Интернированные отказались вообще выходить на работу и объявили голодную забастовку. «Лагерь был окружен солдатами, против русских выставили пулеметы». Несколько человек были арестованы, лагерь расформировали, большинство отправили в другой лагерь в горном отдаленном Рароне.

С окончанием войны встал вопрос о репатриации почти восьми тысяч русских. Каждому в лагерях представители советской комиссии вручили брошюру под названием «Родина ждет вас, товарищи». Кто не хотел возвращаться, мог остаться в Швейцарии — так поступили лишь около пятидесяти человек. Почти все отправились на родину добровольно. Кэги-Фуксман: «Одна милая медсестра во время подготовки к отъезду пару недель жила у меня. Она сказала мне: «Мы все погибнем. Россия не может се-

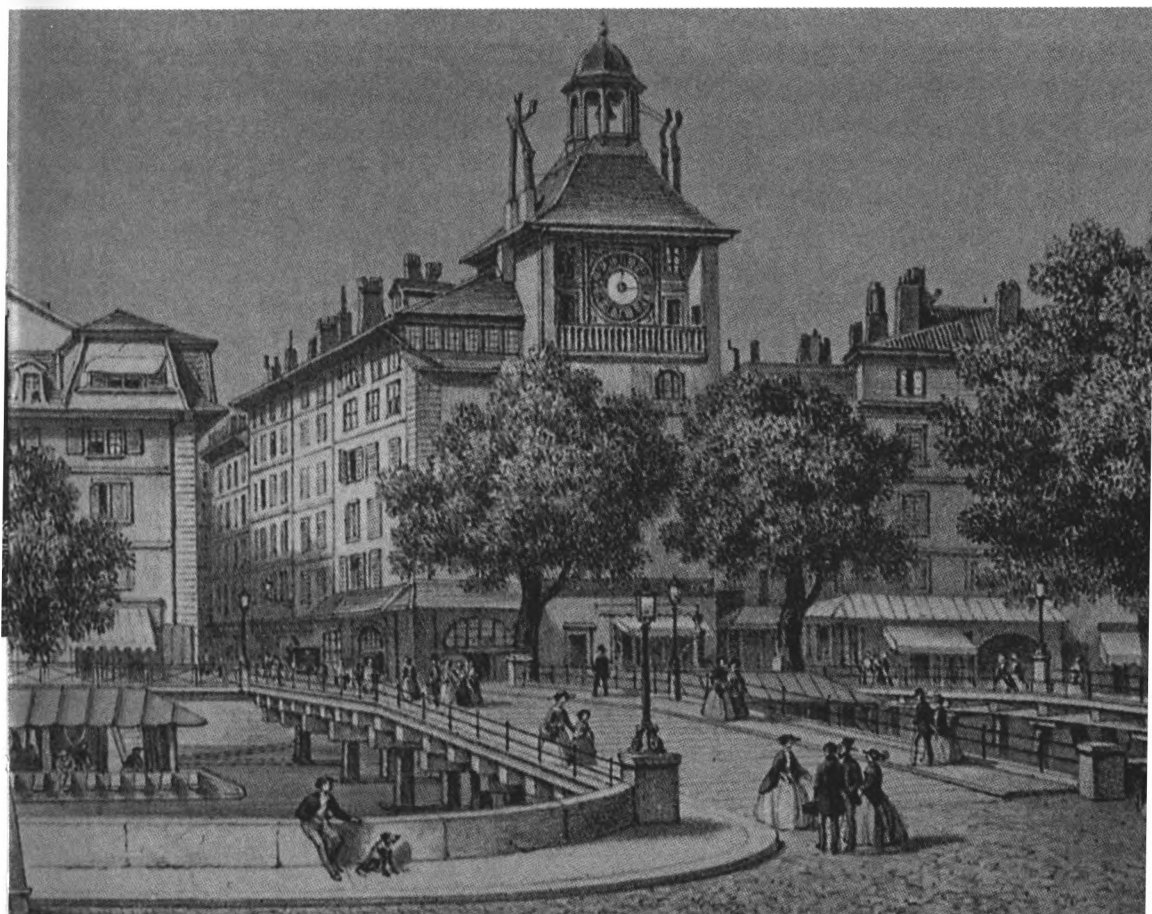
бе позволить снова принять так много людей, которые увидели Запад. Если я буду жива, я вам напишу». Я получила из Зальцбурга открытку без подписи: «Прощайте!» Больше я от нее никогда ничего не слышала».

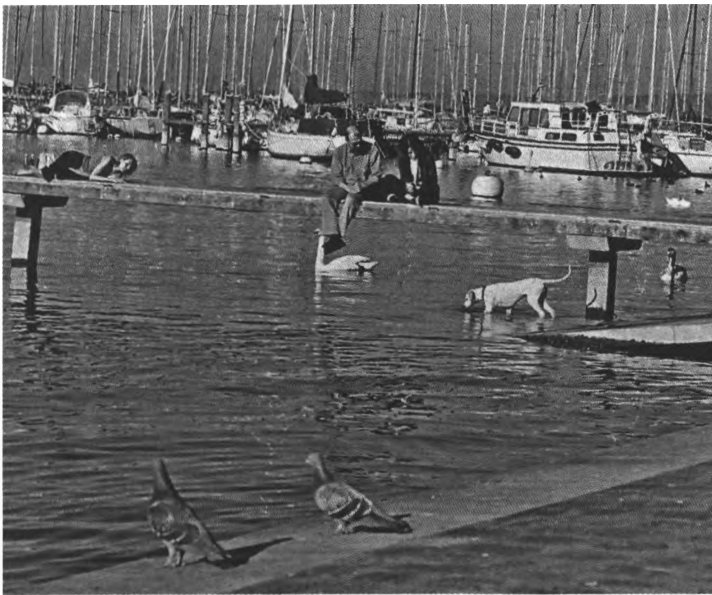
Толстой, «Люцерн»: «Бесконечна благость и премудрость того, кто позволил и велел существовать всем этим противоречиям».



Ф.И.Тютчев







«Женеvu я знаю с давних лет. Я слишком ее знаю.

– Скажите, пожалуйста, как бы мне сделать, – говорила одна дама, соотечественница наша, не без угрызения совести, – как бы сделать, чтобы полюбить Швейцарию?

Задача была нелегкая, несмотря на то, что есть множество причин, по которым Швейцарию следует любить.

– А вы куда едете? – спросил я ее.

– В Женеvu.

– Как можно, вы уж лучше поезжайте в другое место.

– Куда же?

– В Люцерн или что-нибудь такое.

– Неужели там лучше?

– Нет, гораздо хуже, но там вы скорее дойдете до разрешения вашей задачи.

В самом деле, в Женеvu все хорошо и прекрасно, умно и чисто, а живетcя туго».





Самый русский город Швейцарии — Женева. Ее больше всего прогибают, ее чаще всего выбирают.

«В Женеве я прожил больше месяца, но наконец не стало мочи от здешнего глупого климата. Ветры здесь грознее петербургских. Совершенный Тобольск». Это Гоголь.

Чаадаев, встретив в книге Лапласа «Философский опыт о вероятностях» описание мучительного желания покончить с собой, бросившись в пропасть, отмечает на полях: «Я испытал это в Женеве».

Достоевский пишет Майкову: «Это ужас, а не город! Это Кайена. Ветры и вихри по целым дням, а в обыкновенные дни самые внезапные перемены погоды, раза по три, по четыре в продолжение дня. Это геморраидалисту-то и эпилептику! И как здесь грустно, как здесь мрачно. И какие здесь самолюбивые хвастунишки. Ведь это черта особенной глупости быть так всем довольным. Все здесь гадко, гнило, все здесь дорого. Все здесь пьяно! Стольких буянов и крикливых пьяниц даже в Лондоне нет. И все у них, каждая тумба своя, — изящна и величественна».

«Грустно, черт побери, снова вернуться в проклятую Женеву. У меня такое чувство, точно в гроб ложиться сюда приехал». Цитата из Ленина.

И все-таки едут, едут, едут.

Кто впервые заговорил по-русски на берегу Лемана, навсегда останется скрыто туманом истории. Официальные же отношения между Женевской республикой и Посольским приказом в Москве были установлены в 1687 году — магистрат Женевы и царь Иван V Алексеевич обменялись посланиями. Поводом, кстати, послужила благодарность магистрата за высокую оценку службы Лефорта в России.

Княгиня Дашкова, приехав во время своего первого заграничного путешествия в 1771 году в Женеву, встречает здесь девяностолетнего старца, может быть, первого русского женева — Авраама Павловича Веселовского. Русский дипломат в Вене, он участвует в интриге, связанной с возвращением бежавшего царевича Алексея в Россию. Страшась гнева Петра I, Веселовский становится невозвращенцем, скрывается сперва в Голландии, потом в Швейцарии. В 1741 году он женится на гражданке Женевы Марианне Фабри и делается не только первым русским гельветом, но и первой местной русской достопримечательностью — с ним

ищут знакомства русские путешественники, как с диковинкой. А количество их все увеличивается. На берега Лемана приезжают зимовать из Парижа и Берлина. Бонштеттен, женеvский интеллектуал, которого считает своим долгом посетить всякий образованный москвит, замечает в одном из писем уже в 1760-е годы, что в Женеве много русских.

В «Журнале путешествия его высокородия г-на статского сов. и ордена Св. Станислава кавалера Н.А. Демидова по иностранным государствам», изданном в Москве в 1786 году, описывается между прочим посещение кавалером Женевы. Секретарь Никиты Акинфиевича Демидова (дневники русских вельмож ведутся еще их учеными секретарями) рассказывает о пребывании своего хозяина в 1772–1773 годах на Лемане, дает описание государственного устройства «купечественной республики», но большее внимание уделяется пока не чудесам демократии, а природы. Русские удивляются «разновидностью и действием природы», поминают поразившие их «вершины гор, бездны пропастей; ветры, облака и громы, здесь происходимые; снега, льды, протоки, каскады, озера, рудники, огнедышащие горы (sic! — М.Ш.), рывтины, леса, свет и тень...». Тем не менее главным переживанием является покупка золотых часов и канифаса, а также незабвенным остается воспоминание о «Женеvского озера рыбе форели отменной величины и вкуса».

В Женеве академия. Неиспорченные строгие нравы города Кальвина, высокий уровень профессоров, доступность языка — все условия для того, чтобы русская аристократия посылала сюда своих чад учиться. Здесь посещает лекции юный Александр Строганов — будущий президент Петербургской академии искусств и директор Публичной библиотеки. Здесь проходят курсы наук братья Демидовы, из которых больше других прославится Павел Григорьевич — соберет огромную библиотеку, станет основателем Ботанического сада в Москве, одним из первых русских меценатов, собирателем произведений искусства, свое собрание книг и мюнц-кабинет он подарит Московскому университету.

За три года до Карамзина в Женеву приезжает учиться Строганов-младший, Григорий Александрович, будущий русский посланник в Стокгольме и Константинополе, со своим крепостным — в будущем строителем Казанского собора в Петербурге Андреем Ворониным. Только устроившись, Строганов сообщает отцу:

«Мы здесь будем ходить на химические и физические курсы три раза в неделю». Через несколько месяцев: «Мы здесь начали ходить в один астрономический курс; сия наука очень приятна, но и очень трудна». Однако вскоре молодые люди находят для себя более интересные занятия. Во Франции революция. Русские студенты отправляются в Париж и участвуют в собраниях якобинских клубов. К ним приезжает из Женевы Карамзин, ни словом не обмолвившись об этом в своих «Письмах». Подробно описывая самые мелкие детали своего путешествия по Швейцарии, в главе о Женеве, где он, как утверждал, провел всю зиму, Карамзин ограничивается самыми общими замечаниями: «Окрестности женевские прекрасны, город хорош. По рекомендательным письмам отворен мне вход в первые дома. Образ жизни женевцев свободен и приятен — чего же лучше?»

В XIX веке Женева еще больше входит в моду. Русское население ее растет, особенно в годы, когда Париж относится к «подозрительным» городам для граждан империи. «Тут я нашел огромное русское общество, потому что пребывание в Париже русским в том году было воспрещено», — вспоминает Александр Кошелев, один из тех, кто будет готовить русские либеральные реформы, о зиме 1831/32 года, когда посещал лекции в академии в одно время со Степаном Шевыревым, будущим известным публицистом-славянофилом. Кошелев «прибыл на зимовье в Женеву», после того как «исходил пешком Оберланд». О русской Женеве читаем дальше: «Русское общество в эту зиму было в Женеве очень

Н.И.Тургенев



многочисленно; были: полдюжины Нарышкиных, столько же, коли не больше, князей и княгинь Голицыных и много разного калибра военных, статских и отставных русских...»

В Женеве живет некоторое время Николай Иванович Тургенев — еще один знаменитый «невозвращенец», автор известной в свое время книги «Россия и русские» («La Russie et les Russes»). Будучи косвенно замешан в дело декабристов, он отказывается вернуться в Россию на требование следственной комиссии и до конца своей долгой жизни остается эмигрантом. В Швейцарии он знакомится со своей будущей супругой Кларой Виарис и женится на ней в Женеве в 1833 году. Александр II амнистирует Тургенева вместе с другими декабристами, возвращает ему чины и дворянское достоинство и разрешает вернуться на родину. Однако в России Тургенев долго не задержится и предпочтет провести старость в Париже.

Летом 1836 года во время своего швейцарского путешествия приезжает в Женеву Гоголь. Писатель проводит в Швейцарии три месяца — с середины августа по начало ноября. 23 августа он пишет матери из Женевы: «Уже около недели, как я в Швейцарии; проехал лучшие швейцарские города: Берн, Базель, Лозанну и четвертого дня приехал в Женеву. Альпийские горы везде почти сопровождали меня. Ничего лучшего я не видывал». Однако в другом письме о швейцарских красотах Гоголь отзывается совсем в других тонах: «Все виды да виды, так что мне уже от них наконец становится тошно». Но в том же письме он все же выделяет город на Роне: «Женева лучше и огромнее их и остановила меня тем, что в ней есть что-то столично-европейское». В самой Женеве писатель выдерживает недолго — «Мертвые души», пришедшие к нему еще в России, зовут к письменному столу, и он выискивает для работы над книгой маленький городок на берегу Лемана. В письме 12 ноября Жуковскому он напишет: «Женевские холода и ветры выгнали меня в Веве».

В Женеву приезжают не просто отдохнуть, доживать или зимовать, но и фрондировать. Не прижившись при новом царствовании, переселяется в Швейцарию герой войны 1812 года однорукий граф Александр Иванович Остерман-Толстой — левую руку оторвало ему в бою под Кульмом. Первое время граф живет со своей челядью в облюбованном русской знатью самом роскошном женевском отеле того времени «Де-Берг» (Des Bergues, quai

des Bergues, 33), потом приезжает его супруга, урожденная Голицына, и они снимают квартиры в аристократических кварталах. Местная демократическая знать ищет знакомства с «настоящим» графом, но русский дворянин относится к соседям скептически. «Знаменитый граф Остерман-Толстой, сердясь на двор и царя, жил последние годы свои в Женеве, — пишет Герцен. — Аристократ по всему, он не был большой охотник до женевских патрициев и олигархов. — Ну, помилуйте, сударь мой, — говорил он мне в 1849 году, — какая же это аристократия — будто делать часы и ловить форель несколько поколений больше, чем сосед, дает des titres; и origine богатства какой — один торговал контрабандой, другой был дантистом при принцессе...» Однако аристократический снобизм не мешает старому вояке в дни восстания женевцев под руководством Фази в 1846 году, по рассказу того же Герцена, помогать повстанцам военными советами. Похоронен женевский граф на кладбище Пти-Саконнэ (Petit Saconnex).

На адрес отеля «Де-Берг» приходит почта для Герцена во время его женевских остановок до переселения на берега Лемана. Например, в июне 1849 года он занимает здесь целый этаж.

Здесь же останавливается в 1857 году Лев Толстой, приехав из Парижа. В Женеве он спасается от парижской «грязи» и принимает серные ванны. Свою поездку в Швейцарию писатель объясняет, в частности, в письме сестре 2 мая 1857 года из Кларана. Толстой присутствовал во Франции на гильотинировании, которое произвело на него такое впечатление, что он не мог заснуть. Ему хотелось уехать куда-нибудь в тихое место, чтобы отдохнуть от переживаний в «Содоме». На решение поехать именно в Женеву повлияло то, что здесь в то время находилась кузина его отца, графиня Александра Андреевна Толстая.

Александрин Толстая служила фрейлиной при дворе великой княгини Марии Николаевны, дочери императора Николая I, и проживала в то время вместе с великокняжеской семьей на вилле Бокаж, куда Толстой наносил ей визиты. Запись из дневника: «10 апреля. Проснулся рано, чувствую себя здоровым и почти веселым, ежели бы не гадкая погода. Поехал в церковь, не застал службы, опоздал говеть, сделал покупки, был у Толстых. Александрин Толстая вдалась в религиозность, да и все они, кажется. Восage — прелесть. Целый день читал «Cousine Bette», но был аккуратен в жизни. Написал пять заглавий. В 28 лет глупый мальчуган».

Пять заглавий произведений, над которыми Толстой собирается работать в Женеве: 1) «Отъезжее поле»; 2) «Юность»; 3) «Беглец» («Казачи»); 4) «Погибший» («Альберт»); 5) «Семейное счастье».

Первоначально писатель предполагал пробыть в Женеве лишь несколько дней, но вскоре планы его изменились. 11 апреля он пишет Т.А.Ергольской в Россию: «Я здесь три дня, но красота этого края и прелесть жизни в деревне, в окрестностях Женевы, так меня захватили, что я думаю пробыть здесь дольше».

В обществе тетки Толстой гуляет по окрестностям города. 11 мая он записывает: «К Толстым, весело, с ними на Салев. Очень весело. Как я готов влюбиться, что это ужасно. Ежели бы Александрин была 10-ю годами моложе. Славная натура».

Александрин Толстая так вспоминает об этих прогулках: «Погода стояла чудная, о природе и говорить нечего. Мы ею восхищались с увлечением жителей равнин, хотя Лев Николаевич старался подчас умерить наши восторги, уверяя, что все это дрянь в сравнении с Кавказом».

В Женеве Толстой знакомится с Пуциными и потом, отправившись с теткой на корабле в Кларан, поселится с ними в одном пансионе.

Посещает Толстой знаменитого в то время в России женевско-го живописца Александра Калама (Calame). Об известности Калама говорит уже то, что к нему специально ездили учиться русские художники-пейзажисты, в его мастерской бывали, например, Иван Шишкин, Алексей Боголюбов, Арсений Мещерский. Последний получил, кстати, золотую медаль Петербургской академии за швейцарский вид «Льды в Ландеке». Интересно, что в том же 1857 году приезжает в Женеву учиться живописи у Калама поэт Яков Полонский, но остается в мастерской художника ненадолго. Кстати, восхищение швейцарской природой нашло отражение в написанном поэтом стихотворении «На Женевском озере». В том же 1857 году посещает Калама и Лев Жемчужников, гравер и живописец, брат автора Козьмы Прутова. «Я застал Калама в собственном его доме, за работою, — пишет Жемчужников в мемуарах «Мои воспоминания из прошлого». — Он принял меня, и я отрекомендовался, наговорив ему приятных похвал о его работах, присланных в Петербургскую академию и перед которыми К.П.Брюллов снял публично шляпу, низко поклонившись. ...Глядя на его работу, я чувствовал, как

жар мой постепенно остывал и заученная его манера мне опротивела. Я простился, ушел и более не приходил к Каламу; работы его перестали интересовать меня».

Толстой после посещения мастерской пишет Александрин Толстой 13 мая: «Ваш Калам показался мне ограниченный человек и даже с некоторой тупизной, но чрезвычайно почтенный и талант громадный, который я не умел ценить прежде. Поэзии во всех его вещах бездна, и поэзии гармонической. Вообще у него ума мало отпущено на талант, или талант задавил ум: он сам себя определить не может. Но таких людей только и можно любить».

Отметим, что имя русского писателя осталось увековеченным на карте города – женевцы назвали в честь Толстого одну из своих улиц.

В отеле «Де-Берг» останавливается во время своих приездов и Тютчев. В 1864 году он уезжает за границу в надежде, что далекое путешествие поможет пережить ему утрату – смерть Елены Денисьевой, его трагической поздней любви. В Женеве он соединяется со своей оставленной женой Эрнестиной и дочерью Марией, думая найти утешение в лоне семьи. Эрнестина встречает мужа на перроне Женевского вокзала. Дочь Анна пишет со слов очевидца сестре: «...Папа и мама очень хорошо встретились. Надо надеяться, что теперь, обретя и домашний круг, и развлечения, папа успокоится, а мама, владея им отныне безраздельно, тоже будет довольна».

Ф.И.Тютчев

Отель «Де-Берг» в Женеве



Мария записывает в дневнике 23 октября: «Превосходная погода. ...Папа, вернувшись, продиктовал мне стихи. <...> Горы были как на ладони». Тютчев диктует дочери одно из своих лучших стихотворений «Утихла биза...».

Среди именитых русских женецев, кто не мог позволить себе жить в «Де-Берг», — Федор Михайлович Достоевский.

Первый раз в Женеве Достоевский был со Страховым проездом в 1862 году, второй, тоже проездом в Италию, в 1863-м с Аполлинарией Суловой — сестрой знаменитой первой цюрихской студентки Надежды Суловой. У этого посещения Женевы своя предыстория. В мае 1863-го журнал, выпускавшийся писателем, закрывается, и в августе вместе с молодой писательницей Аполлинарией Суловой, его мучительной любовью, Достоевский отправляется в заграничное путешествие. На родине остается брошенная жена Мария Дмитриевна Исаева. Сулова уезжает раньше, с тем чтобы ожидать Достоевского в Париже. Туда писатель несколько запаздывает, поскольку путь его лежит через казино в Висбадене. Во Франции его ждет малоприятный сюрприз. Оказывается, что молодая женщина успела тем временем влюбиться в испанского студента. Однако горение страстей скоротечно. Сулова все-таки решает ехать с Достоевским в Италию, но по дороге делается крюк, чтобы проиграть в Баден-Бадене на рулетке почти все предполагавшиеся на поездку деньги — три с половиной тысячи рублей. Летят в Россию умоляющие письма о присылке денег. В Женеве вынужденная остановка. Здесь Достоевский закладывает свои часы, она — украшения. Впрочем, мучения писателей, как известно, кормят литературу. Баденский проигрыш рождает «Игрока», а путешествие с Суловой, в котором они изрядно помучили друг друга, дарит русской словесности «Записки из подполья». Женщина, с которой Достоевский делит женецкое безденежье и вид на Монблан 1863 года, сыграет еще одну роль в русской литературе, но не столько своими позабытыми повестями, сколько тем, что станет женой и мучительницей, а значит и музой, другого гения — Василия Васильевича Розанова. Розанов женится в двадцать четыре года на сорокалетней Суловой и потом в течение двадцати лет будет безуспешно пытаться добиться от нее развода, так что дети его от второй жены не могли носить фамилии отца.

И вот третий приезд Достоевского в Женеву — в августе 1868 года.

В 1867 году писатель женится на своей стенографистке Анне Сниткиной. Разница в двадцать пять лет только подчеркивает удачность выбора на этот раз. В отличие от демонической, наполнявшей собой мир без остатка Сусловой, стенографистка представляет собой олицетворение писательской мечты, растворяется целиком в интересах мужа и является как бы прообразом еще не написанной чеховской «Душечки».

Через два месяца после свадьбы молодые отправляются в Европу. Предполагается кратковременное пребывание за границей, которое затягивается на четыре года.

«...Почему в Женеву? А почему я знаю; не все ли равно». Это из письма Майкову. Супруги полны надежд. Он привозит с собой замысел романа, она — будущего ребенка.

«Приехав в Женеву, — пишет Достоевская, — мы в тот же день отправились отыскивать себе меблированную комнату. Мы обошли все главные улицы, пересмотрели много *chambres garnies* без всякого благоприятного результата: комнаты были или не по нашим средствам, или слишком людны, а это в моем положении было неудобно. Только под вечер нам удалось найти квартиру, вполне для нас подходящую. Она находилась на углу *rue Guillaume Tell* и *rue Berteiller* (правильно: *rue Berthelie* Nr.1 и угол *rue Guillaume-Tell*. — *М.Ш.*), во втором этаже, была довольно просторна, и из среднего ее окна были видны мост через Рону и островок Жан-Жака Руссо. Понравились нам и хозяйки квартиры, две очень старые девицы *m-lles Raymondin*. Обе они так приветливо нас встретили, так обласкали меня, что мы не колеблясь решились у них поселиться».

Достоевский начинает работу над «Идиотом».

«И здесь, как и в Дрездене, в расположении нашего дня установился порядок: Федор Михайлович, работая по ночам, вставал не раньше одиннадцати; позавтракав с ним, я уходила гулять, что мне было предписано доктором, а Федор Михайлович работал. В три часа отправлялись в ресторан обедать, после чего я шла отдыхать, а муж, проводив меня до дому, заходил в кафе на *rue du Mont-Blanc*, где получались русские газеты, и часа два проводил за чтением «Голоса», «Московских» и «Петербургских ведомостей». Прочитывал и иностранные газеты. Вечером, около семи, мы шли на продолжительную прогулку, причем, чтобы мне не приходилось уставать, мы часто останавливались у ярко освещенных витрин роскошных магазинов, и Федор Михайлович на-

мечал те драгоценности, которые он подарил бы мне, если б был богат. Надо отдать справедливость: мой муж обладал художественным вкусом, и намечаемые им драгоценности были восхитительны. Вечер проходил или в диктовке нового произведения, или в чтении французских книг, и муж мой следил, чтобы я систематически читала и изучала произведения одного какого-либо автора, не отвлекая своего внимания на произведения других писателей. Федор Михайлович высоко ставил таланты Бальзака и Жорж Санда, и я постепенно перечитала все их романы».

Нехватка денег сперва не очень беспокоит молодоженов.

«Начали мы нашу женеvскую жизнь, — продолжает Анна Григорьевна, — с крошечными средствами: по уплате хозяйкам за месяц вперед, на четвертый день нашего приезда у нас оказалось всего восемнадцать франков, да имели в виду получить пятьдесят рублей. Но мы уже привыкли обходиться маленькими суммами, а когда они иссякали, — жить на заклады наших вещей, так что жизнь, особенно после наших недавних тревожлений, показалась нам вначале очень приятной».

Неприятные сюрпризы начинаются с погодой. Майкову 15 сентября: «Как только переехал в Женеву, тотчас же начались припадкИ, да какие! — как в Петербурге. Каждые 10 дней по припадку, а потом дней 5 не опомнюсь. Пропавший я человек! Климат в Женеве сквернейший, и в настоящую минуту у нас уже 4 дня вихрь, да такой, что и в Петербурге разве только раз в год бывает. А холод — ужас!» «Климат в Женеве для меня очень сквер-

А.Г.Достоевская



ный, — пишет Достоевский в сентябре вдове брата. — В Германии припадки были редкие, а в Женеве не опомнюсь, чуть не каждую неделю. Все эти горы и непрерывные перемены в атмосфере. Надобно выехать».

Мысль оставить Женеву начинает преследовать его постоянно. К припадкам примешивается безденежье. Из первого же письма Майкову видно, что женевская жизнь с самого начала была для него не столь «приятной», как для юной супруги: «В Женеву-то мы переехали, наняли *chambre garnie* у двух старух и теперь, т.е. на четвертый день, у нас всего капитала 18 франков». В том же письме сразу начинаются просьбы о деньгах, основной лейтмотив швейцарской жизни Достоевских. Писатель просит выслать 150 рублей: «Голубчик, спасите меня! Заслужу Вам вовеки дружбой и привязанностию. Если у Вас нет, займите у кого-нибудь для меня. Простите, что так пишу: но ведь я утопающий!»

Безденежье — изнуряющее, унижительное и для него, и для нее. Из дневника Анны Григорьевны: 18 сентября — «Он отправился заложить наши обручальные кольца, потому что у нас нечем было обедать». 27 сентября — молодая, желающая нравиться женщина заходит в магазин: «Я хотела спросить только цену, но она заставила меня примерить... Но у меня ведь денег этих нет, чтобы купить, так что я очень досадовала, что не имею такой возможности, чтобы приобрести себе платье, мое синее совершенно вышло из моды. Носят такие одни только кухарки, а вот и я принуждена за неимением денег носить такую же дрянь». 17 октября — «Как мы ни экономим, а деньги все-таки выходят, так что, пожалуй, завтра выйдут те деньги, которые у нас есть, и тогда мне придется опять идти к этому портному и просить денег. Идти с такой вещью, которая в их глазах не имеет никакого значения, именно, с кружевной косынкой, с белой тальмой и с черной шелковой кофточкой. Разумеется, они осмотрят эти вещи, объявят, что они старые и никуда не годятся, а пожалуй, и совсем откажут дать денег. Мне страму-то, страму-то не хотелось бы переносить; уж и так много горя, а тут какой-нибудь портной смеет взять над тобой вид превосходства».

Каждый день Достоевские ходят на почту, ждут писем, которые приходят к ним сюда до востребования. Мать Анны Григорьевны присылает письма нефранкированными, нужно доплачивать. Федор Михайлович выговаривает супруге. Теперь

она старается под разными предлогами незаметно от мужа пораньше прийти на почту и взять письма от матери, пока он не видит.

При этом, когда из России приходят деньги «утопающему», все проигрывается на рулетке. В октябре 1867 года Достоевский бросается в Саксон-ле-Бэн (Saxon les Bains) и возвращается без пальто, без обручального кольца. Снова отчаянные письма Каткову о присылке денег. Снова жена закладывает одно платье за другим. Каждый раз с получением переводов из России повторяется та же история. Достоевский ездит играть еще два раза — в ноябре 1867-го и в апреле 1868-го — с тем же результатом. В дневнике Анна Григорьевна умоляет мужа не ездить, в воспоминаниях, наоборот, сама подает ему идею: «Федор Михайлович сильно захандрил, и тогда, чтобы отвлечь его от печальных размышлений, — вспоминает преданная жена, — я подала ему мысль съездить в Saxon les Bains вновь «попытать счастья» на рулетке. <...> Федор Михайлович одобрил мою идею и в октябре-ноябре 1867 года съездил на несколько дней в Saxon. Как я и ожидала, от его игры на рулетке денежной выгоды не вышло, но получился другой благоприятный результат». Вернувшись в Женеву, Достоевский за три недели написал около шести печатных листов романа для публикации в «Русском вестнике».

Пример «Игрока», написанного после чудовищного проигрыша, не дает покоя. Без игры присылаемых денег вполне хватило бы на безбедное существование, но, видно, путь к вдохновению ищется через отчаяние. Исчезают издательские авансы, сроки отсылки рукописи не выдерживаются. Счет идет на дни, на часы. В ноябре закончена первая часть «Идиота», но — очередное падение в пропасть, и в письме Майкову писатель сообщает, что 4 декабря бросил все и начал роман заново.

Город, ставший декорацией этой драмы, делается ненавистным. Вызывает раздражение все кругом без исключения. Достоевские практически ни с кем не общаются. «Знакомых в Женеве у нас не было почти никаких, — пишет в воспоминаниях Анна Григорьевна. — Федор Михайлович всегда был очень туг на заключение новых знакомств. Из прежних же он встретил в Женеве одного Н.П.Огарева, известного поэта, друга Герцена, у которого они когда-то и познакомились. Огарев часто заходил к нам, приносил книги и газеты и даже ссужал нас иногда десятью франками, которые мы при первых же деньгах возвращали ему. Федор

Михайлович ценил многие стихотворения этого задушевного поэта, и мы оба были всегда рады его посещению».

В то же время в Женеве проживает Герцен, но ни один из них не ищет возобновления знакомства. Город невелик, встречи избежать невозможно. Они сталкиваются на улице. Достоевский — Майкову: «Никого-то не знаю здесь и рад тому. С нашими умниками противно и встретиться. О бедные, о ничтожные, о дрянь, распушая от самолюбия, о говно! Противно! С Герценом случайно встретился на улице, десять минут проговорили враждебно-вежливым тоном с насмешками да и разошлись». Герцен отвечает взаимностью и пишет Огареву: «Роман Достоевского я частью читал в «Русском вестнике» — в нем много нелепого». Речь идет о «Преступлении и наказании».

Приближаются роды, надо готовить мир к приему нового человека. «В половине декабря 1867 мы, в ожидании моего разрешения от бремени, переселились на другую квартиру, на rue du Mont-Blanc, рядом, около англиканской церкви. На этот раз мы взяли две комнаты, из них одну очень большую, в четыре окна, с видом на церковь. Квартира была лучше первой, но о добрых старушках, прежних хозяйках, нам пришлось много раз пожалеть. Новые хозяева постоянно отсутствовали, и дома оставалась одна служанка, уроженка немецкой Швейцарии, мало понимавшая по-французски и не способная ни в чем мне помочь. Поэтому Федор Михайлович решил взять *garde-malade* (сиделку. — М.Ш.) для ухода за ребенком и за мной во время болезни».

На новой квартире давление романа усиливается. Из письма племяннице Соне Ивановой: «Я занят ужасно, измучен заботой, а главное непрерывно мыслю, что вот не успею выслать в редакцию продолжение романа, вот опоздаю». Майкову: «А со мной было вот что: работал и мучился. Вы знаете, что такое значит сочинять, Нет, слава Богу, вы этого не знаете! Вы на заказ и на аршины, кажется, не писывали и не испытывали адского мучения».

Жалобы на безденежье в письмах не прекращаются. П.А.Исаеву: «Нуждаюсь ужасно и постоянно. Живем копейками; все заложили. Анна Григорьевна теперь уж на последних часах. Думаю, не родит ли сегодня в ночь?»

И вот долгожданный момент наступает. Анна Григорьевна: «В непрерывной общей работе по написанию романа и в других заботах быстро прошла для нас зима, и наступил февраль 1868 го-

да, когда и произошло столь желанное и тревожившее нас событие». Роды совпадают с приступом падучей. После внезапной перемены погоды у Достоевского начинаются припадки эпилепсии. Измучившись, он засыпает. А уже идут схватки.

«Я выносила боли часа три, но под конец стала бояться, что останусь без помощи, и как ни жаль мне было тревожить моего больного мужа, но решила его разбудить. И вот я тихонько дотронулась до его плеча. Федор Михайлович быстро поднял с подушки голову и спросил:

— Что с тобой, Анечка?

— Кажется, началось, я очень страдаю! — ответила я.

— Как мне тебя жалко, дорогая моя! — самым жалостливым голосом проговорил мой муж, и вдруг голова его склонилась на подушку, и он мгновенно уснул. Меня страшно растрогала его искренняя нежность, а вместе и полнейшая беспомощность».

Только к утру, придя в себя, Достоевский бежит за акушеркой. Служанка отказывается будить ее. Достоевский «пригрозил, что будет продолжать звонить и выбьет стекла». Акушерку привозят, та осматривает Анну Григорьевну, делает выговор, что ее так рано побеспокоили, и обещает приехать вечером. «В обещанный час m-me Barraud не приехала, и муж вновь пошел за нею. Оказалось, что она уехала обедать к друзьям, где-то около вокзала». Через некоторое время Достоевский снова отправляется к жене-повивальной бабке — та сидит с друзьями за семейным лото. «M-me Barraud была, видимо, недовольна, что ее оторвали от интересной игры, — вспоминает Достоевская, — и высказывала это мне, прибавляя несколько раз: “Oh, ces russes, ces russes!”»

Роды продолжают тридцать три часа. Родается девочка — 5 марта (22 февраля) 1868 года. Ее называют Соней.

«Федор Михайлович в порыве радости обнял m-me Barraud, а сиделке несколько раз крепко пожал руку. Акушерка сказала мне, что за свою многолетнюю практику ей не приходилось видеть отца новорожденного в таком волнении и расстройстве, в каком был все время мой муж, и опять повторила: “Oh, ces russes, ces russes!”»

Для Достоевских начинается новая, полная бессонницы и волнений жизнь родителей. «К моему большому счастью, Федор Михайлович оказался нежнейшим отцом: он непременно присутствовал при купании девочки и помогал мне, сам завертывал ее в пикейное одеяльце и зашлифовывал его английскими булавками,

носил и укачивал ее на руках и, бросая свои занятия, спешил к ней, чуть только слышит ее голосок». Достоевский — Майкову: «А Ваша крестница — сообщаю Вам — прехорошенькая, несмотря на то, что до невозможного, до смешного даже похожа на меня. Даже до странности. Я бы этому не поверил, если б не видел. Ребенку только что месяц, а совершенно даже мое выражение лица, полная моя физиономия, до морщин на лбу, — лежит — точно роман сочиняет!»

С рождением ребенка нехватка денег становится особенно острой. В письме Майкову: «Я вчера заложил последнее свое пальто...» И еще: «Все до последней тряпки, моей и жены, заложены. Долги настоятельные, необходимые, немедленные». А в начале апреля — сразу же при получении денег — опять срывается на рулетку.

16 мая девочку крестят в недавно открытой русской церкви. Через неделю — 24 мая — Сонечка умирает.

Анна Григорьевна: «Погода внезапно изменилась, началась биза (bise), и, очевидно, девочка простудилась, потому что в ту же ночь у нее повысилась температура и появился кашель. Мы тотчас обратились к лучшему детскому врачу, и он посещал нас каждый день, уверяя, что девочка наша поправится. Даже за три часа до ее смерти говорил, что больной значительно лучше». И дальше: «Такого бурного отчаяния я никогда более не видела. Обоим нам казалось, что мы не вынесем нашего горя. Два дня мы вместе, не разлучаясь ни на минуту, ходили по разным учреж-

Соня Достоевская



дениям, чтобы получить дозволение похоронить нашу крошку, вместе заказывали все необходимое для ее погребения, вместе наряжали в белое атласное платьице, вместе укладывали в белый, обитый атласом гробик и плакали, безудержно плакали. На Федора Михайловича было страшно смотреть, до того он осунулся и похудал за неделю болезни Сони. На третий день мы свезли наше сокровище для отпевания в русскую церковь, а оттуда на кладбище в Plain Palais, где и схоронили в отделе, отведенном для погребения младенцев. Через несколько дней могила ее была обсажена кипарисами, а среди них был поставлен мраморный крест. Каждый день мы с мужем ходили на ее могилку, носили цветы и плакали».

Достоевский — Майкову: «Она начинала меня знать, любить и улыбалась, когда я подходил. Когда я своим смешным голосом пел ей песни, она любила их слушать. Она не плакала и не морщилась, когда я ее целовал; она останавливалась плакать, когда я подходил. И вот теперь мне говорят в утешение, что у меня еще будут дети. А Соня где?»

В дневнике Анны Григорьевны есть запись, сделанная еще в сентябре, когда она беременная гуляла по городу: «Мне вздумалось идти на кладбище, оно находится на Plainpalais. В середине его находится отличный костел. Мне здешнее кладбище понравилось, и, право, если бы уж умереть за границей, то я бы желала быть похороненной здесь, на этом кладбище... Здесь мне показалось до крайней степени спокойно, просто чудно, посидела я несколько времени на скамейке, потом ходила, рассматривала памятники».

Достоевский приедет сюда на могилу дочери еще раз, в 1874 году, когда отправится за границу на лечение на германском курорте Бад-Эмс (Bad Ems). Надгробная плита в современном виде установлена в 1979 году.

Этот нелюбимый город принес несчастье. Первая мысль — прочь. Анна Григорьевна: «Остаться в Женеве, где все напоминало нам Соню, было невыносимо, и мы решили немедленно исполнить наше давнишнее намерение и переселиться в Vevey, на том же Женевском озере. Жалели мы очень о том, что, по недостатку средств, не могли совсем уехать из Швейцарии, которая стала для моего мужа почти ненавистна: он винил в смерти Сонечки и дурной, изменчивый климат Женевы, и самонадеянность доктора, и неумелость няньки и пр. Самих швейцарцев Фе-

дор Михайлович и всегда недолюбливал, но черствость и бессердечие, высказанные многими из них в минуты нашего тяжкого горя, еще увеличили эту неприязнь. Как пример бессердечия, приведу, что наши соседи, зная о нашей утрате, тем не менее прислали просить, чтоб я громко не плакала, так как это действует им на нервы».

Через много лет на стене этого дома по улице Монблан (rue du Mont-Blanc, 16) повесят скромную мемориальную доску, которая затеряется среди пестрой рекламы.

«Умники», столь ненавистные Достоевскому, — это русские революционеры, и прежде всего так называемая «молодая эмиграция», обосновавшаяся в Женеве. Лидер женевских «умников» — Николай Утин. О его значении для русской интеллигенции того времени можно судить по письму Достоевского Майкову из Женевы, в котором писатель называет этого молодого человека среди знаменитостей: «А что же они-то, Тургеневы, Герцены, Утины, Чернышевские, нам представили?»

Отец Николая Утина — откупщик, миллионер-виноторговец, владелец роскошных особняков в Петербурге, не жалел денег на своих четырех сыновей. Николай получает разностороннее образование, летние месяцы семья проводит за границей, в Петербургском университете он учится на историко-филологическом факультете, пишет кандидатскую диссертацию об Аполлонии Тианском. На ту же тему, кстати, пишет свою диссертацию знаменитый впоследствии Писарев, но победа достается Утину. Ему присуждена золотая медаль, сопернику приходится довольствоваться серебряной. Однако столь блистательное академическое начало не находит продолжения — юноша начинает участвовать в революционном университетском движении и быстро выбивается в вожаки. Апостол студенческой России Чернышевский отмечает его среди других и приближает к себе. В анонимном доносе некто сообщает: «Утин — правая рука Чернышевского». Инициатор и участник студенческих волнений в Петербурге, член «Земли и воли», Утин в 1863 году, спасаясь от ареста, бежит через Черное море на Запад. Сначала молодой человек отправляется, по тогдашней моде, на поклон к Герцену в Лондон. Желая быть полезным «делу», он занимается переправкой герценовских изданий в Россию, где заочно в 1865 году судим и проговорен к смертной казни: «Казнить смертью расстрелянием, каковое на-

казание исполнить над ним по поимке или по явке его в отечество». Очень быстро между ним и Герценом наступает охлаждение: Герцен отказывается печатать утинскую статью, для самолюбивого молодого человека это удар, который так просто не забывается. Поклонение меняется на скрытую пока ненависть.

Утин поселяется в Женеве, которая постепенно становится центром русской революционной эмиграции, на улице Приере (aux Râquis, rue de Prêtre, 5). Молодой революционер ощущает себя призванным объединить и возглавить разрозненные силы русского «освободительного» движения и выступает с идеей объединительного съезда эмигрантов. В письмах он зовет Герцена переехать в Швейцарию из Лондона.

«Колокол» переживает не лучшие времена. Самое популярное в империи Александра Освободителя издание принесло лондонскому изгнаннику всероссийскую славу. В своих письмах Герцен усердно пересказывает принесенный кем-то ему в Лондон анекдот, будто государь начинает свой рабочий день с прочтения герценовских статей. Однако закон непостоянства славы касается и могучего громовержца Искандера. «Колокол» резко теряет популярность в России после того, как поддерживает поляков во время польского восстания 1863 года. Герцен нарушает ту границу, где русское свободомыслие головы сталкивается с патристическим нутром, — тираж падает в пять раз. «Этот упадок Герцен приписывал тому, что он писал в «Колоколе» статьи в пользу поляков», — вспоминает Шелгунов, один из героев того «революционно-демократического» времени. Иссякает и поток посетителей из России, устремившийся вследствие «открытия границ» после смерти Николая I на берега Альбиона, чтобы пожать руку изгнаннику-победителю.

Герцен мучительно переживает эту образовавшуюся вокруг него пустоту. Пропала уверенность, что он идет впереди России, своим блистательным пером указывая народившемуся обществу направление. Но ему кажется, что еще не все потеряно, что он еще может нагнать, объясниться, снова стать во главе. В письмах 1864 года постоянно появляется мысль, что необходимо переехать в Швейцарию, чтобы вдохнуть в «Колокол» новую жизнь. Огареву из Женевы: «Что «Колокол» издавать в Лондоне при новом взмахе в России нельзя, это для меня ясно. Здесь перекрещиваются беспрерывно едущие из и во Францию, из и в Италию, здесь многие живут и пр.».

Переезд на континент и перенос издания в Женеву — к концу 1864 года дело почти решенное. Возникает вопрос о союзниках. В декабре этого страшного для него года Герцен приезжает на так называемый Женевский конгресс — первый объединительный съезд русской эмиграции, организованный Утиным. Приезжает с похорон. 4 декабря умирает от дифтерита трехлетняя дочь Герцена Елена, через неделю, 11 декабря, сын Алексей — близнецы. В эти декабрьские дни Герцен пишет старшей дочери и ее воспитательнице: «Какую мрачную и страшную страницу я пережил, все мы пережили, трудно сказать вам это. Я присутствовал при ужасающем зрелище самой жестокой смерти — смерти от удущья — этих двух детей. Я держал девочку во время операции трахеотомии и закрыл глаза мальчику... Все это сразу; удар за ударом... как сон...»

И вот через несколько дней — переговоры в Женеве с молодой эмиграцией. Герцен приезжает в город на Роне с Огаревым и своим старшим сыном Александром. Утин требует «Колокол» или фонд Бахметьева для издания своей газеты. Главное обвинение Герцену — старик держит монополию на революционную прессу. Герцен сначала готов поделиться, но глубоко оскорблен отсутствием уважительного к себе отношения со стороны молодых людей.

В статье «Молодая эмиграция» он дает свой взгляд на причины расхождений: «В самый разгар эмигрантского безденежья разнесся слух, что у меня есть какая-то сумма денег, врученная мне

Н.И.Утин

Журнал «Народное дело» со статьей Н.Утина



для пропаганды. Молодым людям казалось справедливым ее у меня отобрать». Речь идет о знаменитом таинственном спонсоре революции, некоем Бахметьеве, юноше, получившем наследство и уехавшем строить социализм «на Маркизовы острова». По дороге, заехав в Лондон, он оставил Герцену круглую сумму «на пропаганду», которую тот положил в банк Ротшильда под процент, обязавшись, во-первых, ждать как можно дольше возвращения Бахметьева, а во-вторых, тратить эти деньги только совместно с Огаревым. Хотя след жертвователя пропал бесследно, на все притязания «молодых штурманов будущей бури» Герцен отвечает отказом. О молодых революционерах-землеволюцах Герцен, объясняя свою позицию, пишет: «...Их систематическая неотесанность, их грубая и дерзкая речь не имеет ничего общего с неоскорбительной и простодушной грубостью крестьянина и очень много с приемами подъяческого круга, торгового прилавка и лакейской помещицкого дома. Народ их так же мало счел за своих, как славянофилов в мурмолах. Для него они остались сужим, низшим слоем враждебного стана, исхудалыми баричами, стрелулистами без места, немцами из русских».

Задуманный как объединительный, конгресс играет роль прямо противоположную — эмиграция разделяется на два непримиримых лагеря. Герцен напишет Огареву о своем бывшем протеже: «Утин хуже других по безграничному самолюбию», — называет его «самым лицемерным из наших заклятых врагов». В другом месте: «У них нет ни связей, ни таланта, ни образования. <...> Им хочется играть роль, и они хотят употребить нас пьедесталом. <...> Женева при разрыве с этими господами делается превосходным местом. Они надоели бы, как горькая редька». Причем каждая сторона после сорвавшихся переговоров обвиняет в провале объединения противника. Герцен — Огареву: «Женевские щенята в последнюю минуту отказались от всего (по приказу из Цюриха), — да черт же с ними, наконец». «Приказ из Цюриха» — намек на проживавшего в то время в цюрихском пансионе Шелгуновой Александра Серно-Соловьевича, тоже участника переговоров. Скоро и Шелгунова, и Серно-Соловьевич переселятся в Женеву. Герцен — Огареву: «Серно-Соловьевич — главный противник наш».

Александр Серно-Соловьевич — еще одна яркая фигура в истории долгого пути к революционной катастрофе. Собственно, сперва он был известен как младший брат «русского маркиза По-

за», Николая Серно-Соловьевича, прославившегося тем, что в сентябре 1858 года подал гулявшему по Царскосельскому саду Александру II записку, в которой писал о бедствиях России и о необходимости уничтожения крепостничества. Прочитав записку, царь велел шефу жандармов А.Ф. Орлову поцеловать юношу. Воспитанник пушкинского Царскосельского лицея, Александр уже в ранние годы принимает русскую революционную идеологию ненависти. В письме товарищу он пишет: «Нужно воспитывать ядовитую злобу, лелеять ее, довести до последних пределов. ...Пусть будет она девизом, вечным знаменем, с которым нужно идти на борьбу, потому что невозможно никакое примирение там, где не хотят его знать, где все окружающее напоминает только о том, что ты грязь и ничтожество».

Младший брат вместе с Николаем находится среди основателей «Земли и воли» и является фактически лидером организации. 7 июля 1862 года в один день арестованы Чернышевский и Николай Серно-Соловьевич. Александр незадолго до этого уезжает за границу в Швейцарию для «поправления здоровья». На требование правительства вернуться отвечает отказом и становится невозвращенцем. Его судят заочно, лишают всех прав и приговаривают к пожизненной ссылке. Кипучая натура жаждет деятельности. Идея все та же, которая будет преследовать русскую эмиграцию до и после всех революций, — объединение всех оппозиционных сил. Идея обреченная. Уже в 1862 году Александр Серно-Соловьевич пытается организовать типографию в Берне, специально ездит в Лондон на переговоры, но безрезультатно.

Разрыв с Герценом на Женевском конгрессе в 1864 году разгорается в непримиримую вражду. Серно-Соловьевич ощущает себя лидером антигерценовской партии: «Я протестую потому, чтобы засвидетельствовать, что «Колокол» не является больше знаменем молодой России, что он выражает только личные взгляды господ Герцена и Огарева». Некогда ревностный почитатель Герцена становится не менее ревностным ниспровергателем кумира.

Вскоре после женевского съезда у Серно-Соловьевича начинают проявляться первые признаки тяжелого психического заболевания. Сказывается и дурная наследственность, и неудачи «дела», и личные переживания. Революционный товарищ Серно-Соловьевича, хозяйка цюрихского, а потом и женевского

пансиона, располагавшегося на даче Ольтомаре (Oltomare), где проживают эмигранты, Людмила Петровна Шелгунова, жена известного революционного публициста, становится его любимой и рождает от него ребенка. Тучкова-Огарева, жена Герцена и Огарева, вспоминает: «Когда мы поселились в Женеве, там было много русских, почти все были нигилисты. Последние относились к Герцену крайне враждебно. Большая часть из них помещалась в русском подворье, или в русском пансионе г-жи Шелгуновой, той самой, которая несколько лет до нашего переезда на континент приезжала к Герцену в Лондон с мужем и с писателем Михайловым. С тех пор многое в ее жизни изменилось; муж ее давно уехал в Россию, жил где-то в глуши и постоянно писал в журналах, а Михайлов был сослан. В год или два разлуки с Михайловым она не только успела забыть его, но и заменить Серно-Соловьевичем-младшим». Оставим тон воспоминаний на совести мемуаристки, не очень большой почитательницы Шелгуновой, и продолжим цитату: «Я потому позволяю себе говорить об отношениях г-жи Шелгуновой с Михайловым и с Серно-Соловьевичем-младшим, что это было в то время всем известно и она этого не скрывала. Интерес не в сплетнях, не в интригах, а в последствиях, о которых я хочу рассказать. Серно-Соловьевич был моложе ее: горячий, ревнивый, вспыльчивый, он имел с г-жой Шелгуновой бурные сцены, и она стала его бояться. Когда у нее родился сын, то, чтобы покончить все отношения с ним, она решила окрестить ребенка и отослать его на воспитание к мужу своему, Шелгунову». Молодой отец тяжело переживает разлуку с сыном. «С отъезда ребенка Серно-Соловьевич был вне себя, — продолжает рассказ Тучкова-Огарева, — грозил убить г-жу Шелгунову, врывался к ней в комнату и становился в самом деле страшен. «У меня все взяли, — говорил он с отчаянием, — теперь я ничем не дорожу». Не знаю, как г-же Шелгуновой удалось, для своего успокоения, поместить Серно-Соловьевича в дом умалишенных, но это несомненный факт. Вероятно, друзья Серно-Соловьевича помогли».

В лечебницу Брестенберг в Аарау больного помещает Александр Черкесов, лицейский друг Серно-Соловьевича, причем деньги на лечение берет втайне от Соловьевича у его злейшего врага Герцена. Черкесов, в юности революционер, поддерживает своего друга в эмиграции. В 1865 году Черкесов уезжает на родину, где подвергается аресту, но ненадолго, выходит на свободу и открывает в Петербурге и в Москве популярные книжные магази-

ны. В 1869—1870 годах он снова будет арестован по нечаевскому делу, но опять ненадолго. Впоследствии Черкесов станет адвокатом и мировым судьей.

«Раз перед вечером, — читаем дальше у Тучковой-Огаревой, — мы сидели втроем: Огарев, Герцен и я; вдруг дверь быстро отворяется и вбегает человек с растерянным видом, оглядывается по сторонам, потом падает на колени перед Герценом — это Серно-Соловьевич, я узнаю его.

— Встаньте, встаньте, что с вами, — говорит Александр Иванович тронутым голосом.

— Нет, нет, не встану, я виноват перед вами, Александр Иванович, я клеветал на вас, клеветал на вас даже в печати... А все-таки я у вас прошу помощи, вы защитите меня от моих друзей, они опять запрут меня туда, чтоб ей было покойно. Вы знаете, я бежал из сумасшедшего дома, и прямо к вам, к врагу.

Герцен и Огарев подняли его, жали ему руки, уверяли его, что не помнят зла, и оставили у нас, но убедительно просили не ходить туда (к г-же Шелгуновой), где все его раздражало.

Они смотрели на него всепрощающим взглядом, и я думала, глядя на них, что так, должно быть, любили и прощали первые христиане».

Летом 1866-го после побега Серно-Соловьевича из лечебницы Герцен и Огарев, желая помочь хоть и личному врагу, но товарищу по борьбе, поручают ему корректуру «Колокола», чтобы дать молодому революционеру заработок. Это, однако, не помешает

А.А.Серно-Соловьевич



Серно-Соловьевичу написать брошюру против своего благодетеля. А может, именно то, что он зависел материально от ненавистного ему Герцена, и сыграло свою роль. «Через короткое время, — пишет Тучкова-Огарева, — Серно-Соловьевич не выдержал, ушел туда, где его раздражали до бешенства, и его опять отвезли в психиатрическую больницу».

В 1867 году он, выйдя в очередной раз из лечебницы, публикует нашумевшую брошюру «Наши домашние дела», в которой крепко и не на самом высоком уровне полемики достается Герцену. Серно-Соловьевич от лица русской молодой эмиграции хоронит Герцена заживо, называет его «мертвым человеком», от которого уже нечего ждать. Особенно ополчился Серно-Соловьевич на фразу Герцена из статьи «Порядок торжествует»: «Мысль о перевороте без кровавых средств нам дорога...»

Дальнейшая жизнь Серно-Соловьевича — яркое быстрое угасание. В короткие просветы он снова бросается в революцию — становится членом женевской секции Интернационала, вступает в переписку с Марксом. Тот посылает своему русскому приверженцу первый том «Капитала» — сразу по выходе в свет. В конфликтах, раздиравших Интернационал, Серно-Соловьевич расходится с русскими, пошедшими в массе своей за Бакуниным.

Болезнь прогрессирует. Еще одним сильным ударом является известие о смерти брата Николая в русской тюрьме. В будущем некрологе, написанном Утиным, будут приведены слова Серно-Соловьевича, объяснявшие сделанный им выбор: «Меня мучит, что я не еду в Россию мстить за гибель моего брата и его друзей; но мое единоличное мщение было бы недостаточно и бессильно; работая здесь в общем деле, мы отомстим всему этому проклятому порядку, потому что в Интернационале лежит залог уничтожения этого порядка повсюду, повсеместно!»

Просветы в помешательстве становятся все реже. Узнав от врача, что состояние его безнадежное, Серно-Соловьевич уже в последний раз бежит из больницы и 4 августа 1869 года кончает с собой в Женеве, на своей квартире на улице Савуаз (rue de Savoises, дом не сохранился). Тучкова-Огарева: «Серно-Соловьевич кончил самоубийством, и каким страшным! Он дал себе три смерти: отравился, перерезал жилы и задохся от разожженных углей в жаровне. Настродался и вышел на волю!» Его уже разлагавшийся труп нашли в квартире только через несколько дней — по запаху, потревожившему соседей.

В своем предсмертном письме он написал: «Я люблю жизнь и людей и покидаю их с сожалением. Но смерть – это еще не самое большое зло. Намного страшнее смерти быть живым мертвецом».

В своих обширных мемуарах Шелгунова упомянет отца своего ребенка лишь одной фразой: «Второй брат, Александр, предвидя арест, успел уехать за границу, где прожил лет пять то в больнице, то на свободе, так как он был душевнобольным, как была душевнобольной и его мать, и затем кончил дни свои самоубийством».

В короткий период работы корректором в «Колоколе» Серно-Соловьевич жил у Герценов – в их женевском поместье Шатле-де-ла-Буасьер (Le Châtelet de la Boissière, Route de Chêne), скромно называемом Тучковой-Огаревой в своих воспоминаниях дачей. Это первый постоянный адрес Герцена в Женеве после переселения его на континент.

Отношения гражданина общины Муртен в кантоне Фрибур со своей избранной родиной складываются не менее сложно, чем с родиной неизбранной. В одном из писем Герцен пишет о достижениях демократической республики: «Gott protege la Svizzera! Вот что может сделать народ в 3 миллиона, когда он народ, а не стадо. Ну что галлы и немцы... Шутки в сторону, я горжусь моим отечеством-bis». В другом письме: «То все до того ужасно, что заставляет ненавидеть эту подлюю Швейцарию».

В 1849 году он бежит в Швейцарию из Парижа, спасаясь от полиции и холеры. Те первые швейцарские годы омрачены трагическими событиями: предательством друга Гервега, гибелью матери, сына, мучительной болезнью и смертью жены. Последовавший переезд из Швейцарии в Лондон – это и попытка оторвать от себя прошлое. «Дело» захватывает его, помогает выжить в череде семейных несчастий. После смерти Николая I одним из первых вырывается на Запад Огарев. Вдвоем с другом они своими изданиями дают голос рождающемуся общественному мнению России. Но и бесконечной семейной трагедии придается новый импульс. Тучкова уходит от Огарева и становится женой Герцена почти сразу после приезда их в Лондон – союз, не принесший счастья никому. Клубок страстей, ненависти и любви только затягивается. Герцен мечтает о большой дружной семье, но Тучкова восстанавливает против себя детей его из первого

брака, все усложняет ее характер, крутой и истеричный. Семья распадается, старшие дети Герцена разъезжаются, воспитываются кто где, по разным семьям и странам, их отношение к мачехе становится почти враждебным. У Герцена и Тучковой рождаются дочь Лиза, близнецы Елена и Алексей. Но надежда, что новая семья принесет счастье, тоже обманывает. Борцы против мещанской морали на словах и передовые люди своего времени в блистательных статьях, в быту они — обыкновенные смертные и свои «внебрачные» отношения пытаются держать втайне от всех, а дети Тучковой и Герцена считаются детьми Огарева. Очередной удар не имеющей жалости судьбы — умирают близнецы. Тучкова после пережитой трагедии хочет уехать в Россию с Лизой, их старшей дочерью. Герцен не отпускает ребенка, борьба за дочь принимает формы драматические. Вся эта обстановка, в которой проходит детство, не может не сказаться на ребенке. Лиза ненадолго переживет своего отца — в семнадцать лет она покончит с собой.

Переезд из Лондона в Женеву в 1865 году — еще одна попытка уйти от прошлого: от смертей самых близких людей, от разочарований, неудач. Главная надежда — возрождение «Колокола». В 1865—1868 годах «Колокол» издается Герценом в Женеве. Вольная русская типография располагается на площади Пре-л'Эвек (Pré-l'Évêque, 40), вблизи Женевского озера. Дом этот не сохранится, в семидесятые годы XX столетия район подвергнется реконструкции, и здание снесут. Герцен живет в Женеве с неболь-

Поместье Герценов Буасьер



шими перерывами с 1865 года до своей смерти в 1870-м. Женеву он так и не сможет полюбить.

«Весной 1865 года из Ниццы мы переехали прямо на дачу близ Женевы, — вспоминает Тучкова-Огарева. — Дача эта называлась Château de la Boissière и была нанята для нас, по поручению Герцена, одним соотечественником, г-ном Касаткиным, который жил тут же с семейством во флигеле. Château de la Boissière был старинный швейцарский замок с террасами во всех этажах. Внизу были кухня и службы, в первом этаже — большая столовая, гостиная и кабинет, где Герцен писал; из широкого коридора был вход в просторную комнату, занимаемую Огаревым. Наверху были комнаты для всех нас, т.е. для меня с дочерью, для Натальи Герцен и для Мейзенбург с Ольгой (воспитательница и вторая дочь Герцена от первого брака. — *М.Ш.*). Последние приехали из Италии в непродолжительное время после нашего приезда. Château de la Boissière стоял в большом тенистом саду; перед домом простирался обширный зеленый газон, окаймленный дорожками, которые спускались вниз до огорода; за садом шла большая дорога в Женеву; по этой дороге, несколько раз в день, omnibusы проезжали из Каружа в Женеву, и это составляло большое удобство для обитателей Château de la Boissière».

Описывая свою «дачу», Тучкова-Огарева из присущей революционным демократам скромности не упоминает имени бывшей владелицы роскошного поместья. С 1838 года до своей смерти в 1860 году здесь жила великая княгиня Анна Федоровна — вдова Константина, несостоявшаяся императрица России. В этом затерянном среди парка замке, где в ее комнате на камине стоял бюст Александра I, старая великая княгиня искала покоя и уединения. Ей хотелось, чтобы ее все забыли, — при переписи населения в 1843 году она записалась под именем графини фон Ронау, протестанткой, вдовой. Инкогнито сохранить не удалось, кто-то из чиновников приписал на опросном листе: «Grossfürstin Konstantin» («Великая княгиня Константин»). В покоях несбывшейся властительницы России расположился властитель русских дум.

Женевская жизнь для Герцена, с одной стороны, полна радостных хлопот — с Огаревым вместе устраивается типография для печатания «Колокола», пишутся очерки «Скуки ради», которые легально под прозрачным псевдонимом издаются в России в «Неделе», но, с другой стороны, растет пропасть между ним, вчерашним кумиром молодежи, и новым поколением революционеров.

«Жизнь в Женеве, — пишет Тучкова-Огарева, — не нравилась Герцену: эмигранты находились в слишком близком расстоянии от него; незанятые, они имели слишком много времени на суды и пересуды; их неудовольствие на Герцена, неудовольствие, в котором главную роль играла зависть к его средствам, крайне раздражало Александра Ивановича, тем более что его здоровье с 1864 года начинало ему изменять». Пути все больше расходятся. Герцен восстает против выстрела Каракозова, нового героя русской молодежи: «Только у диких и дряхлых народов история пробивается убийствами». Герцен — противник террора, а это простить ему новое поколение русских революционеров уже не может. Начинается травля. «Далее ясно для меня, — пишет Герцен Тучковой-Огаревой после грубых столкновений с эмигрантами, — что я в Женеве жить не могу». Терпит в конечном итоге фиаско и проект возродить «Колокол» в Швейцарии, снова заставить его звучать на всю Россию. Герцен обречен на непонимание. В конце жизни его ждет одиночество, он теряет общий язык и с читателями, и с родными, и с Огаревым.

Поместье Буасьер, дом желанной встречи семьи и друзей, пустеет. Тучкова-Огарева с дочкой Лизой переезжает в Монтрё. Герцен со старшей дочерью от первого брака Наташей переселяется в центр города, в квартиру на набережной Монблан (quai du Mont-Blanc, 7), Огарев со своей английской подругой жизни Мэри Сэтерленд выбирает для проживания Ланси (Petit Lancy, maison Dunoyer), ближний пригород Женевы.

А.И.Герцен. Рисунок дочери Натальи



Не складывается личная жизнь и у детей Герцена. В Ланси у Огарева живет брошенная гражданская жена сына Герцена — Александра Александровича — Шарлотта Гетсон с сыном Тутсом. В начале 1867 года она утопилась в Женевском озере, через несколько лет ее труп находят на берегу Роны. Тучкова-Огарева видит в этой трагедии вину ненавистной ей англичанки. Оставив Огарева, она все же ревнует бывшего мужа. «Это очень странное зрелище, — пишет она о слиянии Роны и Арвы, том месте, где было найдено тело матери герценовского внука. — Эти реки долго текут рядом, сохраняя каждая свой цвет, и только позже сливаются совершенно. В Роне есть глубокие пещеры, туда прибило тело несчастной Шарлотты. Когда она приехала из Англии с маленьким Тутсом, ее поместили у Огарева в доме, но скоро Мэри стала ревновать ее к Огареву и к своему сыну Генри. Шарлотта любила Огарева как отца; когда она услышала непонятные упреки от Огарева, она поняла, что ее очернила Мэри перед ним; она горько плакала в последний день, просила водки у Мэри, та дала, а вечером Шарлотта исчезла, это дало повод добродетельной Мэри распускать слух, что Шарлотта бросила ребенка на ее печение и бежала с новым любовником, но Рона отомстила Мэри и оправдала несчастную жертву; через четыре года она выбросила из пещеры на поверхность вод тело Шарлотты, полиция вспомнила исчезновение молодой англичанки из Ланси и пригласила Мэри посмотреть на свою жертву: на одной ноге была еще ботинка и в кармане связка ключей. Мэри признала ключи и останки покойницы».

Вслед за Герценом в Швейцарию переезжает Бакунин и поселяется на берегах Женевского озера в Веве. К концу шестидесятых он в зените своей славы ниспровергателя и бунтаря. Слова, сказанные им в двадцать восемь лет: «Страсть к разрушению есть творческая страсть», — становятся девизом его жизни и приносят ему восхищение многочисленных поклонников и поклонниц не только в России. Этот человек стал легендой при жизни. Уже в 1844 году во время заграничной поездки он знакомится с Прудоном и Марксом. В 1848-м он один из лидеров революции — готовит выступление в Австро-Венгрии, руководит восстанием в Саксонии. Во время боев в Дрездене он предлагает взорвать Цвингер — план срывается, потому что подземные ходы гарнизон дворца заливают водой. После поражения восстания Бакунин

арестован, два года проводит в саксонской и австрийской тюрьмах. В заключении он прикован к стене. Тучкова-Огарева: «Он рассказывал нам, что пробовал отравиться фосфорными спичками и ел их без всякого ущерба для своего редкого здоровья». Его выдают России. Семь лет проходят в Алексеевском равелине, еще четыре года — в сибирской ссылке. В Сибири он женится на Антонии Квятковской, наполовину польке. Бакунин преподавал юной девушке иностранные языки, и, обычная история, учитель женится на ученице. Герцен объяснит этот поступок своего друга юности сибирской скукой, позднейшие исследователи объявят эту женитьбу фиктивным браком в духе не написанного еще, но уже назревавшего «Что делать?». Благодаря «разумному эгоизму» девушка покупала себе независимость, старый революционер — солидное положение семейного человека, от которого нельзя ожидать, что он все бросит и через Японию и Америку устремится к новым авантюрам. Будем все же исходить из предположения, что есть области, историкам недоступные. Как бы то ни было, их обвенчали, и они поклялись Богу беречь и любить друг друга до самой смерти.

В 1861 году вскоре после женитьбы Бакунин отправляется в кругосветный побег и приезжает в Лондон к Герцену. Антося — Антония Ксаверьевна — вскоре прибывает за мужем, но в Англии она его уже не застает. Свобода для Бакунина — возможность деятельности. Начинается польское восстание, и он бросается освобождать Польшу. Военная авантюра, однако, не удастся, и корабль вместо берегов Польши пристает к берегу Швеции.

Разочаровавшись в «польском деле», Бакунин отправляется бунтовать Италию, организует тайные общества во Флоренции и Неаполе. Жена еще следует за ним, но явно не разделяет пафоса заговора. «Посмотрите на мою Тосю, — характеризует свою супругу Бакунин приятелю. — Она у меня глупенькая и совсем не разделяет моих убеждений, но она очень мила, чрезвычайно добра и отлично переписывает мне важные рукописи, когда мне нужно, чтобы не узнали мой почерк». В Неаполе «глупенькая Тося» находит человека, более подходящего ее представлению о счастье, — адвоката Гамбуцци, от которого будет иметь детей и за которого выйдет замуж после смерти Бакунина.

Оставив жену в Италии, Бакунин в сентябре 1867 года приезжает в Швейцарию и сразу попадает на Женевский конгресс «мира и свободы», проходивший в Избирательном дворце (Palais

Electoral) на Плас-Нев (Place Neuve). Герцен, презрительно называвший мероприятие, задуманное передовой европейской интеллигенцией как демонстрацию единения миролюбивых сил против угрозы новой войны, «писовкой», отказывается принимать в нем участие. Огарев, наоборот, заседает в руководящих органах конгресса. Свадебным генералом выступает знаменитый итальянский герой Гарибальди.

«В начале сентября 1867 года в Женеве состоялся Конгресс мира, на открытие которого приехал Джузеппе Гарибальди, — вспоминает Анна Григорьевна Достоевская. — Приезду его придавали большое значение, и город приготовил ему блестящий прием. Мы с мужем тоже пошли на rue du Mont-Blanc, по которой он должен был проезжать с железной дороги. Дома были пышно убраны зеленью и флагами, и масса народу толпилась на его пути. Гарибальди, в своем оригинальном костюме, ехал в коляске стоя и размахивал шапочкой в ответ на восторженные приветствия публики. Нам удалось увидеть Гарибальди очень близко, и мой муж нашел, что у итальянского героя чрезвычайно симпатичное лицо и добрая улыбка».

Но главная звезда конгресса — Бакунин. Появление его в зале заседания встречается овацией, в первый же день его избирают вице-президентом конгресса, он занимает место в президиуме рядом с Огаревым.

Очевидец — Григорий Николаевич Вырубов, философ, химик и будущий издатель Герцена, — вспоминает о Бакунине на конгрессе: «Когда он поднимался своим тяжелым, неуклюжим шагом по лесенке, ведущей на платформу, где заседало бюро, как всегда неряшливо одетый в какой-то серый балахон, из-под которого виднелась не рубашка, а фланелевая фуфайка, раздались крики: «Бакунин!» Гарибальди, занимавший председательское кресло, встал, сделал несколько шагов и бросился в его объятия. Эта торжественная встреча двух старых испытанных бойцов революции произвела необыкновенное впечатление. Несмотря на то, что в огромном зале было немало противников, все встали, и восторженным рукоплесканиям не было конца».

Огарев присылает приглашительный билет и Достоевскому. «Интересуясь Конгрессом мира, — вспоминает Анна Григорьевна, — мы пошли на второе заседание и часа два слушали речи ораторов. (Достоевские были на третьем заседании и речи Бакунина не слышали, но и речи других ораторов привели писателя в та-

кое бешенство, что он с проклятиями покинул зал. — *М.Ш.*) От этих речей Федор Михайлович вынес тягостное впечатление...»

Достоевский — Майкову: «Я в жизнь мою не только не видывал и не слыхивал подобной бестолковщины, но и не предполагал, чтоб люди были способны на такие глупости. Все было глупо: и то, как собрались, и то, как дело повели и как разрешили. Разумеется, сомнения и не было у меня в том, еще прежде, что первое слово у них будет: драка. Так и случилось. Начали с предложений вотировать, что не нужно больших монархий и все поделывать маленькие, потом, что не нужно веры и т.д. Это было 4 дня крику и ругательств».

Достоевский — Соне Ивановой: «Гарибальди скоро уехал, но что эти господа, — которых первый раз видел не в книгах, а наяву, — социалисты и революционеры, ввали с трибуны перед 5000 слушателей, то невыразимо! Никакое описание не передаст этого. Комичность, слабость, бестолковщина, несогласие, противуречие себе — это вообразить нельзя! И эта дрянь волнует несчастный люд работников! Это грустно. Начали с того, что для достижения мира на земле нужно истребить христианскую веру. Большие государства уничтожить и поделывать маленькие; все капиталы прочь, чтоб все было общее по приказу и проч. Все это без малейшего доказательства, все это заучено еще 20 лет назад наизусть да так и осталось. И главное огонь и меч — и после того как все истребится, то тогда, по их мнению, и будет мир».

Бакунин и в последующие годы — частый гость Женевы и особенно русской молодежи, боготворившей его. Рассказ об одном из его приездов находим в воспоминаниях Н.Врангеля «От крепостного права до большевиков». Приведем этот замечательный кусок почти целиком.

«Я был ярый поклонник Герцена, и, так как часто его имя проносилось рядом с именем Бакунина, — пишет мемуарист, в то время семнадцатилетний юноша, приехавший в Женеву учиться, — я тоже пожелал его услышать и вечером отправился в Каруж.

Пивная, в которой было назначено собрание, была переполнена. Все наши россияне были налицо и наперерыв лебезили перед великим революционером. Андреев (знакомый Врангеля. — *М.Ш.*) и меня представил Бакунину. Фигура его была крайне типична, как нарочито сколоченная для народного трибуна-демагога. Держался он, как подобает всемирной известности: самоуверенно, авторитетно и милостиво просто.

Какой-то комитет или президиум, не знаю как назвать, поднялся на эстраду, украшенную красным кумачом, красными флагами и гербами Швейцарии, какой-то бородатый субъект сказал несколько громких, подходящих к данному случаю слов, и Бакунин, тяжело ступая, взошел на трибуну и простоял несколько минут безмолвно. Вдруг как будто очнулся и заговорил. Содержание его речи я не помню, и едва ли его можно было передать. Логической последовательности в ней не было, мысли она не изобиловала. Громкие слова, возгласы, удары грома, рычание льва, сверкание молнии, рев бури, что-то стихийное, поражающее, непостижимое. Этот человек был рожден трибуном, был создан для революции. Революция была его естественная стихия, и я убежден, что буде ему удалось бы перестроить какое-нибудь государство на свой лад, ввести туда форму правления своего образца, он на следующий же день, если не раньше, восстал бы против собственного детища и стал бы во главе политических своих противников и вступил бы в бой, дабы себя же свергнуть.

Агитационный анархический листок



Речь Бакунина произвела потрясающий эффект. Прикажи он публике перерубить друг другу горло — она без сомнения это бы сделала. К счастью, он этого не сделал, и мы на этот раз ограничились тем, что до боли отхлопали свои ладоши и до хрипоты натужили свою глотку.

Когда публика перестала неистовствовать и разошлась, Бакунин, окруженный своими почитателями, двинулся к Женеве. Все были возбуждены и довольны, Бакунин в особенности. Проходя мимо какого-то скромного кабака, он круто остановился:

— Господа, предлагаю тут поужинать.

Провожатые помялись. Народ был, видимо, бедный — у большинства, очевидно, в кармане было пусто; у меня было франков десять, у Андреева двадцать. Бакунин заметил нерешимость бедных соотечественников:

— Конечно, угощаю я. А кто не примет мой хлеб-соль, тот анафема. Э, братцы! Сам в передрягах бывал. Валимте.

Сели за стол.

— Господа, заказывайте!

Гости деликатные, как большинство нуждающихся людей, заказали кто полпорции сыра, кто полпорции колбасы, но Бакунин воспротивился. Приказал всем подать мясное и еще какое-то блюдо, сыр, несколько литров вина. Некоторые против такой роскоши восстали, но хозяин пира крикнул «Смирно», и все умолкли.

— Господа, ребята вы теплые и начальству, вижу, спуска не дадите. Это хорошо. Хвалю. Но за столом хозяину противиться не резон. Да здравствует свобода!

Все чокнулись. И пошло.

Бакунин был в ударе, рассказывал о своих похождениях, о жизни в Сибири, бегстве, и время летело незаметно. Начало светать. Подали счет. Бакунин пошарил в одном кармане, в другом — для уплаты не хватило. Он расхохотался.

— Государственное Казначейство за неимением свободной наличности вынуждено прибегнуть к принудительному внутреннему займу. Доблестные россияне, выручайте. Завтра обязательства Казначейства будут уплочены сполна звонкой золотой и серебряной монетой.

Андреев, сияя от восторга, выложил свой золотой, остальные — что кто имел, и все уладилось.

Бакунин деньги вернуть забыл. И бедному Андрееву, да, вероятно, не ему одному, пришлось на несколько дней положить

зубы на полку. Я был, по молодости лет, возмущен. Русских обычаев и нравов тогда еще не знал. Теперь бы это меня не удивило: не то я на своем веку видел», — заключает мемуарист.

Среди участников Женевского конгресса еще одна примечательная личность — Лев Мечников, брат знаменитого физиолога Ильи, который в то время, кстати, тоже живет в Женеве. В юности Лев — страстный революционер. Он сражается в Италии в рядах бойцов Гарибальди и в битве у Вольтурно получает тяжелое ранение, после которого чудом остается жить. Он — один из активнейших сотрудников Герцена по изданию «Колокола», а после разрыва с ним — член русской женевской секции Интернационала и близкий соратник Бакунина. Постепенно он отходит от революционной деятельности и посвящает себя науке, связывая географию с социологией. Он едет на несколько лет в Японию. Возвратившись, Мечников пишет многочисленные научные труды, читает лекции в университетах Западной Швейцарии. Здесь, в альпийской республике, русский революционер-ученый проводит остаток жизни.

В марте 1869 года в Женеве появляется Нечаев. Бакунину молодой революционер представляется лидером могущественной тайной организации, готовой взбунтовать Россию. Бакунин выдает ему мандат от могущественной тайной организации, готовой взбунтовать Европу. «Податель сего есть один из доверенных представителей русского отдела Всемирного революционного союза, 2771». Рядом с подписью Бакунина стоит печать со словами «Европейский революционный союз, Главный комитет». Оба блефуют, и оба довольны заключенной сделкой. Им кажется, вдвоем они смогут взорвать этот ненавистный мир. Разрабатывается план крушения России: проведение массовой пропагандистской кампании и бунт. Для осуществления нужны талантливое перо и деньги. Привлекается Огарев, скучающий без дела после закрытия «Колокола» и все чаще сражающийся со скукой алкоголем. Казна революции все та же — Герцен.

Тучкова-Огарева: «Простившись с Виктором Гюго накануне нашего отъезда, мы отправились опять в Женеву. Там на этот раз Герцена ожидали разные неприятности: Бакунин и Нечаев были у Огарева и уговаривали последнего присоединиться к ним, чтоб требовать от Герцена бахметьевские деньги, или фонд. Эти неотступные просьбы раздражали и тревожили

Герцена. Вдобавок его огорчало, что эти господа так легко завладели волей Огарева.

Собираясь почти ежедневно у Огарева, они много толковали и не могли столкнуться. Рассказывая мне об этих недоразумениях, Александр Иванович сказал мне печально: «Когда я восстаю против безумного употребления этих денег на мнимое спасение каких-то личностей в России, а мне кажется, напротив, что они послужат к большей гибели личностей в России, потому что эти господа ужасно неосторожны, — ну, когда я протестую против этого, Огарев мне отвечает: «Но ведь деньги даны под нашу общую расписку, Александр, а я признаю полезным их употребление, как говорят Бакунин и Нечаев». Что же на то сказать, ведь это правда, я сам виноват во всем, не хотел брать их один»».

«Размышляя обо всем вышесказанном, — продолжает Тучкова-Огарева, — я напала на счастливую мысль, которую тотчас же сообщила Герцену. Он ее одобрил и поступил по моему совету; вот в чем она заключалась: следовало разделить фонд по 10 тысяч фр. с Огаревым и выдавать из его части, когда он ни потребует, но другую половину употребить по мнению исключительно одного Герцена. Последний желал этими деньгами расширить русскую типографию, чтоб со временем новые русские эмигранты воспользовались ею».

Летом 1869 года Герцен по требованию Огарева отдает половину фонда Нечаеву. «На другой день соглашения их с Огаревым относительно фонда, — вспоминает дальше Тучкова-Огарева, — Нечаев должен был прийти к Герцену за получением чека. Я была в кабинете Герцена, где он занимался, когда явился Нечаев. Это был молодой человек среднего роста, с мелкими чертами лица, с темными короткими волосами и низким лбом. Небольшие, черные, огненные глаза были, при входе его, устремлены на Герцена. Он был очень сдержан и мало говорил. По словам Герцена, поклонившись сухо, он как-то неловко и неохотно протянул руку Александру Ивановичу. Потом я вышла, оставив их вдвоем. Редко кто-нибудь был антипатичен Герцену, как Нечаев. Александр Иванович находил, что во взгляде последнего есть что-то суровое и дикое».

Весной и летом 1869 года разворачивается так называемая первая пропагандистская кампания — пишутся и издаются десятки прокламаций с призывом к немедленной расправе и мятежу, составляется пресловутый «Катехизис революционера» — наивно

изложенный устав русской революционной жизни, от которого впоследствии все будут на словах отрешиваться и которому все будут следовать.

Большинство «нечаевских» листовок написаны Огаревым. Ветер с Женевского озера бередит в старом поэте мечты о русском бунте.

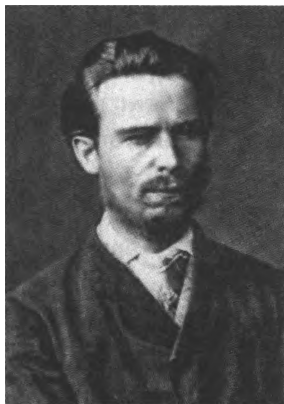
В переписке Огарев называет Нечаева любовно внуком. Дед, как и положено, частенько поучает. Например, ругает Нечаева за выдвинутую им идею отдельных разбойничьих бунтов в провинции и предлагает свой план и масштаб: «Идти быстро с Урала с башкирами и с Дона с киргизами на Москву – составляет стратегическую методу. Сибирь и Кавказ позади всегда окажутся верными союзниками». Среди «стратегических метод» не забываются и тактические мелочи, к примеру: «современное с восстанием ломание одного рельса железных дорог...»

Отношение Герцена к бурной деятельности, развитой революционной тройкой, однозначно. Он выражает его в письме старому другу Огареву: «Я <...> говорил о «психе» – Бакунине, Нечаеве – на пристяжке и о тебе в корню».

Но его время, время здорового герценовского скептицизма, кончается. Жить этому удивительному человеку остается немного.

С бакунинским мандатом осенью 1869 года Нечаев отправляется в Россию – действовать. Однако организованная им партия «Народная расправа» вместо всенародного бунта оказывается способной только на одно-единственное убийство – своего же

С.Г.Нечаев



товарища, засомневавшегося в том, что рассказывал Нечаев о всемирной революционной организации, и вообще задававшего слишком много вопросов, — «шибко умных» в России никто не любит, ни царизм, ни его противники. Студент Иванов убивается именем мифического Всемирного революционного союза. Убийцы, такие же юноши-студенты, так теряются, что, забыв про имевшееся у них оружие, забивают несчастного камнями и кулаками, а в конце душат руками. Только когда Иванов уже мертв, доверенный представитель Бакунина № 2771 достает револьвер и для большей уверенности стреляет труп в голову.

Нечаев снова бежит за границу. Бакунин, проживающий в это время в Тессине, узнает, что Нечаев, которого в письме ласково называет «наш Бой», в Швейцарии, и приглашает его к себе в Локарно.

21 января 1870 года умирает Герцен. Нечаев сразу ставит вопрос о второй части бахметьевского фонда. В начале февраля он уже в Женеве, куда к Огареву приезжает после смерти Натальи Герцен. На семейном совете Тучкова-Огарева и старший сын Герцена — Александр Александрович — решают согласиться на требования революционеров.

Тучкова-Огарева вспоминает:

«После кончины своего отца Александр Александрович сказал мне:

— Мы честные люди, Натали, и мне не хочется держать у себя эти деньги. Много ли их осталось у нас, ты лучше знаешь эти дела?

— Десять тысяч франков, — отвечала я.

— Скажи твое мнение, — сказал он.

— Твой отец желал употребить эти деньги на расширение типографии, но так как ты не станешь заниматься русской пропагандой, пожалуй — лучше отдать эти деньги Огареву с Бакуниным; тогда на тебе не будет никакой личной ответственности за них, — сказала я.

Александр Александрович поехал в Женеву и вручил деньги...»

С февраля по июнь 1870 года проводится вторая пропагандистская кампания. Содержание все то же — Русь неустанно призывается к топору.

В брошюре «Постановка революционного вопроса» Бакунин излагает свою любимую мысль о русском разбойнике: «Разбой — одна из почтеннейших форм русской народной жизни... Разбойник — это герой, защитник, мститель народный, непримиримый

враг государства и всего общественного и гражданского строя, установленного государством...»

В брошюре «Начало революции» объясняется, как нужно начинать революцию: «Данное поколение должно начать настоящую революцию <...> должно разрушить все существующее сплеча, без разбора, с единым соображением «скорее и больше». <...> Яд, нож, петля и т.п.!.. Революция все равно освящает в этой борьбе... Это назовут терроризмом! Этому дадут громкую кличку! Пусть! Нам все равно!»

Деньги из фонда быстро улечиваются. Снова остро встает вопрос о средствах. Взоры революционеров обращаются на сироту, получившую в наследство часть герценовских капиталов. Наташу Герцен, еще не совсем оправившуюся после тяжелой болезни, втягивают в «русское дело».

Краткая предыстория ее заболевания такова: во Флоренции молодая девушка встречается со слепым музыкантом сицилианцем графом Пенизи. Герцен, в восторге от его таланта, пишет дочери Лизе: «Слушай же, он компонист, играет превосходно на

Н.А.Тучкова-Огарева со старшими детьми А.И.Герцена



фортепьяно и поет. Говорит сверх своего языка совсем свободно по-французски, по-немецки, по-английски, пишет (т.е. диктует) стихи и статьи; знает все на свете... Я еще такого чуда не видывал».

Итальянец влюбляется в Наталью и так настойчиво добивается любви впечатлительной девушки, что доводит ее до помешательства. Герцен, узнав о сумасшествии дочери, бросается в Италию, чтобы забрать ее. 8 ноября 1869 года пишет Огареву из Флоренции: «Пенизи — злодей, защищенный своей слепотой, — прямо и просто бил на деньги. Если б можно было обломать ему руки и ноги — это было бы хорошо...»

Тучкова-Огарева рассказывает: «Бакунин и Огарев знали о недавней болезни Наташи, болезнь которой едва начинала проходить и в которой ей постоянно мерещились самые драматические сцены из революции: во время болезни ее страдания были так сильны, так живы, что я сама настрадалась, глядя на нее. Тем не менее эти господа решились, со странной необдуманностью, вовлечь ее в революционные бредни их партии. Видя в больной богатую наследницу части состояния Герцена, Бакунин не задумался пожертвовать ею для дела, забывая, что именно революционная обстановка могла угрожать ей рецидивом болезни. Бакунин делал это не из личной жадности к деньгам; он не придавал им никакого значения, но он любил революционное дело как занятие, как деятельность, более необходимую для его беспокойной натуры, чем насущный хлеб. Наташа возвратилась к нам в Париж молчаливая, исполненная таинственности, и объявила нам, что намерена поселиться в Женеве близ Огарева».

Тучкова-Огарева едет с падчерицей. Для Наташи начинается новая жизнь, посвященная революции.

«Приехав в Женеву, мы сначала поместились в каком-то маленьком пансионе... Каждый день с утра Наташа отправлялась к Огареву и там садилась за письменный стол, ей дали обязанности секретаря общества, и некоторое время она не понимала, что они так же играют в тайны, как дети в куклы. Иногда она уходила с сильной мигренью, я отсоветовала ей идти, но она отвечала, что ей не дозволено пропустить и одного дня; случалось, что ей становилось там еще хуже, она принуждена была бросить работу, прилечь на диван и ночевать у Огарева, а я ее ожидала в большем беспокойстве».

Впечатлительная Наташа знакомится с демоническим двадцатитрехлетним Нечаевым. Происходит то, о чем спорит не одно поколение историков, — молодой человек влюбляется. Было ли это внезапное, но столь естественное для его возраста чувство, растопившее каменное сердце революционера, или это был тонкий расчет в полном соответствии с «Катехизисом» — все средства хороши в борьбе за средства на революцию? Уже в марте 1870-го через несколько встреч происходит объяснение. Как бы то ни было, Наталья дает понять, что молодой человек не может рассчитывать на взаимность.

Нечаев вынужден из соображений конспирации скрываться где-то в горах и забрасывает ее длинными любовными посланиями. 26 мая: «Писать к вам становится трудной, хотя и любимой задачей. Вы хорошо знаете, почему я не могу говорить с вами обиняками, почему не могу скрыть того, что думаю, и почему не в силах сдержать ту горячность (по-вашему, грубость), что выходит прямо из души...» 27 мая: «Надо было бережно обходиться с вами, а я поступал с открытой искренностью и несдерживаемой прямоотой... Я верю в истину своих убеждений, верю в то, что они возьмут верх. Уверенность в вас у меня так глубока, что я не колебался даже в те минуты, когда вы... казалось, ненавидели меня, когда вы готовы были оторваться от меня. <...> Не думаю, чтобы нужно было пояснять мои желания, мои стремления видеть вас настоящей женщиной. Причина страстной неотступности для вас ясна: я вас люблю». 30 мая: «Я в глуши, без писем, в неизвестности, я здесь измучился от тоски <...> Как бы хотелось мне вас видеть!.. Соберитесь сюда погулять... Это всего 6 часов езды от Женевы... Ради «дела», ради всего того, что вы по-своему считаете святым, не отнеситесь к этому горячему желанию еще раз видеть вас с какой-нибудь скверной задней мыслью. Не много у меня светлых минут в жизни, прошлое мое бедно радостями. Не отравляйте же и теперь подозрением самое чистое, высокое, человеческое чувство».

Тучкова-Огарева вспоминает: «Раз, часа через два после ее ухода, мне приносят от нее записку, в которой она говорит, что уезжает на два дня в Берн к Марии Каспаровне Рейхель, давнишнему другу Герцена и его семейства. На третий день она возвратилась и призналась мне, что вовсе не была у Марии Каспаровны...» По поручению Огарева Наталья ездила в горы передавать Неча-

еву какую-то рукопись. Как видим, Огарев принимал активное участие в этой затеянной Нечаевым вокруг Натальи игре. «...Ей пришлось совершить трудный путь одной с проводником, — продолжает Тучкова-Огарева, — ночевать в каком-то пустынном месте у глухой и неприветливой старухи».

Однако события развиваются не в пользу Нечаева. В начале мая 1870 года в Женеву приезжает Герман Лопатин. Несмотря на свои двадцать пять лет, он имеет за плечами большой революционный опыт: аресты, ссылки, побег. Это он привез из ссылки в начале 1870 года Лаврова. Лопатин, авторитет и совесть русской революционной эмиграции, приезжает в Швейцарию выяснить «нечаевский» вопрос — к этому времени набирается уже много материала против лидера «Народной расправы».

В Женеве происходит собрание эмигрантов. Из донесения шпиона П.Г.Горлова в Третье отделение узнаем о составе собравшихся: «Собрание состоялось 7 мая 1870 года. На этой сходке присутствовали: бывшая жена Огарева, а теперь почему-то называющая себя женой Герцена, старшая и младшая дочери Герцена, м-м Озерова, русская, настоящей фамилии которой еще не знаю, Жуковский с женой, Элпидин, Гулевич, Мечников, Озеров, Огарев, Лопатин. Из неэмигрантов один, называющий себя Романовым из Казани, и другой назывался Серебренниковым, и я. Бакунина в Женеве не было». Лопатин разоблачает бесконечные мистификации Нечаева. В Женеву срочно вызывают Бакунина из Локарно и его «Боя».

В конце мая происходит очная ставка затронутых лиц. Лопатин в присутствии Бакунина и Нечаева бросает последнему обвинения во лжи, фальсификации, воровстве бакунинских бумаг с целью шантажа и прочих грехах. Бакунин потрясен разоблачениями. Через несколько дней, 2 июня, он пишет Нечаеву: «Я не могу выразить, мой милый друг, как мне было тяжело за вас и за самого себя. Я не мог более сомневаться в истине слов Лопатина. Значит, вы нам систематически лгали. Значит, все ваше дело проникло протухшей ложью, было основано на песке...»

Однако что такое обвинение в нечестности для настоящего революционера? «Мера дружбы, преданности и прочих обязанностей в отношении к товарищу определяется единственно степенью полезности в деле всеразрушающей практичес-

кой революции» — эти слова из «Катехизиса» писали ведь вдвоем. Важна лишь польза для «дела», а польза от такой способной на все личности, как Нечаев, — несомненная. Уже через неделю, 9 июня, Бакунин отсылает Нечаеву письмо с предложениями о дальнейшем сотрудничестве: в случае согласия Нечаева на его, Бакунина, анархистские принципы построения нового общества после низвержения старого строя, т.е. без дороги для Нечаева диктатуры, Бакунин предлагает «новую крепкую связь», а также организовать совместное «заграничное бюро для ведения без исключения всех русских дел за границей» и издавать «Колокол» «с явную революционную социалистическую программу».

При этом копию письма Бакунин посылает Огареву и Наталье Герцен — на одобрение. Наталья, видно, недостаточно изучив «Катехизис», простодушно выражает сомнение: как может служить «делу» человек, который обманывал и использовал других? Бакунин в ответном письме от 20 июня терпеливо растолковывает

«Колокол», возрожденный после смерти А.И.Герцена
Н.П.Огаревым и С.Г.Нечаевым



вает девушке тонкости революционной нравственности и уже защищает Нечаева: «Друг наш Барон (Нечаев. — *М.Ш.*) отнюдь не добродетелен и не гладок, напротив, он очень шероховат, и возиться с ним нелегко. Но зато у него есть огромное преимущество: он предается и весь отдается, другие дилетантствуют; он чернорабочий, другие белоперчаточники; он делает, другие болтают; он есть, других нет; его можно крепко ухватить и крепко держать за какой-нибудь угол, другие так гладки, что непременно выскользнут из ваших рук; зато другие люди в высшей степени приятные, а он человек совсем неприятный. Несмотря на это, я предпочитаю Барона всем другим и больше люблю, и больше уважаю его, чем других».

2 июля Бакунин снова приезжает в Женеву на встречу с Нечаевым, чтобы решить при личном разговоре все вопросы. Нечаев приходит с Владимиром Серебренниковым, единственным другом, который останется верным ему до конца. На встрече присутствует Огарев. Разговор ведется на повышенных тонах и кончается взаимными оскорблениями и разрывом. Нечаев требует денег — речь идет об остатке второй части бахметьевского фонда — и в конечном счете получает их. Бакунин требует вернуть украденные у него Серебренниковым письма, которые его каким-то образом компрометировали, однако писем не получает. Наговорив друг другу много неприятностей, два великих революционера расстаются навсегда.

Огарев после разрыва Бакунина с Нечаевым требует от последнего покинуть Швейцарию. Особенно поэта, призывавшего в прокламациях русских мужиков грабить и расправляться с богачами, возмутило, что Нечаев подговаривал Генри Сэтерленда, к которому Огарев относился как к сыну, грабить богатых туристов, путешествовавших по Швейцарии, или — на будущем языке русской революции — заниматься «эксами».

«Тогда уже полиция искала Нечаева, — продолжает свой рассказ Тучкова-Огарева, — и в этот раз во время прогулки Нечаева с Серебренниковым полицейские напали на них: однако Нечаев успел убежать, а Серебренникова схватили и отвели в тюрьму. <...> Когда его арестовали, Серебренников жил у Огарева; через несколько дней после его ареста полицейский является к Огареву, говоря, что Серебренников просит свой *sacvoiage* с бумагами; Огарев не догадался, что это полицейская уловка, и выдал бумаги Серебренникова. Последний был в отчаянии, когда узнал об

этом, потому что в бумагах были письма, имена, он мог многим навредить».

Серебренников, однако, вскоре отпущен на свободу. Специально вызванные из России свидетели: сторож Андреевского училища, в котором преподавал Нечаев, и сторож университета, знавшие Нечаева в лицо, — удостоверяют, что предьявленная им личность не есть Нечаев.

«В это время русские эмигранты, не исключая и женщин, много толковали об убийстве Иванова Нечаевым, — читаем дальше у Тучковой-Огаревой. — От самого Нечаева никто ничего не слышал, он упорно молчал. Эмигранты разделились на две партии: одни находили, что надо подать прошение швейцарскому правительству, убеждая его не выдавать Нечаева и заявляя, что вся русская эмиграция с ним солидарна; другие, наоборот, не признавали никакой солидарности с ним и утверждали, что, не слыша ничего от самого Нечаева, нельзя сделать себе верного представления об этом деле и прийти к какому-нибудь заключению, и мы с Наташей так же думали».

Во всяком случае, и те и другие считали долгом чести спасти убийцу. Наташа Герцен приводит тайком Нечаева к себе в дом, и там он скрывается некоторое время. Помочь ему выбраться из Женевы берется сама Тучкова-Огарева и устраивает побег среди бела дня с хладнокровием героинь приключенческих романов: «Я заказала с утра карету с парой хороших лошадей к двенадцати часам. В двенадцать часов карета с прекрасной парой гнедых лошадей стояла у нашего крыльца. ...Прислуга, приняв Нечаева за одного из русских, которые бывали у нас, не обратила на него никакого внимания, тем более что все делалось открыто, днем и без всякой таинственности. Мы сошли втроем, я села с Нечаевым рядом, моя дочь впереди, и мы быстро помчались из Женевы. ...Полиция никак бы не предположила, что Нечаев выехал из Женевы в полдень, в таком красивом экипаже и на таких быстрых конях; мне приятна была почти верная удача, а жутко, — это то чувство, которое, вероятно, испытывают игроки».

А когда Нечаева все-таки арестовывают в Цюрихе, Тучкова-Огарева идет просить за него. В разговоре с директором полиции она восклицает: «Неужели Швейцария, страна свободы, унизит себя до выдачи обвиняемого! <...> Пожалуйста, — продолжала я с жаром, — если вам дорога честь вашей родины, дайте средства

вашему заключенному скрыться, бежать хоть в Америку, там пока не выдают еще людей; подумайте, это пятно ничем не смывается, оно запишется в историю — пожалейте свободную Гельвецию, она не знает, что делает, она в буржуазной горячке!»

Нечаева все же выдают. Проведя много лет в одиночке Алексеевского равелина Петропавловки, он умрет несломленным.

Выдача Нечаева — случай почти исключительный в истории русско-швейцарских отношений. Впредь Швейцария не станет «унижать себя», и многочисленные русские бомбисты будут спокойно готовить свои теракты на берегах тихих альпийских озер.

В 1872 году в Женеву в первый раз приезжает Кропоткин. Приезжает учиться социализму: «После нескольких дней, проведенных в Цюрихе, я отправился в Женеву, которая была тогда крупным центром Интернационала...»

Русская секция Первого Интернационала — одна из самых активных, так что присмотримся к ней повнимательней.

«Женевские секции Интернационала собирались в огромном масонском храме Temple Unique, — описывает свои впечатления Кропоткин в «Записках революционера». — Во время больших митингов просторный зал мог вместить более двух тысяч человек. По вечерам всякого рода комитеты и секции заседали в боковых комнатах, где читались также курсы истории, физики, механики и так далее. Очень немногие интеллигентные люди, приставшие к движению, большей частью французские эмигранты-коммунисты, учили без всякой платы. Храм служил, таким образом, и народным университетом, и вечерним сборным местом. Одним из главных руководителей в масонском храме был Николай Утин, образованный, ловкий и деятельный человек. Утин принадлежал к марксистам. Жил он в хорошей квартире с мягкими коврами, где, думалось мне, зашедшему простому рабочему было бы не по себе...»

Уже знакомый нам Николай Утин после провалившейся попытки сплотить русскую революционную эмиграцию пытается сам издавать журнал, который должен взять на себя роль отзвонившего «Колокола». В 1868 году он выпускает вместе с Бакуниным журнал «Народное дело», однако уже после первого номера, в котором почти все материалы принадлежат перу великого анархиста, происходит разрыв с Бакуниным. Видя, что место пророка в своем отечестве занято, Утин делает ставку на Маркса и реша-

ет попробовать себя в качестве лидера русского марксизма. Он вступает в Интернационал, делается одним из доверенных лиц Маркса, секретарем русской женеvской секции, быстро выходит в руководители и продолжает издавать «Народное дело», но уже другим – антибакунинским. Редакция и типография журнала сперва располагаются позади вокзала на улице Монбриан, 8 (дом больше не существует), потом, с декабря 1870-го, переезжают по адресу: Норд, 15, сейчас улица Баль (rue de Bale). Утин обращается к Марксу с просьбой быть представителем России в Генеральном совете Интернационала. В ответном письме, направленном на адрес журнала, Маркс дает свое согласие. В борьбе Интернационала против Бакунина Утин принимает самое активное участие, за что, верно, и заслуживает доверие Маркса, ненавидевшего русского бунтаря.

Борьба эта принимает порой и комические, и кровавые формы. Приходится Утину даже быть битым бакунинскими сторонниками. Так, революционер-эмигрант Сажин-Росс в своих воспоминаниях сообщает о приеме, устроенном русской молодежью посланцу Интернационала. Утин приезжает в Цюрих, чтобы выступить перед студентами с рассказом о работе женеvской секции, но русский Цюрих 1870-х годов не любит марксистов. «На второй день вечером состоялась демонстрация; все ее участники, человек 20–25, расположились небольшими группами в трех местах вдоль улицы, по которой Утин возвращался от квартиры Яковлевой (знакомая Утина. — М.Ш.) к себе в гостиницу во Флюнтерне (предместье города, где обычно жило всякое студенчество). Как только, идя от Яковлевой, он поравнялся с первой группой, его встретили свистки и враждебные крики; он ускорил шаг, а подойдя ко второй группе и услышав такой же прием, пустился бежать; когда же он проходил мимо нас четверых, последней группы, и услышал то же самое, то побежал уже полным аллюром. <...> Он угодил в канаву, сорвавшись с положенной через нее доски, разбил свои очки и поцарапал щеку и нос». В своих записках Сажин лукавит – на самом деле Утина в кровь избили.

В воспоминаниях современников Утин редко выступает один. Члены его секции представляли собой весьма колоритное для неподготовленного наблюдателя зрелище. Писатель Боборькин, встретившийся с Утиным на одном из Конгрессов мира и свободы, в работе которых Утин непременно участвовал, пишет в своих мемуарах:

«И в Берне, и на следующем конгрессе, в Базеле, русская коммуна (или, как острили тогда между русскими, «утинские жены») отличалась озорством жаргона, кличек, прозвищ и тона. Все это были «Иваны», «Соньки», «Машки» и «Грушки», а фамилий и имен с отчеством не употреблялось. Мне случилось раз ехать с ними в одном вагоне в Швейцарии, кажется, после одного из этих конгрессов. Они не только перекликались такими «уничтожительными» именами, но нарочно при мне отпускали такие фразы:

- Ты груши слопала все? – спрашивала Сонька Машку.
- Нет, еще ни одной не трескала.

Это был своего рода спорт «опрощения».

В середине семидесятых Утин разочаровывается и в марксизме. Он отходит от политической деятельности, бросает Интернационал и уезжает в Брюссель учиться на инженера. Получив диплом, работает на строительстве железной дороги в Румынии. Утин с женой подают прошение о помиловании, в котором отрезаются от революционных грехов молодости, и в 1880-м получают разрешение вернуться в Россию. До своей смерти в 1883 году он работает инженером на Урале, а его жена – писательница Наталья Иеронимовна Утина-Корсини – становится автором произведений из жизни революционеров. Так, например, в романе «Жизнь за жизнь», в котором действие происходит на берегах Женевского озера, она описывает семейную драму Герцена.

Среди тех, кого Боборыкин иронически называет «утинскими женами», были женщины по-своему выдающиеся. Например, Екатерина Бартенева. Вместе со своим мужем, Виктором Ивановичем Бартеневым, она сначала бакунистка, потом в 1868 году вместе с Утиным становится членом-учредителем русской секции Интернационала, а в 1871 году принимает участие в Парижской коммуне.

Вообще на баррикадах Парижа много русских женевцев. «Красной девой Монмартра» называют Елизавету Дмитриеву-Кушелеву. Вот еще одна удивительная судьба. Как это тогда было принято среди молодежи, Елизавета в семнадцать лет фиктивно выходит замуж – за неизлечимо больного чахоткой – и уезжает за границу, в Женеву. Здесь девушка сближается с Утиным, вступает в русскую секцию Интернационала, принимается активно разоблачать бакунистов и за свои заслуги посылается представителем русской секции в Лондон к Марксу. Юная русская социали-

стка производит на того сильное впечатление, что сыграет еще свою роль в ее изломанной судьбе. Назревают революционные события в Париже, Елизавета отправляется на баррикады Коммуны. Восторженные мемуаристы описывают ее бросающей зажигательные речи в толпу с трибун всех митингов. Двадцатилетняя красавица, одетая в черное пальто, так воодушевляется во время речи, что распахивает полы и всем становятся видны ее развевающийся красный шарф и револьвер на поясе. Вместе с французской героиней Коммуны, Луизой Мишель, Елизавета командует коммунарским «женским батальоном» и принимает участие в боях. После «кровавой майской недели» она благополучно возвращается в Женеву. Однако героическая девушка скоро покидает круг революционной эмиграции и едет в Россию. Там ее ждет новое испытание. Она влюбляется в некоего Давыдовского, одного из лиц, проходивших по нашумевшему делу о подделке векселей — процессу «червонных валетов». В 1876 году Утин пишет из Женевы Марксу, что ее муж находится в тюрьме по обвинению в принадлежности к обществу мошенников, которые вымогали деньги обманными путями, и что Елизавета обратилась к своему бывшему товарищу по революции Утину с просьбой достать три тысячи рублей для оплаты адвоката. Маркс принимает случившееся близко к сердцу и пишет своему знакомому, историку и социологу, тоже, кстати, хорошо знающему Швейцарию, автору работы «Очерк истории распада общинного землевладения в кантоне Ваадт», Максиму Ковалевскому, в Москву: «Я узнал, что одна русская дама, оказавшая большие услуги партии, не может из-за недостатка в деньгах найти в Москве адвоката для своего мужа. Я ничего не знаю о ее муже и о том, виновен ли он или нет. Но так как процесс может кончиться ссылкой в Сибирь и так как г-жа *** решила следовать за своим мужем, которого считает невиновным, то было бы чрезвычайно важно помочь найти ему хотя бы защитника». Давыдовский на суде признает, что подделывал векселя, и получает ссылку. «Красная дева Монмартра» отправляется за своим «червонным валетом» в далекое Заледеево под Красноярском.

Среди тех, кто едет из Женевы на парижские баррикады, и Анна Корвин-Круковская (Жаклар), старшая сестра знаменитой Софьи Ковалевской. Экзальтированная натура Анны проявляет себя уже в ранней юности. Начитавшись романов, генеральская дочь селится в башне и занимается самобичеванием. Романтичес-

кая девушка ищет выход из повседневности. Не имея возможности покинуть родительский дом, она улетает из него мыслью — начинает писать и тайком посылает тексты в журналы. Талант ее открывает Достоевский и публикует в своей «Эпохе». Гонорар, присланный за напечатанный рассказ, попадает в руки отца, происходит скандал. «Теперь ты продаешь свои повести, — возмущается старый генерал, — а придет, пожалуй, время, и себя будешь продавать». Встреча с Достоевским все-таки происходит — под присмотром матери и теток. Юная неотразимая писательница производит такое впечатление на Достоевского, что он делает ей официальное предложение. Своей сестре Софье, будущему стокгольмскому профессору, Анна признается: «Ему нужна совсем не такая жена, как я. Его жена должна совсем, совсем посвятить себя ему, всю свою жизнь ему отдать, только о нем и думать. А я этого не могу, я сама жить хочу». Достоевский получает отказ. Сестры Корвин-Круковские решают фиктивно выйти замуж и уехать за границу. Находится подходящая кандидатура — Владимир Онуфриевич Ковалевский. Тот, несколько поколебавшись, останавливает свой выбор на младшей. Анна вместе с молодоженами в 1869 году отправляется за границу. Их пути расходятся: Ковалевский остается в Вене, Софья отправляется в Гейдельберг, а Анна едет в Париж. Там она быстро выходит замуж за революционера Жаклара, которого привлекают к суду по обвинению в заговоре против императора, и летом 1870 года оба вынуждены бежать в Швейцарию. В Женеве Анна сближается с членами

С.В.Ковалевская

А.В.Корвин-Круковская (в замужестве Жаклар)



русской секции Интернационала и, когда начинаются события в Париже, отправляется с супругом и товарищами по русской секции во Францию. Сам Жаклар — один из лидеров Коммуны, сражается во главе батальонов Монмартра. Анна не отстает от мужа и входит в комитеты бдительности: борется за устранение монахинь из госпиталей и против уличной проституции. Вместе с Софьей, пробравшейся в Париж, чтобы уговорить сестру покинуть революционную столицу, Анна под бомбежкой занимается перевязкой раненых. После подавления Коммуны Жаклара арестовывают — ему предъявлено обвинение в руководстве событиями и в расстреле генералов. Анна с сестрой умоляют отца самого приехать во Францию и ходатайствовать перед версальским правительством о смягчении участи Жаклара. Старик-генерал Корвин-Круковский, знакомый Тьера по минеральным водам, приезжает с женой в Париж и, сговорившись с новой администрацией и подкупив мелких чиновников, устраивает побег зятя из версальской тюрьмы. Жаклары оказываются на свободе — сперва в Берне, потом какое-то время живут в Цюрихе. В Швейцарию к сестре приезжает Софья Ковалевская. Елизавета Литвинова в своих швейцарских воспоминаниях приводит слова Анны о младшей сестре, что та «мало понимает семейные радости; жизнь ее самой сложилась как-то искусственно». И дальше: «Я спросила: «Разве Софья Васильевна сама никогда не желала иметь детей?» «Напротив, — ответила Анна Васильевна. — Софа не раз говорила, что ей хочется иметь дочь, способную к математике!»» Жаклары живут на случайные заработки — она переводит Маркса на русский язык. Рождается сын, жить в Швейцарии тяжело, и Анна с семьей переезжает в 1874 году в Россию, где получает оставшееся после смерти старого генерала наследство.

Но вернемся к Кропоткину. Город на Роне сыграл в его жизни, может быть, решающую роль. Кропоткинская «клятва на Воробьевых горах» приходится на женевские холмы: «Все больше и больше я чувствовал, что обязан посвятить себя всецело массам. Степняк в своем романе «Андрей Кожухов» говорит, что каждый революционер переживает в жизни момент, когда какие-нибудь обстоятельства, иногда самые ничтожные сами по себе, заставляют его дать себе «аннибалову клятву» беззаветно отдаться революционной деятельности. Я знаю этот момент и пережил его после одного большого собрания в Temple Unique по случаю Парижской Коммуны (18 марта). ...Возвратившись в свою ком-

натку в небольшом отеле возле горы, я долго не мог заснуть, раздумывая над наплывом новых впечатлений. Я все больше и больше проникался любовью к рабочим массам, и я решил, я дал себе слово отдать мою жизнь на дело освобождения трудящихся. Они борются. Мы им нужны, наши знания, наши силы им необходимы — я буду с ними».

Познакомившись поближе с работой секций Интернационала, Кропоткин, однако, скоро разочаровывается. Будущий теоретик анархизма не в восторге от марксистского социализма. Его тянет к «антигосударственникам», бакунистам. Так происходит его встреча с Николаем Жуковским, лидером женевских сторонников Бакунина. Жуковский, за границей с 1862 года, — непременный участник всех швейцарских эмигрантских начинаний. Знакомец Герцена, он сотрудничает в «Колоколе», как представитель «молодой эмиграции» присутствует на женевском «объединительном» съезде 1864 года, участвует в издании революционных органов «Народное дело», «Община», «Работник». Эмигрантская жизнь не дается легко — он умрет в Женеве от алкоголизма. «Жуковский принял меня дружески, — продолжает Кропоткин, — и сразу заявил, что их женевская секция ничего собою не представляет, но если я хочу познакомиться с идеями и борцами Юрской федерации Интернационала, то мне надо съездить в Невшатель и оттуда в горы, к часовщикам в Сэнт-Имье и в Сонвилье».

Кропоткин решает ехать к часовщикам-анархистам. Перед отъездом происходит его примечательное прощание с Утиным.

«Мы расстались с ним дружески, и я обещал ему писать.

— Только какая у вас на этот счет формула, — спросил я, — *cher compagnon* (дорогой товарищ) или *cher citoyen* (уважаемый гражданин)?

Утин посмотрел на меня и со вздохом сказал:

— Нет, вы к нам не вернетесь. Вы с ними останетесь и писать мне не будете, а напишете разве “*cher сукин сын*”».

Утинское пророчество окажется верным — с марксистами последователи Кропоткина станут яркими врагами.

Сам Петр Алексеевич вернется в Женеву через несколько лет уже одним из признанных лидеров анархизма. В начале 1879 года он основывает здесь свою знаменитую газету «*Le Revolte*». «Большинство статей пришлось писать самому, — вспоминает Кропоткин в «Записках революционера». — Издательский капи-

тал наш состоял всего из двадцати трех франков; но мы все усердно принялись собирать деньги и выпустили первый номер. Тон нашего журнала был умеренный, но сущность его была революционная, и я, по мере сил, старался излагать в нем самые сложные экономические и исторические вопросы понятным для развитых рабочих языком. Наша прежняя газета в лучшие времена расходилась всего в шестистах экземплярах. Теперь же мы отпечатали «Le Revolte» в двух тысячах экземпляров, и через несколько дней они все разошлись».

Редакция газеты располагалась на улице Норд.

Женева становится для Кропоткина не только местом приложения его революционной энергии, но и городом личного счастья. В 1878 году он знакомится в начале лета с молодой студенткой Женевского университета Софьей Григорьевной Ананьевой-Рабинович, изучавшей биологию. Той же осенью они женятся. В письме другу Кропоткин сообщает: «Я встретился в Женеве с одной русской женщиной, молодой, тихой, доброй, с одним из тех удивительных характеров, которые после суровой молодости становятся еще лучше. Она меня очень полюбила, я ее тоже». Разница в возрасте между ними — четырнадцать лет. Свое детство до семнадцати она провела в Сибири, куда был сослан ее отец. Софья Григорьевна будет верной подругой Кропоткину до самой его смерти и сама проживет долгую жизнь — умрет только в 1941 году.

Как и подобает не признающему государству и его рестрикторов анархисту, Кропоткин селится в Женеве под чужим именем и без официального разрешения. Зажигательные статьи для своей мятежной газеты, однако, придется писать ему недолго — в 1881 году его вышлют из Швейцарии. Поводом послужит его протест против казни народовольцев. 21 апреля 1881 года на стенах домов в Женеве расклеиваются его прокламации, в которых казнь убийц Александра II расценивается как «неслыханное варварство, достойное протеста и возмущения цивилизованного мира».

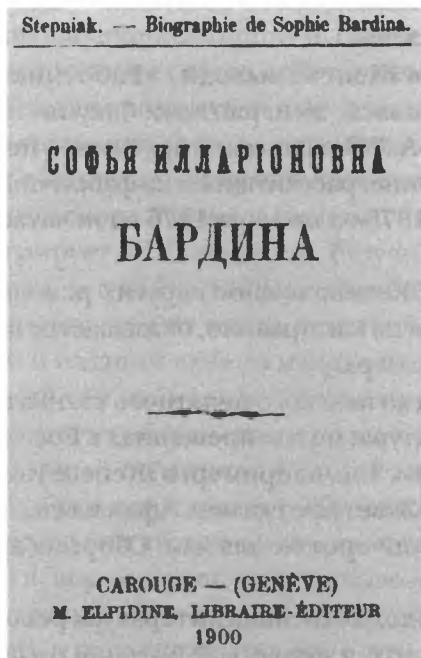
Мысль издавать газету в Женеве пришла Кропоткину не случайно. Этот город — центр русской эмигрантской печати вплоть до самой революции.

Уже в шестидесятые года как реакция на нежелание Герцена поделиться «Колоколом» возникает несколько новых издательств

и типографий, в том числе в 1866 году типография Элпидина, в 1869 году – Трусова и другие.

Михаил Константинович Элпидин – женеvский долгожитель, одна из тех ярких личностей, которые определяют лицо и атмосферу русской эмигрантской жизни. Участник «Земли и воли», в 1865 году он бежит из казанской тюрьмы и эмигрирует в Швейцарию. В Женеве он начинает заниматься издательской деятельностью и так преуспевает, что его называют «русским Гутенбергом». Типография его располагалась на улице Террасьер (rue Terrassière, 24). Славой своей в России он обязан тому, что издает в Женеве первое собрание сочинений Чернышевского. Среди других знаменитых изданий можно назвать выпущенную в 1892 году поэму Некрасова «Кому на Руси жить хорошо» с запрещенными стихами, в 1895 году «Исповедь» Толстого и другие не выходившие в России произведения писателя. Собирал Элпидин и книги. В частности, именно он приобрел после разгона правительственным указом русского Цюриха библиотеку Сажина. Элпидин был членом женеvской секции Первого Интерна-

Брошюра С.М.Степняка-Кравчинского



ционала, с 1876 года — гражданином Швейцарии, а с 1886-го еще и тайным агентом Департамента полиции, но надо отметить, что полученные от охраны 18 000 франков были потрачены опять же на издание запрещенной в России литературы.

В Женеве живет в семидесятые годы со своей женой Александрой Дементьевой, с которой он вместе судился в 1871 году по процессу Нечаева, Петр Никитич Ткачев, «русский бланкист», еще один вдохновитель русского террора. Порвав с Лавровым, перебазировавшимся из Цюриха в Париж, Ткачев возвращается в Швейцарию, где связывается со «Славянским кружком» Турского и арестованного уже Нечаева и занимает вакантное место революционного вождя. Энергичный Турский поддерживает Ткачева, и с 1875 по 1879 год они выпускают в Женеве «Набат», рассчитанный на студенческую молодежь. Программный номер выходит в ноябре 1875 года. Лозунг журнала — «Делать революцию, делать скорее!». Главная мысль издания — немедленная революция. Основной тезис сформулирован также в статье «Задачи революционной пропаганды в России»: «Поторопитесь же! В набат! В набат! Сегодня мы сила!» Бесмысленности пропаганды Ткачев противопоставляет полезность бунтов, пусть и подавленных: «Результат подавленного восстания — много крови, много жертв; он-то и важен».

В то же время в Женеве выходит «Работник» — нелегальная газета, издававшаяся эмигрантами-бакунистами З.К.Ралли, Н.И.Жуковским, А.Л.Эльсницем и другими, — первое русское периодическое издание, рассчитанное на фабричных рабочих и крестьян. С января 1875-го по март 1876-го печатается пятнадцать номеров.

Выпускается в Женеве и много других революционных изданий, жизнь которых, как правило, оказывается непродолжительной — один-два номера.

Выходит из-под женевского печатного станка не только «политическая» литература, но и запрещенная в России по совсем другим соображениям. Так, например, в Женеве увидели свет «в год обскурантизма» «Заветные сказки» Афанасьева, а через семь лет, в 1879-м, — «Русский эрот не для дам. Сборник эротических стихотворений».

Печатается и художественная литература революционного содержания. В 1892 году в женевской Вольной русской типографии выходит роман Софьи Ковалевской «Нигилистка». Закончить

книгу профессор математики при жизни не успела, и текст публикуется с предисловием и в обработке ее друга жизни Максима Ковалевского. Прототипом главной героини является племянница жены Пушкина, Вера Сергеевна Гончарова, которая из жалости и революционного пыла выходит замуж за приговоренного к одиночному заключению нигилиста.

Славе своей как столице эмигрантской печати Женева в чем-то обязана и такой колоритной фигуре, как Кузьма Ляхоцкий. Этот рабочий-типограф родом с Украины становится женовской легендой и пользуется славой местной знаменитости у нескольких поколений русских революционеров.

Упоминание о нем встречаем в «Записках революционера». Поскольку Кропоткину трудно найти типографию для издания своей анархистской газеты — швейцарские типографы зависели от государственных заказов и боялись потерять их, — он заводит собственную Юрскую типографию, находившуюся на улице Гротт (rue des Grottes), где издатель устраивается в маленькой комнатке с одним наборщиком-малороссом. «К несчастью, — вспоминает Кропоткин, — он не знал по-французски. Я писал статьи мои лучшим почерком <...> но Кузьма отличался способностью читать по-французски на свой лад. Вместо «immédiatement» он читал «immediotarmut или inmuidiatmunt» и, соответственно с этим, набирал французские слова своего собственного изобретения. Но так как он соблюдал промежутки и не удлинял строк, то нужно было только переменить букв десять в строке, и все налаживалось. Мы были с ним в самых лучших отношениях, и под его руководством я сам вскоре научился немного набирать».

Ляхоцкий эмигрирует в Швейцарию, будучи замешан в дела землевольцев-южан, и с конца 1870-х годов безвыездно живет в Женеве, зарабатывая себе на жизнь печатанием революционных прокламаций и изданий любого направления.

«Кузьма Ляхоцкий сам набирал и печатал при помощи своей маленькой ручной типографии, — пишет о малороссе в своих мемуарах революционный публицист Федорченко-Чаров. — Впоследствии он приобрел в предместье Женевы, Ланси, небольшой домишко с маленьким куском земли, на котором выращивал различные овощи и, кормясь ими, остаток вывозил на женевский базар, чем и существовал. <...> В своем хозяйстве он завел также разведение свиней, и рассказывали даже о том, что когда в Женеве шла ожесточенная полемика между эсерами и искровцами,

то он, будучи беспартийным, откликнулся на нее более чем оригинальным образом, изобличавшим в нем поистине сатириковский талант: он снялся на фотографической карточке вместе с молодыми поросятами по бокам и сделал такую злободневную для этого времени надпись: «Я и моя партия». Лично я не видел этой фотографии, но некоторые уверяли меня, что карточка красовалась в витринах женевских магазинов, и в том числе в витрине русского книжного магазина старого эмигранта 60-х годов известного Элпидина».

Успел послужить Кузьма Ляхоцкий за свою долгую эмигрантскую жизнь и большевикам. Карпинский в «Страничках прошлого» вспоминает: «Кузьма набирал решительно все что угодно и для кого угодно. Всех заказчиков он добродушно называл «сочинителями» и удовлетворял по возможности каждого. <...> Работал Кузьма один. А тут как на грех приехала к нему неизвестно откуда взявшаяся жена, не раз упоминаемая в письмах Владимира Ильича Кузьмиха. Эта ворчливая красноносая старуха непрестанно ругала несчастного Кузьму за то, что он связывается с разными «аховыми» заказчиками, вместо того чтобы поступить на постоянную работу в швейцарскую типографию. «Сочинители» стали для Кузьмихи личными врагами. Особенно ненавидела она нас, большевиков. Выход очередного номера нашей газеты иногда зависел от благорасположения Кузьмихи. Недаром Владимир Ильич требовал извещений на тему: «бюллетень настроения Кузьмихи и шансы на успех»».

В.Н.Фигнер

С.М.Степняк-Кравчинский



Речь в этом отрывке идет об издании «Социал-демократа» — центрального органа большевиков во время войны в 1914—1915 годах. Не желая связывать выход теоретического органа партии с настроениями Кузьмихи, Ленин перенес выпуск издания в швейцарскую типографию в Бюмплице близ Берна.

Женева играет огромную роль в становлении русских революционных политических партий. Здесь проходят партийные университеты новички, здесь извергают речи ораторы, дерутся, иногда в буквальном смысле, за влияние на умы и души, вожди. Здесь в тишине библиотек составляются руководства к террору, а в потайных лабораториях готовятся бомбы для соотечественников.

На берегах Роны находится один из опорных заграничных пунктов народовольцев. В Женеве Вера Фигнер знакомится с Николаем Морозовым, членом Исполнительного комитета «Народной воли». Этот человек, один из главных лидеров бомбистов, приговоренный к бессрочной каторге, в качестве исключения из общей судьбы политкаторжан при сталинском социализме доживет до победы над Германией и умрет только в 1946 году. Здесь в восьмидесятые годы XIX века находят прибежище другие революционеры этого круга: Саблин, агент народовольческого Исполнительного комитета, который застрелится при аресте в 1881 году, Клеменц, приехавший нелегалом в Россию, чтобы освободить Чернышевского, Степняк-Кравчинский, знаменитый террорист и писатель, автор культового романа «Андрей Кожухов», действие которого начинается в Женеве.

Сергей Кравчинский, легендарный герой поколения, в 1873 году одним из первых «уходит в народ», в 1874 году одним из первых народников бежит за границу — в Швейцарию. Революционер-литератор издает в Женеве «Сказку о копейке» и уезжает бунтовать Италию, участвует в восстании в Беневенто. Просидев девять месяцев в итальянской тюрьме, после освобождения за неимением денег пешком добирается до Женевы. Здесь он вместе с Клеменцем и другими издает в 1878 году «Общину». В том же году, не удовлетворяясь только литературной деятельностью, едет в Россию и 4 августа 1878 году убивает шефа жандармов. Снова побег за границу, снова в Швейцарию, затем Степняк-Кравчинский переселяется в Лондон, пишет нашумевшие беллетристические произведения, пропагандировавшие русских революционеров, вроде «Подпольной России». Будучи другом Этель

Лириан Войнич, он дает ей прообраз Овода для одноименного романа. Доде пишет с него своих русских персонажей «Тартарена в Альпах». Конец Кравчинского трагичен: он будет раздавлен поездом под Лондоном в декабре 1895 года.

Один из самых известных русских адресов Женевы – улица Кандоль, 6 (rue de Candolle). По этому адресу проживал брат моршанского полицейского исправника, «отец» русского марксизма Георгий Валентинович Плеханов.

Плеханов, в те времена еще недавний народник, бежит за границу в 1880 году, оставив в России только что родившую жену. Вскоре Розалия Марковна Боград, отдав дочку знакомым, следует за ним в Женеву, где после ее приезда оба узнают, что ребенок заболел и умер. Так начинается для Плехановых жизнь в Швейцарии – тридцать семь лет в эмиграции.

Первое время они бедствуют, Розалия Марковна учится на врача, он подрабатывает уроками. Живут то в Женеве, то в Божии под Клараном. Со временем она начинает заниматься врачебной практикой, воспитывает двух родившихся уже в Швейцарии дочек, жизнь налаживается, и Плеханов может посвятить себя целиком марксизму.

В 1883 году в Женеве основывается первая русская марксистская группа «Освобождение труда». Основатели – бывшие народники-«чернопередельцы»: Плеханов, Аксельрод, Засулич, Дейч.

Об Аксельроде, поселившемся в Цюрихе, более подробно рассказано в соответствующей главе.

Вера Засулич, пожалуй, самая прославленная русская террористка XIX века. В первый раз ее арестовывают в 1869 году по делу Нечаева – в его партию «Народная расправа» входила ее сестра, а сама Вера дала Нечаеву свой адрес для корреспонденции, что и послужило поводом для ареста. Петропавловка, ссылка. Вернувшись в Петербург, в 1878 году девушка стреляет в градоначальника Трепова. Дело разбирается под председательством Кони судом присяжных. Оправдание – характерное отношение русского общества к террору. Под аплодисменты восхищенной толпы покидает юная террористка здание суда. В том же году Засулич эмигрирует, сначала примыкает к народовольцам, потом вместе с Плехановым и Дейчем входит в группу «Освобождение труда». Дейч вспоминает, что деятельность их в Женеве началась с серии рефератов, с которыми должен был выступить каждый член

группы: «Вера Ивановна Засулич, как привлекавшаяся по нечестивскому делу, должна была сообщить о нем, но, ввиду собравшейся еще более многочисленной публики, она, и без того застенчивая, до того сконфузилась, что не в состоянии была произнести ни слова, — лекция ее так и не состоялась». С тех пор Засулич вообще не выступает публично, служа больше совестью революционной эмиграции: к ней обращаются по всем бесконечным эмигрантским склокам и ссорам как к третьейскому судье.

Известность получает и марксистское перо Засулич. Она переписывается с Марксом, общается с Энгельсом, с которым знакомится в Цюрихе в 1893 году во время конгресса Интернационала, переводит на русский язык марксистские первоисточники, участвует во многих социал-демократических изданиях, станет одним из редакторов «Искры», после раскола будет среди лидеров меньшевиков. Личного женского счастья она так и не найдет, целиком посвятив себя нуждам социал-демократии. Революционер Мартын Лядов вспоминает в своих мемуарах: «Она жила настоящей старой студенткой — в комнате невероятный беспорядок, весь пол засыпан окурками, на столе, на стульях, подоконниках настоящая каша из остатков пищи, груды книг, невымытой посуды, корректурных листков, разных принадлежностей туалета и бесконечного количества газет, журналов на разных языках. Сама Вера Ивановна — очень застенчивая, вечно курящая старушка, которая очень душевно встретила нас, как бы стараясь облагодетельствовать новых товарищей». При первой возможности она вернется на родину и умрет в 1919 году в голодном опустевшем Петрограде.

Лев Григорьевич Дейч, политкаторжанин-долгожитель, доживет до военного лета 1941 года. Еще одна легенда русской революции. С 1874 года в народническом движении и первоначально бакунист. Бунтует безуспешно крестьян-молокан, потом участвует в знаменитом Чигиринском заговоре — с помощью подложного царского манифеста Дейч с товарищами обманом хотели поднять крестьян на восстание. Арестован, бежит из тюрьмы, эмигрирует в 1878 году в Швейцарию. Нелегалом возвращается в Россию, входит в общество «Земля и воля», вместе с Плехановым — один из основателей «Черного передела». С 1880-го снова в эмиграции, слушает лекции на философском факультете Базельского университета, основывает в Женеве журнал «На родине», под влиянием Плеханова дрейфует в сторону марксизма.

В отличие от своего друга-теоретика, Дейч – революционер-практик. Он занимается организацией в Женеве типографии группы и всеми техническими вопросами. В 1884 году Дейч арестован при попытке провезти литературу в Россию, приговорен к 13 годам каторги. В 1901 году он бежит из Сибири проторенной еще Бакуниным дорогой через Японию и США и становится в эмиграции одним из лидеров социал-демократии. Его называют «искровским министром финансов и управделами». После февраля 17-го он вернется на родину, будет вместе с Плехановым критиковать большевистский переворот, останется в Советской России, чудом переживет чистки.

Задача группы Плеханова – издавать как можно больше марксистской литературы и наводнять ею Россию. Для осуществления нужны деньги. Источник средств можно было бы назвать парадоксальным, если бы речь шла не о России. Деньги на гибель русского капитализма щедрой рукой дают сами капиталисты. Из воспоминаний Аксельрода: «В Швейцарию приехал один русский барин-миллионер, врач по образованию, уже давно не занимав-

Книга Л.Дейча



шийся практикой (а может быть, и никогда не практиковавший). К политике он никакого отношения не имел, жил в свое удовольствие, соря деньгами и пьянствуя. Но... он был шурином того Ваймара, который в 70-х годах помог Кропоткину бежать из тюремной больницы. И по семейной традиции он считал себя радикалом. Этот господин, — кажется Гурьев, — через одного эмигранта, одессита Долевича (большого любителя выпить и компанейского малого), познакомился с Плехановым и со мною. По-видимому, встречи с революционерами льстили его самолюбию, и сам он в моменты относительного протрезвления был не прочь поддержать честь имени своего шурина. Долевич предложил ему дать группе «Освобождение труда» деньги для издания большого солидного журнала. Богач согласился и в течение некоторого времени отпускал нам довольно крупные суммы».

После взрыва бомбы на Цюрихберге в 1889 году швейцарское правительство высылает нескольких эмигрантов, в том числе Плеханова. Высылка по-швейцарски означает следующее: Плеханов не имеет права жить в Швейцарии, но он селится в непосредственной близости от Женевы на границе в местечке Морне (Mornex), а поскольку семья его с детьми остается жить там, где и жили, он может приезжать домой сколько хочет. Так Плеханов проводит в «ссылке» несколько лет, пока в 1894 году под нажимом швейцарских друзей решение об «изгнании» Плеханова не отменяется. Он возвращается в Женеву. В этой квартире на улице Кандоль на втором (по русскому счету) этаже с июля 1894 года прописана жена Плеханова Розалия Боград с детьми. В ноябре 1895 года Плеханов получает временное разрешение снова жить в Женеве, а с 1904-го — постоянное. Здесь он живет до 1917 года — до своего возвращения в Россию.

Постепенно он сам и его квартира становятся русской достопримечательностью Женевы. «В Женеве мы группировались тогда вокруг вдохновлявшего нас центра, — вспоминает Бонч-Бруевич, — и этим центром, конечно, был Георгий Валентинович Плеханов».

И.Н.Мошинский, делегат Второго съезда социал-демократической партии, вспоминает, что, направляясь в Брюссель, делегаты собирались в Женеве: «Пришлось, конечно, исполнить долг добропорядочного социал-демократа и отправиться на поклон к Георгию Валентиновичу. Его, как известно, всегда можно было найти по вечерам, за час до сна, в кафе Ландольта, помещавшем-

ся в том же доме, где наверху жила семья Плеханова, за кружкой пива. Георгий Валентинович уверял, что это — лучшее средство крепко заснуть, что научил его этому средству какой-то швейцарец-доктор. И он неизменно и аккуратно, как моцион перед сном, выполнял это оригинальное предписание врача».

Нанесение визита первому русскому марксисту — почетная обязанность не только приверженцев социал-демократических учений. «По субботам у Г.В., — читаем дальше у Мошинского, — всегда можно было найти несколько посетителей, сплошь и рядом из непартийной радикальствующей публики, путешествующей по Европе и считающей своим демократическим долгом посетить Г.В.Плеханова».

Плеханова посещает, например, Николай Бердяев, приехавший в Женеву для участия во Втором международном съезде философов.

В книге «Самопознание» Бердяев так рассказывает об этой встрече: «Вспоминаю, что я был на международном философском конгрессе в Женеве в 1904 году. Я тогда встречался с Плехановым, который был плохим философом и материалистом, но интересовался философскими вопросами. Мы ходили с ним по Женевскому бульвару и философствовали. Я пытался убедить его в том, что рационализм, и особенно рационализм материалистов, наивен, он основан на догматическом предположении о рациональности бытия материального. Но рациональный мир с его законами, с его детерминизмом и казуальными связями есть

Г.В.Плеханов



мир вторичный, а не первичный, он есть продукт рационализма, он раскрывается вторичному, рационализованному сознанию. Вряд ли Плеханов, по недостатку философской культуры, вполне понял то, что я говорил», — заключает Бердяев.

«Квартира Плехановых, — пишет в своих воспоминаниях И.Хародчинская, секретарша Георгия Валентиновича, — состояла из нескольких небольших комнат, обставленных самой простой, незатейливой мебелью. Лучшую комнату занимал кабинет Г.В., выходивший окнами на тихую неторговую улицу. По другую сторону улицы тянулся молчаливый фасад Женевского университета, с прилежавшим к нему с одной стороны садом (Bastion). Пространная комната производила с первого же взгляда впечатление настоящей лаборатории ученого и мыслителя. По стенам тянулись простые, заставленные книгами полки; кое-где — репродукции из западноевропейских музеев, «Моисей» Микеланжело, снимки картин эпохи итальянского Возрождения, гипсовый бюст Вольтера, прекрасный портрет Карла Маркса в большой раме; этажерка со специально подобранной литературой по искусству и по истории первобытной культуры; большой письменный стол, беспорядочно заваленный книгами, письмами, газетами, журналами на всевозможных наречиях и всевозможных направлений и оттенков; несколько мягких стульев, большое, невысокое кресло, в котором сидел Г.В. во время работы, книги на маленьких столах у окна, а иногда и на полу, — вот все убранство кабинета. Г.В. не любил, когда убирали его стол. Он говорил с добродушным укором, что после наведения порядка ничего не найти».

Богатая библиотека Плеханова складывается помимо прочего и из книг, подаренных посещавшими его авторами. Федорченко-Чаров в своих мемуарах пишет о своем первом визите на улицу Кандоль: «Помню, уже в передней, когда он провожал нас в конце вечера, почти на лестнице, с присущим только одному ему юмором, он рассказывал нам, как к нему на днях в квартиру явилась одна расфуфыренная, раскрашенная и надушенная русская дама и преподнесла ему «в знак любви и уважения» полное собрание своих сочинений. «И что же бы вы думали, — сказал Г.В.Плеханов, — кто сия дама? Представьте себе, «известная» А.А.Вербицкая». Как потом оказалось, многие русские журналисты и писатели, бывавшие в Женеве, считали почему-то своим долгом посетить Г.В.Плеханова и преподнести ему что-нибудь из своих произведений».

«Известная» Вербицкая — самая читаемая в начале прошлого века русская писательница. По отчетам библиотечной выставки 1911 года книги Вербицкой занимали первое место в России.

В центре внимания особенно молодых революционеров находятся и дочери Плеханова, Лида и Женья, учившиеся в Женевском университете, «совершенные француженки, плохо и с акцентом говорившие по-русски», как считает меньшевик Борис Горев в своих воспоминаниях «Из партийного прошлого». С ним соглашается и другой мемуарист, анархист Сандомирский: «Это были родившиеся в Женеве и отчасти уже ошвейцарившиеся простенькие девицы, которых отделяло от русской студенческой колонии почти полное незнание русского языка». А вот мнение будущего большевика Луначарского, который, приехав в Женеву, сразу — как полагается — отправился на квартиру Плеханова. По дороге ему встречаются выходявшие из церкви женевские девушки и вызывают в юном революционере бурю негодования: «Я очень ярко помню тогдашние мои впечатления об этих мешаночках с бело-розовыми лицами, с глазами ясными, словно их только что вымыли в воде и опять вставили в кукольные орбиты, девочек и девушек, таких дородных и спокойных, что я ни на минуту не удивился бы, если бы они вдруг замычали. В моей душе боролись тогда два чувства. С одной стороны, я находил этих выпоенных на молоке и выкормленных на шоколаде девушек интересными, с другой — я возмущался тем облаком буржуазно-растительной безмятежности и спокойствия, которое, на мой тогдашний взгляд, окружало их юные головы. Я помню, что, когда я попал наконец к Плеханову и он вышел ко мне в какой-то светлой пижаме и туфлях и начал угощать меня кофе, я прежде всего разразился филиппикой против женевских барышень. Позднее я познакомился с его дочерьми, которые оказались ни дать ни взять сколком с осуждаемого мною типа “женевских буржуазных девушек”».

Обе дочери Плеханова получают медицинское образование и помогают в работе матери, открывшей в Сан-Ремо, в Италии, санаторий. Там же, в семейном санатории, проводит лето сам Георгий Валентинович, всю жизнь страдавший от болезни легких.

Русская катастрофа, для приближения которой так много сделал их отец, пощадит дочерей. Екатерина Кускова, известная политическая деятельница времен революции, напишет в воспоминаниях: «С Женьей мы встретились в Женеве во время Второй

мировой войны, вспоминали старую Женеву и их жизнь тут. Теперь это была уже не девочка, а полная красивая женщина, с необычайным благоговением говорившая о своем отце и собиравшая материалы для его биографии».

Частым гостем на квартире Плеханова до раскола партии бывает Ленин, не говоря уже о всех других вождях социал-демократии: Мартове, Аксельроде, Дане, Засулич и пр. Случаются и неожиданные визиты. «В одно февральское утро в Женеве, в квартире Г.В.Плеханова позвонил какой-то неизвестный господин, — читаем в очерке Дейча «Герой на час». — Плеханов лежал больной в постели и никого не принимал, о чем и было сообщено пришедшему, отказавшемуся назвать свое имя. Но он настаивал, что ему чрезвычайно необходимо увидеть Плеханова. Когда неизвестный господин был наконец введен в комнату больного, он назвал себя. То был священник Георгий Гапон». «Отец» русской революции 1905 года пришел к «отцу» русского марксизма объявить себя социал-демократом. Впрочем, в марксистах Гапон будет ходить недолго — очень скоро он объявит себя эсером, но рассказ о женевских эсерах мы продолжим ниже.

Окна плехановской квартиры выходят на университет, еще один русский центр Женевы. В левом крыле расположена библиотека, в которой занимались и Плеханов, и Ленин, и многие другие известные и неизвестные русские эмигранты. Под этими

Улица Кандоль



сводами работали вожди над своими трудами. Здесь создаются, например, такие произведения Ленина, как «В Боевой комитет при Санкт-Петербургском комитете» и «Задачи отрядов революционной армии», в которых автор призывает рабочих вооружаться «кто чем может (ружье, револьвер, бомба, нож, кастет, палка, тряпка с керосином для поджога, веревка или веревочная лестница, лопата для стройки баррикад, пироксилиновая шашка, колючая проволока, гвозди (против кавалерии) и пр. и т.д.)». Пусть, пишет читатель университетской библиотеки, «одни сейчас же предпримут убийство шпика, взрыв полицейского участка, другие — нападение на банк для конфискации средств для восстания». С верхних этажей рабочим следует осыпать солдат камнями, обливать кипятком и кислотами. Знали бы женевские библиотекари...

Само здание университета построено в 1868—1872 годах, на месте снесенных средневековых укреплений, городских бастионов, куда часто любили приходить во время своих прогулок по городу Достоевские.

Русские учащиеся с самого открытия нового университета вносят своеобразный колорит в женевскую студенческую жизнь. Отношение студентов к студенткам было, особенно в семидесятые годы, как и в Цюрихе, неоднозначным. Цюрихская студентка Пантелеева, вспоминая годы учебы в Швейцарии, пишет о швейцарских студентах: «...В Женеве они замазывали чернилами пуговицы светлых жакетов сзади. Давно окончившая женщина-врач, слушавшая лекции в Женеве, рассказывала потом, как студенты Женевского университета пригласили студенток на какой-то общестуденческий праздник и в их присутствии запели скабрезные песни. На замечание одному из соседей, что, вероятно, в присутствии своих сестер они этого не споют, получился ответ не столько нахальный в устах этого юнца, сколько показывающий невероятную тупость: «То сестры, а вы студентки!» Конечно, они ушли с такого гостеприимного празднества».

О количестве русских учащихся ярко говорят следующие цифры: в 1900 году в числе 819 студентов насчитывается 557 иностранцев, включая 220 русских, то есть четверть всех студентов — из России. В зимний семестр 1905—1906 года русские учащиеся составляют 57 процентов (!) всех студентов. Вождь эсеров Чернов замечает в своей книге «Перед бурей» об этом времени: «Моло-

дежи скопилось за границей вообще, а в Женеве в особенности, множество».

Упомянем здесь несколько имен женевских студентов из России. Лина Штерн из Либавы получит известность как биохимик и физиолог. Экстраординарный профессор медицины Женевского университета в 1925 году вернется в Россию и возглавит научный институт в Москве. В 1949 году, академик и член Еврейского антифашистского комитета, она будет объявлена космополитом и арестована вместе со всем комитетом.

Другой женевский студент-биохимик прославится тем, что забальзамирует тело вождя. Будущий советский академик Борис Збарский оканчивает в Женеве университет в 1911 году.

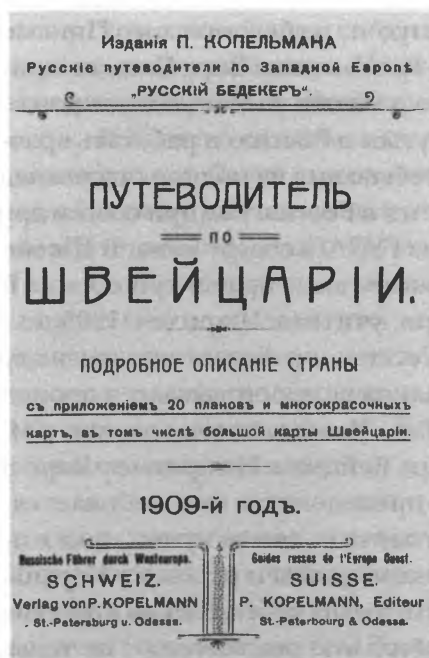
Обращает на себя внимание большое количество еврейской молодежи из России, учившейся в швейцарских университетах, что находит объяснение, в частности, в разного рода ограничениях в доступе к высшему образованию на родине. Отметим, что студенты из России, входившие в еврейские социалистические или сионистские организации, считались в швейцарских городах неотъемлемой частью русской колонии. Так, в Женеве одной из самых видных фигур среди русского студенчества был Хайм Вейцман, будущий основатель и первый президент Израиля. В университете студент из белорусского Пинска встречает свою будущую супругу. Ростовчанка Вера Кацман напишет в своих мемуарах: «После окончания учебы на медицинском факультете я собиралась вернуться в Россию и работать врачом». Однако после недолгого пребывания на родине она последует за супругом в Англию и вернется в Россию уже при совсем других обстоятельствах — спасать из ГУЛАГа сестру мужа. В Швейцарии получили высшее образование также брат и три сестры Вейцмана. Средняя из них, Мария, учится в Цюрихе с 1905 по 1911 год, потом возвращается в Россию и работает всю жизнь врачом. Незадолго до смерти Сталина ее арестовывают в период кампании против «врачей-убийц». Чтобы спасти золовку, в Москву специально приезжает Вера Вейцман. На приеме у Ворошилова, в то время советского «президента», она добивается освобождения Марии, и в 1955 году та со своим мужем, также прошедшим лагерь, получает выездные визы и уезжает в Израиль.

Кстати, отметим, что на рубеже веков в русских путеводителях по Швейцарии обильную рекламу дают не только отели и часовые магазины, но и учебные заведения, а также книжные мага-

зины – спрос рождает предложение. Например, в «Русском Бедекере» за 1909 год читаем: «Русская прогимназия для детей обоего пола от 7 лет. Женева, Avenue du Mail, 26. Подготовка в местные учебные заведения». Здесь же: «Книжный магазин А.Эггман и К°. Женева, Rue Centrale, 1, и Corraterie, 3. Большой выбор русских книг». А вот еще: «Книжный магазин Кюндигю, Женева, Corraterie, 11. Русские и иностранные книги». Подписку на любые русские газеты и журналы предлагает и «Книжный магазин du Mont-Blanc», располагавшийся в доме № 9 на одноименной улице.

После первой русской революции рост числа приехавших из России ставит вопрос и о русской школе в Женеве для детей эмигрантов. Открывает такую школу Иван Фидлер, директор одноименного училища в Москве, в котором был штаб революционных групп. Сын писателя и библиофила Николая Рубакина, Александр посещал это заведение и пишет о нем в своих воспоминаниях: «Отцу и мне некоторый период времени пришлось жить в организованной здесь только что средней школе для детей русских эмигрантов.

Путеводитель по Швейцарии «Русский Бедекер» за 1909 год



Школу эту основал Иван Иванович Фидлер, бывший директор известного «фидлеровского реального училища» в Москве. Он не был революционером. Но получилось так, что в его школе находился штаб Декабрьского восстания, и Фидлеру пришлось эмигрировать из России. В этой же школе жила и жена А.М.Горького, Е.П.Пешкова, со своим сыном Максимкой, который там же и учился». Отметим, что Екатерина Пешкова играла в становлении школы большую роль и практически руководила ею. К школе имел непосредственное отношение и известный большевик Семашко — он преподавал историю и географию и одновременно был школьным врачом. В 1908 году школа переехала в Париж.

Для большинства русских студентов учеба была, однако, лишь поводом для того, чтобы окунуться в кипящий эмигрантский котел и найти свое место в революции. Общее настроение молодежи тех лет передает в своих воспоминаниях Герман Сандомирский, приехавший в Женеву в 1901 году: «Когда мое переселение стало фактом, я вздохнул облегченно. Теперь оставалось приняться за работу. Университет интересовал меня гораздо меньше, чем политические партии, с которыми мне хотелось познакомиться как можно скорее. Но я понимал также, что, если не поступлю в университет, родные перестанут высылать мне денег и мне придется возвратиться восвояси. Нужно было устроить свои дела так, чтобы учеба занимала у меня как можно меньше времени. Поэтому я и выбрал захудалый “факультет литературы и социальных наук”».

Интересно, что наибольшим успехом среди женевского студенчества пользовались эсеры, окруженные ореолом героев террора, и наименьшим — большевики. «Большевиков в Женеве было немного, — свидетельствует Луначарский в своих «Воспоминаниях и впечатлениях», — мы были, в сущности, тесной группой, сдавленной со всех сторон эмиграцией и студенчеством, шедшим большею частью под знаменами меньшевиков и эсеров».

Оставив университет, где юноши и девушки из России еще только становились революционерами, совершим теперь прогулку по Женеве русских революционеров-профессионалов. Из парка Бастион пройдем несколько шагов по улице Кандоль в сторону Роны. Были времена, когда русская речь здесь была слышнее французской. «Rue de Candolle кипела как муравейник с утра до вечера; обычно на ней трудно было услышать иной язык, кроме

русского, а теперь на ней буквально стон стоял от гула русских голосов». Так один из революционеров вспоминает в «Красной летописи» (№ 1 за 1922 год), как эмигранты в Женеве узнали о расстреле 9 января 1905 года. В тот день многие из них устремились в «свое» кафе «Ландольт» (Landolt), расположенное на углу, в соседнем здании с домом Плеханова (rue de Candolle, 2).

Кафе это было открыто братьями Ландольт в 1875 году. Расположенное напротив университета, оно становится излюбленным местом встреч и студентов, и нескольких поколений русских эмигрантов. Чаще всего сюда заходят социал-демократы. Здесь же, в «Ландольте», происходит окончательный разрыв между бывшими товарищами. В этих стенах проходит Второй съезд Заграничной лиги русской социал-демократии в октябре 1903 года. Съезд созывается по настоянию меньшевиков, основным вопросом повестки дня является доклад Ленина. Бонч-Бруевич вспоминает: «Накануне открытия съезда, когда Владимир Ильич ехал на велосипеде со своей квартиры к кому-то из нас, с ним стряслась беда: велосипед попал в рельсы трамвая, и Владимир Ильич на полном ходу упал, сильно ушибся, причем ударился лицом о камень, рассек бровь, подбил и даже несколько повредил глаз, сильно зашиб руку и бок. Он кое-как добрался до врача, который оказал ему помощь. С некоторым опозданием с повязкой на глазу пришел он на съезд». После доклада Ленина выступает Мартов. Бывшие друзья яростно поливают друг друга грязью. В начавшейся перебранке Плеханов вызывает Мартова на дуэль. Ленин со своей верной когортой покидает съезд Лиги. Все происходит по заведенной некогда еще Герценом и «молодой эмиграцией» традиции — всякие объединительные собрания только увеличивают эмигрантские распри.

После раскола из общего зала обе группировки перебираются в боковые комнаты «Ландольта» — меньшевики Мартов, Дан и другие собираются в одной, Ленин с верными приверженцами в другой. Плеханов ходит пить свое вечернее пиво сначала к большевикам, но скоро переходит в меньшевистскую комнату. Здесь же собираются партийцы отмечать праздники. Бобровская-Зеликсон в своих «Записках подпольщика» вспоминает: «Новогоднюю ночь 1904 года Владимир Ильич провел с нами. Слушали оперу «Кармен» в довольно плохой постановке, пили пиво в «Ландольте», гуляли по оживленным в эту ночь улицам Женевы. При встречах с меньшевиками демонстративно отворачивались друг от дру-

га». В «Ландольте» Ленин поднимает новогодний тост за “приближение великой бури”».

Сюда же, в «Ландольт», приходят русские эмигранты и после празднования Эскалады, национального праздника кантона Женевы. 12 декабря женеvцы отмечают годовщину неудачного приступа герцога Савойского Карла-Эммануила в ночь с 11 на 12 декабря 1602 года. Об этом празднике писала еще Анна Григорьевна Достоевская, и поскольку ее мнение, без сомнений, передает мнение самого Федора Михайловича, приведем ее оценку торжественного события: «...Когда Duc de Savoу хотел овладеть Женевой, то его бароны, воспользовавшись сном женеvцев, уже перелезали стену, как те проснулись и сбросили их со стены и таким образом не допустили овладеть городом; вот их самое большое национальное предание, больше у них ничего и нет, и, конечно, они этим гордятся, просто даже досадно смотреть. Одной бабе, которая вылила на голову барона помои из окна, даже сделан памятник на площади, «magnifique fontaine», как они его называют (речь идет о Fontaine de l'Escalade. — М.Ш.), где она представлена с горшком на голове. ...Я уговорила Федю идти смотреть. Часов в 8, когда стемнело, мы отправились гулять, и там каждую минуту попадались целые толпы разряженных мальчишек, которые в разных рожах с необыкновенной радостью бегали по улицам (у них наряжаются в этот день) и пели песни. Потом мы выбрались наконец на большую улицу, где было порядочно много народу. Тут мимо нас прошла процессия очень плохо одетых рыцарей и дам, просто хуже, чем у нас бывает в самых плохих балаганах на Святой неделе».

А вот воспоминание об Эскаладе Бонч-Бруевича: «В декабре каждого года в Женеве совершается широконародный праздник Эскалада. Женевцы празднуют свое давнишнее освобождение от иноземной зависимости. ...Город оживает. Устраивается народное празднество, всюду раскидываются карусели, множество палаток со всякими сладостями и яствами. Приезжает народный цирк, тир, различные фокусники, зверинцы и т.п. Но самый интерес впереди — это вечерний карнавал, когда все идет на улицы, наряженные в различные костюмы, в маски. Веселье заливает город. Все веселятся, осыпают друг друга конфетти, опутывают серпантином, и улицы блещут нарядными огнями, фейерверками, весельем, пением. Мы, русские политические эмигранты, конечно, ходили смотреть на это зрелище, но,

по свойственной нам угрюмости, мешковатости и застенчивости, никогда не принимали живого участия в этом четырехдневном народном праздничном веселье. И вот, когда у нас в партии страсти кипели изо всех сил, когда раскол на большевиков и меньшевиков разделял всех и когда среди нас не было веселых настроений, наступил декабрь 1903 г. Мы сидели по своим углам, изучали документы, готовились к докладам, строили свою новую организацию. Не до веселья было нам. На улицу даже не тянуло. Вдруг звонок. Входит Владимир Ильич, оживившийся, веселый.

— Что это мы все сидим за книгами, угрюмые, серьезные? Смотрите, какое веселье на улицах!.. Смех, шутки, пляски... Идемте гулять!..

...Мы шумной толпой вышли на улицу. Погода стояла прекрасная, теплая. Огни всюду светились радостно, и многоводная, быстротечная горная река Арва, которая протекала здесь совсем поблизости, так радовала своим переливчатым шумом... Мы зашли к товарищам, всех увлекая с собой на улицу. Шуму и смеху не было конца, и Владимир Ильич — впереди всех. Мы радостной толпой влились в общее веселье улицы и пели, и кричали, и шумели, все более увлекаясь общим приподнятым настроением. Серпантин летел от нас во все стороны более энергично, чем от других компаний, и мы усердно обсыпали конфетти наиболее интересные и живые маски.

И вот раздалась песня. Пели все, пела вся улица веселые, бодрые песни, в которых звучали то мотивы «Марсельезы», то мотивы «Карманьолы». Кое-кто принялся танцевать. Вдруг Владимир Ильич, быстро, энергично схватив нас за руки, мгновенно образовал круг около нескольких девушек, одетых в маски, и мы запели, закружились, заплясали вокруг них. Те ответили песней и тоже стали танцевать. Круг наш увеличился, и в общем веселье мы неслись по улице гирляндой, окружая то одних, то других, увлекали всех на своем пути. ...Наконец, изрядно поуставши, отправились мы в наше излюбленное кафе Ландольта, где постоянно бывала русская политическая колония, и отдали честь великолепным сосискам с кислой тушеной капустой, которые мы все так любили».

Предполагаем, что в памяти мемуариста смешались события двух лет и описываемые пляски происходили годом позже, в декабре 1904-го, а причина, почему Ленин так веселился, заключа-

ется в том, что в тот день было постановлено начать выпуск органа большевиков «Вперед».

Пройдя два шага от «Ландольта», мы оказываемся на площади Пленпале (Plaine de Plainpalais). Здесь на Авеню-дю-Май (avenue du Mail), в доме № 4, находилось кафе «Хандверк» (Handwerk), выходявшее боковой стороной на улицу Вье-Бийар (rue du Vieux-Billard). Внизу располагался ресторан, на втором этаже — залы: большой зал, вмещавший несколько сотен человек, и сад «Алябра», оба использовались для собраний эмиграций из разных стран. По этому адресу, в частности, с 1898 года было зарегистрировано Общество русских студентов.

Описание обстановки, царившей в «Хандверке», находим в воспоминаниях М.Сизова, одного из женеvских эмигрантов тех лет: «В кафе было не менее душно, чем на митинге. Почти все столики были заняты, и разгоряченные вином или абсентом посетители вели горячие разговоры, изредка отвлекаясь взвизгиваниями шансонетной певички, вертеvшейся волчком на открытой сцене.

Этажом выше был такой же зал, с такими же изображениями необычайных для женеvских граждан происшествий, вроде замерзшего когда-то Женеvского озера и других не менее патристических событий. Такая же эстрада возвышалась в углу верхнего и нижнего залов. Как вверху, так и внизу было много народу, так же душно от человеческих испарений, но какая глубокая разница была между толпой наверху и внизу!

Там, наверху, народные витии парили в облаках застилавшего Россию кровавого тумана, зывали к толпе и потрясали сгущенный воздух резкими кликами, заканчивая свои речи обычной командой: «Марш, марш вперед, рабочий народ!»

Здесь, в кафе, посетители, по большей части принадлежащие к «рабочему народу», к его аристократической части, одетые с иголки, вылощенные, упитанные, кейфовали за стаканом вина, потягивали через соломинку мутную жидкость — абсент, мирно беседовали, спорили, плотоядно посматривали на шансонетную певичку, дико хохотали и распевали вошедшую в то время в обиход уличной жизни песенку».

«Хандверк» — место проведения общеэмигрантских русских собраний, сюда приходят на митинги и рефераты вне зависимости

от партийной принадлежности. Это место, куда студенты ходят слушать революционных ораторов, чтобы определиться и выбрать себе партию по душе. «У каждой заграничной революционной организации имелись свои клубы, читальни, столовые, — вспоминает эмигрант-публицист Федорченко-Чаров. — Но большие рефераты и лекции обычно устраивались в зале Handwerk, которая в такие дни наполнялась так, что некуда было просунуть палец. Так было на рефератах Плеханова, Ленина, Чернова и Мартова. Все русское студенчество в Женеве в то время служило резервуаром, из которого тогдашние политические партии черпали своих приверженцев».

В «Хандверке» кипят страсти и порой переливаются через край. У того же Федорченко-Чарова читаем о нравах политической эмиграции: «...Никогда не забуду, как на одном из рефератов Г.В.Плеханова анархисты, полные бессильной злобы, испортили электричество, а другой раз выставили свою гвардию во главе с саженого роста кавказцем Канчели с дубинкой в руках у входа в Handwerk, где тот же Плеханов должен был читать реферат, чтобы таким образом терроризировать идущую на реферат публику».

О кипящих страстях пишет и Николай Валентинов-Вольский, в то время еще рьяный защитник Ленина. Он вспоминает, что, ходя по эмигрантским собраниям, «нападал на меньшевиков, особенно на Аксельрода, с такой грубостью, что, слушая мои выпады, столь же, как я, экспансивная меньшевичка С.С.Гарви не выдержала и швырнула в меня кружкой с пивом».

23 января 1905 года в «Хандверке» проводится общеэмигрантский митинг всей русской колонии, посвященный Кровавому воскресенью, на нем присутствует и много других рабочих-иностранцев. На этом митинге солидарности с петербургским пролетариатом ораторы так распаляют публику, что та отправляется с демонстрацией по ночным женевским улицам, путая сонных швейцарских обывателей. «...Мы вышли на улицу и со знаменем и песнями стали манифестировать, — вспоминает участник событий в «Красной летописи» (№ 1 за 1922 год). — Все обошлось бы чинно и благородно, если бы не женевская полиция и... не рабочие-итальянцы. <...> Тут появилась полиция и предложила разойтись. Часть публики повиновалась, и остались главным образом русские и итальянцы. Мы пели, а полиция нас разгоняла. Началась схватка. Полицейские пустили в ход свои палки, а мы

кулаки и все, что под руками. Рассвирепевшие итальянцы бросились к русскому консульству с намерением выбить в доме консула стекла, но полиция рассеяла их.

— Молодцы итальянцы! Здорово! — кричал один русский товарищ рабочий, наблюдая, как здоровенный каменотес крошил полисменов.

— Это по-нашему! По-русски! — вопил ярославец и сам пустился на помощь итальянскому товарищу».

Недалеко от «Хандверка», на той же улице Авеню-дю-Май (avenue du Mail, 15), располагается пансион Рене Морар (R. Morhard), который содержится на деньги социал-демократической партии и служит пристанищем всем приезжавшим в Женеву партийцам. Здесь останавливаются русские эсдеки: Дейч, Бауман, Литвинов, Бонч-Бруевич, Красиков, Гусев (Драбкин), Воровский и многие другие, а после раскола — преимущественно сторонники большинства. Во «Встречах с Лениным» Валентинов напишет об этом пансионе: «Отель на Plaine de Plainpalais, оплачиваемое партией обиталище, где останавливались приезжие из России, главным образом будущие советские чиновники, сторонники Ленина». «Хозяйка, — вспоминает Бонч-Бруевич, — всегда сочувственно относилась к русским революционерам, берегла их, оказывала им кредит, давала им приют и устраняла все недоразумения с паспортами». Мадам Рене Морар была дочерью парижского коммунара и женой немецкого социал-демократа.

Сюда, в этот пансион на Авеню-дю-Май, приезжает в мае 1903 года из Лондона Ленин, заболевший от нервного напряжения, — шла подготовка к историческому Второму съезду партии. Крупская вспоминает, как, посоветовавшись с медиком-большевиком Тахтаревым, «вымазала Владимира Ильича йодом, чем причинила ему мучительную боль. ...По приезде свалился и пролежал две недели». С тех пор Ленин никогда не лечится у врачей-партийцев и после завоевания власти всегда будет пользоваться услугами лучших буржуазных специалистов. Свои мучения, связанные с пребыванием в этом пансионе, он вспомнит, когда будет писать письмо Горькому, узнав, что тот лечится у какого-то неизвестного русского врача, близкого к партии: «Дорогой Алексей Максимыч!.. Известие о том, что Вас лечит новым способом «большевик», хотя и бывший, меня ей-ей обеспокоило. Упаси боже от врачей-товарищей вообще, врачей-большевиков в частности! Право

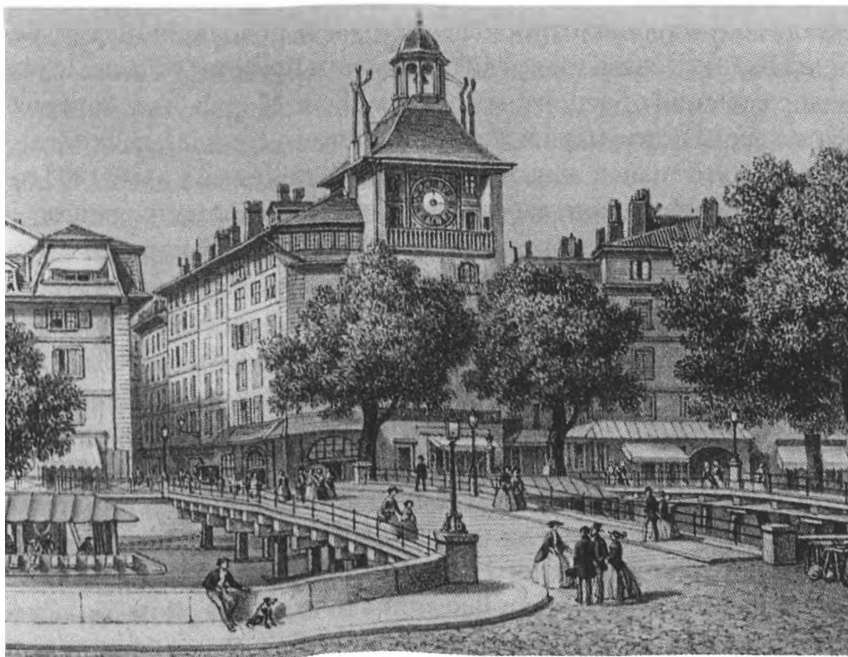
же в 99 случаях из 100 врачи-товарищи «ослы», как мне рассказывал один хороший врач. Уверяю Вас, что лечиться (кроме мелких случаев) надо только у первоклассных знаменитостей. Пробовать на себе изобретение большевика — это ужасно!!»

От угла площади Пленпале берет свое начало улица Каруж (rue de Carouge) — пожалуй, самая русская улица Женевы.

«Каруж, как и вся Женева, был очень тихим провинциальным уголком, — пишет в своих воспоминаниях «Пережитое» Владимир Зензинов, один из лидеров эсеров. — Здесь находились генеральные штабы обеих революционных партий — Партии социалистов-революционеров и Российской социал-демократической рабочей партии, здесь же выходили и оба журнала — «Революционная Россия» социалистов-революционеров и «Искра» социал-демократов».

Каруж, где в основном селились русские студенты, самая многочисленная и шумная часть русской колонии, даже самими женевами назывался «Petite Russie» — «маленькая Россия».

Женева середины XIX века



«В Женеве большевистский центр гнезвился на углу знаменитой, населенной русскими эмигрантами, Каружки и набережной реки Арвы, — вспоминает Крупская. — Тут помещались редакция «Вперед», экспедиция, большевистская столовая Лепешинских».

Этот дом, построенный в начале века (rue de Carouge, 91—93), действительно был своеобразной штаб-квартирой эсдеков. В доме под номером 91 (а по-русски более подходит понятие подъезда, поскольку нумерация идет по подъездам, а не по зданиям) располагаются библиотека и архив РСДРП. Здесь прописан с лета 1904-го по осень 1905 года Ленин — на первом этаже в двух комнатах, как помечено в домовоей книге: «Владимир Ульянов, литератор». Литератор платит 600 франков в год, но сам здесь не живет, хотя и бывает почти ежедневно. Квартира находится в распоряжении женевских большевиков, а вождь большевиков поселился на улице Давид Дюфур (rue David Dufour), № 3.

О жизни этого примечательного дома пишет в своих воспоминаниях Бонч-Бруевич, один из первых, вместе со своей женой Величкиной, жильцов тогдашней новостройки:

«Наконец наступило время, когда мы могли подумать об открытии библиотеки. Мы отправили Веру Михайловну Величкину, нашего постоянного ходатая по квартирным делам, так как она была хорошо известна женевским гражданам и ее поручительства при снятии квартиры было вполне достаточно. Она съездила к хозяину огромного дома, в котором мы все жили (дом углом выходил на rue de la Carouge и rue de la Colline) и в котором помещались и столовая Лепешинских, и наша экспедиция, и кооперативная типография, где первое время печатались наши большевистские издания и наша газета «Вперед».

В этом доме жили мы — Бонч-Бруевич, Лепешинские, Ильины, Мандельштамы, Абрамовы и целый ряд других товарищей, причем все эти квартиры были заселены по рекомендации Веры Михайловны. Первыми жителями в этом доме, когда он не был еще до конца отстроен, въехали мы с Верой Михайловной, а за нами потянулись и другие.

Управляющий этим домом немедленно согласился отдать нам большое помещение в первом этаже рядом со столовой Лепешинских под нашу библиотеку и архив, и мы тотчас же в кредит занялись оборудованием незатейливой, но вполне достаточной обстановки.

...Наконец пришло время открытия нашей библиотеки и архива, которые по-французски назывались «Bibliothèque Centrale Russe» (Центральная русская библиотека). Когда узнали в колонии, что такого-то числа открывается библиотека, к нам сразу в этот день пришло так много народу, что мы могли еле-еле всех принять и разместить в большом читальном зале, где стояло шесть больших простых деревянных белых столов, за каждым из них хорошо усаживалось двадцать пять человек. По стенам висели на деревянных держателях многочисленные газеты на русском и на иностранных языках. Среди русских изданий были нелегальные газеты и журналы, а также довольно большое количество газет, получаемых из России. Толстые журналы, которые мы к этому времени также стали получать, лежали на особом столе для всеобщего чтения... По нашим правилам в читальню мог зайти каждый, но все-таки требовалась хотя бы небольшая рекомендация. В библиотеку мог записаться тот, кто имел возможность представить более солидные рекомендации, которые, конечно, в такой обширной колонии, как женевская, всегда каждому порядочному человеку легко было достать».

Здесь же, на первом этаже в доме № 91 по «Каружке», основывается архив партии, которому предстоит вобрать в себя столько тайн и судеб двадцатого века. А начинается все просто. «Я решил начать организацию нашего большевистского партийного социал-демократического музея и архива с той же широкой установкой по сбору материалов, — пишет Бонч-Бруевич. — Собрал из своей библиотеки все то, что я мог отделить от нее, перенес эти книги в мою же квартиру в угол одной комнаты, сложил их и сказал присутствовавшим здесь товарищам: “Вот здесь, отсюда давайте строить нашу центральную Библиотеку и Архив, которые должны, как мне кажется, быть при Центральном Комитете нашей партии”». Так начинается Институт марксизма-ленинизма при ЦК КПСС. После отъезда Бонч-Бруевича в Россию до февраля 1917 года архивом заведует большевик Вячеслав Карпинский.

Библиотеку и архив во второй половине 1905 года посещают в день от сорока до ста человек. После массового отъезда в Россию в связи с революционными событиями библиотека начинает глхнуть и 4 февраля 1906 года прекращает свое существование. Часть книг пакуется в 132 ящика и отправляется из Женевы в Стокгольм, остальная, наиболее ценная часть отдается на

хранение Георгию Куклину, библиофилу и издателю, соединившему свою библиотеку с этими материалами и открывшему публичную библиотеку, перешедшую в 1907 году по его завещанию большевикам.

В соседнем подъезде, под номером 93, располагается в 1904–1905 годах «издательство социал-демократической партийной литературы В.Бонч-Бруевича и Н.Ленина» – кооперативная типография, где набирается газета «Вперед», продолжившая ленинскую «Искру». На Третьем съезде она будет заменена на «Пролетарий» – издававшийся здесь же, на улице Каруж. О характере издательской деятельности, посвященной в основном борьбе с товарищами по партии, Ленин пишет в письме Луначарскому: «Невеселая работа, вониючая, слов нет, – но ведь мы не белоручки, а газетчики, и оставлять «подлость и яд» незаклейменными непозволительно для публицистов социал-демократии».

Здесь же на первом этаже располагается и столовая Лепешинских – партийный клуб большевиков. Лепешинские познакомились с Лениным и Крупской еще в Сибири. Сын священника, Пантелеймон Лепешинский в ссылке играл с Лениным в шахматы по переписке. В 1903 году Лепешинский бежит из Сибири за границу и с декабря устраивается в Женеве. Вскоре к нему легально с заграничным паспортом в качестве студентки медицинского факультета Лозаннского университета приезжает его жена Ольга Борисовна. В своих воспоминаниях она пишет: «У нас возникла мысль открыть столовую, используя ее не только для прокормления нашей семьи, но и как источник пополнения партийной кассы, а также как партийный большевистский клуб».

«Там играли в шахматы, рассматривали очень хорошо нарисованные остроумные карикатуры тов. Лепешинского, спорили, делились новостями, учились ценить и любить друг друга», – вспоминает Луначарский. В столовой Лепешинских вечерами музицирует Фотиева, будущая секретарша Ленина. В ее мемуарах читаем: «В ранней юности, увлекаясь сочинениями Писарева, я вычитала у него такую фразу: «Общество, которое занимается искусством, имея хотя бы одного неграмотного, похоже на дикаря, который ходит голым и носит золотые браслеты на руках». Это произвело на меня неизгладимое впечатление, и, перейдя с отличием на старший курс консерватории, где я тогда училась, я вышла из нее и поступила на Бестужевские курсы».

Фотиевой accompanies на скрипке Петр Красиков, который нелегально пересек границу Российской империи, неся с собой скрипку в футляре. Любитель музыки станет в Советской России сначала заместителем наркома юстиции, с 1924 года прокурором Верховного суда, а с 1933-го — заместителем председателя Верховного суда СССР.

Вообще редкий из будущих советских функционеров не побывал в женеvской эмиграции. В разное время здесь живут Александр Богданов, Лев Каменев, Симон Камо, Александра Коллонтай, Леонид Красин, Глеб Кржижановский, Михаил Ольминский, Алексей Рыков, Григорий Сокольников, Лев Троцкий и многие другие.

Сюда, в столовую Лепешинских, собираются взволнованные эмигранты, узнав из газет о петербургском расстреле 9 января. Вот так изображает эту сцену Солженицын в «Красном колесе»: «Шли январским вечером с Надей по улице — навстречу Луначарские, радостные, сияющие: «Вчера, девятого, в Петербурге стреляли в толпу! Много убитых!!» Как забыть его, ликующий вечер русской эмиграции! — помчались в русский ресторан, все собирались туда, сидели возбужденные, пели, сколько сил добавилось, как все сразу оживились... Длинный Троцкий, еще вытянув руки, носился с тостами, всех поздравлял, говорил, что едет немедленно. (И поехал.)».

Для своих тайных конспиративных совещаний, однако, большевики, опасаясь меньшевистских лазутчиков, используют каждый раз новые рестораны, куда обычно не ходят русские эмигранты. Так, в своих мемуарах Бонч-Бруевич вспоминает: «Я нашел налeво от моста небольшую, весьма простую гостиницу, нечто вроде постоянного двора, которая имела свой ресторан, а при нем отдельную комнату, окна которой выходили во фруктовый сад. Комната вполне соответствовала намеченным конспиративным целям и могла вместить человек тридцать, т.е. вполне была достаточна для нашего собрания. Я условился с хозяином, что соберутся русские для обсуждения устройства ферейна, цель которого — помогать друг другу в прогулках по горам Швейцарии и выработке маршрутов прогулок. Хозяин гостиницы был очень доволен, узнав, что мы все альпинисты».

Вот еще несколько русских адресов в Женеве, связанных с большевиками.

На улице Кулуvреньер (rue de la Coulouvrenière, 27) находилась типография, в которой печаталась «Искра» — сперва большевист-

ская, потом, после выхода Ленина из редакции, — меньшевистская.

В доме № 17 по улице Дюпон (rue des Deux-Ponts) селится Ленин в январе 1908, приехав из России, и живет здесь до середины апреля. Отсюда он переезжает на улицу Марэшэ (rue des Maraichers, 61). Здесь он пишет свой философский труд, направленный против эмпириокритицизма, и отсюда в декабре 1908 года уезжает в Париж. В этом же доме, кстати, но этажом выше селится его сестра Мария, когда приезжает в Женеву учиться в университете.

Луначарский во время своей женеvской эмиграции живет на бульваре Жоржа Фавона (Boulevard Georges Favon) в доме № 33.

Русская библиотека им Г.А.Куклина располагалась на улице Кандоль (rue de Candolle, 15). Георгий Куклин имел свою типографию и склад изданий в Женеве. Все это молодой человек — он умер в Женеве в возрасте тридцати лет — передал большевикам, вступив незадолго перед смертью в их партию и завещав им свой архив и библиотеку. Библиотекой этой, получившей имя основателя, заведовал после его смерти большевик Вячеслав Карпинский. С этого адреса библиотека переехала на бульвар Ключ (boulevard de la Cluse, 57). Это одновременно адрес квартиры Карпинского и его подруги Сарры Равич. Здесь же находится библиотека имени Г.А.Куклина и архив РСДРП в 1907–1909 годах. С мая 1909-го по февраль 1912 года русская библиотека существует по адресу: улица Дизеран, 1 (rue Dizerens). Пополня-

Персональная карта В.А.Карпинского в картотеке женеvской полиции



лась библиотека не только за счет партийных средств, но и за счет пожертвований. Алексей Михайлович Ремизов пишет, например, Блоку 11 июля 1911 года: «Александр Александрович, пришлите, пожалуйста, ваши вышедшие книги нового издания и распорядитесь, чтобы выслали и остальные сюда в русскую библиотеку: Geneve, 1 rue Dizerens, Bibliothèque russe».

После революции библиотека и архив Куклина были перевезены в Россию и находились в Институте марксизма-ленинизма при ЦК КПСС.

Два слова о Сарре Равич. В партии молодая девушка с 1903 года, в Женеве с 1907-го. Здесь она записана студенткой философского факультета. Будучи подругой Карпинского, Равич вместе с ним ведет русскую библиотеку. Известность она приобретает, когда ее арестовывают в Мюнхене 18 января 1908 года при размене денег, награбленных у русской казны в Тифлисе группой Камо. В своих воспоминаниях Крупская рассказывает об этих деньгах так: «Они были в пятисотках, которые надо было разменять. В России этого нельзя было сделать, ибо в банках всегда были списки номеров, взятых при экспроприации пятисоток. ...Деньги нужны были до зарезу. И вот группой товарищей была организована попытка разменять пятисотки за границей одновременно в ряде городов».

У арестованной при попытке разменять в Баварском банке деньги Равич проводят домашний обыск в Женеве в квартире по месту проживания на бульваре Клуз. Заодно арестовывают Карпинского и Николая Семашко, которому Равич пыталась передать из тюрьмы письмо.

Семашко, проживавший на улице Бланш (rue Blanche, 4), нелегально приехал в Швейцарию в 1907 году после освобождения из тюрьмы, куда попал за участие в вооруженном восстании в Нижнем Новгороде. В Женеве орловский дворянин-большевик селится неподалеку от Плеханова, который приходился ему родным дядей по матери. По делу о кредитках Семашко попадает в женевскую тюрьму Сент-Антуан (Saint-Antoine). Русское правительство требует выдачи грабителей и лиц, причастных к экспроприации. Арестованные большевики решительно отрицают какую-либо причастность к похищению банкнот. Все социалистические партии выступают против выдачи дружным фронтом. По инициативе Ленина большевики нанимают, не жалея средств, одного из лучших адвокатов Швейцарии того времени — А.Лахе-

наля (A. Lachenal). Усилия эмигрантов увенчались успехом — Швейцария отвечает России отказом и освобождает арестованных. Чемоданы пятисотрублевков будут сожжены в Париже в 1910 году. Интересно замечание Семашко в его воспоминаниях: «Характерная подробность: когда моя жена обратилась к Плеханову, который был тогда влиятелен в Швейцарии, и просила его помочь, он сухо ответил: “Ну что ж! С кем поведется, от того и наберется”».

Племянник-ослушник сделается в Советской России наркомом здравоохранения, и его именем будут названы тысячи больниц и улиц.

Не столь прямым окажется жизненный путь Равич. Вернувшись в Россию в ленинской группе, она войдет в Петроградский совет большевиков и позднее, подобно большинству своих товарищей по партии, будет арестована — в 1938 году. В лагерях Равич, к счастью, выживет. Освободившись, она возьмется за перо и напишет роман о декабристах.

Назовем и главный «меньшевистский» адрес Женевы. Еще одна русская улица располагается по другую сторону Арвы, в районе Каруж, бывшем предместье Женевы. Речь идет об улице Каролин (rue Caroline). Здесь в доме № 27 жил Юлий Мартов, некогда друг, а позже враг и антипод Ленина, вождь несостоявшейся русской социал-демократии западного типа. О нем Троцкий скажет: «Один из даровитейших людей, каких мне вообще приходилось встречать на жизненном пути». Со вторым «пломбированным» поездом в мае 1917 года Мартов вернется через Германию в Россию. Осудив октябрьский переворот и уйдя со Второго съезда Советов, он будет считать, что долг социалистов — «оставаться с пролетариатом, даже если он ошибается». Будет осуждать красный террор, но выступать против вооруженной борьбы с большевиками, станет участвовать в советских органах — в частности, в годы «военного коммунизма» будет членом ВЦИКа и депутатом Моссовета. Тяжело больного, Ленин отпустит своего прежнего друга за границу, несмотря на сопротивление политбюро. За границей Мартов до самой смерти в 1923 году будет критиковать большевистский режим и одновременно призывать к защите русской революции от международного империализма.

На улице Каролин у брата останавливается Сергей Цедербаум, еще одна яркая и трагическая фигура русской революции. Узнав

царские тюрьмы и ссылки до революции, сначала большевик, потом меньшевик, он пройдет по всем кругам ГУЛАГа в Советской России и в феврале 1939 года будет приговорен к расстрелу.

В женевской эмиграции живет еще один брат из этой революционной семьи — Владимир Цедербаум-Левицкий. Этот человек тоже посвятит всю свою жизнь «освобождению рабочего класса» и тоже закончит свою жизнь трагически — умрет в 1938 году в тюрьме во время следствия.

В Женеве живут практически все лидеры меньшевиков. Вот имена некоторых из них. Федор Дан, один из основателей социал-демократической партии, в качестве исполняющего обязанности председателя ЦИК откроет историческое заседание Второго Всероссийского съезда Советов 25 октября 1917 года, чтобы покинуть его вместе с другими в знак протеста против захвата власти большевиками. Его арестуют и в 1922 году вышлют за границу. Александр Потресов, дворянин, который уже в 1892 году в Швейцарии встречался с Плехановым, Аксельродом и Засулич, а в ссылке вместе с Лениным и Мартовым составил план общерусской марксистской партии и газеты, также подвергнется после революции аресту ЧК, причем в качестве заложников будут арестованы бывшими товарищами по партии его жена и дочь. Спасет Потресова от сталинских лагерей, как и Дана, то, что в 1922 году Ленин отнесет его к числу «господ», которых следует «выслать за границу безжалостно».

В России умрут своей смертью лишь некоторые из видных женевских меньшевиков, среди них, например, вступивший после революции в большевистскую партию известный публицист Александр Мартынов (Пиккер), который доживет, читая лекции по экономике, до 1935 года, или Юрий Ларин (Лурье), которому «посчастливится» умереть в 1932 году и даже быть захороненным на Красной площади. Его дочь Анна выйдет замуж за Бухарина, и ей уже придется «отсидеть» и за отца, и за мужа.

Приведем для полноты адрес еще одной социал-демократической российской партии. Заграничный комитет Бунда располагался на улице Каруж, 81.

Обратимся теперь к партии, пользовавшейся наибольшей популярностью среди русской студенческой колонии Женевы. В этом городе издавалась главная газета социалистов-революционеров «Революционная Россия» и жили в эмиграции практиче-

ски все вожди эсеров. Печаталась газета в типографии А.Пфедфера (A.Pfeffer) на Пленпале (Plainpalais). Заведовал типографией И.В.Бобырь-Бохановский, дворянин, ветеран революции, еще ходивший «в народ» и бежавший некогда из киевской тюрьмы в Швейцарию.

Практически штабом партии являлась квартира еще одного старого революционера, Леонида Шишко, жившего на улице Розрэ (rue de la Rosegaie, 27). Для революционеров начала XX века, по словам Чернова, Шишко был «живым олицетворением начала революционно-социалистического движения в России». Этот дворянин и офицер порвал со своим прошлым, «чтобы нести новое евангелие социализма в рабочие кварталы». Судьба его типична для революционера того времени: он судился по «процессу 193-х», потом тюрьма, каторга, ссылка, побег. В Женеве он — один из теоретиков партии и соредатор «Революционной России». Описание обстановки, царившей на его квартире, находим в воспоминаниях Фритца Брупбахера, швейцарского социалиста, женатого, кстати, на эсерке Лидии Кочетковой: «Дом Шишко был генеральной штаб-квартирой так называемых С.Р., партии социалистов-революционеров. ...Целый день там работали молодые люди над шифровкой и расшифровкой писем и сообщений. Почти непрерывно шли заседания и совещания». Отметим, что Брупбахер обращает внимание на ограниченность интересов русских революционеров, которых занимали революционные события исключительно в России: «На квартире Шишко было множество интереснейших людей, которые, разумеется, не обращали никакого внимания на меня, как и на любого другого европейца; ничем, кроме России, они не интересовались; они были так настроены, что можно было предположить, что для них не существовало вообще никаких стран, кроме России. Меня поразило абсолютное отсутствие интернационализма».

Расскажем коротко о нескольких людях, определявших лицо женеvской эсеровской колонии. Начнем с Михаила Гоца, непрекаемого авторитета и вождя партии. Еще гимназистом он участвует в революционном кружке, собиравшемся, кстати, на квартире Зубатова, будущего начальника московской охранки. Последователь народовольцев, Гоц проходит все каторги и ссылки, а с созданием партии эсеров переезжает в Женеву, где вместе с Черновым и Шишко составляет редакцию «Революционной России», центрального органа партии. Он рвется самолично уча-

ствовать в терроре, но не позволяет болезнь — вследствие тяжелого заболевания нервной системы, опухоли спинного мозга, он почти парализован. Чернов пишет в воспоминаниях: «Я не выдержу этой жизни, — говорил он, умоляя, чтобы его пустили в Россию. — Вы лишаете меня счастья умереть на эшафоте и заставляете умереть здесь, на мирной койке; это будет не заслуженным мной несчастьем...» А вот как вспоминает о Гоце Савинков: «Он, тяжело больной, уже не вставал с постели. Лежа в подушках и блестя своими черными юношескими глазами, он с увлечением расспрашивал меня о всех подробностях дела Плеве. Было видно, что только болезнь мешает ему работать в терроре: он должен был довольствоваться ролью заграничного представителя боевой организации». И дальше знаменитый террорист замечает: «Азеф был практическим руководителем террора, Гоц — идейным».

«Душа русского террора» оказывается прикованным к креслу на колесиках в возрасте тридцати девяти лет. «У Гоца стали отниматься ноги, — вспоминает Чернов. — От боли он уже не мог спать без морфия. Но он духом не упал. Вокруг кресла, к которому он был прикован, собирались друзья и товарищи, трактовались «проклятые вопросы» начавшейся революции». До самой смерти Михаил Гоц остается вождем партии, но увидеть плоды своей революционной деятельности ему не суждено. В 1906 году он умирает после операции в Берлине, но похоронен будет в Женеве.

М.Р.Гоц



Упомянем здесь и брата Михаила Гоца — Абрама Рафаиловича. Несмотря на большую разницу в возрасте — он был младше на шестнадцать лет, — Абрам тоже видная фигура среди эсеров. Террорист, но террорист-неудачник, он в качестве члена БО участвует в подготовке нескольких проваленных Азефом покушений. Не оставляет он террора и после захвата власти большевиками, в частности, участвует в организации эсеровских покушений на Ленина, также неудачных. Будучи многократно арестован и даже приговорен в 1922 году Верховным трибуналом к расстрелу, замененному заключением, он доживет до конца тридцатых годов и будет служить в Симбирском губплане. В 1937 году снова арест, на этот раз последний — Абрам Гоц погибнет в лагере Нижний Ингаш в Красноярском крае.

Виктор Чернов, главный теоретик и идеолог партии в течение всей ее истории, также неоднократно приезжает в Женеву. Автор программы партии и ведущий ее оратор, приняв в 1917 году пост министра земледелия во Временном правительстве, получит возможность на деле применить свои теории к российскому земледельцу, но предотвратить хаос не сможет. Этот человек станет первым и последним председателем Учредительного собрания России, большинство депутатов которого будут представлять его партию. В своей речи он заявит, что сам факт открытия Учредительного собрания провозглашает конец гражданской войны между народами, но в зале уже будет ждать матрос, который скажет знаменитые слова: «Караул устал!» Во время Гражданской войны Чернов будет призывать массы не столько к борьбе с большевиками, сколько с Колчаком и Деникиным. Председатель разогнанного Народного собрания России проживет в эмиграции долгую жизнь и умрет в 1952 году в Нью-Йорке.

Трагически сложится судьба другого известного эсера, жившего в эмиграции в Женеве, писателя-террориста Бориса Савинкова. В юности марксист-экономист и противник террора, он становится в вологодской ссылке убежденным приверженцем активных методов борьбы с царизмом. Из ссылки — нелегально в Швейцарию. В Женеве он встречается в 1903 году с Михаилом Гоцем. «Увидев меня, — вспоминает Савинков, — он сказал:

- Вы хотите принять участие в терроре?
- Да.
- Только в терроре?
- Да».

Савинков становится заместителем Азефа по руководству БО и, как он думает, его другом.

Вера Фигнер, хорошо разбиравшаяся на старости лет в людях, так характеризует литературно одаренного бомбиста: «Он сразу чрезвычайно заинтересовал меня и в несколько дней совершенно очаровал. Из всех людей, которых я когда-либо встречала, он был самым блестящим».

В Женеве Савинков представляет партии своего друга детства Ивана Каляева, с которым отбывал вместе ссылку. На весь мир гремят взрывы эсеровских бомб — жертвой подготовленных Савинковым покушений падают министр внутренних дел Плеве, затем великий князь Сергей Александрович.

В Женеве идет съезд заграничной организации социалистов-революционеров, когда в разгар прений приносят телеграмму из России с сообщением, что тело старика-министра разорвано в клочья. «На несколько минут, — вспоминает другой эсер-боевик Степан Слетов, — воцарился какой-то бедлам. Несколько мужчин и женщин ударились в истерику. Большинство обнималось. Кричали здравицы». После убийства Плеве Егором Созоновым, несостоявшимся бернским студентом, на берегах Роны собираются участники покушения — Савинков, Азеф, Дора Бриллиант и другие. «В Женеве, по случаю убийства Плеве, царило радостное возбуждение, — напишет Савинков. — Партия сразу выросла в глазах правительства и стала сознавать свою силу. В боевую организацию поступали многочисленные денежные пожертвования, явились люди с предло-

Издание партии социалистов-революционеров под редакцией В. Чернова



жением своих услуг». Азефу как главному автору удачи устраивается торжественная встреча, и Екатерина Брешко-Брешковская в качестве «бабушки русской революции» приветствует агента охраны, получавшего по 500 рублей ежемесячно, по старому русскому обычаю — низким поклоном до земли.

В Женеве Савинков живет вместе со своей женой Верой Глебовной Успенской, дочерью знаменитого в свое время писателя-народника. После разоблачения Азефа Савинков займется литературной деятельностью, а в 1914-м пойдет добровольцем во французскую армию. Он вернется в Россию в апреле 17-го, займет в составе Временного правительства пост помощника военного министра, а после Октября посвятит остаток жизни отчаянной борьбе с большевиками, которая кончится в лестничном пролете Лубянки.

Квартира упомянутой выше Брешко-Брешковской на улице Жак-Дальфен (rue Jacques-Dalphin, 9) была еще одним партийным центром эсеров в Женеве. Именно этой удивительной и одновременно в чем-то типичной для своего времени женщине партия во многом была обязана своей популярностью. Ко времени первой русской революции ей уже за шестьдесят. Еще в 1873 году, оставив семью и детей, она идет пропагандировать социализм среди крестьян, что заканчивается арестом и каторгой. После освобождения Брешко-Брешковская посвящает себя революционной пропаганде среди молодежи. Именно под ее влиянием к эсерам приходят Савинков, Каляев, Созонов и многие другие.

Б.В.Савинков



В Швейцарии «бабушка» постоянно курсирует между Женевой, Берном и Цюрихом, агитируя обучавшихся там русских студентов. Чернов в книге воспоминаний «Перед бурей» так описывает деятельность Брешко-Брешковской во время начинавшейся революции 1905 года: «Бабушка рвется в Россию, бунтует против медлительности революционных организаций. Бабушка на крайне левом крыле. Она вдохновляет группу аграрников, будущих максималистов, находящихся, что партийный террор чересчур «аристократичен» и поверхностно политичен; они хотят спустить его в низы и разлить широким половодьем, дополнив его аграрным и фабричным террором. Но Центральный комитет не соглашается утвердить переход всего боевого дела в руки слишком импровизированных «ревтроек», а на фабричный и аграрный террор накладывает категорический запрет. Бабушка скрепя сердце подчиняется. Впрочем, вера во всякие организации у нее падает, и она проповедует личную вооруженную инициативу: «Иди и дерзай, не жди никакой указки, пожертвуй собой и уничтожь врага!» И каждую свою статью неизменно заканчивает одним и тем же двойным призывом: “В народ! К оружию!”».

После Октября старая, но не сломленная женщина с такой же страстью зовет к борьбе с большевиками. В эмиграции перед смертью, призывая всю жизнь к террору, она обратится к религии и в 90 лет заявит, что учение Христа служит для нее «опорой и утешением» и стоит «несравненно выше социалистического».

В Женеве в те годы живут или бывают другие видные деятели эсеровской эмиграции: Марк Натансон, Илья Фондаминский, Борис Камков, Николай Авксентьев, Вадим Руднев, Владимир Зензинов и другие.

Именно Женеву выбирает для своей эмиграции первый герой русской революции, вдохновитель Кровавого воскресенья Георгий Гапон. В своем очерке «Герой на час» Лев Дейч так охарактеризовал влияние Гапона в то время: «В короткое время он и среди своих соотечественников, живших за границей, приобрел такую славу, какой не пользовался в прошлом решительно ни один русский революционер».

Недолго побыв в социал-демократах, бывший священник объявляет себя эсером и живет сперва на квартире Шишко, а затем поселяется на одной из вилл в предместье Ланси. Гапон проявляет себя в Швейцарии ярким сторонником террора. Савинков, например, рассказывает в своих воспоминаниях, как, увидев его

в Женеве, Гапон вдруг поцеловал руководителя БО и поздравил. «Я удивился, — пишет Савинков. — С чем? — С великим князем Сергеем».

В Женеву приезжает и его друг Петр Рутенберг, инженер Путиловского завода, сперва социал-демократ, потом эсер, готовивший боевые дружины. Рутенберг спас Гапона 9 января, обрезав в подворотне длинные волосы попа своим перочинным ножиком с ножницами.

Гапон носит с идеей организации конференции, которая объединила бы все революционные партии, и намеревается сам встать во главе этого объединения. «Гапон много говорил о необходимости основать «боевой комитет», — вспоминает Савинков, — особое учреждение, которое бы ведало центральным и массовым террором. Он развивал идею террористического движения в крестьянстве...» К грядущим боям Гапон готовится не в переносном смысле, а в самом прямом: усердно обучается в тире стрельбе из разного оружия, а в женевском манеже — верховой езде. Внешний вид женевского Гапона резко отличается от распространенной фотографии в рясе с крестом. Вот как описывает его Дейч: «На вид лет тридцати, с черными закрученными усами, элегантно одетый, с хлыстиком в руке, Гапон совершенно не напоминал недавнего русского священника; он скорее походил на фатоватого представителя горных рас».

В партии эсеров Гапон тоже не задерживается и, оставив социалистов-революционеров, начинает действовать самостоятельно

Е.К.Брешко-Брешковская



но — принимает участие в грандиозной аванюре с поставкой оружия в Россию на пароходе «Джон Графтон». На корабль грузится огромный арсенал, которого хватило бы на вооружение целой армии: 16 тысяч винтовок, три тысячи револьверов, несколько миллионов патронов, большое количество динамита и пероксилина. Причем закупки производятся в конечном счете на японские деньги. Инициатором операции является военный атташе Японии в России полковник М.Акаси. Летом 1905 года закупленное оружие, между прочим также винтовки швейцарского производства, отправляется в Россию на «Джоне Графтоне», который в начале сентября терпит крушение в Балтийском море.

С объявлением политической амнистии в октябре 1905 года почти вся политическая эмиграция отправляется в Россию. Туда же следует и Гапон, но не столько бунтует крестьян, сколько общается с представителями власти, от которых получает большие суммы. На эти деньги после поражения революции он играет на рулетке в Монако. «Герой на час» торопится насладиться шумными кутежами на Ривьере, будто чувствует, что жить ему остается считанные недели. Повесит Гапона на финской даче некогда спасший его Рутенберг. И тем самым ножом, которым в Кровавое воскресенье обрезал волосы попа, теперь перережет веревку.

В Женеву собираются, кажется, все герои первой русской революции. Так, сюда приезжает летом 1905 года Афанасий Матюшенко, матрос-командир восставшего «Потемкина», приведенного им в румынскую Констанцу. «Вскоре после моего приезда в Женеву, — вспоминает Савинков, — Матюшенко зашел ко мне на дом. На вид это был обыкновенный серый матрос, с обыкновенным скуластым лицом и с простонародной речью. Глядя на него, нельзя было поверить, что это он поднял восстание на «Потемкине», застрелил собственной рукой нескольких офицеров и сделал во главе восставших матросов свой знаменитый поход в Черное море». В эмигрантской Женеве, однако, революционный матрос чувствует себя неуютно. Уехав обратно в Румынию к своим товарищам, он пишет Савинкову: «Поймите, что вся полемика, которая ведется между партиями, страшно меня возмутила. Я себе представить не могу, за что они грызутся, черт бы их побрал. И рабочих ссорят между собой, и сами грызутся. Вы знаете мое положение в Женеве, что я там был совершенно один.

Все как будто любят и уважают, а на самом деле видят во мне не товарища, а какую-то куклу, которая механически танцевала и будет еще танцевать, когда ее заставят. Иной говорит: вы мало читали Маркса, а другой говорит: нужно читать Бебеля. Для них непонятно, что каждый человек может мыслить так же сам, как Маркс. Сидя в Женеве, я бы окончательно погряз в эти ссоры и раздоры. Там партии ссорятся, чье дело на «Потемкине», а здесь люди сидят без работы и без хлеба, и некому пособить. Чудно: что сделали, то нужно, а кто сделал, те не нужны».

Матюшенко, прикнув сперва к эсерам, скоро отходит от них и объявляет себя анархистом. Он возвращается в Россию. В Николаеве его арестовывают с бомбами, судят военным судом и казнят.

Но, пожалуй, самая колоритная фигура среди женевских эсеров — это князь Дмитрий Александрович Хилков. Аристократ, получивший блестящее образование, командир казачьего полка, крупный землевладелец, один из тех, кто, по сути, должен был служить опорой русского порядка, Хилков в сорок лет настолько проникается толстовским учением, что раздает все свои земли крестьянам и сам с семьей остается без каких-либо средств к существованию. Обвинив его в том, что он воспитывает детей в «духе, противном православной церкви», мать его жены требует отобрать детей и передать их ей на воспитание. Князь отказывается расстаться с детьми, и Святейший синод совместно с Департаментом полиции лишают Хилкова родительских прав. Вскоре Сенатом мятежный князь осужден к изгнанию из пределов России на десять лет. С 1898 года он в эмиграции. Хилков селится в Женеве и становится одним из ревностных поборников Толстого в бирюковской колонии в Онэ (Opex), о которой речь еще впереди. Однако очень скоро горячий темперамент казачьего полковника заставляет его порвать с «непротивленцами» и сблизиться с революционными партиями, особенно с эсерами. Забавно, что князь часто председательствует на социалистических собраниях и митингах в кафе «Хандверк». Хилков избирается членом заграничного комитета партии эсеров, становится убежденным террористом и пишет пропагандистские книги, в частности брошюру «Террор и массовая борьба». Азеф, пытавшийся сблизиться с революционным князем, сообщает в Департамент полиции о Хилкове: «...Последний, обладая аристократическим воспитанием, не так легко поддается сближению. Вежлив, и только».

В Женеве Хилков, будучи сам отличным стрелком, специализируется на обучении террористов стрельбе и вообще «боевому делу». Так, среди его лучших учениц — народная учительница Зинаида Коноплянникова, еще одна эсеровская легенда. После прохождения хилковского курса в Женеве она заведует в Петербурге подпольной лабораторией взрывчатых веществ и устраивает по всей России динамитные мастерские. Прославится Коноплянникова тем, что застрелит четырьмя выстрелами из браунинга полковника Мина, усмирителя московского Декабрьского восстания, сидевшего на станции на скамейке в ожидании поезда. При задержании она скажет: «Тише, не тискайте, у меня бомба». В дамской сумочке у нее обнаружат четырехкилограммовый заряд. Двадцатисемилетнюю революционерку приговорят к казни через повешение. Это вторая русская женщина-революционерка после Софьи Перовской, окончившая жизнь на эшафоте. Однако вернемся к рассказу о князе-эсере.

С первой революцией Хилков возвращается в Россию, чтобы готовить на месте партизанскую войну против правительства, — разрабатывает план вооруженного крестьянского восстания в Приднестровье, во главе которого собирается встать самолично. Им уже организована доставка оружия из-за границы, но Чернов выступает против его идеи, и план восстания в конце концов не утверждается руководством партии. Князь обижается на революционеров, и через несколько лет, с началом мировой войны, с ним происходит еще одно превращение. Хилков пишет письмо Николаю II, который знал его лично, прося, чтобы ему дали возможность принять участие в защите России. Просьбу исполняют — ему дают под командование тот самый казачий полк, с которым он некогда расстался, и Хилков отправляется на фронт. Бывший товарищ князя по партии, Зензинов, так описывает гибель этого человека: «Конец его был так же необыкновенен, как вся его жизнь... При первом же случае с неприятелем скомандовал — «В атаку!» и во главе казачьей лавы врзался в немецкие ряды. Очевидцы рассказывали, что он мчался впереди полка, даже не вынимая шашки из ножен: он, очевидно, хотел умереть. Больше его не видали: он погиб смертью героя».

Женева служит базой для террористов и в самом прямом смысле — здесь готовят бомбы и испытывают их в окрестностях. Гремят взрывы и в самой Женеве. Так, в декабре 1905-го на одной из квартир в Женеве происходит несчастный случай во время

экспериментов с составлением взрывчатых смесей для бомб — каждый боевик должен был пройти школу подделывания документов и приготовления зарядов. Владимир Зензинов вспоминает в «Пережитом»: «В Женеве в то время у партии было несколько динамитных школ. ...Для школы снимали отдельный домик где-нибудь на окраине города, избегая домов с большим количеством квартир и центральных мест, — в лаборатории всегда могло произойти несчастье, а партия не считала себя вправе подвергать риску посторонних. Одним из наиболее известных в партии химиков был тогда Борис Григорьевич Билит. Через несколько месяцев после описываемого мною времени как раз у него и произошел несчастный случай (несмотря на весь его опыт!) — взрыв во время работ, которым ему оторвало кисть левой руки. На взрыв явилась полиция — и Билит получил полтора года тюремного заключения: он объяснил, что производил у себя в квартире химические опыты».

Упомянутый Борис Билит — ведущий «химик» эсеров, выпускник Женевского университета, заведовал летом 1905 года и перевозкой оружия на «Джоне Графтоне». Вскоре он отойдет от революционной работы, будет преподавать химию во французских школах, а в 1932 году вернется в Россию. Судьба его неизвестна, но нетрудно предположить, что ожидало эсера на родине.

Секретарем Заграничного комитета партии был еще один химик — бывший народоволец и будущий советский академик Алексей Николаевич Бах. Еще в 1894 году он устраивает в Женеве химическую лабораторию, в которой работает в течение двадцати трех лет, проводя научные опыты и снабжая одновременно террористов боевыми материалами.

О бомбометании в окрестностях Женевы Зензинов вспоминает: «Самым интересным моментом было испытание. Для этого мы брали с собой приготовленные нами снаряды, запальные трубки и с дорожными мешками за спиной отправлялись с нашим «профессором»... за несколько километров от Женевы в горы — по большей части на гору Салев. И там производили испытания».

И конечно же, Женева — это и город Азефа. Здесь самый известный провокатор русской истории бывает неоднократно. Сеть провокации, которой Петр Иванович Рачковский, заведующий заграничной агентурой Департамента полиции в Париже и Женеве, буквально окутал женевских эмигрантов, позволяла охранке практически контролировать партию. Неудиви-

тельно, что М.М.Чернавский, член БО, соратник Азефа и Савинкова, в своих мемуарах под названием «В боевой организации» напишет: «Я очень долго колебался, раздумывая, не следует ли эту часть воспоминаний озаглавить иначе — «В паутине провокации». Такой заголовок вполне подходил бы к их содержанию, ибо на всем протяжении моей работы в БО я, как и все мои товарищи, был опутан провокацией и барахтался в ней, как муха в паутине».

Шпиономания определяла весь характер эмигрантской жизни и касалась всех революционеров вне партийной принадлежности. Бонч-Бруевич, например, вспоминает: «Все прекрасно знали, что вот здесь, среди них, в этих же студенческих столовых, в библиотеке, на всех собраниях и рефератах, а может быть, даже и в маленьких кружках и организациях, обязательно должны быть представители органов шпионажа, деятели русского самодержавия, охранного отделения и тайной полиции, которые всеми мерами старались все выведать, для того чтобы обезопасить царское правительство от приезда в Россию террористов, пропагандистов и агитаторов. И сознание, что кто-то вот среди этой толпы, которая валом валит на реферат того или другого популярного лектора, идет с целями предательства, что здесь, среди студенчества, обязательно есть эти элементы, отравляло жизнь молодежи и приучало ее к конспирации». То, что конспирация помогала мало, замечает Зензинов в «Пережитом»: «Когда, например, в Женеву приезжал Гершуни, он по целым дням не выходил из дому, чтобы не попадаться на глаза русским шпионам, и на улицу выходил лишь ночью — предосторожность, между прочим, совершенно излишняя, так как все подробности о пребывании Гершуни в Женеве Департамент полиции узнавал из донесений Азефа, вместе с которым заседал Гершуни».

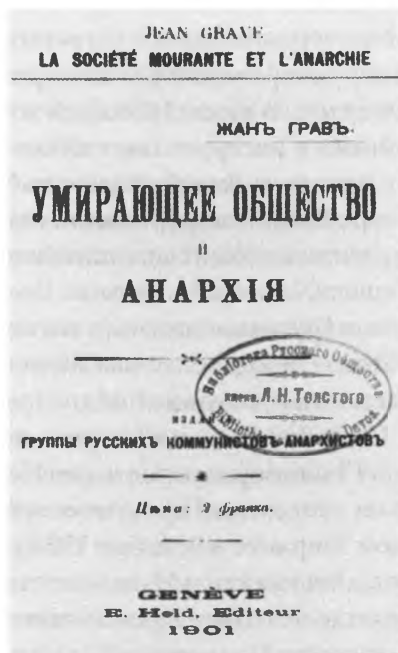
Интересно, что изобилие агентов отечественных спецслужб отметила еще народоволка Любатович в своих воспоминаниях «Далекое и недавнее»: «Я жила в Женеве, этой клоаке шпионов».

В доме № 9 по улице Каролин находится в начале XX века центр русской студенческой колонии, квартиры сдаются здесь почти исключительно студентам из России. В этом доме живут и остаются во время своих приездов в Женеву многие анархисты. О русском анархизме, в отличие от других революционных течений, написано было по известным причинам очень мало, по-

этому расскажем о некоторых жильцах и посетителях этого дома в Каруже поподробнее.

Первая русская анархическая группа в Женеве возникает в 1900 году под руководством студента-медика Женевского университета Манделя Дайнова, сына полтавского торговца. В 1903 году студент-химик того же университета Георгий Гогелиа организует анархическую группу «Хлеб и воля» и начинает издавать одноименную газету. Эпиграфом для издания молодые люди берут тезис Бакунина: «Дух разрушающий есть в то же время созидующий дух!» Газета пропагандирует идеи Кропоткина. С ней, по русской привычке разъединяться, прежде чем объединяться, борется другая русская анархическая газета, основанная в 1905 году в Женеве Иудой Гроссманом, «Черное знамя», причем девиз все тот же, бакунинский, но в слегка модифицированной формулировке: «Дух разрушительный есть и дух созидующий». В газете даются рекомендации анархистам-читателям по борьбе с провокаторами, а также подробные наставления по изготовлению бомб и взрывчатых веществ в домашних условиях. С 1906 года в Же-

Издание русских коммунистов-анархистов в Женеве



не печатается «Буревестник», самое массовое анархистское издание. Газета выходит тиражом в 5000 экземпляров и является органом одноименной группы анархистов-коммунистов того же Манделя Дайнова. Эпиграфом на сей раз берутся слова Горького из известной «Песни о Буревестнике»: «Пусть сильнее грянет буря!» В этой группе сотрудничают Александр Гроссман, брат Иуды, Николай Музиль, Новомирский (Янкель Кирилловский) и другие публицисты и практики анархизма. Существует газета за счет экспроприаций, проводимых боевыми группами в России. «Буревестник» выступает за централизованный «мотивный» террор против широко распространившегося в России «безмотивного» террора. Газета призывает к проведению организованных и массовых экспроприаций и к отказу от «эксов» в личных целях. В августе 1908-го происходит объединение «Буревестника» с «Хлебом и волей» во главе с Георгием Гогелиа. Позже, в годы войны, в Женеве выходит «Рабочее знамя» под руководством Александра Ге.

Расскажем коротко о судьбах этих людей, вносивших некогда свой яркий колорит в картину русской женеvской колонии.

Дайнов — один из ведущих теоретиков и лидеров русских анархистов-коммунистов, один из инициаторов создания при «Буревестнике» «Боевой интернациональной группы анархистов-коммунистов» по примеру эсеровской БО для проведения в России террористических актов. В июле 1908 года товарищи по редакции обвиняют Дайнова в растрате партийных денег на личные нужды, и теоретик исчезает. Дальнейшая судьба его неизвестна.

Гогелиа, бросив курс Кутаисской духовной семинарии, юношей уезжает за границу, учится в Женеве, становится лидером другого анархистского крыла, «хлебовольского». Во время революции 1905 года бросается в Грузию поднимать восстание крестьян Гурийского района. После неудачи — снова Женева. Занимается издательской деятельностью, готовит библиографию трудов Кропоткина, издает в 1912–1914 годах в Цюрихе анархистскую газету «Рабочий мир», в 17-м возвращается через Петербург в Грузию, из-за болезни легких отходит от практической работы и мирно умирает в советском Тифлисе в декабре 1924 года.

Братья Гроссманы, Александр и Иуда, — дети елизаветградского торговца. Александр вступает в революцию социал-демократом, но из «университета» Петропавловской крепости выходит убежденным анархистом. В женеvских статьях горячо отстаива-

ет методы убийств и грабежей. Не ограничиваясь теоретическими работами, сам отправляется в Россию и готовит покушение на командующего Одесским военным округом барона Каульбарса. При аресте пускает себе пулю в висок. Иуда в чем-то повторяет первые шаги брата, примыкает в швейцарской эмиграции сперва к эсдекам, но скоро отходит от них и сотрудничает с женевскими «хлебовольцами», затем с «чернознаменцами». Выступает с лекциями по теории и истории анархизма, причем поначалу показывает себя противником террора и экспроприаций, но в революционный 1905 год отправляется в Россию и уже сам принимает активное участие в разработке плана террористических акций и взрыва здания биржи в Одессе. Арестован, сослан в Тюмень, бежит. С 1917-го — в России, приветствует победу большевиков. В 1919-м находится при штабе Махно в качестве теоретика бандитской вольницы, называет себя «анархо-большевиком». В двадцатые пишет воспоминания, преподает в МГУ и ВХУТЕМАСе, в 1926-м публикует в «Правде» письмо, в котором объявляет себя приверженцем сталинского большевизма. Доживет до 1934 года.

Николай Музиль, он же Рогдаев, приходит к анархистам из социалистов-революционеров. С 1903 года — в Женеве. Обвиняется в провокаторстве и шпионаже, но ему удается оправдаться. Один из организаторов центральной боевой группы анархистов, в 1907-м доставляет из Лондона в Женеву крупную партию оружия для проведения боевых операций и в конце сентября выезжает во главе своего отряда в Россию, где проводит шумевшую экспроприацию на станции Верхне-Днепровск Екатеринославской губернии — грабит почту. Полиция проводит массовые аресты членов группы — схвачено более 150 человек. В Екатеринославе Музиль пытается организовать побег своих товарищей из местной тюрьмы — попытка оканчивается неудачей, в перестрелке погибают тридцать два боевика и более пятидесяти ранены. В мае 1908-го, мстя за погибших анархистов, Музиль с оставшимися на свободе членами отряда готовит теракт в гостинице «Франция» в Екатеринославе. Надеясь, что на место покушения прибудет кто-нибудь из городских властей, террористы устраивают через определенные промежутки времени несколько взрывов, при которых гибнет много случайных людей. Музиль благополучно возвращается в Женеву, занимается снова пропагандистской деятельностью. После революции — в Советской России.

Работает в научной секции музея Кропоткина в Москве. В 1929 году арестован, содержится в Суздальском политизоляторе. Умрет в ссылке.

Янкель Кирилловский, известный под псевдонимом Новомирский. Сперва с эсдеками, в эмиграции становится анархистом. На юге России во время революции 1905—1907 годов создает анархо-синдикалистский «Союз коммунистов», потом «Южно-русскую группу анархистов-синдикалистов». Участвует во всех террористических акциях группы, в частности в ограблении Одесского филиала Петербургского коммерческого банка в ноябре 1906 года, в проведении которого принимали участие и эсеры. Летом 1907-го шантажирует администрацию «Русского общества пароходства и торговли» в Одессе с целью заставить ее выполнить требования бастовавших моряков. С той же целью проводит ряд взрывов на пароходах и организует убийства капитанов. В июле того же года, скрываясь от полиции, возвращается в Женеву, где ведет переговоры с Дайновым о проведении дальнейших совместных акций. При возвращении в Россию арестован, приговорен к восьми годам тюрьмы. В 1915-м выпущен на поселение в Иркутскую губернию, тут же бежит в Америку. После Февральской революции возвращается в Россию. Сотрудничает с большевиками, печатает в 1920-м в «Правде» «Открытое письмо к анархистам», в котором заявляет о своем вступлении в РКП(б). Член Общества политкаторжан. Пишет мемуары. В 1936-м арестован и приговорен к десяти годам лагерей.

Александр Ге, настоящая фамилия Голберг. Исключен из шестого класса гимназии за пропаганду революционных идей. В 1905-м — член Петербургского совета, арестован, отпущен из тюрьмы условно по состоянию здоровья, бежит за границу. С июля 1906-го по декабрь 1917-го — в Швейцарии. Сотрудничает в различных анархистских изданиях, в мае 1913-го является одним из организаторов созыва съезда Швейцарской Конфедерации анархистов в Цюрихе. С началом войны занимает «ленинскую» позицию поражения России и возглавляет в Швейцарии группу анархистов-коммунистов. Вернувшись в Россию, сближается с большевиками, избирается членом ВЦИКа, призывает сражаться вместе с Лениным и Троцким против врагов революции, автор лозунга «Врозь идти, вместе бить!». Поступает на службу в ЧК и делает там скорую карьеру. В мае 1918-го становится во главе Кисловодской ЧК. С июля того же года возглавляет ЧК при пра-

вительстве Северо-Кавказской Советской Республики. В январе 1919-го попадает в плен белогвардейским частям. Расстрелян.

На этом, пожалуй, закончим рассказ о террористах из России и совершим еще небольшую прогулку по центральным улицам Женевы, останавливаясь на тех или иных «русских» местах города.

Главная улица старой части города — Гранд-рю (Grand-rue). По ее средневековой мощеной мостовой проходит к кафедральному собору мимо дома № 40, в котором родился самый известный женевец — Жан-Жак Руссо, каждый приезжающий на берега Роны путешественник.

На этой улице жил Карамзин. Об этом говорит мемориальная доска на доме № 14: «Nikolai Karamzine, célèbre historien et écrivain russe a vécu dans cette maison du 2 octobre 1789 au mars 1790» («Николай Карамзин, знаменитый русский историк и писатель, жил в этом доме со 2 октября 1789 до марта 1790»).

По этой улице прошли все поколения русских жителей Женевы, даже не интересовавшихся достопримечательностями, — эта дорога ведет к ратуше, расположенной на улице Отель-де-Виль (rue de l'Hôtel de Ville), в которой происходило оформление документов и регистрация всех иностранцев. В апреле 1865 года Герцен был возмущен назойливостью чиновников, которые через неделю после переезда его в Женеву стали требовать от него бумаги, а в мае он зарегистрировал тут свой «Колокол». Здесь в марте 1868-го внесена в книгу запись о рождении Софьи Достоевской, сюда же в мае того года пришли ее родители выполнять мучительные формальности, необходимые для похорон. В архив ратуши сдали паспорт Серно-Соловьевича после его самоубийства. Здесь, в ратуше, в бюро регистрации получали «перми де сежур» все русские эмигранты и студенты. Чете Лениных, например, для оформления вида на жительство потребовалась копия свидетельства о браке, необходимо было запросить Енисейскую духовную консисторию. На посланный в Сибирь запрос им тут же были высланы в российское консульство в Женеве все необходимые документы — при том что за границу они уехали по фальшивым бумагам. Таковую порядочность властей по отношению к инакомыслящим обывателям трудно себе представить в стране, которую основал проситель временного вида на женеvское жительство, запи-

санный в регистрационной книге 13 февраля 1908 года под номером 209.

Впрочем, посещали ратушу и просто как местную достопримечательность. Карамзин любовался видами с «гульбища» в Бастионе и в Трели, подле ратуши, здесь вспоминал свое детство, как «боролся на гумне сабелькой со злыми волшебниками». Посетила ратушу и, наверно, самая знаменитая русская путешественница XIX века, мадам Курдюкова, нерукотворное создание Ивана Мятлева, которую еще не один раз мы процитируем в нашем повествовании. Однако приговор ее суров:

В ратушу я заглянула —
Ан пасан, рукой махнула!
И не стоило труда
Даже заходить туда.

Проходил по этой улице в поисках кафедрального собора и Василий Розанов. Оригинальнейший русский мыслитель и здесь остался верен себе — он заблудился. «С берега озера был виден готический купол разыскиваемой церкви, — рассказывает Розанов в «Реликвиях Кальвина», — а теперь, когда я, очевидно, был где-то неподалеку от нее, я совершенно не мог ее отыскать из-за ужасной путаницы щелей-улиц, откуда ничего не видно, кроме вот двух домов *vis-à-vis*, между которыми пробираешься. Оказывается, я уже несколько раз прошел почти мимо церкви, не заме-

Кафедральный собор



тив боковой щели-улицы, когда наконец меня толкнули в ответ на предложенный в десятый раз вопрос: куда же идти? Эта боковая щель называется Rue Calvin. Я взволновался».

Описывая свое посещение домика и церкви Кальвина, Розанов признается: «Осматривая последнюю, я чуть-чуть, по неосторожности и неудержимому порыву, не примерился сесть на его стул. Но какой-то инстинкт вовремя остановил меня».

Собор производит на русских холодное, скорее отталкивающее впечатление. Карамзин: «Женевская кафедральная церковь напоминает мне давно прошедшие времена. Тут был некогда храм Аполлонов, но огонь пылал в стенах его и разрушил отчасти величественное здание древнего искусства — воцарилась новая религия, и развалины языческого храма послужили основанием христианской церкви. Вхожу во внутренность — огромно и пусто!» Может быть, так отталкивает русского путешественника дух Кальвина, все еще витающий под готическими сводами. Как сказал Герцен: «В каждом женеце остается на веки веков след двух простуд, двух холодных дуновений: бизы и Кальвина...»

От кафедрального собора спустимся к площади Молар (place du Molard). Здесь на средневековой сторожевой башне в 1921 году установлен барельеф работы Поля Бо «Женева — город изгнанников». Женщина, символизирующая приветливую к эмигрантам Женеву, протягивает руку некоему лысому бородавтому мужчине. По стойкой женевской легенде, скульптор придал лицу изгнанника характерные черты вождя мировой революции.

Еще несколько шагов к озеру, и мы оказываемся в так называемом Английском саду — еще одна обязательная городская достопримечательность. Этот скверик сыграл свою трагическую роль в женевской жизни Достоевских. «В первых числах мая стояла дивная погода, — пишет Анна Григорьевна в своих воспоминаниях, — и мы по настоятельному совету доктора каждый день возили нашу дорогую крошку в Jardin des Anglais, где она и спала в своей колясочке два-три часа. В один несчастный день во время такой прогулки погода внезапно изменилась, началась биза (bise), и, очевидно, девочка простудилась, потому что в ту же ночь у нее повысилась температура и появился кашель».

Наверно, какое-то предчувствие с самого приезда в Женеву заставило Достоевского невзлюбить этот небольшой городской парк. В письме Майкову он так изобразил это, в общем-то, красивое место: «Разбили дряннейший палисадник из не-

скольких кустиков (ни одного дерева), совершенно в роде двух московских палисадников, в Москве, на Садовой, если б их соединить вместе, и фотографируют и продают: “Английский сад в Женеве”».

Отсюда, из этого «палисадника», Анна Григорьевна, мучимая ревностью, следила за своим мужем, подозревая, что он ходит вовсе не читать русские газеты, а к тайно приехавшей в Женеву Аполлинарии Сусловой: «...Все-таки я решилась следить за Федей, чтобы знать, неужели он мне изменяет. Когда он после обеда пошел в читальню, я высмотрела, как он действительно туда вошел. Потом я отнесла домой книги и поспешила через другой мост в Английский парк, из которого было очень хорошо видно, если бы он вышел, но дожидаться там, пока он прочитает все газеты, было бы, право, глупо, потому что иногда он читает часа 2, а стоять на месте 2 часа очень тяжело, потому я решилась тихонько пройти мимо кофейни, вполне уверенная, что он меня не заметит. Так и случилось, я прошла и увидела, что он смиреншенько сидит себе у стола и читает газету...»

Дом на улице Монблан, где жил Ф.Достоевский



Кофейня, куда Достоевский ежедневно ходил читать газеты, — кафе «Корона» (de la Couronne), располагалась на набережной Гранд-Кэ (Grand Quai), напротив Кэ-де-Берг (Quai des Bergues). Здесь Федор Михайлович встречался со своим единственным женеvским знакомцем, Огаревым. Именно в беседе за чашкой кофе в «Короне» Огарев присоветовал ему переехать в Веве, здесь же он передал Достоевскому почитать «Былое и думы».

Перейдем на другой берег Роны. Кстати, этот мост (Pont des Bergues), о котором Герцен сказал, что он «в Женеве то же, что Тверской бульвар в Москве», и по которому каждый день гуляли Достоевские, становился и местом семейных размолвок. «В 2 часа пошли обедать, — записывает в дневнике Анна Григорьевна, — взяв от хозяйек зонтик, который сделался причиной ссоры между нами, именно, так как под одним зонтиком под руку идти было гораздо удобней, то Федя и взял меня под руку, и, очень весело распевая, мы пошли через мост. Но тут мне случилось поскользнуться, но так сильно, что я было чуть не упала; вдруг Федя раскричался на меня, зачем я поскользнулась, как будто я это сделала нарочно, я ему отвечала, что зонтик не панцирь и что он дурак. Так мы дошли до библиотеки, где Федя отдал книги, но потом мне сделалось так досадно, да и было неприятно идти под руку с человеком, который на меня сердит. Я пошла без зонтика, а он под зонтиком. Потом ему показалось, что какие-то торговки смеялись, видя, что он идет покрытый, а я нет, и он перешел на другую сторону улицы...»

Островок Руссо, мимо которого мы проходим, тоже не остался без упоминания русскими путешественниками. В путевых записках мадам Курдюковой, объясняющей в любви философу, читаем:

Ля статью на пьедестале,
В зыбком озера зеркале
Отражается она;
И меж листьями луна
Чудно обдает контуру
Этой бронзовой фигуры;
И, теряясь меж кустов,
Мне л'еспри дю философ —
Дух его напоминает!

По набережной Кэ-дю-Монблан (Quai du Mont-Blanc) мы направляемся в сторону маяка. Женевский маяк — тоже вполне рус-

ское место. Герман Сандомирский, в те времена студент-юрист, вспоминает: «Как хорошо было, особенно после горячих дискуссий в кафе «Handwerk», вдохнуть в себя свежий воздух женевской ночи. Излюбленным местом, где мы охлаждали свои разгоряченные мозги, был знаменитый женевский маяк. От берега озера к нему ведет белый каменный мол. Трудно представить себе более красивый вид, чем тот, который раскрывался с этого мола на озеро, озаренное серебристой полосой лунного света и окаймленное белоснежными вершинами гор. Этот маяк останется памятным для всей тогдашней молодежи. Здесь публика по большей части отдыхала; если кто-либо затевал продолжение дискуссии, его обрывали: хватит, мол, других мест, где можно спорить по целым дням. Это было место лирических излияний и тихой, щемящей грусти по далекой родине. Здесь предавались тоске по товарищам, сидевшим в русских застенках, думали о собственном будущем, которое вряд ли будет чем-либо отличаться от участи товарищей, о грядущих боях; здесь молча проверяли свою готовность к ним и стойкость революционной воли. Здесь объяснялись в дружбе, завязывались романы, более экспансивные декламировали стихи с лирическим уклоном, и часто пели хором революционные песни, наводя панику на мирных швейцарских бюргеров. Забрести они могли на маяк только случайно, ибо явочным порядком русская молодежь отвоевала себе это место».

Участь самого мемуариста вряд ли чем отличается от участи его товарищей. Изучение юриспруденции очень скоро привело молодого человека в стан бомбометателей. Он примкнул к анархистам, вошел в их боевую группу, был арестован, сослан в Нарымский край, бежал из ссылки за границу, снова швейцарская эмиграция, потом опять теракты в России. Снова арест, каторга, ссылка. С 17-го года Сандомирский в огне событий, призывает своих товарищей анархистов «к единому фронту с большевиками как единственно подлинными революционерами». После смерти Ленина отрекается от анархизма. Служит в Наркомате иностранных дел, в частности, представляет Советский Союз на Генуэзской конференции, занимается литературной деятельностью до самого ареста в 1934 году. Лагерь, ссылка в Енисейск. В 1937-м снова арест. Башлаг. Расстрел.

Заглянем и на улицу Бонивар (Bonivard). Здесь находилось до революции русское консульство. Весной 1901 года оно чуть бы-

ло не стало жертвой революционного погрома. После митинга-протеста против разгона студенческой демонстрации в России сюда пришли протестовать возмущенные женевские студенты. Из донесения посланника России в Швейцарии Вестмана 9 апреля 1901 года: «По завершении митинга группа русских студентов и студенток, в основном еврейской национальности, шумной толпой направилась к консульствам России и Италии. Подойдя к первому из них, толпа в количестве 200—300 человек, включая зевак и местный городской сброд, остановилась и начала яростную демонстрацию с пением революционных песен и выкрикиванием в основном на хорошем женевском французском языке оскорбительных слов. Из толпы был брошен большой камень, который разбил двойное стекло, были предприняты неудавшиеся попытки выломать входную дверь, наконец несколько демонстрантов залезли с внешней стороны на верхний карниз двери и сняли консульский щит, который был тут же демонстративно разбит и унесен куда-то».

«В числе арестованных по делу о нападении на консульство, — сообщает нам подробности Сандомирский, — был задержан ряд болгар и сербов. Среди них — красивая сербка Радмилович, учившаяся на медицинском факультете и отличавшаяся могучим телосложением. Радмилович была изобличена женевской полицией в том, что она подставила свои могучие плечи студенту, воспользовавшемуся ее помощью для того, чтобы сорвать ненавистный флаг».

Процитируем еще отрывок из воспоминаний Бонч-Бруевича, поскольку здесь особенно наглядно проступает отношение швейцарских властей к русским революционерам: «Вера Михайловна (Величкина, жена Бонч-Бруевича. — *М. III.*) тотчас же отправилась к главе женевского правительства и подробно объяснила ему о том, что послужило поводом к демонстрации. Швейцарец — один из выдающихся политических деятелей Женевы, демократ и республиканец, — был крайне возмущен тем, что творили агенты самодержавия с учащейся молодежью и другими демонстрантами в России. Он сейчас же выпустил нескольких человек на поруки Вере Михайловне и сказал, что русский посол все-таки требует удовлетворения и что, помимо возмещения материальных убытков, власти должны будут кое-кого из русских принести в жертву и выслать, а поэтому самое лучшее сказать ему заранее, кто из русских собирается выезжать из Женевы, — на тех они

и останются; мешать же учиться русским, в угоду царской полиции, они не хотят. Через день ему был представлен список четырех лиц, действительно, по своей надобности, совершенно уезжавших из Женевы и, кроме того, всегда живущих за границей (двое из них были болгары), — их выслали! На самом деле они уехали сами, но об их «высылке» сообщили русскому послу в Берн. Остальные были все выпущены на свободу, и их более не трогали».

Дальше от озера, за железной дорогой, идет улица Серветт (rue de la Servette). На ней, в доме № 37, жил летом 1904 года, приехав на несколько недель из Парижа, в квартире своего двоюродного брата Максимилиан Волошин. Из его писем узнаем, что он часто посещал уже известное нам «русское» кафе «Ландольт» и встречался там с издателем «Скорпиона» Сергеем Александровичем Поляковым. Тогда же состоялось его знакомство с Вячеславом Ивановым, жившим в то время под Женевой на вилле Жава (Java). О своих впечатлениях от знакомства поэт пишет Маргарите Сабашниковой: «Бесконечные разговоры с Ивановым: весь трепет разговора. Религия Диониса, танцы, ритм, оргазм, маски... Разговоры с Ивановым — это целый океан новых мыслей, столкновения и подтверждения старых. Мы так во многом сошлись, и сошлись так неожиданно, идя такими разными путями... Мы говорили о золотом веке, когда вся земля опояшется хороводами пляшущих людей, как млечными путями. Все сольется в одной звездной пляске».

А в письме Брюсову от 24 сентября 1904 года Волошин добавит: «Для меня Женева была наполнена, конечно, разговорами с Вяч. Ивановым. Ведь я только теперь лично с ним познакомился. Он обогатил меня мыслями, горизонтами и безднами на много лет».

Вернувшись снова на левый берег Роны и пройдя площадь Бель-Эр (Bel-Air), мы оказываемся на улице Корратри (Corraterie). По мнению мадам Курдюковой,

Как Женеву ни смотри,
Улица Ла Коратри
Только стоит здесь вниманья.

В доме № 10 по этой улице располагался некогда знаменитый книжный магазин «Жорж и К^о». Книготорговля была открыта

базельским издателем Г.Георгом, переехавшим в Женеву. В 1865 году с ним познакомился Герцен. 1 июня 1865 года издатель «Колокола» писал о магазине «Жорж», что «склад журнала будет у него и под его управлением». На этот адрес присылали для Герцена корреспонденции из России. «Жорж» использовали как книжный магазин все поколения русской эмиграции.

На Корратри находилось здание почтамта, куда Достоевские каждый день приходили за письмами. Сюда прибегала Анна Григорьевна пораньше, чтобы незаметно от мужа взять нефранкированное письмо от матери. Здесь однажды встретились Достоевские с Огаревым. Достоевский спросил, какого врача мог бы тот ему порекомендовать, и Огарев посоветовал ему своего. Анна Григорьевна записывает в дневник: «Тот указал нам на доктора Маюг, живет на площади Molard № 4, и просил, если мы адресуемся к нему, то сказать от имени Огарева, говорил, что тот принимает к себе на дом, и тогда следует ему заплатить 2 франка, а если звать на дом, то надо дать больше, т.е. франка 3 или 4. Удивительно, как они мало получают, ну разве возможно дать хотя бы самому плохому доктору в Петербурге 1 рубль, ведь это положительно невозможно, а тут 4 франка, так и за глаза довольно».

Здесь же произошла еще одна примечательная русская встреча. Бонч-Бруевич закупил брошюровочные машины для партийной типографии и тащил их с несколькими товарищами. «Запряженные четверкой, да двое сзади, напрягая все свои силы, подошли мы к фешенебельной улице rue de Corraterie, и это совпало как раз с 12 часами дня, когда уличное оживление достигает своего апогея. Все радостные, многие с букетиками живых цветов, оживленно двигались, спеша домой, в этот обеденный час. На улицах стали мелькать знакомые лица русской колонии, и не только колонии вообще, но и социал-демократы в частности. Не могу не вспомнить того печального чувства, охватившего нас, когда я заметил, что многие, увидав нас, были шокированы нашим положением и, на минуту останавливаясь с раскрытыми глазами, мигот потом затирались в толпе, спеша отойти от нас подальше. Когда это было студенчество — мы не обращали на это внимания. Но вот прошли ростовские рабочие, успевшие приодеться в Женеве, переменить рубашки на «пинжаки» и вообще принарядиться по-европейски, и когда кто-то из нас крикнул им: «Помогли бы!» — они, не оглянувшись, словно не заметив нас (а нас нельзя

было не заметить!), завернули поспешно в переулок и заторопились уйти.

— Вот как портит наших ребят буржуазная обстановка европейского города, — кто-то проговорил укоризненно, мы же вновь и вновь напрягли свои силы, чтобы совершить еще долгий утомительный путь по бесконечной rue de Carouge, которую сокращенно мы звали «Каружкой».

— Вот так молодежь, вот так молодцы! — вдруг раздался знакомый голос. — Машину на себе везете! — изумился Георгий Валентинович Плеханов, быстро подходя к нам, чистенько одетый, с пальто на руке, совершавший свой ежедневный путь, когда он был здоров, из библиотеки домой.

— Я хочу вам помочь, — сказал он нам и готов был взяться за конец веревки.

Мы изумленно смотрели на него, — так это было неожиданно! — а я невольно вспомнил тех новоявленных заграничных щеголей из нашей же эмигрантской среды, которые, сконфуженные нашим поведением, отворачивались от нас, чтобы не раскланиваться с нами, запыленными, вспотевшими и грязными, на самой бойкой улице буржуазного квартала Женевы.

Корратри приводит нас на самую известную площадь Женевы, Плас-Нёв (place Neuve). На этой площади находится Гранд-театр (Grand Théâtre). Когда-то здесь дирижировал Чайковский, во время Первой мировой войны устраивал представления Дягилев, живший в Уши и готовившийся со своей труппой к турне по Америке. Стравинский вспоминает: «...Просили дать спектакль в Женеве в пользу Красного Креста. Случаем этим он воспользовался, чтобы показать как бы предварительную премьеру своего нового балета, и устроил в Женевском театре фестиваль музыки и танца. В нем приняла участие Фелия Литвин, открывшая этот вечер пением русского национального гимна. Я дирижировал там первый раз перед публикой фрагментами «Жар-птицы» <...> Это был также первый дебют Эрнеста Ансерме как дирижера «Русских балетов»».

В Женеве тогда же проявил себя как балетмейстер Леонид Мясин, поставив в Гранд-театр по предложению Дягилева балет «Полуночное солнце» на музыку оперы Римского-Корсакова «Снегурочка». Михаил Ларионов оформил балет в стиле русского лубка. Спектакль имел у женевской публики колоссальный успех.

По соседству с «Большим театром» расположилась консерватория, тоже имеющая давние русские связи. Уже цитировавшийся Аркомед вспоминает, что после студенческих волнений 1887 года в России «в некоторых городах Европы (Париж, Цюрих, Берн, Женева), где обучались сотни и тысячи русских студентов, устраивались общественные собрания протеста против правительства кровавого царя, выносили резолюции глубокого сочувствия и готовности всемерно прийти на помощь русскому мученическому студенчеству. Упомяну здесь о внушительном собрании, устроенном в Женеве (в зале Женевской консерватории), на котором, между прочим, выступил ученый, профессор физиологии Лозаннского университета Александр Александрович Герцен (сын знаменитого А.И.Герцена – Искандера). Собрание в своей единодушно принятой резолюции клеймило гнусную политику царского самодержавия и его палачей по отношению к русской академической жизни и студенчеству».

В июне 1906 года в Женевской консерватории состоялись сольные концерты Скрябина, организованные Розалией Плехановой-Боград. Половину гонорара Скрябин передал на революционные нужды, правда, гонорар оказался невелик. «В июне я дал концерт в Женеве с громадным успехом и доходом в... 70 франков! – пишет Скрябин в одном из писем. – Газеты женевские меня превозносят».

Здесь же, на Плас-Нёв, находится музей Рат (Rath), также имеющий некоторое отношение к России, а именно: это первое в Европе здание, специально спроектированное для музея, было построено женеvцем на деньги, которые он вывез из России, где служил сначала воспитателем, а потом офицером. Так выглядит эта история в изложении мадам Курдюковой:

Даже Харитон мой слышал,
Что какой-то русский граф,
Как-то здесь его узнав,
К сыну принял в гувернеры;
Но взманили, зная, гонеры,
Стал служить наш молодец
И добился наконец
В число русских генералов.
Сколько наших капиталов
Так ушло, как поглядишь!
У него музей тре риш!

Наполнены русской историей и ближайшие окрестности Женевы.

В Онэ (Opex) в собственном доме на Бернской улице (rue de Berne, 49) долгое время жил Павел Иванович Бирюков, известный толстовец, личный друг, биограф и издатель писателя. Вследствие активных выступлений в защиту духоборов ему пришлось покинуть Россию, и вместе с семьей он обосновался в Швейцарии, в этом тихом предместье Женевы, где занимался написанием четырехтомной биографии писателя и изданием его сочинений, запрещенных к публикации на родине. Гостеприимная вила Бирюкова являлась своеобразной базой толстовцев. «Дом его, — вспоминает Федорченко-Чаров, — служил центром, куда направлялись из России, так и из Америки, все толстовцы, духоборы и др. сектанты, бежавшие от преследований царского правительства». Постепенно эта вила превратилась в толстовскую колонию, пропагандировавшую идеи писателя и производившую одновременно молочную продукцию. Жирные сливки, получавшиеся толстовцами на ферме в Онэ, пользовались в Женеве большой популярностью, во всяком случае большей, чем идеи фермеров. Сам Бирюков пользовался авторитетом и у женевских властей, и у всей русской эмигрантской колонии. Именно сюда, в Онэ, приезжал Ленин за подписью поручителя для принятия в закрытую для широкого доступа библиотеку «Общества любителей чтения». Здесь же хранился некоторое время и архив социал-демократической партии.

Интересные подробности о семье толстовца рассказывает в своих воспоминаниях Александр Николаевич Рубакин, сын известного библиофила: «Вся семья Бирюковых иногда приезжала к нам в гости в Кларан. Они привозили с собой какую-то особенную растительную пищу, из которой варили для себя какие-то блюда, похожие на клейстер. Поскольку Бирюков принял швейцарское гражданство, вся его семья стала швейцарской. Один из сыновей, Борис, был призван в Швейцарии на военную службу, но отказался служить, говоря, что это противоречит его убеждениям. В результате вместо двух недель военной службы в милиции ему пришлось за этот отказ отбыть три месяца тюремного заключения. После Октябрьской революции Борис уехал в Россию, стал советским гражданином. Любопытно, что тогда же он начал есть мясо, стал работать в Комиссариате иностранных дел и был в 1924 году, когда Франция признала Советское правительство, назначен

на работу в советское консульство в Париже. После этого он много лет работал в войсках НКВД, где дослужился до звания подполковника».

В Женеве, кстати, нашел убежище и секретарь Толстого – Чертков.

Местечко с русским названием Весна (Vésenaz) связано прежде всего с именем Скрябина. В 1904–1905 годах композитор жил здесь с семьей на вилле Ле-Лила (Les Lilas). «У Саши есть комната на самом верху, – писала жена Вера в письме. – Там стоит пианино (рояля нет в целой Женеве), и там он может уединяться». Здесь Скрябин работает над Третьей симфонией и над «Поэмой экстаза». Это чудесное место с видом на Женевское озеро становится кулисами семейной драмы.

Рассеянность гения – посылает находившейся на отдыхе жене письмо, адресует в Геную и удивляется, что в Ницце она его не получила. Пишет, что туман, который мешает ей наслаждаться Ниццей, будет рассеян северным ветром, – и адресует эту открытку в Неаполь. Письма же, отправляемые Скрябиным из Женевы своей любимой – Татьяне Шлецер, всегда находят адресата. В январе 1905-го он пишет ей: «Как жаль, что ты не со мной, дорогая! Швейцария зимой несколько не хуже, чем летом. Это такая тонкая игра нежнейших цветов. Линии гор почти неуловимы, все в голубой дымке. Все намек, все обещание, все мечта. А какой воздух!»

На швейцарский период жизни приходится увлечение композитора социализмом. Маргарита Морозова, помогавшая материально Скрябину, посетила его в Весна в 1904 году и пишет в своих воспоминаниях о его знакомых социалистах: «Позже, в Весна, я встречала у Скрябина этих рыбаков, о которых он говорил. Отто и его товарищи приходили довольно часто к нему. Отто, с которым особенно дружил Скрябин... звал Скрябина просто Alexander и дружески хлопал его по плечу. Эти рыбаки, по словам Александра Николаевича, были социалистами и мечтали о мировой революции. Александр Николаевич их привлекал своим подъемом, своей верой в победу и в новую жизнь и, конечно, своей простотой и ласковостью. Не будучи социалистом, Александр Николаевич очень сочувствовал мировой революции, с нетерпением ожидал ее как первый шаг на пути освобождения человечества».

Приезжая в Женеву, Скрябин останавливался в гостинице «Отель-де-Женев». В его жизни этот город сыграл трагическую

роль. В июле 1905 года старшая дочь Скрябина Римма внезапно заболела и была перевезена в кантональную больницу, где умерла 15 июля 1905-го от заворота кишок. Умерла в отсутствие отца — он уехал накануне ее болезни и вернулся по телеграмме уже на похороны.

Может быть, и эта смерть повлияла на его решение — Скрябин оставляет жену и в феврале вместе с Шлецер селится в Женеве по адресу: улица Фонтэн, дом 2 (Chemin de la Fontaine, Servette). Татьяна Шлецер писала в одном из писем: «Устроились мы отлично; у нас хорошая вилла с садом и даже с электричеством. От города совсем близко, минут двадцать пешком, а с трамваем даже пустяки». Отсюда Скрябин посылает свое согласие на предложение Метнера участвовать в «Золотом руне», здесь продолжается работа над «Поэмой экстаза», но не все безоблачно в жизни влюбленных. Скрябин очень тяжело переживает отказ Веры в разводе. Кроме того, высшее музыкальное общество Женевы не принимает его. Композитор хочет установить контакты с профессорами Женевской консерватории, посещает каждого, но так и не дожидается ответных визитов. Своей благодетельнице и другу Маргарите Морозовой он пишет: «Это лишь пропускной билет в общество, от которого я завишу до той минуты, пока не сделаюсь известным». В другом письме ей же: «А ведь Вы знаете швейцарские нравы!» Его, живущего «свободным» браком, не принимает женевский музыкальный свет. Ко всему прочему прибавляется и нужда, а также унижение жить на «пенсию» Морозовой, которая регулярно посылала ему в Женеву деньги. Приходилось все время просить об отправке вперед: «Авансируйте мне, пожалуйста, положенную мне пенсию, то есть вместо того, чтобы прислать деньги 1 июля, пришлите мне их теперь и даже возможно скорее, так как срок платежей приближается и мне грозят всевозможные неприятности, Вы ведь знаете, что такое швейцарский *proprietaire*».

В Селиньи (Celigny) в «Отеле Солнца» (Hôtel du Soleil, rue des Coudres, 10) останавливается в 1900 году во время своего первого швейцарского путешествия со своим товарищем Куровским Иван Бунин. По женевским впечатлениям был написан рассказ «Тишина», опубликованный первоначально под названием «На Женевском озере». В письме брату от 18 ноября 1900 года Бунин так описывает свое пребывание в городе на Роне: «Выехали из Парижа 10-го, вечером приехали в Женеву.

Ночь провели в г... снаружи и всюду, но с чистой комнатой в «Отеле Солнца», вышли утром и поразились тихим, теплым утром. Из нежных туманов, скрывавших все впереди, проступали вдали горы и озеро, нежное, лазурно-зеленого цвета. Нежный туман был полон солнца, и когда туман растаял, чистый, веселый, заграничный город был очень весел и изящен. Взяли лодку, купили сыру и вина и вдвоем, без лодочника, уехали по озеру. ...Тишина, солнце, лазурное, заштилевшее озеро, горы и дачи. В тишине – звонкие и чистые колокола, издалика – и тишина, вечная тишина, которая царит в заповедном царстве Альп, где только сдержанный шум водопадов, орлы и пригревает полдень...»

Женева найдет свое отражение и в других произведениях писателя. Например, в «Маленьком романе» Эль-Маммуна пришлет роковую телеграмму именно из этого города.

Бельвю (Bellevue), курортное местечко на другой стороне озера, связано с именем знаменитой в свое время актерской пары, Жоржа и Людмилы Питовых. В Швейцарию они приехали вскоре после свадьбы летом 1915 года. Их связали и семья, и театр. В этом браке родилось семеро детей, а количество поставленных и сыгранных спектаклей с трудом поддается учету. Их совместная творческая деятельность в Женеве началась с благотворительных концертов на русском языке для военнопленных. Скоро с созданием своего театра им пришлось перейти на французский. Спектакли давали в Женеве, в других городах Швейца-

Людмила и Жорж Питовы



рии, гастролировали в Париже. За семь швейцарских сезонов Питоев поставил 70 пьес 46 авторов 15 национальностей, причем огромную часть репертуара занимали постановки по произведениям русских авторов: Чехова, Толстого, Андреева, Блока, Горького.

Во время работы над «Историей солдата» Питоевы близко подружились со Стравинским, и композитор был даже крестным отцом их дочери Светланы, которую крестили в русской церкви в Женеве.

С 1922 года театр переехал в Париж, и именно Питоевым был открыт для французского зрителя Чехов, им были поставлены и постоянно шли все чеховские пьесы. Умер Жорж в Бельвю в военный сентябрь 1939-го. Людмила после смерти мужа жила в 1939–1941 годах в Швейцарии – потом Америка и Франция, но похоронены оба вместе на кладбище Жанто (Genthod) близ Женевы. Энциклопедия называет Людмилу «одной из величайших актрис межвоенного периода».

Особую роль в истории русской Женевы занимает Ферней (Ferney) – место поклонения памяти знаменитого в России «философа-вольнодумца». Хотя формально Ферней расположен на территории Франции, редкий русский путешественник не связывал свое швейцарское путешествие с короткой поездкой из Женевы в этот уголок Вольтера.

«На другой день по прибытии своем в Женеву, – пишет в своих записках княгиня Дашкова, – я послала к Вольтеру спросить разрешения посетить его на следующий день вместе с моими спутницами. Он был очень болен, однако велел мне передать, что будет рад меня видеть и просит меня привести с собой кого мне будет угодно». Получив столь любезное согласие, Дашкова на следующий день приезжает в Ферней. Философу нездоровится. «Больной и слабый, он лежал на кушетке». Однако появление русской княгини и даже сам голос ее, как подчеркивает Дашкова, производят благотворное воздействие на Вольтера: «Он поднял обе руки театральным жестом, как бы подчеркивая тем свое удивление, и воскликнул: “Как! У нее и голос ангельский!”» Отпускать после ученой беседы столь приятную собеседницу философ не захотел и стал упрашивать ее остаться с ним отужинать, «но предупредил, что, не имея возможности сидеть, он будет стоять на коленях на

кресле возле меня». И действительно — «Вольтер пришел, поддерживаемый лакеем, и стал напротив меня на колени на кресле, повернутом спинкой в мою сторону; за ужином он стоял в таком же положении возле меня». Столь удивительное благоговение перед гостьей Дашкова не без юмора объяснила в примечании: «Он страдал сильным геморроем». Как бы то ни было, русская путешественница произвела такое впечатление на старца, что Вольтер упросил ее приходить к нему каждый день по утрам.

Вскоре после Дашковой посетил это место и Карамзин, однако самого философа уже не было на свете. «Кто, будучи в Женевской республике, не почтет за приятную должность быть в Фернее, где жил славнейший из писателей нашего века? Я ходил туда пешком с одним молодым немцем. Бывший Вольтеров замок построен на возвышенном месте, в некотором расстоянии от деревни Ферней, откуда идет к нему прекрасная аллея. Перед домом, на левой стороне, увидели мы маленькую церковь с надписью: “Вольтер — Богу”».

Е.Р.Дашкова



Карамзин обратил особое внимание на одну картину: «На стенах висят портреты: нашей императрицы (шитый на шелковой материи, с надписью: «Présenté à Mr. Voltaire par l'auteur», — и на сей портрет смотрел я с бóльшим примечанием и с бóльшим удовольствием, нежели на другие)...

Традицией русских путешественников становится отрывать себе на память кусочек от полуистлевшего полога над кроватью Вольтера. Так, например, поступает Николай Тургенев. Греч замечает, что занавес над Вольтеровым ложем разорван на кусочки путешествующими философами так же, как его тексты философами пишущими. На Жуковского, побывавшего здесь в 1821 году, обиталище одного из лучших умов человечества вовсе не произвело впечатления. Кроме «полуистлевшего занавеса», он обращает еще внимание, как, впрочем, и остальные, на знаменитую урну: «На печи стоит деревянная, довольно дурная урна, в которой некогда хранилось сердце Вольтера. Теперь осталась одна надпись: «Son esprit est partout, et son cœur est ici», но и та до половины уничтожена; от начала пропало son, а от конца ici, и вышла галиматья; в гостиной, где на старинной печи стоит Вольтеров бюст, есть несколько весьма дурных картин, между которыми одна, изображающая Вольтеров апофеоз, заметна своим уродством».

От Гоголя философу тоже досталось. Из письма Н.Я.Прокоповичу: «Сегодня поутру посетил я старика Вольтера. Был в Фернее. Старик хорошо жил. К нему идет длинная, прекрасная аллея, в три ряда каштаны. Дом в два этажа из серенького камня, еще довольно крепок. Я... (текст испорчен. — М.Ш.) в его зал, где он обедал и принимал; все в том же порядке, те же картины висят. Из залы дверь в его спальню, которая была вместе и кабинетом его. На стене портреты всех его приятелей — Дидеро, Фридриха, Екатерины. Постель перестланная, одеяло старинное кисейное, едва держится, и мне так и представлялось, что вот-вот отворятся двери и войдет старик в знакомом парике, с отстегнутым бантом, как старый Кромид, и спросит: что вам угодно? Сад очень хорош и велик. Старик знал, как его сделать. Несколько аллей сплелись в непроницаемый свод, искусно простриженный, другие вьются не регулярно, и во всю длину одной стороны сада сделана стена из подстриженных деревьев в виде аркад, и сквозь эти арки видна внизу другая аллея в лес, а вдали виден Монблан. Я вздохнул и нацарапал русскими буквами имя мое, сам не отдавши себе отчета для чего».

Мятлевская мадам Курдюкова тоже, разумеется, не могла не посетить столь знаменитое место. Ее возмутила скверная привычка бездельников-туристов:

Оборвали ле ридо
Всей Вольтеровой постели:
Сувенир иметь хотели,
Всякий клал себе в альбом
Эн морсо де се гранд ом!

Розанов, побывавший в Фернее в 1905 году, и здесь остался верным себе — уехал в Женеву ни с чем. Русского философа не пустили в замок Вольтера, открытый в то время только по средам.

С тем же успехом побывал в Фернее и Вахтангов. Режиссер записывает в дневник: «1/14 февраля 1911 г. ...Дом Вольтера был заперт. Вернулись в Женеву по электрической железной дороге».

Эту традицию продолжили и послереволюционные эмигранты. Марк Алданов в своем очерке о Женеве из книги «Несентиментальное путешествие» пишет: «Я поехал в Ферней — и не увидел дома. После войны Ферней перешел в руки некоего господина Х. Он не считает нужным показывать дом посетителям и, судя по слухам, даже собирается дом перестроить. Это общественный скандал, но частная собственность священна. В деревенском ресторане я спрашиваю, кто этот господин Х. Выясняется, что это очень гордый человек, который в войну «заработал» огромное состояние и теперь на эти кровавые деньги (действительно кровавые) приобрел имение Ферней. Это не дом Вольтера, это его дом». Сам Ферней вызывает у Алданова совершенно русские ассоциации: «Дом напоминает яснополянский. Разве что Ясная Поляна, насколько я припоминаю, намного красивей Фернея. Вольтеру не хватало чувства прекрасного и любви к красоте».

Подробный рассказ о жизни послереволюционной эмиграции, как и в других главах этой книги, оставим следующим поколениям исследователей и ограничимся здесь лишь несколькими общими замечаниями.

Русскую эмиграцию после 1917 года притягивают Берлин и Париж. Если кто и приезжает по старой привычке в Швейцарию, то ненадолго — примером может служить Лев Шестов. Философ прибывает с семьей из России в Женеву в 1920 году и останавли-

вается у сестры Фани Ловцкой на улице Варан (avenue de Varens, 4). Здесь он живет только год, после чего уезжает во Францию, куда стекается вся русская интеллектуальная элита.

И все же в город на Роне часто приезжают русские эмигранты, обосновавшиеся в других городах и странах. Здесь бываюи Бунин, Алданов, Шмелев, Шаляпин, Бердяев, Рахманинов, Стравинский, Иван Ильин, Лосский и многие-многие другие.

Приезжает в Женеву на один день 3 сентября 1936 года из Савойских Альп с сыном Муром Марина Цветаева. В письме поэту Анатолию Штейгеру, которому она хочет послать по почте посылку, Цветаева описывает этот день, который проводит со своими попутчиками из пансиона в беге по магазинам: «...Я в Швейцарии не была с 1903 г. — и тогда посылки не посылала — сумею ли на чужой почте отправить? И — наберусь ли мужества остановить полный автомобиль людей — перед своей почтой? По дороге мне показывают Jardin Anglais, Rade, озеро, но я ни на что не смотрю — велю смотреть Муру». Цветаевой 1936 года уже не до осмотра достопримечательностей. В Советский Союз возвращается ее дочь, скоро туда скроется от французской полиции замешанный в убийстве Порецкого муж, а там и ее ждет Елабуга. Заканчивает письмо Цветаева словами: «Вот Вам, дружок, моя Женева — и навряд ли будет вторая».

Коротко упомянем нескольких представителей русской эмиграции, обосновавшихся в Женеве.

Здесь жила, например, Анна Алексеевна Каменская — ведущая деятельница теософского движения в России, президент Теософ-

Ф.И.Шаляпин



ского общества, основанного в Петербурге в ноябре 1908 года. При расколе Международного теософского общества в 1912 году она не идет за «немецкой» секцией Штейнера, но остается в «англо-индийском» обществе под председательством Анни Безант, отстаивавшей чистоту идей Блаватской. В 1918 году Теософское общество закрывается, Каменская по счастливой случайности избегает ареста. Пройдя все круги гражданской смуты, она оказывается в Швейцарии. В эмиграции Каменская возглавляет Русское зарубежное теософское общество. Здесь она издает с 1924 года ежемесячный журнал «Вестник», продолживший дореволюционный «Вестник теософии», это издание выходит вплоть до сороковых годов. В 1926 году Каменская сдает в Женевском университете докторский экзамен и возглавляет кафедру сравнительной теологии.

Софья Владимировна Панина — из старинного дворянского рода. До революции она занимается общественной деятельностью, строит в Петербурге на свои деньги Лиговский народный дом, открывает и поддерживает многочисленные благотворительные общества, организует биржи труда. В год революции она — член ЦК партии кадетов, занимает во Временном правительстве пост товарища министра государственного призрения. В роковую октябрьскую ночь Панина возглавляет делегацию городской Думы, посланную на крейсер «Аврора», чтобы предупредить обстрел Зимнего дворца. Она руководит в те дни Малым Советом министров, составленным из товарищей арестованных министров Временного правительства, который собирается у нее на квартире. Когда большевики пытаются изъять денежные средства Министерства просвещения, Панина отказывается сдать сумму, собранную по подписке по всей России на строительство женского медицинского института. Ее арестовывают, несколько месяцев она проводит в тюрьме. В швейцарской эмиграции она посвящает себя нуждам русской учащейся молодежи.

В Женеве проводит последние годы жизни Борис Петрович Вышеславцев, высланный из России в 1922 году. В эмиграции он вместе с Бердяевым основывает и долгое время редактирует «Путь». Вышеславцев сближается с психоаналитической школой Юнга, в тридцатые годы — сначала вместе с Эмилием Метнером, а после его смерти в 1936 году один — подготавливает и издает собрание сочинений швейцарского ученого в русском переводе. Русский философ участвует в экуменическом движении, работа-

ет в секретариате Женевской экуменической лиги. В конце со- роковых годов он переезжает из Франции, где его подозревали в сотрудничестве с нацистами во время войны, в Женеву и здесь угасает от туберкулеза.

До своей смерти в 1955 году здесь живет Сергей Николаевич Прокопович, в молодости известный марксист-экономист, позже сторонник кадетов, а во время революции министр Временного правительства. После октябрьского переворота Прокопович активно участвует в Комитете спасения родины и революции и возглавляет подпольное Временное правительство. Позже выступает против вооруженной борьбы как средства решения политических вопросов, преподает в Московском университете, но недолго. Как участника Помгола, Комитета помощи голодающим, в 1921 году его арестовывают и приговаривают к смертной казни. Спасет его и других представителей интеллигентской элиты, собравшейся в Помголе, заступничество Нансена. Сперва чехословацкая эмиграция, а после захвата немцами Праги он эмигрирует в Швейцарию.

Ненадолго переживет Прокоповича его многолетняя спутница жизни Екатерина Дмитриевна Кускова. Некогда встреча ее, молодого врача, с разъяренной толпой во время холерного бунта определила ее политическое мировоззрение — культурное просвещение народа, реформистский путь преобразования русского общества. Кускова — одна из самых видных либеральных публицистов предреволюционной России. Она близка к кадетам, но в партию войти отказалась. В апреле 1916 года на ее квартире намечается состав будущего Временного правительства. После захвата власти большевиками она издает в Москве газету «Власть народа» — один из центров оппозиции новым хозяевам страны. В 1921 году Кускова — организатор и руководитель Комитета помощи голодающим, за что вместе с Прокоповичем арестована и приговорена к смертной казни. Она умрет в Женеве в 1958 году.

Упомянем в заключение еще двух русских писателей, которые прожили несколько лет в Женеве: Владимира Варшавского, автора «Незамеченного поколения», интереснейших мемуаров о «младших» русских писателях первой эмиграции, и Виктора Некрасова, человека удивительной судьбы, проделавшего путь от сталинского лауреата до диссидента, от «В окопах Сталинграда» до «По обе стороны стены».

Русских эмигрантов отпевают в храме Воздвижения Креста. Русская церковь на улице Родольф-Тепфер (rue Rodolphe-Toepffer, 9), центр духовной жизни православной общины Женевы, стала со временем экзотическим символом города на Роне, и изображение ее золотых куполов можно увидеть во всех путеводителях и проспектах города. Кратким рассказом об истории этой церкви мы и завершим главу о русской столице Гельветии.

Русская православная община официально существует в Женеве с 1854 года. Все возраставшее количество русских поставило в середине XX века вопрос о строительстве православного храма. Инициатором постройки был протоиерей Петров, служивший в церкви при российской миссии, — он возглавил комитет, в который вошли еще пять русских подданных, проживавших в Швейцарии. Деньги на строительство храма собирали по подписке. Большую сумму на возведение православной церкви завещала великая княгиня Анна Федоровна. В 1862 году власти Женевы безвозмездно в вечное владение выделили православной

Русская церковь в Женеве



общине участок земли — тогда это была окраина города. Церковь строилась в 1863—1869 годах по планам петербургского архитектора Гримма.

Протоиерей Афанасий Константинович Петров, служивший в 1859—1881 годах священником в Женеве, был своего рода связующим центром русской колонии, его все знали, со многими русскими он был дружен. Петров и его жена хорошо знали, например, Елену Денисьеву, которая бывала у них в Женеве. Тютчев пишет из Женевы Георгиевскому после ее смерти: «Только и было мне несколько отрадно, когда, как, например, здесь с Петровыми, которые так любили ее, я мог вдоволь о ней наговориться, — но и этой отрады я скоро буду лишен». Знал женевский священник и Толстого. Писатель пишет 29 мая 1857 года Т.А.Ергольской о Петрове: «Священник наш молодой, но умный, образованный и исключительно прекрасной жизни человек и всех нас духовный отец, которого я полюбил душевно и который, надеюсь, полюбил меня немного».

В мае 1868 года Афанасий Петров крестит и через несколько дней отпевает Сою Достоевскую.

У политической эмиграции, разумеется, натянутые отношения с женевским священником. Революционеры обходят церковь стороной не только из-за своих атеистических убеждений, но и боясь шпионов. Лев Тихомиров, у которого в Женеве родился сын, пишет: «В России крестили детей, как делали все, как было неизбежно. Здесь об этом и не думалось. Когда-нибудь окрестим. Да и бумаг не было, да и боялся, что пойдешь в церковь да обнаружишь себя перед русскими властями, так потом не отделаешься от надзора. «Шпионы» для эмигрантов — это нечто вроде бесов, таинственное, опасное, чего они вечно убегают, вечно их везде видят — до помешательства...» Кстати, и Достоевский был убежден в «шпионстве» священника. В одном из писем в августе 1869 года он отзывается о Петрове следующим образом: «По всем данным (заметьте, не догадкам, а по фактам), служит в тайной полиции».

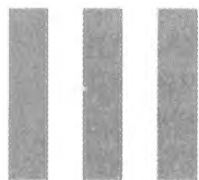
На рубеже веков в храме Воздвижения Креста служит отец Николай Апраксин. Он, например, венчает в 1896 году Михаила Врубеля с певицей мамонтовской оперы Надеждой Забела. Художнику сорок шесть, невеста на двенадцать лет моложе. Из Женевы молодые отправляются проводить медовый месяц на берега Фирвальдштетского озера. Венчает Апраксин и будущего фило-

софа Николая Лосского, причем женевский священник, по утверждению самого Лосского, сыграет важную роль в его религиозном становлении: «На меня, тринадцать лет находившегося вне церкви, о. Апраксин произвел большое впечатление своею добротою и глубокою религиозностью. Его красивое лицо светилось благостностью и было особенно привлекательно во время богослужения. Политические взгляды его были чрезвычайно наивны; всякий либерал, противник абсолютной монархии, принадлежал для него к той же категории людей, что и крайние революционеры. Как водится, он считал евреев зачинщиками всяких движений, разрушительных для государства. Однако, организуя помощь нуждающимся русским, он оказывал ее и евреям, несмотря на свой антисемитизм».

В 1905 году отпевают в женевском храме дочь Скрябина.

С 1905 года в течение почти сорока лет священником в храме Воздвижения Креста служит о. Сергей Орлов. Православная церковь много делает во время Первой мировой войны для организации помощи русским военнопленным и интернированным, причем активно сотрудничает со швейцарским Красным Крестом.

После революции община примыкает к Русской зарубежной церкви.



«Швейцария – самая
революционная страна в мире...»

ЦЮРИХ





Н.П.Огарев и А.И.Герцен

«Цюрих – торговый город, который я посетил
в сопровождении Бога».

В.Ф.Нижинский. «Дневник»





Цюрих

Люцерн

Риги

Сентябрьским днем в час пополудни около лучшей цюрихской гостиницы «Цум Шверт» (Zum Schwert) остановился экипаж. Несмотря на то что приехавшие издалека путешествуют инкогнито, мост Гемюзебрюкке полон зевак. Гостей ожидает делегация от городских властей. Но торжественного приема не будет. Князь Северный отказывается встречаться с кем-либо, кроме одного пастора.

Получив приглашение от путешественника, Иоганн Каспар Лафатер, проповедник церкви Святого Петра, спешит в гастхауз «Цум Шверт».

Цюрихский пастор прославился умением читать душу и будущее по чертам лица. Гость из далекой страны, совершающий поездку по Европе, делает крюк в несколько сот километров, чтобы задать ему несколько вопросов. На приветственный комплимент, вспоминает Лафатер, Князь Северный «улыбнулся и отвечал неким весьма веселым манером: “Но друг мой, вид всей Швейцарии запечатлен на моей физиономии. Все то прекрасное, естественное и духовное, что я недавно видел, делает мое лицо сейчас таким оживленным... Если вы сотрете все это с моей физиономии и сбросите со счета, то останется не так уж много хорошего”».

Лафатер записал разговор. Приведем из него небольшой отрывок.

«Склонен ли я к гневу?»

Я: «Да, монсеньор, и даже в очень высокой степени — у вас, вероятно, есть причина быть настороже...»

Он: «Как вы это усматриваете?»

Я: «По вашим глазам; по цвету их и разрезу их».

Он: «Это правда; вы правы. — Далее: у меня много темперамента?»

Я: «Много, очень много!.. Вы крайне вспыльчивы, стремительны, бурны».

Он: «Вы совершенно правы. — Далее: я веселого нрава?»

Я: «Природа сделала вас веселым, ибо вы добродушны. Но вы, должно быть, часто подвергаетесь плохому расположению духа; должны были легко и часто погружаться в ужасную пропасть замешательства — смущения, которое иногда граничит с отчаянием. Ради Бога... не падайте духом в такие мгновения!.. Не делайте в эти моменты никакого шага! Тотчас призовите к себе свою

супругу! Обопритесь на нее! Темная грозовая туча вскоре пройдет мимо... Скоро, скоро вы сможете снова воспрянуть, если только ненадолго представите себя самому себе».

Он казался столь же удивленным, сколь и растроганным. «Ваши слова — не что иное, как истины, и очень важные истины. И все же это удивительно, как вы все это так быстро могли увидеть. Скажите мне: откуда?»

Я: «По морщинам на вашем лбу. Вы, должно быть, невыразимо много страдали и боролись. Однако ваше доброе сердце все пересилило»».

Разговор этот так взволновал Князя Северного, что перед самым отъездом он отводит пастора под руку в сторону и спрашивает:

«И все же скажите мне серьезно, не правда ли, у меня отталкивающая, гнусная физиономия?» Я отвечал: «Будьте покойны, монсеньор, прямодушие может жить в любых формах лица... У вас черты лица, в которых покоится счастье миллионов!»»

Записанный Лафатером разговор состоялся во время путешествия наследника русского престола Павла Петровича с супругой Марией Федоровной по Швейцарии в 1782 году. До вступления на трон оставалось еще четырнадцать лет. Цюрихский провидец не увидел в морщинах Павла, опасавшегося всю жизнь заговора со стороны матери, что его задушат друзья сына. А может, увидел и не сказал. В доме, где произошел этот странный разговор (Weinplatz, 10), гостиницы уже давно нет, но памятная доска у входа сообщает прохожему, что на протяжении 500 лет

Иоганн Каспар Лафатер

Гостиница «Цум Шверт». XVIII век



«Цум Шверт» была одной из лучших гостиниц города. Здесь останавливались Гёте и Казанова, Моцарт и Лист, аристократы и дипломаты. До сороковых годов XIX века, когда в Цюрихе были построены новые современные гостиницы, здесь останавливались также и высокие гости Цюриха из России, в частности сын лафатеровского собеседника — Александр I.

Через семь лет после Павла, в 1789 году, в Цюрих с той же целью посетить Лафатера и поклониться праху Соломона Геснера, автора знаменитых идиллий, приезжает Николай Карамзин. С Лафатером молодой москвич состоял в переписке, Геснера переводил. Если Павел Петрович провел в городе на Лиммате всего три часа, то его будущий подданный не торопится. В «Письмах русского путешественника» мы находим подробный рассказ о цюрихских впечатлениях двадцатидвухлетнего москвича, о его восторгах и разочарованиях.

Карамзин останавливается не в роскошном по тем временам «Шверте», а в «трактире под вывескою “Ворона”». Здание это и по сей день стоит в самом центре города на набережной, теперь это кафе «Рабен» (Raben) на площади Хехтплатц (Hechtplatz). «Обширное Цюрихское озеро разливается у нас перед глазами, — описывает Карамзин открывающийся из его комнаты вид, — и почти под самыми нашими окнами вытекает из него река Лиммата...»

«Рабен», один из самых старых гастхаузов Цюриха, построенный еще в XIV веке, служил долгое время пристанищем для па-

Павел I



ломников, отправлявшихся из Цюриха озером в направлении знаменитого монастыря в Эйнзидельне. Название свое гостиница получила, согласно легенде, от ворона, жившего у одного монаха. Когда накормленные отшельником разбойники убили его, ворон летел за ними до самого Цюриха и карканьем своим на крыше гостхауза обратил внимание честных людей на ночевавших здесь убийц.

Сам Цюрих не производит на Карамзина никакого впечатления: «О городе скажу вам, что он не прельщает глаз, и кроме публичных зданий, например ратуши и проч., не заметил я очень хороших или огромных домов, а многие улицы или переулки не будут и в сажень шириною».

Обращает на себя внимание местная привычка здороваться с незнакомыми. «Таков обычай в Цюрихе: всякий встречающийся на улице человек говорит вам: «Добрый день» или «Добрый вечер»!» Но и это приходится не по вкусу россиянину: «Учтливость хороша, однако ж рука устанет снимать шляпу — и я решил наконец ходить по городу с открытою головою».

«Всякий чужестранец, приезжающий в Цюрих, считает за должное быть у Лафатера». Наскоро осмотрев город, Карамзин отправляется в дом на площади перед церковью Святого Петра. «Вошедши в сени, я позвонил в колокольчик, и через минуту показался сухой, высокий, бледный человек, в котором мне нетрудно было узнать — Лафатера. Он ввел меня в свой кабинет. Услышав, что я тот москвитянин, который выманил у него несколько писем, Лафатер поцеловался со мною — поздравил меня с приходом в Цюрих — сделал мне два или три вопроса о моем путешествии — и сказал: “Приходите ко мне в шесть часов; теперь я еще не кончил своего дела...”»

К наследной особе из России пастор проявил несравненно больший интерес, чем к начинающему литератору. Долгожданная встреча разочаровала: «Между тем признаюсь вам, друзья мои, что сделанный мне прием оставил во мне не совсем приятное впечатление. Ужели я надеялся, что со мною обойдутся дружественнее и, услышав мое имя, окажут более ласкового удивления?»

Тем не менее Лафатер вводит Карамзина в круг своих знакомых. Но для непосредственного общения, к которому стремится Карамзин, возникают языковые преграды. «Я был слушателем в беседе цюрихских ученых и, к великому моему сожалению, не понимал всего, что говорено было, потому что здесь говорят самым

нечистым немецким языком». Швицер тютч, швейцарский диалект немецкого, станет своеобразной помехой, препятствующей поколениям русских путешественников сблизиться с немецкой Швейцарией, и предпочтение будет отдаваться более «понятной» французской части страны.

«Я не мог свободно говорить с ним, — пишет Карамзин о своих беседах с Лафатером, — первое, потому что он, казалось, взором своим заставлял меня говорить как можно скорее, а второе, потому что я беспрестанно боялся не понять его, не привыкнув к цюрихскому выговору».

Без труда найдя общий язык для беседы с Павлом, Лафатер не утруждает себя изложением своих мыслей на языке, понятном молодому москвичу. Впрочем, скоро находится взаимоприемлемый способ общения занятого пастора с досужим путешественником. Карамзин утром приносит ему вопрос и к вечеру получает письменный ответ. Например: «Какая есть всеобщая цель бытия нашего, равно достижимая для мудрых и слабоумных?» Ответ: «Бытие есть цель бытия. Чувство и радость бытия есть цель всего, чего мы искать можем». Лафатер оставляет себе копию каждого ответа — у рачительного швейцарца ничего не пропадает — и издаст потом книгу под названием «Ответы на вопросы моих приятелей».

Знаменитость разочаровала. Юноша не знал еще истины, что нельзя подходить близко к кумирам. Посещает Карамзин проповедника и в церкви Святого Петра. «Правда, если он говорит все

Н.М.Карамзин

Гостиница «Рабен», где останавливался Карамзин



такие проповеди, какую я ныне слышал, то их сочинять не трудно... Признаюсь, что я ожидал чего-нибудь лучшего».

Через много лет Карамзин напишет: «Всякой из нас в некотором смысле физиогномист. Все мы говорим: «умное, глупое, доброе лицо!» Но физиогномика никогда не будет верною наукою, основанною на правилах. Лафатер тысячу раз сам обманывался. При мне были в Цюрихе два человека, которых он хвалил чрезмерно: после открылось, что они лицемеры и шалуны. Останемся при темном чувстве! будем физиогномистами для себя, но всегда готовыми признавать ошибки свои».

Не обходится и без курьезов. За время пребывания в Цюрихе Карамзин совершает пешеходную прогулку до Шафхаузена, чтобы насладиться зрелищем Рейнского водопада. После возвращения он записывает: «Вместе с господином Т* ходили мы смотреть ученья цюрихской милиции. Почти все жители были зрителями сего спектакля, для них редкого. Тут случилось со мною нечто смешное и — неприятное. Господин профессор Брейтингер, с которым я еще не видался по возвращении своем из Шафгаузена, встретился мне в толпе народа, когда уже кончилось ученье, и после первого приветствия спросил, каково показалось мне виденное мною? Я думал, что он говорит о падении Рейна; воображение мое тотчас представило мне эту величественную сцену — земля затряслась подо мною — все вокруг меня зашумело — и я с жаром сказал ему: «Ах! Кто может описать великолепие такого явления? Надобно только видеть и удивляться». — «Это были наши волонтеры», — отвечал мне господин профессор и с поклоном ушел от меня. Тут я понял, что он спрашивал меня не о падении Рейна, а об учении цюрихских солдат: каковым же показался ему ответ мой? Признаться, я досадовал и на себя, и на него и хотел было бежать за ним, чтобы вывести его из заблуждения, столь оскорбительного для моего самолюбия, но между тем он уже скрылся».

Перед отъездом из Цюриха Карамзин с томиком Геснера в кармане идет почтить память поэта. «В последний раз ходил по берегу Лимматы — и шумное течение сей реки никогда не приводило меня в такую меланхолию, как ныне. Я сел на лавке под высокую липою, против самого того места, где скоро поставлен будет монумент Геснеру». Здесь приходят к нему мысли о бренности рукотворного и вечности словесного. «Рука времени, все разрушающая, разрушит некогда и город, в котором жил песнопевец, и в те

чение столетий загладит развалины Цириха; но цветы Геснеровых творений не увянут до вечности, и благовоние их будет из века в век переливаться, услаждая всякое сердце». Забавно, что уже Греч, приехавший в Швейцарию по следам Карамзина, отметит, что Геснера никто не читает – потомство его «чтет, но не читит».

Посещение Цюриха литератором из Москвы пройдет незамеченным. Зато русское нашествие, последовавшее через десять лет, в 1799-м, надолго останется в памяти местных жителей. И сейчас на карте города можно найти *Russenweg* и *Kosakenweg*, названия этих улиц напоминают о том времени, когда на этих холмах, застроенных теперь городскими кварталами, стояли палатки русской армии.

К марту 1799-го почти вся Швейцария находится в руках французов, которыми командует генерал Массена. Россия, Австрия и Англия заключают договор о совместных действиях. Война в Швейцарии начинается с успехов союзников – австрийские войска наносят поражение французам в первой битве под Цюрихом в июне 1799 года. Французы отходят, и фронт между армиями делит на несколько месяцев Швейцарию пополам. Императоры решают начать генеральное наступление на Францию и распределяют направления: Россия должна вторгнуться на территорию революционной республики из Швейцарии, поэтому австрийские войска передислоцируются на север, в Германию, а их позиции в Швейцарии занимает русская армия генерала Римского-Корсакова. С юга, из Италии идет Суворов, с тем чтобы, объединившись, начать поход на Париж.

Отправляя войска в полюбившуюся ему Швейцарию, Павел подчеркивает «освободительный» характер похода. В письме Лафатеру царь пишет: «Мои войска идут в Швейцарию, чтобы защитить благополучие ее обитателей и вернуть им их прежнее правление». Павел благодарит еще раз за свидание, состоявшееся семнадцать лет назад, и высылает пастору особую «охранную грамоту», которая должна освободить его от каких-либо возможных неприятностей во время военных действий. Увы, царская грамота не спасет. Лафатер будет ранен пулей французского гренадера и скончается после месячных мучений.

Армия Корсакова входит в Цюрих в августе 1799 года. Двадцать пять тысяч солдат и казаков занимают позиции в окрестностях и в самом городе. Для небольшого городка, меньшеерна и Ба-

зеля, с населением около 20 тысяч жителей, подобное событие — явление эпохальное.

Пришедшие из России войска производят на обывателей сильное, если не сказать шокирующее, впечатление. Один очевидец записывает в своем дневнике: «Понедельник, 19 августа. Посещение русского лагеря около Зеебаха. Сперва наталкиваешься на лагерь казаков, который оставляет впечатление, будто ты заблудился в татарской степи... На лугу пасутся лошади, несколько казаков с длинными пиками охраняют их... Бородачи в коричневых и синих рубахах и шароварах выглядят довольно странно. Они грязны сверх всякой меры. Офицеры одеты несколько лучше. Низкие, наспех сплетенные шалаши из прутьев и веток, в которых казаки ночуют, выглядят как собачьи конуры. У входа прикреплены жестяные иконки с ликами святых, которые внушают казакам глубокое благоговение и до которых нельзя дотрагиваться. Пехота выглядит по-прусски, но истощена, голодна и вызывает чувство сострадания... Они получают убогое жалованье по 2 крейцера в день и заплесневелый хлеб, который выглядит как торф. Поскольку этим прокормиться невозможно, они воруют среди белого дня все, что растет в поле и на деревьях, и едят это сырым и неспелым. Казаки сбивают своими пиками ветки с плодами на землю, выкапывают картофель из земли и заглатывают неспелые орехи вместе со скорлупой, а также мыло, свечи, короче, все, что можно разжевать. Где они проходят, там все выглядит так, будто прошла саранча».

Русский лагерь под Цюрихом



Побежденный Корсаков после битвы под Цюрихом



Высшие русские офицеры размещаются в самом городе, в лучших домах, и, напротив, приятно удивляют цюрихское общество — своим знанием языков, манерами и тем, что используют время для собирания библиотек, в основном на языке своих врагов.

Сам Римский-Корсаков располагается со штабом в доме Рехберг (Rechberg) на Хиршенграбен (Hirschengraben, 40), в том самом импозантном особняке, где была до этого штаб-квартира Массены.

Массена, на дожидаясь подхода Суворова, решает разбить русские армии по частям и внезапным ударом атакует русские позиции под Цюрихом. 25 сентября французы переходят Лиммат около Дитикона (Dietikon) и нападают на город со стороны Хёнга (Höengg). Начинается Вторая битва под Цюрихом. Невысокие полководческие способности Корсакова спасают Цюрих от разрушения — русские войска бегут, почти не оказывая сопротивления.

Французы захватили обозы, часть артиллерии, походную церковь и даже военную канцелярию с шифрами для секретной переписки. Около шести тысяч русских убитыми и ранеными остались в Цюрихе и окрестностях. Полки Римского-Корсакова «отходят» через Кэферберг (Käferberg), Клотен (Kloten) и Бюлах (Bülach) в направлении Эглизау (Eglisau) на правый берег Рейна и потом в район Шафхаузена. Неудачливый генерал будет отставлен Павлом от службы и отправлен в деревню, карьера его, однако, успешно продолжится при Александре I.

Схватка между русскими и французами у Цюрихберга



Кстати, среди попавших в плен французам — Фабиан Вильгельмович Сакен фон-дер-Остен, будущий русский фельдмаршал, губернатор побежденной французской столицы в 1814 году. Участвовал в несчастливом для русского оружия сражении, командуя мушкетерским полком, и Николай Алексеевич Торماسов — в 1812 году он будет руководить корпусом и падет, смертельно раненный, на Бородинском поле.

«Битва при Дитиконе» увековечена в Париже на арке в перечне наполеоновских побед. В России Вторая битва при Цюрихе пополнила список «незнаменитых» войн. При всех правителях не любили упоминаний о русских поражениях. О событиях тех дней в окрестностях Цюриха напоминают два монумента — на горе Цюрихберг и в местечке Лангнау (Langnau am Albis).

Узнав о разгроме Корсакова, Суворов горными ущельями с боями повел свою армию обратно в Россию. Война была закончена.

Следующий самодержец, Александр I, неоднократно приезжает в Цюрих, но уже вершителем швейцарских судеб — будущее Швейцарии решается при активном участии русской дипломатии на Венском конгрессе. 9 октября 1815 года на опасения жителей Цюриха относительно будущности Гельветии император России возражает: «Я нахожусь в таком отдалении от вас, что не могу принести вам ничего, кроме добра». В Цюрихе Александр знакомится с Гансом Конрадом Эшером, основавшим колонию для бедных детей и сирот, и когда через несколько лет в швейцарских кантонах Гларус, Санкт-Галлен, Аппенцель и Тургау будет свирепствовать голод, русский государь жертвует альпийской республике 100 000 рублей, половина из которых будет предназначена колонии Эшера.

Владимир Печерин, один из интереснейших русских мыслителей и поэтов, уехав из России в 1836 году, отправляется в Швейцарию, которую раньше знал из заграничных поездок. После Лугано, где вращается в кругу итальянских революционеров, он приезжает в Цюрих. Здесь Печерин пытается найти деньги для организации русской общины в Америке. Проект терпит фиаско — бывший московский преподаватель греческой филологии вынужден бежать, чтобы не попасть в долговую яму. Из Цюриха он отправляется в Бельгию, где обратится в католичество, и проведет оставшуюся жизнь в ирландских монастырях.

В 1843 году в Цюрих приезжает из Германии двадцатидевятилетний Бакунин. На берега Лиммата приводит его дружба с Гервегом. Мятёжного поэта, известного русскому читателю больше своим участием в семейной драме Герцена, чем стихами, выслали из Германии, и он со своей невестой решает поселиться в Цюрихе, традиционном прибежище всех гонимых. Бакунин следует за другом и находит здесь не только общество эмигрантов-радикалов, но и любовь. В письме своему знакомому А.Руге, приглашая его в Цюрих, он замечает: «Я думаю, что Вам здесь понравится. Кружок не велик, но действительно очень приятен и душевен». Душевность создает знакомство с итальянским республиканцем Пескантини, в жену которого, Иоганну, Бакунин влюбляется. Та отвечает пылкому русскому взаимностью, но не хочет бросить мужа. Бакунин начинает борьбу за ее освобождение. «Я должен ее освободить <...> заигая в ее сердце чувство ее собственного достоинства, возбуждая в ней любовь и потребность свободы, инстинкта, возмущения и независимости...» — пишет он брату, не указывая имени дамы. Советские историки позже станут утверждать, что речь в этом письме идет о страсти Бакунина к родине и революции.

Уже тогда проявляется специфическое бакунинское отношение к деньгам. Пламенный революционер занимает, как Хлестаков, у всех подряд. Из Берлина и Дрездена он уехал, наделав кучу долгов, то же происходит и в Цюрихе. Когда никто больше уже не дает и положение становится катастрофическим, русский дво-

В.С.Печерин



рянин и помещик решает стать пролетарием и зарабатывать на свой хлеб «в поте лица», о чем извещает родных и друзей в письмах в марте 1843-го, после чего успокаивается, довольный принятым мужественным и достойным решением, и, не торопясь идти наниматься на фабрику, отправляется на Женевское озеро, где отдыхают супруги Пескантини. О намерении зарабатывать деньги трудом вскоре будет забыто. Молодой человек уже чувствует свое призвание. Его ждет высшее предназначение — осчастливить не кредиторов возвратом долгов, но все человечество светлым будущим. В июне 1843 года в журнале «Швейцарский республиканец» он публикует статью под названием «Коммунизм», в которой провозглашает: «Коммунизм исходит не из теории, а из практического инстинкта, из народного инстинкта, а последний никогда не ошибается».

С 1838 года аристократические русские путешественники останавливаются в открытом тогда отеле «Бор» (Baur). Через несколько лет на берегу озера появляется еще одна гостиница того же хозяина, и до сих пор эти отели, конечно в перестроенном виде, — «Бор-эн-Виль» (Baur-en-Ville), получивший теперь имя «Савой» (Savoy) и расположенный на Парадеплатц (Paradeplatz) в самом центре города, и «Бор-о-Лак» (Baur-au-Lac, Talstrasse, 1) на берегу озера — считаются одними из самых престижных в городе.

Несколько раз приезжает в Цюрих Тютчев. Останавливается он обычно в отелях Бора (или Баура в немецкой транскрипции), но иногда делает исключение. В письме Эрнестине, своей второй жене, в июле 1847 года поэт пишет: «... вместо того, чтобы остановиться в гостинице Баура, которая неизбежно навевала бы на меня грусть, я устроился в своего рода фонаре на 4-м этаже Hotel du Lac, в настоящем волшебном фонаре, где со всех сторон открывался вид на озеро, горы, великолепное, роскошное зрелище, которым я вновь любовался с истинным умилением. Ах, милый друг мой, что и говорить — моя западная жилка была сильно задета все эти дни».

Среди цюрихских достопримечательностей того времени — школа для детей-инвалидов, знаменитая на всю Европу. В 1808 году она была основана для слепых детей, с 1827 года открыто отделение для глухонемых. В 1857 году эту школу, находившуюся в доме «Цум Бруннентурм» (Haus zum Brunnenthurm), угол Обере Цойне и Шпигельгасце (Obere Zaune/Spiegelgasse), посетит

во время своего краткого пребывания здесь Толстой. Это уникальное учебное заведение станет одной из причин приезда в Цюрих Герцена. Сюда отдает он в 1849 году своего глухонемого сына Колю. Результаты специальных методов обучения поразительны. «В полгода, — напишет Герцен о сыне в «Былом и думах», — он сделал в школе большие успехи. Его голос был *voile*; он мало обозначал ударения, но уже говорил очень порядочно по-немецки и понимал все, что ему говорили с расстановкой; все шло как нельзя лучше — проезжая через Цюрих, я благодарил директора и совет, делал им разные любезности, они — мне».

Но город на Лиммате войдет в жизнь Герцена черной страницей.

«После моего отъезда, — рассказывает Герцен, — старейшины города Цюриха узнали, что я вовсе не русский граф, а русский эмигрант, и к тому же приятель с радикальной партией, которую они терпеть не могли, да еще с социалистами, которых они ненавидели, и, что хуже всего этого вместе, что я человек нерелигиозный и открыто признаюсь в этом. Последнее они вычитали в ужасной книжке «*Vom anderen Ufer*», вышедшей, как на смех, у них под носом, из лучшей цюрихской типографии». В бой вступает швейцарская бюрократическая машина. «Городская полиция вдруг потребовала паспорт ребенка; я отвечал из Парижа, думая, что это простая формальность, — что Коля действительно мой сын, что он означен в моем паспорте, но что особого вида я не могу взять из русского посольства, находясь с ним не в самых лучших сношениях. Полиция не удовлетворилась и грозила выслать ребенка из школы и из города». Потребовался залог. Герцен возмущен, но не суммой, для него ничтожной: «Какое же обеспечение — несколько сот франков? А с другой стороны, если б у моей матери и у меня не было их, так ребенка выслали бы (я спрашивал их об этом через «Националь»)? И это могло быть в XIX столетии, в свободной Швейцарии! После случившегося мне было противно оставлять ребенка в этой ослиной пещере».

Герцен хочет забрать Колю из Цюриха, но оставить в школе. Ситуация неразрешимая. Но не для Герцена. Он предлагает лучшему учителю, Иоганну Шпильману, благодаря которому его сын и другие дети учились говорить, такое содержание, что тот бросает учебное заведение и становится домашним учителем в семье русского эмигранта. Задержка с выдачей обратно залога приводит Герцена в такую ярость, что он раздражается открытым письмом

президенту Цюрихского кантона, Альфреду Эшеру (в виде памятника-фонтана Эшер встречает теперь каждого приезжающего в Цюрих на площади перед вокзалом), которое заканчивает: «И могу смело Вас уверить, что ни моя мать, ни я, ни подозрительный ребенок не имеем ни малейшего желания, после всех полицейских неприятностей, возвращаться в Цюрих. С этой стороны нет ни тени опасности». Ни мальчик, ни его учитель в Цюрих действительно никогда больше не вернутся. Через год, в 1851-м, Иоганн Шпильман утонет при кораблекрушении вместе со своим учеником и матерью Герцена.

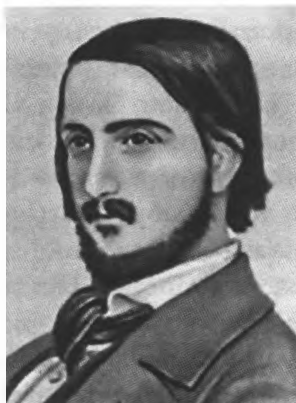
В Цюрихе Герцен переживает и тяжелую трагедию, связанную с увлечением его жены Гервегом. Доходит до того, что со своим бывшим другом он общается через «Новую цюрихскую газету» (*Neue Zürcher Zeitung*). После того как товарищ Герцена дает революционному поэту публичную оплеуху, последний помещает в номере от 18 июля 1852 года статью «Знаменитая пощечина», в которой утверждает, что рукоприкладства не было, что все это — в переложении Герцена — «далеко ветвящаяся интрига, затеянная бароном Герценом на русские деньги, и что люди, приходившие к нему, у меня на жалованье». В номере от 27 июля Герцен отвечает: «У меня на жалованье никогда никого не было, кроме слуг и Гервега, который жил последние два года на мой счет...»

В Цюрихе Герцену придется бывать еще неоднократно. Но каждый раз этот город будет вызывать только неприятные ощущения. 28 ноября 1868-го он напишет Огареву (речь идет о выборе

Н.А.Герцен



Георг Гервег



места для того, чтобы где-то поселиться вместе всей семьей окончательно, несбывшаяся мечта, преследовавшая его всю жизнь): «Домов здесь много, — один очень хорош, — с мебелью, со всем просят 2500, — отдадут за 2250. За городом — вид удивительный, кантона на три. Но все это совершенное уединение, — хорошо ли для Таты, для Ольги и для Лизы — вот вопрос. Скучнее Цюриха — разве Берн и Базель. Все угрюмо и, кроме политехника, — jag picks...» А следующей ночью пишет в дневнике: «Цюрих. 29 ноября 1868 г. Опять приближается страшная годовщина — смерти детей. Сколько раз хотел я записать для себя, для детей эти дни, эти ночи, страшное 4 декабря — пока не могу. Разве новое несчастье станет между им и воспоминанием. Свежая боль осадит прошедшую».

Не пришелся по душе Цюрих и Льву Толстому, побывавшему здесь в июле 1857 года, впрочем, на это у него есть свои причины. В Цюрихе он узнает, что заразился болезнью, подхваченной еще в Люцерне. 21 июля он пишет из Цюриха Василию Боткину: «Увы! Я в Люцерне схватил... — Вот до чего довело меня воздержание! Бросился на первую попавшуюся! Теперь лечусь...»

Не полюбился этот город и знаменитому русскому пейзажисту. Так, например, письмо от 17 февраля 1864 года Иван Шишкин помечает: «Цюрих проклятый». К такому выводу молодой живописец приходит, проведя несколько месяцев в мастерской Рудольфа Коллера, известного швейцарского художника, прославившегося изображениями домашних животных, к которому приехал «учиться писать овец, коров и пр.». Поначалу, весной 1863-го, из Цюриха идут восторженные письма. Например, своему другу Ивану Волковскому Шишкин рассказывает: «Теперь погода гадкая, она загнала нас опять в мастерскую Коллера — там я копирую коров. Ну, брат, я теперь только узнал Кузькину — то знать, каково писать коров. А особенно, как они написаны у Коллера — не больно раскачаешься. Вот, кто хочет учиться животных писать, то поезжай прямо в Цюрих к Коллеру. Прелесть, я до сих пор не видывал и не думал, чтобы так можно писать коров и овец. А человек-то какой — просто прелесть».

Лето Шишкин проводит в Бернском Оберланде, работая с натуры, осенью снова возвращается к своему учителю. «Я опять в (черт бы его побрал) Цюрихе — у Коллера, — сообщает он в декабре. — По вечерам рисую с этюдов коров и овец, пейзажем вечером теперь почти не занимаюсь...» Еще через месяц, в январе

1864-го: «Я теперь здесь почти умираю от хандры, от скуки, от безнадежности что-либо сделать, просто беда!!! Картина моя еще не кончена, и лень, и полное отвращение мешает за нее приняться, что называется, в полном безнадежном разочаровании, так это все гадко. Я, кажется, уже умер для искусства. ...Ах, эта заграница... много она испортит здоровой крови...» И еще: «О Боже, Боже, какая тягость такое скверное положение, ни на что бы не смотреть... с профессором своим я тоже чуть не поругался, хотя он и хороший человек, а по правде сказать, выскочка... И я теперь в мастерскую давно не хожу». Русский художник уходит из мастерской Коллера и работает самостоятельно, занимается офортом, в феврале едет в Женеву, а потом, в начале лета 1864-го, на Фирвальдштетское озеро.

Примерно в это время, около 1864 года, образуется первая русская эмигрантская колония в Цюрихе. Она основана была «гейдельбергцами» — молодыми людьми, учившимися до этого в немецком университете. Среди них — Александр Черкесов, студент-естественник, потом в России известный книготорговец и издатель «прогрессивной литературы», а также защитник на политических процессах. Владимир Ковалевский, прославившийся в будущем своей женой — знаменитым профессором математики. Фиктивный брак окажется роковым — палеонтолог не на шутку влюбится в недоступную супругу, и это мучение продлится до трагической гибели от склянки с хлороформом. Александр Серно-Соловьевич, лидер «молодой эмиграции». Жили все ком-

И.И.Шишкин

Картина И.Шишкина «Буковый лес в Швейцарии»



муной в пансионе Людмилы Шелгуновой, жены сидевшего тогда в Петропавловке радикального критика Николая Шелгунова и подруги известного беллетриста А. Михайлова (Александра Шеллера), отправленного на сибирскую каторгу. Все они вскоре переезжают в Женеву.

Русское освоение Цюриха, безусловно, связано с университетом. Первопроходцем выступает Надежда Сулова, сестра мучительницы Достоевского Аполлинарии, которая сама, кстати, часто приезжает к ней в Цюрих. Достоевский пишет из Женевы племяннице Соне Ивановой 1/13 января 1868 года: «На днях прочел в газетах, что прежний друг мой, Надежда Сулова (сестра Аполлинарии Суловой), выдержала в Цюрихском университете экзамен на доктора медицины и блистательно защитила свою диссертацию. Это еще очень молодая девушка; ей, впрочем, теперь 23 года, редкая личность, благородная, честная, высокая!»

По окончании университета Сулова выходит замуж за швейцарского врача Фридриха Эрисмана, с которым познакомилась во время учебы. Молодая пара уедет в Россию, она откроет практику, Эрисман станет впоследствии профессором Московского университета. Через восемь лет бездетные супруги разведутся. За свою излишнюю — для русских властей — активную общественную деятельность Эрисман будет уволен и вернется в Швейцарию, займется политикой и станет цюрихским штатдтротом от социал-демократической партии. Сулова будет практиковать в Нижнем Новгороде и в Крыму. Отметим, что вторая жена Эрисмана, Софья Яковлевна Гассе (Hasse), — тоже из России, из Петербурга, студентка, учившаяся в Цюрихе и Берне. Сын от этого брака в свою очередь женится на русской цюрихской студентке, Вере Степановой, изучавшей здесь философию и историю искусств.

Вскоре после Суловой успешно защищает диплом еще одна русская докторесса — Мария Бокова. Дочь генерала Обручева выходит фиктивно замуж и уезжает учиться в Цюрих, пройдя, как и Сулова, еще в Петербурге курс Медицинско-хирургической академии в качестве слушательницы. Близкая к нигилистическим кругам, Бокова с ее революционным «*menage à trois*» становится прототипом «новой женщины» для знаменитого романа Чернышевского. В России она получит известность не только как будущая жена и помощница физиолога Сеченова, но и как переводчица «Жизни животных» Брема и многих трудов Дарвина.

Успешный пример первого врача женского пола со швейцарским дипломом вызывает многочисленные подражания. Вслед за Суслоевой в Цюрих устремляются сотни девушек, причем многим приходится для этого выйти замуж — фиктивные замужества входят в моду и становятся чем-то само собой разумеющимся между «передовыми» людьми. Из России приезжают участники студенческих сходок и волнений, которым запрещено учиться на родине. В учебные семестры 1872—1873 годов студенты из России составляют треть всех учащихся в Цюрихском университете, причем сто девять студенток из Российской империи составляют 95 процентов всех студенток — или четверть вообще всех имматрикулированных. Наплыву юношей и девушек из России в большой степени способствует то обстоятельство, что иностранцев принимают без вступительных экзаменов. Есть и еще одно объяснение, почему университетские профессора приветствуют появление русской молодежи, — оклад профессора в то время зависел от количества студентов, записавшихся на посещение его лекций.

Русская студенческая колония размещается в районах Флунтерн и Оберштрасс, в то время это окраина Цюриха. Живут русские студенты обособленно от населения, общаются только между собой и представляют что-то вроде добровольного шумного гетто. «Количество это, без сомнения, затерялось бы незаметно среди населения, например, Парижа, — пишет народник Владимир Дебогорий-Мокриевич в своих «Воспоминаниях нигилиста», —

Н.П.Сулова



но не так было в Цюрихе. Тихие кварталы этого города возле Политехникума, где преимущественно жили русские, совершенно преобразились: всюду слышалась русская речь; кучки молодежи то и дело сновали по улицам, громко разговаривая между собою и жестикулируя, к ужасу цюрихчан, не видевших раньше ничего подобного».

Некоторые подробности быта русских студентов узнаем из воспоминаний революционера семидесятых годов Николая Кулябко-Корецкого, приехавшего учиться в Цюрих в августе 1872-го: «Я прямо с вокзала, без вещей, направился в поисках постоянной квартиры в цюрихский «Латинский квартал», местопребывание студенческой молодежи, на правом, возвышенном берегу реки Лиммата. Дешевую, скромно меблированную комнатку в одно окошко на юг я быстро нашел за 17 франков, т.е. пять с половиной рублей (по курсу того времени, 33 коп. за один франк), в месяц, в предместье Hottingen, в маленьком переулочке, утопавшем в зелени и носившем соответственное поэтическое название Blümengasse или Rosengasse, точно теперь не припомню».

Русская жизнь крутится вокруг библиотеки, куда и направляется сразу мемуарист: «Отыскать ее было несложно, стоило лишь перейти в соседнюю с моим переулком широкую прямую улицу Platte, служащую общей артерией всего Готтингена, чтобы на каждом шагу встретить русского студента или русскую студентку. Их легко было отличить от остальных прохожих по небрежному костюму, громкой речи, оживленной обильной жестикуляцией, по длинной шевелюре большинства мужчин и, напротив того, по стриженным волосам многих из молодых женщин. Получив обстоятельные указания от первого попавшегося мне навстречу русского студента, я нашел библиотеку в одном из ближайших, примыкавших к Platte переулков, отличавшемся от моего переулка лишь менее богатой растительностью. Библиотека помещалась во втором этаже деревянного особнячка, носившего название Frauenfeld и отличавшегося от того, в котором я нашел себе приют, большими размерами комнат и входной дверью, выходящей прямо на улицу, а не через сад».

Здание пансиона «Фрауенфельд» до наших дней не сохранилось, оно находилось на углу современных улиц Глориаштрассе и Песталоцциштрассе (Gloriastr./Pestalozzistr.). Описание библиотеки находим в тех же воспоминаниях Кулябко-Корецкого

«Из давних лет»: «В первой большой комнате расположена была «читальня» с несколькими десятками газет и журналов, в поэтическом беспорядке разбросанных по столам. Здесь имелись налицо, кроме столичных русских газет и журналов, еще и многие провинциальные газеты, с берегов Волги, из Одессы, Кавказа и т.д., причем имелись издания и на грузинском, армянском и еврейском языках. Молодые люди этих национальностей входили в состав «русских» студентов, и только поляки держали себя обособленно и имели собственные организации. <...> «Читальня», впрочем, в этой читальне без навыка было затруднительно, так как там с утра до вечера в густом табачном дыму непрерывно толпился народ и шли громкие разговоры и ожесточенные теоретические споры по всевозможным общественным и философским вопросам. Русские студенты не придерживаются обычаев швейцарских и немецких студентов, устраивающих по своим корпорациям кнейпы в местных пивных, и обыкновенно не посещают последних, кроме исключительных случаев. Не имея ни клуба, ни иного общественного учреждения для своих встреч и очередных сходов, они по необходимости избрали для этого читальню, с чем усердным читателям газет приходилось мириться и что вскоре, как это будет изложено далее, привело к мысли о приобретении в Цюрихе собственного дома, в котором можно было бы расположиться удобнее, согласно обычаям далекой родины».

И Кулябко-Корецкий, и другие авторы воспоминаний отмечают особый характер русской библиотеки в Цюрихе, мало приспособленной для чтения и игравшей роль скорее политического клуба, что неудивительно, поскольку и задумана, и основана она была вовсе не с целью помочь студентам учиться. Внятно формулирует задачу этого заведения в своих воспоминаниях цюрихская студентка и будущая народоволка Вера Фигнер: русская библиотека «должна была воспитывать читателя в революционном и социалистическом духе».

Основателем библиотеки был Михаил Петрович Сажин, он же Арман Росс, весьма колоритная и самая видная фигура русской колонии этого времени. В 1867–1868 годах он принимал участие в студенческих волнениях, сошелся с Нечаевым, был арестован, сослан в Вологодскую губернию, бежал из ссылки летом 1869-го в Америку, весной 1870-го по вызову Нечаева прибыл в Женеву. С осени 1870-го Сажин обосновывается в Цюрихе, является «пра-

вой рукой» Бакунина, состоит явным членом Первого Интернационала и тайным бакунинского «Альянса», участвует в Лионском восстании, принимает участие в защите Парижской коммуны. Создание студенческой библиотеки в Цюрихе в 1870 году — первый этап разработанного вместе с Бакуниным далеко идущего плана «русского дела», через два года Сажин открывает здесь типографию, в которой печатает сочинения Бакунина, в частности «Государственность и анархию». Позже он нелегально вернется в Россию, будет арестован, судим, проведет пять лет на каторге и шестнадцать в сибирской ссылке, женится там на Евгении Фигнер, сестре народоволки Веры Фигнер, вернется в Европейскую Россию, будет сотрудничать в «Русском богатстве» и доживет до сталинского социализма.

Назначенный Бакуниным своим цюрихским «наместником», Сажин, сколотив из бывших «нечаевцев», бежавших из России, — Александра Эльсница и Земфирия Ралли — инициативную группу, вербует среди читателей библиотеки сторонников «передовых идей». Сажин, Эльсниц и другие бакунинцы живут в пансионе «Бремершлюссель».

Видную роль в пропаганде играет и эмигрант Валериан Смирнов — секретарь и смотритель библиотеки, в будущем один из главных сподвижников Лаврова. Он проживает со своей подругой Розалией Идельсон в том же доме «Фрауенфельд», где находится библиотека. Идельсон приезжает в Швейцарию, как и многие студентки из России, выйдя фиктивно замуж. В Цюрихе она ведет активную общественную работу, организует кассу взаимопомощи для нуждающихся студенток, занимается вместе со Смирновым библиотекой. Она продолжит учебу в Берне, а потом будет заниматься революционной деятельностью в кружке Лаврова.

Революционная «промывка мозгов» в библиотеке, содержащей мало специальной научной литературы и в изобилии литературы «нелегальную», идет столь успешно, что в самое короткое время даже те, кто приезжает лишь с мыслью получить образование, пересматривают свои взгляды на жизнь. «Чтение этой литературы, — пишет тот же Кулябко-Корецкий, — произвело радикальный переворот в моем мировоззрении и вынудило в корне пересмотреть все раньше выработанные и усвоенные моральные, социальные и политические принципы».

А вот свидетельство Веры Фигнер, уговорившей мужа, следователя в Казанской губернии, бросить службу и вместе поехать

в Цюрих учиться на врачей: «По приезде в Цюрих я была поглощена одной идеей — отдаться всецело изучению медицины — и перешагнула порог университета с благоговением. Два года лелеяла я одну и ту же мысль; два года только и слышала вокруг, что выполнение ее требует громадной энергии, характера и прилежания; мне было 19 лет, но я думала отказаться от всех удовольствий и развлечений, даже самых невинных, чтоб не терять ни минуты дорогого времени, и принялась за лекции, учебники и практические занятия с жаром, который не ослабевал в течение более чем трех лет». Жар учебы постепенно меркнет перед жаром революционным.

В Цюрихе Вера Фигнер поселяется сперва вместе со своей сестрой Лидией в доме на Платтенштрассе, 44. Однако очень скоро сестры получают «доступ к кружку студенток, приехавших немного раньше и вкусивших уже от древа познания добра и зла. Это были две сестры Любатович, Бардина, Каминская и др.». Фигнер включается в работу кружка «Фричей», названного так по имени хозяйки дома, в котором жило большинство его членов (дом этот не сохранился, он стоял там, где теперь проходит Нелькенштрассе). В кружок этот входили двенадцать студенток — почти все пройдут потом по нашумевшему «процессу 50-ти».

Не меньший переворот произвел Цюрих с его русской библиотекой и в жизни Кропоткина, приехавшего в Швейцарию в 1872 году князем и чиновником и уехавшего социалистом и радикальным революционером: «По приезде в Цюрих я... спросил своих русских приятелей, по каким источникам можно познакомиться с великим движением, начавшимся в других странах. «Читайте», — сказали мне, и одна моя родственница (Софья Николаевна Лаврова, учившаяся тогда в Цюрихе) принесла мне целую кипу книг, брошюр и газет за последние два года. Я читал целые дни и ночи напролет, и вынесенное мною впечатление было так глубоко, что никогда ничем не изгладится. Поток новых мыслей, зародившихся во мне, связывается в моей памяти с маленькой, чистенькой комнаткой на Оберштрассе, из окна которой видно было голубое озеро, высокие шпили старого города, свидетеля стольких ожесточенных религиозных споров, и горы на другом берегу, где швейцарцы боролись за свою независимость». И дальше: «Чтение социалистических и анархических газет было для меня настоящим откровением. Из чтения их я вынес убеждение, что примирения между будущим социалистическим строем, ко-

торый уже рисуется в глазах рабочих, и нынешним — буржуазным быть не может. Первый должен уничтожить второй». В результате глубокого внутреннего переворота Кропоткин решает углубить свое знакомство с миром социализма: «После нескольких дней, проведенных в Цюрихе, я отправился в Женеву, которая была тогда крупным центром Интернационала».

Упомянутая Софья Лаврова — из семьи польского повстанца 1830 года Чайковского, приемная дочь Николая Николаевича Муравьева-Амурского, знаменитого исследователя и, одновременно, генерал-губернатора Восточной Сибири. Она выделялась среди группы девушек-студенток, активно включившихся в Цюрихе в революционную работу. Позже Софья примет участие в победе Кропоткина из Петропавловской крепости, будет арестована, сама заключена в Петропавловку, потом выслана в Вятскую губернию.

Механизм затягивания непосвященных читателей в «дело» показывает в своих воспоминаниях Вера Фигнер: в русской библиотеке «происходили постоянно разные сборы: на стачки рабочих, на коммунаров, на русских эмигрантов, на революцию в Испании и т.п. Большинство новичков давало деньги, не понимая хорошенько для чего, но постоянно повторяющиеся обращения вызывали наконец вопросы, на которые следовали объяснения. На стенах читальни часто виднелись объявления о сходках рабочих, о лекциях для рабочих и т.п. Надо было быть совсем слепым и глухим, чтобы не заинтересоваться; начались посещения рабочих совещаний, банкетов в честь Коммуны, собраний швейцарских союзов и секций Интернационала. Интерес к изучению социализма, как теоретического, так и практического, как он выражался в организации рабочих, достиг сильной степени».

Жизнь русской колонии напоминает непрекращающийся диспут. Дебатируется все на свете. Вот, например, Роза Идельсон, подруга библиотекаря Смирнова, предлагает создать чисто женский ферейн. «Против такого предложения — исключить мужчин — студентки более старших курсов восстали, — вспоминает Вера Фигнер. — Они находили это исключение смешным и указывали, что при одностороннем составе будущие собрания проиграют в интересе. Но студентки помоложе стояли за чисто женский состав общества, и так как нас было большинство, то предложение Идельсон было принято — «женский ферейн» основан и краткий устав его утвержден». Первая русская феминистская

организация просуществует, однако, недолго. Поводом для самороспуска послужит поставленный перед следующим собранием на обсуждение вопрос: «Как при социальной революции быть с современной цивилизацией и культурой?.. Надо ли сохранить или разрушить эту цивилизацию и культуру?» «Под влиянием идей Жан-Жака Руссо и в особенности Бакунина, — продолжает Фигнер, — одни со всей решительностью объявили, что цивилизация должна быть разрушена, так как в течение всех веков она служила на пользу только привилегированному меньшинству и являлась орудием порабощения народных масс. Пусть при разрушении существующего строя погибнет и она бесследно — человечество от этого не проиграет. На развалинах уничтоженного разовьется новая культура, расцветет новая цивилизация; но они будут уже достоянием не кучки паразитов, а всех трудящихся, на костях и крови которых создавались существующие теперь культурные, научные и художественные ценности». Страсти разгорелись. «Шум и крик достигли невероятной степени. Напрасно звонила Эмме (председательница собрания. — *М.Ш.*) — никто не обращал внимания на колокольчик; все хотели сказать свое слово и не давали сказать его другим. От волнения у одной из спорщиц пошла кровь носом, но и это нас не остановило». Пропорив таким образом до ночи, студентки стали расходиться после первого и последнего заседания женского ферейна. «И долго еще кварталы спящего Цюриха оглашались звонкими возгласами: «Разрушить!», «Сохранить!»». Кстати, собрания женского русского ферейна проходили в пансионе «Пальмхоф», теперь дом № 25 по Университетштрассе (Universitätstrasse).

Бесконечные политические баталии приводят к разделению колонии на враждующие партии. Интернационал в ту пору расколот на государственников — немецкие социал-демократы во главе с Марксом — и на антигосударственников — Бакунин. «Когда эти две враждебные между собою программы были поставлены на выбор русской молодежи, — вспоминает Дебогорий-Мокриевич, — она в громадном большинстве высказалась за анархию». Русская молодежь разбилась на бакунистов, проповедующих немедленный бунт, и на лавристов, стоящих за пропаганду сначала и только потом — бунт.

В русской студенческой колонии сложилась ситуация, при которой оставаться вне политической борьбы было практически невозможно. «Когда в Цюрихе появлялась какая-нибудь новая

приезжая студентка, — напишет в своих воспоминаниях «Из времен моего студенчества» Елизавета Литвинова, писательница, подруга Софьи Ковалевской, учительница дочери Герцена Лизы и жены Ленина Надежды Крупской, — то возникал вопрос, к какой она будет принадлежать партии».

Лидеры революционной мысли — частые гости цюрихской молодежи. Вербовка в Цюрихе, ставшем в связи с наплывом студенчества из России центром эмигрантской жизни, ведется неустанно. Из Парижа приезжает Петр Лаврович Лавров, бывший царский полковник и будущий вдохновитель «хождения в народ». Через Росса-Сажина он предлагает Бакунину сотрудничество: издавать совместный орган. С программой издания Сажин едет в Локарно, но Бакунин отвергает предложение. Патриарх анархизма не может поступиться принципами и принять государство: «По его (Лаврова. — *М.Ш.*) мнению, государственность вообще начало прогрессивное и все зависит от того, в какие руки попадет. Даже Третье отделение если и худо, то только потому, что находится в плохих руках».

Предпочтение в Цюрихе молодежь отдает Бакунину: «К личности Лаврова относились с почтительностью, — читаем у Веры Фигнер, — но при этом не было ни теплоты, ни горячности. Другое дело — Бакунин. Его, как неукротимого борца-революционера, а не мыслителя, лелеяли мы в своей душе. Он, а никто другой, возбуждал энтузиазм, и в общем можно сказать, что все мы <...> были антигосударственниками в смысле бакунистском и увлекались поэзией разрушения в его листках и брошюрах».

Бакунин приезжает в Цюрих летом 1872 года и селится на квартире, где проживает Эльсниц с женой, — в одноэтажном домике на Платте напротив анатомического кабинета университета (не сохранился). Ему предоставляют лучшую комнату с пианино — по вечерам Бакунин любит играть любимую им Патетическую Бетховена или увертюру из «Тангейзера». Бакунин окружен бакунистками. Они «готовят своему старику яичницу на спиртовой машинке, его обшивают и занимают для него деньги направо и налево» (воспоминания Елизаветы Литвиновой «Бакунин в Швейцарии»). Юные революционерки — приятное открытие для старого бунтаря. «Он не придавал им такого значения, как я, — пишет Сажин об отношении Бакунина к студенткам в своем очерке «Русские в Цюрихе». — Он не видел и не знал женщин-революционерок. До Цюриха-то их было одна-две и обчелся... А ког-

да он в 1872 году пожил в Цюрихе, познакомился со всеми студентками и сумел встать с ними почти в товарищеские отношения, то тогда он стал говорить о них совсем другим языком; он говорил, что это большая молодая нарастающая революционная сила, что нигде в мире нет ничего подобного; в веселом настроении он не раз говорил о цюрихчанках: «Это Россов полк, и с ним надо считаться»».

Хотя Бакунин как страстный трибун и вождь студенток остается вне конкуренции, личность его цюрихского наместника Сажина вызывает все больше нареканий и антипатий читательниц библиотеки. Зреет оппозиция лавристов. Причем «предательство» открывается в самом штабе бакунистов. К «врагам» переметнулся библиотекарь и секретарь Валериан Смирнов. Камнем преткновения становится вопрос об уставе. Деление на полноправных членов-учредителей библиотеки — бакунистов — и безгласных читателей, среди которых растет число сторонников Лаврова, больше не удовлетворяет студенчество. Происходит раскол. Остановимся на этой «библиотечной» истории подробнее, с тем чтобы читатель мог ощутить атмосферу, в которой жила русская колония в Цюрихе.

«Вопрос о пересмотре устава, — рассказывает Кулябко-Корецкий в «Воспоминаниях лавриста», — был... официально внесен в предстоявшее в начале 1873 года годовое собрание библиотеки. Опасаясь захвата библиотечного имущества Смирновым и его сторонниками, Росс неожиданно, в декабре или январе, распорядился перенести книгохранилище и читальню из Frauenfeld'a, где она помещалась при квартире Смирнова и Идельсон, в большой многоэтажный дом против политехникума и его сквера, носивший замысловатое имя Bremerschlossel. В этом доме, сплошь почти заселенном бакунистами, кстати нашелся большой и очень удобный зал для читальни и собраний. В этом зале в начале февраля 1873 г. и состоялось общее годовое собрание членов библиотеки для обсуждения, между прочим, и внесенного <...> предложения об изменении параграфа устава о баллотировке новых членов. К назначенному часу у длинного стола лицом к публике расселись 18 членов библиотеки, а остальная часть зала, очищенного от мебели для большей поместительности, заполнилась тесно стоявшими почти вплотную друг к другу, возбужденными бесправными читателями, число которых, вероятно, переходило за две сотни».

За изменение устава выступают три члена против пятнадцати. Происходит запланированный скандал, большая часть читателей не признает принятого решения и отправляется продолжать собрание в заранее приготовленное помещение на Платте. С этого времени в Цюрихе появляются две русские библиотеки. Этот переворот станут называть в колонии «февральской революцией».

Хотя лавристы и выступают идейно за пропаганду, раскол становится результатом тайного заговора, одним из руководителей которого оказывается сам библиотекарь Смирнов. «За неделю приблизительно до февральского собрания, — читаем дальше у Кулябко-Корецкого, — группа «заговорщиков», человек 8–10, среди которых был и я <...> в последние дни ежедневно выходили из читальни, неся под мышками более или менее значительную охапку книг», причем, отмечает мемуарист, «выносились наиболее ценные сокровища».

Расплата за предательство не заставляет себя ждать. Одним из первых на крик «Смирнова убили!» прибегает автор воспоминаний: «Смирнова я застал лежавшим на кровати с лицом, сплошь покрытым ссадинами и кровоподтеками, издающим глубокие стоны...»

Рука возмездия принадлежала подполковнику генерального штаба Николаю Васильевичу Соколову. Вот еще один замечательный персонаж в длинной галерее русских революционных типов. Служил на Кавказе, вышел в 1863 году в отставку, поехал за границу, был знаком с Герценом, Прудоном, написал книгу «Социальная революция», которая вышла в Берне. Вернувшись в Россию, Соколов написал еще одну книгу, «Отщепенцы», которая пользовалась впоследствии среди молодежи невероятным успехом. 4 апреля 1866-го, в день покушения Каракозова, он сдал рукопись в цензурный комитет и через неделю был арестован. Шестнадцать месяцев в тюрьме, потом ссылка в Архангельскую губернию, побег. В конце 1872-го Соколов появляется в Цюрихе, позже приезжает к Бакунину в Локарно и становится его близким другом.

Очевидец и «секундант» анархиста-подполковника в состоявшемся разговоре, Земфирий Ралли в своих воспоминаниях отметит: «Смирнов был хоть и большой задира, однако человек щедушный, слабый физически, между тем как подполковник Соколов был здоровенный детина». Возникший между политическими противниками, рассказывает Кулябко-Корецкий, «горячий спор закончился тем, что Соколов так сильно ударил Смирнова

наотмашь по уху, что Смирнов упал на пол, а Соколов, схватив его за длинные волосы, стал трясти его голову и бить его лицом об пол до тех пор, пока он потерял сознание».

Немедленно созывается собрание русской колонии. Страсти кипят. Вся сила негодования обрушивается, однако, не на непосредственного виновника рукоприкладства, а на главу цюрихских бакунистов — Росса. Всем очевидно, что избиение Смирнова — организованная Сажиным расправа за измену во время библиотечной распри. Бурное собрание прерывается неожиданным образом: одна студентка «с восторженным лицом, забрызганным кровью, вбежала на собрание, — пишет Кулябко-Корецкий, — с криком: «Я отомстила за Смирнова! Я публично дала пощечину Россу! Встретив его на улице, окруженного своими сторонниками, я ворвалась в их среду и ударила Росса в лицо; он хотел в меня стрелять из револьвера, но окружающие удержали его, и он успел лишь ударить меня ручкой револьвера в спину с такой силой, что у меня хлынула кровь из горла!» Ее сообщение встречено было аплодисментами и криками одобрения, после чего ее увели из зала, чтобы смыть кровь с ее лица и платья». Эта экзальтированная студентка, давшая публичную пощечину Сажину, — Евгения Завадская. Как и большинство присутствующих на этом собрании, она скоро отправится в Россию «делать дело», будет арестована в 1874-м, выслана, выйдет замуж за ссыльного А.А.Франжоли, в 1880-м оба убегут из ссылки и примкнут к «Народной воле». В 1883-м из-за тяжелой болезни Франжоли они уедут за границу, где в том же году он умрет, а она покончит с собой. Но вернемся к цюрихским событиям.

Собрание постановляет изгнать бакунистов из Цюриха. Соколов уезжает. Росс и его друзья остаются и принимают меры к самозащите. Сторонники Смирнова решают отомстить — кровь за кровь. Ралли и Сажин ходят по улицам Цюриха только в окружении сторонников и с револьверами в кармане. Предосторожность не лишняя. Их подкарауливают даже по ночам. Кулябко-Корецкий через много лет признается: «Несколько ночных часов просидел я с заряженным револьвером в руке в густых кустах сквера против подъезда россовской резиденции». Впрочем, спустя годы он смотрит на все это уже по-другому: «По счастью, ночные засады у Бремершлюсселя оказались безрезультатными, и «пристукать» Росса не удалось».

Для примирения враждующих партий и личной встречи с Лавровым приезжает из Локарно сам Бакунин. Кулябко-Корецкий, присутствовавший при переговорах как доверенное лицо Лаврова, записывает: «Лавров и Бакунин сидели рядом на диване, выказывая друг другу внешние знаки почтения и уважения, но отпуская, однако, по временам более или менее ядовитые шпильки друг против друга; мы же все расселись вокруг на стульях. Бакунин красноречиво доказывал необходимость примирения в интересах сближения сил для борьбы с общим врагом — русским царизмом... Попытка Бакунина так и не удалась».

Встреча Бакунина и Лаврова происходила в Форстхаузе, доме, приобретенном русской колонией. После раздела библиотек, рассказывает Вера Фигнер, «решено было основать кухмистерскую и кассу помощи нуждающимся, потом вздумали купить дом, в котором сосредоточивались бы вновь народившиеся общественные учреждения, и дом был куплен в складчину с переводом долга; затем был основан клуб, появился проект учреждения двух мастерских — столярной и переплетной; был разработан проект бюро для доставления нуждающимся работы...» Так называемый Русский дом располагался там, где теперь стоит дом № 18/20 по Цюрихбергштрассе (Zürichbergstrasse).

Более подробно о приобретении русской недвижимости в Цюрихе узнаем из воспоминаний Кулябко-Корецкого: «Нам, русским, вовсе не нужны были ни пружинные матрасы и мягкие кресла, ни занавеси на окнах и вязаные салфеточки на столах, ни даже «еженедельная» перемена постельного белья и тому подобная «роскошь», требующая, однако, своей оплаты, от которой мы могли бы избавиться, если бы в нашем распоряжении был собственный «русский» дом. К тому же немецкие «хозяйки» не допускают скопления в одной небольшой комнате 3—5 и более жильцов, протестуют против спанья на диванах и стульях, против шумных споров до глубокой ночи об условиях быстрого водворения человеческого счастья на земле... Такой дом нашелся в самой бойкой части Готтингена, вблизи перекрестка, образуемого улицей Платте и главной улицей, служащей сообщением этой части города с центральными кварталами города. Кажется, за 96 тыс. франков (около 32 тыс. рублей) продавался большой деревянный, сильно запущенный двухэтажный дом с 10—15 комнатами, пригодными под номера, в верхнем этаже и в нижнем

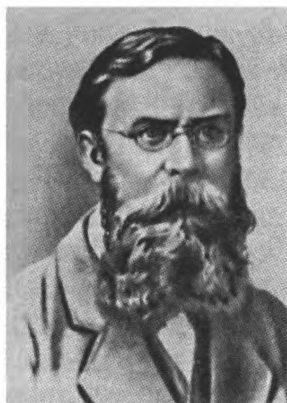
с несколькими обширными залами, достаточными для помещения в них библиотеки, читальни, столовой и особого еще зала для устройства общественных собраний».

Здесь, у подошвы горы Цюрихберг, в Русском доме поселяется переехавший в Цюрих Лавров, к этому времени уже настолько близорукий и слабый ногами, что его все время сопровождает кто-то, поддерживая под руку. Тут же организуются лавристская редакция и типография, налаживается издание журнала «Вперед». Первый номер выходит в Цюрихе в 1873 году. Вера Фигнер: «Он дал сильный толчок нашим умам, вызвав много споров и вопросов». Летом 1873 года в этом доме живут и Вера Фигнер с сестрой Лидией, и другие будущие революционерки – Берта Каминская, Ольга Любатович, сестры Субботины.

В декабре 1873 года бежит из ссылки за границу Петр Ткачев. Сперва он прибывает в Цюрих, останавливается в Русском доме, сходит с Лавровым и пытается принимать участие в издании журнала «Вперед». Ему кажется важным «исправить ошибки старика», неправильно отвечавшего на вопрос, «нужно ли знание и серьезные занятия» для «приготовления революции». Очень скоро выясняется, что работать вместе невозможно. Ткачев уезжает сперва во Францию, потом вернется в Швейцарию, чтобы в Женеве издавать свой знаменитый «Набат».

Сюда, в цюрихский Русский дом, переселяются все общественные учреждения русской колонии – библиотека, читальня, столовая. Организация собственной кухмистерской, где готовят по

П.Л.Лавров



очереди сами студенты, встречена среди колонистов с особенной радостью: «После безвкусной немецко-швейцарской стряпни того времени, — вспоминает Серафима Пантелеева в своем очерке «Из Петербурга в Цюрих», — мы начали вкушать отечественные яства и кулинарные произведения Польши, Грузии, Москвы, дружественно встречались с сибирскими пельменями и еврейской фаршированной щукой».

Обширный дом оказывается заселен, однако, лишь частично. Комнаты пустуют, причем не только на случай приезда в Цюрих русских посетителей. Желających поселиться под одной крышей с соотечественниками в конце концов находится немного. Кулябко-Корецкий объясняет причины: «Отсутствие какого бы то ни было минимального комфорта и вышколенной по-заграничному прислуги, запущенная повсюду грязь, пение в номерах в неурочные часы, вечный шум в коридоре — все это отгоняло от этих номеров даже наиболее нуждающихся». И добавляет: «Надо даже признаться, что, может быть, приобретение собственного дома повлияло несколько на распущенность нравов некоторой части молодежи, которая сдерживала проявление своих инстинктов, пока жизнь ее шла на виду у немцев, и перестала стесняться, попав под родную кровлю». Народник Михаил Драгоманов приезжает сюда на переговоры с Лавровым по вопросам издания «Вперед» и записывает впоследствии свои впечатления от колоритной обстановки Русского дома: «Думая найти для себя помещение на несколько дней в этом доме по цене более дешевой, чем в гостинице, я зашел наверх посмотреть номера. Вхожу в одну комнату — вижу неубранную постель, невынесенные помои и грязь на полу; перехожу в другую — лежит «мертвое тело» на голой кровати; перехожу в третью — тоже мертвое тело, но в сапогах на постельном белье».

Конфликты происходят не только внутри колонии. Русское нашествие не всем по вкусу.

«Наши предшественницы предупредили нас, и мы боязливо сторонились буршей-первокурсников, — вспоминает Серафима Пантелеева свои цюрихские студенческие годы. — Мы знали, что они пьянствуют в своих корпорациях, горланя глупейшие песни, а их лица с длинными шрамами свидетельствовали и о драках. Они казались нам вульгарными, совершенно неспособными интересоваться научными, этическими и политическими вопроса-

ми. Я была уверена, что швейцарские «отцы и дети» составляли гармоническое целое: бурши лишь отражали общие взгляды бюргеров на женщину, совершенно бесправную в Швейцарской республике, даже в имущественном отношении, — приданое и имущество были в полном распоряжении опекуна или мужа. Без попечителя женщина была немыслима, то есть поставлена в положение слабоумной... Как же было бюргерам не ужасаться, видя русских девушек и женщин без опекунов и надзирателей. Только немногие студенты, и то на старших семестрах, научились относиться с уважением к нашим задачам и работам. Некоторые студентки испытали на себе мальчишеские выходки первокурсников, изошрявшихся наклеивать бумажки на платье студентки...»

Неожиданный натиск юных, подчас семнадцатилетних девушек, часто с далеко не достаточным для университетского уровня объемом знаний, вызывает соответствующую негативную реакцию не только у «буршей», но и у серьезных студентов, тем более что далеко не все показывали столь выдающиеся способности и прилежание, как Сулова.

«Среди студенчества, — читаем у Сажина, — раздавались жалобы на то, что присутствие женщин на лекциях и в особенности в анатомическом зале мешает и развлекает их, что будто бы женщины занимают лучшие места в аудиториях, кокетничают, получают лучшие трупы в анатомическом кабинете».

Сравнивая отношения швейцарцев к «казацким лошадам» с отношением их к Суловой и Боковой, Сажин отмечает, что обе докторессы уже в России «благодаря родственным связям» с профессорами «посещали лекции и работали в анатомическом кабинете. Каракозовский выстрел прекратил их занятия в академии». Обе должны были в Цюрихе лишь закончить образование и отправиться в Швейцарию с солидными рекомендациями. «Приехав в Цюрих, они сразу попали под покровительство профессоров, поместились на житье в семьях зажиточных швейцарских граждан и жили у них все время ученья, на лекции в аудитории входили вместе с профессорами, имели там места, отдельные от студентов, и вообще были совершенно уединены от всяких сношений со студентами».

О не совсем восторженном, скажем так, отношении местного населения к русским учащимся пишет Кулябко-Корецкий: «Да это и понятно. Неожиданно в Цюрих хлынула какая-то невидан-

ная орава странных молодых людей обоего пола, отличавшихся и особою внешностью, и оригинальными нравами. Пришлые молодые люди одевались в неопрятные блузы, тужурки и даже косоворотки, часто носили высокие, неочищенные сапоги, которые швейцарцы надевают разве только для охоты на болотную дичь, но никак не для прогулок по городу. К этому присоединяются столь обычные у нас, в России, среди студентов и семинаристов длинные нечесанные волосы, темные очки и вечные папиросы в зубах. Какая поразительная разница сравнительно с подстриженными, бритыми, с иголки одетыми корпорантами! С женским персоналом — еще того хуже: короткие юбки, не всегда тщательно вычищенные, без тренов и турнюров; широкие кофты без белых воротничков; стриженные короткие волосы в целях освободить себя от долгой возни с куафюрой; прямо смотрящие на людей, а не опущенные к земле глаза, как это полагается приличной «барышне». К этому надо прибавить хождение по улицам беспорядочными группами, с громкими разговорами и принципиальными спорами, сопровождаемыми часто неумеренной жестикуляцией, и, в заключение, *horribile dictu*, хождение молодых мужчин и молодых женщин друг к другу на холостые квартиры и засиживание в них за чтением и словесными спорами до глубокой иногда ночи без опеки и надзора обязательной в таких случаях в Швейцарии пожилой дуэньи. В России это обычное в университетских городах явление; здесь же, в Швейцарии, это кажется несообразным, диким, неприличным, даже безнравственным».

В университете созывается специальное собрание, посвященное разбору поведения русских студенток. Интересно, что главными обвинителями выступают поляки, среди них Станислав Крупский. «На общем собрании, во время речи Крупского, обвинявшего русских студенток во всех грехах, — вспоминает Сажин, главный защитник соотечественниц, — я вошел в такой раж, что схватил, кажется, свою калошу и бросил ее на кафедру в Крупского».

Создается специальная швейцарская комиссия из студентов и профессоров. С дотошностью выяснив все пункты обвинения, опросив квартирных хозяек и даже наведя справки в публичном доме, комиссия решает все-таки в пользу русских студенток.

В 1872 году в Цюрихе происходит событие, всколыхнувшее жизнь не только местной русской колонии, но и попавшее в за-

головки газет всей Европы. Речь идет об аресте и выдаче России Сергея Нечаева.

«Весной 1872-го Нечаев приехал в Цюрих и поселился у меня, — пишет Земфирий Ралли-Арборе в своем очерке «Сергей Геннадьевич Нечаев». — Это было первое наше свидание с ним за границую. Я нашел его совершенно не изменившимся, даже не возмужавшим. Это был тот же худенький, небольшого роста, нервный, вечно кусающий свои изъеденные до крови ногти молодой человек, с горящими глазами, с резкими жестами».

К этому времени Бакунин, восторженный почитатель юного революционера, уже порвал с ним и требовал от Ралли и других цюрихских бакунистов также прекратить отношения с Нечаевым.

Вера Фигнер: «Напрасно уговаривали его не жить в этом городе — он считал, что эмигранты просто хотят удалить его из сферы их собственной деятельности. В Цюрихе Нечаев добывал средства к жизни тем, что писал вывески, и как искусный маляр имел, по словам М.П.Сажина, имевшего с ним сношения, хороший заработок».

Видя, что не имеет больше успеха у соотечественников, Нечаев обращается к полякам. В следующий приезд в Цюрих осенью 1872 года он останавливается у Михаила Турского, еще одного примечательного представителя эмиграции из царской России. Сын помещика Херсонской губернии, он увлекается революцией, арестован, сослан, из ссылки бежит за границу, участвует в Парижской коммуне, после ее падения устраивается в Цюрихе. Здесь он вместе с Нечаевым сколачивает организацию молодежи под названием «Славянский кружок», в который входят русские, поляки и сербы. После ареста Нечаева Турский сойдется с Петром Ткачевым и будет выпускать «Набат», один из самых радикальных русских революционных журналов.

Через Турского происходит и роковое для Нечаева знакомство с Адольфом Стемпковским, секретарем интернациональной марксистской секции («Социал-демократическое польское товарищество») в Цюрихе и, по совместительству, агентом царской полиции. Отметим еще такую деталь — Стемпковский организовал в Солотурне мастерскую, которая печатала фальшивые рубли.

Случайным свидетелем ареста Нечаева, устроенного Стемпковским, оказывается Германн Грейлих, глава цюрихских социалис-

тов, в будущем «Папаша Грейлих», патриарх швейцарской социал-демократии. Впоследствии на суде, устроенном эмигрантами над Стемпковским, Грейлих расскажет, что он обедал в Готтингене, вблизи своей квартиры, со своим другом в саду небольшого дешевого ресторанчика «Платтенгартен», кстати сказать, любимого места сборищ русских студентов и швейцарских социалистов, и видел, как Стемпковский сидел сначала с группой людей весьма подозрительного вида, потом пересел за свободный стол — здесь, как выяснилось, назначена была им встреча с Нечаевым. Как только Нечаев появился, он тут же был схвачен людьми, с которыми до этого беседовал Стемпковский и оказавшимися агентами полиции. Увидев Грейлиха, которого знал, Нечаев успел крикнуть, чтобы тот передал русским о его аресте. Грейлих бросается к своему знакомому русскому эмигранту, тот к Валериану Смирнову, но об аресте Нечаева уже известно — схваченный Нечаев, которого вели в окружении полицейских в тюрьму, встретился русским на улице.

Революционеры из славянского общества Турского—Нечаева приговаривают предателя к смертной казни. «Но приговор к смерти Стемпковского, — вспоминает Ралли-Арборе, — не был приведен в исполнение, так как стрелявший в него в упор пять раз не ранил даже шпиона, упавшего и представившегося убитым».

Русская колония вступает за арестованного. Начинается кампания против выдачи Нечаева русскому правительству, но она не умеет успеха. «Общественное мнение Швейцарии, — вспоминает Вера Фигнер, — было настроено неблагоприятно для Нечаева, потому что факт убийства Иванова был широко известен; агитация, поднятая кружком цюрихских эмигрантов (Эльсниц, Ралли, Сажин) в пользу Нечаева, успеха не имела; брошюра на немецком языке, изданная ими и разъяснявшая политический характер деятельности Нечаева, не нашла широкого распространения; устроенные митинги были малолюдны, а когда представители эмигрантов обратились к самым сильным рабочим союзам Швейцарии Грютлиферейну и Бильдунгсферейну и искали у них защиты права убежища, гарантированного законами республики для политических изгнанников, союзы ответили, что уголовных убийц они не защищают».

Впрочем, было немало швейцарцев, проявлявших симпатии к арестованному русскому и даже готовых помочь в деле его освобождения. Так, Кулябко-Корецкий вспоминает, что к не-

му пришел заведующий кантональной психической клиникой и предложил устроить побег Нечаеву, исходя из того, что выдача его — позор для демократической Швейцарии. «Побег этот, по его мнению, организовать довольно легко, так как кантональная тюрьма устроена в не приспособленном для нее старом здании упраздненного еще при Реформации католического монастыря и надзор в ней, за отсутствием серьезных преступников, ведется довольно патриархально. При этом, по словам доктора, член совета, заведовавший юстицией и тюрьмой, государственный прокурор доктор Форер, как член либеральной партии, не имеет причин особенно усердствовать и изменять установившийся тюремный режим в угоду русскому деспотическому правительству. По мнению моего собеседника, побег Нечаева легко можно было бы устроить, если бы какая-нибудь принадлежащая к его партии русская студентка испросила разрешение на свидание с ним. Оставшись, по существовавшему в тюрьме порядку, наедине с Нечаевым в его камере, она могла бы обменяться с ним костюмами и в одежде Нечаева улечься на кровать, притворившись больной или спящей, Нечаев же, облекшись в женский костюм и предъявив сторожу выходной из тюрьмы билет, беспрепятственно вышел бы из тюрьмы, в особенности если побег приурочить к вечерним сумеркам, так как подслеповатый старик-сторож сосредоточит свое внимание на выходном билете, а не на женщине, предъявляющей этот билет. Побег

Цюрих



арестанта мог бы обнаружиться только на другой день утром, когда Нечаев, при содействии своих друзей, мог бы находиться за пределами кантона и даже Швейцарии. Студентка, содействовавшая побегу Нечаева, рисковала бы при этом многим. Ее, конечно, задержали бы в тюрьме, но затем, по рассмотрению ее героического поступка, она, по всей вероятности, как иностранка, была бы просто выслена из пределов государства».

Кулябко-Корецкий сразу отправляется с этим планом освобождения Нечаева к Эльсницу. Тот с Земфирием Ралли бросается к Бакунину, который должен дать добро на проведение операции. Однако Бакунин выступает против. Ралли вспоминает: «М.А.Бакунин признал нужным задать мне головоломку относительно моего желания организовать освобождение Нечаева при его аресте в Цюрихе, указывая мне на тот факт, что он прекрасно знает обо всем этом участии и что именно потому и постарался удалить меня тогда из Цюриха, давши мне поручение на другом конце Европы».

Поступал ли Бакунин согласно разработанному им вместе с Нечаевым пресловутому «Катехизису революционера», который ценность жизни определял лишь ценностью в «деле», и не хотел рисковать другими? Или, может, это была месть дерзкому юноше, обманувшему старика и выкравшему его бумаги для шантажа?

Так или иначе через два месяца Нечаев был передан русской полиции. Попытку освободить его перед самой выдачей предпринимает его друзья из организации Турского, вполне, впрочем, неуклюжую. Кулябко-Корецкий: «...во время препровождения Нечаева под усиленным полицейским эскортом из тюрьмы на вокзал была на вокзальной площади усмотрена группа «русских нигилистов», из среды которых отделился молодой человек, оказавшийся студентом-сербом, который ворвался в среду вооруженных полицейских и, схватив Нечаева за одежду, стал тащить его из группы окружающих его полицейских; но, конечно, серб был арестован, и Нечаев благополучно водворен в арестантский вагон для следования в Россию». По версии Ралли, «выхваченного из рук жандармов Нечаева окружила публика и помогла полиции снова поймать его тут же на вокзале, арестовав двоих из пытавшихся спасти Сергея Геннадьевича».

Камера, в которой находился Нечаев, становится на какое-то время цюрихской достопримечательностью. Кулябко-Корецкий

вспоминает, как он зашел потом в тюремный замок: «Здание тюрьмы оказалось ветхим, запущенным, частью заколоченным, а порядки надзора примитивными, свидетельствовавшими, как легко было организовать побег для Нечаева. Показывая одну из полутемных келий, сторож заявил, что в этой камере содержался «der berühmte russische Nihilist Netschaieff» («знаменитый русский нигилист Нечаев». — М.Ш.)».

Жизнь русской колонии, конечно, не исчерпывалась политическими страстями. Молодежь совершает поездки на Рейнский водопад, на гору Риги, на озеро.

«Иные из студентов и студенток, — вспоминает Кулябко-Корецкий, — посещали изредка летние симфонические оркестры в Ton-Halle на берегу озера, где под крышей у столика за кружкой пива цюрихчане коротали свои вечера. Впрочем, русские, особенно женщины, уклонялись от обязательного потребления горького пива и кислого вина, предпочитали брать напрокат лодку на реке Лиммате и подплывать к Ton-Halle со стороны озера, где во время концертов лавировало большое количество лодок с даровыми слушателями музыки».

Пристрастие русских к музыке пытались использовать и предприимчивые антрепренеры: «В то время в Цюрихе было, кажется, не более 50 тыс. жителей и не было даже постоянного городского театра, — рассказывает тот же мемуарист. — На краю Гиршграбена, в отдаленной от центра местности, высилось какое-то невзрачное здание, чуть ли не деревянное; в нем по временам ставились какие-то спектакли, которые русская молодежь не посещала уже по одному плохому знанию немецкого языка. Один наивный антрепренер, учитывая значительное число русских обитателей в окрестностях этого здания, вздумал поставить там оперу Глинки «Жизнь за царя» и, конечно, не привлек ни одного русского зрителя».

Цюрихская русская колония становится знаменита по всей России, о ней пишут в газетах, «антинигилистические» авторы делают Цюрих именем нарицательным. Реакция со стороны русских властей не заставляет себя ждать. В газетах публикуется правительственный указ, касающийся русских студенток в Швейцарии: «Те из них, которые после 1 января 1874 г. будут продолжать слушать лекции в Цюрихском университете, по воз-

вращении в Россию не будут допускаемы ни к каким занятиям, разрешение или дозволение которых зависит от правительства, а также к каким бы то ни было экзаменам или в какое-либо русское учебное заведение». Главные причины подобного решения заключаются в том, что «другие университеты на Западе, значительно опередившие нас в образовании, не допускают еще женщин, и что увлечением модными идеями пользуются эмигранты, которые увлекают и губят безвозвратно в вихре политической агитации неопытных молодых девушек, и что два, три докторских диплома не могут искупить зла нравственного растления».

Колония, особенно женская ее часть, возмущена. Возмущением спешат воспользоваться вожди эмиграции. На правительственный акт Лавров отвечает воззванием «Русским цюрихским студенткам», в котором призывает молодежь к борьбе во имя «нового строя общества».

Указ действительно приводит к тому, что колония рассеивается и большинство возвращается в Россию, но уже с совершенно определенной целью. Призыв Лаврова падает на подготовленную почву. Начинается «хождение в народ». Несостоявшиеся инженеры и врачи переодеваются в мастеровых и хлебопашцев. Недоучившиеся цюрихские студенты и студентки продолжают свои университеты уже по-русски, в тюрьмах и на каторгах. Участницы кружка «фричей», например, поступят в качестве работниц на фабрики в Москве и других городах, чтобы вести революционную пропаганду, но практически сразу будут арестованы полицией. Из 126 девушек из России, обучавшихся в Цюрихе с 1867 по 1873 год, 77 фигурируют в «Словаре деятелей русского революционного движения».

Вот несколько судеб наиболее известных цюрихских студенток.

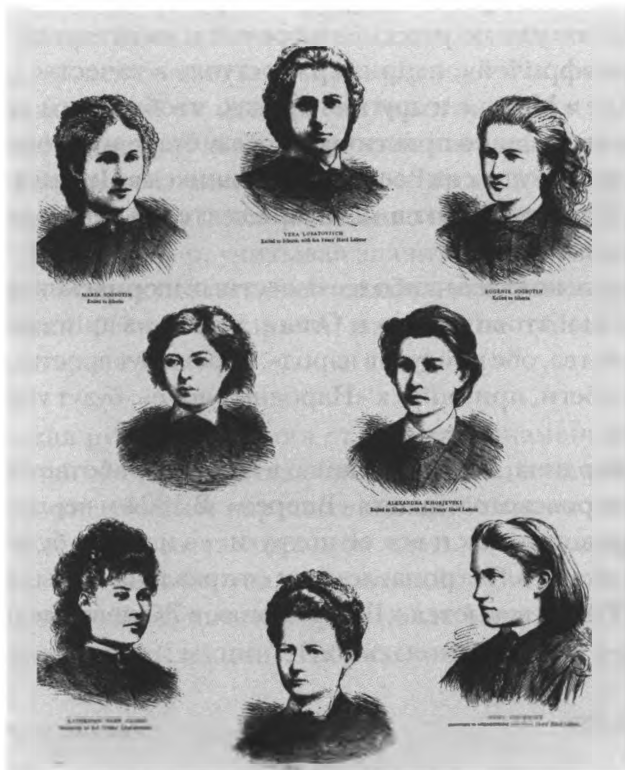
Сестры Любатович, Вера и Ольга, родом из аристократического семейства, обе пойдут «в народ», переживут аресты, тюрьмы, ссылки, побег, примкнут к «Народной воле», будут участвовать в терроре.

Софья Бардина, дочь помещика, в Цюрихе работает наборщицей для лавровского издания «Вперед». В 1874-м вернется в Россию, отправится, как и все ее подруги, «в народ», будет арестована, посажена в Петропавловку и отправлена в ссылку, откуда бежит. В 1880-м вернется в Швейцарию, в Женеву, где покончит с собой.

Берту Каминскую арестуют вместе с другими «фричами», и девушка должна будет предстать перед судом по «процессу 50-ти». Отец выхлопочет дочь себе на поруки. Переживания по поводу невозможности разделить участь подруг доведут ее до самоубийства.

Вера Фигнер после разгона цюрихской колонии переедет в Берн, чтобы там закончить образование, но за полгода до получения диплома бросит университет и, порвав с мужем, по вызову революционной организации вернется в Россию. Она станет одной из главных фигур в «Народной воле», двадцать лет просидит в каземате, по освобождении вернется в Швейцарию, чтобы писать мемуары. В 1907 году она снова приедет в Цюрих и остановится у швейцарского врача-социалиста Фрица Брупбахера, женатого на русской цюрихской студентке-революционерке Лидии Кочетковой. Он запишет свои впечатления в воспоминаниях: «Мне кажется, что, несмотря на всю свою общительность, несмотря на чувства любви и уважения, испытываемые нами по отношению к ней, она была одиноким человеком. Она

Участницы кружка «фричей». Вверху: М.Субботина, В.Люботович, Е.Субботина; в центре: (?), А.Хоревская; внизу: К.Хамкслидзе, С.Бардина, А.Топоркова



сказала Лидии Петровне, что самое прекрасное в жизни — это просто любить и быть любимым». В 1915 году Фигнер вернется из Швейцарии на воюющую родину, после революции останется в большевистской России, дотянет до социализма и чисток, переживет уничтожение своих коллег-политкаторжан и умрет девяностолетней, когда гитлеровские войска будут под Сталинградом.

Елизавету Южакову в 1880 году арестуют по делу о подкопе под Херсонское казначейство и приговорят к ссылке. Она бежит из Сибири, поймана и приговорена теперь к тюремному заключению. После выхода отправлена на поселение в Якутию. В 1883-м будет убита мужем, ссыльным рабочим, который после этого покончит с собой.

Екатерина Гребницкая, сестра критика-нигилиста Писарева, также фиктивно вышедшая замуж студентка-медичка, будет работать наборщицей в эмигрантской типографии и, когда для выпуска революционного издания потребуются дополнительные средства, поступит в содержанки к состоятельному лицу. Покончит с собой в Женеве в 1875 году двадцати трех лет.

Надежда Смецкая, студентка Цюрихского политехникума, дочь богатых родителей, предложит в 1877 году Кропоткину вступить с ней в фиктивный брак, чтобы получить от родителей приданое, которое она хотела употребить на дело революции. Кропоткин сначала даст свое согласие, но потом откажется. Смецкая уедет в 1878 году в Россию, где попытается поднять восстание

Е.И.Гребницкая



среди уральских казаков. Будет арестована в 1879-м, сослана в Восточную Сибирь. За попытку к побегу ее отправят в Якутскую область, где она выйдет замуж за ссыльного поляка, писателя Адама Шиманского. В 1896 году заболеет душевной болезнью и проведет девять лет в психиатрической лечебнице, где и угаснет тихо в революционном 1905 году.

«Русский Цюрих быстро опустел, — напишет Кулябко-Корецкий, — и даже Лавров со своими сотрудниками, а за ним и его антагонист Сажин переселились в Лондон». И закончит свои воспоминания так: «По прошествии 41 года, а именно в августе 1914 года, убегая от немцев в Швейцарию после объявления Вильгельмом II войны России, я вновь на два-три дня очутился в Цюрихе и, конечно, не удержался, чтобы не посетить места былых юношеских впечатлений и увлечений, и, разумеется, совсем не узнал этих мест. Улицу и домик, где я прожил почти год, я даже не нашел: все было перепланировано и перестроено, и на месте кокетливых швейцарских chalets высились многоэтажные дома промышленного типа. Конечно, и от «русского дома» тоже не осталось и следа».

После указа, окончившего существование студенческой колонии, русское население Цюриха резко сокращается, но по-прежнему на берегах Лиммата не умолкает русская речь. Состоятельные приезжие чаще всего останавливаются в роскошном «Бор-о-Лаке» (Burg-au-Lac) на самом берегу озера. Здесь размещается во время своих приездов Герцен, в этом отеле Чайковский в 1873 году записывает в дневник: «Цюрих — прелесть», сюда будут приезжать лучшие и богатейшие семейства из России, занимая нередко по целым этажам со своей челядью и компаньонами.

По-прежнему привлекательным для молодежи остается и Цюрихский университет, но учеба в нем уже теряет прежний революционный колорит. Центр политической эмиграции переносится в Женеву. Это отмечает в своих воспоминаниях о рубеже веков революционер-анархист Герман Сандомирский: «Цюрихская колония русских студентов была значительно менее людной и менее демократической, чем женевская... Но даже кратковременное пребывание в Цюрихе убедило меня в том, что Цюрих имел все основания гордиться славными традициями прошлого, но что в настоящее время пульс общественной политической жизни бился не в нем. Крупнейшие силы эмиграции находились

в то время в Женеве». Меняется и стиль поведения русских студентов. «Здесь же, в Цюрихе, — пишет дальше Сандомирский, — провинциальный облик и патриархальные нравы изумительно чистого и исключительно зажиточного города накладывали, так мне, по крайней мере, показалось, своеобразный отпечаток и на жизнь местного русского студенчества. ...Русское студенчество меньше всего жило здесь коллективной жизнью. Столовую и читалку посещала только небольшая часть студенчества. Остальные жили и обедали в бюргерских пансионах. Нравы, особенно зажиточной части русского студенчества, отображали на себе влияние корпорантских нравов Германии. Стрядов (знакомый Сандомирского. — М.Ш.) и некоторые его товарищи томилась однообразием своей жизни и мертвящей скукой, наступавшей по окончании дневных занятий. Тоску свою они топили в гигантских кружках пива. И когда во время ночных прогулок по Цюриху их начинала душить тоска по России и оставленным там близким, а вид расставленных по углам монументальных полицейских приводил их в остервенение, они вносили разнообразие в ночную жизнь Цюриха тем, что железными наконечниками своих тростей проводили по железным шторам магазинов, отчего в глухом переулке подымался невообразимый шум. На этот шум откликался полицейский, стоявший на ближайшем перекрестке, который, вынырнув из поглощавшего его мрака, предъявлял шумной компании требование уплатить штраф. После некоторой перебранки штраф вносили, и толстый агент тут же, на месте преступления, выдавал квитанцию в уплате его».

Не та уже и библиотека. Так, будущий известный большевик Владимир Бонч-Бруевич, приехав в Цюрих в 1896 году и устроившись в мансарде на Цюрихбергштрассе, отправляется, после того как записался на философский факультет университета, в русскую читальню. Здесь его поражают две вещи: обилие «чрезвычайно ценных и редкостных книг» и то, «что эти книги почти никто не берет читать». Большинство книг Бонч-Бруевич находит «совершенно чистенькими, новенькими, некоторые даже неразрезанными».

В университет приезжают уже не только за медициной. У новых поколений свои кумиры. Анатолий Луначарский, изучающий в Цюрихе в 1895–1897 годах философию и естественные науки, приезжает ради эмпириокритицизма Авенариуса, который входит в моду среди русских гимназистов наряду с марксиз-

мом, — юноши всеядны. «Вот почему ко времени окончания гимназии, — читаем в «Воспоминаниях и впечатлениях», — у меня твердо установился план победить во что бы то ни стало сопротивление семьи и, устранившись от продолжения образования в русском университете, уехать в Цюрих, чтобы стать учеником Аксельрода, с одной стороны (к нему я имел хорошие рекомендательные письма), Авенариуса — с другой».

«Я окончательно решила поехать в Швейцарию и поступить в Цюрихский университет в семинар профессора Геркнера, который тогда считался марксистом». Это вспоминает Александра Коллонтай, студентка семестров 1898—1899 годов. Поездке предшествовала семейная драма — ради марксистских лекций замужняя дама решает бросить ребенка. Отец ее не в восторге, «но, выслушав доводы, он обещал ежемесячно высылать мне денежное пособие, поставив условие, чтобы мы матери не говорили, почему, куда и зачем я еду. Многие дамы в те годы уезжали на зиму за границу, якобы для поправки здоровья. Мы скажем маме, что врачи требуют моего пребывания в швейцарских горах. Это успокоит ее...»

Посещает в Цюрихе курс философии и Леля Саломе. Этой дочери русского генерала, родившейся в Петербурге и приехавшей в Цюрих с портретом Веры Засулич, с которым она не расстанется всю свою долгую удивительную жизнь, предстоит под именем Лу Андреас-Саломе войти в историю как подруге Ницше, Рильке и Фрейда.

А.М.Коллонтай



Но в целом русский студент по-прежнему резко отличается от туземных. Эту разницу сформулировал в своих воспоминаниях учившийся на медицинском факультете в Цюрихе уже упоминавшийся Фриц Брупбахер: «Швейцарский студент не задумывался ни о каких других вопросах, кроме своей учебы, которая должна принести ему в будущем насущный хлеб. Его жизненный путь был прям и гладок. Вскоре после экзаменов он женился на богатой невесте, затем где-то устраивался, зарабатывал деньги и приходил со временем к почету и уважению, не задумываясь ни о чем, кроме своей работы. Русский студент чувствовал давление политических отношений в каждом своем движении. Он размышлял о мировых проблемах, он хотел изменить окружающую действительность. Поэтому его мысли были обо всем мире, об экономике, политике, морали, о людях вообще. Поэтому он был многосторонним, энциклопедичным. Швейцарского студента занимали проблемы рендиты и выгодной женитьбы, русского – проблемы переустройства всего света».

Неудивительно, что под влиянием русских студентов и особенно студенток некоторые молодые швейцарцы тоже начинают интересоваться вопросами социализма. Среди них – сам Брупбахер. К решению мировых проблем его подтолкнуло знакомство с Лидией Кочетковой, цюрихской студенткой-медиком, учившейся до этого в Петербурге у Лесгафта. Брупбахер так описывает свою будущую жену: «Она пожертвовала своими любимыми научными занятиями в области естествознания, чтобы стать врачом, жить среди народа и посвятить свою жизнь служению ему. Ее переполняла ненависть к царизму. Для нее сам народ и самопожертвование ради народа было своего рода религией – при этом само слово «религия» нельзя было и произнести. Примером для нее служили цареубийцы из кружка Перовской. Высшим идеалом было кончить жизнь на виселице за народ и свободу. <...> Эта настоящая, без какой-либо позы, страсть к самопожертвованию ради идеи, так сказать, страсть растворить все свое я, приводила в смущение, сбивала с толку и имела что-то сказочное для человека, являвшегося представителем народа, о котором на всем свете говорят: “Без денег нет швейцарцев”».

Брупбахер и Кочеткова заключают брак в духе «новых людей» – они обещают друг другу независимость и дружбу в борьбе за но-

вый мир. Лидия отправляется в Россию, где работает земским врачом, попутно распространяя среди больных агитационную литературу и оружие. Брупбахер готовит революцию в рабочих районах Цюриха. Она приезжает в Швейцарию на каникулы. Их переписка могла бы составить тома. В своих воспоминаниях швейцарец называет свой брак – «браком с русской революцией». Разлучают их война и само отношение к войне. Эсерка Кочеткова – за войну против немцев до победного конца. Пацифист Брупбахер понять этого не может. Их брак распадается.

Обаяние русской женщины столь велико, что Фриц Брупбахер после расставания с Лидией Петровной, как он уважительно называет в мемуарах свою русскую супругу, женится еще дважды – и оба раза тоже на женщинах из России.

Отметим, что многие швейцарские социалисты имели жен из Российской империи. Назовем здесь Роберта Гримма, Фрица Платтена, Отто Ланга, Йоханнеса Хубера, Давида Фарбштейна.

Иные времена – иные песни. Русские умы захлестывает учение Маркса. Новая глава в истории русского Цюриха открывается вместе с кефирней на углу Мюлегассе и Зейлерграбен (Mühlegasse, 33). С 1881 года в Цюрих переселяется Павел Борисович Аксельрод, второй, наряду с Плехановым, отец русского марксизма. «Во главе социал-демократических кружков Цюриха, – вспоминает Бонч-Бруевич, – в то время стоял Павел Борисович Аксельрод, член знаменитой группы «Освобождение

Фриц Брупбахер и Лидия Кочеткова



труда», один из основоположников русской социал-демократии, ранее принадлежавший к полуанархической группировке «Черный передел». Правда, к этому времени он уже сильно постарел, нередко болел, был угнетен постоянным поиском заработка, и его влияние до большой степени упало, но вместе с тем нельзя было быть в Цюрихе и не быть у него, если вы чувствовали себя принадлежащим к нарождающимся социал-демократическим организациям».

В докладе Департамента юстиции и полиции генеральному прокурору Швейцарской Конфедерации в декабре 1891 года указывается на подпольный характер деятельности «некоего Аксельрода, который под прикрытием фабрики по производству сгущенного молока ввозит в Россию большое количество революционных брошюр». Молочный заводик служил не только крышей для распространения марксизма в России. «Для того чтобы существовать со своей семьей, — вспоминает Бонч-Бруевич, — он должен был в Цюрихе открыть кефирное заведение, и на его обязанности лежало два раза в день встряхивать не менее 300—500 бутылок. Хочешь не хочешь, пишет ли он статью, читает ли книгу, занимается ли каким-нибудь иным делом, — в определенный час он должен был бежать во всякую погоду в город в «магазин» из верхней части Цюриха, где он жил, чтобы там проделывать эту операцию».

Как женевской Меккой социал-демократов была квартира Плеханова, так в Цюрихе эту роль исполняла квартира Аксельрода. В 1895 году кефирный заводик посещает молодой Ульянов, который производит на Аксельрода «ошеломляющее, чарующее впечатление». В 1902 году к Аксельроду на поклон является юный Троцкий. У Аксельрода гостят знаменитые марксисты того времени — Каутский, Бернштейн, постоянно бывают другие члены группы «Освобождение труда» — Плеханов и Засулич. Здесь за самоваром в бесконечных спорах решаются пути спасения далекого отечества, скрещиваются клинки теорий, блещут знаменитые плехановские остроты. Пример полемики с марксистами-экономистами приводит в своих «Записках подпольщика» Цецилия Бобровская-Зеликсон, оказавшаяся в 1898 году за чаем у Аксельрода свидетельницей борьбы ортодоксальных марксистов с ревизионистами Кусковой и Прокоповичем: «Плеханов возбужден, он не унимается и в нашем присутствии и с издевкой говорит Кусковой: “Вот, Екатерина Дмитриевна, садитесь верхом на этот самовар, и пусть он вас повезет — до-

бьетесь таких же результатов, каких можно добиться вашими теориями!»»

В подвале под квартирой Аксельрода размещается главная экспедиция «Искры». Заведует цюрихской экспедицией Максим Литвинов, будущий народный комиссар иностранных дел, а в то время известный как участник нашумевшего побега группы «искровцев» из киевской тюрьмы. «Официальный адрес «Искры», — пишет Литвинов в своих «Воспоминаниях», — был в Цюрихе, где мы условились встретиться с товарищами по побегу. Прибываем туда первыми, но не проходит и десяти дней, как приезжают остальные... На время моего «отсидживания» за границей мне предложили взять на себя заведование цюрихской «явкой» «Искры» и экспедицией. Как известно, «Искра» сначала издавалась и печаталась в Мюнхене, а затем в Лондоне, но по конспиративным соображениям это держалось в секрете, и официальным местопребыванием редакции «Искры» считался Цюрих... «Искра», «Заря» и другая литература по выходе из печати немедленно доставлялись из Лондона в Цюрих, откуда рассылались по почте заграничным подписчикам и организациям и тайными путями переправлялись в Россию. Цюрихский адрес служил также «явкой» для желавших лично связаться с редакцией и организацией».

Революционерами становятся и дети Павла Борисовича Аксельрода, учившиеся в Цюрихском университете. Так, например, в доходе от 28 декабря 1897 года о дочери Аксельрода Азеф сообщает: «У Аксельрода есть взрослая дочь Вера, которая, воспитавшись в революционной семье, жаждет во что бы то ни стало очутиться в России для революционной деятельности. Для осуществления этой своей мечты В.Аксельрод намерена обвенчаться с А.Гуревичем, дабы иметь возможность вместе с ним легальным путем пробраться в Россию». Вера действительно выходит замуж за инженера и социал-демократа Абрама Гуревича и посвящает жизнь «освобождению рабочего класса». Сын Александр, учившийся в политехникуме на инженера, знакомится со студенткой из России, Марией Покровской, приехавшей после окончания московской гимназии в Швейцарию изучать химию — «сейчас нужно изучать химию, чтобы делать бомбы». После свадьбы Мария участвует в семейном предприятии — тоже переворачивает бутылки с кефиром, а в 1911 году Александр с женой уезжают в Россию. В Швейцарию молодые Аксельроды вернутся в 1918 году, спасаясь от революции.

Город в начале века прочно находится в руках марксистов. Виктор Михайлович Чернов, теоретик и лидер самой многочисленной русской политической партии эпохи революций, будущий председатель Учредительного собрания, приехав на берега Лиммата, ощущает себя как в пустыне. «Первым этапом в моей поездке за границу, — читаем в его воспоминаниях «Перед бурей», — был Цюрих, где я и днем с огнем не мог найти себе политических единомышленников. Шел 1899 год. В цюрихской русской колонии преобладали молодые социал-демократы, совершенно замороженные своим — на мой вкус, очень упрощенным — марксизмом». Очень скоро он покидает «скучный Цюрих» и перебирается в Берн, где находит кружок близких ему социалистов-революционеров.

Но, конечно же, так просто студентов Цюрихского университета и политехникума эсеровские ораторы не отдают марксистам. Сюда постоянно приезжают лидеры партии социалистов-революционеров вербовать среди молодежи новых членов. Часто бывает в Цюрихе, например, Екатерина Брешко-Брешковская. Все мемуаристы вспоминают, что на ее выступления студенты валили толпами. «Бабушка» напишет об этом времени: «Я настойчиво доказывала молодежи, что пора ей взяться за реальную работу, за пропаганду усвоенных ею идей среди крестьян и рабочих. <...> И вот начался отлив из-за границы на родину молодых людей обоего пола, началась усердная перевозка ими литературы социалистов-революционеров — и книжки «В борьбе обрешь ты право свое» рассыпались щедрой рукой по градам и весям России. Одни, набравшись знания и указаний, ехали в глухие места родины, другие вливались оттуда сотнями в Швейцарию и Париж, чтобы в свою очередь почерпнуть из источника живой воды...»

Тот факт, что все или почти все цюрихские студенты, возвращаясь на каникулах в Россию, везут с собой запрещенную литературу, не является, разумеется, неожиданностью для полиции. В одном из донесений из Цюриха Азеф сообщает: «Вот теперь, в июле, начнется разъезд студентов, и положительно всякий будет везти. Отсутствие провалов (за малыми исключениями) делает всякого смелым, и он везет. Если может Вам помочь образец чемодана, то я могу Вам прислать...»

Евно Азеф является частым гостем Цюриха. Так, 5 июня 1902 года Азеф сообщает в Департамент полиции: «Мое пребывание

в Цюрихе и Берне дало мне следующие, вполне установленные факты: партия социалистов-революционеров выделила террористическую организацию, которая приняла название боевой организации». Интересно, что, являясь руководителем эсеров-боевиков, Азеф вкладывает в общее дело свои 500 рублей, которые он записывает в счет издержек. Расходы на основании БО исправно возмещаются агенту охранкой. Донесение из Цюриха от 2 октября 1903 года Азеф заканчивает просьбой ускорить высылку задерживаемого жалованья на цюрихский почтамт до востребования: «Деньги эти прошу переслать мне телеграфным переводом Zürich postlagernd, так как я остаюсь без денег. Пожалуйста».

Одна из видных фигур среди немногочисленных цюрихских эсеров — Иван Иванович Мейснер, участник народофильского движения, приговоренный в 1887 году к смертной казни, замененной каторгой на Сахалине. Через Японию он бежит в Америку и оттуда в Швейцарию, где поселяется в Цюрихе. Азеф в одном из донесений сообщает о своей встрече со «старым террористом, который считается очень способным химиком, изобретшим в свое время взрывчатые конверты, которые он и вздумал разослать, но неудачно. С Мейснером меня в Цюрихе специально познакомили, и я нахожу, что это очень опасный человек, у него действительно масса идей в направлении применения химического своего знания к террористической борьбе. Мейснер готов всецело работать для партии социалистов-революционеров. Гоц, Чернов и другие заграничные социалисты-революционеры нашли необходимым немедленно воспользоваться работой Мейснера и сообщили об этом в партию, и для переговоров думают прислать сюда Гершуни».

Фактическим учредителем партии вместе с Азефом являлся Григорий Гершуни, врач-бактериолог по образованию и «тигр революции» по призванию. В 1900 году минский пропагандист арестован и доставлен в Москву, но отпущен на свободу под честное слово Зубатовым. За порядочность жандарма Гершуни оплатит тем, что встанет во главе Боевой организации эсеров. В 1903 году он снова арестован, его приговаривают к казни, замененной вечной каторгой. Из Сибири Гершуни бежит через Дальний Восток в 1907 году, «пролетев, — по выражению Чернова, — метеором по Америке и собрав мимоходом для партии значительную сумму денег». Созданную им организацию Гершуни за-

стает в кризисе: разбирается дело Азефа, на которого пало обвинение в предательстве. Чернов: «Гершуни не ждал проку ни от каких разбирательств: ничего, кроме разглашения партийных секретов, они не дадут. Есть только одно простое, честное и радикальное средство. Он, Гершуни, вместе с Азефом, доверие к которому у него было безгранично, возьмет на себя большое дело. Или оно им удастся — и тогда все слухи сами собой умрут, или оба на этом деле погибнут — и тогда, каким бы уроном ни была эта двойная гибель для партии, все же имя ее будет очищено от кошмарного навета...» Другой известный деятель партии социалистов-революционеров, Владимир Зензинов, в своих мемуарах «Пережитое» так передает слова заболевшего на каторге Гершуни: «Единственный способ, — говорил он, — покончить с этими слухами, это после моего выздоровления организовать центральное дело (против царя). Оно все равно уже поставлено на очередь. В нем должны принять участие я и Иван. И когда мы оба погибнем, честь Ивана в партии будет восстановлена».

Ни организовать «центральное дело», ни восстановить честь агента охранки Гершуни уже не удастся. О его конце Чернов пишет: «Гершуни жил, сговаривался с Азефом, готовился работать вместе с ним. Но смерть уже стерегла его. Он явно таял: упадок сил, высокое давление крови, сердцебиение, высокая температура и т.п. Финляндские врачи теряли голову: симптомы неведомой болезни становились все тревожнее. Были приняты экстренные меры: его отправили за границу, в славившуюся своими ме-

Г.А.Гершуни



дицинскими знаменитостями Швейцарию. Гершуни едва согласился на это, и то лишь под условием, что уезжает на самое короткое время — набраться сил и спешно вернуться на арену ожидающей его настоящей борьбы. А оттуда нас как громом поразила страшная весть: Гершуни в госпитале! У Гершуни несомненная, со страшной быстротой прогрессирующая саркома легких!» Гершуни умирает в цюрихском госпитале после тяжелой агонии в ночь с 16 на 17 марта 1908 года. Тело его перевозят для захоронения в Париж, на кладбище Монпарнас.

Молодежь, стоящая вне политики, представляет в эти годы скорее исключение. Молодые люди, не читающие социал-демократические или народнические издания, вызывают тревогу даже у родных. «В Цюрихе мы много занимались Рихардом Вагнером. В аудиториях Высшего технического училища я слушала лекции профессора Зайчика о “Кольце Нибелунгов”», — вспоминает художница Маргарита Сабашникова-Волошина в книге мемуаров «Зеленая змея» и пишет дальше о своем брате Алексее, студенте политехникума: «Как и многие молодые люди тех лет, он одно время увлекался Оскаром Уайльдом. Прочитав «De Profundis», написанную в тюрьме, он повторил путь поэта — начал читать Евангелие. Очень характерно для той эпохи то, что моя мать все это считала ненормальным. Она требовала, чтобы он обратился к психиатру Монакову, который в то время жил в Цюрихе. Психиатр предостерег его от Евангелия как от «нездорового чтения». Очень типично для русских, что тот же самый доктор Монаков, тогда выступавший столь рьяным последователем атеизма, позднее написал книгу, содержащую чудесные мысли о существовании Христа».

За спасение брата любимой берется поэт Максимилиан Волошин. Молодые люди решают, что надо «выйти из себя», чтобы ощутить «духовность мира», и отправляются пешком из Цюриха на Сен-Готард. «Вернулись они в жалком виде — усталые и оборванные, — пишет Маргарита Сабашникова. — Удалось ли им «выйти из себя» — не знаю; но духовность мира они, во всяком случае, не нашли».

В Цюрихе Маргарита пишет автопортрет, ставший пророческим предзнаменованием в ее жизни. Через несколько десятилетий она заметит в воспоминаниях: «Теперь меня больше всего удивляет, что архитектурная форма на заднем плане и трактов-

ка плоскостей совершенно походит на пластику Гетеанума, возникшего лишь двадцать лет спустя».

Узнав о том, что в Цюрих приехал доктор Штейнер, Сабашникова идет на его лекцию. Так происходит встреча, определившая ее судьбу. Со Швейцарией ее свяжет строительство Гетеанума. Она будет приезжать в Цюрих из Дорнаха, как и Андрей Белый, который приедет сюда с Асей Тургеневой осенью 1915 года.

Кстати, упомянутый врач Константин Монаков — известный цюрихский профессор. Отец его покидает Россию в 1866 году, когда мальчику исполняется тринадцать лет, и семья поселяется в Швейцарии. Константин оканчивает медицинский факультет Цюрихского университета. Монаков занимается исследованиями в области мозга и становится первым швейцарским неврологом, основателем и руководителем Цюрихского института анатомии мозга.

В августе 1904 года в Цюрихе живет Николай Бердяев. Тридцатилетний философ находится в поисках своего пути. После ареста за пропаганду марксизма и ссылки, которую он провел вместе с Луначарским, Савинковым и другими известными революционерами, происходит переоценка ценностей, особенно во время заграничного путешествия. Приведем показательный кусок из цюрихского письма будущей жене: «Мы с тобой стоим на великом повороте, на пути к новому Богу. Нужно только сбросить с себя эту кошмарную власть обыденности, какими бы добродетелями она ни прикрывалась. Я иногда не без горького чув-

М. В. Волошина-Сабашникова. Автопортрет



ства сознаю, до какой страшной степени я аристократ не только во внутреннем, но и во внешнем смысле этого слова. Я люблю контрасты жизни, люблю яркие краски, люблю красоту во всем строе жизни, ненавижу плебейство, страдаю от грязных ногтей, от скверного запаха, от грубых манер. Во мне часто играет моя кавалергардская аристократическая кровь и влечет меня к шампанскому, к хорошим Hotel'ям, к первому классу. Иногда я ловлю себя на том, что жизнь для меня обесцветилась бы, если бы в ней все было уравнено, исчезли бы контрасты, водворилось бы организованное насильственное добро. Даже ты, может быть, осудишь меня за это. Спасает меня только ненависть к духовному плебейству сословной аристократии и безмерная любовь к свободе. Только к свободе у меня и есть вкус, она непосредственно связывает меня с жизнью, и ей я никогда не изменю. В жизни своей я любил только три вещи, любил неумело и беспредельно философию, свободу и красоту. <...> Сейчас в Цюрихе смотрю из окон первого класса Hotel'я на нашу суетливую демократическую молодежь и думаю горькую думу о ней и о себе. Что меня связывало с ней всю мою сознательную жизнь, почему я любил эту интеллигенцию русскую, нелепую и часто раздражавшую меня почти физически, почему чувствовал какой-то долг перед ней?»

Русская колония эмигрантов по-прежнему мало интересуется политической жизнью приютившей их страны. Это отметил еще Кропоткин: «Все они далеко держались в стороне от местного

Н.А.Бердяев



швейцарского рабочего движения. Слушая их споры, казалось, что они готовы жизнь отдать за свою партию в Цюрихе, а между тем к рабочему движению в самом Цюрихе они не приставали, они «кипели в своем соку», страстно споря в своих кружках и ссорясь из-за заграничных течений вместо того, чтобы на работе, среди заграничных рабочих, на практике учиться будущей работе среди русских рабочих и крестьян и знать, по крайней мере не из журналов, а из действительной жизни, те направления, из-за которых они ссорились. Русские ходили только на большие собрания, где агитаторы-социалисты гремели речами. Повседневную бесшумную работу среди рабочих масс они избегали. Так было тогда, так осталось и потом».

Эти слова подтверждает в своих воспоминаниях Николай Лосский, будущий философ, а в это время еще юноша, отдающий свою дань модному поветрию. С местными социал-демократами русские не сотрудничают, но когда речь заходит об организации шумной демонстрации, всегда идут в первых рядах: «Симпатии к социализму у меня сохранились в течение всего этого времени. Летом 1888 г. в Цюрих приехал из Германии один из вождей социализма, Либкнехт (отец убитого в двадцатых годах). В связи с его приездом местные социал-демократы устроили внушительную демонстрацию, в которой приняло участие не менее 10 000 человек. Демонстранты выстроились в ряды и прошли по главным улицам города. В этих рядах было немало членов русской колонии, и в их числе, конечно, и такие юнцы, как Лиознер (знакомый Лосского. — *М.Ш.*) и я».

Замкнутость русской колонии объясняется и мерами предосторожности против проникновения в революционные ряды шпионов. Вот отрывок из воспоминаний цюрихской студентки из Германии Кэте Ширмахер (Kathe Schirmacher): «Эта осторожность русских в общении с нерусскими делала почти невозможным знакомство с внутренней жизнью колонии: нужно было или иметь рекомендации от друзей-социалистов», или сперва каким-то образом завоевать доверие».

Однако теория обязывает. Всемирность призываемой революции и провозглашенный интернационализм подталкивают русских эмигрантов к установлению контактов с иноплеменными единомышленниками.

Одним из центров интернационального брожения становится рабочий клуб «Айнтрахт» (Eintracht), расположенный на улице

Ноймаркт. Клуб, открытый в 1888 году, со своим залом на четырехста человек, библиотекой, читальным залом, дешевой столовой, является удобным местом встреч эмигрантов, здесь устраиваются доклады, проводятся митинги, дискуссии, выступают с рефератами все видные представители революционных партий: Плеханов, Мартов, Чернов и др.

Так, в 1902 году здесь в первый раз выступает в Цюрихе Ленин. Сергей Меркуров, студент Цюрихского университета, работавший также в мастерской цюрихского скульптора А.Майера, через много лет в верноподданническом стиле напишет в своих воспоминаниях: «Мы пришли рано, но зал уже был переполнен. На диспут собралась вся русская колония... Выступление Ленина отличалось от речей искушенных ораторов. В ней отсутствовало щегольство «изящной фразы». Он убеждал своей простотой, всем понятной логичной аргументацией, своею искренностью. Простыми, правдивыми словами он раскрывал перед нами новый, невиданный мир...» Юноша еще не знал, что станет придворным ваятелем и будет снимать посмертную маску с докладчика.

В «Айнтрахте» часто выступает во время своей швейцарской эмиграции осенью 1914 года Троцкий. Уже известный нам Фриц Брупбахер, входивший вместе с Троцким в правление ферейна «Айнтрахт», напишет в мемуарах: «С приездом Троцкого в Цюрих рабочее движение снова оживилось. Он принес с собой уверенность, что пролетариат и самое плохое может обратиться в хорошее и что из войны должна родиться революция». Троцкий выпускает в Цюрихе брошюру «Война и Интернационал» («Der Krieg und die Internationale»), в которой, как обычно, призывает к мировой революции. Этот оратор пользуется такой популярностью среди швейцарцев, что те выбирают его своим делегатом на съезд социал-демократической партии.

В «Айнтрахте» частым докладчиком выступает Карл Радек, еще один знаменитый будущий большевик, отличавшийся пером, остротами и теоретическими проколами: «Радек читал вскоре после моего отъезда из Цюриха, — читаем у Троцкого, — все в том же «Eintracht» обширный доклад, в котором пространно доказывал, что капиталистический мир не подготовлен к социалистической революции». Переехавший вскоре из Берна в Цюрих Ленин переубеждает молодого коллегу.

Здесь же, в «Айнтрахте», весной 1917 года происходят знаменательные переговоры между ведущими русскими радикалами-

эмигрантами и Фрицем Платтенем, лидером швейцарских левых. Он вспоминает: «Ленин, Радек, Мюнценберг и я отправились для конфиденциальной беседы в комнату правления, и там товарищ Ленин обратился ко мне с вопросом, согласился бы я быть их доверенным лицом в деле организации поездки и сопровождать их при проезде через Германию. После короткого размышления я ответил утвердительно... В час дня состоялось наше совещание с Лениным, а в 3 часа мы уже сидели в бернском поезде».

Названный здесь Вильгельм Мюнценберг — один из немногих иностранцев в ближайшем окружении Ленина. В отличие от других русских революционных вождей Ленин не жалеет сил и времени в период своей швейцарской эмиграции на «перевоспитание» западных социал-демократов, в особенности более податливой молодежи. Вокруг русского эмигранта, известного на международной социал-демократической сцене радикальностью своих взглядов, собирается кружок молодых революционеров, называющий себя для невинности кегель-клубом. Собрания происходят в ресторанах и кафе «У белого лебедя» на площади Предигерплац (Zum weissen Schwan или Schwanli am Predigerplatz, 34) или «У черного орла» на площади Хиршенплац (Zum schwarzen Adler, Rosengasse 10/Ecke Niederdorfstrasse), но чаще всего в ресторане «Штюссихоф» в комнате на втором этаже (Stüssihofstatt, 15 — теперь ресторан Rablus), в угловом доме на Марктгассе. Отметим, что все эти заведения существуют и по сей день.

«Над каждым столом — фонарь своего цвета. Над кегель-клубом — красный. И аловатый цвет на всех лицах — на крупной открытости Платтена, на черном чубе и крахмальном воротнике фатоватого уверенного Мимиолы, на растрепанной нечесаной курчавости Радека с невынимаемой трубкой и никогда не закрываемыми влажными губами.

— ...В каждой стране — возбуждение ненависти к своему правительству! Только такая работа может считаться социалистической...

— ...Промышленность, связанная с туристами... Ваша буржуазия торгует прелестями Альп, а ваши оппортунисты ей в этом помогают...

— Республика лакеев! — вот что такое Швейцария!»

Этот отрывок взят из книги «Ленин в Цюрихе» Солженицына, который много страниц посвящает ленинскому кружку политучебы.

Скажем несколько слов о ленинских учениках. Вильгельм Мюнценберг, немецкий социалист, долго живший в Швейцарии, становится в Цюрихе секретарем Социалистического интернационала молодежи и редактором его органа «Югенд Интернационале», в котором сотрудничали Ленин, Троцкий, Бухарин, Радек. За подготовку и участие в боях на улицах Цюриха во время всеобщей стачки в 1918 году выслан из Швейцарии. В Германии Мюнценберг — коммунистический депутат рейхстага, агент московского Интернационала. От пришедших к власти нацистов эмигрирует во Францию. На сталинский приказ приехать в СССР отвечает отказом. Летом 1940 года его находят повешенным в лесу с проволокой на шее.

Мюнценберг оставил воспоминания о своей встрече с Лениным в Цюрихе, состоявшейся в кафе «Астория» на Нюшелерштрассе (Nüscherstrasse, 17): «Ленин старался убедить меня тогда в неизбежности скорой революции в России, которая повлечет за собой пролетарскую революцию в мировом масштабе...» Молодой социалист слабо верил в возможность такой перспективы: «Мы закончили наш спор словами: «Посмотрим, кто окажется прав». <...> Когда я в 1920 году, в первый раз после завоевания пролетариатом власти, встретился с В.И. Лениным в Московском Кремле, он после долгой беседы со мной о германских и международных делах и обмена личными воспоминаниями снова спросил меня с улыбкой, но торжествующе: «Кто же тогда был прав в кафе «Астория»?» Мне оставалось только смущенным молчанием признать его правоту».

Более известен в России Фриц Платтен, вождь швейцарских левых, основатель Швейцарской коммунистической партии. Это он сопровождает ленинскую группу через Германию в апреле 1917-го и потом неоднократно приезжает в Россию, причем в январе 1918 года заслоняет собой Ленина от пули, которая пробивает швейцарцу правую руку. Менее известно, что и до своего знакомства с Лениным Платтен был активным участником русской революции. В 1905 году, познакомившись с эмигрантами из России, он отправился нелегально с оружием и боеприпасами через русскую границу, чтобы принять участие в свержении царизма. Он был арестован в Риге и вернулся на родину только в 1908 году. Русский опыт помог ему позже в организации баррикадных боев в Цюрихе. В двадцатые годы Платтен создает швейцарские коммунуны в России и сам переселяется в Москву.

Сначала будет арестована его супруга в августе 1937-го, а вскоре и он сам.

Совсем по-другому сложится судьба еще одного члена кегельклуба — Эрнста Нобса, в то время председателя цюрихских социал-демократов. В своих воспоминаниях он пишет, как летним полуднем 1916 года они с Лениным прогуливались вдоль озера, потом уселись на скамейку на набережной напротив Тонхалле и долго разговаривали. Редактор социал-демократической газеты «Фольксрехт» так и не согласился с собеседником, что лозунг настоящего момента для Швейцарии — немедленное вооруженное восстание, к великому огорчению Ленина, заклеившего впоследствии Нобса предателем и другими словами. Так или иначе, поставив себе жизненную цель прийти к власти, оба ее достигнут — каждый в соответствии со своими представлениями о целях и средствах политической борьбы. Ленину до поста премьер-министра оставались считанные месяцы. Нобс станет президентом Швейцарской Конфедерации только в 1948 году.

В комнатах при упомянутом выше трактире «У белого лебедя» (Zum weissen Schwan) останавливались многие русские революционеры, в частности, в 1908 году будущий шеф ГПУ Менжинский, причем у русского эмигранта швейцарские злоумышленники украли в этом заведении все деньги и документы, так что ему пришлось провести некоторое время на квартире уже упомянутого выше рабочего врача Брупбахера на Эккехардштрассе (Ekkehardstrasse). «Другие эмигранты привели его ко мне, и он ночевал у меня пару недель, пока не были выправлены его документы, — вспоминает Брупбахер». Все свое свободное время цюрихский врач проводил в дискуссиях с интересным собеседником — Менжинский изучал право. «Мы никогда не могли найти общий язык. Но поскольку мы хорошо друг к другу относились, нам не нужно было делать общее дело, мы переносили друг друга прекрасно». Следующая встреча швейцарского социалиста с его гостем произойдет в кремлевском кабинете чекиста во время поездки Брупбахера, одного из основателей Швейцарской компартии, в заснеженную Москву 1921 года, когда бывший писатель от вивисекции героев забытого романа перейдет к экспериментам над целой страной.

Еще одно место на карте Цюриха, отмеченное русским следом, — Фольксхаус, Народный дом, на площади Гельвеция-плац (Volkshaus am Helvetia-Platz). Здесь располагается штаб швейцар-

ской социал-демократии, в дела которой активно вмешивается Ленин, полемизируя с теми, кто считает, что в Швейцарии народ на революцию не поднять: «Неверно, что в Швейцарии «невозможны» революционные массовые выступления... Почва для создания левого направления в швейцарской партии есть. Это факт. Работа не легкая, но благодарная». Ленинская энергия не пропадет втуне – через несколько месяцев после его отъезда в Россию Европа удивится Цюрихской стачке, кровавым столкновениям на берегах Лиммата.

Здесь, в Народном доме, в январе 1917 года, выступая перед молодыми швейцарскими социалистами, Ленин бросает в зал: «Нас не должна обманывать теперешняя гробовая тишина в Европе. Европа чревата революцией». 7 апреля 1970 года к 100-летию со дня рождения эмигранта швейцарские почитатели Ленина откроют в «Голубом зале» Фольксхауса мемориальную доску – барельеф с узнаваемыми чертами и надписью: «В.И. Ленин, основатель Советского Союза – первого в мире социалистического государства, выступал в этом зале 9 января 1917 года с докладом о значении русской революции 1905 года». Датировка, впрочем, не совсем точна: Ленин выступал 22 января – по европейскому стилю.

Стены ресторана «Кауфлейтен» на Пеликанштрассе (Kaufleuten, Pelikanstr., 18) тоже слышали немецкую речь с симбирским акцентом. Собирающиеся здесь в XXI веке цюрихские трэнды даже не подозревают, что в ноябре 1916 года здесь проходил съезд Социал-демократической партии Швейцарии, на открытии которого с речью выступили сначала Радек, потом Ленин с призывами к мировой пролетарской революции. Русский вожь учил швейцарцев большевизму, но граждане «республики лакеев» оказались плохими учениками.

Пожалуй, самый известный русский революционный адрес в Цюрихе – Шпигельгассе, 14 (Spiegelgasse). Здесь в доме «Цум Якобсбруннен» (Zum Jakobsbrunnen) живут Ленин и Крупская в последние месяцы своего пребывания в Швейцарии. Однако это не первое место жительства после переезда из Берна в 1916 году. Первые дни они снимают комнату на Гайгергассе (Geigergasse, 7) у некоей фрау Прелог, но недолго. Русские революционеры спешат переехать с сомнительной квартиры, населенной низами общества и проститутками, «чтобы не ввязаться в историю», –

как напишет в воспоминаниях Крупская. Поспешность более чем оправданна — вскоре хозяйка квартиры г-жа Прелог тоже переезжает, и ее новый адрес — Регенсдорф, кантональная тюрьма.

Новая квартира на третьем (по-швейцарски — втором) этаже средневекового домика в узком переулке над Нидердорфом тоже мало чем привлекательна поначалу. «Старый мрачный дом, — вспоминает Крупская свое цюрихское жилище, — постройки чуть ли не XVI столетия, окна можно было отворять только ночью, так как в доме была колбасная и со двора нестерпимо несло гнилой колбасой».

Однако мысль о переезде скоро оставлена. «Можно было, конечно, за те же деньги получить гораздо лучшую комнату, — объясняет Крупская, — но мы дорожили хозяевами». Семья квартиросдатчика сапожника Каммерера очаровывает русских. «Никаким шовинизмом не пахло, а однажды во время того, как мы с хозяйкой поджаривали в кухне на газовой плите каждая свой кусок мяса, хозяйка возмущенно воскликнула: «Солдатам надо обратить оружие против своих правительств!» После этого Ильич и слышать не хотел о том, чтобы менять комнату, и особо ласково раскланивался с хозяйкой».

С куском мяса связан еще один примечательный эпизод, описываемый Крупской. В связи с военной обстановкой и связанными с этим трудностями, переживаемыми и нейтральной республикой, швейцарские власти обратились к жителям с призывом не потреблять два раза в неделю мяса. Большевичка, жаря «свой

Дом, в котором жили В.И. Ленин и Н.К. Крупская на Шпигельгассе



кусок», спрашивает фрау Каммерер: как может правительство проверить, исполняют ли граждане его призыв, и ходят ли для этого контролеры по домам? «Зачем же проверять? — удивилась фрау Каммерер. — Раз опубликовано, что существуют затруднения, какой же рабочий человек станет есть мясо в «постные» дни, разве буржуй какой?» И, видя мое смущение, — пишет Крупская, — она мягко добавила: «К иностранцам это не относится»».

Из этого дома на Шпигельгассе ежедневно отправляется прилежный читатель в цюрихские библиотеки: в городскую в Вассеркирхе, Центральную на Церингерплац (позже их объединили), в Библиотеку музейного общества на набережной Лиммата (Limmatquai, 62).

Сюда же, на Шпигельгассе, утром 15 марта 1917 года прибегает запыхавшийся Мечеслав Бронский, еще один недоучившийся цюрихский студент, сделавший потом карьеру в сталинском СССР, с известием о революции в России. Здесь проходят бессонные ночи, наполненные одной мыслью — как немедленно прорваться в Россию через воюющие страны: притворившись немым шведом, или на шальном аэроплане, или воспользовавшись услугами немецкого генерального штаба?

Но на вокзал в знаменитую «пломбированную» поездку Ленин и Крупская отправятся не отсюда. Весной 1917-го Каммереры переезжают на Кульманштрассе (Culmannstrasse, 10. Кстати, недалеко, на Кульманштрассе, 28, находилась русская эмигрантская читальня, своеобразный межпартийный клуб политической эмиграции). Русские постояльцы переезжают вместе с ними, но жить на новой квартире им приходится лишь несколько дней. При расставании происходит примечательный разговор. «На прощанье я пожелал ему счастья», — вспомнит впоследствии Каммерер. Хозяин спросил у полюбившихся жильцов: «Найдете ли вы там сразу комнату? Ведь там, наверное, сейчас жилищный кризис?» — «Комнату я получу в любом случае, — ответил г-н Ульянов, — только я не знаю, будет ли она такой же тихой, как ваша, г-н Каммерер!» После этого он уехал». В Петрограде тихого жильца уже ждут комнаты — детская и игровая с балконом в особняке Матильды Кшесинской, изгнанной из своего дома вместе с сыном.

В 1928 году решением Цюрихского муниципального совета на фасаде дома № 14 по Шпигельгассе укрепят мемориальную доску. Предложение в городской муниципалитет внесет все тот же цюрихский врач Брупбахер.

После большевистского переворота, когда имя чудака-эмигранта, призывавшего из тиши цюрихских библиотек к мировому пожару, прогремит по всему земному шару вместе с выстрелами «Авроры» и Лубянки, многие вспомнят о своем бывшем или мнимом знакомстве со знаменитостью. Так, дадаисты из кабачка «Вольтер», приютившегося в начале Шпигельгассе, станут уверять, что и к ним заглядывал вождь русской революции, а Элиас Канетти, нобелевский лауреат, напишет в «Спасенном языке», что ему, двенадцатилетнему, мама, «когда мы проходили однажды мимо какого-то кафе, показала огромный лоб мужчины, который сидел у окна, с толстой пачкой газет перед ним на столе, одну из которых он крепко схватил и держал перед самыми глазами. Неожиданно он откинул голову назад и обратился к другому человеку, сидевшему рядом, и о чем-то горячо заговорил. Мама сказала: “Смотри на него внимательно. Это Ленин. О нем ты еще услышишь”».

Здание на Шпигельгассе летом 1971 года было почти полностью перестроено, так что памятная доска прикреплена к новой стене средневековой постройки. И окружение сейчас выглядит много приветливей, чем в 1917-м, несколько домов напротив снесли, и образовался скверик.

Ресторан «Церингерхоф» напротив Центральной библиотеки (Zähringerhof am Zähringerplatz, угол Mühlegasse/Zähringerstrasse, сейчас Hotel Scheuble) тоже имеет отношение к русской истории. Это место сбора отъезжающих в знаменитом «пломбированном» вагоне. Хозяин ресторана Хубшмид (Hubschmid), член социал-демократической партии, предоставил помещение русским товарищам для проведения организационного совещания и прощального обеда. 9 апреля к 11 часам здесь собираются все приехавшие в Цюрих из других городов ночными и утренними поездами. Ленин под аплодисменты зачитывает собравшимся эмигрантам на русском языке свое «Прощальное письмо швейцарским рабочим». Каждый подписывается, что ознакомлен с условиями проезда. «В 2 часа 30 минут от ресторана «Церингерхоф», — напишет Платтен, — к цюрихскому вокзалу двигалась маленькая группа эмигрантов, в чисто русском снаряжении, с подушками, одеялами и пожитками».

Банхофплац, привокзальная площадь. Здесь в Венском гранд-кафе (Steindls Wiener Grand Café) Ленин в 1900 году проездом из

Женева в Мюнхен записал после встречи с Плехановым «Как чуть не потухла «Искра»?» — тяжелые впечатления о своем разочаровании в марксистском кумире, и вот спустя семнадцать лет снова тот же вокзал.

«Ленин ехал спокойный и радостный, — вспоминает отъезд из Цюриха Луначарский. — Когда я смотрел на него улыбающегося на площадке отходящего поезда, я чувствовал, что он внутренне полон такой мыслью: “Наконец, наконец-то пришло то, для чего я создан, к чему я готовился, к чему готовилась вся партия, без чего вся наша жизнь была только подготовительной и незаконченной”».

Эмигранты уезжают скорым поездом № 263 из Цюриха через Булах на Шафхаузен, отправление с третьего пути в 15.20. В этом поезде для русской группы в 32 человека забронированы два вагона третьего класса до Шафхаузена, там предстоит пересадка в немецкий вагон.

Среди провожающих — верные швейцарцы, члены кружка, группировавшегося вокруг журнала «Фрайе югенд» под руководством Вилли Мюнценберга.

Не обходится и без «зайца». Место в вагоне среди отъезжающих самовольно занимает Оскар Блюм, врач-революционер, заподозренный в связях с охранкой. Еще в ресторане «Церингерхоф» было наскоро произведено голосование: 14 голосами против 11 группа решила не брать его с собой в Россию. Блюм отказывается выходить из вагона. Хараш, эмигрант-журналист, писавший по русским вопросам в «Нойе Цурхер Цайтунг», вспоминает: «Вдруг мы увидели, как Ленин сам схватил этого человека, успевшего пробраться в вагон немного раньше назначенного времени, за воротник и вывел его с ни с чем не сравнимой самоуверенностью обратно на перрон».

Упорный Блюм вернется все же в Россию, но возвращение кончится для него на революционной родине тюрьмой.

Торжественная минута слегка омрачена — среди провожающих находятся не только друзья. «Помню, на Цюрихском вокзале, — пишет в своих мемуарах Зиновьев, — когда мы все сели уже в вагон, чтобы двигаться к швейцарской границе, небольшая группа меньшевиков и эсеров устроила Владимиру Ильичу нечто вроде враждебной демонстрации».

Немецкий атташе Шюлер (Schüler), сопровождающий группу до Готтмадингена (Gottmadingen), в своем докладе записывает,

что когда поезд тронулся, «отъезжающие вместе с оставшимися друзьями запели «Интернационал», в то время как остальные кричали: «Провокаторы! Немецкие шпионы!»»

«Владимир Ильич пытался скрыть овладевшее им внутреннее волнение под веселой шуткой и непринужденной беседой с провожающими, — вспоминает последние минуты перед отъездом большевик Сергей Багоцкий. — Но мысли его уже далеко от Цюриха. Частое поглядывание на часы говорит о том, с каким нетерпением ждет он момента отъезда. Наконец раздался последний свисток паровоза, и поезд медленно покинул вокзал под дружное «ура» провожающих».

С третьей партией эмигрантов, которой руководит Роберт Гримм, глава циммервальдского движения, отправляется на родину и Маргарита Сабашникова-Волошина, оставившая в своих воспоминаниях некоторые подробности организации отъезда: «Приятельница из Дорнаха написала мне, что скоро из Цюриха через Германию и Швецию отправляется в Петербург экстерриториальный поезд для тех, кто выступал против войны. Два таких поезда с эмигрантами уже отправлены. Я пошла по указанному адресу. «Есть ли у вас заслуги перед революцией?» — спросили меня. «Нет, насколько я знаю». — «Тогда вы не можете ехать». В огорчении я ушла, но тотчас же вернулась и сказала: «Я вспоминаю: у меня есть заслуга перед революцией, если вы сочтете это заслугой. Пользуясь знакомством с генерал-губернатором Джунковским, я смогла освободить нескольких политических заключенных из тюрьмы». Ссылка на генерал-губернатора Джунковского была в данном случае, может быть, не очень уместна, но этим людям было важно включить в состав уезжавших несколько частных лиц, не принадлежавших к партии и могущих оплатить свой проезд. Так мои заслуги были признаны. <...> Швейцарский социалист Гримм ехал с нами в поезде в качестве представителя нейтральной страны».

Для революционной русской эмиграции незаметным осталось пребывание в Цюрихе 1917 года двух русских художников — Алексея Явленского и Марианны Веревкиной. Они перебираются в город на Лиммате из Сен-Пре, местечка в кантоне Во, где пережидали мировую войну.

В Цюрихе, который в те годы был центром интеллектуальной и культурной жизни эмиграции из всех воюющих стран, Верев-

кина и Явленский оказываются в самом эпицентре интеллектуального брожения — завсегдатаи «Одеона», где собирается мировая элита искусства и литературы того времени, они возвращаются в кругу дадаистов, шумно объявивших о рождении в Цюрихе нового искусства.

В это же кафе «Одеон» (Limmatquai, 2), известными посетителями которого были Джойс, Цвейг, Эйнштейн и многие другие знаменитости, захаживает, кстати, во время своего пребывания в Цюрихе в 1914 году Троцкий, не лишенный «гуманитарных» интересов.

Явленский и Вережкина часто посещают кабачок «Вольтер» в переулке Шпигельгассе, поскольку многие дадаисты являются их знакомыми еще по Мюнхену, но сами в дадаистских бесчинствах участия не принимают — сказывается возраст, обоим уже под шестьдесят.

В декабре 1916 года на Банхофштрассе, 19, в своей галерее устраивает выставку произведений Вережкиной покровитель дадаистов Коррей (Corray). В Цюрихе Явленский начинает свою знаменитую серию мистических голов, в частности, пишет здесь «Галку» — как он называет свою будущую покровительницу Эмми Шейер за черные волосы. Шейер так нравится это русское слово, что она берет себе имя русской птицы вторым именем.

Пребывание Явленского и Вережкиной в Цюрихе продолжается не больше года. В конце 1917-го Явленский заболевает свирепствовавшим тогда по всей Европе гриппом, и врачи советуют ему

Кафе «Одеон»



переселиться по ту сторону Альп. В апреле 1918 года художники переезжают в Аскону.

С отъездом политэмигрантов в Россию жизнь русской колонии теряет свой колорит. Послереволюционная эмиграция обходит Цюрих стороной. Основная волна идет через Прагу, Берлин и дальше на Париж.

По-прежнему сюда приезжают лечиться. Уже в 1910-е годы Цюрих получает международную известность как центр психоанализа, в частности, благодаря тому, что в психиатрической больнице Бургхёльцли (Burghölzli) практикует ученик Фрейда Карл Юнг. Интерес к открытиям венского профессора у русских развился уже до Первой мировой войны до такой степени, что Фрейд в 1912 году писал, что в России «началась, кажется, подлинная эпидемия психоанализа».

Психоаналитики Вены и Цюриха с удовольствием на протяжении многих лет вели богатых русских пациентов. Так, в августе 1904 года в цюрихскую лечебницу попадает дочь состоятельного торговца из Ростова-на-Дону Сабина Шпильрейн. Девушка из России становится первой психоаналитической пациенткой Карла Юнга. В письме своему учителю Фрейду Юнг сообщает: «Я сейчас лечу Вашим методом истеричку. Трудный случай, 20-летняя русская студентка, больна в течение 6 лет».

Пережив личную драму — доктор и пациентка влюбляются друг в друга, — Сабина решает посвятить свою жизнь психоанализу и в течение нескольких лет работает и учится в Бургхёльцли. В 1911 году она защищает докторскую диссертацию и пишет ставшую знаменитой статью «Разрушение как причина становления». Позже Фрейд повторит основные выводы Шпильрейн в работе «По ту сторону принципа удовольствия» и отдаст должное коллеге из России: «Сабина Шпильрейн предвосхитила значительную часть этих рассуждений». Юнг будет считать, что идея инстинкта смерти принадлежит его бывшей пациентке и ученице и что Фрейд попросту ее себе присвоил.

После короткого пребывания в Берлине Сабина снова возвращается в Швейцарию и живет сначала в Лозанне, потом в Женеве, где работает практикующим психоаналитиком в Психологическом институте профессора Клапареда. Все это время, с 1909 по 1923 год, она — постоянный корреспондент Фрейда и Юнга, оставаясь своеобразным посредником между ними после их разрыва. В 1923 году Сабина едет в большевистскую Россию, где под

покровительством Троцкого создаются поначалу благоприятные условия для развития психоанализа. «Дорогая фрау доктор, — писал ей в Женеву Фрейд, — я получил Ваше письмо и думаю, что Вы правы. Ваш план ехать в Россию кажется мне лучше, чем мой совет отправиться в Берлин. В Москве Вы сможете заниматься серьезной работой... Сердечно Ваш Фрейд».

Увы, активная работа советских психоаналитиков по мере продвижения к социализму сворачивалась и становилась опасной. Открывшиеся психологические научно-исследовательские институты и журналы скоро закрываются, и начинаются аресты. Попадают в тюрьму брат и отец Сабины. Сама она уезжает в свой родной город Ростов-на-Дону, где работает на полставки врачом в школе. Племянница рассказывает о последних годах знаменитого психоаналитика, превратившегося в опустившуюся старуху: «Была она, как все вокруг считали, безумно непрактичной. Одевалась она только в то, что кто-то ей давал. Она была похожа на маленькую старушку, хотя она была не такой старой. Она была согбенная, в какой-то юбке до земли, старой, черной... Бы-

Выписка о местах проживания Сабины Шпильрейн в Цюрихе

Name: *Spielrein, Sabine*
 Kreis **R** A. N. № 16728
 geb. *7. Nov. 1885* Heimat: *Karschau*
 Regierungsbereich: *St.* Land: *Russl.*
 Beruf: *Arzt. studien 3. Jahr* Konfession: *i*
 Zivilstand: *L.* Bish. Wohnort: *Heidelberg*
 Datum d. Anmeldung und Deposition der Schriften,
 sowie Art und Gültigkeit derselben: *2 1 OCT 1908*
Pass, d. Rostow, 3. Sept. 08 - 1913.
 Datum des Rückzuges: *2 Aug. 09 Ern.*
 Wohin abgemeldet: *A. N. 18. 11. 1909*
 Wohnung, Str. № *17, Hauptstr. Rang. 30*
 (S. od. 90, bei) *1. 11. 1909*
2 - AUG 1909
6 - AUG 1909

ло видно, что она сломлена жизнью». Во время оккупации немцами Ростова Сабина Шпильрейн будет расстреляна вместе со своими двумя дочерьми у стены синагоги.

Сабина Шпильрейн не единственная студентка из России, изучавшая в Цюрихе в начале века психоанализ. Назовем и Татьяну Розенталь. С семнадцати лет она учится в Цюрихском университете, многократно прерывает учебу из-за революционной деятельности, но после того, как знакомится с трудами Фрейда, решает посвятить себя психоанализу. В 1911 году она, закончив университет, возвращается в Петербург и занимается распространением фрейдовского учения в России. В первые годы после революции благодаря поддержке Троцкого Розенталь вместе с другими психоаналитиками открывает Институт для невротических детей, но руководит им недолго. В 1921 году она кончает жизнь самоубийством.

Среди приезжавших в Цюрих на лечение — Вацлав Нижинский. Знаменитый танцор прибывает сюда из Сен-Морица с женой Ромолой в марте 1919 года и останавливается в уже упоминавшемся отеле «Савой» на Банхофштрассе. Цель приезда — консультация у известного цюрихского психиатра профессора Блейлера. Приговор врача: «Ваш муж болен неизлечимым безумием».

В тяжелой депрессии Нижинский запирается в комнате отеля и отказывается выходить. Ромола напишет об этом цюрихском пребывании: «Он разрешал вносить только завтрак. Больше он никому не отвечал. Он купил огромный нож, показывал его родным, заявляя, что будет им точить карандаши». Короткая карьера гениального танцора заканчивается. Начинается многолетнее доживание сумасшедшего. В Швейцарии он будет лечиться в разных местах: в Кройцлингене, Мюнсингене, Адельбодене.

К кругу знакомых Юнга принадлежит и Эмилий Метнер, один из лидеров русского символизма, директор издательства «Мусaget». Застигнутый войной в Германии, он перебирается в 1914 году в нейтральную Швейцарию, принимает гражданство и остается в Цюрихе до смерти в 1936 году.

Разойдясь окончательно с Белым, ушедшим в антропософию, Метнер находит новый смысл в своей швейцарской жизни — знакомство с Юнгом делает его приверженцем психоанализа, и Метнер начинает заниматься переводом работ ученого на русский язык. Понимая, что на другом языке легко может пропасть что-то существенное, Юнг ставит условием, что перевод должен быть

«по возможности буквальный, пусть даже в ущерб легкости, а тем более изяществу слога». Первый том был издан в 1929 году в Цюрихе под грифом арбатского «Мусагета», а эпитафия для своего предисловия Метнер взял из Вячеслава Иванова. Второй и третий тома вышли уже после смерти Метнера в 1939 году, в их издании принимал участие известный философ-эмигрант Борис Вышеславцев.

В двадцатые-тридцатые годы, колеся по Европе, вспыхивают в Цюрихе редкие звезды: Шаляпин, Горовиц, Рахманинов выступают в Оперном театре, в концертном зале «Тонхалле». Последний концертирует в Цюрихе неоднократно. В одном письме из Цюриха 19 декабря 1929 года Рахманинов замечает: «Я эстрадный человек, — т.е. люблю эстраду и, в противоположность многим артистам, не вяну от эстрады, а крепну и способен от одного только звука рояля на новые, неожиданные для самого себя выдумки и открытия».

В том же 1929 году в августе приезжает в Цюрих из Берлина Эйзенштейн вместе с Григорием Александровым и оператором Эдуардом Тиссе по приглашению швейцарской компании «Презенс-Фильм АГ» (Praesens-Film AG). Классиков советского киноискусства приглашает продюсер Лазар Векслер (Lazar Wechsler) снимать, пожалуй, самый скандальный швейцарский фильм того времени — «Женское горе — женское счастье» (Frauennot-Frauengluck). В первой, игровой части инсценируются различные жизненные ситуации, приводящие женщин из необеспеченных семей к аборту, во второй, документальной, показываются роды. Советские кинематографисты соглашаются на гонорар размером в 500 франков — сумму, удивившую Векслера своей смехотворностью.

Эйзенштейн останавливается в отеле «Бельвуар» (Belvoir) в Рюшликоне (Rueschlikon) и не очень утруждает себя заботами о заказе. В то время как Тиссе днем и ночью пропадает на съемках и в монтажной, автор «Броненосца» много читает и работает над своими теоретическими трудами, в Цюрихе он, в частности, пишет «Диалектический подход к форме фильма», выступает с шумным успехом в кинотеатрах «Бельвю» (Bellevue) и «Форум» (Forum) с докладами о советском кино, на которых показывает отрывки из своего бестселлера о восставшем броненосце, ездит по Швейцарии, причем не только посещает традиционные Юнгфрау и другие достопримечательности, но даже совершает поле-

ты над Альпами на самолете, а главное, устраивает своеобразный уникальный хэппенинг в Ла-Сарра (La Sarraz), куда его приглашают на конгресс независимого авангардного кино.

В конце ноября съемки заказанного фильма завершаются. Выбрав по тем временам рискованную тематику и пригласив знаменитого «большевика», Векслер рассчитывал на скандал и не ошибся. Премьера проходит в марте 1930-го в цюрихском кино-театре «Аполло» (Apollo), и сразу же в газетах разражается буря, собираются петиции с требованиями запретить фильм за натуралистические шокирующие сцены, что и происходит в доброй половине кантонов, а в Цюрихе и Базеле фильм идет с купюрами. Зато за рубежом лента прокатывается с феноменальным успехом и приносит продюсеру огромные барыши, особенно в Германии. Находчивый делец от кино аршинными буквами на афише печатает: «Самый запрещенный фильм мира». Прокат идет по всему земному шару, включая Японию (и исключая, разумеется, родину режиссера).

Поскольку фильм приносит Векслеру огромные прибыли, он делает широкий жест и предлагает Эйзенштейну и его коллегам перед отъездом в Москву из Берлина дополнительный гонорар. От денег советские кинематографисты отказываются, но берут натурой. Мастера экрана возвращаются в страну, занятую раскулачиванием, заказав себе целый железнодорожный вагон, в котором помимо прочего везут автомобиль и ванну.

С.М.Эйзенштейн



В Цюрихе проездом бывают многие представители русской полсереволюционной эмиграции, упомянем, к примеру, Алехина и Бунина.

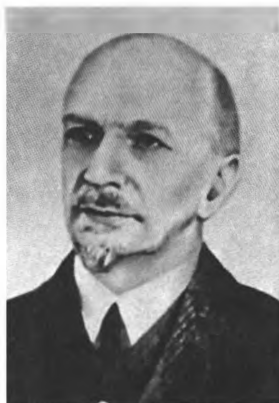
Знаменитый шахматист, женатый, кстати говоря, на швейцарской журналистке, в 1934 году с легкостью выигрывает здесь международный шахматный турнир.

Первый русский нобелевский лауреат приезжает в город на Лиммате 27 октября 1936 года после того, как при пересечении границы Швейцарии в Линдау его грубо обыскали немецкие таможенники. Свое возмущение Бунин выразил в открытом письме к международной общественности. После этого неприятного пограничного инцидента писатель заболел. В письме в редакцию газеты «Последние новости» Бунин рассказывает: «Приехал ночью в Цюрих, я не спал до утра — меня так простудил раздевавший меня «господин», что у меня уже был кашель и жар: 38,5. Приехав в Женеву, я почувствовал себя больным и, махнув рукой на продолжение своего путешествия, решил возвратиться в Париж».

В Цюрихе останавливаются проездом, но редко кто из знаменитостей выбирал город на Лиммате для проживания.

Исключением является лишь Иван Ильин. Высланный из России вместе с другими представителями интеллигенции в начале двадцатых годов, православный философ переселяется из Германии в Цюрих в 1938 году. Город ему уже хорошо знаком — в 1914-м, с началом войны, ему пришлось через Швейцарию воз-

И.А.Ильин



вращаться на родину из Вены, где он работал над диссертацией о Гегеле.

Русский профессор бежит от нацистов, и в этом ему помогает Рахманинов — вносит требуемый швейцарскими ведомствами залог. Квартира Ильина в Цолликоне становится одним из очагов русской культуры в идущей к войне Европе. Ильин читает лекции в Русско-швейцарском кружке по изучению русской культуры и истории в Цюрихе — в большом зале отеля «Карлтон-Элит» (Carlton-Elite, Bahnhofstrasse, 41), где обычно происходят заседания кружка, а затем в одном из швейцарских народных университетов в Рапперсвиле (Rapperswil).

В кружке, объединявшем немногих русских эмигрантов и представителей цюрихской интеллигенции, в течение нескольких лет он прочитал 26 отдельных лекций и два цикла лекций по самым различным аспектам культуры, в которых, в частности, пытается осмыслить русскую катастрофу, понять ее причины и уроки. В статье «О незыблемых основах», опубликованной в мае 1939 года в «Голосе русской молодежи», приложении к газете «Новый путь», издававшейся Русским трудовым христианским движением в Женеве, Ильин пишет: «Без веры, родины и семьи нет духовно почвенного, органически верного, к творчеству призванного человека. Есть только «интеллигентики» наверху и хулиганы внизу. Именно те умственные человечки, высиженные в полунаучных заведениях, гомункулы из реторт, — и те безверные, безродные, развратные башибузуки из черни — которые совместно делали и сделали большевицкую революцию». В Цолликоне Ильиным создаются «Сущность и своеобразие русской культуры», двухтомное исследование о Гегеле, «Путь к очевидности», «Аксиомы религиозного опыта», «Наши задачи» и многое другое. Почти все будет опубликовано уже после смерти. Ильин похоронен на кладбище Цолликерберг в 1954 году*.

Упомянем еще два имени эмигрантов из России, связанных с городом на Лиммате уже в послевоенный период.

В Цюрихе неоднократно устраивал выставки Марк Шагал, в частности в 1950 и 1967 годах. В 1970-м он закончил свои всемирно известные витражи на библейские темы во Фраумюнстере (Fraumünster). Без осмотра этой работы художника не обходится с тех пор ни одна экскурсия.

* В 2005 году прах И.А.Ильина был перезахоронен в Москве в Донском монастыре. — Ред.

И конечно, Цюрих — это город, в котором провел первое время своего изгнания Александр Солженицын.

Выбор именно Цюриха как места жительства после высылки из СССР в феврале 1974-го связан, во-первых, с исторической традицией русского изгнанничества в Швейцарии, во-вторых, с тем, что с 1969 года интересы писателя за рубежом представлял цюрихский адвокат Фриц Хееб (Fritz Heeb), имевший давние связи с Россией (он был первым секретарем основанного после Второй мировой войны просоветского Общества Швейцария—СССР, а до этого членом партии рабочих — швейцарских коммунистов), и в-третьих, что было для писателя особенно важно, именно здесь ему хотелось поработать над «цюрихскими» главами «Красного колеса».

Встреча на вокзале в Цюрихе знаменитого русского писателя, лауреата Нобелевской премии, только что выпущенного из московской тюрьмы, оказалась более чем горячей. «Все было густо забито народом, — пишет Солженицын в своих «Очерках изгнания» — «Угодило зернышко промеж двух жерновов». — Никакая полиция не могла оберечь, давка оказалась смертная...»

Первые неприятные впечатления от Запада — назойливые «папарацци». Слова, брошенные в сердцах Солженицыным и подхваченные прессой всего мира: «Да вы хуже гэбистов!» — на долгие годы вперед определяют трудные взаимоотношения писателя с демократическими средствами массовой информации.

Сначала Солженицын живет у Хееба, затем взявший писателя-изгнанника под свою опеку цюрихский штадт-президент Зигмунд Видмер (Sigmund Widmer) предоставляет ему от муниципального правления дом на тихой улице Штапферштрассе у подножия Цюрихберга (Stapferstrasse, 45).

Вот впечатления от города: «Цюрих — очень понравился мне. Какой-то и крепкий, и вместе с тем изящный город, особенно в нижней части, у реки и озера. Сколько прелести в готических зданиях, сколько накопленной человеческой отделки в улицах (иногда таких кривых и узких)». Но писателю не до осмотра достопримечательностей — он уже в работе: «Мне и усилий не надо было делать над собой: я уже весь переключился на ленинскую тему. Где б я ни брел по Цюриху, ленинская тень так и висела надо мной».

Жене Солженицына удалось вывезти из России огромный архив, материалы которого были необходимы писателю для рома-

на. За время швейцарского пребывания он переписал некоторые главы из своей исторической эпопеи, дополнив их новыми фактами и своими цюрихскими впечатлениями, и издал отдельной книгой — «Ленин в Цюрихе». В Швейцарии он закончил «Бодался теленок с дубом» и поставил на последней странице дату и место: «Sternenberg, нагорье Цюриха. Июнь 1974».

Работать в городе неудобно, и Зигмунд Видмер предложил писателю свой дом в деревне, расположенной в часе пути на восток от Цюриха. «В Штерненберге, — вспоминает Солженицын. — я сосредоточился писать — скорее убедиться, что эту способность не потерял в изгнании». И еще о благотворном влиянии этого места на свое творчество: «День ото дня я в Штерненберге здоровел и телом и духом. И, спрашивается, как же они могли меня выслать? Сами же устроили мне Ноев ковчег — переждать их потоп».

Солженицын в Швейцарии ведет себя отнюдь не отшельником, дает интервью, выступает в газетах, по телевидению, встречается со студентами-славистами Цюрихского университета, участвует в знаменитом аппенцельском «вече» — «ландесгемайнде», собрании граждан швейцарского кантона. В Цюрихе его посе-

А.И.Солженицын встречает семью в аэропорту



А.И.Солженицын в Цюрихе



щают друзья. Например, после лишения советского гражданства приезжают Мстислав Ростропович и Галина Вишневская, еще, как он пишет, в «ошеломлении»: «В таком растерянном, смущенном, неприкрепленном состоянии они и посетили нас в Цюрихе. Улыбались — а горько, Стива пытался шутить, а невесело. В нашем травяном дворике сидели мы за столом до сумерек — никогда бы не примерещился такой финал, среди обступивших нас швейцарских особнячков, с высокими черепичными крышами, пять лет назад, когда они приютили меня в Жуковке».

Приезжает и только что прибывший на Запад писатель Владимир Максимов с идеей издавать эмигрантский журнал. Здесь, в Цюрихе, рождается и концепция нового издания, и название: «Вот какую идею я ему предложил — в укреплении фундамента и смысла журнала, — и он ее воспринял и потом осуществил: этим журналом объединить силы всей Восточной Европы... (В таком духе я потом послал и приветствие в их первый номер, впечатлевая это направление в рождаемый журнал. И само название подсказал: «Континент».)»

О своих впечатлениях от швейцарской демократии писатель говорит в телеинтервью компании CBS 17 июня 1974 года: «Сейчас я приехал в Швейцарию и должен вам сказать — нисколько я не снимаю своей критики западных демократий, но должен сделать поправку на швейцарскую демократию... Вот, швейцарская демократия, поразительные черты. Первое: совершенно бесшумная, работает, ее не слышно. Второе: устойчивость. Никакая партия, никакой профсоюз забастовкой, резким движением, голосованием не могут здесь сотрясти систему, вызвать переворот, отставку правительства, — нет, устойчивая система. Третье: опрокинутая пирамида, то есть власть на местах, в общине, больше, чем в кантоне, а в кантоне — больше, чем у правительства. Это поразительно устойчиво. Потом — демократия всеобщей ответственности. Каждый лучше умерит свои требования, чем будет сотрясать конструкцию. Настолько высока ответственность здесь, у швейцарцев, что нет попытки какой-то группы захватить себе кусок, а остальных раздвинуть, понимаете? И потом, национальная проблема, посмотрите, как решена. Три нации, даже четыре, и столько же языков. Нет одного государственного языка, нет подавления нации нацией, и так идет уже столетиями, и все стоит. Конечно, можно только восхититься такой демократией. Но ни вы, ни они, ни я не скажем: давайте швейцарскую де-

мократию распространим на весь мир, на Россию, на Соединенные Штаты. Не выйдет».

Но долго в Швейцарии писатель не выдерживает. Для переезда в Вермонт было несколько причин. Не столько «русский пейзаж» в американском лесу сыграл главную роль, сколько невозможность в Швейцарии вести активную политическую деятельность. Так, например, после проведения у себя в доме в Цюрихе пресс-конференции по поводу выхода сборника «Из-под глыб» Солженицын получает предупреждение от Полиции для иностранцев (Fremdenpolizei) кантона Цюрих, что ему запрещено делать политические заявления и что за 10 дней до каждого публичного выступления он должен обращаться в соответствующую инстанцию за разрешением.

Как некогда Герцен, Солженицын пишет открытое письмо цюрихским властям: «...Однако я не могу взять в толк, почему мою критику социализма и коммунизма как социальных теорий и систем, проведенную на конференции 14 ноября, Вы расцениваете как политическое выступление. Я ни словом не высказался о советском правительстве, ни — об одном члене его, и не только не призывал к насильственному изменению советского режима, но, напротив, предостерегал от таких действий. Поучительно сопоставить, что в этом же самом городе Цюрихе в 1916—1917 годах Владимир Ленин, так же не имевший «разрешения осесть» (Niederlassungsbewilligung), как и я, — многократно на собраниях открытых и закрытых призывал к вооруженному свержению не только русского правительства, но и всех правительств Европы, в том числе и самого швейцарского, путем открытия гражданской войны в этой стране (во время войны, через неповиновение армии), — и Полицией для иностранцев Цюрихского кантона это никогда не было сочтено ни нарушением швейцарского нейтралитета, ни вмешательством в швейцарские внутренние дела. Ленин и его единомышленники не получили никогда ни одного замечания за свою разрушительную работу (и были оставлены без внимания протесты тогдашнего русского посланника Бибикова против террористических эсеровских групп на территории Швейцарии) <...> Если же теперь для теоретического обсуждения социальных проблем я должен получать предварительное разрешение швейцарской полиции — мне остается констатировать, что с тех пор <...> швейцарская демократия сильно эволюционировала».

И все-таки, уезжая, писатель уносит с собой теплые воспоминания о городе на Лиммате: «Ну, спасибо, милый Цюрих, — поработали мы славно».

В заключение этой главы скажем еще несколько слов о местах, без которых невозможно себе представить Цюрих, — о самом озере и двух горах: Цюрихберге (Zürichberg) и Ютлиберге (Ütliberg), между которыми уютно разлегся город на берегах вытекающего из озера Лиммата.

Редкий гость из России отказывался от удовольствия в хорошую погоду прокатиться на лодке по Цюрихскому озеру. «Нельзя было выбрать лучшего дня: на небе не показывалось ни одного облачка, и вода едва-едва струилась. На том и на другом берегу озера видны хорошо выстроенные деревни, сельские домики богатых цюрихских граждан и виноградные сады, которые простираются беспрерывно». Эти строки записывает Карамзин, проводя целый день на озере в приятном дамском обществе. Нечасто пелена раздвигается и видны Альпы, но ему повезло, и Карамзин на обратном пути «имел удовольствие видеть снежные горы, позлащаемые заходящим солнцем и, наконец, помраченные густыми тенями вечера. Огни городские представляли нам вдали прекрасную иллюминацию».

Лес на Цюрихберге — не только место для прогулок. В живописных оврагах Цюрихской горы русские студенты проводят испытания самодельных бомб. Мартовским днем 1889 года подобное испытание заканчивается трагически — один студент погибает, другой ранен. Имя погибшего — Исаак Дембо. Молодой человек изучал в Петербурге аптекарское дело, но аптекарем не стал. Другие интересы приводят его к «Народной воле», за связь с которой он арестован в 1884 году, но ненадолго. Позже он принадлежит к группе заговорщиков, участвовавших в подготовке неудавшегося покушения на Александра III в 1887 году. Дембо, сам находившийся в Вильне, готовил заряды для бомбистов, среди которых — Александр Ульянов. После неудачи заговора Дембо бежит от виселицы за границу и оказывается студентом механического факультета Цюрихского политехникума.

Студент-народоволец не столько посещает лекции, сколько занимается организацией своей террористической группы, в которую среди прочих входят его неофициальная жена Мария Гинзбург со своей сестрой Софьей, обе бывшие петербургские

курсистки, и Александр Дембский, польский революционер. После долгих лабораторных экспериментов, проводимых на цюрихской квартире, Дембо получает взрывчатое вещество и начинает мастерить бомбы. Испытание проводится 6 марта в овраге Петерстобель (Peterstobel) на Цюрихберге. Сперва Дембо, как покажет потом полиции оставшийся в живых Дембский, пытается бросать жестяные банки, начиненные взрывной смесью, о камень, но ничего не взрывается. Дембо дополняет содержимое банки, уверяя товарища, что взрыв возможен только при сильном сотрясении. «Если прос то упадет — ничего не будет» — таковы последние слова молодого революционера. Для демонстрации он бросает банку с высоты метра себе под ноги. Происходит взрыв. Дембский, несмотря на сильные ранения, добирается до дома, где ждет Исаака любимая женщина. Изуродованного Дембо находят только через несколько часов и сразу отправляют в больницу. На месте происшествия полицией найдена «цилиндрической формы 10 см высоты и 5,5 см в диаметре жестяная банка из белой жести, в которой находился стеклянный флакон от глазных капель, наполненный на треть золотисто-коричневой тягучей йодообразной жидкостью».

Дембо мучается еще сутки, прежде чем умереть. Дембский тяжело ранен и полгода проводит в больнице. Исаака Дембо хоронят 11 марта. Согласно полицейскому протоколу, в похоронах участвуют свыше трехсот человек. По требованию русского правительства Швейцария выдает русскому посланнику бумаги, конфискованные у студентов, участвовавших в так называемой бомбовой афере. Тринадцать человек арестованы и высланы из Швейцарии, в том числе Мария Гинзбург. В Цюрихе она училась на медицинском факультете и помогала Дембо в изготовлении взрывчатых веществ. После высылки из Швейцарии она отправится в Париж, выйдет замуж и в 1891 году переедет в Нью-Йорк, отойдя от «русских дел». По-другому сложится судьба ее сестры. Софья Гинзбург служила связью для группы Дембо с революционными кружком офицеров в России. Будучи в Петербурге в феврале 1888 года, она забывает в одном петербургском модном магазине прокламацию, в которой описывалось, какие реформы должны произойти после убийства царя. Ей удается бежать из столицы, но ее забывчивость стоит свободы многим арестованным революционерам. Софью берут в июне 1889 года в Крыму и приговаривают к смерти, однако молодая девушка помилова-

на и заключена в Шлиссельбург. В тюрьме она проведет немного времени. Через несколько месяцев Софья Гинзбург покончит с собой.

Цюрихберг и дальше будет притягивать революционеров, но наводит на них мечтательное настроение. «Помню, как-то раз пошли мы всем миром гулять в лес, — напишет в своих «Записках подпольщика» Бобровская-Зеликсон. — На обратном пути пили кофе в ресторане красиво возвышавшегося на горе пансиона. Вечер был необыкновенно хорош, местность великолепна. Кто-то из товарищей расчувствовался и в минорном тоне стал говорить на тему о нашей российской бездомности и о счастливых швейцарцах, имеющих возможность свободно отдыхать в прекрасных пансионах своей страны. На это Борис Николаевич (партийная кличка В.А.Носкова, ярославского социал-демократа. — *М.Ш.*) возразил, ударяя по-костромски на «о»: «Погодите, погодите, товарищ! Когда мы свергнем самодержавие, новое, революционное правительство в награду за наши заслуги перед революцией пошлет нас на отдых сюда, в Цюрих, на гору, в этот самый пансион, где нас, беззубых к тому времени стариков, будут кормить манной кашкой». Мы много смеялись». Видно, не предполагали веселившиеся в ресторане с видом на озеро и Альпы, что революционное правительство пошлет их вовсе не в Цюрих и что зубы они потеряют не от старости. Впрочем, самому Носкову «посчастливится» не дожить до социализма. Сперва он разойдется с Лениным, с которым, по его собственному выражению, «успел окончательно расплываться». Потом, в 1907 году, Носков вовсе отойдет от партийных дел и уедет на Дальний Восток. В 1913-м в Хабаровске он покончит с собой.

Летними днями, когда библиотеки закрыты, приезжает на Цюрихберг чета Лениных на фуникулере к гостинице «Дольдер» (Dolder). Крупская: «Ильич обычно покупал две голубые плитки шоколада с калеными орехами по 15 сантимов, после обеда мы забирали этот шоколад и книги и шли на гору. Было у нас там излюбленное место в самой чаще, где не бывало публики, и там, лежа на траве, Ильич усердно читал».

«Цюрихберг — лесистая овальная гора над Цюрихом, разумеется, тщательно охраняемая в чистоте, и тоже не первый век... начиналась своим подъемом совсем близко от моего дома, двести метров от фуникулера — милого открытого трамвайчика, кру-

то-круто его втаскивал канат наверх, когда противоположный трамвайчик опускался». Это из воспоминаний Солженицына, приходившего сюда вслед за своим героем. И дальше: «Поднимаешься на Цюрихберг, минуешь последние дачи богачей — дальше такой лесной покой, и совсем мало гуляющих в будний день, я там отдышался, раздумывал, закипали планы литературные, публицистические».

Здесь, на этой горе с видом на озеро, приходит, например, писателю идея организации своего ставшего знаменитым «солженицынского» фонда: «В это двухчасовое сидение, в прозрачной ранней весенности, мы с Алей все и решили. Называться будет: Русский Общественный Фонд, отдадим ему все мировые гонорары с «Архипелага»...»

В одной из тенистых аллей Цюрихберга стоит обелиск в память боев 1799 года. К нему ведет улица Массены. На табличке с названием улицы можно прочесть объяснение: «Французский генерал, победитель русских в битве под Цюрихом». Сюда же отправляет Солженицын своего героя гулять в задумчивости перед отъездом в апрельский Петроград: «Против обелиска Ленин присел на сырую скамью, устал. Да, правда, стреляли и здесь. Страшно подумать: и здесь были русские войска! и сюда дотянулась царская лапа!» В проезжающей мимо всаднице солженицынскому Ленину чудится Инесса Арманд.

Настраивает на романтический лад и Ютлиберг. Сюда приходят русские студенты любоваться восходом. «Интересная экскурсия предпринята была 30—40 молодыми юношами и девушками на вершину Ютлиберга, примыкающего к Цюриху с юга, — вспоминает Кулябко-Корецкий. — На вершине горы нас застали сумерки; спускаться с горы по головоломным тропинкам в ночной темноте было небезопасно; пришлось провести ночь в поисках вершины, не покрытой лесом, чтобы полюбоваться восходом солнца над отдаленными снежными вершинами».

Скрябин живет в 1900 году в Бендликоне под Цюрихом. Жена его получает открытку: «Посылаю тебе вид чудного местечка, называемого Ütliberg. Оттуда видна почти вся снежная цепь Альп, Цюрихское озеро и масса поселений. Жаль только, что всему мешает невообразимая жара...» Солнце сыграло злую шутку с нежной кожей композитора, в другом письме он пишет: «Я в первый день хотел подняться на гору и так опалил себе лицо, что образовались белые пузыри, мажусь глицерином».

Не для всех молодых людей Цюрих – город борьбы идей. Для Макса Волошина и Маргариты Сабашниковой Цюрих 1905 года – город любви.

Дневник Волошина. Запись 8 августа:

«На лодке на озере... Луна.

«Вон на Ютли – два огонька. Точно катины глазки...»

«Нет... не держите меня за руку... увидят. Милый Макс... Макс... Нет, послушай... Ты слышишь... Мне холодно...»

Идем... Я грею руки ее».

Их тянет прочь от людей – одиночества они ищут на Ютлиберге. Запись 9 августа:

«...Мы держимся за руки и идем в горы... Знойное утро.

“Погодите... Не здесь... Здесь люди... Все эти Цвингли... Проклятые протестанты...”»

С террасы ресторана влюбленные смотрят на город:

«С одной стороны Цюрих. Как один холодный мерцающий камень. Камень, занявший четверть горизонта и сияющий сквозь черные переплеты деревьев... С другой – дикие долины и холмы... Гроза идет».

М.В.Сабашникова и М.А.Волошин



Перед расставанием 12 августа они идут в «свой» лес:

«Мы идем по мокрой дороге... Мимо нашего леса... Садимся на скамейку под соснами.

Теперь мы должны решить... Я не могу решить сам, потому что я решаю нашу, нашу судьбу – или дорога человеческая, с человеческим счастьем – острым и палящим, которое продлится год, два, три, – или вечное мученье, безысходное, любовь, не ограниченная пределами жизни...

Смотрим друг на друга безнадежными и грустными, печальными глазами. У нее текут слезы.

Прощай и здравствуй!..»

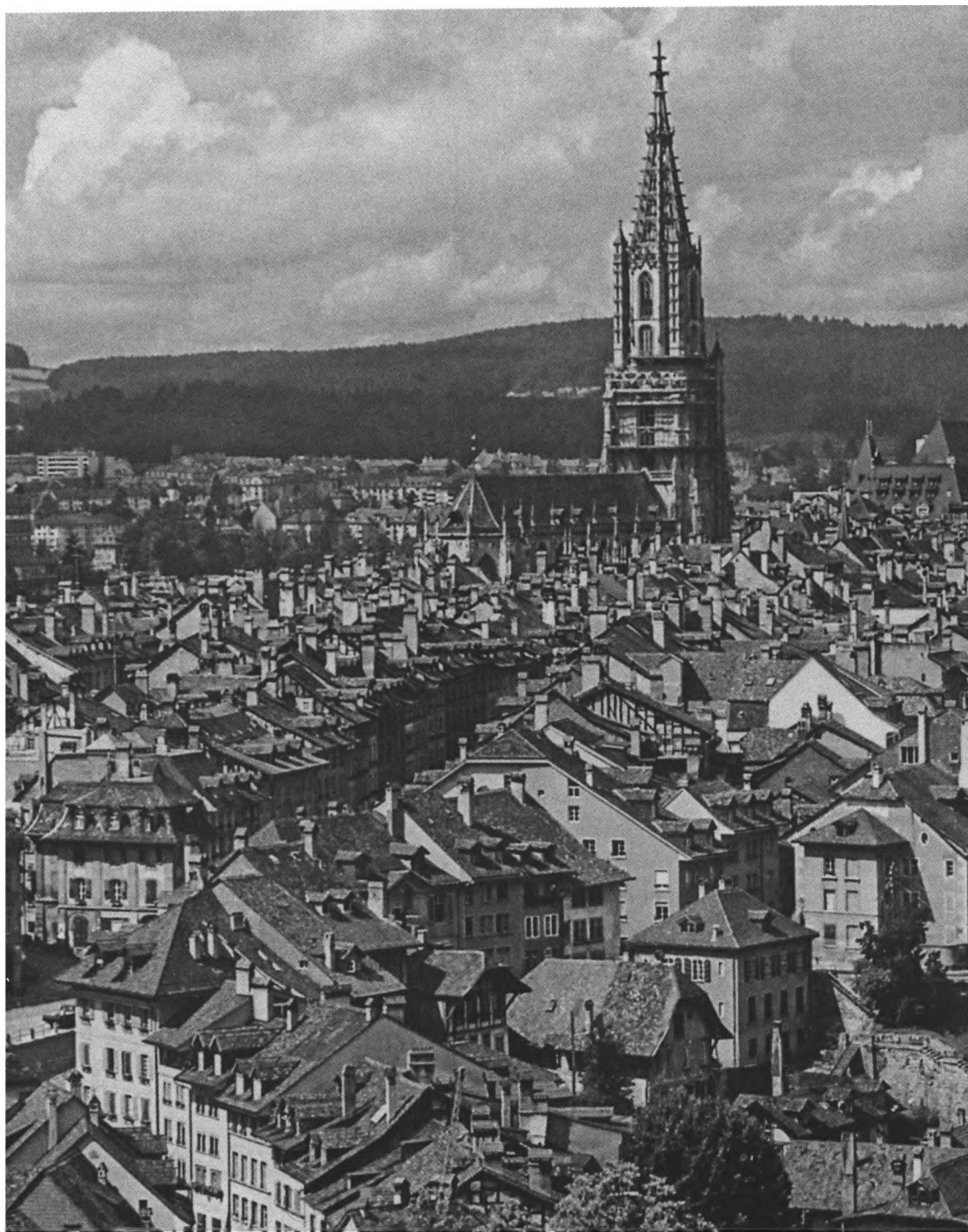
Здесь, на Ютлиберге, мы и простимся с Цюрихом, городом ниспровергателей и влюбленных.



IV

«Бернские мишки и медведь
из Санкт-Петербурга»

БЕРН





«По получении сего телеграфируйте мне,
пожалуйста, в Берн до востребования о получении
этого письма и предыдущих».

Из донесения Евно Азефа департаменту полиции в мае 1902 г.

П.Я. Чаадаев





Берн — столица альпийской конфедерации, но в русской Швейцарии это вполне провинциальный городок. Тем не менее, находясь на перекрестке главных туристических путей — через Берн идет дорога из Цюриха к Женевскому озеру, из Базеля в Бернский Оберланд, этот город на Ааре всегда привлекал русских путешественников.

Павел Петрович во время своей «образовательной поездки» по Швейцарии в 1782 году удостаивает Берн своим вниманием, однако отказывается от какого-либо церемониала, сославшись на то, что хочет лишьзнакомиться с жизнью страны и ее достопримечательностями. Просездом из Муртена в Тун Павел со своей свитой останавливается в лучшем отеле того времени, в гостинице «Фалькен» (Falken, Marktgasse, 11 / Amthausgasse, 6, не соответствует сегодняшнему Falken). Князь Северный обедает здесь 7 сентября, после чего на несколько дней отправляется в горы, в Бернский Оберланд. По возвращении цесаревич и его супруга осматривают городские достопримечательности, любуются видом со знаменитой бернской террасы. Без торжественного приема все же не обходится — в честь будущего русского монарха столица демократии устраивает бал в Hotel de Musique (Theaterplatz, 7 / Hotelgasse, 10), на который приглашаются сливки бернской аристократии. На следующий день Павел под прикрытием прозрачного инкогнито отправляется дальше, в Цюрих.

Если для Павла Петровича зарезервированы лучшие покои, то Карамзин, путешествующий по Европе в год французской революции, еле находит себе приют: «Ныне поутру приехал я в Берн и с трудом мог найти для себя комнату в трактире «Венца»: так много здесь приезжих!» Из России здесь лишь он один — русский путешественник в XVIII веке представляет из себя все-таки диковинку, основную массу туристов еще долго будут составлять гости из других стран: «В трактире «Венца», где я живу, не садится за стол менее тридцати человек французов и англичан, между которыми бывают жаркие споры о теперешних обстоятельствах во Франции».

Карамзин о городе: «Берн есть хотя старинный, однако ж красивый город. Улицы прямы, широки и хорошо вымощены, а в середине проведены глубокие каналы, в которых с шумом течет вода, уносящая с собою всю нечистоту из города и, сверх того, весьма полезная в случае пожара. Дома почти все одинакие: из белого

камня, в три этажа, и представляют глазам образ равенства в состоянии жителей, не так, как в иных больших городах Европы, где часто низкая хижина преклоняется к земле под сенью колоссальных палат. Всего более полюбились мне в Берне аркады под домами, столь удобные для пешеходцев, которые в сих покрытых галереях никакого ненастья не боятся».

Карамзин посещает сиротский дом, публичную библиотеку, бернских медведей, потом выходит на уже упомянутую террасу: «Из библиотеки прошел я на славную террасу, или гульбище, подле кафедральной церкви, где под тению древних каштановых деревьев в самый жаркий полдень можно наслаждаться прохладой и откуда видна цепь высочайших снежных гор, которые, будучи освещаемы солнцем, представляются в виде тонких красноватых облаков. Сия терраса, складенная человеческими руками, вышиною будет в шесть или в семь сот футов. Внизу течет Ара и с великим шумом низвергается с высокой плотины».

Этого же маршрута будут в основном придерживаться и другие русские путешественники, но с небольшими отклонениями. Так, Александр Иванович Тургенев интересуется помимо обычных достопримечательностей еще и швейцарской системой исправительных учреждений: «От медведей пошел в городскую тюрьму: осмотрел ее во всех подробностях». Русского, знакомого с детства с пословицей «От сумы да от тюрьмы не зарекайся», поражает непривычная роскошь тюремного быта: «Тут жизнь

Берн. Фонтан



и здоровье преступников так же драгоценны, как и добрых граждан». Заглядывает Тургенев и в некогда известные своими фривольностями банные заведения: «Заходил в Бернские знаменитые бани, на островке, обтекаемом быстрою Арою; но в этих банях полиция запретила уже приносить жертвы Венере. Меня встретила не нимфа Арвы, но Брокенская ведьма...» Бернские аркады вовсе не нравятся путешественнику: «Пасмурная старина является в бернских зданиях. Под аркадами, или под навесами, ходить покойно; но они темнят город, и без того уже довольно мрачный».

Проездом из Германии через Базель в Женеву делает остановку в Берне Гоголь во время своего швейцарского путешествия в 1836 году. Он заезжает в Оберрид (Oberried bei Bern), чтобы передать рекомендательное письмо от Вяземского тогдашнему русскому посланнику Дмитрию Петровичу Северину, другу Жуковского и Вяземского и члену известного литературного кружка «Арзамас».

Берн не остается для писателя незабываемым воспоминанием. «Города швейцарские мало для меня были занимательны, — пишет он Н.Я.Прокоповичу 27 сентября. — Ни Базель, ни Берн, ни Лозанна не поразили». И там же: «Европа поразит с первого разу, когда въедешь в ворота, в первый город. Живописные домики, которые то под ногами, то над головою, синие горы, развесистые липы, плющ, устилающий виноградом стены и ограды, все это хорошо, и нравится, и ново, потому что все пространство Руси нашей не имеет этого, но после, как увидишь далее то же да то же, привыкнешь и позабудешь, что это хорошо».

Николаю Станкевичу, поэту и основателю знаменитого литературно-философского кружка, названного его именем, напротив, Берн кажется вполне симпатичным. В письме от 19 сентября 1839 года он сообщает: «На ночь мы приехали в Берн. Вид его уже вполне вознаграждает за, не совсем приятное, впечатление Базеля: это приветливый, широкий, просторный город, на каждом шагу следы порядка и довольства, которые веселят душу...»

Я доехала до Берна.

На дворе ужасно скверно!

Так начинается свой рассказ о Берне мадам Курдюкова в «Сенсациях и замечаниях госпожи Курдюковой за границею». Вот ее

впечатления от знаменитого вида, дающего повод к размышлениям геополитического характера:

Тут я вышла на террасу
Посмотреть на эту массу,
Этот ряд швейцарских гор,
Что у них, ком эн забор,
От всех прочих отделяет,
Как в Китае сохраняет
Прежний их эндепанданс.

Посещение «Медвежьего рва» (Bärengraben) заканчивается для героини Мятлева худо — здесь она подхватывает простуду и заболевает.

Чуть было не кончилось неприятным образом посещение бернских мишек и для маленького Вани Тургенева: по преданию, будущий писатель чуть было не свалился в яму — его спас, схватив за ногу, отец.

Медвежья яма



Кстати, бернские медведи послужат музой для революционных публицистов. Бакунин, например, назовет свой памфлет: «Бернские мишки и медведь из Санкт-Петербурга».

Бернский медвежонок натолкнет Герцена на написание статьи «Между старичками»: «Я нынешним летом с час стоял у медвежьей ямы в Берне, — начинает писатель, — и смотрел, как медвежонок — этот крот огромного роста — копал яму».

Берн выбирает как место жительства великая княгиня Анна Федоровна, супруга великого князя Константина, брата Александра I. В Петербурге отношения между будущей русской царицей и наследником престола складываются драматично. Сердце Константина принадлежит полякам. Жизнь в Петербурге с взбалмошным и своенравным супругом становится невыносимой, и Анна Федоровна под предлогом поправления пошатнувшегося здоровья уезжает из России сперва лишь на несколько месяцев, но как оказывается, — навсегда. В 1814 году великая княгиня приобретает поместье Бруннадернгут (Brunnaderngut) рядом с Берном. Ей на мгновение кажется, что на лугу в парке танцуют эльфы, и своему новому замку она дает романтическое название Эльфенау (Elfenau), «луг эльфов».

Эльфенау становится любимым местом частных собраний иностранного дипломатического корпуса, и, разумеется, своим долгом считают представиться великой княгине и все русские путешественники аристократы. Здесь бываю Жуковский, Чаадаев, а Александр Тургенев, например, позже признается, что был в восторге от красоты и ума этой женщины. Свербеев, известный мемуарист, а в то время секретарь русской миссии в Швейцарии под началом русского посланника барона Крюденера, вспоминает: «Во всем Берне, кажется, у нее одной и была собственная карета, да еще с придворной ливреей и с императорским гербом. Зато и принимали ее хозяева с великими почестями».

Частым гостем великой княгини становится Каподистрия — знаменитый русский дипломат греческого происхождения, получивший почетное швейцарское гражданство. Грек с Ионических островов, завоеванных Россией, он помогает составить конституцию для островного государства. После Тильзитского мира острова переходят французам, и Каподистрия одновременно получает два предложения — поступить на дипломатическую службу Франции и России. Он выбирает Россию и делает быструю

карьеру – руководит Министерством иностранных дел. От Александра осенью 1813 года Каподистрия получает назначение с особой миссией в Швейцарию – как специалист по конституциям, он должен был написать ее основной закон, что и было исполнено. В инструкции Александр наставлял: «Я хочу, чтобы Швейцария принадлежала только себе и чтобы ее внутреннее спокойствие и политическая независимость зависели лишь от стабильности ее конституции». На основе проекта, написанного Каподистрией, были приняты документы, определившие дальнейшее существование швейцарского государства. С февраля 1814 года Каподистрия – чрезвычайный посланник и полномочный министр России в Швейцарии. Усилия русского грека были оценены и швейцарцами – в 1816 году он был принят в почетные граждане Лозанны и Женевы. Закончит свою жизнь Каподистрия правителем Греции. Он падет от руки политических врагов – убийцы подстерегут его по дороге в церковь.

В Швейцарии Анна Федоровна ищет покоя и забвения, но покой нарушается в 1814 году внезапным появлением Константина. Неожиданный визит происходит по высочайшему повелению – Александр, находящийся в штаб-квартире русской армии в Базеле, посылает брата мириться. Под тем же предлогом – слабость здоровья – Анна Федоровна отказывается от возвращения в Россию, предпочтя частную жизнь.

Когда до Швейцарии дойдут известия о декабрьском мятеже в Петербурге, Анна Федоровна узнает, что присягнувшие Кон-

Великий князь Константин

Великая княгиня Анна Федоровна



стантину и ей солдаты требовали, обманутые своими офицерами, Конституцию — в уверенности, что выступают в защиту ее, Анны Федоровны, законной русской императрицы, супруги Константина.

Последние годы Анна Федоровна проведет в своем поместье в Женеве, которое купит позже Герцен, но умирать она вернется в Эльфенау. Похоронена великая княгиня в Розенгартене (Rosengarten). Когда в 1913 году это место станет публичным садом, ее перезахоронят на кладбище Шлоссхальден (Schlosshaldenfriedhof). Несостоявшаяся императрица не хотела, чтобы на надгробной доске стояли ее титулы. На камне просто написано — Julie-Anne.

В 1824 году в Берн приезжает во время своего трехгодичного путешествия по Европе Петр Яковлевич Чаадаев. В планы его одно время входило вообще поселиться в альпийской республике. Так, в январе 1821 года, сообщая в письме своей тетке об отставке, он писал, что ему по многим причинам невозможно оставаться в России и что после короткого пребывания в Москве он намерен навсегда удалиться в Швейцарию. Поездка все откладывалась, и только летом 1823-го Чаадаев выехал из России, однако знакомство с реальной Швейцарией, помимо других причин, заставляет будущего автора «Философических писем» отказаться от первоначального плана.

На высшее бернское общество отставной русский офицер производит большое впечатление, что пытается в своих записках следующим образом объяснить Свербеев: Чаадаев в то время «еще не имел за собою никакого литературного авторитета, но Бог знает почему и тогда уже, после семеновской катастрофы, налагал своим присутствием каждому какое-то к себе уважение. Все перед ним как будто преклонялись и как бы сговаривались извинять в нем странности его обращения. Люди попросту ему удивлялись и старались даже подражать его неуловимым особенностям. Мне долго было непонятно, чем он мог надувать всех без исключения, и я решил, что влияние его на окружающих происходило от красивой его фигуры, поневоле внушавшей уважение».

Войдя в круг бернских аристократов и иностранных дипломатов, Чаадаев шокирует всех своими странностями — загадочно молчит, отказывается от угощений, а за десертом требует себе бутылку лучшего шампанского, отпивает из нее полбокала и уда-

ляется. «Мы, конечно, совестились пользоваться начатой бутылкой», — добавляет Свербеев. Особенно всех поражает чаадаевский денщик Иван Яковлевич, которого русский мыслитель повсюду берет с собой. «Он был создан по образу и подобию своего барина, — продолжает рассказ Свербеев, — настоящим его двойником, одевался еще изысканнее, хотя всегда изящно, как и сам Петр Яковлевич, все им надеваемое стоило дороже. Петр Яковлевич, показывая свои часы, купленные в Женеве, приказывал Ивану Яковлевичу принести свои, и действительно выходило, что часы Ивана были вдвое лучше часов Петра...» Отметим, однако, что эпатаж касался в основном иностранцев.

В качестве дипломата посещает неоднократно Берн Федор Иванович Тютчев. В православной церкви при русской дипломатической миссии поэт венчается со своей второй женой Эрнестиной Дернберг 17 (29) июля 1839 года.

Русскому посольству в Швейцарии в первой половине прошлого века приходилось заниматься делами, вызывающими теперь, пожалуй, лишь удивление, а именно — швейцарской эмиграцией в Россию.

Как ни забавно это может звучать в наше время, существовали жесткие ограничения на переселение в Россию, и далеко не все желающие могли рассчитывать на успех. Разрешение на переселение выдавалось только тем, кто сам мог себя обеспечить. Так, в ноте поверенного в делах России в Швейцарии Северина пред-

П.Я. Чаадаев



седателю Государственного совета кантона Во от 13 апреля 1830 года отмечается, что подобные ограничительные меры помогут избежать «выходцам из кантона Во всякого рода неприятностей, которые им обязательно даст нехватка денег как во время путешествия, так и в момент, когда они окажутся на наших границах, на которых в подобных обстоятельствах их вообще не примут».

Одной же из основных функций русской миссии по традиции являлась слежка за своими подданными. Русским дипломатам вменялось в обязанности информировать о соотечественниках. Например, в сентябре 1843 года поверенный в делах в Швейцарии А.Струве сообщает в Россию о связях русского подданного Михаила Бакунина с немецкими эмигрантами-коммунистами, о переездах Бакунина из кантона в кантон и о том, что тот не является в русское посольство. 1 декабря того же года шеф жандармов Бенкендорф распоряжается поручить всем русским посольствам объявить Бакунину, чтобы он немедленно вернулся в Россию. Струве вызывает находившегося в это время в Берне Бакунина к себе и передает ему предписание. Однако послушник на другой день выезжает из Берна, послав с дороги Струве записку, что, мол, он не может последовать предписанию, так как дела зовут его в Лондон. При этом анархист остается преспокойно в Швейцарии.

В обязанности миссии входило и регулярно сообщать об отношении к России швейцарцев. Выполнение этого задания требовало от чиновников посольства особого такта, ибо чувства, испытываемые гельветами к империи, не всегда были самыми восторженными. Напомним, что, хотя Швейцария и Россия никогда не воевали между собой, войсками они все-таки обменялись: своеобразным ответом на альпийский поход русской армии 1799 года послужило участие швейцарских частей в нашествии «двенадцати языков» на Москву. На службе французского императора в корпусе Удино было четыре швейцарских полка. Из девяти тысяч солдат и офицеров на родину возвратились лишь около восьмисот человек, искалеченных и обмороженных. Причем швейцарцы прослыли героями кампании 1812 года — именно они защищали знаменитый мост на Березине и дали возможность уйти остаткам наполеоновской армии от пленения. Посвященная этому событию песня о Березине (*Beresina-Lied*) стала народной швейцарской песней и до сих пор входит в песенные детские сборники.

На отношение швейцарцев к России влияли такие события, как польское восстание 1830 года и его кровавое подавление, а также русская карательная экспедиция в Венгрию в 1849 году. Швейцария неизменно становилась на «антирусскую» сторону. Поляки-эмигранты пользовались в Швейцарии всеобщим сочувствием и поддержкой. Крымская война воспринималась швейцарцами как своеобразный «крестовый поход» Запада против «жандарма Европы». «Нойе Цюрхер Цайтунг», например, писала 5 декабря 1854 года: «Все европейское общество чувствует, что эта война ведется за высшие ценности цивилизации и против них, война против источника всех войн, может быть, последняя война». Газета призывала образовать армию добровольцев в помощь союзникам. На призыв откликнулось немало швейцарцев. Из добровольцев был сформирован Британский швейцарский легион (British Swiss Legion) численностью 3300 человек. Обучение волонтеров проводилось в Англии. Оттуда вооруженные и обученные англичанами швейцарцы отправились морем в Крым воевать с русскими «за высшие ценности цивилизации», но весть о смерти Николая застала швейцарский легион в Смирне.

Сражавшийся в Севастополе «против высших ценностей» Лев Толстой едет путешествовать вскоре после окончания войны в Европу и во время своей швейцарской поездки приезжает в июле 1857 года в Берн, причем уже на поезде. «...Хорошо было до Берна, — читаем в его дневнике, — в вагоне спали, я глядел в окошко и был в том счастливом расположении духа, в котором я знаю, что не могу быть лучше. Нашел квартиру в “Сонгоппе”». Толстой останавливается в Мури, пригороде Берна. В целом посещение швейцарской столицы утверждает писателя во мнении, что «швейцарцы — непоэтический народ». Он попадает на народный праздник, и вот его впечатление: «Вход стрелков с музыкой был мне жалок».

В Берне живет и умирает князь Петр Владимирович Долгоруков, одна из колоритнейших фигур русского XIX века. В двадцать лет, будучи светским шутником, он, как считают исследователи, пишет пресловутый «диплом рогоносца», который приводит к самой знаменитой русской дуэли, между Пушкиным и Дантесом, хотя Долгоруков и будет отрицать авторство до конца своей жизни. Сменив озорное легкомыслие, приведшее к столь трагической развязке, на усидчивость архивного ученого, князь начина-

ет заниматься генеалогией и публикует четырехтомное исследование о русских дворянских родах. Отношения с родиной у Долгорукова складываются сложно, и он отправляется за границу, где печатает в 1843 году скандальный памфлет «*Notice sur les principales familles de la Russie*» («Заметки о главных русских семействах»). Из России приходит указ незамедлительно вернуться. Долгоруков законопослушно отправляется на родину и сразу же по прибытии в Кронштадт подвергается аресту. Его ссылают сначала в Вятку, затем 15 лет ссыльный князь проводит в Туле. С началом нового царствования Долгоруков принимает сперва самое активное участие в реформах, но быстро разочаровывается и снова, но уже тайком, отправляется за границу. Его задача теперь — отомстить деспотическому отечеству. Он пишет разоблачительную книгу «*La vérité sur la Russie*» («Правда о России»). Публикация ее производит эффект разорвавшейся бомбы. Снова приходит правительственное требование вернуться в Россию, однако князь-диссидент уже не так наивен. В ответ он посылает свою фотографию, мол, можете ее вместо меня отправить в Сибирь. Услови-

Князь П.В.Долгоруков



ем своего возвращения Долгоруков ставит принятие русской Конституции.

Сперва Долгоруков живет в Лондоне, затем, вслед за переводом герценовской типографии в Женеву, весной 1865 года переселяется в Швейцарию. Отношения его с эмигрантами – самые натянутые, ибо в каждом он видит подосланного русским правительством шпиона. Своего собственного сына князь обвиняет в том, что тот агент русской полиции, и отказывает ему в наследстве. Герцен – единственный человек, которому он доверяет. Свой архив Долгоруков завещает Тхоржевскому, поляку, помогавшему Герцену издавать «Колокол». Бесценный архив содержит документы, которые Долгоруков не успел использовать для своих разоблачений.

Будучи в Берне летом 1868 года, князь тяжело заболевает. Он чувствует приближение смерти и хочет проститься только с Герценом. Последняя просьба умирающего заставляет того приехать в город на Ааре к «князю-гиппопотаму», как Искандер называл Долгорукова за его способность обижать всех кругом. 15 июля

Газета П.Долгорукова «Будущность»



Герцен пишет Огареву: «Долгоруков торжественно доказал, что доктора ничего не знают. Он переживет не только роковые 10 дней, но 100, 200. И вылечится неистойвой едой, он с 6 утра ест и пьет бордо, чай, кофе... в пересыпочку с мясом. Если он останется жив, я сделал faux pas, ездивши к нему. Сын, конечно, не виноват, но все же он странный человек, и ряд виденных мною сцен просится в печальный роман русской безобразной жизни». В другом письме от 16—18 июля прибавляет: «Долгоруков выздоравливает. <...> Сына он прогнал. <...> Я, если отец оживет, не намерен продолжать знакомство с ним». Долгоруков умирает 18 августа 1868 года.

Третье отделение решает добыть архив Долгорукова, и уже в конце августа к Тхоржевскому в Швейцарию прибывает некий издатель Постников — в действительности агент тайной полиции К.А.Роман — и вступает в переговоры о покупке бумаг с целью их издания. Постников-Роман встречается также с Огаревым и с Герценом, и оба советуют Тхоржевскому продать архив. Таким образом архив Долгорукова попадает в Третье отделение и исчезает.

Бремгартенское кладбище становится местом упокоения и еще одного знаменитого русского ниспровергателя и бунтаря. В Берне умирает Михаил Бакунин.

Бакунин неоднократно бывал в швейцарской столице. Он выступает, например, в 1868 году на втором, после Женевы, Конгрессе мира и свободы, заседания которого проходят в городской ратуше. Анархист использует выступления на конгрессе для пропаганды коммунистических идей, сокрушая своим зычным рыком с трибуны проклятое государство. «Таким я себе и представлял его, — записывает впечатления от впервые увиденного живые Бакунина писатель Боборыкин, присутствовавший на конгрессе. — Но «в натуре» он оказался еще крупнее размерами, еще махровее».

Осенью 1873 года, будучи в Берне, Бакунин пишет свое знаменитое «отречение», собираясь отправиться на покой. Здесь встречается он со своим старым приятелем Павлом Васильевичем Анненковым, биографом Пушкина и известным мемуаристом. Тот сообщает в письме И.С.Тургеневу о своем впечатлении: «Громадная масса жира, с головой пьяного Юпитера, растрепанной, точно она ночь в русском кабаке провела, — вот что предстало мне в Берне под именем Бакунина. Это грандиозно и это жалко, как

вид колоссального здания после пожара. Но когда эта руина заговорила, и преимущественно о России и что с нею будет, то опять явился старый добрейший фантаст, оратор-романтик, милейший и увлекательный сомнамбул, ничего не знающий и только показывающий, как он умеет ходить по перекладам, крышам и карнизам».

Летом 1876 года Бакунин в последний раз приезжает в Берн. Знакомый врач Фохт устраивает его в клинику. Подруге Герцена, Марии Каспаровне Рейхель, которая приходит навестить его в больницу, Бакунин говорит: «Маша, я приехал сюда умирать». После недолгого улучшения наступает кризис. Бакунин перестает есть и пить и умирает 1 июля 1876 года.

На следующий год после смерти Бакунина Берн становится ареной уличных сражений соратников покойного революционера с полицией. Вот как описывает события непосредственный их участник анархист Петр Кропоткин: «Мы все в том году (1877) приняли участие в демонстрации с красным знаменем в Берне. Волна реакции дошла и до Швейцарии, и, наперекор конституции, бернская полиция воспретила носить рабочее знамя на улицах. Необходимо было показать поэтому, что по крайней мере в некоторых местах работники не допустят попрания своих прав и станут сопротивляться. В день годовщины Парижской Коммуны мы все отправились в Берн, чтобы, несмотря на запрещение, пройти по улицам с красными знаменами. Конечно, произошло столкновение с полицией, в котором два товарища получили сабельные удары, а два полицейских были ранены довольно тяжело. Но одно красное знамя донесли-таки благополучно до зала, где состоялся восторженный митинг».

В бернской схватке с полицией 18 марта 1877 года, первой большой манифестации в Западной Европе после Коммуны, участвовали вместе с Кропоткиным многие другие русские эмигранты.

Звание «русского» учебного заведения, наряду с Цюрихским или Женевским, вполне может носить и Бернский университет.

После указа 1873 года, прекратившего существование русской студенческой колонии в Цюрихе, часть студентов переводится на учебу в Берн, среди них знаменитые будущие революционеры Вера Фигнер, сестры Любатович, Берта Каминская.

Среди бернских студенток находят себе горячих поклонниц известные народники и будущие эсеры Николай Чайковский

и Семен Клячко. «Я встретила с Чайковским в первый раз в Берне осенью 1874 года, когда была студенткой в университете, — вспоминает Вера Фигнер. — В этот печальный период, когда его друзья и товарищи почти все находились в тюрьме в ожидании «процесса 193-х», он ударился в богочеловечество... Он оставил революционную деятельность и отправился в Америку, вместе со своим товарищем Клячко, в сельскохозяйственную колонию, основанную Фреем. Проездом Чайковский с Клячко заехали в Швейцарию в Берн. <...> В Берне у него и Клячко были знакомые студентки, 2–3 месяца назад поступившие в университет. Эти девушки под их влиянием пришли в какое-то экзальтированное состояние; с горящими глазами и раскрасневшимися лицами они сообщили мне, что они вскрыли в себе «божественную сущность» и решили вместе с приехавшими ехать в Америку. Одна стала женой Клячко, другая вышла замуж за Чайковского».

Николай Васильевич Чайковский, лидер разгромленного кружка «чайковцев», названного так по его имени, после неудачной попытки стать «богочеловеком» в американской коммуне много лет проведет в Англии, где будет представителем «Красного креста Народной воли», одним из учредителей Фонда вольной русской прессы и позднее одним из лидеров партии социалистов-революционеров, главным организатором доставки в 1905 году на японские деньги оружия на пароходе «Джон Графтон» в Россию. После первой революции Чайковский снова на родине — пытается поднять партизанское восстание в Пермском крае, арестован, после освобождения проповедует мирную культурную работу в рабочей среде и кооперативное движение. В 1917 году Чайковский — лидер Трудовой партии, к большевистскому перевороту относится крайне отрицательно и призывает к вооруженной борьбе с узурпаторами. В 1918 году ветеран революции принимает участие в интервенции против советской власти на севере и становится главою Архангельского правительства при англичанах. Умер Чайковский в эмиграции в Лондоне.



Жизнь Клячко не сложится так фантастично, но он оставит интересные воспоминания о швейцарской эмиграции.

Не все агитаторы, приезжающие вербовать сторонниц среди бернских студенток, имеют такой успех. «Вскоре в Берн явился Ткачев, — продолжает Вера Фигнер, — с предложением нашей группе вступить в федеративные отношения с «десятью десят-

ками» революционеров, находящихся в России и уполномочивших его на это предложение». Программа Ткачева еще кажется Фигнер и ее подругам слишком радикальной, они еще собираются «просвещать» народ по поводу необходимости революции: «После нескольких бесед с Петром Никитичем мы отказались от предлагаемого союза». Пройдет совсем немного времени, и Вера Фигнер сама обратится к бомбам как к средству «народного просвещения». За полгода до защиты диплома она бросает учебу и возвращается в Россию на «дело». Она оставляет Берн — впереди романтическую девушку ждут подполье, бомбы, виселица, на которой погибнут друзья, и двадцать лет тюремного заключения.

На медицинском учится Николай Васильевич Васильев, сын ученого-ориенталиста, повторивший во многом судьбу своего поколения революционно настроенной интеллигенции: первый арест уже в девятнадцать лет, вскоре второй, высылка на север. Из холмогорской ссылки он бежит в Швейцарию, где поступает в Бернский университет. Здесь за работы по физиологии он по-

Афиша благотворительного концерта в пользу студентов из России

 <p>Gesellschaft russischer Studirender in Bern</p> <p>Eintritts-Karte</p> <p>für die musikalisch-voakalische Abend-Unterhaltung mit Tanzkränzchen</p> <p>Sonntag den 8. Dezbr. 1900 im grossen Saale des Schänzli-Theaters (Schänzlistrasse)</p> <p>Beginn 8¹/₂ Uhr</p> 	<p>PROGRAMM</p> <p>I. Abteilung</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Choe 2. Comanella <i>Liszt</i> Vorgetragen von Frä. Beck 3. a) Mainacht <i>Bruch</i> b) Am schönsten Sommer- abend <i>Grieg</i> c) Ständchen <i>Meyer-Helmsdt</i> Vorgetragen von Herrn BORRIS *) 4. Wahraegerin im russischen Edelhofe Lebendes Bild in 1 Akt <p>II. Abteilung</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Beherrscher der Geister <i>Carl Maria v. Weber</i> Vorgetragen von Frä. Miska und Frä. Beck 2. a) Lied aus Carmen <i>Robinstein</i> b) Azra <i>Proch</i> c) Ständchen <i>Proch</i> Vorgetragen von Herrn BORRIS *) 3. Fasching im russischem Dorfe Lebendes Bild in 1 Akt <p>III. Abteilung</p> <p>TANZKRÄNZCHEN</p> <p>*) Mit gütiger Erlaubnis des Herrn Theater-Direktor Fiebner.</p>
--	--

лучает ученую степень доктора медицины. Интересно, что этот человек оставил след и в истории города Берна. Будучи практикующим врачом среди рабочих-бернцев, Васильев принимает участие в пропаганде марксизма среди швейцарского пролетариата, является инициатором создания бернского Народного дома. Благодаря его энергии и настойчивости, в швейцарском законодательстве, например, проводится первый закон о страховании от безработицы. Васильев получает гражданство бернской общины Мури и выбирается Рабочим союзом города своим секретарем. С началом революционных событий в России он возвращается на родину. В 1917 году Васильев вместе с Плехановым возглавляет группу «Единство», сперва пытается бороться против большевиков, но потом отстраняется от политической деятельности и устраивается на службу в Союз потребительских обществ. В голодные годы погибает его жена, а вскоре за ней, в 1920-м, умирает от истощения, оставив двух маленьких детей, и бернский гражданин Васильев.

Известный в свое время революционный публицист Владимир Поссе, тоже учившийся в 1889 году на медицинском в Берне, вспоминает годы учебы в своих мемуарах «Мой жизненный путь» и обращает внимание на преимущественно женский характер русской студенческой колонии: «В Берне я попал в русское окружение. Медицинский факультет Бернского университета был в то время переполнен русскими студентами, вернее студентками, так как женщин было несравненно больше, чем мужчин. Сюда устремлялись со всех концов России женщины, стремившиеся к знанию и независимости. Больше всего было евреек, но были и чистокровные русские. Были совсем юные, только что сошедшие с гимназической скамьи, но были и пожилые, с большим и тяжелым стажем семейных бед и тюремной неволи».

Не менее популярным среди учащихся из России был и философский факультет. Здесь, например, учится Николай Онуфриевич Лосский. Будущий известный философ русской послереволюционной эмиграции в молодости отдает дань студенческим забавам. «В Берне, — вспоминает он, — я жил одно время вблизи кладбища, на котором похоронен Михаил Бакунин. Рассказывали, что форма черепа у него была весьма оригинальная. У нескольких из нас зародилась мысль, что хорошо было бы попытаться ночью выкопать его череп. К счастью, среди нас не нашлось лиц настолько решительных, чтобы действительно предпринять эту

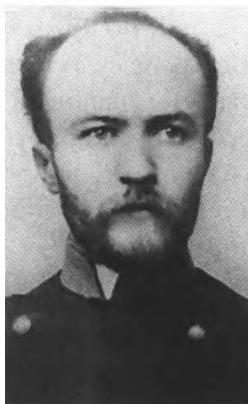
авантюру». Закончить учебу в Берне Лосскому не удастся. В 1889 году, чтобы как-то выбраться из нищеты, он решает уехать в Алжир – учиться в университете «в стране, где можно жить на мои скудные средства». Приключения молодого философа заканчиваются тем, что он поступает в Африке в Иностраннный легион, из которого ему удается спастись, только симулируя сумасшествие.

Анна Тумаркина из Дубровны изучает здесь философию и становится первой женщиной-профессором философии в Бернском университете. Кроме того, она играет ведущую роль в швейцарском женском движении начала века.

С 1898 года учится в Берне сестра Льва Шестова Фаня Ловцкая. Философ приезжает сюда к сестре летом 1898 года и потом неоднократно будет посещать Берн. Так, в 1900 году он проведет здесь несколько месяцев, работая над своей книгой о Достоевском и Ницше. В 1909 году Фаня защищает докторскую диссертацию по философии, позже увлекается психоанализом и учится в психоаналитическом институте в Женеве.

Среди студентов-философов и Семен Рысс, учившийся в Берне в 1899–1902 годах. Доктор философии, автор ряда научных работ принимает активное участие в революционных делах и в 1906 году становится одним из основателей партии эсеров-максималистов. После ареста он начинает сотрудничать с охранкой, и ему устраивают инсценированный побег. Рысс предает многих своих товарищей, после чего рвет с охранкой и снова принимается за

Н.О.Лосский



террористическую деятельность. Бывший бернский студент казнен в 1908 году по приговору военно-полевого суда.

В 1913 году получает от Бернского университета ученую степень доктора философии Сергей Николаевич Прокопович, проповедник «легального марксизма» в России, будущий министр Временного правительства.

О многочисленности русской студенческой колонии в швейцарской столице говорит и следующий эпизод из воспоминаний Владимира Медема, одного из лидеров Бунда. Когда он в 1898 году на бернском вокзале поинтересовался в справочном бюро, где находится русская библиотека, ему ответили: «Русская библиотека? Нет, адреса мы не знаем. Но вы ее легко найдете и так. Здесь так много русских, вы их встретите на каждом шагу. Попробуйте пройти к университету».

Отметим, что русская студенческая колония обитает в то время в районах Ленггасе (Länggasse) и Маттенхоф (Mattenhof).

Сыграл свою роль Берн и в истории русской революции. С приездом в 1900 году в этот город Виктора Чернова начинается активная организация партии эсеров. Название для партии заимствуется у бернского «Союза русских социалистов-революционеров», который возглавляет проживающий здесь Хайм Осипович Житловский. Участник народовольческой группы, готовившей покушение на Александра III в 1887 году, Житловский эмигрирует, избежав ареста, в Швейцарию и оканчивает Бернский университет с дипломом доктора философии. Встречу с Житловским, активным деятелем народнической эмиграции, Чернов назовет в своих воспоминаниях «настоящим подарком судьбы». Житловский – один из организаторов новой партии, вместе с «бабушкой русской революции» Брешко-Брешковской ездит в Америку для сбора денег на партийные нужды. В годы первой революции Житловский – в России. В 1907 году он, разочарованный в русском социализме, эмигрирует в Америку и остается там до своей смерти, занимаясь в основном проблемами еврейского социалистического и культурного движения. Оценивая позже сталинский казарменный социализм, Житловский напишет, что большевики на практике осуществили то, что русские социалисты всегда проповедовали.

Активная деятельность революционных организаций заставляет часто приезжать в Берн и агентов тайной полиции, в частнос-

ти знаменитого Евно Азефа. «Чернов, который живет в Берне, ведет большую пропаганду среди молодежи и пользуется большим успехом, — сообщает, например, Азеф в Петербург о товарище по партии в своем донесении от 8 января 1902 года. — Ему удалось в Берне образовать 6 кружков социалистов-революционеров среди учащейся молодежи Берна. Кроме того, им поставлена типография-школа для желающих обучаться набору. Надо сказать, что элементы народофильские и социалистов-революционеров все растут и растут здесь».

А вот что пишет Чернов о друге-провокаторе в своей книге «Перед бурей»: Азеф «представлялся одной из самых крупных практических сил Центрального Комитета. Как таковым им всегда очень дорожили, и неудивительно: среди русских революционеров встречалось немало самоотверженных натур, талантливых пропагандистов и агитаторов, но крайне редки были практически-организационные таланты. Поставить и вести деловито крупное техническое предприятие со всей необходимой конспиративной выдержкой и финансовой осмотрительностью — вот что всего труднее давалось русской широкой натуре. Со своим ясным, четким, математическим умом Азеф казался незаменимым».

Хотя почти все мемуаристы обращают внимание на чрезвычайно отталкивающую внешность агента охраны, как, например, Вера Фигнер: «...Высокий, тучный господин с короткой шеей, толстым затылком и типичным лицом еврея с толстыми губами», — тем не менее «гений провокации» обладал своеобразным

В.М.Чернов



даром покорять людей: даже после разоблачения Чернов описывает своего бывшего товарища с нескрываемой симпатией: «Натура у него скрытная, сдержанная, но по существу отзывчивая, нежная... Только эта нежность представлялась какой-то неуклюжей, как физически неуклюжей была вся его фигура... Бывали, например, и такие сцены: после какого-нибудь общего разговора или дебатов в небольшой компании подойдет к товарищу, особенно горячо и прочувствованно защищавшему свое мнение, молча поцелует его и быстро отойдет... Или человеку, невинно вернувшемуся с удачного террористического акта, наедине бросается целовать руки...»

Берн — город Азефу хорошо знакомый. Здесь еще в 1894 году он знакомится со своей будущей женой — Любовью Менкиной. «Жена Азефа, — пишет в своих воспоминаниях Вера Фигнер, близко знавшая эту пару, — вышла из бедной еврейской семьи и была работницей-шляпницей. Азеф еще в годы своего студенчества вызвал ее за границу и дал средства существования для поступления в Бернский университет на философский факультет. Факультет не оставил, однако, следов на ней, что было ясно с первых же встреч».

Верная подруга по революции ничего не подозревает об отношениях супруга с полицией, и после разоблачения провокатора она уедет, сменив имя, с двумя детьми в Америку.

Кстати, на медицинском факультете Бернского университета учился с 1894 по 1898 год младший брат Азефа — Натан. Сперва,

Е.Ф.Азеф



как и брат, активный революционер, участник народовольческого кружка, он после возвращения в Россию селится в родном Ростове-на-Дону и, отойдя от революции, занимается врачебной практикой.

По иронии русской истории полицейский осведомитель оказывается основателем и одним из руководителей самой радикальной революционной партии. В январе 1902 года в Берн приезжают лидеры социалистов-революционеров – Шишко, Лазарев, Гоц, Гершуни, чтобы обсудить с бернцами Житловским и Черновым будущее организации. В своем донесении Азеф сообщает подробности совещания и адрес, где находят пристанище приезжающие в швейцарскую столицу революционеры: в доме № 37 по Мозенхофштрассе (Mosenhofstrasse, 37).

11 марта того же года Азеф предупреждает департамент полиции из Берна: «Судя по настроению здешней публики и по письмам из России, террористическая борьба возникнет, вероятно, в самом непродолжительном времени». Особое внимание он просит обратить на «тигра революции» Григория Гершуни, человека, с которым вместе Азеф фактически учредил партию эсеров: «Гершуни, во всяком случае, очень опасный человек, так как социалисты-революционеры рано или поздно займутся террором».

В Швейцарии, и в частности в Берне, закладываются основы грозной БО – Боевой организации эсеров. Так, например, двадцатитрехлетний Егор Созонов (Сазонов), бежав из сибирской ссылки, эмигрирует в Швейцарию и приезжает в Берн, чтобы продолжить прерванную в Москве учебу в Бернском университете, но, познакомившись здесь с террористами, и в частности, с Азефом, вступает в БО и отправляется нелегально в Россию, где брошенная им бомба разорвет в клочья министра внутренних дел старика Плеве.

Азеф делает две карьеры параллельно – удачу использует в революционной карьере, неудачами набирает очки в полицейской. К моменту «выхода на покой» он зарабатывает солидный капитал и службой в департаменте – его оклад сопоставим с окладами высших правительственных чиновников, – и нечистоплотными махинациями с партийными деньгами – на протяжении многих лет он практически бесконтрольно распределял средства БО. После разоблачения Азеф меняет имя и начинает в Германии новую жизнь, о которой, очевидно, мечтал все беспокойные годы, проведенные в революции. Он играет на бирже. На-

чало Первой мировой войны обернется для него катастрофой: во-первых, большую часть своих капиталов он держал в русских ценных бумагах, а во-вторых, германская полиция арестует его как замешанного в связях с русскими спецслужбами. Из берлинской тюрьмы Евно Азеф уже не выйдет.

Однако вернемся в Берн начала века. Азеф освещает деятельность не только эсеров, но и других революционных партий, в частности социал-демократов. 24 октября 1903 года он доносит из города на Ааре: «Среди искровцев тут известная Любовь Аксельрод, ничего общего с цюрихским Аксельродом не имеющая, давно бежавшая из России; при ней находится и ее сестра. Вокруг этой Аксельрод, которая часто выступает с рефератами, вертится вся искровская молодежь, которой тут очень много. Я думаю, что Вам необходимо и тут устроить наблюдение».

Любовь Исаковна Аксельрод, взявшая себе гордую партийную кличку Ортодокс, играет видную роль среди бернских марксистов. Родившись в патриархальной семье раввина, она приезжает двадцатилетней девушкой в 1888 году в Швейцарию и начина-

Е.С.Сазонов



ет учебу на философском факультете Бернского университета. Увлечшись марксизмом, она вступает в плехановскую группу «Освобождение труда» и становится со временем плодовитым публицистом и одним из теоретиков русского марксизма. В 1900 году она защищает в Берне диссертацию по мировоззрению Толстого. К старшей сестре приезжает в Швейцарию из отеческого местечка и Ида Аксельрод. Она также учится в Бернском университете, где в 1901 году защищает диссертацию по литературе и становится доктором философии. Заразившись от сестры революционной страстью, Ида вместе с Плехановым с жаром отдается пропаганде марксизма и в 17-м возвращается вслед за своим кумиром в Россию — перед самым октябрьским переворотом. Реальная русская революция, которую сестры приближали как могли, производит, однако, отталкивающее впечатление на бернскую марксистку. Ида отходит от политики, а в ночь с 14 на 15 мая 1918 года ее находят мертвой около линии трамвая в Лесном, под Петроградом, где она живет с сестрой. Хоронят ее на еврейском кладбище по обряду отвергнутого ею отца. Любовь же проживет долгую жизнь и умрет только в 1946 году, став очевидицей всех этапов социалистического строительства.

Среди вождей Советской России были и бернские студенты. Так, в 1904 году в университете Берна учится будущий диктатор Петрограда и вождь Коминтерна Григорий Зиновьев — на химическом, потом на юридическом факультете, — но так и останется недоучкой. В Берне училась Ольга Давидовна, сестра Троцкого, будущая супруга Каменева и сама высокопоставленный советский функционер.

Через Берн идет дорога в Бернские Альпы, так что проездом здесь побывали все русские путешественники, отправлявшиеся в Тун и Интерлакен. Так, например, в 1897 году здесь останавливается Василий Суриков — художник ехал на Тунское озеро работать над своей знаменитой картиной «Переход Суворова через Альпы».

В 1900 году во время своего путешествия посещает проездом столицу Швейцарии Бунин. У писателя на всю жизнь остаются от этого города гастрономические впечатления. Вера Муромцева в воспоминаниях о муже пишет о том, как Бунин со своим спутником Куровским «в Берне на вокзале ели какое-то редкое блюдо, чуть ли не из медвежатины, которое потом, десятки лет спу-

стя, тщетно искал Иван Алексеевич, желая угостить им меня, когда мы бывали с ним на этом вокзале».

Бывал в Берне и Андрей Белый, причем именно здесь 23 марта 1914 года регистрирует поэт свой брак с Асей Тургеневой, специально для этого приехав из Дорнаха, где оба работали на строительстве антропософского Гетеанума. А впервые он побывал здесь еще шестнадцатилетним гимназистом, совершая с матерью образовательную поездку по Европе.

С началом войны Берн, как и другие города Швейцарии, становится приютом русской революционной эмиграции, вынужденной оставить воюющие страны. В августе 1914 года на бернском вокзале встречает Ленина, вырвавшегося из краковской тюрьмы, секретарь группы большевиков Берна Георгий Шкловский. Бывший бернский студент-химик везет вождя партии с женой и тещей к себе домой на Фалькенвег (Falkenweg, 9), в район Ленггассе, где селятся в то время русские эмигранты.

Берн уже хорошо знаком Ленину. Летом 1913 года он приезжал сюда с Крупской для лечения базедовой болезни жены. Необходимо была сложная операция, и Берн был выбран неслучайно. Здесь жил виднейший специалист того времени по заболеваниям щитовидной железы — хирург и профессор Бернского университета, первый хирург — лауреат Нобелевской премии Теодор Кохер. Его бюст можно увидеть перед городской больницей на Фрейнгерштрассе (Freingerstrasse). Кстати, оперировать больных из России в то время не было диковинкой для швейцарских

В.И. Ленин и Н.К. Крупская



хирургов. Некогда Кохер оперировал, например, русского поэта Семена Надсона. Лекции Кохера слушали многие русские студенты-медики, например, Вера Фигнер характеризовала их как «чистейшее наслаждение».

По приезде с началом войны в Берн Ленин и Крупская селятся сперва на Доннербюльвег, потом переезжают на Дистельвег (Distelweg, 11). Здесь они снимают две комнаты на втором этаже. На выбор квартиры влияет соседство — почти напротив живет Инесса Арманд, а в нескольких минутах ходьбы поселился Зиновьев. Здесь же, в Берне, на улице Песталоцци во время войны живет ближайший сотрудник Ленина Карл Радек.

На этой квартире, на Дистельвег, 11, умирает в марте 1915 года мать Крупской, Елизавета Васильевна, неразлучно сопровождавшая революционную чету по всем сибирским и эмигрантским странствиям. Все мемуаристы отмечают, что вождь большевиков был хорошим зятем, хотя и позволял себе подтрунивать над старушкой. Елизавету Крупскую хоронят на Бремгартенском кладбище. В 1969 году урну и надгробную плиту перевезут в Ленинград и закопают вместе с ее мужем, К.И.Крупским.

Неподалеку от Ленггассе находится Бремгартенский лес — излюбленное место гуляний русской колонии. Ленина с Инессой Арманд и Крупской товарищи называют «партией прогулистов» за пристрастие к долгим прогулкам по бернскому лесу. В этом удивительном революционном браке втроем чувствуется влияние семейных отношений «новых людей» из «Что делать?» Чернышевского. Тройка любит подниматься на лесистый холм Малый Шанц, у подножия которого лежит Берн. В январе 1916-го Ленин напишет Инессе: «В последнее воскресенье мы предприняли великолепную прогулку на «нашу» маленькую гору. Вид на Альпы был необычайно красивым; я жалел, что Вас не было с нами».

Посещают «новые люди» и Городской театр (Stadttheater), однако швейцарская сцена не пользуется у них любовью. «Обычно пойдем в театр, — вспоминает Крупская, — и после первого действия уходим. Над нами смеялись товарищи: зря деньги переводим». Исключение составила постановка «Живого трупа». Поклонник Толстого на этот раз досидел до конца представления.

Но для прогулок у эмигрантов времени немного — надо готовить революцию. Местом для проведения совещаний, встреч, собраний, конференций социал-демократам служит кафе «Швайцербунд» (Schweizerbund, Länggasse, 44). Здесь встречаются буду-

шие диктаторы величайшей империи, а в то время мечтательные чудаки-эмигранты Ленин, Зиновьев, Бухарин, Радек, Пятаков, Крыленко.

Еще одним бернским местом, где часто слышится в годы Первой мировой войны русская речь, является Народный дом (Volkshaus). Построенное в 1914 году, это здание служит прежде всего для собраний и проведения конференций швейцарских социал-демократов. Здесь устраиваются весной 1915 года международные социалистические конференции – женская и молодежная, на обеих активную роль играет Ленин, хотя и не выступает сам на заседаниях. Так, в марте, во время женской конференции, поскольку мужчин в зал не пускают, Ленин сидит во время прений внизу в ресторане, и к нему по очереди спускаются из зала рассказать о ходе событий и узнать, что говорить и делать, то Крупская, то Арманд, то жена Зиновьева Лилина. Тон на конференции в соответствии с ленинскими директивами задают русская представительница итальянских социалистов Ангелика Балабанова и немецкая вдова российского еврея Клара Цеткин.

Из того же ресторана руководит Ленин и конференцией молодежных организаций в апреле 1915 года. Здесь немец Вилли Мюнценберг, один из будущих вождей Коминтерна, становится яростным поклонником Ленина. Через полгода он начинает издавать в Цюрихе журнал «Интернационал молодежи» (Jugend-Internationale), в котором сотрудничают Ленин, Троцкий, Бухарин, Радек.

Революционная литература издается и в Берне. В предместье Бюмплиц (Bümpliczstrasse, 101) в типографии Бентели (Benteli) печатается нелегальная большевистская пресса: «Социал-демократ», «Коммунист», сборник «Социал-демократа».

Ленин с другими партийными публицистами печатается и в «Бернер Тагвахт» (Berner Tagwacht), органе швейцарских социал-демократов. В типографии этого издания на Капелленштрассе (Kapellenstrasse, 6) выходит и основанный «циммервальдскими левыми» журнал «Форботе» (Vorbote).

Идея провести антивоенную международную социалистическую конференцию витает в воздухе, ее излагают и Троцкий, и Мартов. С конкретным предложением взять на себя организацию этой встречи социал-демократов из воюющих стран Мартов обращается к секретарю Швейцарской социал-демократической партии Роберту Гримму весной 1915 года.

Квартира женатого на революционерке из России Гримма, расположенная на Брайтенрайнштрассе (Breitenrainstrasse, 37) в районе Лоррейн, на другом берегу Аары, хорошо известна русским эмигрантам. Они частенько заходят сюда. Именно по этому адресу отправился Ленин в первые же дни своего приезда в Берн в 1914 году. Здесь гость из России учил швейцарца, как напишет в своих воспоминаниях Гримм, что «есть только один лозунг, который вы должны немедленно распространять в Швейцарии, как и во всех других странах: вооруженное восстание!».

Расскажем коротко о Розе Гримм. В шестнадцать лет девушка из Одессы приезжает учиться в Берн. Гримм – второй ее муж. Первый, Йовель Рейхесберг, также выходец из России, был братом профессора Бернского университета Наума Рейхесберга, лекции которого по политической экономии были особенно привлекательны для русского юношества. После развода Роза выходит замуж в 1908 году за швейцарского социалиста. Будучи на шесть лет его старше, более опытной и несравнимо более образованной, она играет в его политической карьере определяющую роль.

Швейцарский социалист Пауль Тальман так описывает «товарища Розу» в своих воспоминаниях: «Эта маленькая женщина, хрупкое тело которой, казалось, пожирал изнутри горевший в ней огонь, оказывала огромное влияние на левый фланг партии и на коммунистов. Весь ее облик отличался спартанской простотой, и даже в том, как она одевалась – всегда в застегнутом до подбородка строгом платье, – она была достойной представительницей русской интеллигенции, боровшейся с царизмом. Роза Гримм обладала не только солидным запасом знаний во всех областях, но всегда была готова поделиться своими знаниями. ...Когда эта странная фигура появлялась на трибуне, начинался шепот и даже смех, но зал в мгновение замирал, как только раздавался низкий голос Розы. Она была выдающимся оратором, сама заражалась от собственного темперамента и умела бросать в толпу волнующие, зовущие к борьбе лозунги, которые понимал каждый».

Роза Гримм постоянно выступает на митингах и собраниях, но часто отталкивает швейцарцев своим радикализмом. Русская революционерка оказывается намного левее своего супруга по политическим взглядам, что приводит к конфликтам в семье. В 1916 году супруги разводятся, детей суд решает оставить швейцарцу-отцу.

Большевичка по воззрениям, Роза играет на швейцарской политической сцене роль «enfant terrible». Во время генеральной забастовки, например, она на левом фланге социалистов и выступает против ее прекращения, требуя борьбы до победного конца. А вот пример политических баталий на партийном съезде швейцарских социалистов 9 декабря 1920 года. Дебатируется вопрос о вступлении партии в Третий Интернационал, а именно: о принятии двадцати одного условия, которые были выдвинуты Москвой. В своей зажигательной речи Роза Гримм обрушивается на «оппортунистическую» позицию своего бывшего супруга, «предателя интересов рабочего класса», и требует принятия большевистских условий. После нее берет слово Гримм. В тишине затавшего дыхания зала он говорит: «Товарищи, вы слышали, что сказала эта женщина. Она была моей женой. Теперь вы понимаете, почему я ничего больше не хочу слышать о России...» Грохот аплодисментов перекрывает его слова. Условия Москвы швейцарскими социалистами отклоняются.

Роза Гримм находится среди инициаторов раскола социал-демократической партии и вступает в новообразовавшуюся коммунистическую партию Швейцарии, работает в ее газете «Форвертс» (Vorwärts). В двадцатые годы она неоднократно приезжает в Советскую Россию, но скоро и в коммунизме ее постигает разочарование.

Во время Второй мировой войны Роза Гримм снова вступает в партию «оппортунистов» и «предателей рабочего класса». Остаток жизни она проведет в Цюрихе и умрет, всеми забытая, в клинике «Шлössли» (Schlössli) в местечке Этвиль (Oetwil) рядом с Цюрихским озером в 1954 году в восьмидесятилетнем возрасте.

Возвращаемся в весну 1915 года. Роберт Гримм берет на себя организацию международной конференции социалистов-интернационалистов и держит место ее проведения до последней минуты в тайне. Делегаты собираются 5 сентября 1915 года в бернском Народном доме. Добрая треть участников — эмигранты из России. Они представлены несколькими фракциями. От большевиков — Ленин и Зиновьев. Меншевиков представляют Аксельрод и Мартов. Эсеров — Натансон, Чернов и Камков. Троцкий и Рязанов выступают от группы «Наше слово». Радек — от польских социал-демократов. Раковский — от Балканской рабочей конфедерации. Ян Берзин — от латышей. Ангелика Балабанова — от итальянцев.

Соблюдая все правила конспирации, под видом научной экспедиции «ученые» отправляются из города в направлении, которое знает только сам Гримм. «Он подготовил для конференции, — напишет в своих мемуарах Троцкий, — помещение в десяти километрах над Берном, в небольшой деревушке Циммервальд (Zimmerwald), высоко в горах. Делегаты плотно уселись на четырех линейках и отправились в горы. Прохожие с любопытством глядели на необычный обоз. Сами делегаты шутили по поводу того, что полвека спустя после основания Первого Интернационала оказалось возможным всех интернационалистов посадить на четыре повозки».

Прибыв на место, участники конференции устраиваются в единственной гостинице деревушки — «Бо-Сежур» (Beau Séjour). Ленин занимает вместе с Зиновьевым комнату № 8. Заседания проходят до 8 сентября. О положении в России от русских делегатов выступает Павел Борисович Аксельрод. Ленин большей частью отмалчивается — за все дни выступлений вождь русских радикалов только пять раз просит слово всего на несколько минут. За большевиков говорят Радек и Зиновьев. Ленин и его сторонники оказываются в меньшинстве — из сорока пяти участников их проект резолюции получает только восемь голосов. Заключительный манифест составляют совместно Троцкий и Гримм.

«Через несколько дней безвестное дотоле имя Циммервальда разнеслось по всему свету, — напишет Троцкий в книге «Моя жизнь». — Это произвело потрясающее впечатление на хозяина отеля. Доблестный швейцарец заявил Гримму, что надеется сильно поднять цену своему владению и потому готов внести некоторую сумму в фонд Третьего Интернационала. Полагаю, однако, что он скоро одумался».

Еще одно «русское» место на карте города, как это ни покажется странным, — германское посольство. Через германских дипломатических представителей тянутся связи между воюющей Германией и русскими революционными партиями. Немецкие деньги на русскую революцию идут по самым разным каналам.

Один путь идет через Александра Кескулу — эстонца, российского подданного, учившегося, кстати, в Бернском университете. Через Кескулу и ряд доверенных лиц немецкие деньги поступают в кассы социалистических партий, прежде всего большевиков — как

сторонников поражения России. Контакт проходит по линии Ромберг, немецкий посланник в Швейцарии, — Кескула — Зильфельд, еще один эстонский социалист, близкий к большевикам, — Харитонов, секретарь цюрихской большевистской организации, — Ленин. Средства идут на издание революционной пропаганды и на поддержание ведущих деятелей партии. Германский генеральный штаб действует в интересах германской победы, Кескула — в интересах эстонской независимости, Ленин — в интересах диктатуры пролетариата, но все сходятся в общем интересе — поражении России.

Другим важным каналом является Александр Парвус, один из основателей «Искры», герой первой русской революции. В марте 1915 года в обширном меморандуме он излагает германскому правительству проект разгрома России путем разложения ее революционерами на немецкие деньги, с тем чтобы Германия могла сэкономить усилия и жизни своих солдат на полях сражений. С этой целью он приезжает в конце мая 1915 года в Швейцарию для встречи с Лениным, от которого получает громкий прилюдный отказ и тихое тайное согласие. Деньги в большевистскую кассу идут через Скандинавию под прикрытием торговли. Этот щекотливый вопрос Ленин поручает своему близкому сотруднику, с которым он находился вместе в Кракове, а с начала войны в Швейцарии, Якову Ганецкому. В 1915 году Ганецкий из Швейцарии переезжает к Парвусу и устраивается сотрудником его конторы. После Февральской революции, когда все устремятся в Россию, Ганецкий будет оставлен в Стокгольме как представитель

А.Л.Парвус



Заграничного Бюро ЦК для осуществления передачи денежных средств от Парвуса большевикам в Россию. После октябрьского переворота Ганецкого назначают главным комиссаром банков, затем он примет участие в дипломатических переговорах с Германией. В дальнейшем Ганецкий делает карьеру в Советской России, занимает пост наркомвнешторга. В 1937 году он разделит участь других ленинских соратников — его расстреляют вместе с женой и сыном.

Не только большевики, но и другие революционные партии активно черпают из немецких банков. В августе 1916 года с немецким посольством в Берне вступает в контакт эсер Евгений Цивин. Через него поток немецких денег устремляется в карманы социалистов-революционеров — самой массовой тогда социалистической партии. Разумеется, товарищам по партии Цивин не открывает источников «пожертвований».

Идея немецких денег, видно, так напрашивается в русские головы, что ею пользуются не только партии, но и частные лица. Например, предлагает свои усилия для «разложения» русских военнопленных антивоенной литературой Рубакин. Библиофил из Кларана вступает в переговоры с Ромбергом и получает от него на книги 10 тысяч марок.

Известие о революции в России встряхивает библиотечную рутину бернской эмиграции. «Весть о Февральской революции застала пишущего эти строки в Берне, — читаем в воспоминаниях Зиновьева. — Помню, я возвращался из библиотеки, ничего не подозревая. Вдруг вижу на улице большое смятение. Нарасхват берут какой-то экстренный выпуск газеты. «Революция в России». Голова кружится на весеннем солнце. С листком с еще не обсохшей типографской краской спешу домой. Там застаю уже телеграмму от В.И., зовущую «немедленно» приехать в Цюрих».

15 марта газеты печатают телеграммы о событиях в Петербурге, а уже 17-го становится известно об объявленной политической амнистии. Вся русская колония приходит в движение, всех охватывает одна мысль — в Россию!

19 марта в Берне проходит совещание всех русских революционных партий и организаций, посвященное вопросу о возвращении на родину. С предложением ехать через Германию выступит Мартов. Тон задают циммервальдцы — Мартов, Натансон и Зиновьев. Для прикрытия сомнительного проезда через территорию

противника предлагается обмен русских революционеров на пленных немцев и австрийцев. Русские снова обращаются за содействием к Гримму как председателю циммервальдского движения. Швейцарец уполномочен русской политической эмиграцией вести переговоры с немецким послом в Берне Ромбергом. Для немца подобное предложение — пропустить русских революционеров через Германию — во всяком случае не является неожиданностью.

Препятствие план эмигрантов встречает не со стороны Германии, но со стороны России. Комитет по возвращению, объединивший враждующие партии и фракции, ждет официального разрешения на подобную акцию от Временного правительства. Разрешение все не поступает. Ленин больше всего боится упустить время и решает рискнуть репутацией. Он настаивает на том, чтобы ехать одним большевикам, не дожидаясь разрешения из России. Гримм отказывается вести переговоры от имени не всех социалистов, но только одной фракции. На это Ленин ангажирует 3 апреля в Цюрихе послушного Фрица Платтена. Так или иначе остается обсудить с немцами лишь пустые формальности. В тот же день из Цюриха в Берн отправляются вместе с Платтеном Ленин, Крупская, Радек и Зиновьевы. В Народном доме происходит встреча с Гриммом. «Объяснение с Гриммом было короткое и решительное, — описывает события Платтен. — Разговаривали стоя в Народном доме в Берне. Гримм заявил, что он считает вмешательство Платтена нежелательным. Хотя Фриц и искренний революционер, однако плохой дипломат».

Особого дипломатического искусства от Платтена не требуется, только хорошая память. Всю ночь перед визитом в германское посольство его инструктирует Ленин. Большевики останавливаются ночевать здесь же, в гостинице Народного дома. «В комнате Ленина, — вспоминает Платтен, — в номерах при Народном доме в Берне, вопрос о поездке подвергся основательному и детальному обсуждению».

На следующий день Платтен отправляется в германское посольство, где его принимает Ромберг. Немец соглашается на все выдвинутые Лениным условия проезда большевистской группы. Возвращению большевиков на родину ничего больше не препятствует.

Все остальные политические группы отказываются участвовать в большевистской «авантюре» — но лишь для того, чтобы после-

довать за большевиками через Германию со вторым или третьим «пломбированным» поездом.

Временные русские паспорта выдаются большевикам в русском посольстве. Последний русский посол Бибиков уже перестал выполнять свои обязанности, так что бумаги эмигранты получают у служащих канцелярии.

Русское посольство в Швейцарии, расположенное по адресу: Шваненгассе, № 4 (Schwanengasse), переживает в эти месяцы, пожалуй, самый драматический период своего существования. Еще совсем недавно сотрудники его представляли могущественную державу и занимались, помимо прочего, оформлением русских почетных пенсий швейцарским гражданам — как, например, Анри Дюнану. Знаменитый основатель международного Красного Креста, разорившийся вследствие своих благородных начинаний, жил на русскую пенсию. Вот отрывок из письма президента русского общества Красного Креста русскому послу в Швейцарии от 2 февраля 1897 года: «Августейшая покровительница общества Красного Креста государыня императрица Мария Федоровна ввиду тяжкого материального положения инициатора и истинного виновника торжества великой идеи Красного Креста высочайше повелеть соизволила назначить ему одновременно... 4000 франков и высочайше утвердила предложение... о назначении ему в будущем ежемесячной пенсии из оклада 4000 франков в год, каковая будет ему пересылаться ежемесячно через посредство русской миссии в Берне».

Небезынтересно, что в последние годы Российской империи всевластие революционеров отражается даже на русской миссии в Швейцарии. Сотрудником канцелярии военного атташе при посольстве России в Берне устраивается эсер Алексей Устинов, учившийся в Цюрихском политехникуме. Вернувшись после революции в Россию, Устинов выступит за союз с большевиками и станет лидером отколовшейся от эсеров Партии революционного коммунизма. Позднее он вступит в ряды РКП(б) и закончит свою карьеру в 1937 году на посту советского полпреда в Эстонии.

Последний царский посланник Бибиков вручает в марте 1917 года бернскому политическому департаменту ноту Милюкова — нового русского министра иностранных дел — об отречении Николая и удаляется в отставку. В конце марта Бибикова сменяет на посту Ону, однако посла Временного правительства Швей-

царя официально не признает — швейцарцы выжидают, как будут развиваться события в России, которые не заставляют себя ждать.

Первым советским представителем новый наркоминдел Троцкий назначает находившегося тогда в Швейцарии Вячеслава Карпинского. В газетах начинается кампания против посла-большевика. Пишут о его связях с террористами-экспроприаторами, а также о его боевой подруге Равич, арестованной при попытке разменять «экспропрированные» банкноты. Однако у Карпинского свои планы. Так и не вступив в контакты с официальным Берном, он покидает 5 января 1918 года через Шафхаузен пределы Швейцарии и в конце января прибывает в Петроград, поставив Наркомат иностранных дел перед необходимостью назначить нового представителя.

Со вторым советским послом тоже все выходит нескладно. Полномочным представителем большевистского правительства теперь назначается И.А.Залкинд. 30 января 1918 года он выезжает из Петрограда, но до места назначения не доезжает. Связь с ним обрывается, и до Швейцарии он добирается после долгих приключений только в мае, когда в Берн уже прибыла новая советская миссия. Поскольку в Москве ничего не знали о судьбе пропавшего посланника, то постановлением от 5 апреля 1918 года послом в Швейцарию назначили Яна Берзина. Два слова о первом советском посланнике в Берне: участник революции 1905 года, секретарь Петербургского комитета РСДРП, после многочисленных арестов эмигрировал в 1908-м на Запад, в 1916—1917 годах — в Америку. После октябрьского переворота — дипломат, глава советской дипломатической миссии в Швейцарии, потом директор Центрального архива в Москве (не путать с Яном Берзиным — главой советской разведки). Вопрос двоевластия в мае 1918 года решается в советской миссии просто — Берзин объявляет Залкинда генеральным консулом.

Не признавая новое правительство в Москве, швейцарские власти тем не менее признают его представительство в Берне. Берзина принимает президент Конфедерации Калондер (Calonder), который, как пишет в отчете в Москву глава советской миссии, «выразил даже благодарность советскому правительству за то, что оно до сих пор не ставило круто перед Швейцарией вопроса об официальном признании».

Заместителем руководителя советского представительства в Швейцарии назначен уже известный нам Георгий Шкловский.

Секретарь бернской группы большевиков, Шкловский живет в Швейцарии с 1909 года. В Россию он возвращается с третьим эмигрантским транспортом в июле 1917 года, но ненадолго — Троцкий посылает его, как хорошо знакомого со швейцарской спецификой, заместителем Берзина.

Поскольку своего помещения у большевиков нет, они претендуют на здание бывшего русского посольства, в котором еще находится миссия Временного правительства. «Вчера швейцарское правительство заявило мне, — пишет русский посланник Ону послу Временного правительства в Париже Маклакову из Берна 31 мая 1918 года, — что оно решило вычеркнуть российскую миссию из дипломатического списка, оставив вместо нее на списке пометку: «вакант». На мой вопрос, признает ли федеральное правительство экстерриториальность помещения миссии, мне ответили, что помещение миссии считается отныне частной квартирой. Вчера в миссию пришли большевики и в наглой форме передали мне требование о сдаче ключей, печатей и дел миссии. Я ответил отказом и предложением удалиться. Подчинение, однако, последовало лишь при появлении вызванной миссией полиции».

В развернувшейся борьбе между двумя миссиями из России швейцарские федеральные власти принимают радикальное решение. Поскольку обе претендуют на архивы посольства Российской империи, то 30 мая 1918 года швейцарское правительство издает постановление об их секвестре, несмотря на протест Ону. Архивы и мебель российского посольства 10 июня перевозятся в административное здание Главного управления таможен в Берне, где все имущество и будет храниться вплоть до восстановления дипломатических отношений между СССР и Швейцарией в 1946 году.

«После опечатания архивов и имущества старой миссии, — читаем теперь продолжение этой истории уже в изложении Берзина, — гражданин Ону с К^о уехали на дачу. Мы вступили в переговоры с домохозяином и наняли у него помещение старой миссии... Таким образом, мы поселились в том же доме, где раньше помещались Бибиковы, Ону и прочие слуги старого режима. По договору до ноября с.г. мы ничего не будем платить, так как до этого времени квартира оплачена прежней миссией. Контракт заключен на два года, плата — 18 000 франков в год». Платить за следующий год большевикам, однако, не придется.

Посланцы революционного русского пролетариата разворачивают в Швейцарии активную деятельность, но не на дипломатическом поприще. Кроме швейцарского Политического департамента и старого знакомого немецкого посла Ромберга, никто из дипломатического корпуса в Берне не захотел иметь с ними дело. «...Я вначале завез визитные карточки дипломатическим представителям всех стран, — сообщает в Москву 27 июля 1918 года Берзин, — но в ответ на это свои карточки мне завезли только представители германской коалиции. Правда, прислал свою карточку также посланник Соединенных Штатов, но когда я захотел повидаться с ним лично, то нарвался на отказ». Потраченные же Германией на русскую революцию деньги большевики отработали сполна: «С здешними представителями Германии — с посланником бароном Ромбергом, с советником графом Монжеласом, с первым секретарем посольства фон Губертом — отношения у нас хорошие».

Основное внимание уделяется коммунистической пропаганде всеми возможными средствами, прежде всего через левую швейцарскую прессу. 2 октября 1918 года Берзин пишет из Берна Чичерину: «Теперь больше, чем когда бы то ни было, нужно работать на мировую революцию. Сговор империалистов мы должны предупредить — мы должны вызывать немедленно революцию где только возможно».

Отметим, что среди сотрудников посольства — Софья Дзержинская, жена основателя «карающего меча революции». Софья Сигизмундовна Мушкат — вторая супруга Дзержинского. Учительница музыки выходит замуж за революционера в 1910 году, живет с сыном в эмиграции, в Швейцарии — с 1914 года. В ее воспоминаниях «В годы великих боев» находим интересный рассказ о приезде главного чекиста в 1918 году в Швейцарию.

Дзержинский уже был в Швейцарии — в 1910 году в марте по нескольку дней в Берне и Цюрихе. Разлученные тюрьмой, войной и границами супруги поддерживали связь по переписке. Дзержинского освободила Февральская революция, но рвавшейся в Россию жене он писал, что не стоит торопиться с возвращением. Софья Дзержинская во время войны жила тем, что преподавала богатым семьям музыку в Цюрихе, по многу месяцев в год проводила с часто болевшим сыном Ясиком в местечке Унтерэгери (Unterägeri) за Цугом, в Кларане, потом снова в Цюрихе. С приездом советской миссии она переезжает в Берн и устраи-

вается работать в секретариат. Письма идут теперь через границы с дипкурьерами, и переписка между супругами становится оживленной. 24 сентября 1918 года Дзержинский пишет из своего кабинета на Лубянке: «Тихо сегодня как-то у нас в здании, на душе какой-то осадок, печаль, воспоминания о прошлом, тоска... Мечтаю. Хотелось бы стать поэтом, чтобы пропеть вам гимн жизни и любви... Может, мне удастся приехать к вам на несколько дней, мне необходимо немного передохнуть, дать телу и мыслям отдых и вас увидеть и обнять. Итак, может быть, мы встретимся скоро, вдали от водоворота жизни после стольких лет, после стольких переживаний... А здесь танец жизни и смерти — момент поистине кровавой борьбы, титанических усилий...»

Действительно, проходит совсем немного времени, и овеянный недоброй славой «Фукье-Тенвиль русской революции» появляется на ночной улице Берна. «Однажды, в начале октября, — вспоминает Софья Дзержинская, — меня вызвал к себе в кабинет советский посол Берзин и под большим секретом сообщил, что Феликс уже находится в пути к нам. А на следующий день или через день после десяти часов вечера, когда двери подъезда были уже заперты, а мы сидели за ужином, вдруг под нашими окнами мы услышали насвистывание нескольких тактов мелодии из оперы Гуно «Фауст». Это был наш условный эмигрантский сигнал, которым мы давали знать о себе друг другу, когда приходили вечером после закрытия ворот. Феликс знал этот сигнал еще со времен своего пребывания в Швейцарии — в Цюрихе

Ф.Э.Дзержинский с женой и сыном



и Берне в 1910 году. <...> Мы сразу догадались, что это Феликс, и бегом помчались, чтобы пустить его в дом. Мы бросились друг другу в объятия, я не могла удержаться от радостных слез...»

Дзержинский приезжает в Швейцарию с поддельными документами на имя Феликса Доманского в сопровождении Варлама Аванесова, члена коллегии ЧК. Оба останавливаются в гостинице «Швейцерхоф» напротив вокзала, в которой ночуют советские дипкурьеры. Изменил Дзержинский для поездки инкогнито и свою внешность. «Он, чтобы не быть узнанным, перед отъездом из Москвы сбрил волосы, усы и бороду. Но я его, разумеется, узнала сразу, хотя был он страшно худой и выглядел очень плохо».

Первые дни супруги проводят в Берне, много гуляют, ходят с ребенком смотреть на медведей. Дзержинский заболевает гриппом, бушевавшим в Швейцарии в 1918 году, но через несколько дней чувствует себя лучше, и втроем они уезжают отдыхать в Тессин, сделав по дороге остановку в Люцерне. В Лугано Дзержинские проводят две недели, ведя жизнь обычных курортников. 25 октября 1918 года Дзержинский и Аванесов покидают Швейцарию и отправляются в Берлин. Тайная цель поездки — рекогносцировка на местности. В Европе называют революционные события.

После этого тайного визита активность советской миссии увеличивается. Особенно усиливается большевистская пропаганда с приходом в Швейцарию из Москвы Ангелики Балабановой в октябре 1918 года. Политический департамент требует от советской миссии отъезда за пределы страны Балабановой и Залкинда. Драматического накала события достигают к годовщине большевистского переворота.

5 ноября швейцарские власти объявляют призыв в целях борьбы с ожидающимися рабочими выступлениями, что только подливает масла в огонь. 6 ноября газеты сообщают о высылке накануне из Германии советской миссии под руководством Адольфа Иоффе — кстати, бывшего цюрихского студента-юриста, известного в будущем троцкиста, покончившего с собой. 9 ноября кайзер Вильгельм отрекается от престола. В Германии вспыхивает революция. 11 ноября рушится монархия Габсбургов в Австро-Венгрии. В Швейцарии начинается всеобщая стачка. Цюрихские коммунисты готовятся к баррикадным боям. В этой обстановке швейцарское правительство принимает на следующий день после начала генеральной забастовки решение о высылке советской миссии в 24 часа. В здании посольства совет-

ские дипломаты спешно жгут документы. «По поручению своего начальника Шкловского, — пишет Софья Дзержинская, — я отобрала все секретные документы и сожгла их в печке в комнате, где работала».

Во время обыска у нее были отобраны, в частности, письма главного чекиста. «Швейцарская полиция, по-видимому, не имела такого опыта в политической борьбе, как русская охранка, и не разобралась в том, чьи письма изъяла у меня при обыске, и через несколько месяцев по моему требованию вернула все взятые у меня письма Феликса».

Отношение к «генеральной забастовке» пролетариата, однако, в широких массах населения весьма «швейцарское» — добродушные бюргеры организуют вооруженные дружины для поддержки армии в ее борьбе против зачинщиков беспорядков. Даже студенты, которые уже по причине своего возраста должны были бы быть среди строителей баррикад в Цюрихе, выступают в роли «штрейкбрехеров», причем знаменательно, что именно студенты из России — с их новым опытом реальной революции — выступают теперь добровольными защитниками порядка. Упоминание об этом находим в воспоминаниях Фрица Брупбахера: «Даже иностранные, и особенно русские, студенты предложили свои услуги почтовому ведомству в качестве почтальонов-штрейкбрехеров, и бюллетени буржуазной прессы распространялись по всему городу студентами всех наций».

Железная дорога остановилась. Высылка большевистской миссии происходит на автомобилях до Кройцлингена (Kreuzlingen). От бернского вокзала на восьми автомобилях колонна под свист и улюлюканье собравшейся толпы отправляется из Берна. Не обходится и без эксцессов — пока дипломаты из Советской России добирались до здания вокзала, Балабановой, как она заявит позже, поранили руку. Высылка происходит по официальному обвинению в проведении планомерной революционной пропаганды насилия и террора. 12 ноября 1918 года большевиков выдворяют за границу Швейцарии в немецкий Констанц.

Приехав в Москву, в своей речи на заседании ВЦИК «О деятельности швейцарской миссии» Берзин скажет о поставленном швейцарской стороной условии не вести революционную пропаганду: «Пришлось принять эти условия, поехать туда и начать работу. Создалось ненормальное положение: мы, представители рабоче-крестьянской России, должны были вступить в сношение

не с рабочим классом Швейцарии, а с буржуазным правительством. Но, несмотря на это, мы продолжали свое дело революционной пропаганды...» Отчет о заседании завершается словами: «Тов. Берзин заканчивает свой доклад уверенностью, что Швейцарии не миновать революции...»

Высылка затронула только дипломатов, Софья Дзержинская остается в Швейцарии еще до зимы и уезжает только в январе 1919 года с эшелонном, с которым возвращались в Россию интернированные здесь военнопленные. Фритц Платтен провожает ее до Базеля.

Правительство Колчака в Омске, видя себя в качестве легитимного преемника правительства Керенского, также посылает в Швейцарию свою дипломатическую миссию. Послом Верховного правителя России в Берн отправляется бывший член Государственной думы Иван Николаевич Ефремов, короткое время министр юстиции Временного правительства, затем министр государственного призрения. Он был назначен послом в Швейцарию еще в сентябре 1917 года. Полномочия его были подтверждены сначала Уфимской директорией, затем правительством Колчака. Ефремов прибывает в Берн в январе 1920 года. Его миссия тоже не признается официально, как и миссия Берзина. Когда в Женеве устраивается панихида по погибшему Колчаку, официальные власти отвергают приглашение миссии Ефремова. До 1925 года Ефремов живет в Швейцарии, участвует в первом собрании Лиги Наций в Женеве в конце 1920 года, является одним из учредителей Русской (эмигрантской) ассоциации Лиги Наций. Позже Ефремов переезжает в столицу русской послереволюционной эмиграции — Париж.

После убийства Воровского дипломатические отношения между Советской Россией и Швейцарией на многие годы замирают. Единственным официальным лицом в Швейцарии становится Сергей Багоцкий. Врач-большевик, живший во время войны в эмиграции в Цюрихе, является с 1918 по 1937 год представителем советского Красного Креста. Разумеется, старания Багоцкого направлены на пропаганду в Швейцарии коммунистических идей. Он пишет Литвинову 5 марта 1926 года о своей работе со швейцарской прессой по признанию СССР, в частности, в бернской газете «Бернер Тагвахт»: «...Я уже несколько месяцев тому назад устроил там в качестве сотрудника по русскому вопросу одного товарища, которому даю материал и темы, а ино-

гда прямо статьи. (В целях конспирации я сам никаких отношений с редакцией не поддерживаю, хотя она знает, что он получает от меня русские газеты и материалы.)» В Берне стараниями Багоцкого в январе 1924 года создается «Ассоциация друзей новой России».

После февраля 1917 года основная масса эмигрантов покидает Швейцарию, здесь остаются в основном «неполитические» лица, престарелые, находившиеся на лечении и т.д. С началом смуты в России положение их становится критическим. Лишившись доходов, они начинают осыпать кантональные власти просьбами о помощи.

В конце 1917 года временный поверенный в делах России в Швейцарии Ону, представлявший по-прежнему интересы «несоветских» русских, пишет послу России во Франции В.А.Маклакову из Берна: «В настоящее время положение русских здесь критическое. Если же прекратится денежная помощь миссии, то оно станет невыносимым. Русская колония в Швейцарии насчитывает несколько тысяч человек: из них около двух тысяч пятисот — больные, старые, не имеющие заработка. За последние 3—4 месяца денежные переводы из России почти прекратились, и в критическом положении очутились даже лица, имеющие состояния в России. После максималистского бунта швейцарцы начали прекращать тот кредит, который в весьма ограниченном размере они открывали русским в прежнее время. Теперь русских выселяют из гостиниц, пансионеров и частных квартир. Русским отказывают в продуктах первой необходимости».

Этими вопросами занималась Русская церковь и различные организации, организовывавшие помощь русским. Так, до марта 1920 года только американский Красный Крест выделял на помощь русским в Швейцарии по 100 000 франков ежемесячно. Большинство русских эмигрантов в Швейцарии не могли себя обеспечить и существовали на всевозможные пособия, как, например, художница Марианна Веревкина, получавшая долгие годы пособие от Красного Креста.

Волна послереволюционной русской эмиграции не обходит Берн стороной, но большинство выбирают все же соседние страны: Германию или Францию. В 1922 году в Швейцарии зарегистрировано всего около трех тысяч беженцев из России, в то время как в Германии, для сравнения, в том же году было около 250 тысяч русских.

Заканчивая эту главу, упомянем лишь одно эмигрантское имя, связанное с городом на Ааре.

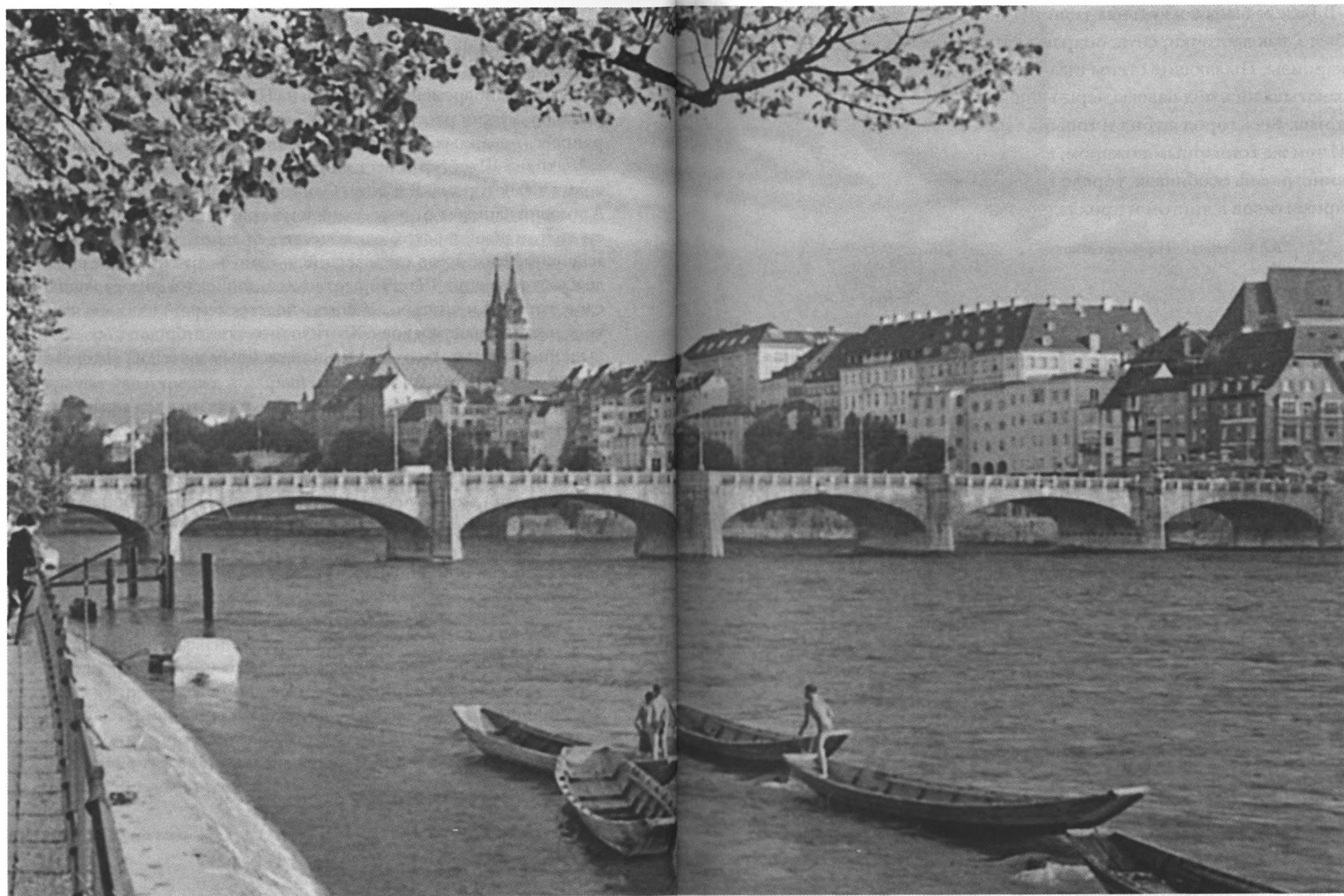
В Берне, где его предок был некогда последним шультхейсом, изгнанным французской революционной армией, живет поэт Анатолий Штейгер. Происхождение из известной бернской семьи, переселившейся в XIX веке в Россию, дает возможность ему и его сестре, писательнице и поэтессе Алле Головиной, «вернуться» в Швейцарию. Этой возможностью не хочет воспользоваться их брат Борис Сергеевич Штейгер. Он остается в России и, прекрасно зная языки, служит при дипломатических миссиях в Москве, одновременно работая и на НКВД, и на американскую разведку. Будучи расстрелян в 1937 году, он, в отличие от тысяч репрессированных, так и не был реабилитирован.

Анатолий Штейгер болен туберкулезом и много времени проводит в санаториях. В книге «Одиночество и свобода» Георгий Адамович напишет о поэте, умершем в тридцать семь лет: «В своем долгом швейцарском одиночестве, больной, беспомощный, мало-помалу от всего отказавшийся, одно за другим, даже в надеждах теряющий, Штейгер дотянулся, дописался до настоящих слов, горьких и чистых... У него, «подстреленной птицы», хватило настойчивости и воли. Хватило мужества отбросить все обольщения и уйти от смерти тем единственным путем, на котором она не могла его настигнуть».

V

Город Гольбейна и Белого

БАЗЕЛЬ



«В Базеле была воскресная тишина, так что слышно было, как ласточки, снуя, оцарапывали крыльями карнизы. Пылающие стены глазами яблоками закатывались под навесы черно-вишневых черепичных крыш. Весь город шурил и топырил их, как ресницы. И тем же гончарным пожаром, каким горел дикий виноград на особняках, горело горшечное золото примитивов в чистом и прохладном музее».

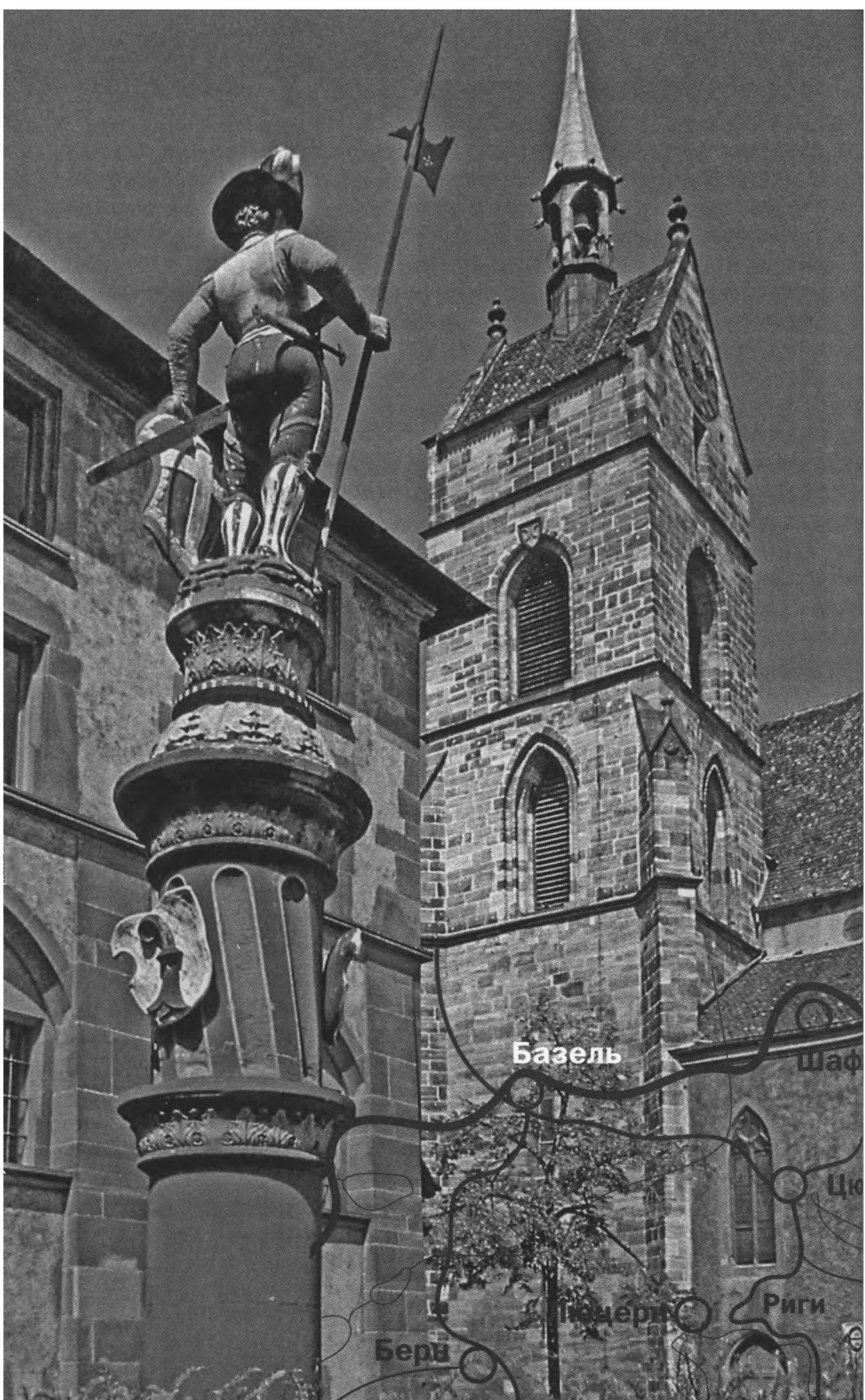
Б.Л.Пастернак. «Охранная грамота»





А.А.Тургенева и А.Белый





Базель

Шаф

Цю

Риги

Берн

Цюрих

«**С**овершенно пробудился я от этого мрака, помню я, вечером, в Базеле, при въезде в Швейцарию, и меня разбудил крик осла на городском рынке». Князь Мышкин, подобно самому автору «Идиота», приезжает в Швейцарию через Базель. В «досамолетную» эпоху этот город, расположенный на границе трех государств, служил для русских путешественников главными воротами в альпийскую республику. Базель — это место встречи и прощания со Швейцарией.

В Базеле заканчивает свое путешествие по Гельвеции в 1782 году, прибыв сюда по Рейну после осмотра Рейнского водопада у Шафхаузена, цесаревич Павел Петрович. Со своей свитой он останавливается в гостинице «У трех волхвов» (Drei Könige am Rhein). Этот отель, отреставрированный и надстроенный, и сейчас считается лучшим в городе.

Карамзин через семь лет, наоборот, приезжает в Швейцарию через Базель. Молодой писатель останавливается в гостхаузе «Шторхен» (Storchen), существующем и по сей день на Фишмаркт (Fischmarkt, 10). Так описывает он город конца XVIII века: «Базель более всех городов в Швейцарии, но, кроме двух огромных домов банкира Саразеня, не заметил я здесь никаких хороших зданий, и улицы чрезмерно худо вымощены. Жителей по обширности города очень немного, и некоторые переулки заросли травой».

А вот мнение русского путешественника о базельцах: «Во всех жителях видна здесь какая-то важность, похожая на угрюмость, которая для меня не совсем приятна. В лице, в походке и во всех хватках имеют они много характерного. — В домах граждан и в трактирах соблюдается отменная чистота, которую путешественники называют вообще швейцарскою добродетелию. — Только женщины здесь отменно дурны: по крайней мере я не видал ни одной хорошей, ни одной изрядной».

Посещение базельского собора — Мюнстера — тоже не приводит нашего путешественника в восторг: «В так называемом Минстре, или главной базельской церкви, видел я многие старые монументы с разными надписями, показывающими бедность разума человеческого в Средних веках». Впрочем, о похороненном здесь Эразме Роттердамском Карамзин отзывается с почтением.

С другой стороны, сильное впечатление производят на него работы художника Ганса Гольбейна: «В публичной библиотеке показывают многие редкие рукописи и древние медали, которых

цену знают только антикварии и нумисматографы; а что принадлежит до меня, то я с большим примечанием и удовольствием смотрел там на картины славного Гольбеина, базельского уроженца, друга Эразова. Какое прекрасное лицо у Спасителя на вечере! Иуду, как он здесь представлен, узнал бы я всегда и везде. В Христе, снятом со креста, не видно ничего божественного, но как умерший человек изображен он весьма естественно. По преданию рассказывают, что Гольбеин писал его с одного утопшего жида».

Посетив городскую ратушу, дом Парацельса и прочие положенные достопримечательности, а также ознакомившись с демократическим устройством правления городом, что заставляет его особо отметить: «Хлебники, сапожники, портные играют часто важнейшие роли в базельской республике», — Карамзин отправляется из Базеля в Цюрих.

«Уже я наслаждаюсь Швейцариею, милые друзья мои! — записывает он с пометкой «В карете, дорогою». — Всякое дуновение ветерка пронизает, кажется, в сердце мое и развеивает в нем чувство радости. Какие места! Какие места! Отъехав от Базеля версты две, я выскочил из кареты, упал на цветущий берег зеленого Рейна и готов был в восторге целовать землю. «Счастливые швейцарцы! Всякий ли день, всякий ли час благодарите вы небо за свое счастье, живучи в объятиях прелестной природы, под благодетельными законами братского союза, в простоте нравов и служа одному Богу?»»

Русских войск во время войны 1799 года в Базеле нет, но их ждут. Предприимчивый издатель Вильгельм Хаас (Wilhelm Haas) даже выпускает немецко-франко-русский разговорник. Базелец решил, что в случае завоевания страны русскими обывателям придется каким-то образом общаться с новыми хозяевами и его полезная книжка найдет спрос. Русские слова он печатает в ней латинскими буквами. Войска Павла Петровича, однако, так и не доходят до Базеля.

Армия же Александра Павловича, напротив, вступает в Базель победительницей французов. В военной кампании 1814 года Базель играет роль исходного пункта для наступления на Францию, здесь располагается штаб-квартира союзников. В январе происходит торжественный въезд в Базель трех императоров — Александра I, Франца Австрийского и Фридриха Вильгельма Прусского. Парад победоносных войск длится несколько часов. В Ба-

зеле русские войска переходят Рейнский мост и направляются на Париж. Среди офицеров – поэт и будущий казненный декабрист Кондратий Рылеев.

В Базеле происходит встреча русского императора со знаменитым педагогом и писателем Песталоцци. Швейцарец находит у царя весьма любезный прием. Он просит у русского монарха не занимать помещение его училища в Ивердоне под лазарет. Разумеется, прошение Песталоцци удовлетворено.

Военные события, окончившиеся славным взятием Парижа, сделали Базель особой достопримечательностью для нескольких последующих поколений русских туристов. Так, мадам Курдюкова отмечает в своих записках о Базеле, что

Здесь ле Рюс переходили
Рейн в тринадцатом году;
Я земной поклон кладу
На том месте эбен, эбен,
Отслужен где был молебен.

Александр I, австрийский император Франц I, прусский король Фридрих Вильгельм



В целом же мятлевская героиня повторяет карамзинские впечатления в рифмованном виде:

Город Базель возле Рейна,
И тут родина Гольбейна.
Незавидные прогулки,
Все кривые переулки.

И народ-то, между нами,
Неопрятен, не хорош,
Совершенно не похож
На швейцарцев из кипсеков.

Николай Станкевич продолжает традицию и пишет родителям 23 сентября 1839 года: «Дождь был первой достопримечательностью, которая меня встретила. Город, и без того некрасивый, в эту мрачную погоду еще менее способен нравиться. Улицы узки и кривы, тротуары дурны, нечем повеселить глаз. Только одна площадка перед собором, с которой открывается Рейн, за ним часть Шварцвальда и начало Швейцарских гор по эту сторону, — только эта площадка вознаграждает за безотрадное странствование по всему городу. Собор, одна из примечательностей, которыми славится Базель, далеко не достигает красоты многих зданий этого рода, виденных мною прежде. Зато окрестность Базеля — очаровательна».

Справедливости ради отметим, что город произвел на молодого человека столь удручающее впечатление потому, что здесь он надеялся увидеть свою знакомую Варвару Дьякову, однако встреча не состоялась. Уже из Флоренции он напишет ей: «Тяжело было тогда мое разочарование: я ехал почти с уверенностью встретить Вас там — и вдруг мне говорят, что Вы давно оставили Швейцарию...»

Для Федора Ивановича Тютчева Базель, наоборот, полон романтики. В письме Эрнестине 22 июля 1847 года он вспоминает свое пребывание в Швейцарии и, в частности, замечает: «Потом, знаешь ли, где я много думал о тебе? В Базеле, хоть это чуждые и, кажется, даже не знакомые тебе места. Был вечер. Я сидел на бревнах, у самой воды; напротив меня, на другом берегу, над скоплением остроконечных крыш и готических домишек, прилепившихся к набережной, высился базельский собор, и все это было

прикрыто пеленою листьями... Это тоже было очень красиво, а особенно Рейн, который струился у моих ног и плескал волной в темноте».

Город поэта резко отличается от города революционного публициста.

«...единственное художественное произведение, выдуманное в Базеле, представляет пляску умирающих со смертью, кроме мертвых, здесь никто не веселится, хотя немецкое общество сильно любит музыку, но тоже очень серьезную и высшую». В этом отрывке Герцен имеет в виду фреску в крестовом ходе церкви Предигеркирхе (Prädigerkirche), знаменитую «Пляску смерти» (Totentanz). Средневековая крытая галерея была уничтожена в 1805 году, так что если Карамзин еще любовался работой художников XV столетия, то Герцен знал эту фреску только из книг. Теперь на этом месте маленький сквер.

Сильные впечатления уносит с собой после пребывания в Базеле Достоевский. Базельские переживания находят отражение в его «швейцарском» романе «Идиот». Писатель с молодой супругой Анной Григорьевной приезжает в этот город из Германии вечером 23 августа 1867 года и останавливается на берегу Рейна в гостхофе Tête d'Ог (находился по адресу: Schifflande, 3, дом был снесен в 1904 году). На следующий день молодожены отправляются осматривать город по следам Карамзина — посещают Мюнстер, ратушу, музей на Аугустинергассе (Augustinergasse), где выставлены работы Гольбейна.

«По дороге в Женеву мы остановились на сутки в Базеле, — вспоминает Анна Григорьевна, — с целью в тамошнем музее посмотреть картину, о которой муж от кого-то слышал. Эта картина, принадлежавшая кисти Ганса Гольбейна (Hans Holbein), изображает Иисуса Христа, вынесшего нечеловеческие истязания, уже снятого со креста и предавшегося тлению. Вспухшее лицо его покрыто кровавыми ранами, и вид его ужасен. Картина произвела на Федора Михайловича подавляющее впечатление, и он остановился перед нею как бы пораженный. Я же не в силах была смотреть на картину: слишком уж тяжелое было впечатление, особенно при моем болезненном состоянии, и я ушла в другие залы. Когда минут через пятнадцать-двадцать я вернулась, то нашла, что Федор Михайлович продолжает стоять перед картиной, как прикованный. В его взволнованном лице было то как бы испуганное выражение, которое мне не раз случалось замечать

в первые минуты приступа эпилепсии. Я потихоньку взяла мужа под руку, увела в другую залу и усадила на скамью, с минуты на минуту ожидая наступления припадка. К счастью, этого не случилось: Федор Михайлович понемногу успокоился и, уходя из музея, настоял на том, чтобы еще раз зайти посмотреть столь поразившую его картину».

В романе «Идиот» копия этого полотна висит в квартире Рогожина. В примечаниях к роману Анна Григорьевна снова пишет о том потрясении, которое пережил Достоевский в Базеле перед работой Гольбейна: «Она страшно поразила его, и он тогда сказал мне, что “от такой картины вера может пропасть”».

На замечание Рогожина, что он любит смотреть на эту картину, Мышкин в романе реагирует, как его автор: «На эту картину! — вскричал вдруг князь, под впечатлением внезапной мысли. — На эту картину! Да от этой картины у иного еще вера может пропасть!»

Базельский музей с его знаменитым собранием служит своего рода притягательным магнитом для приезжих русских. К концу века это притяжение особенно усиливается из-за картин Беклина, кумира тогдашнего художественного мира. Так, отправляясь с молодой женой в свадебное путешествие из Германии в Италию в 1894 году, художник Александр Бенуа специально останавливается в Базеле на три дня в уже упомянутой гостинице Drei Könige. Молодым не везет с погодой — все время льет дождь, но в просветы они бросаются в город, в музей, «в котором нас особенно притягивало наше тогдашнее божество — Арнольд Беклин. Однако, к нашему собственному удивлению, мы получили более глубокое впечатление не от его картин... а от картин и рисунков Гольбейна, Урса Графа, Никлауса Мануэля Дейча. Особенно нас поразили жуткие загадочные произведения последнего».

Х. Гольбейн Младший. «Мертвый Христос»



В начале июня 1899 года двое суток проездом из Женевы и Лозанны в Россию проводит в городе Гольбейна Владимир Соловьев.

Окрестности Базеля не только Карамзина заставляют пасть на колени на берегу Рейна, но даже мирят со Швейцарией Александра Блока, который от этой страны вовсе не в восторге. В письме матери 15 июня 1909 года он описывает свои впечатления: «А какая мерзость — Швейцария, которую мы перерезали всю! Хорошо только в туманах St.Gothard'a и в туннеле, и еще в сказочной стране на границе с Лотарингией и Баварией, где Рейн еще узок и Шварцвальд занимает бесконечное пространство — вблизи от Базеля».

Базель не только музейный, но и университетский город. Базельский университет был основан в 1460 году, с ним связаны славные традиции и такие имена, как Эразм Роттердамский и Эйлер, но русская молодежь в Швейцарии предпочтение отдавала Цюриху и Женеве. Назовем все же несколько студентов из России, учившихся в Базеле. Так, в 1882 году здесь слушает лекции на философском факультете Лев Дейч, один из патриархов русской революции.

В Базельском университете учится выходец из Минской губернии, одесский гимназист Александр Парвус. Он заканчивает курс в 1891 году. Вместе с Лениным базельский выпускник создаст «Искру». Гершанович, большевик, наборщик этой газеты, напишет в своих воспоминаниях: «Истинное наслаждение от политического анализа, блеска остроумия принесли нам статьи Парвуса, печатавшиеся в «Искре», под заголовком «Война и революция». За право набора этих статей происходили среди нас споры и драки...» В 1905-м Парвус будет руководить вместе с Троцким Петроградским советом, пройдет тюрьмы и Сибирь. Очевидно, на него «тюремные университеты» подействуют не так, как на его товарищей по партии, и в эмиграции, в Турции, он займется крупными торговыми делами, разбогатеет. Прославится он еще тем, что во время Первой мировой войны предложит германскому правительству свой знаменитый план вывести Россию из войны путем подготовки революции на немецкие деньги. После войны он снова приедет в Швейцарию и поселится в своей вилле на Цюрихском озере. Однако насладиться жизнью на тихом берегу Парвусу не удастся. Его имя окажется замешано в берлинском скандале — подкупе социал-демократического правительства,

и это приведет к высылке Парвуса из Швейцарии. Конец жизни русский революционер, автор нашумевшей книги «В царской Бастилии», проведет в Германии.

Вот еще один интересный базельский студент. В 1904 году с докторской степенью по медицине заканчивает университет Базеля, предварительно поучившись и в Цюрихе, и в Берне, Николай Осипов — один из первых русских психоаналитиков. «В 1907 году я впервые познакомился с работами Фрейда, — напишет позднее Осипов в своих воспоминаниях. — Никакой известностью в России Фрейд не пользовался... Смело могу сказать, что я первый популяризировал Фрейда в России». В 1910 году врач, работавший в психиатрической клинике Московского университета, начинает издавать журнал «Психотерапия». До Первой мировой войны он неоднократно приезжает в Швейцарию в Цюрих к Блейлеру и Юнгу, а также в Берн к Дюбуа. После революции Осипов эмигрирует в Прагу и станет основателем чешской школы психоанализа.

Большинство же учащейся молодежи из России, как это было принято, больше интересуется политикой и партийными рефератами, нежели университетскими экзаменами. Приезжают в Базель читать рефераты перед студентами посланцы всех революционных партий. Осенью 1915 года, например, выступает с докладом «Военное положение и будущее России» Ленин.

Но вообще-то Базель не пользуется большой популярностью среди русских революционеров, здесь они бывают только проездом.

В годы Первой мировой войны Базель — это город Андрея Белого. Сюда он приезжает еще в 1912 году с Асей Тургеневой, двоюродной внучкой писателя, своей будущей женой, слушать лекции Рудольфа Штейнера, основателя Антропософского общества. В письме Александру Блоку 10 (23) ноября 1912 года Белый сообщает о своих встречах с Доктором, как называли антропософы своего учителя: «За это время прослушали курс, видели мистерии; потом поехали в Базель на новый курс Доктора «Евангелие от Марка»... Говоря внешне: ничего гениальнее я не слышал. В Базеле сдали отчет Доктору (чертежами, рисунками); и поехали в Vitznau...» Общение в первое время из-за плохого знания Белым немецкого происходит на уровне рисунков и жестуляции.

В том же году сюда приезжает поэт Вячеслав Иванов, обеспокоенный «уходом» друга к антропософам. В книге «Почему я стал символистом» Белый вспоминает об этом так: «Приехавший ко мне в Базель Вячеслав Иванов с грустью спросил меня: как быть с символизмом после моего ухода из нашей символической тройки (Я — Блок — Иванов)». Окружение Белого в России не разделяло его восхищения Штейнером и воспринимало его увлечение как очередное чудачество, губящее гения. Этим, пожалуй, объясняется тон, в котором описывает появление в Базеле Иванова в своих воспоминаниях Ася Тургенева: «1912 г. Базель. Нас посетил также писатель Вяч. Иванов... Поэтический дар, личное обаяние и золотые кудри придавали его благородно-профессорской наружности оттенок эстетизма. Он хотел вступить в Теософское общество и просил нас познакомить его со Штейнером. Мы были поражены решительным отказом Штейнера, который вообще допускал в Общество самые удивительные фигуры. «Может быть, господин Иванов большой поэт, — сказал он, — но к оккультизму у него нет ни малейших способностей; это повредило бы

А.Белый и А.Тургенева. Дорнах



ему и нам. Я не хочу с ним встречаться, постарайтесь его отговорить». Так что тот, кто мнил себя первейшим русским оккультистом, был признан в этом отношении полнейшей бездарностью».

Базель, вернее пригородное местечко под Базелем — Дорнах (Dornach), выбирает Рудольф Штейнер как столицу мировой антропософии. Руководитель немецкой секции Теософского общества, основанного еще Еленой Петровной Блаватской, Штейнер выступает своего рода раскольников и образует в 1913 году из своей секции Антропософское общество.

На дорнахском холме Штейнер с учениками начинает строительство Гетеанума, называвшегося тогда еще «Иоанновым зданием» («Johannesbau»), который должен был служить внешним выражением антропософии. Одновременно это и храм-театр, в котором должны были устраиваться гётевские мистерии. Огромное деревянное сооружение строится учениками Штейнера по его проекту и под его непосредственным руководством.

Антропософская община в Дорнахе мыслится прообразом будущего всеобщего братства, и на строительство устремляются антропософы из всех стран. Среди них много русских. Сам Белый вместе с Асей Тургеневой приезжает сюда в феврале 1914 года. «С первого февраля я — в Дорнахе, — пишет Белый в своих «Воспоминаниях о Штейнере». — Здесь охватила иная волна; предприятие постройки — огромный, в себя замкнутый мир; мы в нем канули; в одной столярне, заготавливающей дерево остова здания, куполов, архитравных массивов, в феврале числилось до 300 столяров; это количество увеличивалось; во-вторых, работы бетонные (бетон фундамента и первого этажа), возведение каркаса здания, каркас купола, огромная работа чертежной, приготовление составных частей колонн (числом 26); все заготавливалось вчерне в пяти огромных сараях... Все приезжавшие в Дорнах, пристраивались там или здесь; каждый уходил в свою работу по горло; надо было воспроизвести в количестве нескольких сот одни планы частей: их вычертить, перечислить, четко раскрасить; вычисленное подать инженеру или заведующему деревянными работами, чтобы по планам были заготавливаемы деревянные и бетонные формы; нужен был орган связи; о нем мы, работая во фракциях, и не думали, потому что органом связи был Доктор сам».

Общий труд сопровождается чтением Доктором антропософских лекций «в освобождаемой для этой цели по вечерам столярне».

Первое время Белый и Ася живут в Базеле, в гостинице «Цум Бэрен» (Hotel zum Bären, Aeschenvorstadt), в комнате № 25, и ездят отсюда каждый день на трамвае на работу в Дорнах. Мало кто из антропософов прежде занимался физическим трудом, и всезнающий Штейнер, как вспоминает Белый, «три дня лично много часов показывал, как держать стамеску, вести штрих, плотность и т.д.».

Новые впечатления сперва оказывают благоприятное воздействие на поэта. «Я никогда в жизни физически не работал, — рассказывает о своей дорнахской жизни Белый в письме Иванову-Разумнику от 4 июля 1914 года, — а теперь, оказывается, вполне могу резать по дереву; и что это за великолепие работать самому, участвовать физически в коллективной работе над тем, что потом останется как памятник... Уходишь утром на работу, возвращаешься к ночи: тело ноет, руки окоченевают, но кровь пульсирует какими-то небывалыми ритмами, и эта новая пульсация крови отдается в тебе новою какою-то песнью; песнью утверждения жизни, надеждою, радостью; у меня под ритмом работы уже отчетливо определилась третья часть трилогии, которая должна быть сплошным «да»: вот и собираюсь: месяца три поколотить еще дерево, сбросить с души последние остатки мерзостного «Голубя» и сплинного «Петербурга», чтобы потом сразу окунуться в 3-ю часть Трилогии. А то у меня теперь чувство вины: написал 2 романа и подал критикам совершенно справедливое право укорять меня в нигилизме и отсутствии положительного credo. Верьте: оно у меня есть, только оно всегда было столь интимно и — как бы сказать — стыдливо, что пряталось в более глубокие пласты души, чем те, из которых я черпал во время написания «Голубя» и «Петербурга». Теперь хочется сказать публично «Во имя чего» у меня такое отрицание современности в «Петербурге» и в «Голубе». Но — сперва доколочу архитрав нашего Вау». Взявшись впервые в жизни за стамеску, Белый приходит к идее третьего романа задуманной им трилогии. Первые две книги — «Серебряный голубь» и «Петербург» — представляют собой, по его мнению, отрицание, третий том — «Невидимый град» — должен был сказать «ДА» этому мирозданию, но, как и второй, «идеальный» том «Мертвых душ», этот роман так и не будет написан.

Изображая благотворное влияние труда, Белый несколько приукрашивает действительность. В «Материалах к биографии» поэт дает иную картину тех дней. Работать на стройке Белого хва-

тает лишь на две первые недели. Потом, пишет он, «Ася с утра уезжала в Дорнах, а я оставался дома; я тоскливо бродил по улицам, заходил в зоологический сад и обедал в убогом вегетарианском ресторанчике. В эти дни я написал стихотворение «Самосознание»; в нем отразилась грусть этих дней». Не все ладно было в антропософском королевстве Белого.

Этой весной 1914 года два раза по делам гражданского брака, без которого невозможно совместное проживание в швейцарской глубинке, Белый и Ася ездят в Берн, оттуда в Тун. Их брак регистрируется в Берне 23 марта 1914 года. Молодожены переезжают в Дорнах и останавливаются сперва в отельчике «Цум Оксен» (Zum Ochsen, Amthausstrasse, 21). Позже, с приездом матери Белого, Александры Дмитриевны Бугаевой, тоже взявшей-ся было за стамеску, вся семья переселяется в гостиницу «У льва» (Zum Löwen, больше не существует) в соседнем Арлесхайме (Arlesheim), где обедал когда-то, гуляя по базельским окрестностям, Карамзин. Александра Дмитриевна, однако, остается с антропософами недолго — между свекровью и невесткой происходит разрыв, Белый принимает в семейном конфликте сторону жены, и мать его уезжает из Швейцарии обратно в Россию.

Белый и Ася поселяются у Екатерины Александровны Ильиной в двух комнатках на Маттвег (Mattweg) в Арлесхайме. Ильина — одна из первых русских антропософок, переводчица текстов Штейнера на русский язык, ее дом называют «Русский дом» (Das russische Haus), она ведет «русские» дела Антропософского общества совместно с супругой Штейнера Марией Яковлевной, о которой расскажем ниже.

Работа над Гетеанумом идет ударными темпами. Активнейшее участие в антропософской стройке принимают приезжие из России. «Русская группа в Дорнахе оставила след; сумма сработанного ею в ГЕТЕАНУМЕ — была заметна, — пишет Белый в «Воспоминаниях о Штейнере». — Так, один из порталов снаружи был сработан главным образом москвичами (М.И.С.; А.С.П. и покойным Трапезниковым); полурусский-полушвейцарец Дубах, — был правофланговым всех полезных работ; великолепно он вырезал в большом куполе форму Юпитерова архитрава; Н.А. и А.М.Поццо, А.А.Тургенева и я, — мы вырезали архитрав МАРСА; и частью резали БЕЛЫЙ БУК (Сатурн); мы с А.А.Т. главным образом вырезали Юпитеров архитрав в Малом Куполе; кроме того — мы участвовали и в других разных работах: резали надоконную фор-

му, подножие одной из колонн, капитальные формы, участок снаружи (у левого входа); я с Эккарштейн дней десять работал на МАРСЕ (Малого Купола); Русский «Л» в мастерской у «С» вырезал 6 крупнейших стекол; Тургенева и Н.А.П. тоже подрабатывали на стеклах; кроме того: Доктор им поручил все внутреннее пространство главного портала».

Расскажем кратко о нескольких из упомянутых Белым русскими антропософами, работавших на строительстве Гетеанума в Дорнахе.

М.И.С. – Михаил Иванович Сизов, преподаватель, критик и переводчик, секретарь первого русского Спиритического конгресса в 1906 году, вместе с Блоком и Белым основатель «Аргонатов».

А.С.П. – Алексей Сергеевич Петровский, сотрудник издательства «Мусагет», переводчик, перевел, в частности, «Аврору» Беме, библиотекарь Румянцевского музея, а позднее – Ленинской библиотеки. Переживет при большевиках аресты, ссылку.

Трифон Григорьевич Трапезников, историк искусств, «гарант» русской группы в Дорнахе, уедет из Швейцарии вместе с Маргаритой Волошиной в 1917 году. После прихода к власти большевиков посвятит себя защите произведений искусств от уничтожения и революционных погромов – поступит на советскую службу, его начальницей станет жена Троцкого. Благодаря стараниям Трапезникова будет сохранена, в частности, Ясная Поляна. В 1926 году он поедет лечиться за границу и умрет в доме вдовы поэта Христиана Моргенштерна, своего собрата по антропософии.

Наталья Алексеевна Тургенева – сестра супруги Андрея Белого Аси, выходит замуж за Александра Михайловича Поццо, адвоката. Оба живут в Дорнахе на вилле Сан-Суси (Sans soucis) и активно участвуют в строительстве Гетеанума. Александр Поццо уедет в 1916 году в Россию, а в 1920-м вернется в Швейцарию и останется здесь вахтером при Гетеануме, напишет интересные «Воспоминания о Штейнере». Он умрет в 1941 году в Цюрихе. Кстати, известной антропософкой станет дочь Натальи и Александра Поццо – Мария. Когда в 1913 году родители, оставив ребенка на воспитание бабушке, отправятся искать истину в Дорнах, Маше всего два года. В девять лет вместе с отцом она приедет в Швейцарию, где из нее воспитают эвритмистку, и почти всю свою долгую жизнь она будет работать в театральной группе Гетеанума, а также станет одной из организаторов первого антропософского детского сада.

«Доктор, по-видимому, доверял РИТМУ русских, работавших на дереве, — продолжает свой рассказ Белый. — Уезжая надолго, предупреждал он Хольцлейтер, поставленную для наблюдения за общим темпом работ: «Вы уж русских оставьте: не вмешивайтесь; они — справятся сами». На других поприщах тоже работали русские; г-жа Эльрам, бывшая директриса гимназии в Петербурге, заведовала точильней, важным для нас учреждением; ежеминутно ломались стамески; работающих по дереву летом 14-го года было более полутора ста человек; сломанные стамески стекались десятками к бедной Эльрам, от которой несло керосином за версту: с утра и до вечера она скрипела своей стамеской о камень; петербургская «Ф» возилась с кухарками в кухне кантины, приготовляя обед для работающих; студент «М», химик, с Экарштейн производил опыты в лаборатории по добыванию красок; временами из Парижа являлся русский инженер Бразоль, замешиваясь в работы; Фридкина (врач и художница): 1) участвовала в резных работах, 2) лечила в Дорнахе; Ильина годами с утра до ночи отстукивала на машинке для М.Я.Штейнер; М.В.Волошина принимала деятельное участие в художественных мастерских, подготавливая живопись малого купола; Т.В.Киселева вела ряд эвритмических групп и лично работала по эвритмии с доктором и с М.Я.; все временно приезжавшие или жившие месяцами в Дорнахе русские (главным образом москвичи) принимали посильное участие в работах: О.Н.А., Б.П.Г., Н.А.Г. и др. Когда создалась уже группа первоначальных исполнительниц эвритмии, то в ней ГРУППА русских заняла видное место: Киселева, Н.А.Поццо, Богоявленская, А.А.Тургенева, мадам Нейшеллер, явившаяся из Петербурга. Если сложить сумму работ в разном направлении, произведенных в месяцах (даже в годах) маленькою русскою группою, то эта сумма выйдет весьма и весьма почтенной».

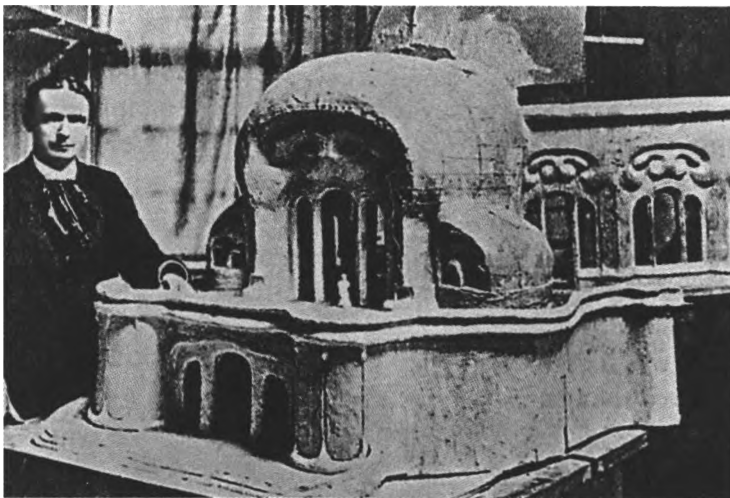
Еще небольшой комментарий к упомянутым в приведенном отрывке лицам. Зашифрованный Белым «Б.П.Г.» — это Борис Павлович Григоров, один из основателей антропософского движения в России, личный ученик и переводчик Штейнера. Через Григорова увлечение антропософией проникает в среду собиравшихся вокруг издательства «Мусагет». Именно на арбатской квартире Григорова в Москве собирались композитор Рейнгольд Глиэр, Маргарита Сабашникова, Трифон Трапезников, Андрей Белый, Ася Тургенева, Владимир Нилендер. Григоров был избран

председателем образованного в сентябре 1913 года русского Антропософского общества.

Рассказывая о враче Фридкиной в другом месте «Воспоминаний», Белый и здесь не забывает указать на всезнающего Доктора: «... Так в 14 и 15 годах, когда съехались в Дорнах отовсюду и открылись эпидемии (грипп, инфлуэнца), вставали потребности иметь антропософа-врача; лечила нас доктор Фридкина (русская женщина-врач), до сих пор еще не практиковавшая, но имеющая права на врачебную практику; Фридкина доктору давала отчет о всех больных; и он знал, кто чем болен; входил он в детали лечения Фридкиной и ей давал ряд советов». Во время Второй мировой войны Фридкина будет депортирована немцами в лагерь и там погибнет.

Среди строительниц Гетеанума – писательница Ольга Форш. Дорнахской антропософией заинтересовались и революционеры, но, конечно, не из прагматического лагеря социал-демократов – в Дорнах приезжали более близкие романтике эсеры, например, один из лидеров партии Вадим Руднев. Остается рабо-

Рудольф Штейнер с макетом первого Гетеанума



тать на строительстве Гетеанума эсер Константин Лигский. Здесь он находит и свое личное счастье — знакомится с художницей и эвритмисткой Гертруд фон Орт и женится на ней. Русская революция зовет его на родину — Лигский бросает Гетеанум и отправляется в большевистскую Россию, где вступает в коммунистическую партию и делает карьеру на дипломатическом поприще, едет консулом в Варшаву, Токио, Афины. До чисток он не доживет — умрет своей смертью в конце двадцатых годов.

В книге воспоминаний «Зеленая змея» Маргарита Сабашникова-Волошина, кстати, воспитанная в Москве швейцарской мадемуазель Шахер, так описывает своеобразную экстравагантность русской колонии в Дорнахе: «Число работников на стройке росло. Люди приезжали из всех стран. Также и из Москвы один за другим появлялись друзья. Пестрое общество, бродившее тогда по улицам Дорнаха и Арлесхайма, совсем не походило на местных добропорядочных обывателей. Оно было в буквальном смысле пестрым... Русские — хотят они этого или нет — почти всегда выглядят несколько странно. Эти фигуры — из Швабинга, Латинского квартала, Москвы — вызывали негодование добропорядочных деревенских обывателей. Уже одно то, что у нас допоздна горел свет, казалось им легкомысленным расточительством. Скоро и священник католической церкви начал в своих проповедях поносить антропософию как “противохристианское учение”».

Приезжает в Дорнах и Максимилиан Волошин, причем приезд его сопровождается драматическими обстоятельствами — с началом войны граница закрывается, и поэту удается вырваться из Германии буквально в последнюю минуту. «Он рассказывал, — читаем дальше в «Зеленой змее», — что повсюду попадал в последние поезда. “Все двери захлопывались за мной, я — как последний зверек, спасшийся в Ноевом ковчеге”». Эти впечатления отразились в написанном в Дорнахе стихотворении «Под знаком льва», которое заканчивается словами: «...Вошел последним внутрь ковчег». Здесь, под Базелем, рождается еще одно «военное» стихотворение: «Над полями Эльзаса».

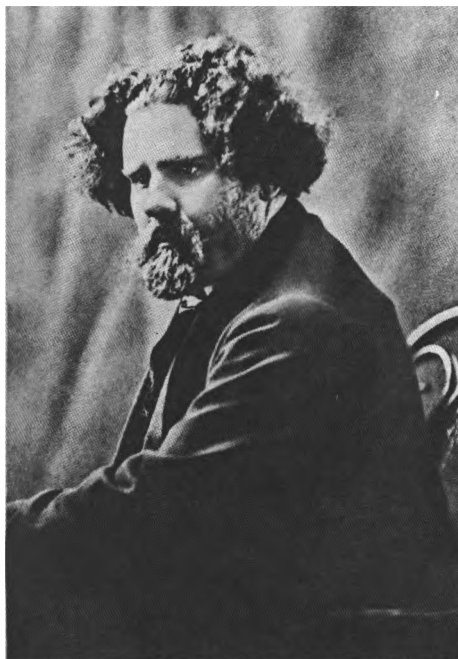
Волошин также принимает участие в строительстве Гетеанума. В течение шести месяцев он работает резчиком и готовит эскизы для большого занавеса, которому предстояло украсить главный зал. Занятие это, однако, не приносит Волошину радость. «Эту работу должна была выполнять дама, — вспоминает Маргарита Сабашникова-Волошина, — обладавшая больше «мистичес-

кими», чем художественными, дарованиями. Макс — бедный Макс! — был назначен ей в помощники. Она писала все в розово-голубом тумане, он — в виде сильно очерченных горных формаций, знакомых ему по Крыму, и физически точных преломлений света в облаках. Оба должны были работать в маленьком, освещенном только электричеством, помещении. Макс в этом окружении совсем загрузил».

С началом войны в Дорнахе начинаются тревожные времена, но работа не прекращается ни на день. Строительство Гетеанума идет под доносившийся гул орудий из соседнего Эльзаса. «Первые звуки, которые мы услышали в Здании, — замечает Сабашникова-Волошина, — были звуки канонады». Антропософы живут «на трагическом фоне мировой войны, — пишет Белый в «Воспоминаниях о Штейнере», — ставшем для нас не аллегорическим фоном, а фоном самого горизонта, перманентно гремевшего пушками и вспыхивавшего прожекторами...»

Вот как описывает Белый атмосферу, царившую в швейцарской деревушке в первую неделю катастрофы: «В эти дни была пани-

М.А.Волошин



ка; люди выскакивали из домов и кричали, а пушки гремели: поблизости; сеялись мороки: сражение охватило до Базеля; граница — гола; мобилизация в Швейцарии лишь начиналась; был отдан приказ: если бой у границы заденет клочок территории нашей, железные дороги, трамваи тотчас отдаются военным целям, а населению по знаку набата должно бежать в горы; швейцарское сопротивление начиналось за Дорнахом: прямо над Гетеанумом, куда повезли артиллерию; местности наши вполне отдавались стихиям войны».

Сам Белый в это тревожное время дежурит по ночам на стройке. «...Помнится мне Дорнах лунными фосфорическими ночами, когда я отбывал вахту, ощущал себя «начальником» этих странных пространств, где из кустов росли бараки, а надо всем поднимался купол. Став около Гетеанума и бросив взгляд на эти странные сечения плоскостей, озаренных луною, я восклицал внутренне: «В какой я эпохе? В седой древности? В далеком будущем?» Ничего не напоминало мне настоящего; и я взбирался по мостикам — высоко, высоко: на лоб главного портала; на лбу садился, гасил фонарик и, обняв ноги, озираю окрестности: с горизонта мигали прожекторы войны; кругом — спящие домики...»

В Дорнахе Белый чувствует себя все более неуютно. Ему кажется, что его недооценивают, положение ночного антропософовахтера становится для него унижительным, непереносимым. «Трагедия с антропософской средой, моим последним убежищем, длилась 15 лет, — напишет он в книге «Почему я стал символистом» в 1928 году, — и острою, и длительностью она превышала другие трагедии».

В статье «Почему я стал символистом» Белый пытается разобраться в своих сложных отношениях с антропософским обществом. «В Москве меня объявили погибшим; в Мюнхене меня не объявили ничем, потому что там я был ничем... ну и случилось то, что тридцатитрехлетний уже «ХЕРР БУГАЕВ» в сознании многих в обществе был пристроен в сынки к «МАМЕНЬКЕ»; «МАМЕНЬКОЮ» такой сделали мадам Штейнер; одни справедливо возмущались картиною тридцатитрехлетнего «БЭБИ» в коротенькой юбчонке, ведомого «МАМЕНЬКОЙ», но негодование свое перенесли на меня, ибо гнусный вид «БЭБИ» приписывали моему хитрому и весьма подозрительному подхалимству; другие же, относясь с доверием к моему ими созданному мифу о наивном «ПРОСТАЧКЕ», — всерьез принимали великовозрастного

лысого бэби; эти последние называли меня: “УНЗЕР ХЕРР БУГА-ЕВ”. И дальше: «В чужой глухорожденности сидел закупоренный русский писатель, четыре года, как в бочке, переживая подчас чувство погребенности заживо; а в это время на поверхности бочки без возможности моей что-либо предпринять разрисовывались и «БЭБИ», и «БУКИ»: и святой идиотик, в идиотизме росший в грандиозную чудовищность сверх-Парсифаля, и лукавая, темная личность, неизвестно откуда затершаяся в почтенное немецкое общество: втереться в непонятное доверие Рудольфа Штейнера, его жены и нескольких учеников Штейнера, “НАШИХ УВАЖАЕМЫХ ДЕЯТЕЛЕЙ”».

Белый явно не жалуется своих немецких коллег по антропософии: «Средний немецкий антропософ, — читаем там же, — исчерпывается в цыпочках своего стояния перед Штейнером, в необыкновенной болтливости и назиданиях новичкам, сим козлам антропософского отпущения (так я четыре года и простоял в «НОВИЧКАХ»), очень невысокой культурности, в любви к слухам и сплетням (окультурным и неоккультурным)».

Рисунок А.Белого к медитации



Белый любит Доктора и ненавидит его немецкое окружение, озабоченное, по мнению русского поэта, не столько заботой о внутреннем самоусовершенствовании, сколько борьбой за близость к учителю. Возможно, антропософские, как выражается Белый, «тетушки» не могли простить Белому внимания Штейнера.

У Белого портятся отношения с Ильиной, у которой он с женой снимает комнаты, и они переезжают в дом рядом с виллой Штейнеров. «...Я оказался соседом с ним: волей судьбы мы переехали в домик, стоявший как раз напротив домика доктора, — читаем в «Воспоминаниях о Штейнере», — домик наш не был огорожен; несколько яблонь да небольшая дорожка отделяли нас от низенького заборчика, за которым перед цветочною клумбою, маленькими, посыпанными гравием дорожками, стояла двухэтажная вилла «Ханзи», приобретенная Марией Яковлевной».

Белый и Ася Бугаева-Тургенева время от времени приглашаются Штейнерами на вечерний чай, что болезненно воспринимается завистниками. Интерес Доктора к России связан с происхождением его супруги. Жена Штейнера, Мария фон Сиверс, выросла в России, окончила петербургскую гимназию. Молодая девушка занималась переводами теософских трудов и, поехав в Берлин, познакомилась там на докладе в 1902 году со Штейнером. Эта встреча определила всю их последующую жизнь — основатель антропософии соединяет судьбу с девушкой из России. Увлечение Штейнера Россией выразилось даже в мелочах. «Русские резные изделия радовали его, — пишет Белый в «Воспоминаниях о Штейнере», — он привез в Дорнах деревянные игрушки, вырезанные военнопленными: резные коровки, собаки, лошадки, — запутешествовали по Дорнаху. В его квартире был самовар: М.Я. вывезла из России его; самовар нам подавался».

Если в «Почему я стал символистом», оценивая результаты своих «антропософских» лет, Белый восклицает: «Не спрашивайте меня об этой мучительной и позорной стороне четырехлетнего моего быта жизни (позорной, — не знаю для кого: меня, что не умел отстранить его, других ли, меня одевших в позор); знаю лишь: хорошо, что русские не видели «АНДРЕЯ БЕЛОГО» в одежде скомороха...» — то при этом он не жалеет только о своем контакте со Штейнером: русский поэт «сидел в бочке», но получил то, что искал: «Из бочки, над бочкою увидел я мое «Я» — высоко над собой; оттого-то я взял фонарь и несколько лет говорил о человеке, как ЧЕЛЕ ВЕКА. Знак этого Чела на мгно-

вения вспыхивал и над моим челом... в Дорнахе, когда это чело венчали тернии».

«Швейцарские» годы Белого приносят его читателям «Котика Летаева». Кроме того, из-под его пера выходит работа «Рудольф Штейнер и Гёте в мировоззрении современности». Поводом для написания ее служит книга Эмилия Метнера, бывшего друга Белого по «Мусагету», направленная против Штейнера. Метнер написал в одном из писем о Штейнере, когда увидел его еще в 1909 году: «Это какой-то теософский пастор, выкрикивающий глубокие пошлости».

Поэт в «Воспоминаниях о Штейнере» пишет об особенном таланте Доктора производить впечатление даже на своих врагов: «Эмилий Метнер написал против доктора резкую книгу, граничащую с пасквилем; доктор это знал; когда Метнер уже по написании книги появился в Дорнахе, так случилось, что мне, пишущему ответ, пришлось просить доктора разрешить Метнеру посещение рождественских лекций для членов; доктор разрешение дал; Метнер после лекций почувствовал потребность подойти к доктору и лично поблагодарить его за разрешение; помню, как Метнер покраснел и невнятно залепетал, подойдя к доктору; можно было, глядя со стороны, подумать, что злейший враг доктора, — просто какой-то юноша обожатель». После приезда Метнера в Дорнах в марте 1915-го отношения старых друзей навсегда прерываются.

Кстати, третий бывший соредaktor «Мусагета» — поэт-символист Эллис-Кобылинский — тоже живет в это время в Швейцарии, в Берне, но с ним встречи у Белого больше уже не будет. Ярый приверженец в течение короткого времени антропософских идей, Эллис скоро становится таким же ярким врагом Штейнера.

Жизнь в Дорнахе становится для Белого все мучительней. В письме Блоку 23 июня 1916 года он пишет: «Я был... в состоянии душевного разлада, подавленности вследствие условий моей 2-летней жизни здесь, о которых я ничего не могу рассказать, которые морально ужасны, невыносимы, удушливы, безысходны, несмотря на то, что мой ангел-хранитель, Ася, со мною и что доктор, которого мы обожаем, бывает с нами...»

В том же письме Белый дает описание работы на антропософской стройке, резко отличающееся от гимна труду в процитированном выше письме Иванову-Разумнику: «...И вот мне открылась картина этой зимы: воет ветер, в оконные стекла бьет жал-

кая изморозь; свинец облачный припадает к земле; из свинца рычит грохот пушек; ты приходишь домой — иззябший физически и иззябший морально из «кантины» (т.е. досчатого барака, где мы пьем кофе в 5 часов после работы): из-за загородки перекрестных «злых», «ведьмовских» взглядов, опорочивающих тебя, из трескотни чужеземных слов — из толпы тебя презирающих, как дурачка, и ненавидящих иногда, как русского, к которому с симпатией относится доктор: с сознанием, что еще ряд безысходных месяцев ты будешь обречен возвращаться среди полусумасшедших «окультурческих» старых дев и видеть, как жена твоя, превращенная в почти работницу, стучит молотком по тяжелому дереву, выколачивая свои силы (такова ее охота!), в облаке гадких сплетен и неопишимо враждебно-мерзкой атмосфере этой самой нашей «кантины» обреченная жить; — вот с таким сознанием возвращаюсь домой и, принимаясь растапливать печи воюющими «брикетами» (зная, что теперь пойдет «брикетная вонь»), я бывал охвачен воистину безысходностью...»

Не пишет Блоку Белый о сложных своих отношениях с женой, своим «ангелом-хранителем», о которых узнаем из «Материала к биографии»: «Под влиянием работы у доктора Ася перестала быть моей женой, что при моей исключительной жизненности и потребности иметь физические отношения с женщиной — означало: или иметь «роман» с другой (это при моей любви к Асе было для меня невозможно), или — прибегать к проституткам, что при моих антропософских воззрениях и при интенсивной духовной работе было тоже невозможным; итак: кроме потери родины, родной среды, литературной деятельности, друзей, я должен был лишиться и жизни, т.е. должен был вопреки моему убеждению стать на путь аскетизма...» Внимание Белого переключается на свояченицу — Наталью Тургеневу-Поццо: «Образ женщины как таковой стал преследовать мое воображение, теперь же Наташа стала меня преследовать в снах».

Фактическое прекращение брака Белого происходит уже осенью 1914 года: «равнодушие, холодность Аси меня угнетали», «страсть к Наташе увеличивается». Белый спасается от атмосферы, царившей в их дорнахском доме, тем, что убегает в город: «Иногда, совершенно удрученный, я отправлялся в Базель; и начинал там сиротливо бродить по улицам, в холодном осеннем тумане, бесцельно забираясь в «кино» и тупо созерцал мелодрамы

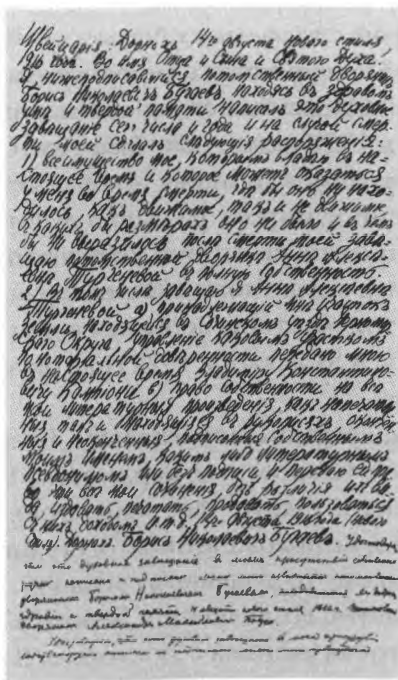
и фильмы с фронта; какое-то гнетущее чувство преследования охватывало меня...»

Встает все чаще вопрос и вообще об отъезде из Швейцарии. «Однажды Сизов мне говорит (это было на портале): “Знаешь, Боря, Дорнах – не для нас, русских: сюда можно будет впоследствии приехать на курс и провести несколько праздничных дней; но жить всегда – нет и нет!”»

В 1915 году начинается русский исход из Дорнаха. Первым не выдерживает и уезжает в Париж Максимилиан Волошин. Под предлогом объявленной в России мобилизации возвращаются из Швейцарии домой Андрей Белый, Александр Поццо, Трифон Трапезников, Константин Лигский, другие мужчины-антропософы. Вряд ли Белый уезжает в мае 1915-го из Базеля с мыслью отправиться на фронт защищать царя и отечество. Сразу по приезде на родину он достает себе медицинское заключение, освобождающее его от службы в армии.

Через несколько лет, вместивших в себя войну, революцию, смерти от голода и мороза, пожары библиотек, расстрелы интел-

Завещание А.Белого. 14 августа 1916 года



лигенции и прочую русскую экзотику, Белый вырвется из большевистской России и бросится в Швейцарию, но его остановит на полпути письмо бывшей жены из Дорнаха — учитель вовсе не жаждет видеть чужаковатого ученика. Встреча произойдет в Берлине, где обоснуется Белый в эмиграции и куда приедет с лекциями Доктор. «Штейнеру, спросившему меня: «Ну, — как дела?» — я мог лишь ответить с гримасою сокращения лицевых мускулов под приятную улыбку: «Трудности с жилищным отделом». Этим и ограничился в 1921 году пять лет лелеемый и нужный мне всячески разговор».

Не получается долгожданной встречи и с супругой — Ася, отдав предпочтение другому, окончательно заявляет Белому о разрыве их брака. Все это приводит Белого к пресловутым пьяным танцам в берлинских дансингах и к возвращению в СССР со своей новой женой — также членом Антропософского общества Клавдией Николаевной Васильевой, с которой Белый познакомился еще в Дорнахе.

Перед отъездом поэта обратно в коммунистическую Россию происходит еще одно событие, взволновавшее его. В ночь на Новый, 1923 год сгорает дотла деревянный Гетеанум. Этот пожар Белый воспринимает как знамение, более того, принимает на себя ответственность за это событие. «В 1915 году в Дорнахе, — пишет он в «Почему я стал символистом», — я видел во сне пожар «ГЕТЕАНУМА»; самое неприятное в этом сне: пожар был НЕ БЕЗ МЕНЯ; ...в 1922 году (весной, летом, осенью), размышляя об ужасе, стрящемся со мною, ловил я себя на мысли: «ГЕТЕАНУМ», ставший кумиром, раздавил души многих строителей; угрожающе срывалось с души: «Не сотвори себе кумира». И опять проносился в душе пожар «Гетеанума»; и душа как бы говорила: «Если б этой жертвою вернулся к нам Дух жизни, то...» Далее я не мыслил. А 31 декабря 1922 года он загорелся; и горел 1 января 1923 года».

В те самые часы, когда пылает Гетеанум, Белый встречает Новый год у Горького в Саарове под Берлином: «Комната была увешана цветною бумагой; вдруг — все вспыхнуло: огонь объял комнату; бумага, сгорев, не подожгла ничего; странно-веселый вспых соответствовал какому-то душевному вспыху».

В 1923 году накануне возвращения Белого в Россию происходит последняя встреча ученика с Доктором. В «Воспоминаниях о Штейнере» Белый пишет: «Наступило прощанье; и я — мне ни-

сколько не стыдно в этом признаться: я поцеловал ему руку. Ведь этот неудержимый жест, произвольный, есть выражение сыновней любви».

Марина Цветаева в «Пленном духе» напишет о поэте: «Не это ли искал Андрей Белый у доктора Штейнера, не отца ли, оединяя в нем и защитника земного, и заступника небесного, от которых, обоих, на заре своих дней столь вдохновенно и дерзновенно отрекся?»

В строительстве нынешнего, бетонного Гетеанума, возведенного в Дорнахе взамен сгоревшего, тоже принимают участие русские, хотя и не в таком количестве, как это было возможно до революции, — двадцатые-тридцатые годы в России не способствуют развитию интереса к антропософии. Так, до конца своей жизни остается в Дорнахе Ася Тургенева. О встрече с ней читаем в воспоминаниях философа Николая Лосского, который во время поездки с докладами по Швейцарии в 1929 году приезжает в Базель. «...Мы пошли в окрестностях Базеля в Dornach посмотреть Goetheanum антропософов. Нас встретила там бывшая жена Андрея Белого, урожденная Ася Тургенева. Она заведовала росписью стекол Goetheanum'a, которая производилась следующим образом. По толстому стеклу струилась вода и в разных местах действием сверла уменьшалась в различной степени толщина стекла, благодаря чему при дневном освещении получались воздушно утонченные изображения каких-то духов, почитаемых антропософами. Внешний вид здания производил впечатление гриба, замкнутого в себе и враждебно настроенного против остального мира».

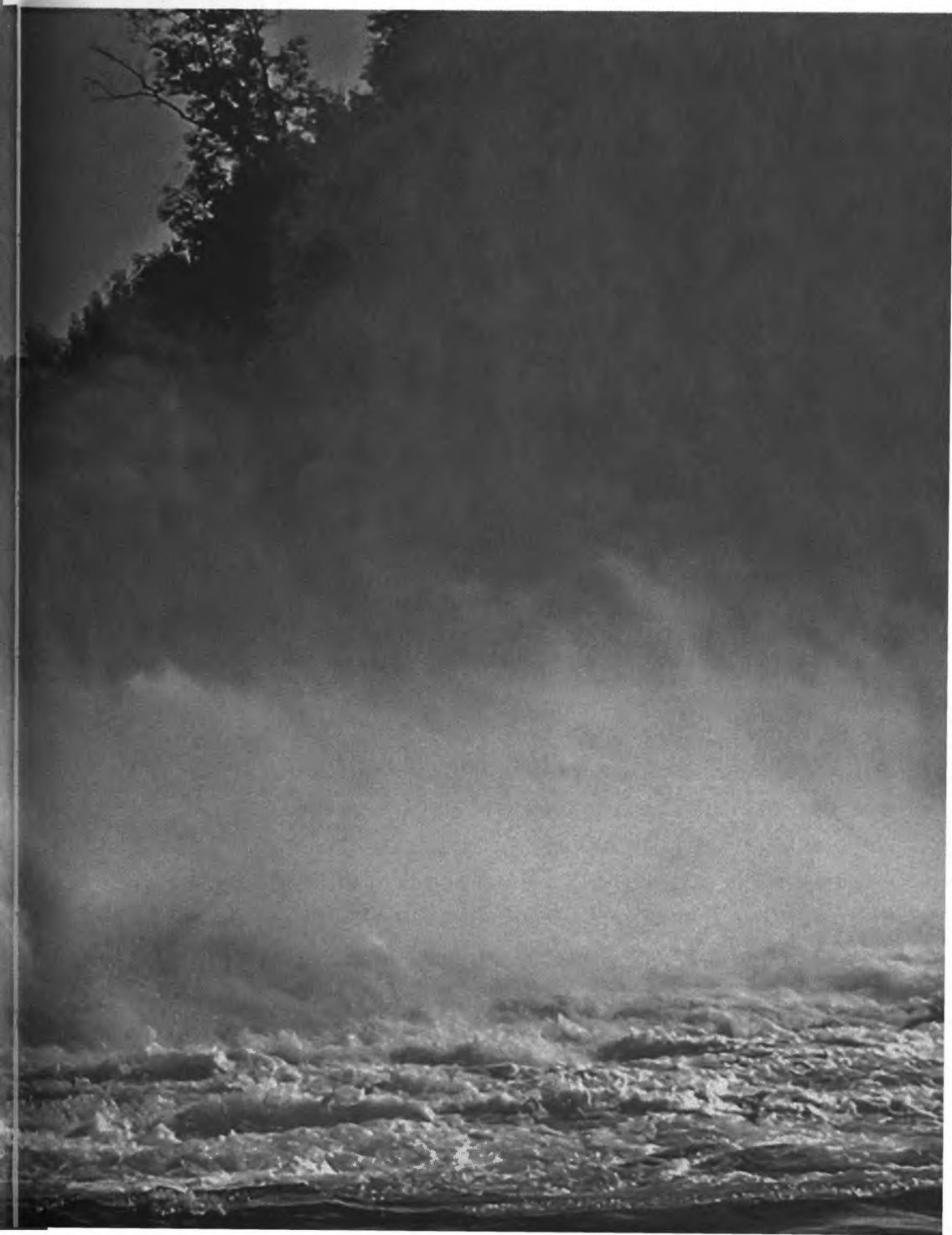
Ася Тургенева проживет долгую жизнь и умрет в 1966 году рядом с Дорнахом в Арлесхайме.

VI



«Рейнский водопад достоин своей славы...»

РЕЙНСКИЙ ВОДОПАД И ШАФХАУЗЕН





«На противоположном берегу мальчишки удили рыбу и удивлялись иностранцам, которые в грязи, под дождем, смотрели на падение воды, для них вседневное и обыкновенное. Такова сила привычки. Мы равнодушно глядим на солнце и теснимся, чтобы посмотреть на фейерверк».

Н.И.Греч. «Путешествие по Швейцарии»



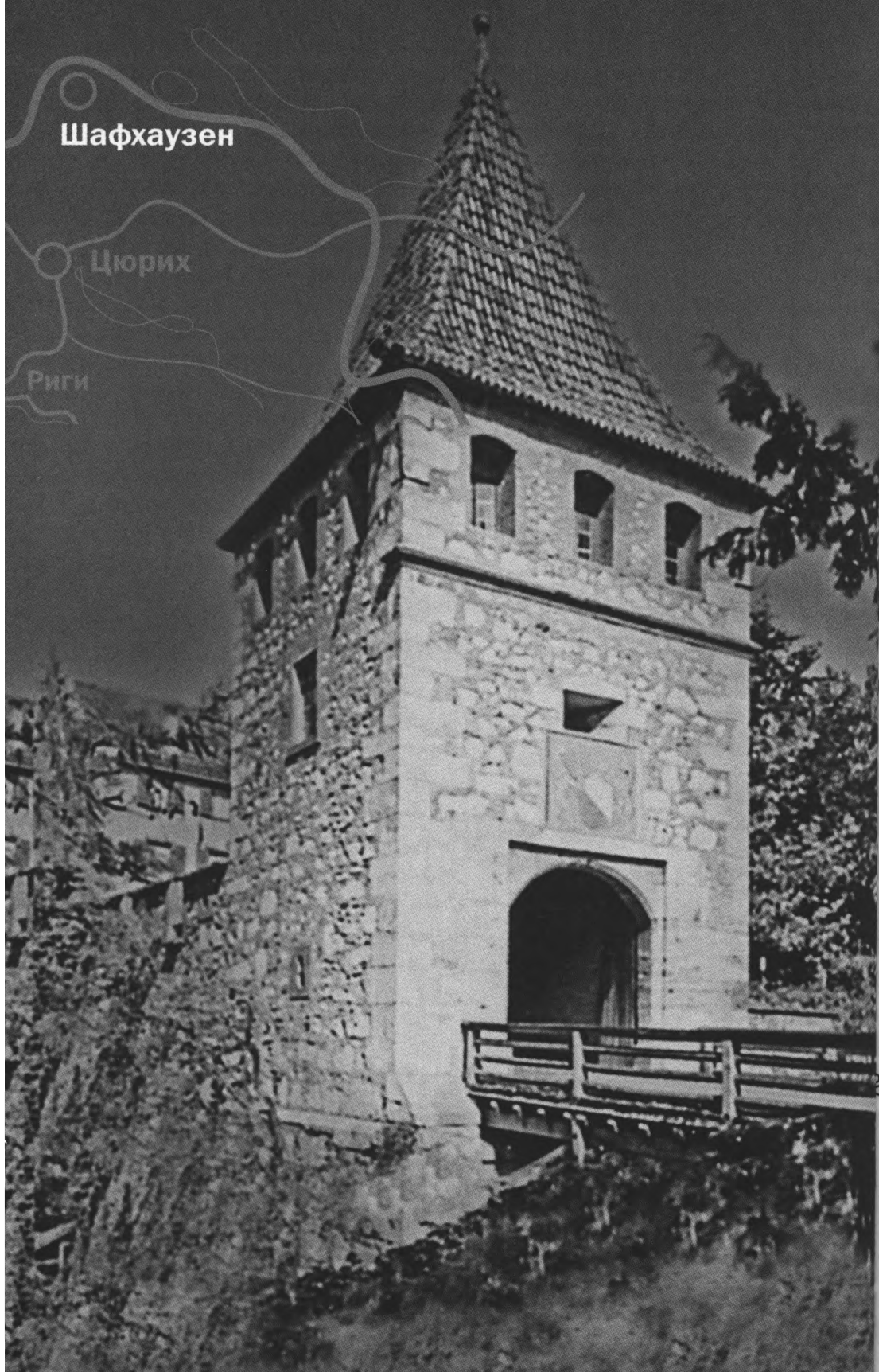
Н.И.Греч



Шафхаузен

Цюрих

Риги



12 августа 1799 года в Шафхаузен вошли русские полки. Солдаты России были посланы императором Павлом освободить полюбившуюся ему Швейцарию от французов.

Городские власти устраивают Римскому-Корсакову, командующему армией, помпезную встречу. Генералу передают послание русскому царю, составленное отцами города в самых верноподданнических выражениях: «Пресветлейшему, великодушнейшему и непобедимейшему русскому кайзеру Паулю, самодержцу всех русских и нашему все милостивейшему князю и господину в Петербурге». От имени жителей бургомистр и члены городского совета благодарят своего «освободителя» за «особое благоволение» и «милостивейшее участие Вашего Величества в судьбе нашего дорогого отечества», то есть за посылку войск для «полного освобождения Швейцарии» от «проклятой французской системы».

Простым жителям Шафхаузена трудно разделить восторги своих начальников. Экзотические «освободители» производят на швейцарцев скорее отталкивающее впечатление. Так, например, один очевидец записывает: «Они, похоже, большие любители неспелых фруктов, поскольку безжалостно опустошают сады и виноградники (в августе!), портят при этом и сами деревья и лозы. При этом они выглядят чрезвычайно сильными и воинственными, и если бы казаки не вели столь постыдной войны против виноградников и плодовых деревьев и не били бы столь варварски наших крестьян, то производили бы как воины вполне благоклонное впечатление. Донские казаки самые живописные и одеты все одинаково, в то время как уральские одеты кто во что горазд. Калмыков сразу можно узнать по их широкой голове и маленьким глазам. Познакомился я и с одним киргизом».

Русские офицеры с семьями расквартированы в лучших домах города. Тот же мемуарист, Иоганн Георг Мюллер (Johann Georg Müller), сообщает, что их слуги доставляли жителям особенно много хлопот из-за своей склонности к воровству. К тому же швейцарцев поражали русская неопрятность и простота нравов: «Офицеры оставляли спать своих денщиков на полу у дверей, чтобы их не изнежить».

Разумеется, офицеры русской армии пользуются возможностью полюбоваться падением Рейна. Их император, еще будучи цесаревичем, специально приехал сюда во время своего путеше-

ствия в 1782 году насладиться живописным зрелищем из Цюриха. От водопада вниз по Рейну свита Князя Северного отправилась тогда на лодках до Базеля, чтобы там покинуть Швейцарию. Путь русской армии теперь, в августе 1799 года, лежит на юг — на Цюрих.

«Освобождение» Шафхаузена оказалось непродолжительным. На берегу Рейна хорошо была слышна канонада Второй битвы под Цюрихом. Началось отступление, больше похожее на бегство.

Войска оставляют после себя разорение и нищету. Там, где они проходят, пишет Мюллер, «не остается ни картофелины, ни яблока, ни винограда, при этом умышленно портят и деревья, так что и на будущие годы урожай уничтожен. Ночами в деревнях и на хуторах мародерствуют. И у нас ожидают, как в кантоне Цюрих, что народ поднимется против этих шаек разбойников. Предоставили бы нам выбор между ними и тучей саранчи — думаю, предпочли бы последнее. Разорение повсюду не поддается описанию».

Интересно отметить, что события того памятного для жителей кантона Шафхаузен лета оставили след и в названии местечек. Когда через несколько лет после окончания войны крестьянин по имени Петер поставил свой дом на том месте, где был лагерь русской армии, неподалеку от городка Рамзен (Ramsen) на границе с Германией, соседи не без иронии назвали этот хутор Петербургом. А где есть Петербург, должна быть и вторая русская столица — соседний хутор рядом с бывшим русским лагерем называли Москвой. По крайней мере, так объясняют местные краеведы историю столь необычного названия швейцарской деревни. Если Петербург со временем исчез, то Москва, оказавшись пограничным пунктом, стала развиваться, и это имя гордо красуется и поныне на подробной карте этого района.

Сын неудачливого «освободителя» Швейцарии, победитель Наполеона Александр I приезжает в Шафхаузен в январе 1814 года. Императорская коляска прибывает в город лишь поздно вечером 7 января, так что официальный прием откладывается на следующий день. Царь останавливается в лучшей гостинице города «Кроне» (Krone, старая «Кроне» не соответствует современному отелю с тем же названием. Здание, сильно перестроенное, сохранилось: Vordergasse, 54). Здесь его уже поджидает сестра, великая княгиня Екатерина Павловна, вдова принца Ольденбург-

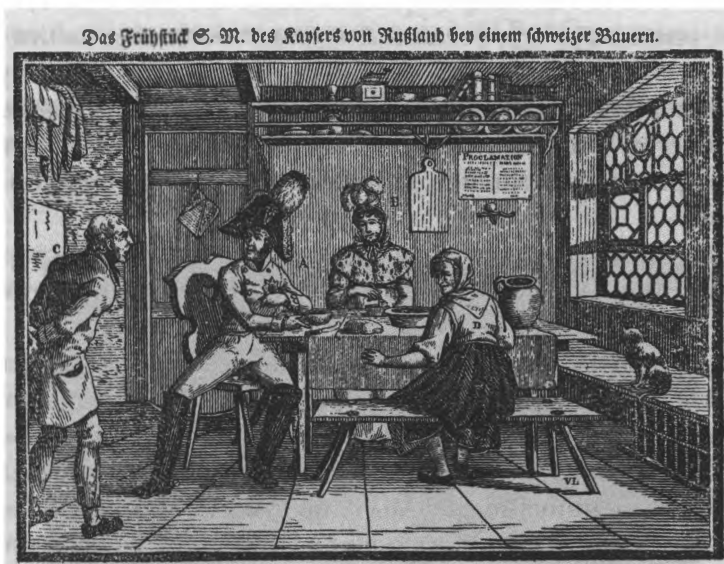
ского. В свое время руки этой неординарной женщины, сопровождающей брата в боевых походах и влияющей на решение европейских политических вопросов, безуспешно просил сам Наполеон.

На следующее утро в семь часов о прибытии высокого гостя извещают жителей Шафхаузена сто один пушечный выстрел из крепости Мунот, возвышающейся над городом, и получасовой перезвон всех колоколов. После обеда царь с сестрой едет смотреть на водопад. Рейнское чудо производит на высочайшего путешественника такое впечатление, что по его заказу Сильвестр Щедрин пишет большое полотно.

Царь посещает замок Лауфен (Laufen), а также замок Верт (Wörth) на другом берегу Рейна, где путешественники могли полюбоваться водопадом при помощи технического чуда своего времени – камеры обскуры.

На следующий день русский император снова отправляется на Рейн и после осмотра природных красот не гнушается заглянуть перекусить к простому швейцарскому крестьянину в Нейхаузе-

Александр I с сестрой после осмотра Рейнского водопада



не (Neuhausen). Современная гравюра не без умиления изображает монарха величайшей империи запросто сидящего со своей сестрой за крестьянским столом швейцарского землепашца.

Газета «Всеобщий швейцарский корреспондент» (Allgemeiner Schweizerischer Korrespondent) сообщает в пятом номере за 1814 год: «Незабвенным останется для жителей Шафхаузена пребывание в их городе столь человеколюбивого и благородного монарха. Тысячи благословений сопровождали высочайшего гостя. Повсюду оставял он доказательства своего великодушия».

Эти «доказательства великодушия» из русской казны особенно впечатлили жителей Шафхаузена. Гостеприимный крестьянин из Нейхаузена получил на память 50 золотых дукатов, столько же лодочник, подвозивший царя к водопаду, столько же получили на чай слуги в гостинице, владельцу камеры обскуры досталось кольцо с бриллиантом.

На следующий день император всероссийский отправился, сопровождаемый орудийным громом, в Базель — предстоял победоносный поход на Париж.

Оставив полководцев, обратимся к музам.

К Рейнскому водопаду Карамзин идет пешком. Выйдя рано утром, только к вечеру уставший путешественник со своим товарищем добирается до цели. «Наконец, в семь часов вечера, услышали мы шум Рейна, удвоили шаги свои, пришли на край высокого берега и увидели водопад. Не думаете ли вы, что мы при сем виде закричали, изумились, пришли в восторг и проч.? Нет, друзья мои!»

Москвича постигает еще одно разочарование. Явно восторженные описания, которые читал молодой писатель, не соответствовали открывшейся картине.

«Мы стояли очень тихо и смиренно, минут с пять не говорили ни слова и боялись взглянуть друг на друга. Наконец я осмелился спросить у моего товарища, что он думает о сем явлении? «Я думаю, — отвечал Б*, — что оно — слишком — слишком возвеличено путешественниками». — “Мы одно думаем, — сказал я...”»

Разочарованные путники спешат в Шафхаузен, боясь, что там закроют на ночь ворота и им придется ночевать в чистом поле. «Мы пришли, — продолжает рассказ Карамзин, — прямо в трактир «Венца», где обыкновенно останавливаются путешественники и где — несмотря на то, что мы были пешеходы и с головы до

ног покрыты пылью, — нас приняли очень учтиво. Сей трактир почитается одним из лучших в Швейцарии и существует более двух веков. Монтань упоминает о нем, и притом с великою похвалою, в описании своего путешествия; а Монтань был в Шафгаузене в 1581 году». Речь идет все о той же гостинице «Кроне».

Сам Шафгаузен не производит на Карамзина никакого впечатления. Писатель ограничивается лишь коротким замечанием: «О городе не могу вам сказать ничего примечания достойного, друзья мои».

На следующий же день, к счастью, открывается недоразумение, случившееся накануне. Все дело оказывается в точке, с которой надобно любоваться падающим Рейном. Теперь русский путешественник вполне доволен: «Друзья мои, представьте себе большую реку, которая... с неописанным шумом и ревом свергается вниз и в падении своем превращается в белую кипящую пену. Тончайшие брызги разнovidных волн, с беспримерною скоростью летящих одна за другою, мириадами поднимаются вверх и составляют млечные облака влажной, для глаз непроницаемой пыли. Доски, на которых мы стояли, тряслись беспрестанно. Я весь облит был водяными частицами, молчал, смотрел и слушал разные звуки ниспадающих волн: ревуший концерт, оглушающий душу! Феномен действительно величественный! Воображение мое одушевляло хладную стихию, давало ей чувство и голос: она вещала мне о чем-то неизглаголанном! Я наслаждался — и готов был на коленях извиняться перед Рейном в том, что вчера говорил я

Рейнский водопад



о падении его с таким неуважением. Долее часа простояли мы в сей галерее, но это время показалось мне минутою».

После выхода «Писем русского путешественника» посещение Рейнского водопада становится обязательным номером при планировании русскими туристами зарубежных поездок.

Вполне романтическое описание оставляет Жуковский, тоже советующий находиться поближе к воде, тогда «Рейнский водопад достоин своей славы». Поэт пишет: «Но разительное, неопи- санное зрелище представляется глазам, когда смотришь на паде- ние вблизи, с галереи, построенной на берегу у самого водопа- да: тут уже нет водопада, нет картины; стоишь в хаосе пены, грома и волн, не имеющих никакого образа; и это зрелище без солнца еще величественнее, нежели при солнце: лучи, освещая волны, дают им некоторую видимую, знакомую форму; но без лучей все теряет образ; мимо тебя летают с громом, свистом и ревом ка- кие-то необъятные призраки, которые бросаются вперед, клуб- ятся, вьются, поднимаются облаком дыма, взлетают снопом ши- пящих водяных ракет, один другому пересекают дорогу и, встре- чаясь, расшибаются вдребезги; словом, картина неопи- санная. На галерее можно стоять без малейшей опасности; но волны так беспорядочны, что иногда совсем неожиданно бываешь облит с головы до ног».

«Я так живо помнил страницу Карамзина о Рейнском водопа- де, что в осмотре своем старался соблюсти тот самый порядок, которому он следовал: позднее осуществление одного из самых ранних, юношеских моих мечтаний!» Это отрывок из «Писем из- за границы» Павла Анненкова. Примечательно, что Анненков первый обращает внимание на то, что тот водопад, которым вос- торгался Карамзин, уже совсем не тот, что предстает глазам его последователей: «Но не только политическое состояние Евро- пы изменилось с того времени, как странствовал молодой наш путешественник, даже изменился и водопад. Много утесов сбросил он уже с себя, сровнял много скал (смотри виды водопада в конце прошлого столетия и вид его в 1840 году), и если что оди- наково отразилось в его (Карамзина) и моем глазе, так это клу- бы пены да еще влажные облака водяной пыли, освещенной сол- нечным сиянием».

Рейнский водопад, находясь на самой границе, был или пер- вым, что видели, приезжая в Швейцарию, или последним, когда покидали ее. Греч пересекает границу в день своего рождения —

3 августа 1841 года. Это его второе путешествие по Швейцарии. «Мы въехали в тесные, темные, грязные улицы вовсе не миловидного Шафгаузена и по совету бывалого возницы остановились не в городе, а в гостинице Нейгаузен, шагах в ста от водопада». Писатель идет осматривать достопримечательность, несмотря на непогоду, и его поражает «неприятное чувство»: чудо природы крутит колесо табачной фабрики.

Следуя карамзинскому маршруту, Греч отправляется на лодке по Рейну. Тут с ним происходит еще одна русская встреча. Лодочник, узнав, что везет туриста из России, указывает под Эглизау на берег – там русские могилы, в которых похоронены русские солдаты, умершие от ран при несчастливой битве под Цюрихом в 1799 году.

Если все писавшие о водопаде едины в своих восторгах, то для Толстого это повод остаться равнодушным к месту всеобщего восхищения.

Но Толстой – пожалуй, единственное исключение. В большинстве своем русские путешественники вполне разделяли восторги Карамзина и Жуковского, как, например, Чайковский, выразивший общее мнение будущих поколений туристов из России, записав в дневнике в 1873 году: «Рейнский водопад превосходен».

Еще одной достопримечательностью Шафхаузена становится построенный в середине XIX века замок Шарлоттенфельс (Scharlottenfels) в Нейхаузене. И здесь прослеживается «русский

Н.И.Греч



след». Замок принадлежал Генриху Мозеру (Heinrich Moser), знаменитому уроженцу Шафхаузена, составившему капитал на торговле в России швейцарскими часами. Название свое роскошное имение на Рейне получило по имени жены Мозера — Шарлотты, с которой он познакомился и вступил в брак в Санкт-Петербурге. Причудливую для Швейцарии архитектуру дворца Мозер позаимствовал в России — у своих богатых заказчиков.

Кстати, и последующие поколения этой известной семьи из Шафхаузена свяжут свою жизнь с Россией, но если Генрих Мозер отправился в Петербург составить себе капитал, то его сын Анри (Henri) прославится сперва в Петербурге умением тратить отцовские деньги, а позже в качестве казачьего офицера совершит несколько путешествий в Среднюю Азию, где соберет уникальную коллекцию, выставленную теперь в Бернском историческом музее. Поздняя дочь Генриха Мозера, Ментона, в свою очередь, сделает немало для «возврата» заработанных отцом в России капиталов. Вступив в ряды швейцарских коммунистов, она будет приезжать в Советскую Россию и потратит наследство, в частности, на открытый ею с помощью Фрица Платтена интернациональный детский дом в Иванове, который станет источником кадров для спецслужб НКВД. К концу жизни ей, оставшейся без каких-либо средств к существованию, предложит государственную пенсию и гражданство ГДР ее немецкий друг-коммунист Вильгельм Пик. Ментона Мозер умрет девяноста шести лет от роду в 1971 году в Восточном Берлине и будет похоронена с почетом, полагающимся по рангу заслуженным партийным бонзам.

Не обойдут стороной Шафхаузен и русские революционеры. У Рейнского водопада происходит событие, имевшее далеко идущие последствия для судьбы России. В июле 1903-го в Шафхаузене происходит учредительное совещание «Союза освобождения». Здесь закладывается основа будущей кадетской партии, «партии профессоров», одной из главных участниц русской революции. С докладом об аграрной программе выступает Сергей Булгаков, профессор Киевского университета, бывший марксист и будущий знаменитый православный философ. Среди учредителей партии, любующихся в перерыве заседаний на падение Рейна, — Владимир Вернадский, известный ученый, создатель учения о ноосфере. Здесь же Семен Франк, в будущем пассажир знаменитого «философского» парохода, один из тех, кто прославит

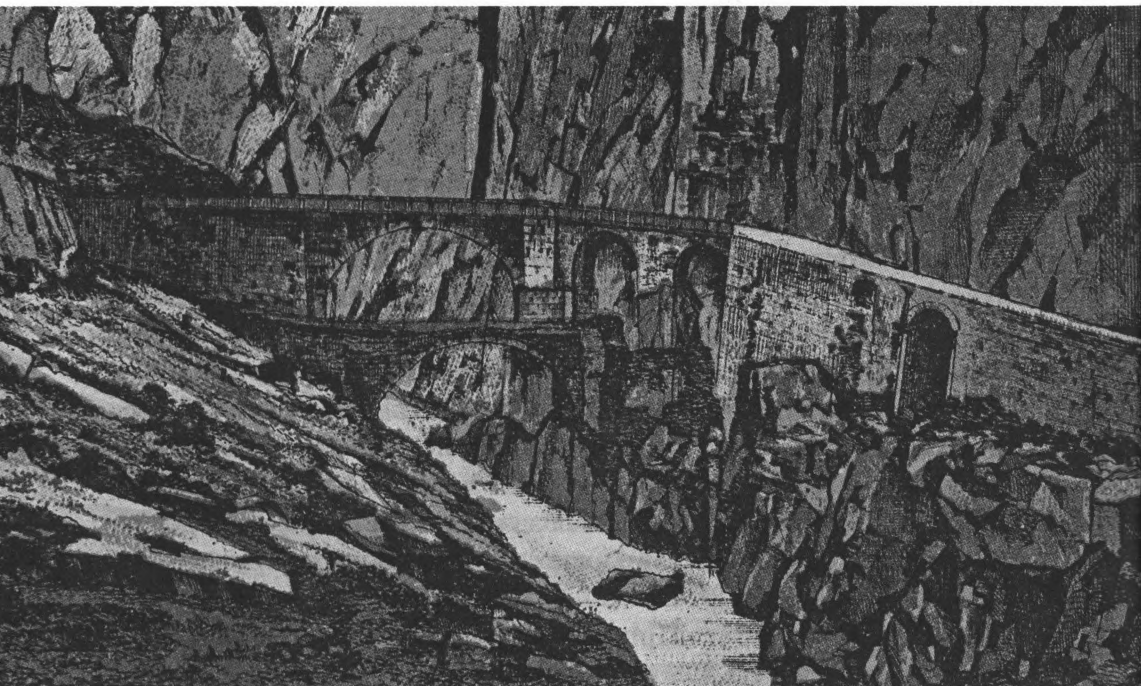
русскую эмиграцию. Кстати, в тридцатые годы поддержка Франку, подвергавшемуся преследованиям в нацистской Германии, придет из Швейцарии — от известного психоаналитика Л.Бин-свангера. В швейцарской эмиграции после прихода к власти большевиков окажется еще один участник совещания «Союза освобождения» на берегах Рейна — Иван Петрункевич. Будущий редактор влиятельнейшей кадетской газеты «Речь» произнесет в Шафхаузене роковые для русской истории слова: «У нас нет врагов слева», — определившие политическую направленность конституционно-демократической партии России. Придя к власти после февраля 1917-го, «партия профессоров» с необычайной легкостью развалится под большевистским натиском приехавшего из Швейцарии Ленина.

Кстати, посадка в знаменитый «пломбированный» вагон происходила в апреле 17-го здесь же, в Шафхаузене. Причем забавно, что на вокзале при пересадке из швейцарского поезда в немецкий у ленинцев возникли проблемы со швейцарской таможней. У русских революционеров были реквизированы запасы шоколада и сахара, которые они пытались вывезти с собой из Швейцарии. После проверки и реквизиции багаж снова погрузили в вагон, и поезд отправился дальше в Тайнген (Thaungen). На этой пограничной швейцарской станции обычно производилась проверка паспортов, но на этот раз ни бумаг, ни имен ни у кого не спрашивали. Прошел паспортный контроль только швейцарец Платтен. Поезд переехал через границу. На первой немецкой станции Готмадинген (Gotmadingen) русскую группу уже поджидал специально откомандированный немецкий офицер. Началась «экстерриториальность». В купе на столике Ленин записывал свои «Апрельские тезисы».

VII

«Горная философия» в краю Телля

ОТ СЕН-ГОТАРДА ДО РИГИ



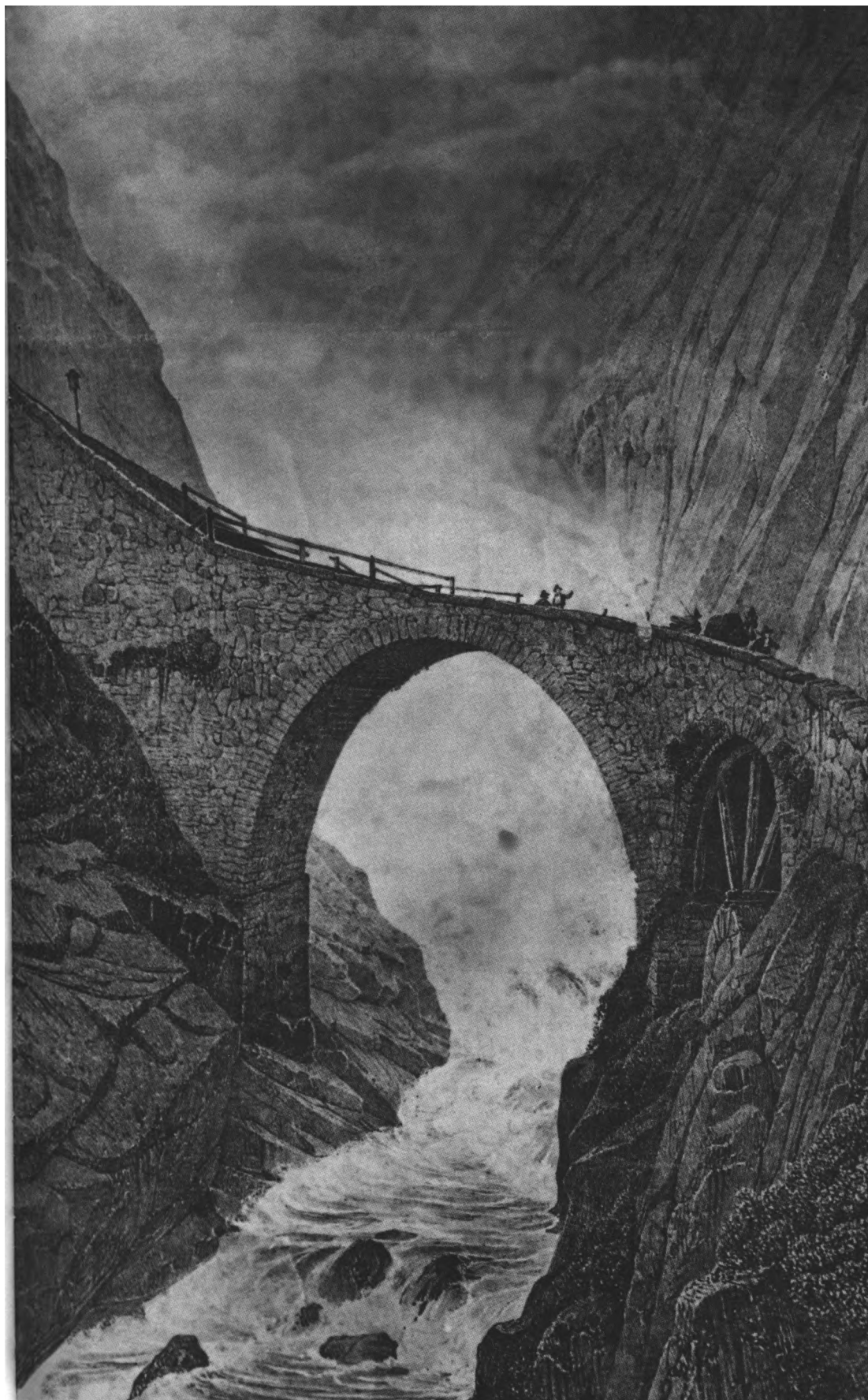
«Выступив из пределов Италии к общему сожалению всех тамошних жителей, где сие воинство оставило по себе славу избавителей, переходило оно через цепи страшных гор. На каждом шаге в сем царстве ужаса зияющие пропасти представляли отверзтые и поглотить готовые гробы смерти. Дремучие, мрачные ночи, непрерывно ударяющие громы, лиющиеся дожди и густой туман облаков, при шумных водопадах, с камнями с вершин низвергавшихся, увеличивали сей трепет. Там является зрению нашему Сен-Готард, сей величающий колосс гор, ниже хребтов которого громоносные тучи и облака плавают...»

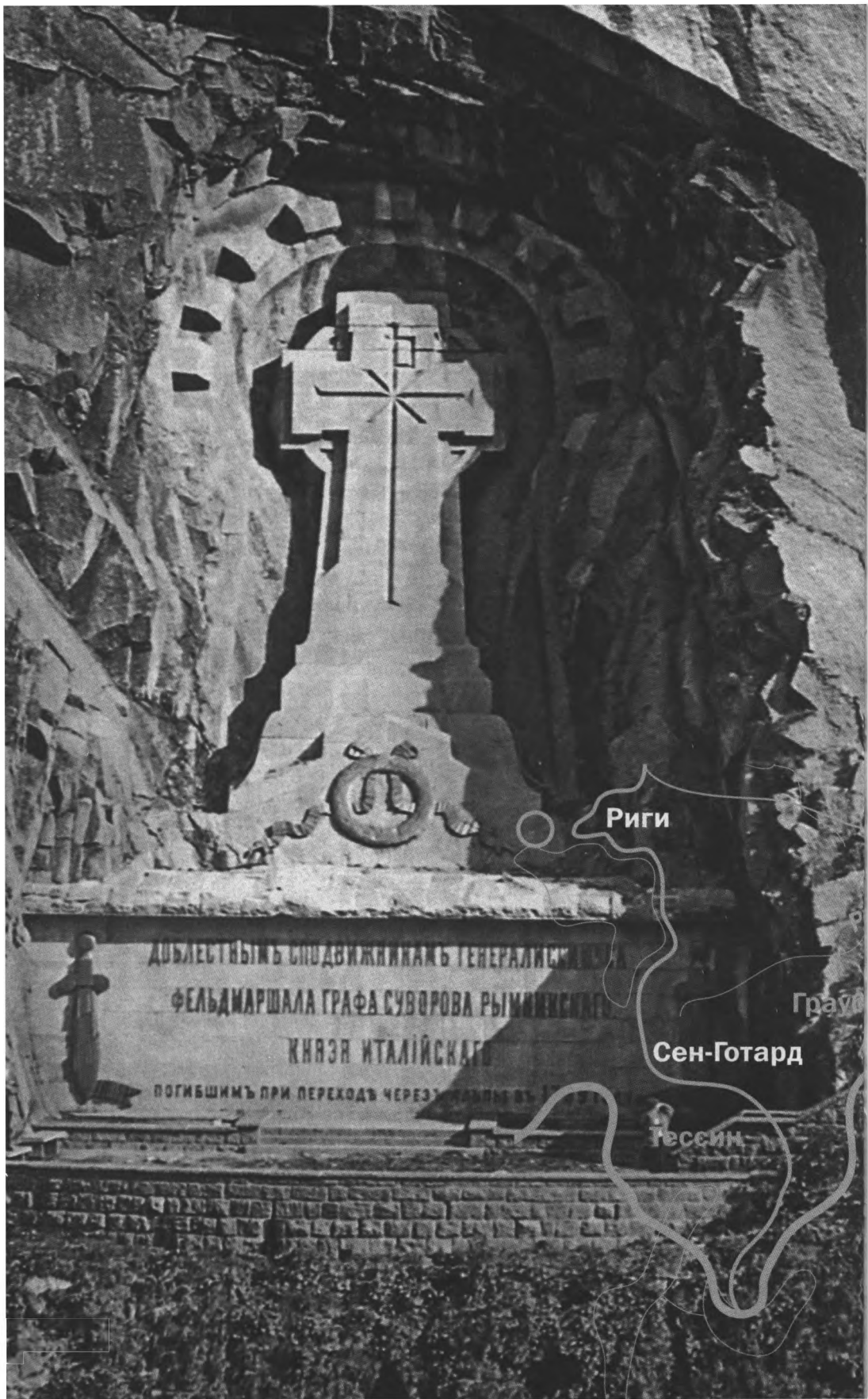
Из донесения А.В.Суворова Павлу I



А.В.Суворов







ДОБЛЕСТНЫМЪ СПОДВИЖНИКАМЪ ГЕНЕРАЛИСА
ФЕЛЬДМАРШАЛА ГРАФА СУВОРОВА РЫМОНСКОГО
КНЯЗЯ ИТАЛІЙСКАГО
ПОГИБШИМЪ ПРИ ПЕРЕХОДѢ ЧЕРЕЗЪ ГОРЫ ВЪ 1799

Риги

Граубюнден

Сен-Готард

Тессин

Через Сен-Готардский перевал, кратчайшую дорогу, связывающую Северную Европу с Италией, ведет свою армию в сентябре 1799 года престарелый русский фельдмаршал. План войны прост: итальянская армия Суворова должна соединиться в районе Цюриха с армией Римского-Корсакова и отправиться на Париж – образумить распаленных своей революцией французов.

Вот уже на протяжении двух веков путешественники видят на подходе к высшей точке перевала со стороны Айроло так называемый Суворовский камень. На огромной глыбе высечена надпись по-латыни: «1806 Suvorovii victoriis» – «Суворовским победам».

Происхождение этого памятника до сих пор вызывает споры. По одной версии, за этим памятным камнем стоит один из участников похода. Александр Тургенев в своей «Хронике русского» описывает свое путешествие через перевал в начале XIX века: «Спускаясь по С.-Готарду к Айроло на скале иссечена, как уверяют, русская надпись русским солдатом – сподвижником Суворова; мне удалось видеть ее». По другой версии, памятник воздвигли местные жители, но это документально не подтверждено. С повальным увлечением туризмом к концу прошлого века надпись почти исчезает под автографами многочисленных путешественников. В «Историческом вестнике» за 1899 год в статье М.Б.Стремоухова о памятном камне читаем: «Надпись эта теперь стерлась так, что ее невозможно прочитать!» Историческая надпись так бы и исчезла для потомков, если бы не энтузиазм одного русского астронома.

Василий Павлович Энгельгардт, ученый, посвятивший свою жизнь звездам, только выйдя на покой, в семидесятилетнем возрасте увлекся историей и всем, что связано со швейцарским походом Суворова. Бодрый старец прошел по суворовским местам, везде даря хозяевам домов, где ночевал главнокомандующий, его портреты, которые до сих пор висят в квартирах и гостхаузах, и устанавливая на свои деньги памятные доски, те самые, которые и по сей день напоминают швейцарцам о последней войне на их территории. Собранные вещи, связанные с походом, астроном подарил открывшемуся в 1904 году в Петербурге музею Суворова. Энгельгардт восстановил и латинскую надпись на камне на Сен-Готарде. Он написал в журнальном отчете: «Надпись была почти стерта и теперь углублена по моему заказу».

Перевал берется русской армией без особого труда, тем более что авангардом командует известный своим бесстрашием князь Петр Багратион. Среди участников знаменитого похода встречаем еще несколько известных в русской истории имен. Вместе с Суворовым совершает альпийский переход, к примеру, Михаил Андреевич Милорадович, еще один будущий герой Отечественной войны 1812 года, которому предстоит погибнуть от пули декабриста Каховского. При штабе русской армии находится и юный великий князь Константин.

На перевале Суворов останавливается в хосписе — специально построенном монахами убежище для путников. В том виде, каким оно было при проходе русских, здание не сохранилось. Для привычных к русской зиме суворовских солдат альпийский сентябрь скорее напоминал после итальянской жары родину. Дорога через перевал была открыта и в более позднее время года. Например, тот же Александр Тургенев проезжает здесь в ноябре: «Странно, что снег и мне, сыну севера, казался чем-то необыкновенным. Италианец, камердинер мой, который с Наполеоном доходил до границ России, сравнивал уже С.-Готард с Сибирью!»

В следующей деревеньке за перевалом, Хоспенталь (Hospental), русский главнокомандующий ночует в гостхаузе «Цум Оксен» (Zum Ochsen), существующем в немного перестроенном виде и по сей день под вывеской «Сен-Готард».

От Сен-Готарда русская армия спускается по дороге, ведущей к Фирвальдштетскому озеру. Французские отряды, прикрываю-

Памятник Суворову



М.А.Милорадович



щие путь на север, отступают, но уже через несколько дней «освобожденные» русскими места снова оказываются занятыми французами.

Из Хоспенталья русские войска идут на Андерматт (Andermatt). Мемориальная доска на доме № 253 по Сен-Готардштрассе (St.Gotthardstrasse) говорит: «Здесь 25 сентября 1799 года находилась ставка генералиссимуса Суворова». Надпись не совсем точная. На самом деле во время перехода через Альпы Суворов еще генерал-фельдмаршал. Звание генералиссимуса он получит позднее — за швейцарскую кампанию.

За Андерматтом в ущелье Шелленен (Schöllenschlucht) происходит знаменитый бой на Чертовом мосту. При появлении русских французы разбирают часть каменной кладки, создав таким образом серьезное препятствие на пути войск. «Но сие не останавливает победителей, — пишет Суворов в присутствии ему поэтическом тоне в реляции о походе, — доски связываются шарфами офицеров, по сим доскам бегут они, спускаются с вершин в бездны и, достигая врага, поражают его всюду... Утопая в скользкой грязи, должно было подыматься против водопада, низвергавшегося с ревом и низрывавшего с яростью страшные камни и снежные и земляные гряды, на которых много людей с лошадьми лезли в преисподние пучины...»

Драматичность кулис придаст позднее пыл не одному перу и не одной кисти. Бой на Чертовом мосту будет неоднократно воспроизведен художниками, писателями и кинематографистами, упомянем, к примеру, лишь роман «Чертов мост» Марка Алданова.

Не удержать столь неприступную позицию было практически невозможно, но французы тем не менее отступили. Объясняется победа следующим образом: командующий французским отрядом генерал Лекурб, узнав, что австрийский отряд появился у него в тылу, приказал своим частям, прикрывавшим Чертов мост, отступить.

Исторический мост простоял еще почти сто лет и обрушился в 1888 году. Теперь видны лишь его останки. Уже с 1830 года пользовались другим мостом, нынче также отслужившим свой век. Через реку Ройс построен новый мост в 1955 году. В придорожном ресторане «Тойфельсбрюкке» (Teufelsbrücke) для привлечения посетителей устроено что-то вроде небольшого музея. Здесь путешественник может увидеть портрет Суворова — подарок со-

ветского посольства, развешанные по стенам заржавевшие ружья и тесаки, а также карту с маршрутом движения войск — подарок «Витязей», эмигрантской молодежной организации в довоенном Париже.

Над тем местом, где когда-то шел бой, в отвесной скале вырублена арка, в ней двенадцатиметровый крест. Под ним огромные бронзовые буквы: «Доблестным сподвижникам генералиссимуса фельдмаршала графа Суворова-Рымникского, князя Итальянского, погибшим при переходе через Альпы в 1799 году».

История этого памятника такова. Идея увековечить к столетнему юбилею память соотечественников, сражавшихся в Альпах, принадлежала князю Сергею Михайловичу Голицыну. В октябре 1892 года он обращается в Министерство иностранных дел с предложением установить на свои средства памятный крест русскому генералиссимусу в ущелье Чертова моста. Управляющий министерством Шишкин обращается в свою очередь к швейцарскому посланнику Гамбургеру, тот отправляет запрос швейцарскому правительству.

Первоначально Федеральный совет выступает против этого проекта, поскольку он не соответствует нейтральной политике Швейцарии. Негоже свободолюбивым гельветам устанавливать на своей земле памятники чужим полководцам. Тогда через год снова поступает прошение с русской стороны, но теперь речь идет об увековечении памяти павших русских солдат. На такую формулировку Федеральный совет дает свое согласие.

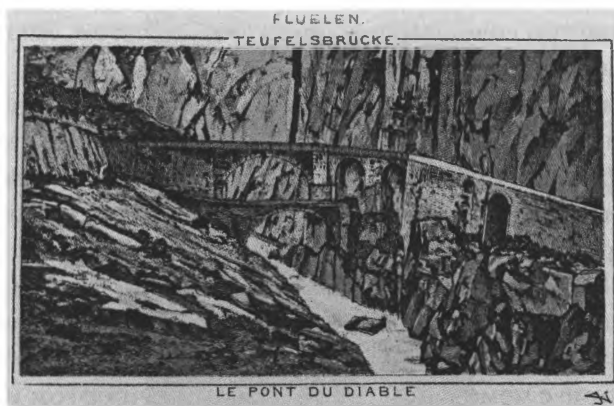
1 октября 1893 года Голицын передает в русскую миссию в Берне постановление общины Урзерн (Ursern) о безвозмездной уступке участка земли для памятника. С тех пор этот кусочек скалы в Альпах является, как это ни странно звучит, суверенной территорией России.

Строительство идет на средства и под непосредственным наблюдением самого князя. Выполняет работы швейцарский инженер Чокке, бронзовые буквы, высотой полметра каждая, отливаются на заводе Кюглера в Женеве. Памятник Суворову у Чертова моста торжественно открывается 14 (26) сентября 1898 года. На открытии присутствуют военные делегации России и Швейцарии. После панихиды по павшим, отслуженной у памятника, от имени Голицына в Андерматте дается торжественный банкет. Русский посланник в Берне Ионин сообщает в Петербург об этом событии и приводит речь представителя швейцарской армии:

«Мы счастливы, что этот крест над могилою русских воинов, столь драгоценной для всякого солдата, воздвигнут теперь среди укреплений Готарда, предназначенных для того, чтобы обеспечить нашу независимость. Русские могут быть уверены, что мы свято будем охранять этот крест и никто не нарушит его святости...» Олдерман, представитель общины Урзерн, в своем выступлении выразил надежду, что строительство памятника привлечет на благо общине русских туристов.

Действительно, суворовский крест становится альпийской достопримечательностью, притягивающей русских путешественников. Правда, далеко не все туристы из России испытывают трепетное уважение к памяти генералиссимуса. Вот пример отношения к памятнику русской молодежи, который находим в воспоминаниях студента того времени Германа Сандомирского, вместе с товарищами пешком путешествовавшего в начале века из Женевы в Цюрих: «Я забыл еще упомянуть о том, что мы проходили мимо знаменитого «Чертова моста», запечатлевшего баснословную жестокость русского полководца Суворова, положившего здесь много тысяч солдат, которых он заставлял в полном вооружении взбираться по отвесным скалам. Говорят, что тысячами солдатских трупов заполнялись пропасти между этими скалами и по ним проходили оставшиеся в живых. Здесь кем-то поставлен памятник погибшим жертвам. Этот памятник служит символом гнуснейшего самодержавного режима».

Чертов мост



Не все русские путешественники были настроены столь радикально. Большинство, конечно, испытывали при виде памятника чувства более традиционные. Сергей Рахманинов, к примеру, сообщает в одном из писем: «Ехали через St.Gottard и по дороге зашли снять шляпу перед памятником Суворову на Чертовом мосту».

Менее известно, что горы Андерматта стали местом гибели не только для «жертв самодержавного режима», но и талантливой певицы, восходившей оперной звезды Зинаиды Юрьевской. Быстрое восхождение ее начинается в Мариинском театре, где она поет в 1921 году вместе с Шаляпиным. Вскоре Юрьевская уезжает в Германию и выступает на сцене Государственной оперы Берлина. За один сезон из дебютантки она превращается в ведущую солистку. В августе 1925 года юная примадонна проводит отпуск в Швейцарии, в Андерматте. Во время прогулки в горах она попадает под внезапный обвал.

В Гешенене (Göschenen), через который прошли некогда «суворовские орлы» по направлению к Альтдорфу, берет свое начало знаменитый Сен-Готардский туннель, связавший Северную Европу с Италией и избавивший путешественников от погодных капризов альпийского перевала. Однако не все были в восторге от чудес техники. Художник Александр Бенуа отправляется в 1894 году во время своего свадебного путешествия в Италию. «Gotthardbahn, открытый в 1882 г., — читаем в его мемуарах, — продолжал еще быть сенсационным, непревзойденным чудом инженерной отваги... Однако мы отказались в такой ясный радужный осенний день зарыться, как черви, в эту ночь, а решили высадиться на последней станции перед тоннелем, там переночевать и наутро совершить перевал тем же путем, каким совершали наши деды».

Забавное описание своего перехода через Альпы оставил двадцатидвухлетний Иван Сергеевич Тургенев в письме своему знакомому Ефремову от 17 мая 1840 года, описывая свое путешествие из Италии в Берлин: «...Ездил на Лаго-Маджоре, в санках на Св.Готард — черт бы его побрал — был, кажется, в Люцерне, в Базеле, в Келе, в Маннгейме, в Майнце — постепенно потерял зонтик, шинель, шкатулку, палку, лорнетку, шляпу, подушку, ножик, бумажник, три полотенца, два фуляра и две рубашки и теперь скачу в Лейпциг с чемоданом, sacco divuotì, пачпортом в кармане и (- - -) в штанах, и только! И смех и горе!»

Интересно, как через много лет юношеские впечатления отзовутся в произведении, написанном писателем за несколько месяцев до смерти.

«Я проживал тогда в Швейцарии: я был очень молод, очень самолюбив и очень одинок». Так начинается тургеневское стихотворение в прозе «У-а... у-а...», записанное в 1882 году. Речь в нем идет о юноше, изнывающем от тоски и бессмысленности жизни и собирающемся покончить с собой, для чего и отправляется в горы. Самоубийца останавливается над пропастью. «Я один! — повторял я, — один лицом к лицу со смертью. Уж не пора ли? Да... пора. Прощай ничтожный мир. Я отталкиваю тебя ногою!» В самый последний момент перед решающим шагом он слышит детский плач. Что-то заставляет молодого человека пойти на крик. Он видит хижину альпийского пастуха, в ней сидит семья и мать кормит ребенка. Картина простого семейного счастья вдруг вылечивает страждущую истины душу и прогоняет мысли о бессмысленности существования. «Байрон, Манфред, мечты о самоубийстве, моя гордость и мое величие, куда вы все девались?.. Младенец продолжал кричать — и я благословлял и его, и мать его, и ее мужа... О горячий крик человеческой, только что народившейся жизни, ты меня спас, ты меня вылечил!»

А вот впечатления от поездки в Италию через Сен-Готард молодого Пастернака, описанные в «Охранной грамоте»:

«Кругом галдел мирской ход недвижно столпившихся вершин. Ага, значит, пока я дремал и, давая свисток за свистком, мы вин-

И.С.Тургенев



том в холодном дыму ввинчивались из туннеля в туннель, нас успело обступить дыханье, на три тысячи метров превосходящее наше природное?

Была непрогляднейшая тьма, но эхо наполняло ее выпуклою скульптурой звуков. Беззастенчиво громко разговаривали пропасти, по-кумовски перемывая косточки земле. Всюду, всюду, всюду судачили, сплетничали и сочились ручьи. Легко было угадать, как развешаны они по крутизнам и спущены скрученными нитками вниз, в долину. А сверху на поезд соскакивали висячие отвесы, рассаживаясь на крышах вагонов, и, перекрикиваясь и болтая ногами, предавались бесплатному катанью.

Но сон одолевал меня, и я впадал в недопустимую дремоту у порога снегов, под слепыми Эдиповыми белками Альпов, на вершине демонического совершенства планеты».

Однако продолжим наш путь. Вслед за Суворовым мы направляемся из Италии на север и оказываемся в Альтдорфе (Altdorf).

«Альтдорф — главный город в кантоне Ури, лежащий при подошве Баннберга, есть преимущественное поприще мнимых подвигов Вильгельма Телля, — рассказывает своим читателям Николай Иванович Греч, издатель и публицист, неоднократно бывавший в Швейцарии. — На главной его улице стоят две статуи над фонтанами: одна изображает Телля с сыном, а другая представляет ландаммана со знаменем, на котором изображен герб кантона. Эти два фонтана отстоят один от другого на сто шагов. Говорят, что на месте первого стояла липа, к которой был привязан сын Телля; эта липа высохла и была срублена в 1567 году. Другой фонтан означает то место, с которого Телль будто бы пустил роковую стрелу».

В Альтдорфе начинаются теллевские места. По легенде, использованной Шиллером в знаменитой драме, здесь, в центре Альтдорфа, габсбургский наместник Гесслер повесил свою шляпу, которой всякий должен был поклониться, за чем следили специально приставленные австрийские солдаты. Кланялись шляпе все смертные, кроме, разумеется, национального героя. Лучший стрелок из арбалета Вильгельм Телль был схвачен и приведен к Гесслеру, который в наказание приказал стрелять в яблоко на голове сына. После удачного выстрела наместник спросил Телля, зачем тот приготовил вторую стрелу. Гордый горец ответил, что если бы промахнулся, то пустил бы ее в Гесслера. За это ге-

роя снова хватают и везут в тюрьму, но по дороге Телль бежит, а после, подкараулив, убивает тирана.

Не до героев эпоса было русским генералам, пришедшим в Альтдорф 26 сентября 1799 года. Русские приходят в почти целиком выгоревшую деревню. Суворов останавливается в доме Штефана Яуха, одном из немногих, которые пощадил огонь. Этот дом на Хеллгасе (Hellgasse), в котором была штаб-квартира полководца, и сейчас носит имя Суворова, а в местном музейчике редкому посетителю покажут историческую кровать, в которой якобы провел ночь главнокомандующий. Ночь, по всей видимости, тревожную — только уже в Альтдорфе выяснилось, что дороги на Швиц вдоль восточного берега Фирвальдштетского озера, по которой планировалось идти дальше на Цюрих, нет. Это одна из тех загадок военной истории, разрешить которую до сих пор не могут ученые, занимающиеся Альпийским походом Суворова. Что на самом деле послужило причиной столь странной ошибки суворовских штабистов — предательство союзников-австрийцев или русское «авось» — так, наверно, и останется тайной. Та дорога, по которой Суворов собирался вести вдоль озера свою армию на соединение с Корсаковым, будет пробита в прибрежных скалах только через полвека после описываемых событий и получит название Аксенштрассе (Axenstrasse).

Суворов, исполняя приказ Павла об «освобождении» Швейцарии от завоевателей, распространяет в Альтдорфе листовки, призывающие население к общей борьбе вместе с коалицией против французов. Потомки Телля, однако, без особой любви относятся как к «поработителям», так и к «освободителям» в казацких шапках и не проявляют никакого желания воевать на чьей-либо стороне, покорно выжидая своей участи.

Флориан Луссер (Florian Lusser), очевидец событий, так описывает пребывание Суворова в Альтдорфе в своей книге «Страдания и судьбы жителей кантона Ури», вышедшей в 1803 году: «В шесть часов вечера Суворов в окружении нескольких сотен казаков и большого количества пеших въехал в своей фантастической одежде в Альтдорф. На нем была рубашка, открытый черный камзол, открытые с боков штаны, в одной руке он держал плетку, другой рукой он осенял всех кругом крестным знаменем, подобно епископу. Вышедшего ему навстречу ландаммана (президент общины. — *М.Ш.*) Шмида он обнял и поцеловал, а от достопочтенного пастора Рингольда принял благословение, поч-

тительно преклонив главу. Все это французские рассказы, что вскоре после этого он приказал последнему всыпать палок. Потом он обратился с речью к собравшемуся люду и провозгласил на ломаном немецком, что является спасителем и избавителем Швейцарии и что пришел освободить ее от тирании безбожников. Он призвал светские и церковные власти поднять народ на войну и следовать за ним в Цюрих... На это Тадеас Шмид отвечал молчанием». На призыв Суворова последовать за его войском на освобождение от французской блокады Цюриха никто не откликнулся.

О состоянии русских воинов Луссер пишет: «Солдаты так были измучены голодом, что они не брезговали даже самыми отвратительными вещами, даже брали кожи из дубильни, резали их и ели. От множества бивуачных костров казалось, что Альтдорф снова горит».

Полководец решает вести своих «чудо-богатырей» в обход, через горы.

Из Альтдорфа Суворов, за отсутствием дороги берегом Фирвальдштетского озера, направляется на Швиц через перевал Кинциг (Kinzigpass). Об этом событии на перевале напоминает бронзовая доска с крестом на скале: «В память о переходе русских войск под водительством генералиссимуса Суворова осенью 1799 года». (В этой надписи, как и на большинстве других памятных досок, как уже отмечалось выше, неточность в указании звания полководца — в сентябре 1799 года во время Швейцарской кампании Суворов еще генерал-фельдмаршал. Звание генералиссимуса он получит от Павла позже.)

Перейдя хребет Росшток (Rosstock), армия спускается в долину Муотаталь (Muotathal), в которой вместо предполагаемых частей союзников-австрийцев русские с удивлением обнаруживают не менее измученных французов. Дорога на Швиц и оттуда на Цюрих, куда направлялся Суворов для соединения с частями Римского-Корсакова, оказывается закрыта.

Армия становится лагерем в главном местечке одноименной долины — в Муотатале (Muotathal), расположившись по берегам Муоты вокруг женского францисканского монастыря Святого Иосифа, в здании которого устраивается фельдмаршал.

Состояние войск оставляет желать лучшего. Гренадерский капитан Грязев вел на протяжении всей заграничной кампании дневник — «Мой журнал». На страницах его, посвященных швей-

царскому походу, читаем: «Начиная от Беллинцоны чувствовали мы большой недостаток в продовольствии пищею, и в особенности после сражения на горе С.-Готарде недостаток сей сделался еще ощутительнее, но здесь оказался оный в совершенстве. Наши сухари, навьюченные с мешками на казачьих лошадях, все без изъятия пропали, первое потому, что большая их часть состояла из белых и пресных, которые от ненастной погоды размокли и сгнили, а наконец, потому, что лошади, растеряв подковы и обломав по каменным горам свои копыта, разбивались, падали и умирали от бескормицы, так что ни один вык не мог дойти до Мутенталю... Мы копали в долинах какие-то корни и ели, да для лакомства давали нам молодого белого или зеленого швейцарского сыру по фунту в сутки на человека, который нашим русским совсем был не по вкусу, и многие из гренадер его не ели; со всем тем, во все время нашего пребывания в Швейцарии сыр составлял единственную пищу; мяса было так бедно, что необходимость заставляла употреблять в пищу такие части, на которые бы в другое время и смотреть было отвратительно; даже и самая кожа рогатой скотины не была изъята из сего употребления; ее нарезывали небольшими кусками, опаливали на огне шерсть, обернувши на шомпол, и таким образом обжаривая воображением, ели полусырую».

Здесь, в Муотатале, Суворов узнает о разгроме русских войск под Цюрихом. 29 сентября в самой просторной комнате монастыря, которая служила приемной настоятельницы, русские высшие офицеры держат военный совет. Весь план кампании с бегством Корсакова за Рейн разрушился как карточный домик, положение армии Суворова кажется катастрофическим — оба выхода из долины находятся в руках французов. Согласно апокрифическим запискам очевидца, Суворов заявляет: «Теперь мы среди гор, окружены неприятелем, превосходным в силах. Что предпринять нам? Идти назад — постыдно: никогда еще не отступал я. Идти вперед к Швицу — невозможно: у Массены свыше 60 000, у нас же нет и двадцати. К тому же мы без провианта, без патронов, без артиллерии... Помощи нам ждать не от кого... Мы на краю гибели!..» Багратион вспоминал, что со словами: «Но мы русские! Спасите честь и достояние России и ее самодержца!» — Суворов встал перед своими подчиненными на колени. «Мы остолбенели, — продолжает Багратион, — и все невольно двинулись поднять старца героя... Но Константин Павлович пер-

вым быстро поднял его, обнимал, целовал его плеча и руки, и слезы из глаз его лились. У Александра Васильевича слезы падали крупными каплями. У меня происходило необычайное, никогда не бывавшее волнение в крови». Суворов произносит решающие слова: «Теперь одна остается надежда на всемогущего Бога да на храбрость и самоотвержение моих войск! Мы русские! С нами Бог!...»

Фельдмаршал решает идти не на Швиц, а в обратном направлении, на восток – пробиваться с боями на Гларус (Glarus). Армия начинает движение на перевал Прагель (Pragelpass), в то время как со стороны Швица Суворова преследует генерал Мортье, которому предстоит стать в свое время военным губернатором Москвы. В арьергарде Розенберга сражается полк под командованием Милорадовича, так что на Бородинском поле предстоит встреча старым знакомым. В боях 1 октября в долине Муоты достается французам. Они теряют около тысячи человек ранеными и убитыми, еще столько же попадает в плен. Русские части преследуют французов почти до Швица, а один отряд достигает даже Бруннена (Brunnen), расположенного на берегу озера. Русских погибает около пятисот человек.

В Люцерне, в музее Глетчергартен (Gletschergarten-Museum), как уже упоминалось выше, находится рельеф, изображающий бои 1 октября 1799 года в Муотатале. Поле, вернее сказать, ущелье битвы искусно реконструировано швейцарцем Нидеростом (Niederost), наблюдавшим юношей за кровавыми событиями. Уроженец Швица, дослужившийся позднее до капитана на французской службе, оставил после себя своеобразное документальное свидетельство очевидца: четырехметровое по размерам изображение событий соответствует виду со стороны улицы, ведущей на Прагель, напротив церкви Муотатала. Рельеф некогда путешествовал с большим успехом по европейским столицам, и интересно, что русские делали попытки приобрести его для музея Суворова, но рельеф нашел свое постоянное место в Люцерне.

Описание тех дней сохранились и в «Протоколлуме», хронике, которую с 1705 года по сей день ведут монахини в Муотатале. События непосредственно после боев 1 октября записывает сестра Вальдбурга Мор (Waldburga Mohr): «Русские привели много пленных, среди них одного генерала, его адъютанта, командира батальона, адъютанта майора, нескольких капитанов и лей-

тенантов, всего 14 офицеров и около 1500—1600 простых солдат, русские у всех отняли ботинки и сапоги, шляпы, шейные платки, носовые платки и все имущество, офицерам мы дали чулки, платки — что могли: но при этом мы должны были бояться казаков, которые этого не потерпели бы, что мы хотели что-то дать этим французам, пленные офицеры были в комнате матери Штубен, генерал и его адъютант не были заперты. С ними вместе ел граф фон Розенберг и его адъютант, остальные офицеры одни в комнате матери Штубен. Сестры могли им прислуживать, перед их дверью стоял русский часовой...» Военнопленных солдат на ночь запирают в церковь. Им, по свидетельству монахини, вообще ничего не дают. Офицеры получают кофе. «Утром всех повели на Гларус под охраной русского батальона».

Монастырь и сегодня выглядит так же, как в те далекие годы. О пребывании здесь русского генерал-фельдмаршала говорит памятная доска: «Генералиссимус Суворов. 28—30 сентября 1799 года».

На современном здании школы также можно увидеть мемориальную надпись: «В память о пребывании генералиссимуса Суворова в Муотатале осенью 1799 года». На этом месте якобы был дом, в котором размещался штаб армии.

Мост, соединяющий берега Муоты, разрушенный во время боев, был восстановлен в 1810 году и носит с тех пор имя русского полководца. На нем можно прочесть: «Суворовский мост. В память о победе русских войск генерала Суворова 13 сентября — 1 октября 1799 года».

Вернемся в Альтдорф. Посещение этого городка в 1821 году наводит Василия Жуковского на мысли, вовсе не связанные с героизмом русских «освободителей». «Место, где жил Вильгельм Телль, означено часовнею, — записывает поэт. — Этот обычай, строить вместо великолепных памятников скромные алтари благодарности Богу на местах славы отечественной, трогает и возвышает душу... На вершине Риги стоит простой деревянный крест, и маленькая часовня Телля таится между огромными утесами: но они не исчезают посреди этих громад, ибо говорят не о бедном могуществе человека, здесь столь ничтожном, но о величии души человеческой, о вере, которая возносит ее туда, куда не могут достигнуть горы своими вершинами».

Из Альтдорфа Жуковский совершает пешую прогулку в соседний Бюрглен (Bürglen), через который проходили некогда рус-

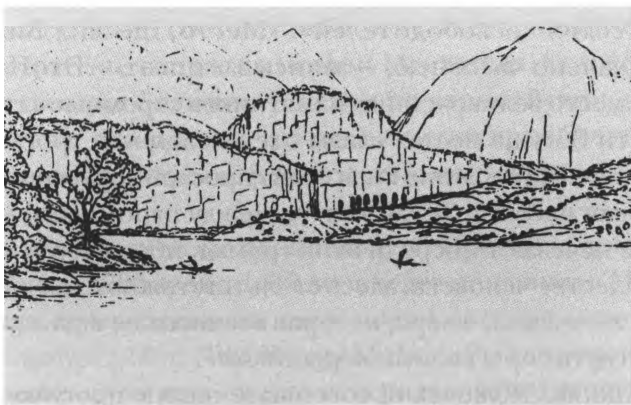
ские войска и где поэт встречает живых свидетелей суворовской эпопеи, в частности, знакомится с художником Триннером, помнившим полководца: «Старик был веселый, — сказал мне Триннер, — он свистел, и пел, и смеялся, и прыгал, как ребенок».

Во время своего путешествия по Альпам Жуковский много рисует. Позже он напишет в письме А.П.Зонтаг: Швейцария «сделала меня художником». В горах им было подготовлено около 80 эскизов, 23 из которых он гравировал.

Вообще мысль о домике на берегу Фирвальдштетского озера, наверно, приходила многим русским путешественникам, побывавшим в этом безмятежном краю. Еще Константин Аксаков, приехавший в Швейцарию в 1838 году после окончания университета, мечтал остаться здесь навсегда и найти себе приют в скромном домишке. Один из героев «Доктора Живаго» мечтает в объятай смутой России: «Забраться бы в Швейцарию, в глушь лесного кантона. Мир и ясность над озером, небо и горы, и звучный, всему вторящий, настороженный воздух». Среди тех, кто осуществит это желание, — Сергей Рахманинов, обосновавшийся на берегу озера Четырех кантонов, но о его вилле Сенар чуть позже.

Обязательными достопримечательностями на озере являются Луг Рютли (Rütli) и капелла Телля. Главная национальная святыня Швейцарии представляет из себя луг, на котором некогда был заключен союз первых кантонов, превратившийся со временем в Швейцарскую Конфедерацию. Комментарий Василия Жуков-

Озеро в Швейцарии. Офорт работы В.А.Жуковского



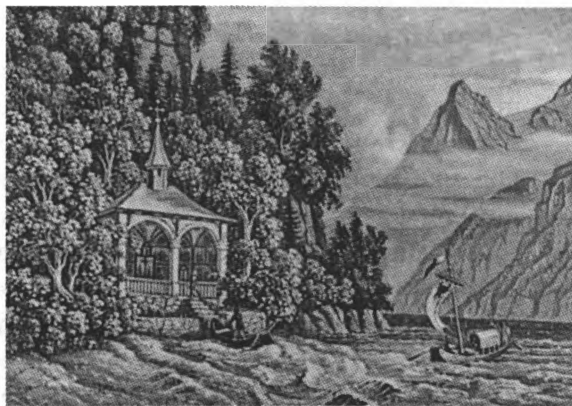
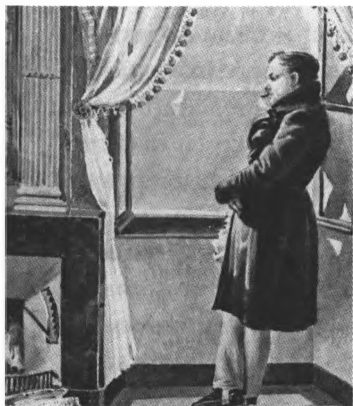
ского, севшего в Бруннау на лодку и подплывшего к Рютли, «покрытой зеленым дерном площадке»: «На ней нет памятника; но свобода Швейцарии еще существует». Интересно, что Герцен назвал Воробьевы горы, место юношеской клятвы посвятить жизнь освобождению народа, своим Рютли.

Часовня Телля тоже не вызывает у путешественников из России особенных эмоций. Герцен в письме Огареву 18 июля 1868 года ограничивается лишь коротким замечанием: «Мы с Лизой были на пароходе под дождем и осматривали Tell's Platz...»

С кантоном Ури граничит кантон Швиц, лежащий в самом сердце альпийской республики. Этот кантон дал название Конфедерации. «Кантон Швицкий замечателен тем, — пишет Александр Тургенев, — что в нем нет ни одного города, и главное местечко Швиц, давшее имя всей Швейцарии, не город, а местечко или деревня».

Из Швица, в котором путешественники осматривали хранящуюся здесь знаменитую в швейцарской истории грамоту, положившую начало союзу кантонов, путь часто лежал в направлении на Эйнзидельн (Einsiedeln), известный своим монастырем и статуей черной мадонны, издавна привлекавшей множество паломников. Католический монастырь, как правило, не нравился православному путешественнику. Вот что пишет, например, Жуковский: «Признаюсь, Эйнзидельн не имел для меня ничего привлекательного: положение монастыря не живописно; я ви-

В.А.Жуковский у Женевского озера Часовня Телля



дел богатую церковь, толпу богомольцев и процессию монахов – но усталость и боль в ногах мешали моему вниманию». Зато обратную дорогу на Швиц поэт находит чудесной, и открывшиеся перед ним картины Альп, уверяет он, «останутся навсегда в моей памяти».

Среди курортных местечек, расположенных по живописным берегам Фирвальдштетского озера, особой популярностью у русских пользовался Фицнау (Vitznau). Свою роль сыграло и то, что отсюда, как правило, начинали свое восхождение туристы на знаменитую вершину Риги.

Многие, впрочем, находят повод чувствовать себя несчастным и в этом райском уголке. Например, Чайковский, спустившись в 1873 году с Риги-Кульма, остается крайне недоволен швейцарским сервисом: «На возвратном пути 2 часа ждали парохода в Фицнау и прескверно обедали».

В 1895 году Скрябин проживает в Фицнау в роскошном «Отель дю парк» (Hôtel du Parc) и сгорает от любви к Наталье Валерьевне Секериной. Влюбленный молодой композитор скучает и пишет предмету своей страсти: «Вы спрашиваете меня о впечатлении, полученном от Швейцарии. О великолепии природы, конечно, нечего говорить, так как этот вопрос уже давно решен. О людях же скажу, что здесь они, кажется, совершенно утонули в своей практичности и довольно скучны, за немногими исключениями». В Фицнау Скрябин работает над «Прелюдиями».

Вовсе не замечают красот природы русские студенты, решающие вопросы переустройства мира. Здесь проводят каникулы не только молодые люди, обучавшиеся в швейцарских университетах, но и из Германии. Вождь эсеров Чернов в своих мемуарах «Перед бурей» вспоминает, как в начале века приезжал сюда с другим лидером только что организованной партии Михаилом Гоцем вербовать студентов из так называемого гейдельбергского кружка. «Живо помню, например, как мы, «старики» (тогда лет восемь разницы уже означали перемещение, так сказать, в высший возрастной класс), нагрянули однажды в гости к членам кружка, проводившим каникулы на берегу одного из больших швейцарских озер, в местечке Фицнау». Начался «бесконечный и жаркий (типично русско-интеллигентский) спор о высших мирозерцательных проблемах». Примечательно, что среди спорщиков – Николай Авксентьев, Илья Фондаминский, Владимир Зензинов, Абрам Гоц, Вадим Руднев – все знаменитые будущие

эсеры, все займут руководящие посты в партии и будут влиять на ход русской революции. «Так поспорили мы целый день, — продолжает Чернов, — а за ним почти целую ночь; утром же нам надо было спешить на пристань, и мы доспаривали в пути охрипшими голосами. Уже с парохода были сняты мостки, уже, бурля водой, заработали колеса, а к берегу с парохода и от берега к нему все еще пролетали последние ракеты-снаряды философских аргументов, как будто они могли перерешить судьбу вопросов, свитых в гордиев узел».

Об Абраме Гоце более подробно рассказано в главе «Женева», а об остальных курортниках Фицнау скажем несколько слов.

Николай Авксентьев — центральная фигура кружка. Защитив докторскую диссертацию о философии Ницше, целиком посвятив себя революционной работе. В 1905 году он в России, член ЦК партии эсеров, за свои исключительные ораторские способности получает прозвище русского Жореса. Арест, ссылка в Тобольск, побег, эмиграция. Авксентьев всегда на правом крыле партии, считает революцию «варварской формой прогресса», выступает против массового террора. В 1917 году Авксентьев снова в России, министр внутренних дел Временного правительства, председатель Демократического совещания и Временного совета Российской республики (Предпарламента). После октябрьского переворота он возглавит Комитет спасения родины и революции, будет пытаться отстоять свободу с оружием в руках. Его арестуют, несколько месяцев он проведет в Петропавловской крепости. После освобождения — член Уфимской директории, затем снова эмиграция, уже навсегда. Он умрет в Нью-Йорке в 1943 году.

Илья Фондаминский, известный под псевдонимом Бунаков, сын богатого купца, из своих личных средств поддерживает партию социалистов-революционеров. Активно выступает за террор, много раз арестован. Во время революции 1917 года он комиссар Черноморского флота, депутат Учредительного собрания от черноморцев. После разгона Учредительного собрания живет в Москве и Петрограде нелегально, пытается организовать сопротивление большевикам. С 1919 года — в эмиграции. Здесь происходит душевный переворот — он отказывается от политической борьбы против Советской России, считая, что большевизм можно победить только идейно. Фондаминский принимает участие в издании журнала «Новый град», который прово-

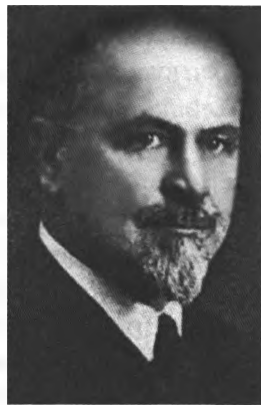
дит мысль, что только христианство органически утверждает равенство личности и мира. Бывший революционер принимает православие. Во время немецкой оккупации Парижа Фондаминского арестуют. Он погибнет в газовой камере Освенцима.

Владимир Зензинов также из богатой семьи, его отец был известным чаеоторговцем. Обучение в лучших западных университетах приводит его к эсеровскому террору. В 1905 году он один из руководителей московского комитета партии. После поражения восстания Зензинов — член БО, участвует в подготовке ряда покушений, приговорен к восьми годам каторги. Из Сибири бежит в 1907 году через Японию. После разоблачения Азефа Зензинов снова в России на нелегальной работе, пытается спасти партию от распада. Опять арест и ссылка, на этот раз в Якутию. В 1917 году он в ЦК партии, в ночь октябрьского переворота покидает с другими эсерами Второй съезд Советов, чтобы бороться с большевиками. Зензинов — депутат Учредительного собрания, член правительства Уфимской директории. В эмиграции он проживет долгую жизнь, будет издавать журналы, писать мемуары. Зензинов умрет в Америке в 1953 году.

Вадим Руднев тоже пройдет путь, типичный для русского революционера. Дворянин, он откажется от всех привилегий своего положения и посвятит жизнь «освобождению народа». За его плечами тюрьмы, ссылки в Иркутск и в Туруханский край. В 1905 году он возглавляет эсеровскую организацию Москвы, во время боев ранен. После разоблачения Азефа считает возможной толь-

В.М.Зензинов

В.В.Руднев



ко легальную работу. Он решает стать земским врачом и поступает на медицинский факультет Базельского университета. На следующий день после начала мировой войны Руднев едет в Берн и подает в русское посольство заявление с просьбой отправить его на фронт фельдшером. В Россию он возвращается, сдав сперва в Швейцарии экзамены на врача. В 1917 году он снова возглавляет московский комитет партии. В результате победы эсеров на выборах в городскую Думу его избирают городским головой. Если Петроград сдастся большевикам практически без борьбы, то в Москве именно Руднев организует вооруженное сопротивление, создав Комитет общественной безопасности. В эмиграции он возглавит руководство журналом «Современные записки» и напечатает, в частности, русские произведения Набокова, однако, воспитанный на идеалах «Что делать?», не допустит к публикации главу о Чернышевском в романе «Дар».

Продолжим наше путешествие по берегам Фирвальдштетского озера. Служил Фицнау и приютом для новообращенного антропософа Андрея Белого. В письме Блоку от 10 (23) ноября 1912 года он рассказывает: «...Поехали в Vitznau (в Швейцарии) работать над уроком Доктору (теперь у нас с Асей по докладу ему). Мы месяц жили в полном уединении, среди гор, в деревушке. Время шло так: с утра до ночи работа (медитация, Vortrag Доктору, роман «Петербург», немецкий, циклы лекций для изучения, статьи в «Труды и дни»). Буквально не выходили месяц из комнат».

Позже, в работе «Почему я стал символистом», Белый так напишет о днях, проведенных в 1912 году на этом озере: «...В Фицнау продолжаю строчить две статьи: «Круговое движение», «Линия, круг, спираль символизма», в которых «СИМВОЛИСТ» поддерживает символизм с яркостью, о которой отзывается Метнер в Москве, что в статьях будто бы «ИСКРЫ ГЕНИАЛЬНОСТИ»; и несмотря на «ИСКРЫ», я — идиот: очевидно, «ИСКРЫ ГЕНИАЛЬНОСТИ» вспыхивали не в голове, сердце или воле, а в... «ПУПКЕ»».

Редкий из путешественников, бывавший в этих местах, не поднимался на Риги. Чтобы увидеть знаменитую панораму, открывающуюся с вершины горы, Жуковский в 1821 году, «вооружившись длинною альпийской палкою, полез по крутому всходу на высоту Риги». Поэт рассказывает дальше о своих впечатлениях: «На высоте я застал захождение солнца, хотя облака покрывали

небо, но зрелище, которое я видел, было великолепно». Закат солнца в Альпах наводит Жуковского на следующие размышления: «Видя угасающую природу, приходит мысль, что душа и жизнь есть что-то не принадлежащее телу, а высшее; пока они в нем, по тех пор и красота; удалились — формы те же, но красоты уже нет; ничто так не говорит о смерти в величественном смысле, как угасающие горы».

Поэт ночует в гостхаузе на Риги-Штафель (Rigi Staffel), а на следующее утро встречает рассвет на Риги-Кульм (Rigi Kulm). Жуковский был так потрясен увиденной картиной, что дает себе слово на обратном пути еще раз подняться сюда, что и сделает.

Связанные с подъемом переживания вдохновляют в 1838 году Константина Аксакова на написание стихотворения «Путешествие на Риги».

Греч в 1841 году жалеет, что возраст и состояние здоровья не позволяют ему снова, как во время его прежнего путешествия по Швейцарии, подняться на вершину: «Но читатели мои ничего не потеряли оттого, что я не взбирался на Риги-Кульм: этих зрелищ никакое перо не опишет!»

Тютчев в письме Эрнестине в августе 1854 года вспоминает Риги-Кульм, «к вершине которого ты, по-видимому, навсегда почувствовала такое же влечение, как и я».

Толстому столь любимое туристами место, разумеется, не понравилось, хотя и он в 1857 году ночует в здешней гостинице и встает в три утра, чтобы встречать восход, но его внимание больше занимает грязная кровать с клопами.

В том же году попытку увидеть горную панораму предпринимает знаменитый историк Николай Костомаров, но безуспешно: «Когда мы начали подниматься уже к самой вершине Риги, нас покрыло густое облако, и, достигши вершины, мы ничего не могли видеть. У построенной там гостиницы встретил я целый табор путешественников-англичан обоюбого пола, приехавших сюда за тем же, за чем и я, так же, как и я, обманутых в своих надеждах».

На Александра Ивановича Кошелева, поднявшегося на Риги год спустя, вид альпийского заката производит такое неизгладимое впечатление, что известный славянофил решает остаться здесь еще на день: «Я предполагал, полюбовавшись закатом и восхождением солнца, отправиться на следующий же день обратно в Люцерн». Но повторного представления природы снова оказывается недостаточно — он остается еще на один день. «Такие

мои решения повторялись несколько раз; и только на восьмой день и не без искреннего глубокого сожаления оставил я вершину Риги».

В 1859 году во время своего совместного путешествия по Швейцарии видом с Риги восхищаются русские ученые Сеченов и Менделеев.

Приезжают на Риги и цюрихские студенты. Кулябко-Корецкий вспоминает, как «ездили на Риги-Кульм любоваться восходом солнца с вершины горы, с которой на половине горизонта тянется сплошная цепь снежных вершин в 200 километров протяжением, от Монблана до Глерниша и Тёди, а на другой половине горизонта расстилается вся низменная и холмистая Швейцария с ее городами, деревнями, реками и всеми 12 озерами».

Чайковский в 1873 году поднимается уже не пешком с альпенштоком в руках, но по железной дороге особой конструкции, построенной для привлечения туристов. Композитор записывает в дневнике: «Поездка на Риги-Кульм — удачная. Железная дорога изумительна. Насилу на наше счастье нашли мы в переполненном отеле комнату. Вставать было тяжело. Холод пронзителен, и после восхода солнца я чувствовал себя скверно».

Вершина Риги становится местом завязки действия «русского» романа Альфонса Доде «Тартарен в Альпах»: у брата революционерки Сони после сибирской ссылки больные легкие, и молодые люди едут в горы. К ним присоединяется и влюбленный француз.

Англичане на вершине Риги ожидают восхода солнца



Студентом в 1897 году приезжает с товарищами на Фирвальдштетское озеро и Мстислав Добужинский. «Мы решили пройти пешком по знаменитой дороге Axenstrasse от Fluehlen до Brünnen и в жаркий день с чемоданами за плечами и с альпенштоками пустились в дорогу – прогулка взяла почти целый день. Наутро поднялись по довольно страшной воздушной дороге, висая над пропастью, на Rigi Kulm, и там, в чистом воздухе этих горных высот, я долго валялся на траве, слушая перезвон коровьих колокольчиков. Спутники мои ушли искать какие-то тропинки, я же пытался рисовать и втискивал в мой маленький альбом необычную перспективу пропастей и горные пространства без горизонта. Что-то новое открывалось моему глазу художника... Мы добрались до большой казарменного типа гостиницы на вершине горы, чтобы рано утром полюбоваться оттуда на знаменитый восход солнца над панорамой Альп, но, вставши, увидели только белую стену тумана и перед нею на террасе спины англичан, закутанных в пледы, неподвижно сидящих на складных стульях. Как нам говорили, они упрямо дожидались зрелища уже несколько дней».

Не везет и Бунину, приехавшему сюда во время своего первого путешествия по Швейцарии поздней осенью 1900 года. Туристический сезон уже закончился, горная железная дорога остановилась. В письме брату, написанном на вершине Риги-Кульма 18 ноября, Бунин рассказывает: «И вот мы пустились, не колеблясь, на ногах. Вышли в 12 и 5 $\frac{1}{2}$ часов шли без остановки вверх...

М.В.Добужинский



Страшно трудно. На горах — глубокая осень видна; леса в туманах дымятся, туманы вверху в ущельях налиты сумраком. В половине второго вступили в облака, и озера внизу пропали. Что за тишина, какой туман! А леса стоят в нем, и лиственные деревья тихо роняют коричневые листья. Пар от нас мокрых, как мыши, валил, как от лошадей. Туман, то есть густота облаков, все росла. Прошли через мост над страшной пропастью. В три часа вступили в снега. Около четырех пришли в занесенный снегами, чуть видный пятнами в тумане отель, перекусили на самую скорую руку — и дальше. Зубчатая дорога, полужанесенная снегом, идет точно в небо. И все глуше и дичее становилось. Помню, стояли на одном обрыве, — какой там туман был внизу. Чем ниже — все темнее. Так что в глубине — точно сепия налила. А ели все реже и уже в пне. Вспомнил я Россию, север. И наконец — Риги-Кульм, высота более двух тысяч метров. Все три гигантских отеля на этом конусе пусты, занесены снегом и едва видны в тумане. В главном нашли комнату, внизу в столовой для прислуги — печка, три швейцарки, налитые кровью. Обсуживались, поели. И проводили долгий вечер на этой высоте, в мертвой пустоте. Идем спать». На следующий день Бунин дописывает: «Спали в шапках, я в пиджаке, под ногами грелка. Проснулись в 7 ч. — туман, растет иней. Вышли из отеля — в двух шагах ничего не видно. Подымается метель. Сидим внизу, ждем, не прорвет ли туман. Жаль вида, — отсюда видны все Бернские Альпы!»

И.А.Бунин

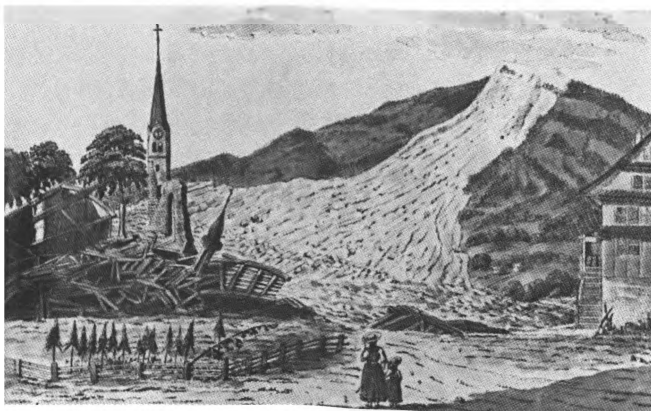


Разумеется, у писателей ничего не пропадает – впечатления от зимних швейцарских гор найдут отражение у Бунина в его «Маленьком романе». Знаменитую же картину Бунин увидит почти через сорок лет. «В 1937 году, – пишет Муромцева в «Жизни Бунина», – мы с Иваном Алексеевичем провели несколько дней в швейцарском курорте Вегесе. Из Вегеса он доплыл на пароходе до Фиснау и поднялся, только не пешком, а по зубчатой дороге на Риги-Кульм и наконец увидал во всей красе панораму Бернских Альп».

По другую от озера сторону Риги расположено местечко Гольдау (Goldau), известное тем, что в начале XIX века обвал горы уничтожил эту деревню вместе со всеми жителями. Впечатления от увиденных последствий этой катастрофы находим в «горной философии» Жуковского, которую поэт излагает в письме своему воспитаннику, будущему императору Александру II. Повторим еще раз вывод Жуковского: «На этих развалинах Гольдау ярко написана истина: “Средство не оправдывается целью; что вредно в настоящем, то есть истинное зло, хотя бы и было благотельно в своих последствиях; никто не имеет права жертвовать будущему настоящим и нарушать верную справедливость для неверного возможного блага”».

У подножия Риги и самого края Фирвальдштетского озера расположился Кюсснахт (Küssnacht), о котором Александр Тургенев восклицает: «Кюсснахт, какое имя в истории Швейцарской!»

Гольдау



Автор «Хроники русского» приезжает сюда по следам героя легенды. «Басня или быль о Телле ожила в душе моей, особливо, когда из Кюснахта я прошел в так называемую hohle Gasse, где Телль подстерег Гесслера и где на большой дороге сооружена изваянию каплица, на фронтоне коей картина, изображающая смерть Гесслера... За сею капеллою начинается вид Цугского озера. Я ехал по берегу к деревеньке Immensee... И в осеннем убранстве окрестности озера прелестны! Там, где оно оканчивается, лежит местечко Арт: из Арта была та девица, которой брат убил бургхофта, ее обесчестившего. Дома старинные, исписанные библейскою и швейцарскою историею, фигурами Телля, Винкельрида и прочих героев Швейцарии... Кстати о Шиллере: чем более видишь Швейцарию, чем более знакомишься с ее стариною, тем более удивляешься верности картин, характеров, изображению нравов в трагедии Шиллера «Вильгельм Телль». История шапки, перед которой Телль не хотел снять своей, также вся вымалевана на домах».

Посещает Тургенев и место, где некогда жил наместник Габсбургов: «Мальчишка проводил меня к развалинам замка Гесслера, на горе стоящего и никому более не страшного». Интересно, что вид швейцарских крестьянских домов напоминает путешественнику далекую родину, Тургенев, например, упоминает «Мерлишахен, истинно швейцарскую деревеньку, коей строения похожи на красные русские избы».

На живописном мысе, далеко выдающимся в Фирвальдштетское озеро, лежит деревня Хертенштайн (Hertenstein). Неудивительно, что эти роскошные места выбирали для проведения каникул русские революционеры. Так, в 1915 году, когда кругом в Европе идет мировая война, здесь отдыхает чета Зиновьевых. В то же время по другую сторону озера, в Зеренберге (Sörenberg), отдыхают Ленин и Крупская. Семьи обмениваются подарками. Будущий вождь Коммунистического интернационала отсылает Лениным черешню, а те в ответ присылают грибы.

Известность Хертенштайну принес поселившийся здесь Рахманинов.

В конце двадцатых годов Оскар фон Риземан, русский немец, работавший до революции музыкальным рецензентом выходившей в Москве немецкой газеты, а теперь обосновавшийся в Швейцарии, пишет биографию композитора и уговаривает проживав-

ших тогда на даче во Франции Рахманиновых приехать к нему в гости на Фирвальдштетское озеро. Композитор давно уже собирался купить дом где-нибудь в Европе. Приезжая каждое лето из Америки, Рахманиновы снимают дачи то в Германии, то во Франции. Как напишет сестра жены композитора Софья Александровна Сатина: «Семья склоняла его остановиться на Франции, но Сергей Васильевич как-то не доверял ее порядкам, и проекты о покупке участка один за другим откладывались в сторону. Но когда он попал в Швейцарию, ему так понравилось одно место, что неожиданно для себя и семьи он сразу купил там участок земли. Участок этот находился недалеко от Люцерна, на берегу Фирвальдштетского озера. Покупка эта не встретила сочувствия в семье. И жене, и дочерям казалось, что это слишком далеко от всех друзей во Франции. Наталья Александровна, выросшая в степной полосе России, любила приволье, открытое место; мысль, что придется жить в горах, тяготила ее. Тем не менее пришлось примириться с совершившимся фактом».

Рахманинов приобретает участок в Хертенштайне в 1932 году и начинает строительство виллы, которую называет «Сенар» (Senar) — по первым буквам имен Сергей и Наталья. Рахманиновы будут проводить здесь каждое лето вплоть до 1939 года, когда с началом войны они навсегда уедут за океан.

На участке проводятся огромные по объему работы — приходится взрывать скалу, сносить старый трехэтажный дом. Рахманинов строит два дома — сперва флигель при гараже, где живут первое время, пока не закончены работы по строительству основной виллы. Композитор сам с удовольствием принимает участие в работах. 19 апреля 1932-го он сообщает в письме знакомым: «Мы зарабатываем здесь на кусок хлеба тяжким трудом, — с утра до ночи копаем, пашем, сажаем цветы, кусты и деревья, взрываем скалы и строим дороги, — ложимся с курами и встаем с петухами. До чего же ты тяжела, жизнь швейцарского бюргера!»

В письмах Рахманинов называет Сенар своим «имением». Возможно, он действительно хотел создать себе на берегу альпийского озера кусочек России. Софья Сатина: «Наталья Александровна постоянно дразнила Сергея Васильевича, говоря, что он собирается из Швейцарии сделать Ивановку, приготавливая такое ровное, плоское место для луга и сада. От всей этой работы, грязи, непрекращающихся дождей и суеты Наталия Александровна была в отчаянии, Сергей Васильевич же — в восторге».

Рахманинов строит пристань, ангар и покупает моторную лодку. Приехавшим в гости друзьям, Сванам, композитор с гордостью говорит: «Вот теперь посмотрите, посмотрите на набережную, — совсем как в Севастополе». Страстный любитель быстрой езды на автомобиле, Рахманинов теперь предается своему новому увлечению и гоняет по озеру на моторной лодке: «Невзирая ни на какие метеорологические условия, езжу на ней два раза в день», — сообщает он в одном письме. В другом не без гордости добавляет: «Перегонялся с пароходами. Можно сказать не лодка, а птица».

Сваны в своих воспоминаниях рассказывают об одном случае во время прогулки по озеру, который мог кончиться трагически: «В это наше пребывание его страсть чуть не погубила нас». Вместе с гостями отправляется кататься на лодке Иббс, администратор Рахманинова в Англии. «Рахманинов передал ему руль и сел с нами на заднюю скамейку. Не успел он сесть, как произошло нечто страшное: вероятно, Иббс захотел сделать крутой поворот, но лодка, вместо того чтобы повернуться, начала кружиться и накреняться. Мы прижались к сиденьям и в мертвой тишине следили за Иббсом... Винт уже громко трещал в воздухе, и левый борт лодки касался воды...» В последнюю минуту Рахманинов бросается к рулю и, отпихнув англичанина, спасает всех — «в тот миг, когда большая лодка готова была перевернуться и накрыть нас». По дороге домой Рахманинов просит Сванов: «Не говорите ничего Наташе, а то она не позволит мне больше ездить на лодке».

Разумеется, не обходится без разочарований, особенно связанных с затянувшимся строительством. 30 марта 1932 года Рахманинов пишет Сатиной: «Самое главное, приобретенное мной знание, — это, что и здесь, как везде, преобладают «дождливые» люди, солнечных — мало». В письме Сванам: «Я очень устал от этих хозяйственных забот. Мне совсем не следовало начинать эту стройку. И хуже всего, что здесь они все мошенники, как и везде. Противно!»

Но все же подобные настроения редки. В другом письме Сатиной композитор пишет о Сенаре: «Здесь как раз та тишина и покой, в которых я нуждаюсь». Из письма Д.Барклай 4 мая 1935 года: «Я всегда утверждал, что единственное место для жизни — это «Сенар»». Рахманинова даже не смущает суровый горный климат: «Погода у нас аховая! — заявляет он одному из своих корреспондентов. — Но, как видите, рай возможен и при низкой температуре».

Когда строительство заканчивается, Сенар становится местной достопримечательностью, настолько выделяется своей красотой русское «имение» на Фирвальдштетском озере. «Пароходы, на которых совершались экскурсии из Люцерна по озеру, — вспоминает Сатина, — делали специальный крюк, чтобы показать экскурсантам с озера вид Сенара с его деревьями, розами и необычным домом. Перед громадными воротами имения постоянно останавливались пешеходы, чтобы полюбоваться на розы в саду. Рахманиновы, оба большие любители цветов, великолепно распланировали сад, посадив более тысячи разновидностей роз...»

В новом доме Рахманинов много и плодотворно работает. Здесь он пишет в 1934 году знаменитую Рапсодию на тему Паганини. Композитор приступает к работе 3 июля и уже 18 августа заканчивает ее. Он сообщает Сатиной: «Я рад, что мне удалось написать эту вещь в первый год моего жительства в новом Senar'e... и по-прежнему Senar мне ужасно нравится. Хожу по нему и с гордостью думаю, что все это построил и сделал я и что все "так роскошно и великолепно"». Здесь же, в Хертенштайне, Рахманинов пишет свою Третью симфонию.

На автомобиле Рахманинов гоняет по окрестностям и совершает дальние поездки: например, ездит в Италию, в Дрезден, на вагнеровские представления в Байроит. 19 июля 1938 года он пишет своим друзьям Сомовым: «Новый рекорд. Из Парижа до Senar'a 610 км. Этот пробег с двумя остановками для еды, одной остановкой для бензина, одной остановкой на границе — был совершен в 10 часов 10 минут. Машина «Пакар»! Два часа управлял шофер, остальное время — я».

У Рахманиновых в Сенаре постоянно бывают гости. Часто бывает Эмилий Метнер, критик, издатель «Мусагета», оставшийся в эмиграции в Швейцарии. Приезжает Михаил Фокин, с которым композитор обсуждает постановку балета о Паганини. В Сенаре гостит Василий Алексеевич Маклаков, знаменитый в прошлом думский оратор, посол Временного правительства во Франции. Летом 1937 года приезжает в гости к Рахманинову Бунин с женой.

Особую роль частые посещения Сенара сыграли в жизни Владимира Горовица. Знаменитый пианист в тридцатые годы вдруг перестает играть. Горовиц тесно сближается в период своего творческого кризиса с Рахманиновым. Они часто говорят о Рос-

сии. Приход к власти большевиков повлиял на судьбу обоих музыкантов. «В 24 часа моя семья потеряла все, — вспоминал Владимир Горовиц. — Своими собственными глазами я видел, как они выбросили наш рояль из окна». В 1934-м к нему ненадолго приезжает из России отец. По возвращении отца арестовывают, и он умирает в тюрьме. В 1935 году с Владимиром происходит срыв — до этого пианист давал по сто концертов в год, косясь по миру. Теперь на три года он замолкает: «Мне надо было о многом подумать. Нельзя идти по жизни, играя октавы».

Приближается Вторая мировая война. Дает себя знать и возраст Рахманинова, начинаются болезни. «Весной 1939-го Сергей Васильевич поскользнулся в столовой и тяжело упал, — вспоминает Наталья, жена композитора. — Ушиб был настолько сильный, что в продолжение всего лета Сергей Васильевич гулял по саду, прихрамывая, с двумя палками». К врачу Рахманинов ездит в недалекий Люцерн. «Когда позже мы поехали в Люцерн к хирургу Бруну, — продолжает Наталья Александровна, — чтобы сделать рентгеновский снимок, Сергей Васильевич беспокоился особенно о руке; Брун сказал мне с восхищением, что за всю свою многолетнюю практику он не видал такой совершенной по форме руки».

1939 год — последний год Рахманиновых в Сенаре и в Европе. «Планы, намеченные Сергеем Васильевичем для работы над ка-

С.В.Рахманинов



ким-то задуманным им сочинением, не были осуществлены, — пишет жена Рахманинова. — Этому помешал Гитлер. Сергей Васильевич очень волновался в ожидании войны. Ему очень хотелось немедленно вернуться в Америку. Он боялся в случае войны застрять в Европе».

Отъезд в Америку в августе 1939-го задерживается в связи с обещанием Рахманинова выступить с концертом на музыкальном фестивале в Люцерне. Сатина пишет: «Отъезд из Европы Сергею Васильевичу пришлось все же отложить на конец августа. Сделал он это, не желая подводить организаторов концертов в Люцерне, которым раньше обещал выступить 11 августа. В Люцерне должен был состояться цикл концертов вместо концертов, устраивавшихся раньше в Зальцбурге. Из-за нежелания многих артистов ехать в занятый немцами город цикл устраивался в Люцерне. Участниками концертов были Рахманинов, Тосканини, Казальс и другие. Концерт Сергея Васильевича был бесплатный».

Этот концерт оказывается последним, который даст Рахманинов в Европе. С оркестром под управлением Ансерме он исполняет Первый концерт Бетховена и свою Рапсодию. Не обходится и без курьеза. В переполненном зале сорок мест было занято путешествовавшим по Швейцарии индийским магараджей со свитой. Сатина: «По окончании концерта Сергею Васильевичу сообщили, что майзорскому магарадже с семьей хотелось бы приехать к нему в Сенар. Хотя Сергею Васильевичу было не до посетителей перед самым отъездом из Сенара, а главное, из-за не покидающей его тревоги, но отказать гостям он не мог. Через день или два в Сенар действительно приехала вся семья магараджи, за исключением его самого. <...> Разговор велся только через переводчика. <...> Провожая гостей, Рахманиновы вышли на крыльцо и, простившись с ними, ждали, по русскому обычаю, пока автомобили не тронутся с места. По непонятной для хозяев причине автомобили все почему-то не двигались...»

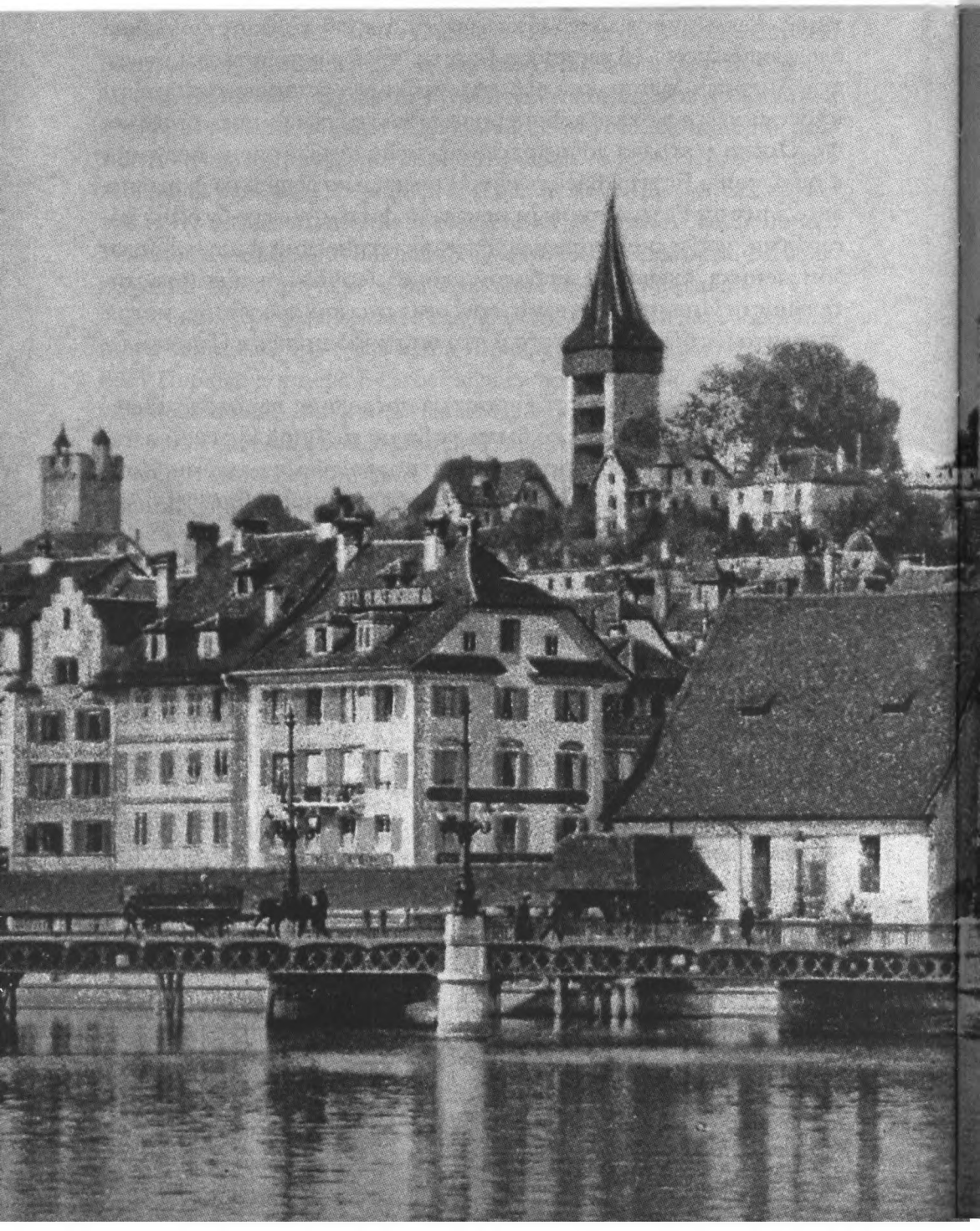
А вот как описывает эту сцену Наталья Рахманинова: «Когда они собирались уезжать, мы по русскому обычаю вышли все на крыльцо, гости уселись в автомобили, но почему-то не уезжали. Мы продолжали стоять на крыльце. Наконец секретарь обратился к Сергею Васильевичу с просьбой уйти с крыльца в дом, ибо, по его словам, по индийскому обычаю гости не могут тронуться с места, пока хозяева не войдут в дом. Мы, конечно, поспешили исполнить их просьбу, и они укатили. Но как только я поднялась

наверх, чтоб укладываться, как к крыльцу подкатили опять две машины. На этот раз приехал сам магараджа со сворой борзых собак и охотником. Появился опять фотограф, который снимал Сергея Васильевича с магараджей во всех видах».

Но и после позирования перед объективом Рахманинову не удастся избавиться от неурочного гостя. Тот упрощивает знаменитого музыканта послушать игру его дочки. Снова рассказывает Сатина: «Рахманинов долго отказывался, так как уезжал с семьей на следующее утро, 16 августа, в Париж, чтобы готовиться к отъезду в Америку. Магараджа все же умолил его остановиться у него в восемь часов в отеле в Люцерне для завтрака и выпить с ним кофе. После завтрака дочь-красавица исполнила (очень недурно, к удивлению Сергея Васильевича) несколько вещей на фортепьяно, а потом Рахманиновым показали фильм – свадьбу сына магараджи, наследного принца. Этот экзотический фильм с показом жениха, ехавшего на белом слоне, необыкновенной растительности Индии очень заинтересовал русских гостей, несмотря на то что им было не до того и что они торопились в Париж».

Рахманиновы покидают Европу на последнем пароходе. Окна в каютах «Аквитании» уже были замазаны черной краской из-за опасности быть торпедированными подводными лодками. Композитор прибыл в Нью-Йорк в день объявления войны.

VIII



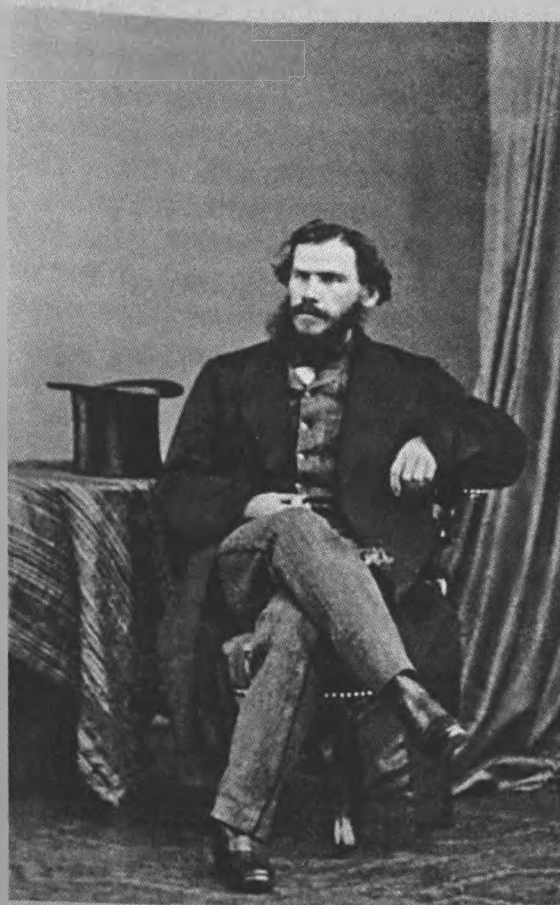
«В этом глупом Швейцерхофе...»

ЛЮЦЕРН

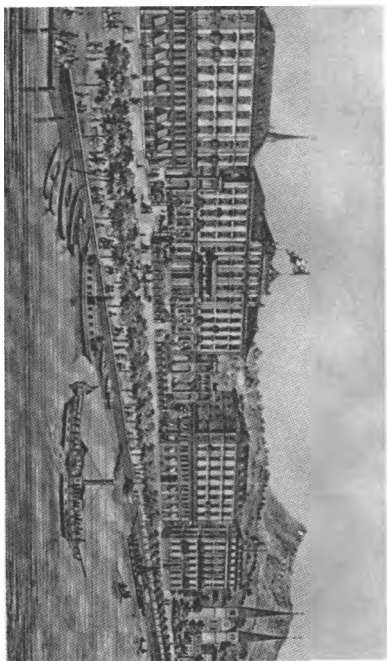


«И не верить в бессмертие души! – когда чувствуешь
в душе такое неизмеримое величие. Взглянул в окно.
Черно, разорвано и светло. Хоть умереть.
Боже мой! Боже мой! Что я? и куда? и где я?»

Л.Н.Толстой. Из дневника, 7 июля 1857 г.



Л.Н.Толстой







Люцерн

Рици

Бург

Юнгфрау

Сен-Готард

«Окрестности Люцерна, может быть, самые живописные в Швейцарии».

Всякий приехавший в этот город вряд ли станет оспаривать мнение Жуковского. Люцерн, главный город Центральной Швейцарии, расположенный на берегу Фирвальдштетского озера у подножия Пилатуса, издавна был точкой притяжения для туристов, колесящих по миру в поисках земных и неземных красот.

Редкий русский путешественник, оказавшийся здесь, отказывал себе в удовольствии пройти по знаменитому мосту через Ройсс, заблудиться в средневековых улочках, а также подивиться, как Жуковский, на люцернского льва. Памятник этот, изображающий умирающего льва с обломком копья, торчащего между ребер, сооружен в 1821 году по эскизу датского скульптора Бертеля Торвальдсена в память о швейцарских гвардейцах, погибших при обороне Тюильри в 1792 году.

Александр Тургенев в своем «Письме из Флоренции в Симбирск» сообщает, что «забежал взглянуть на умирающего льва, вытесанного в утесе, по рисунку Торвальдсена, в память швейцар, погибших во Франции, защищая короля ее. Один из швейцарских офицеров соорудил товарищам своим этот монумент и сохранил имена погибших в капелле, близ льва поставленной. Лев как живой, но умирающий! Утес, в коем он иссечен, омывает светлая вода. Инвалид швейцарского войска — сторожем при памятнике и показывает королевский мундир с медалью, который получил он из рук Людовика XVIII».

Но если Жуковский находится под впечатлением размеров величавого монумента, то Александр Тургенев смущен сутью совершенного героическими швейцарцами подвига: ведь они умерли за чужого короля, не за свое дело. Вспомним, как перевел Салтыков-Щедрин надпись на памятнике — «Любезно-верным швейцарцам, спасавшим в 1792 году, за поденную плату, французский престол-отечество».

Греч восхищен памятником льва, но не в восторге (редкое исключение) от Люцерна: «Самый город неважен и ничем не отличается от других, кроме оригинального своего положения».

Согласен с оценкой Греча и Герцен, но, как обычно, сгущает краски: «Может, придется пожить в Люцерне (самый скучный и глупый город в мире после Лугано и Беллинцона), — пишет он своей знакомой Марии Рейхель 23 июля 1852 года, — я близко от

всего, я налицо и в глуши, в месте, где нет ни одного знакомого. Впрочем, Люцерн, Мадрас, Нью-Йорк — мне все равно».

Настроение Герцена объясняется драматизмом событий, предшествовавших его приезду в Люцерн: в самом разгаре семейная трагедия Герценов — роман жены с Гервегом и знаменитая история с пощечиной, о которой мы упоминали.

Через много лет, уже вернувшись в Швейцарию из Англии, Герцен в поисках постоянного места жительства снова приезжает в Люцерн и даже собирается здесь поселиться. Теперь он пишет об этом городе совсем по-другому: «Я природу Люцерна очень люблю, потому и избрал его центром». О своем временном люцернском адресе он сообщает Огареву 6 июля 1868 года: «Прошу писать так: Lucerne. Hôtel Belle-Vue. Немного дорого, но сердито» (не соответствует современному Bellevue au Lac; отель, в котором останавливался писатель, просуществовал всего несколько лет на Pilatusstrasse). Мечта Герцена о постоянном доме так и не осуществится.

К «русским» достопримечательностям Люцерна с некоторой условностью можно отнести и уникальный рельеф, изображающий бои 1 октября 1799 года в Муотаталь между русскими и французскими войсками, реконструированный капитаном Нидеростом (Niederost), который был очевидцем этих событий совсем

Раненый лев. Скульптор Б. Торвальдсен



еще молодым человеком. Рельеф находится в музее Глетчергартен (Gletschergarten-Museum).

Бесспорно, самое главное «русское место» Люцерн — это знаменитый отель на набережной, открытый в 1845 году.

«Вчера вечером я приехал в Люцерн и остановился в лучшей здешней гостинице, Швейцергофе». Так начинается рассказ Толстого. Случайная встреча на набережной с уличным певцом заставляет его взяться за перо и написать за несколько дней своего пребывания в Люцерне один из лучших текстов мировой литературы.

Толстой приезжает в Люцерн из Берна 6 июля 1857 года. Сперва он останавливается в «Швейцерхофе» (Schweizerhof), в который вскоре приезжает в свите великой княгини Марии Николаевны его тетка Александрин Толстая. С 8 июля писатель живет в пансионе Даман (Daman) на берегу озера до самого отъезда, совершая прогулки по окрестностям и работая над новым рассказом.

Трогательный «артист-пошляк», а вернее, тот взрыв негодования против жестокого мира в душе самого писателя, сменившийся затем восхищением перед мудростью Создателя, сделавшего этот мир таким, каков есть, дают тему для «Люцерн». Толстой сразу начинает работу над рассказом.

9 июля он записывает в дневнике: «Встал рано, хорошо себя чувствую. Выкупался, не нарадуюсь на квартирку, писал «Люцерн»... Робею в пансионе ужасно, много хорошеньких».

Люцерн приходится писателю по душе, обстановка располагает к творчеству. 9 июля он пишет Василию Боткину: «Что за прелесть Люцерн и как мне все здесь приходится — чудо! Я живу в пансионе Даман на берегу озера; но не в самом пансионе, а в чердачке, состоящем из двух комнат и находящемся совершенно отдельно от дома. Домик, в котором я живу, стоит в саду, весь обвит абрикосами и виноградником; внизу живет сторож, я наверху. В сених висят хомуты, подалее под навесом журчит фонтанчик. Перед окнами густые яблони с подпорками, накошенная трава, озеро и горы. Тишина, уединение, спокойствие».

Через три дня рассказ уже вчерне закончен.

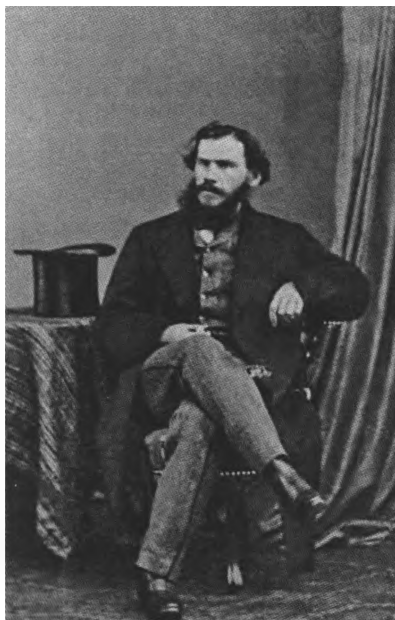
11 июля молодой писатель записывает в дневник: «Надо быть смелым, а то ничего не скажешь, кроме грациозного, а мне много нужно сказать нового и дельного».

Еще несколько дней Толстой путешествует по окрестностям, а по возвращении в город отделяет текст и завершает работу 18 июля. Из Люцерна писатель совершает прогулки пешком и на пароходу по озеру и посещает Штансштад (Stansstad), Альпнахштад (Alpnachstad), Зарнен (Sarnen), Бекенрид (Beckenried), Бруннен, Швиц, поднимается на Риги.

15 июля он посещает концерт в «иезуитской церкви», главном храме Люцерна, соборе Св. Легария (Saint Leger), где слушает Мендельсона. Запись в дневнике: «Мендельсон – небеса открываются».

19 июля Толстой отправляется дальше. Из Люцерна его путешествие продолжается на север. На пароходу он доплывает до Кюснахт, где посещает Холе-Гасце (Hohle Gasse), ущелье, в котором Телль подстерег Гесслера, потом пешком идет до Иммензее (Immensee), деревни, расположенной на берегу Цугского озера, отсюда на пароходу до Цуга и снова пешком до Хама (Cham). Затем путь его лежит на Вэденсвилль (Wädenswil), местечко на берегу Цюрихского озера, отсюда на пароходу – с заездом в Рапперсвилль (Rapperswil) до Цюриха.

Л.Н.Толстой



Отметим, что после Толстого само название «Швейцерхоф» становится нарицательным в русской литературе. Например, Ходасевич пишет 18 февраля 1917 года стихотворение «В этом глупом Швейцерхофе».

В 1862 году в Люцерн приезжает во время своего первого заграничного путешествия Достоевский.

В 1873 году город посещает Чайковский. Композитор записывает в своем дневнике: «В Люцерне шлялись (Лев, Löwen-Denkmal...). По совету какого-то соотечественника остановились в отвратительном отеле de France. Все мерзко, но ужин превзошел всякие ожидания. Гниль и мерзость».

В 1894 году в Люцерне во время свадебного путешествия из Германии в Италию останавливается Александр Бенуа. Молодоженов встречает здесь непогода. От холода у художника начинают болеть зубы. В его воспоминаниях находим свидетельство о целебном действии гор даже на зубную боль. Проведя бессонную ночь, Бенуа отправляется утром по еще не проснувшемуся городу к врачу, но в столь ранний час нет приема. «С отчаянием в сердце я присел на скамейку у паровой пристани и стал дожидаться общего пробуждения. И вот именно тогда я в первый раз сподобился увидеть эффект знаменитого Alpenglühen... Картина эта была такой красоты, что я, поглощенный ею, забыл на несколько минут свою пытку! Дождь и тучи куда-то удалились, и, напротив, теперь с удивительной отчетливостью открылись и самые далекие цепи гор, и макушки их... Эти далекие, покрытые снегом вершины и загорелись первыми, а потом сияющая алая краска стала медленно скользить по склонам, как бы сгоняя сизую ночную мглу. И все это отражалось в ясной зеркальности совершенно спокойного озера, еще не тронутого утренней зыбью».

Весной 1895 года в Люцерн приезжает Скрябин. Двадцатичетырехлетний влюбленный не столько осматривает достопримечательности, сколько интересуется почтой от Натальи Секериной. Он пишет ей, что Люцерн принес ему «разочарование, так как в отделении Poste restante я не нашел для себя ничего приятного».

Провести свой медовый месяц приезжает в Люцерн Михаил Врубель. Художник женится в Швейцарии на примадонне мамонтовской оперы Надежде Забела. Обвенчавшись в Женеве 28 июля 1896 года, молодые приезжают в августе на Фирвальдштетское

озеро и селятся в Люцерне в пансионе «Альтшвейцерхаус» (Altschweizerhaus).

Здесь Врубель работает над панно на тему «Фауст» по заказу Морозова. 25 августа он пишет Мамонтову: «Вот уже 16 дней, как мы с Надей повенчаны и живем в Люцерне, где я рядом с нашим пансионом нашел мастерскую и пишу в ней 5-е панно Алексею Викуловичу, которое мне он заказал на отъезде. Жизнь течет тихо и здраво. Пить мне не дают ни капли. Кроме прогулок, развлечений сносных никаких. Впрочем, Надя сегодня выряжается, и я тоже, в черное *complet*, обедаем *en ville*, а после обеда в некоторого рода симфоническое собрание: поет Herzog, примадонна берлинской оперы, и еще какая-то виртуозка на виолончели, кроме хора и оркестра... Надя шлет Вам сердечный привет и благодарит за сватовство».

Надежда пишет домой из Швейцарии в первые дни после свадьбы: «Мы как-то удивительно сошлись с Михаилом Александровичем, так что никакой *gene* не существует, и мне кажется, что мы давно муж и жена...» Очевидно, художник не скупится на дорогие подарки молодой супруге: «Деньги я у него все отбираю, так как он ими сорит. Конечно, Бог знает, что будет, но начало хорошо, и я себя пока чувствую прекрасно». Выводя на бумаге эти строки, Надежда будто предчувствует те испытания, которые ей придется пережить, — рождение ребенка с уродством, смерть его, потом душевная болезнь мужа, его слепота, мучительная кончина.

М.А.Врубель



Н.И.Забела



В 1900 году приезжает в Люцерн из Интерлакена через Бриенц и Брюниг Бунин, отсюда он отправляется по озеру до Фицнау, чтобы подняться на Риги-Кульм. О Люцерне в письме брату Бунин замечает: «Город славный». В следующий раз писатель придет сюда со своей женой Верой Муромцевой в октябре 1911 года по пути в Италию. Бунины останутся в отеле «Дю-Лак» (Hôtel du Lac). Вера Муромцева упоминает в своих мемуарах, что они ходили смотреть на толстовский «Швейцерхоф».

В 1902 году, как бы продолжая своеобразную традицию, начатую Бенуа и Врубелем, приезжать в Люцерн во время свадебного путешествия, останавливаются здесь Рахманиновы. Наталья Александровна вспоминает: «Из Италии поехали в Швейцарию, в Люцерн, где прожили около месяца на горе Зонненберг. Оттуда мы поехали в Байрейт на вагнеровский фестиваль».

Брюсов пишет в Люцерне в 1909 году стихотворение «Фирвальдштетское озеро», эпиграф для которого берет из стихотворения Бальмонта «Голубая роза», также посвященного этому озеру.

Осенью 1912 года в Люцерн приезжают из Дорнаха Андрей Белый с Асей Тургеневой, отсюда они совершают прогулки в Бруннен.

Люцерн никогда не был городом русской эмиграции, а тем более после революции, хотя и здесь жили те, кто по тем или иным причинам оставил Россию. Знаменитости сюда лишь приезжали, путешествуя по Швейцарии. Так, например, в 1929 году заглянул Эйзенштейн. О его визите в Люцерн напоминает известная реминисценция — косой мост через Волхов в «Алекandre Невском», своеобразное воспоминание о знаменитом Капельбрюкке (Kapellbrücke).

Много известных музыкантов из России приезжали в Люцерн для участия в известном фестивале. В разные годы здесь выступали Владимир Горовиц, Святослав Рихтер, Мстислав Ростропович и многие другие знаменитости.

В этом городе провел последние годы жизни и трагически погиб писатель и диссидент, высланный из Советского Союза в 1974 году, Анатолий Краснов-Левитин. В своей книге «Из другой страны» он посвятил Люцерну несколько страниц и продолжил, в частности, традицию описывать знаменитый памятник: «Так кто же все-таки швейцарские парни, погибшие на пороге Тюильри? Подвижники или герои? Я бы, конечно, на их месте

не шел на службу к королю, хотя и защищал бы его от лихих зверей-людоедов, полоскавших платки в его крови. (Я против людоедства, каким бы именем оно ни прикрывалось) и в этом смысле я – жирондист. Вероятно, так думали и швейцарцы, жители этого города. Но когда человек отдает душу свою за друзей своих, жертвует жизнью, – это героизм. Герои! И никто дурного слова для них не придумал и не придумает никогда. Мне ли, всю жизнь бросавшему вызов тоталитарному режиму, этого не оценить! Поэтому снимаю перед ними шапку и говорю: “Слава вам, ребята, положившие душу свою за то, чтоб защищать – не королевскую семью (к королям я равнодушен), а двух малолетних детей, несчастную женщину, их мать, ну и несчастного толстяка Людовика, не виноватого в том, что его предки были злодеями и тиранами!”»

Люцернский мост наводит писателя на размышления, подводящие итог его непростой жизни. «...Символические фрески. Рыцари на турнире – и скелет с косой – смерть. Князь на престоле. И не видит, что позади стоит смерть, положив ему руку на плечо... Посреди моста – часовня. Статуя Божьей Матери. Скамеечки. Сажусь на одну из них. И у меня смерть не раз была за плечами. Начинаю вспоминать. Ленинградская блокада. Я был уже наполовину мертв. В 26 лет чувствовал себя как 80-летний старик. <...> Потом в Сибири, в ужасные сибирские холода – почти голышом, в одной курточке, без шапки, в опорках на босу ногу. Как не умереть! А потом в лагерях, среди шпаны, при моем характе-

Мост в Люцерне

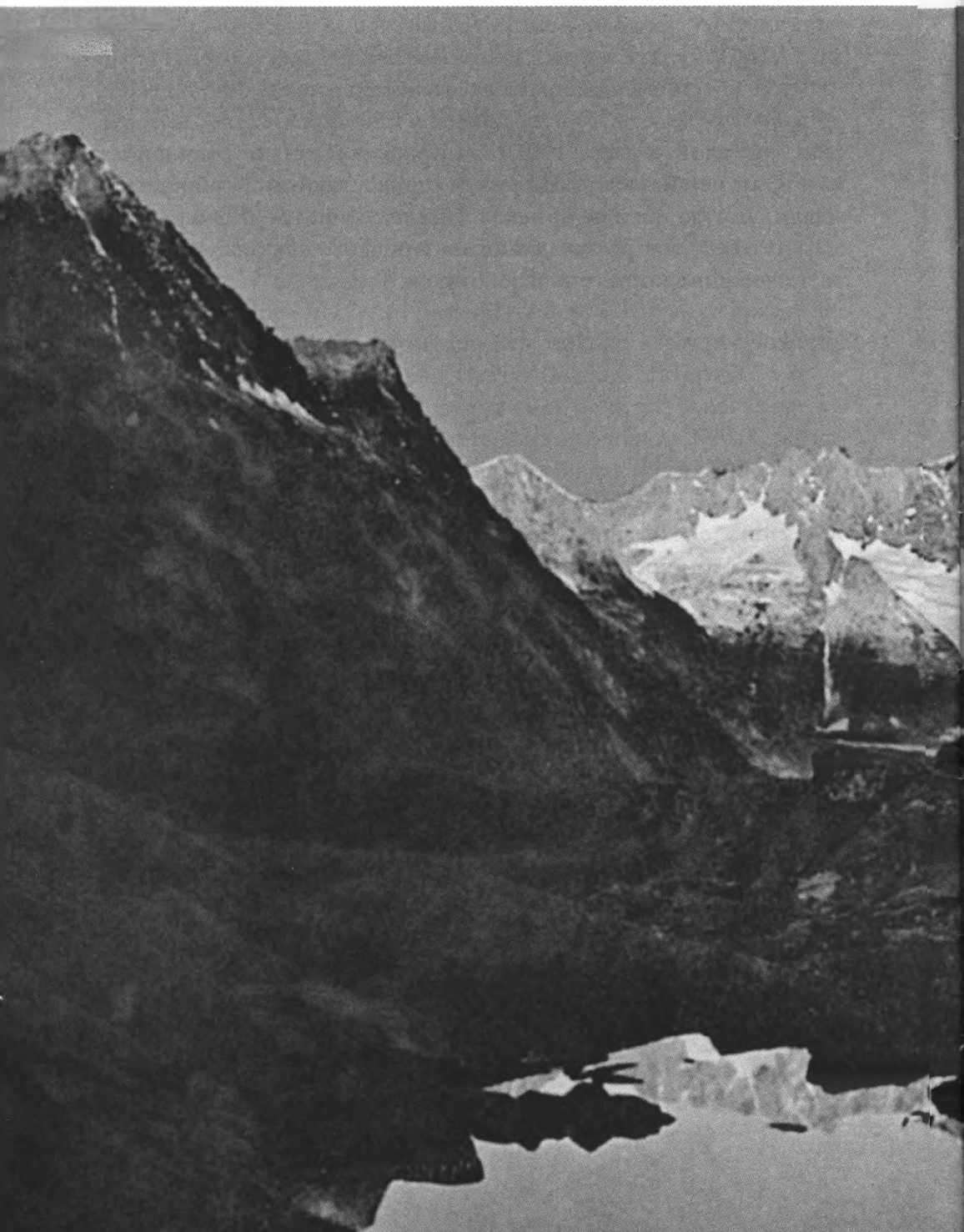


ре, когда я за один косой взгляд лез в драку, — как не пристукнули, бог весть. И сейчас приехал сюда, в чужую страну. Старость. Смерть уже вплотную. И все-таки о ней не думаю, ее не боюсь. С детства затвердил стихи бородатого чудака, поэта философа (стихи Вл.Соловьева. — *М.Ш.*):

Смерть и время царят на земле.
Ты владыками их не зови.
Все, кружась, исчезает во мгле.
Неподвижно лишь солнце любви.

В Страстной четверг 1991 года Краснов-Левитин отправился на вокзал, чтобы ехать в Цюрих, на православную службу, где его ждали, но туда так и не приехал. На следующий день его тело нашли в Ройссе, напротив здания люцернского вокзала, в том месте, где обычно кормят лебедей и уток.

IX



К вечным снегам Юнгфрау...

БЕРНСКИЙ ОБЕРЛАНД





Н.М.Карамзин



«Над Тунским озером оссиановская картина: точно группы туманных воинов с дымящимися головами».

В.А.Жуковский





Берн

Фрайбург

Лозанна

Шильон

Женева

«Всю Швейцарью коронует / Этот славный Оберланд», — заявляет в описании своего заграничного путешествия героиня Мятлева мадам Курдюкова, и в этой поэтической формулировке нет большого преувеличения. Красоты Тунского и Бриенцкого озер, водопады, ледники и заоблачные вершины вдохновляли не одно перо и не одну кисть. Неудивительно, что со времен Карамзина поездка в горы Бернского Оберланда составляет своего рода пик туристических утех. Но и здесь заслуги первопроходца принадлежат Павлу Петровичу с супругой.

Из Берна русский наследник со свитой приезжает в начале осени 1782 года в Тун — исходный пункт всех прогулок по Оберланду — и останавливается в гостхаузе «Белый крест» (Weisses Kreuz, существовал с 1606 года, здание снесено в 1923 году). Здесь путешественникам устраивают небольшое представление: показывают наряженных в исторические костюмы двух швейцарских молодцов, вооруженных средневековым оружием, из Энтлебуха (Entlebuch), местности, известной своей традиционной одеждой.

В разговорах с тунским шультгейсом (нечто среднее между градоначальником и старостой) Штюлером (Stürler) будущий император высказывает свое восхищение дорогами и сельским хозяйством швейцарцев и вздыхает: «Здесь везде счастливый народ, живущий по мудрым законам». Интересно, что сын шультгейса, Николай Штюлер, решит связать свою жизнь с далекой северной страной и дослужится в Петербурге до звания полковника лейб-гвардии. Он будет смертельно ранен во время Декабрьского восстания в 1825 году.

Через Тун едет в горы спустя несколько лет и Карамзин: «Здесь я остановился в трактире «Фрейгофе»; заказав ужин, бродил по городу и всходил на здешнюю высокую колокольню, откуда видны многие цепи гор и все обширное Тунское озеро» (Freienhof, построен в 1783 году, неоднократно перестраивался, Schlosshotel). До Интерлакена он, как и Павел, отправляется на лодке. Причем на обратном пути на озере началось волнение, и почтовая лодка чуть было не становится последним пристанищем будущего автора «Писем русского путешественника»: «Валы играли нашу лодкою, как шариком. Три женщины, бывшие со мною, беспрестанно кричали; одна из них упала в обморок, и мы с трудом смогли привести ее в чувство. Что принадлежит до меня, то я нима-

ло не боялся, а еще веселился волнами, которые разбивались о каменные берега».

По следам «генерала русских путешественников» сюда устремляется русская аристократия. Герцен: «Тунское озеро сделалось цистерной, около которой насели наши туристы высшего полета. Fremden-Liste словно выписан из «Памятной книжки»: министры и тузы, генералы всех оружий и даже тайной полиции отмечены в нем. В садах отелей наслаждаются сановники, mit Weib und Kind, природой и в их столовой — ее дарами. «Вы через Гемми или Гримзель?» — спрашивает англичанка англичанку. «Вы в «Jungfrauenblick'e» или в «Виктории» остановились?» — спрашивает русская русскую. «Вот и Jungfrau!» — говорит англичанка. «Вот и Рейтерн» (министр финансов), — говорит русская...»

Изобилие экзотических титулов в книгах гостей приводит подчас к забавным анекдотам. Тютчев проводит здесь с Денисьевой и детьми лето 1862 года. «В Туне я послужил поводом к странному недоразумению, — пишет поэт дочери Дарье. — Какие-то тупомысленные англичане, прочитав в книге приезжих мое имя, за которым следовало звание камергера, и, как видно, разобрав в моих каракулях лишь слова: «императора всероссийского», вообразили, будто сам российский император, собственной персоной, находится инкогнито в гостинице Бельвю в Туне; и они столь успешно распустили этот слух, что вечером оркестр гостиницы не преминул, из чувства почтения к августейшему гостю, сыграть «Боже, царя храни...». Однако в конце концов им пришлось разувериться в своем заблуждении...»

Кстати, в этой же гостинице «Бельвю» (Bellevue, гостиница была открыта в 1834 году и работала до 1980-го) останавливался за два десятилетия до Тютчева Николай Станкевич: «...И вид из окна был так хорош, что мы долго не решались идти спать. Полный месяц светил над рекою, и черные, угловатые горы резко отделялись на чистом небе — и я не запомню такой картины!»

Селения по берегам Тунского озера становятся к концу XIX века излюбленным местом проведения каникул как для учившихся в швейцарских университетах русских студентов, так и для туристов из России. В Шпице (Spiez), например, летом 1897 года отдыхает мать Ленина с младшей дочкой Марией. На год раньше по этим местам прогуливается супруга профессора математики Московского университета со своим шестнадцатилетним сыном, Андреем Бугаевым. Владимир Медем, один из лидеров Бунда, на-

зывает в своих воспоминаниях Шпиц «летней резиденцией» русской бернской колонии.

В Мерлигене (Merligen) напротив Шпица неоднократно проводит с семьей лето философ Лев Шестов. Он пишет в июне 1901 года отсюда знакомой: «Сам я лето предполагаю провести в Швейцарии, в Оберланде. Мне нужно все лето бродить по горам. Я уже даже начал. Встаю рано утром и сейчас же на прогулку. Это очень укрепляет. В прошлом году я попробовал такой режим — мне очень помог... Знаете, побродив 6, 7, а то и все 10 часов по горам — человек менее всего имеет желание спорить и грызться...» Этим летом он получает письмо от Дягилева с предложением сотрудничать в «Мире искусств» и отправляет ему статью о Достоевском и Ницше.

В Беатенберге (Beatenberg) на рубеже веков руководит водолечебницей при отеле «Виктория» (сейчас «Швейцерхоф») русский доктор Б.А. Членов, что привлекало сюда на лечение соотечественников. Будучи знакомым Плеханова и Аксельрода, Членов лечил многих русских революционеров.

В августе 1904 года на этом курорте отдыхает Николай Бердяев. Вот несколько отрывков из писем его будущей жене: «Спешу, родная, сообщить тебе свой новый и более или менее устойчивый адрес: «Швейцария, St. Beatenberg (Thunersee), Hotel Alpenrose». Это чудное место, из моего балкона вид на снежные Альпы и на Тунское озеро. Но мне чужда эта европейская природа, я смотрю на нее, как на картинку, я не сливаюсь с ней, как с русским лесом, русской рекой. Вспомнил, как мы с тобой стояли на берегу Днепра, когда катались на лодке, и нам было хорошо. Жить я могу только там, на родине, здесь же могу быть только проездом».

На курорте Бердяев встречает столько соотечественников, что это заставляет его сделать замечание: «Обстановка напоминает Прорезную улицу г. Киева...»

Лето 1907 года в Беатенберге проводит Скрябин со своей второй женой Татьяной Шлецер, они снимают шале Шмокер (Chalet Schmocker). В письме Морозовой композитор сообщает: «Вот уже три недели, как мы пребываем здесь, в этом чудесном уголке». Здесь он работает над партитурой «Поэмы экстаза». Сюда же, на Тунское озеро, приезжает композитор через пять лет и работает над Шестой и Седьмой сонатами для фортепьяно.

В 1909 году на этом курорте отдыхает две недели во время каникул Осип Манделъштам, учившийся в то время в Гейдельберге.

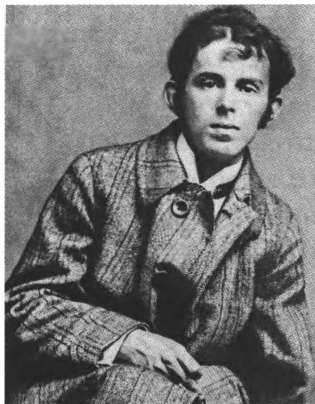
В Беатенберге проводит остаток жизни и умирает в 1948 году Мария Яковлевна Сиверс, жена Рудольфа Штейнера, ключевая фигура в отношениях между ним и русскими антропософами.

Сюда же, кстати, привезут в 1967 году в надежде спрятать от вездесущих корреспондентов дочь Сталина Светлану Аллилуеву после ее сенсационного невозвращения в СССР. «Первые сутки, — вспоминает она, — я провела в маленькой горной гостинице в Беатенберге. Было холодно, кругом лежал снег... Прямо из окна моей маленькой комнатки была видна Юнгфрау. Но я никогда не любила гор и не умею ими любоваться: они меня угнетают, мне приятнее простор, равнина, море». Но спрятаться в горной деревне не удастся. «На второй день мне пришлось перебраться в маленький монастырский приют в Сен-Антони, недалеко от Фрибурга. Находиться в гостинице было невозможно: по всей стране рыскали корреспонденты. В Беатенберге меня узнали в магазине, где я купила лыжные брюки, и немедленно сообщили репортерам: возвратиться туда было нельзя».

В санатории в деревне Хайлигеншвенди (Heiligenschwendi), расположенной над Туном, подолгу лечится в тридцатые годы поэт Анатолий Штейгер.

У другого конца Тунского озера расположился Интерлакен (Interlaken), фешенебельный курорт у подножия гор, облюбованный русскими великосветскими туристами. Впрочем, не всегда только избыток досуга заставлял ехать развеяться в Интерла-

О.Э.Мандельштам



кен — Жуковский, например, спасался здесь с семьей в 1849 году от тревожений европейской революции, бежав из Германии от восставших баденцев.

О количестве русских гостей красноречиво свидетельствуют старые гостиничные книги. Например, только за 1867 год в отеле «Швейцерхоф» (Schweizerhof am Höhenweg, здание не сохранилось, на его месте — новое крыло Victoria-Jungfrau) проживал 181 гость из России. О большом наплыве туристов с берегов Волги и Невы находим много свидетельств и в современной переписке. Тютчев, отдыхавший здесь в 1862 году, например, сообщает дочери Дарье: «В Интерлакене я встретил множество русских, но никого из хороших знакомых...»

Толстой, пришедший сюда через горы из Кларана с мальчиком Сашей Поливановым, записывает 30 мая 1857 года: «Нездоровится. Проснулся в 7. Прошел до Böningen. Красивый народ — женщины. Просят милостыню. Дождь. Немного писал Казака, читал Севастопольскую кампанию. Служанка тревожит меня. Спасибо стыдливости. Саша надоедает. Острит <...>». Сам же городок вполне по душе Толстому, он посылает отсюда накануне письмо Т.А.Ергольской в Россию: «Пишу Вам из Интерлакена, куда я приехал сегодня вечером. Город этот считается самым красивым в Швейцарии, и я думаю, это верно, поскольку я мог любоваться им в этот вечер».

По променаду Интерлакена прогуливаются в разное время художники Иванов, Шишкин, Саврасов, работающие над этюдами в Оберланде.

О своей встрече с Ивановым в Интерлакене в 1857 году вспоминает поэтесса Каролина Павлова, которая познакомилась с художником на этом курорте: «Ежедневно приходил он ко мне, и мы долго, по вечерам, сидели вдвоем, передавая друг другу свои мнения, споря и соглашаясь, увлекаясь разговором об искусстве и его представителях, о понятии изящного, о возможности нового стиля живописи, и забывали взглянуть на Юнгфрау, блестящую перед нами в лучах заката». Жить автору единственной и незаконченной картины, сделавшей его знаменитым, — «Явление Христа народу» — оставалось всего несколько месяцев. «Этот человек, — продолжает Павлова, — давно отрекшийся, ради своего призвания, от всего, что люди ищут в жизни, этот человек больной, изнуренный работой, посвятив двадцать лет совершенно одной картине, говорил: “Я еще ниче-

го не сделал; теперь надо начать, надо собраться с силами, надо учиться, достать книги, добиться сведений, надо готовиться несколько лет к великому труду...» Иванов планировал изобразить в серии картин всю жизнь Христа. На следующий год художник умрет от холеры.

В Интерлакене останавливаются во время своего швейцарского путешествия и будущие знаменитые ученые – Менделеев и Сеченов. Последний вспоминает: «В осенние каникулы 1859 года мы с Дмитрием Ивановичем Менделеевым вдвоем отправились гулять в Швейцарию, имея в виду проделать все, что предписывалось тогда настоящим любителям Швейцарии, то есть взобраться на Риги, ночевать в гостинице, полюбоваться Alpenglühen'ом, прокатиться по Фирвальдштетскому озеру до Флюэльна и пройти пешком весь Оберланд. Программа эта была нами в точности исполнена, и в Интерлакене мы даже пробыли два дня, тщетно ожидая, чтобы красавица Юнгфрау раскуталась из покрывавшего ее тумана...»

29 мая 1869 года поэт и издатель Николай Алексеевич Некрасов пишет из Интерлакена В.М.Лазаревскому: «Живем мы в полной праздности и беспечности. Вчера влезали на какую-то вечернюю гору, откуда хороший вид (завтрак тоже там недурен), сегодня болят ноги, завтра полезем на другую... Писать еще не пробовал, да и не знаю, буду ли».

Знаменитым видом на Юнгфрау наслаждается во время одного из своих швейцарских путешествий в 1870 году Чайковский.

А.А.Иванов



В августе 1880 года здесь сочиняет свои язвительные заметки «За границей» Салтыков-Щедрин. Но даже на него природа Интерлакена производит такое впечатление, что восторг пробивает иронию: «...Меня словно колдовство прищипило к этому месту. В красоте природы есть нечто волшебное действующее, проливающее успокоение даже на самые застарелые увечья. Есть очертания, звуки, запахи до того ласкающие, что человек покоряется им совсем машинально, независимо от сознания... Эти тающие при лунном свете очертания горных вершин с бегущими мимо них облаками, этот опьяняющий запах скошенной травы, несущийся с громадного луга перед Ноеһеуег, эти звуки иодля, разносимые странствующими музыкантами по отелям, — все это нежило, сладко волновало и покоряло, и я, как в полусне, бродил под орешниками, предаваясь пестрым мечтам и не думая об отъезде».

Приезд Салтыкова-Щедрина в Швейцарию связан не только с желанием посмотреть красоты Альп. Он везет сообщение о смертном приговоре, вынесенном Кропоткину «Священной дружиной», тайной организацией монархистов. Об этом узнал писатель от Лорис-Меликова. Салтыков-Щедрин едет из России в Висбаден и оттуда пишет своему близкому другу доктору Белоголовому и Лаврову, прося их уведомить Кропоткина о готовящемся покушении. Опасаясь, что извещение может запоздать, Салтыков решает лично повидаться с Кропоткиным и отправляется в Швейцарию, но в это время Кропоткин находится в Лондоне на анархистском конгрессе.

М. Е. Салтыков-Щедрин



Салтыков-Щедрин останавливается в отеле «Юнгфрау-Виктория», самой роскошной гостинице городка, в которой подчас на всех этажах слышалась русская речь. Так что не случайно Альфонс Доде поселяет русских персонажей романа «Тартарен в Альпах» именно здесь. Главный герой приезжает в Интерлакен за своей возлюбленной Соней и принимает участие в планировании очередного террористического акта: «...не мог удержаться и вмешивался в разговоры о проектах убийства, одобрял, критиковал, давал советы как опытный боец, привыкший ко всякому оружию и к борьбе один на один с крупными хищниками». В ответ на страстное: «Соня, я люблю вас!» — знаменитый охотник получает холодный ответ героини подполья: «Ну так заслужите меня!» Увы, охотник за львами оказывается недостойн любви русской девушки, и пока Тартарен ходит в Гриндельвальд — обязательный пункт туристической программы — Соня с соратниками по борьбе отправляется в Монтрё и оттуда на «дело» в Россию.

В туристический Интерлакен, а не на реальные, достаточно угрюмые места событий — перевал Паникс (Panixerpass) — приезжает в 1897 году писать этюды к своей знаменитой картине «Переход Суворова через Альпы» Суриков. В письмах брату он делится своими впечатлениями: «Ну вот мы в Швейцарии. Гор, брат, тут побольше, чем у нас в Красноярске. Пишу этюды для картины. Только дорого в отеле жить». В другом письме: «Я все хожу в горы писать этюды. Воздух, брат, отличный! Как в горах у нас в Сибири. Англичан туристов пропасть на каждом шагу. Лды, брат, страшной высоты. Потом вдруг слышно, как из пушки выпалит, это значит какая-нибудь глыба рассыпалась. Эхо бесконечное».

Из Интерлакена, приехав сюда из Лозанны через Берн, отправляется в горы Бунин со своим товарищем Куровским во время путешествия по Швейцарии в 1900 году. О своих впечатлениях от Бернского Оберланда писатель рассказывает в письме брату от 18 ноября 1900 года: «...В Туне не остановились, ехали около самого Тунского озера, этой сине-зеленой чаши среди гор. В Интерлакен приехали вечером. Купили шерстяные чулки, длинные палки, я — еще картуз теплый и варежки. В горы! Утром проснулись рано... Утро сырое, холодное, по горам — угрюмые туманы, но снежные горы — как серебро с чернью — уже пробиваются сквозь холодный дым тумана». Путешественники нашли проводника-швейцарца за 15 франков и отправились к вечным снегам Юнгфрау.

Лето 1909 года проводит на берегах Тунского и Бриенцкого озер Валерий Брюсов. 31 августа он пишет знакомой из Бриенца: «Швейцария, увы! — точь-в-точь такая, как на картинках с конфетных коробок».

Швейцарские впечатления найдут отражение как в стихотворениях — «Фирвальдштетское озеро», «На леднике», «Мюльбах», — так и в прозаических произведениях Брюсова. Действие рассказа «За себя и за другую» происходит в Интерлакене. Совершая променад, герой узнает во встречной даме некогда брошенную им женщину, отказывающуюся, впрочем, признать бывшего возлюбленного, и пламя страсти вновь вспыхивает в душе рассказчика на фоне Юнгфрау.

Приходит день, и по следам сотворенной фантазией Доде террористки с именем героини Достоевского все в том же отеле «Юнгфрау-Виктория» поселяется настоящая террористка, причастная к делам Боевой организации партии эсеров. Ее имя — Татьяна Леонтьева. Единственная дочь генерала Леонтьева, позже губернатора, она воспитывается в пансионе в Лозанне и после учится в 1903—1904 годах там же на медицинском факультете. Общение с русскими ровесниками не проходит даром — девушка вступает в партию социалистов-революционеров и решает посвятить жизнь террору. Из Швейцарии она уезжает в Петербург в составе боевой группы.

«Белокурая, стройная, с светлыми глазами, она по внешности напоминала светскую барышню, какую и была на самом деле, — пишет о товарище по БО в «Воспоминаниях террориста» Борис Савинков. — Она жаловалась мне на свое тяжелое положение: ей приходилось встречаться и быть любезной с людьми, которых она не только не уважала, но и считала своими врагами, — с важными чиновниками и гвардейскими офицерами... Леонтьева, однако, выдерживала свою роль, скрывая даже от родителей свои революционные симпатии. Она появлялась на вечерах, ездила на балы и вообще своим поведением старалась не выделяться из барышень своего круга. Она рассчитывала таким образом приобрести необходимые нам знакомства».

О Леонтьевой вспоминает в своей книге «На лезвии с террористами» и жандармский полковник Герасимов: «Дочь якутского вице-губернатора, воспитанная в Институте благородных девиц, не старше 20 лет от роду, богатая и красивая девушка, имела

доступ к царскому двору; в самое ближайшее время предстояло назначение ее в фрейлины царицы. Одному Богу известно, в какое общество она попала и как стала революционеркой. Спустя долгое время я узнал о намеченном ею плане совершить покушение на царя на одном из придворных балов, где она должна была выступить в качестве продавщицы цветов. В план входило: преподнести Царю букет и в это время застрелить его из револьвера, спрятанного в цветах. Этим выстрелом Леонтьева хотела перед лицом всего мира дать ответ на убийства красного воскресенья. Вероятно, ей удалось бы осуществить свой замысел, если бы, как раз под впечатлением от красного воскресенья, не были прекращены всякие балы при дворе».

Азеф проваливает террористическую группу в Петербурге, и Леонтьеву арестовывают — в чемодане под ее кроватью полиция находит бомбы. Для того чтобы выволить «заблудшую» дочь из казематов Петропавловской крепости, отец использует свои связи при дворе — брат его служит камергером. Психическое здоровье Татьяны признается расшатанным, родители забирают ее на поруки «по душевной болезни», как сказано в официальном документе, и увозят в Швейцарию, где она поселяется с матерью в Женеве, в Ланси.

О прекращении работы в терроре для Татьяны не могло быть и речи. Савинков сравнивает ее с другой знаменитой террористкой: «В Леонтьевой было много той сосредоточенной силы воли, которую была так богата Бриллиант. Обе они были одного

Татьяна Леонтьева. Полицейская фотография



и того же — «монашеского» типа. Но Дора Бриллиант была печальнее и мрачнее: она не знала радости в жизни, смерть казалась ей заслуженной и долгожданной наградой. Леонтьева была моложе, радостнее и светлее. Она участвовала в терроре с тем чувством, которое жило в Сазонове, — с радостным сознанием большой и светлой жертвы».

Швейцария оказывается малоподходящим местом для того, чтобы уберечь девушку от контактов с революционерами. «До меня и до Азефа дошло известие о ее желании снова работать, — продолжает Савинков. — Мы высоко ценили Леонтьеву, но, не видя ее, не могли знать, насколько она оправилась от своей болезни. Посоветовавшись с Азефом, я написал ей письмо, в котором просил ее пожить за границей, отдохнуть и поправиться. По поводу этого письма произошло печальное недоразумение. Леонтьева поняла мое письмо как отказ ей в работе, т.е. приписала мне то, чего я не только не думал, но и думать не мог: Леонтьева была всегда в моих глазах близким товарищем, и для меня был вопрос только в одном: достаточно ли она отдохнула после болезни. Поняв мое письмо как отказ боевой организации, она прикнула к партии социалистов-революционеров-максималистов».

В понедельник 27 августа 1906 года в комнату под номером 139 на пятом этаже «Юнгфрау-Виктории» поселяется молодая чета Стаффорд из Стокгольма. Юная красивая англичанка вызывает к себе местную модистку — в пылу отъезда она якобы взяла платья, которые ей не подходят, надо ушить. В пятницу 31 августа супруг покидает отель с рюкзаком за плечами, в руках альпийская палка, вроде бы в горы, однако на вокзале покупает билет до Парижа. В субботу 1 сентября портниха приносит сделанную работу. Англичанка из Стокгольма одевается в роскошное платье, спускается в ресторан и просит накрыть столик рядом с почтенным стариком, неким Шарлем Мюллером. После обмена улыбками она встает, подходит к соседу, достает из сумочки браунинг и стреляет в старца в упор. В оцепенении окружающие смотрят, как молодая дама выпускает еще несколько пуль уже в лежащего.

Ее тут же хватают. Она не сопротивляется. Арестовавшим ее заявляет, что она русская, эмиссар революционного комитета с заданием отомстить министру Дурново. Открывается чудовищное недоразумение. Шарль Мюллер, рантье из Парижа, в течение долгих лет приезжал каждое лето в Интерлакен для лечения

и имел несчастье не только походить лицом на приговоренного революционерами к смерти, но к тому же носить то самое имя, которым обычно пользовался русский министр внутренних дел в своих заграничных поездках. Дурново действительно жил под именем Мюллера в этом отеле в течение десяти дней и уехал лишь незадолго до покушения. В сумочке Леонтьевой при аресте находят газету с портретом министра — всех присутствующих поражает роковое сходство.

Покидая Женеву, Татьяна сказала матери, что едет отдохнуть и подлечиться в горы. Отец, приехавший в середине сентября в Швейцарию проведать семью, видит в газете, купленной на вокзале, фотографию дочери. Родители бросаются в Интерлакен, им разрешают ежедневные свидания. Пытаясь во второй раз спасти дочь, они опять прибегают к проверенному средству — «душевной болезни». Татьяну везут на психиатрическую экспертизу в Мюнсинген (Münsingen), где находится известная клиника. Врачи устанавливают полную вменяемость и психическое здоровье.

И в заключении русская революционерка не прекращает борьбы — агитирует воровок и проституток за социализм, призывает к неповиновению тюремным властям. Процесс проходит в здании знаменитого тунского замка, часть которого и по сей день отдана окружному суду. В небольшое помещение доступ ограничен, требование более шестисот русских студентов предоставить им возможность присутствовать на процессе остается неудовлетворенным.

Шансы на успешный исход дела у Леонтьевой достаточно велики. Защитник, обращаясь к крестьянам-присяжным на бернском диалекте, сравнивает ее выстрел с выстрелом Вильгельма Телля, желавшего спасти родину от тирана, и призывает оправдать русскую девушку. Сочувствие зала на ее стороне, особенно после того, как всплывает история ее отчаянной борьбы с тюремщиками, насильно заставлявшими ее наряжаться в разные платья для полицейских фотографий. Однако все портит сама обвиняемая — в последнем слове по-французски девушка из России снова призывает к освобождению человечества путем уничтожения террористической партией «чудовищ, которых много не только в России, но и в Швейцарии». Это замечание раскололо присяжных, и они признают ее виновной в преднамеренном убийстве, правда, при смягчающих обстоятельствах. Леон-

твева приговаривается к четырем годам тюрьмы и к высылке на двадцать лет из кантона Берн.

Леонтьеву отправляют сперва в тюрьму Ленцбург, в кантоне Ааргау, но там она продолжает плохо влиять на заключенных, призывая их не повиноваться распорядку дня. Ее переводят в тюрьму Св.Йоханнсена (St. Johanssen) в бернском Зееланде, там русская революционерка снова выступает зачинщицей беспорядков. В конце концов ее опять отправляют в психиатрическую лечебницу в Мюнсинген. В 1910 году кончается срок ее заключения, но родители решают оставить дочь в больнице. Отрезанная от мира, она проводит в четырех стенах год за годом. Мимо нее проходит мировая история – война, революция, Гражданская война. Татьяна Леонтьева умирает 16 марта 1922 года, тридцати девяти лет – от туберкулеза. Ее отец, оставшийся в Швейцарии после октябрьского переворота, переживет дочь и будет получать как беженец пособие от швейцарского Красного Креста. Через тридцать лет после погребения, в 1952 году, согласно швейцарским законам, могила Леонтьевой будет уничтожена.

Из Интерлакена – путь в горы.

Классический маршрут идет сперва долиной Лючины (Lütschine) до развилки – отсюда одна дорога ведет на Гриндельвальд (Grindelwald), другая на Лаутербруннен (Lauterbrunnen).

Первую дорогу, на Гриндельвальд, избирает для своего двухдневного – 8 и 9 сентября 1782 года – похода по горам цесаревич Павел. С супругой и свитой наследник ходит смотреть на глетчер, причем для дам мастераят специальные кресла-носилки, а в качестве носильщиков вызываются дюжие швейцарские бауэры. Ночует общество в доме местного священника. Следующий день посвящается осмотру водопадов в Лаутербруннен, и в тот же вечер Павел Петрович возвращается по озеру на лодке в Тун.

Карамзин, напротив, отправляется по второму пути. «Дорога от Унтерзеена до Лаутербруннена идет долиною между гор, подле речки Литтины, которая течет с ужасною быстротою, с пеною и с шумом, падая с камня на камень. Я прошел мимо развалин замка Уншпуннена, за которым долина становится час от часа уже и наконец разделяется надвое: налево идет дорога в Гриндельвальд, а направо – в Лаутербруннен. Скоро открылась мне сия последняя деревенька, состоящая из рассеянных по долине и по горе маленьких домиков».

Долина Белой Лючины известна своими водопадами. «Версты за две не доходя до Лаутербруннена, — продолжает Карамзин, — увидел я так называемый Штауббах, или ручей, свергающийся с вершины каменной горы в девятьсот футов вышиною. В сем отдалении кажется он неподвижным столбом млечной пены. Скорыми шагами приближался я к этому феномену и рассматривал его со всех сторон. Вода прямо летит вниз, почти не дотрагиваясь до утеса горы, и, разбиваясь, так сказать, в воздушном пространстве, падает на землю в виде пыли или тончайшего серебряного дождя. Шагов на сто вокруг разносятся влажные брызги, которые в несколько минут промочили насквозь мое платье. — Потом я ходил к другому водопаду, называемому Триммербах (правильно: Трюммельбах. — *М.Ш.*), до которого будет отсюда около двух верст. Вода, прокопав огромную скалу, из внутренности ее с шумом падает и стремится в долину, где, мало-помалу утишая свою ярость, образует чистую речку. Вид рассевшейся горы и шумное падение Триммербаха составляют дикую красоту, пленяющую любителей природы. Около часа пробыл я на сем месте, сидя на возвышенном камне, — и наконец, в великой усталости, возвратился в Лаутербруннен, где теперь отдыхаю в трактире».

Знаменитые водопады войдут со временем в обязательную программу достопримечательностей, и мятлевская лирическая героиня почтет своим долгом также восхититься этим чудом природы:

...Уж водомет!
Точно будто пыль какая
Вся бриллиантами сверкая,
С несказанной высоты
Падает, — и красоты
Нет подобной в целом мире!

А Николай Станкевич, побывавший здесь в 1839 году, напишет о Штауббахе: «Я думаю, лучший пистолетный порох не так мелок, как эти капли».

Из Лаутербруннена Карамзин совершает прогулку к Венгернальпу (*Wengernalp*). «Более четырех часов шел я все в гору по узкой каменной дорожке, которая иногда совсем пропадала; наконец достиг до цели своих пламенных желаний и ступил на вершину горы, где вдруг произошла во мне удивительная перемена. Чувство усталости исчезло, силы мои возобновились, дыхание

мое стало легко и свободно, необыкновенное спокойствие и радость разлились в моем сердце. Я преклонил колена, устремил взор свой на небо и принес жертву сердечного моления — тому, кто в сих гранитах и снегах напечатлел столь явственно свое всемогущество, свое величие, свою вечность!.. Друзья мои! Я стою на высочайшей ступени, на которую смертные восходить могут для поклонения Всевышнему!.. Язык мой не мог произнести ни одного слова, но я никогда так усердно не молился, как в сию минуту».

В альпийских хижинах москвич встречает пастухов, пригнавших на тучные пастбища своих коров. «Сии простодушные люди зазвали меня к себе в гости и принесли мне сливок, творогу и сыру... Две молодые веселые пастушки, смотря на меня, беспрестанно смеялись. Я говорил им, что простая и беспечная жизнь их мне весьма нравится и что я хочу остаться у них и вместе с ними доить коров. Они отвечали мне одним смехом».

Не оставляет своим вниманием глетчеры вслед за своим будущим монархом и юный писатель: «Сии ледники суть магнит, влекущий путешественников в Гриндельвальд. Я пошел к нижнему, который был ко мне ближе. Вообразите себе между двух гор огромные кучи льду, или множество высоких ледяных пирамид, в которых хотя и не видал я ничего подобного хрустальным волшебным замкам, примеченным тут одним французским писателем, но которые, в самом деле, представляют для глаз нечто величественное. Не знаю, кто первый уподобил сии ледники бур-

Альпийская хижина



ному морю, которого валы от внезапного мороза в один миг превратились в лед, но могу сказать, что это сравнение прекрасно и справедливо и что сей путешественник или писатель имел психическое воображение. — Посмотрев ледник с того места, где с страшным ревом вытекает из-под свода его мутная река Литтина, ворочая в волнах своих превеликие камни, решился я взойти выше. К несчастью, проводник мой не знал удобнейшего ко всходу места, но как мне не хотелось оставить своего намерения, то я прямо пошел вверх по льду, по кучам маленьких камешков, которые рассыпались под моими ногами, так что я беспрестанно спотыкался и полз, хватаясь руками за большие камни».

Не зная, какую опасность на самом деле представляют для непосвященного горы, москвич проявляет чудеса бесстрашия. «Проводник мой кричал, что он предает меня судьбе моей, но я, смотря на него с презрением и не отвечая ему ни слова, взбирался выше и выше и храбро преодолевал все трудности. Наконец открылась мне почти вся ледяная долина, усеянная в разных местах весьма высокими пирамидами, но далее к Валисским горам пирамиды уменьшаются и почти все исчезают. Тут я отдыхал около часа и лежал на камне, висящем над пропастью, спустился опять вниз и пришел в Гриндельвальд если не совсем без ног, то по крайней мере без башмаков. Хорошо, что взял из Берна в запас новую пару!»

Толстой, который придет в эти места в 1857 году и переночует в Гриндельвальде 1 июня, не будет столь многословен в описании своих впечатлений. В записной книжке он лишь кратко отметит: «Красота Grindelwald и женщины, как русские бабы». В дневнике писатель возмущается ценами, которые берут швейцарские проводники: «Ужасный счет». Больше, чем горы, занимают Толстого «хорошенькие служанки»: «Сладострастие мучит ужасно меня, — записывает он в дневник 2 июня. — Не засыпал до 12 и ходил по комнате и коридору. Ходил гулять по галерее. — При луне ледники и черные горы. Нижнюю служанку пощупал, верхнюю тоже. Она несколько раз пробежала, я думал, она ждет; все легли, пробежала еще и сердито оглянулась на меня. Внизу слышу, я поднял весь дом, меня принимают за malfaiteur. Schuft. Steht immer. Donnerwetter. (Пер.: «Злоумышленник. Мерзавец. Все еще стоит. Черт возьми». — М.Ш.) Говорили вслух с полчаса».

Но вернемся снова в 1789 год. Далее путь Карамзина идет через перевал Шайдегг (Scheidegg) на водоразделе Черной Лючи-

ны и Райхенбаха в сторону Майрингена (Meiringen). «В пять часов утра вышел я из Гриндельвальда, мимо верхнего ледника, который показался мне еще лучше нижнего, потому что цвет пирамид его гораздо чище и голубее. Более четырех часов взбирался я на гору Шейдек, и с такою же трудностью, как вчера на Венгернальп. Горные ласточки порхали надо мною и пели печальные свои песни, а вдали слышно было блеяние стад. Цветы и травы курились ароматами вокруг меня и освежали увядающие силы мои. Я прошел мимо пирамидальной вершины Шрекгорна, высочайшей Альпийской горы, которая, по измерению г. Пфиффера, вышиною будет в 2400 сажен; а теперь возвышается передо мною грозный Веттергорн, который часто привлекает к себе громоносные облака и препоясывается молниями».

Здесь Карамзину приходится стать свидетелем схода лавины, к счастью, с безопасного расстояния: «Сперва услышал я великий треск (который заставил меня вздрогнуть), — а потом увидел две снежные массы, валящиеся с одного уступа на другой и наконец упавшие на землю с глухим шумом, подобным отдаленному грому...»

Вскоре путешественника ожидает еще одно восторженное переживание — Розенлауишлухт (Rosenluischlucht) — «самый прекраснейший из швейцарских ледников, состоящий из чистых сапфирных пирамид, гордо возвышающих острые свои вершины».

Спуск в долину Ааре заставляет его воскликнуть: «Ах! Для чего я не живописец! <...> Не должно ли мне благодарить судьбу за все великое и прекрасное, виденное глазами моими в Швейцарии! Я благодарю ее — от всего сердца!» Еще один знаменитый водопад — Райхенбах (Reichenbach) — приводит впечатлительного юношу почти в беспамятство: «Тщетно воображение мое ищет сравнения, подобия, образа!.. Я почти совсем чувств лишился, будучи оглушен гремящим громом падения, и упал на землю».

Той же дорогой пойдет через ледники и Толстой. В дневнике он запишет 3 июня 1857 года: «В 4 часа проснулся, в 5 пошел на Scheidegg. Сашу послал вперед. Ходил по Gemsberg'у — ужас! Видел 3 солнца, слишком устал, чтобы наслаждаться. Получил soup de soleil и в глаза. Пришел в 4, лег спать. Проснулся грустно, дико, скверно обедать. Денежные расчеты все портят, а уж у меня денег мало».

В Майрингене особенно сильное впечатление на молодого Карамзина производят местные пастушки: «Сколь прекрасна здесь

натура, столь прекрасны и люди, а особенно женщины, из которых редкая не красавица. Все они свежи, как горные розы, — и почти всякая могла бы представлять нежную Флору. Удивитесь ли вы, если я пробуду здесь несколько дней? Может быть, в целом свете нет другого Мейрингена». Отсюда путь Карамзина лежит через Бриенц обратно по озерам в Тун. Всего он прошел по Бернскому Оберланду свыше сорока километров пешком и еще больше проплыл на лодках.

В Майрингене и Толстой обратит внимание на местных крестьянок: «Красавицы везде с белой грудью. Ноги болят ужасно». Вот запись из дневника от 4 июня: «В 5 выступили из Розенлауи. Грабеж везде. Спускались под гору, в Мейрингене сели в дилижанс. Молодой швейцарец, любопытствующий о России. Водопады, русские бабы».

По тем же местам следует Жуковский, оставивший подробный оберландский дневник. Будучи учителем великой княгини Александры Федоровны и воспитателем в то время трехлетнего Александра II, поэт пойдет в 1821 году по следам не сколько Карамзина, сколько деда своих воспитанников. Некогда во время своего путешествия Павел с супругой позавтракали в заведении некоего Петера Михеля в Бенингене (Böningen) на берегу Бриенцерзее и оставили радушному хозяину в качестве сувенира бутылку токайского. Через сорок лет увидит эту бутылку Жуковский, остановившись в гостхаузе «Вайсес Крейц» (Weisses Kreuz, здание сохранилось в перестроенном виде: Hauptstrasse, 143) в Бриенце, принадлежащем сыну того самого Михеля. Царский подарок будет храниться в стране республиканцев как драгоценная реликвия.

В Лаутербруннене Жуковский ночует в гостинице «Штайнбок» (Steinbock) и записывает в дневнике 11 сентября впечатления от осмотра водопадов, но начинает с упоминания некой девушки: «Вторник. Пасмурное утро. Магдалина Михель». Речь идет о внучке Петера Михеля, произведшей теперь на русского поэта такое впечатление, что воспоминание о девушке из Бриенца не оставляет его в покое. Запись от 13 сентября заканчивается словами: «Дождь и на вершинах снег. Ах, Магдалина Михель!»

Горы, как известно, всегда вдохновляли художников и поэтов с русской равнины. В Альпах приоритет принадлежит бесспорно Юнгфрау. Карамзин в Лаутербруннене записывает вечером: «Светлый месяц взошел над долиною. Я сижу на мягкой мураве и смотрю, как свет его разливается по горам, осребряет гранит-

ные скалы, возвышает густую зелень сосен и блистает на вершине Юнгферы, одной из высочайших альпийских гор, вечным льдом покрытой. Два снежных холма, девическим грудям подобные, составляют ее корону. Ничто смертное к ним не прикасалось; самые бури не могут до них возноситься; одни солнечные и лунные лучи лобызают их нежную округлость; вечное безмолвие царствует вокруг их — здесь конец земного творения!..»

Тургенев в феврале 1878 года пишет свое стихотворение в прозе «Разговор» и «оживляет» снежную альпийскую «Деву»:

«...Две громады, два великана вздымаются по обеим сторонам небосклона: Юнгфрау и Финстерааргорн.

И говорит Юнгфрау соседу:

— Что скажешь нового? Тебе видней. Что там внизу?

Проходят несколько тысяч лет: одна минута. И грохочет в ответ Финстерааргорн:

— Сплошные облака застилают землю...»

Внизу у подножия гор «копошатся козявки», но недолго — еще пару минут-тысячелетий, и снова все затихает. «Хорошо, — промолвила Юнгфрау. — Однако довольно мы с тобой поболтали, старик. Пора вздремнуть».

Салтыков-Щедрин именно Юнгфрау перетаскивает в своих записках «За рубежом» в Уфимскую губернию.

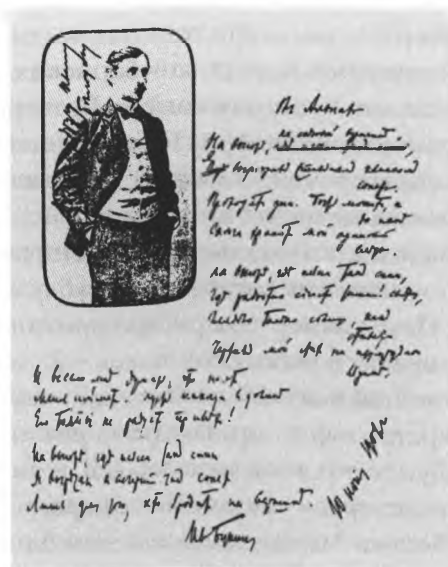
Бунин посвящает Альпам несколько стихотворений. Осенью 1900 года вместе со своим товарищем Куровским он поднимается в горы из Интерлакена. «...Поехали по теснине в Гриндельвальде, к сердцевине вечных ледников бернских Альп, — рассказывает Бунин в письме брату, — к самому Веттергорну, Маттергорну, Финстерааргорну и Юнгфрау. Горы дымятся, горная речка, над головою громады, елочки на вышине, согнувшись, идут к вершинам. Кучер вызвал из одной хижины швейцарца. Он вышел с длинным деревянным рогом длиною сажени полторы, промолил его водою, поставил как гигантскую трубку на землю, надулся и пустил звук. И едва замер звук рога, — противоположная скалистая стена, уходящая в небо, отозвалась — да на тысячу ладов. Точно кто взял полной могучей всей рукой аккорд на хрустальной арфе, и в царстве гор и горных духов разлилась, зазвенела и понеслась к небу, изменяясь и возвышаясь, небесная гармония. Дивно! Наконец — впереди все ущелье загородил снежный Веттергорн. И чем больше мы подымались, тем ближе ледяные горы росли и стеной — изумительной — стали перед нами: Веттер-

горн, Маттергорн, могучий Финстерааргорн, Айгер и кусок Юнгфрау, а подле — Зильбергорн. Погода была солнечная, в долинах — лето, на горах ясный, веселый зимний день январский. Ехали назад — швейцарец дико пел «йодельн» — нутряное пение, глубокое — свежо, серо, шум горной речки, черные просеки в еловых лесах, бледные горные звезды, а сзади всю дорогу — мертвенно-бледный странный величественный Веттергорн, а потом Юнгфрау».

На следующий день путешественники отправляются в другую знаменитую долину, к водопадам Лаутербруннена, откуда собираются подняться к Мюррену (Mürren), но оказывается, что с окончанием сезона горная зубчатая дорога на Мюррен уже закрылась. Путешественники отправляются в путь пешком. «Наконец после смены дивных видов пропастей и гор возросли опять Айгер и Юнгфрау, тишина, и мы вступили в снег. Долго шли зимою по лесу, обливаясь потом. Шли без остановки более четырех часов и пришли в Мюррен. Там мертвая зимняя горная тишина. Пустой отель опять. Обед в столовой холодный, но славный. Куровский играл из Бетховена, и я почувствовал на мгновение все мертвое вечное величие снежных гор».

Первое путешествие по Швейцарии произвело на Бунина такое сильное впечатление, что, как напишет Муромцева-Бунина,

Стихотворение И.А.Бунина «В Альпах». Автограф



«об этих днях не только впоследствии, бывая в Швейцарии, но и перед смертью вспоминал Иван Алексеевич».

Интересно, что покоряют горы не только русские писатели, но и писательницы. В 1855 году Дора Д'Истрия, оставившая четырехтомное описание своего путешествия по Швейцарии, одевается в мужской костюм и, повергнув в изумление гриндельвальдских горных проводников, становится первой женщиной, покорившей пик Мёнх (Mönch), о чем получает официальную грамоту в Интерлакене. Дора Д'Истрия – псевдоним писательницы княгини Елены Кольцовой-Масальской. В четвертом томе, посвященном Оберланду, писательница подробно описывает свое восхождение на альпийскую вершину, сделавшее ее первой русской женщиной-альпинисткой.

Отметим еще несколько мест в других долинах Бернского Оберланда, где бывали русские путешественники.

Особой любовью и по сей день пользуется Кандерштег (Kandersteg), курортное местечко, расположенное в долине реки Кандер. Летом 1862 года здесь отдыхал Тютчев во время своего путешествия по Швейцарии с Денисьевой. Отсюда он писал дочери Дарье: «Знаешь ли ты, милая дочь, что такое, например, Жемми? Это отвесная гора высотой в семь тысяч футов, которая отделяет Бэнь-де-Луеш от восхитительной Кандерстегской долины, ведущей к Тунскому и Бриенцскому озерам. Это один из самых трудных, самых опасных переходов на ту сторону Верхних Альп. Одна француженка погибла там в прошлом году. Я вскарабкался туда и остановился на месте, где спотыкнулся мул этой несчастной дамы и откуда бедняжка скатилась, падая с утеса на утес, в пропасть глубиной сто футов. Она только что вышла замуж. Что невыразимо прекрасно, так это полнейшая тишина, которая царит на этих вершинах. Это особый мир, живым уже не подвластный».

В деревне Шарнахталь (Scharnachtal) живет у знакомой швейцарской семьи дочка Шестовых, Наташа. По религиозным причинам философ должен был скрывать свой брак от отца. Лев Шестов проводит здесь лето 1903 года. В это время он работает над книгой «Апофеоз беспочвенности», и здесь рождается эпитафия: «Nur für Schwindelfreie (только для не боящихся головокружения (нем.). — М.Ш.). Надпись у опасной горной тропинки (из альпийских воспоминаний)».

Муж сестры Шестова композитор Ловцкий вспоминает: «Мы жили в это время около Берна в «шале» по дороге в Кинталь и много ходили вдвоем, а то и с дамами в горы — в глетчеры, в сопровождении проводника. Но особенно мы с Л.Ис. любили делать вдвоем переходы-перевалы из одной долины в другую и уже без гида, а руководствуясь картами, приложенными к Бедекеру... Ходили мы молча, каждый предавался своим мыслям, Л.Ис. философским, я — музыкально-драматическим. И вот, в задумчивости, мы подошли однажды к тропинке узкой с этой грозно предупреждающей надписью. Возвращаться не хотелось, головокружения мы не боялись и пошли по узкому краю отвесной скалы высотой в несколько сот метров. С другой стороны была такая же отвесная стена. Ни души. Лишь парят в поднебесье орлы и коршуны... Начал моросить дождь и спускаться густой туман...» В конце концов путешественники благополучно добрались до населенного пункта. Шестов, как пишет мемуарист, «обогатился размышлениями на тему об окраинах жизни, где надо, не боясь потерять голову, глядеть в лицо опасности и даже смерти».

Расположенный в соседней долине реки Кине (Kiene) Кинталь (Kiental) вошел во все учебники истории, по которым учились поколения советских школьников. Здесь в апреле 1916 года состоялась Вторая Интернациональная социалистическая конференция, организованная швейцарцем Гриммом и почти полностью повторившая первую, циммервальдскую. Сорок пять участников встретились в Берне у Народного дома и под прикрытием тайны — никто, кроме самого Гримма, не знал места проведения конференции — отправились на вокзал, откуда поехали поездом в горы. Делегаты расположились в курортной гостиничке «Медведь» (Barenhotel). Среди участников из России — Павел Аксельрод, Инесса Арманд, Ангелика Балабанова, Мечеслав Бронский, Григорий Зиновьев, Владимир Ленин, Юлий Мартов. За обедом Гримм развлекал интернационалистов пением заранее заказанной группы оберландских йодлеров. И здесь, как и в Циммервальде, радикальные ленинские резолюции не нашли поддержки большинства делегатов.

В Адельбодене (Adelboden) в Энгстлигентале (Engstligental) в 1938–1940 годах жил с женой Вацлав Нижинский.

Адельбоден и Гштаад (Gstaad) в долине реки Заане (Saane) связаны с именем Набокова.

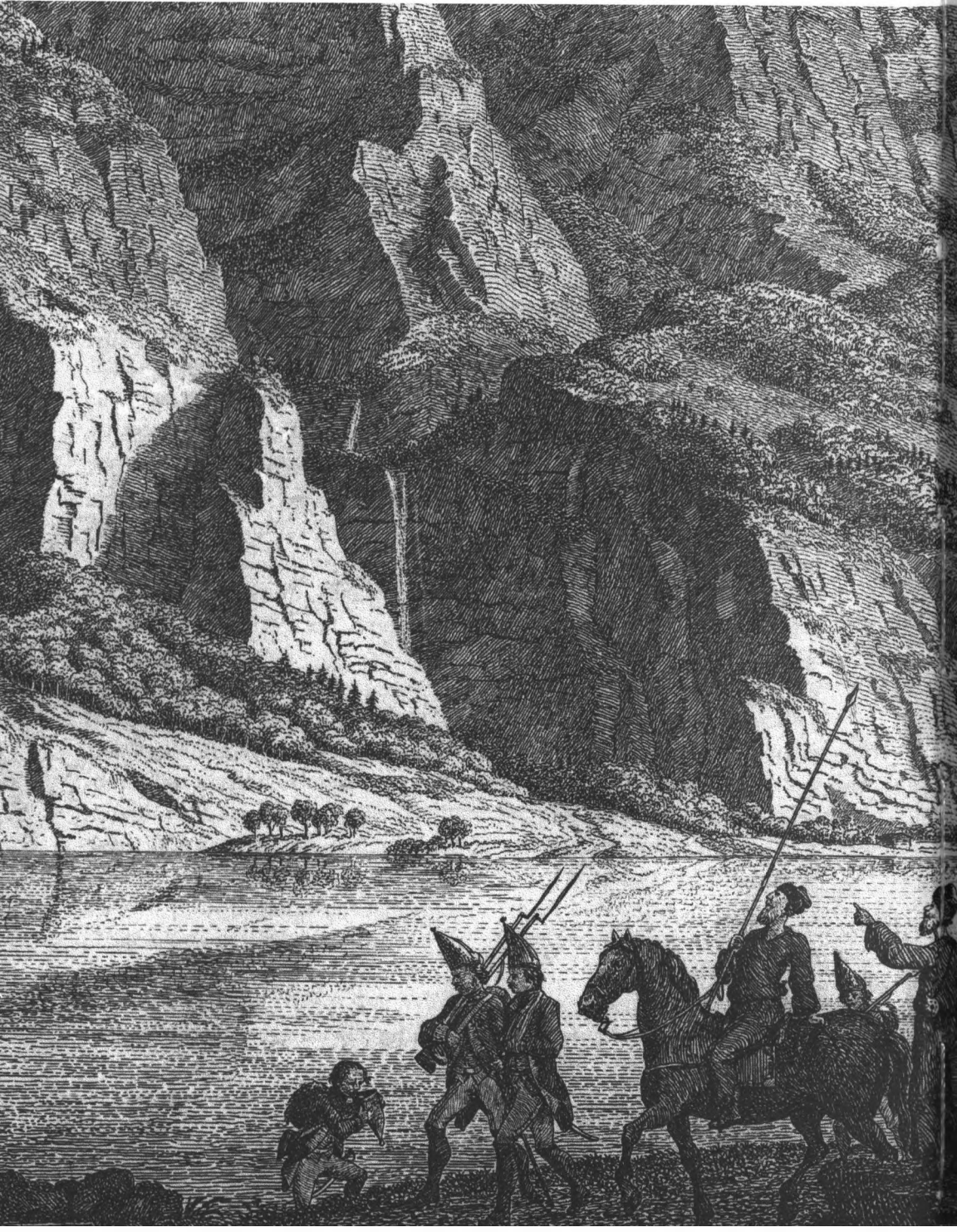
В августе 1969 года в Адельбодене проводит три недели писатель с женой, спасаясь из переполненного летом туристами Мон-

трё. Он записывает в дневнике: «Ужасный холод, сырость, чудовищно. Никогда больше». Из-за плохой погоды отдых в горах может быть испорчен у кого угодно, но только не у такого писателя, как Набоков. Наблюдение за жизнью постояльцев в гостинице дает ему пищу для «Прозрачных вещей».

В августе 1971 года Набоковы снимают шале «Висмюлерай» (Wysmüllerei) между курортными местечками Гштаад и Заанен. Набоковские дни проходят однообразно — утром он уходит с сачком «на охоту», после обеда пишет «Прозрачные вещи». Сын Дмитрий, отдыхающий вместе с родителями, переводит его русские рассказы. Сюда же Набоковы приедут через год — в августе 1972-го. Здесь у брата гостит Елена Сикорская, только что вернувшаяся из Ленинграда. Она рассказывает ему о своих впечатлениях от советской жизни — из этих рассказов рождаются «Арлекины».

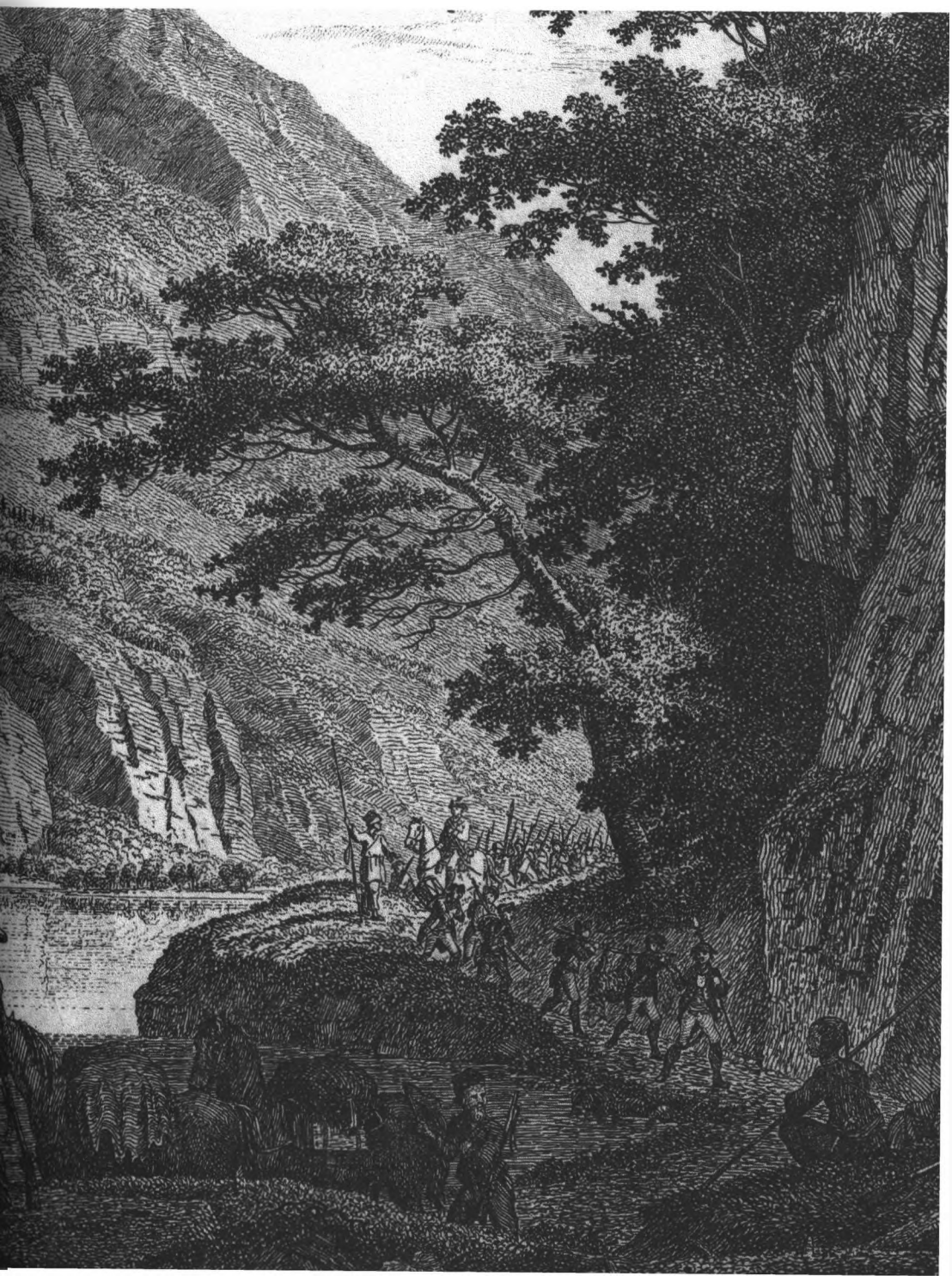
Отметим еще, что эти места и раньше посещались русскими литераторами. Так, по долине Зимменталь (Simmental) в 1857 году шел в направлении Интерлакена во время своего путешествия по Оберланду Лев Толстой. Вместе со своим юным спутником Сашей писатель останавливался отдохнуть, в частности, в местечке Вайсенбург (Weissenburg), которое издавна известно своими источниками. Позже, в 1885 году, здесь в санатории лечился поэт Семен Надсон.

X



На курортах «светоносной страны»

НА ВОСТОКЕ ШВЕЙЦАРИИ



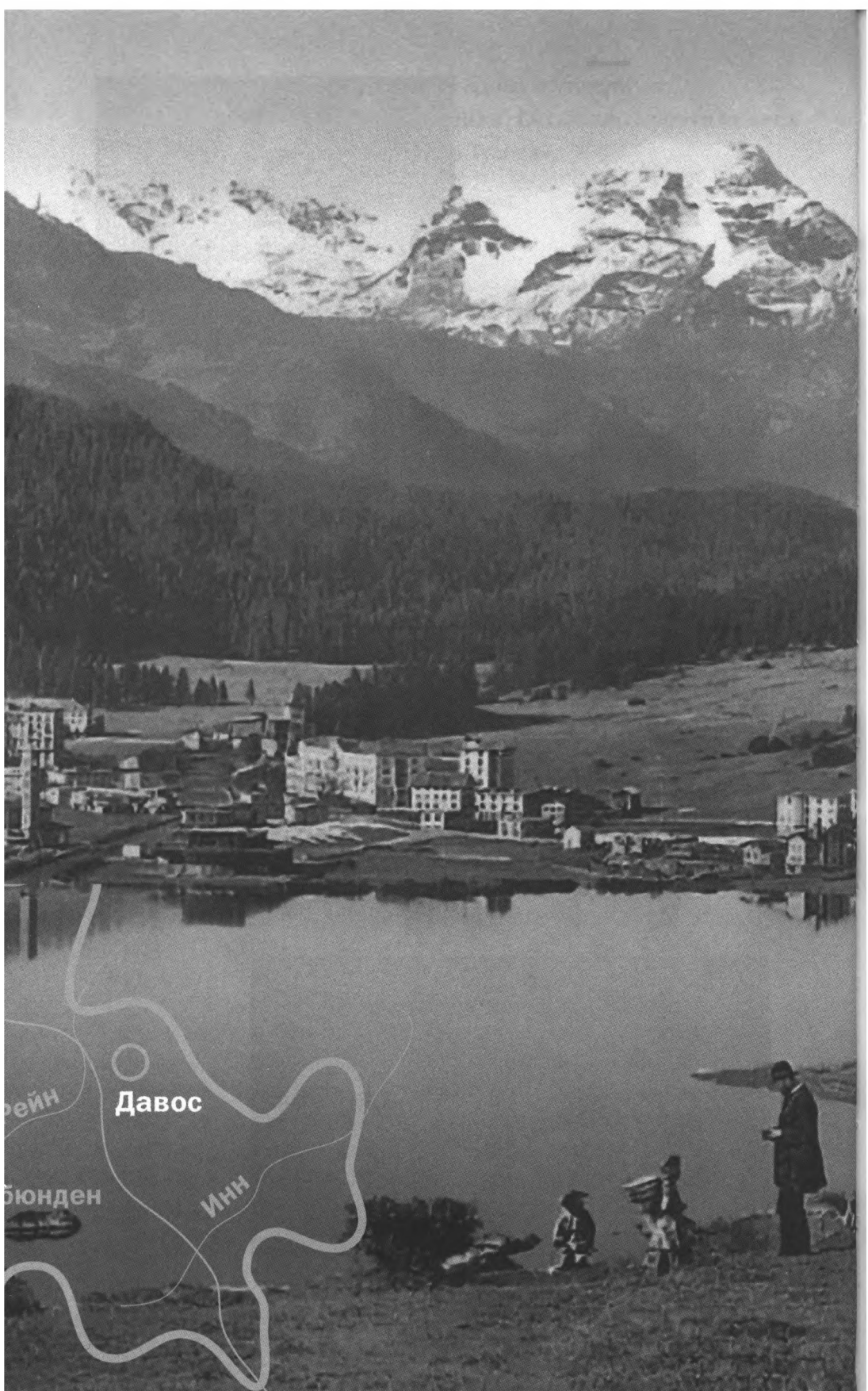
«Швейцария разбудила меня снова и повернула
к художественным впечатлениям. Особенно поразила меня
Via mala в Граубиндене около Тузиса».

М.А.Волошин. Из письма А.Петровой,
13 ноября 1899 г.



В.Ф. Нижинский





Бейн

Давос

Бюнден

Инн

Начнем все же не со знаменитых зимних курортов Энгадина, а с рассказа о заключительной части Альпийского похода русской армии суровой осенью 1799 года.

У перевала Прагель, на спуске в долину Кленталь (Klöntal), русскую армию поджидает заслон французов. В авангарде суворовской армии — будущий герой войны 1812 года Багратион. Ударом в штыки с криком «ура», ведомые самим князем, русские солдаты пробивают себе дорогу к озеру Кленталь.

Далее путь русских войск лежал берегом озера Кленталь к Гларусу. По существующей легенде, Суворов оставил здесь на дне войсковую казну. Этот ничем не подтвержденный миф берedit душу не одного поколения охотников за сокровищами. Если раньше энтузиасты бороздили горное озеро баграми, то теперь поиск суворовского клада продолжается с помощью аквалангов и современной техники.

В Ридерне (Riedern), первой деревне на выходе из Кленталья, также сохранился Дом Суворова с мемориальной доской, здесь он останавливался в ночь с 1 на 2 октября 1799 года.

Через Нетсталь (Netstal) и Нефельс (Näfels) армия пытается пробиться на север, к озеру Валлензее (Wallensee), за которым уже находились союзники. У селения Нефельс разворачиваются ожесточенные бои. Несколько раз русские врываются в деревню, но их отбрасывают. В боях на стороне французских войск против Суворова принимают участие швейцарцы — Гельветическая полубригада, против которой даже Багратион оказывается бессилён. Суворов приказывает прекратить сражение и отойти.

В Нетстале, рядом с Гларусом, в доме, отмеченном сегодня мемориальной доской, собирается военный совет. Суворов решает оставить всех раненых в Гларусе на милость французам и уходить из Швейцарии в обход неприступных французских позиций — в южном направлении через перевал Паникс (Panixerpass) на Иланц (Ilanz) и по долине Рейна на Хур (Chur).

Дорога, ведущая через Энги (Engi) и Матт (Matt) до Эльма (Elm), носит теперь имя Суворова, о чем сообщают аккуратные желтые указатели. Переночевав в Эльме (снова дом с памятной доской), русский полководец узкой горной тропой отправляется с остатками своей армии к перевалу Паникс, переход через который оказывается самым тяжелым испытанием для солдат

за все время швейцарского похода. Выпавший снег скрывает горные тропинки, что приводит к тому, что многие срываются в пропасть и погибают. Переход через Паникс послужит темой для знаменитой картины Сурикова, однако молодеческое настроение картины мало соответствует тому, что пришлось пережить русским в реальности. Капитан Грязев о перевале Паникс: «С сей ужасной высоты должны были опять спускаться в противоположную сторону горы по крутому и скользкому утесу, где каждый шаг мог быть последним в жизни или угрожал смертию самую мучительнейшею: но как другого пути не было, следовательно, должно было решиться по нем спускаться и отдать себя на волю случая. Лошадей наших, не только со вьюками, но и простых, сводить было невозможно: их становили на самый край сей пропасти и сзади стлкнували в оную. Иные оставались безвредны, но многие ломали себе шеи и ноги и оставались тут без внимания со всем багажом своим. Другие падали еще на пути, или истощавшие от бескормицы, или разбившиеся ногами от лишения подков и обломавшие копыта, или обры-

Туристический указатель «Путь Суворова»



вались в стремнины без возврата. Но люди были еще в жалостнейшем положении, так что без содрогания сердечного на сию картину ужасов смотреть было невозможно... Всякий шел там, где хотел, избирая по своему суждению удобнеее место кто куда поспел; как кому его силы позволяли; слабейшие силами упадали, желавшие отдохнуть садились на ледяные уступы и засыпали тут вечным сном; идущие останавливаемы были холодным ветром, с дождем и снегом смешанным, все почти оледенели, едва двигались».

На Паниксе были утеряны последние вьюки из обоза и вся артиллерия. Измученные остатки суворовской армии приходят в горную деревушку Паникс. Здесь ночуют солдаты в ночь с 7 на 8 октября 1799 года. Пребывание русских войск надолго останется в народной памяти. Солдатами был забит весь скот, русские уничтожили и забрали с собой все запасы сыра, масла и холста, выкапывали картошку из-под снега, разобрали сараи и изгороди на дрова для костров.

На доме, в котором ночевал Суворов с великим князем Константином и своим пятнадцатилетним сыном Аркадием, также висит памятная доска.

После ухода армии жители деревни занимаются захоронением сотен погибших здесь русских солдат. Они также составляют подробную опись всего, что было уничтожено, съедено, выпито и похищено, и отправляют в Петербург Суворову, который лично обещал старосте, что русское правительство расплатится за

А.В.Суворов



все. Увы, Суворов через несколько месяцев умрет, императора придушат, и из России, несмотря на обещания, не пришлют ни копейки.

Эти события с такой мощью вторгаются в ход жизни тихой деревушки, что память об этом хранится до сих пор. Особенно памятно паникским крестьянам, что долги, в которые семьи влезли после разорения, некоторые из них выплачивали в течение нескольких поколений до конца XIX века. Удивительным образом Суворов, несмотря ни на что, почитается здесь почти как национальный герой, а местным блюдом, как утверждают путешественники, стали Russers — кубики картофеля, поджаренные с луком, сыром и жиром.

В Иланце армия отдыхает с 8 по 10 октября. Суворов останавливается в «Каза-грондо», в так называемом Большом доме. Отсюда путь идет на Хур. Из 22 тысяч человек, перешедших швейцарскую границу, на берега Рейна выходят только 14 тысяч, из них только 10 тысяч еще были способны держать оружие. Измученные, обмороженные, голодные, одетые в лохмотья, русские воины после Альпийского похода вряд ли выглядели лучше французов, бежавших из России.

В Хуре Суворов останавливается в Епископском дворце. Отсюда он через Майенфельд (Maienfeld), где ночует в так называемом «Доме Брюггель» с солнечными часами на фасаде, отправляется по территории Лихтенштейнского княжества через Австрию в Россию. Павел награждает старого полководца званием генералиссимуса, но переход через Альпы становится его последней кампанией.

Следующая глава в истории русского освоения Восточной Швейцарии связана с курортами кантона Граубюнден (Graubünden), всю территорию которого занимают горы. В XIX столетии здесь строятся санатории в связи с открытием целебного действия горного воздуха на легочных больных. Хотя места эти, в общем-то, и раньше были знакомы русским путешественникам: здесь проходила дорога в Италию — Виа-Мала.

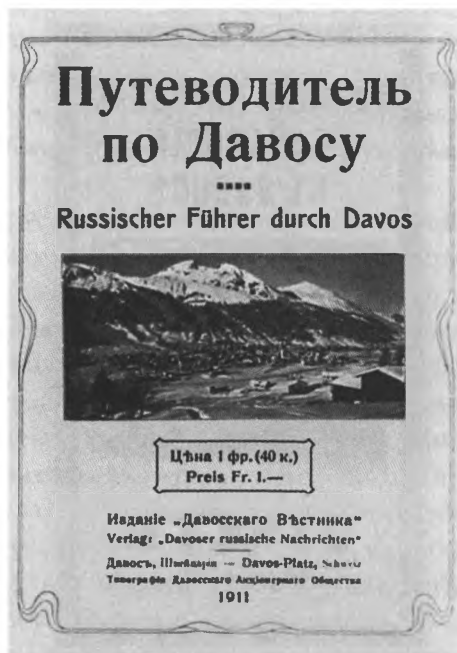
Вот отрывок из воспоминаний историка Костомарова, проехавшего по ней в 1861 году: «В Куре мы наняли лошадей с экипажем и отправились по пути в Италию по дороге, которая носит название «Via Mala», то есть дурная дорога. Несмотря на такое название, дорога эта своим устройством не соответство-

вала ему. Это один из самых живописных путей по швейцарским горам. Мы встречали затейливые вершины с глетчерами и множество шумных водопадов. Вспоминая дорогу через Сен-Готард, по которой проезжал в 1857 году, я должен был отдать преимущество — по красоте представляемых впечатлений — пути, на котором ехал теперь. ...Катили на санях. Кругом была необозримая снежная равнина, напоминавшая нашу Русь в зимние месяцы».

Давос (Davos), Сен-Мориц (St. Moritz), другие курорты Граубюндена с середины XIX века становятся пунктом притяжения сперва для русской аристократии, а затем и для всех желающих.

Чайковский, отдыхающий в ноябре 1884 года в Давосе, пишет Надежде Мекк: «Вчера приехал я наконец в Давос. <...> Местечко состоит из ряда отличных и переполненных гостями отелей и нескольких частных вилл. В этой глуши есть куча первоклассных магазинов, театр и собственная газета, всевозможные увеселительные заведения, как, например, железная дорога, русские горы, тир и пр. Зима совершенно русская».

Русский путеводитель по Давосу



Но настоящее русское паломничество в эти места начинается на рубеже столетий. Так, в 1892 году русские составляют лишь один процент гостей Давоса — 257 человек, а в 1912 году уже одиннадцать процентов от общего количества отдыхающих — 3422 человека. Русская колония в те годы является по численности второй после немецкой. В 1899 году в курортном центре Давоса — теперь отель «Европа» (Eugore) — открывается русская библиотека, с 1908 года здесь начинает публиковаться на русском языке журнал «Давосский вестник» и выходит регулярно три раза в месяц до 1916 года. Интересно, что этот журнал, содержащий много медицинской информации, рассылался тысяче врачей в России и служил своеобразной рекламой швейцарского курорта. В русской типографии в Давосе помимо «Вестника» выходили журнал «Европейские курорты» и литературно-политическое обозрение «За рубежом», а также путеводители на русском языке по Граубюндену. Здесь печатаются и те русские издания, которые запрещены в России, как, например, брошюра Толстого «Не могу молчать».

Отчет русского санатория в Давосе



Организатором деятельности, связанной с русской культурой на курорте, выступает «Русское общество — Cercle Russe», официально зарегистрированное в 1902 году. Задачей его является не только организация концертов, но и поддержка неимущих русских больных. В октябре 1909 года открывается «Русский дом для недостаточных туберкулезных больных». Первое время «Русский дом» находился в пансионе Танцбюль (Tanzbühl), в 1913 году «Русское общество» покупает виллу Анна-Мария (Villa Anna-Maria). Устраиваемые каждый год русские благотворительные балы становятся «гвоздем» сезона. В 1912 году даже основывается любительский русский театр, ставивший пьесы на сцене гранд-отеля «Бельведер» (Belvedere).

Многие пансионы специализируются на приеме больных из России, как, например, вилла Белли (Villa Belli), вилла Веста (Villa Vesta), вилла Васеша (Villa Wasescha) в Давос-Платце или «Тамара» (теперь Hotel Weissfluh) в Давос-Дорфе, а в 1912 году в отеле «Кайзерхоф» (теперь отель «Бернина» — Bernina) открывается первый русский санаторий Давоса. Путеводители по Швейцарии переполнены рекламными объявлениями «русских» заведений в Давосе, например, в «Русском Бедекере» за 1909 год читаем: «Давос, курорт для легочно-больных. Русский пансион. Davos Platz, Haus Albi. Солнечн. местность, лучший стол, электр. освещ., ванна, постоянн. врач. Цена от 6.50 в день». Или: «Давос-Дорф. Пансион Вилла-Веккиа. (Villa Vecchia). Снабжен новейшим комфортом. Владелец говорит по-русски».

Количество русских растет с такой быстротой, что в 1914 году начинаются работы по строительству русской православной церкви. До этого служба проводилась сперва в доме Оберраух (Oberrauch) в Давос-Дорфе, затем в римско-католической капелле с красивым названием «Снежная Мария» (Maria zum Schnee). В апреле 1909 года это помещение освящает священник Сергей Орлов из Женевы. Русская община Давоса начинает собирать деньги на строительство храма, и в 1913 году в так называемом Английском квартале покупается участок земли по адресу: Скалетташтрассе (Scalettastrasse), 8. Заказ получает немецкий архитектор Якоб Лидеманн (Jakob Liedemann), однако в связи с начавшейся войной работы прекращаются.

С наплывом в Граубюнден граждан России русское правительство открывает в Давосе в 1911 году даже вице-консульство,

таким образом, эта курортная деревня стала четвертым местом в Швейцарии после Берна, Женевы и Лозанны с официальным русским представительством.

О том, как отдыхала русская аристократия на зимних курортах, узнаем из воспоминаний Матильды Кшесинской, знаменитой прима-балерины Петербургского балета. В декабре 1912 года она приезжает в Сен-Мориц к своему будущему мужу великому князю Андрею Владимировичу. «Андрей встретил меня на вокзале в Сен-Морице, и мы в санях с парой лошадей и бубенцами покатали к гостинице Кульм, где он остановился и где приготовили для меня комнаты. Сен-Мориц произвел на меня чарующее впечатление: все в глубоком снегу, солнце светит и греет, как летом, весь город как игрушечный, и все ходят в разноцветных фуфайках и шарфах, что придает картине веселый колорит. У нас с Андреем были прелестные комнаты, составляющие как бы отдельную квартиру с видом на каток и далекую долину.

Первым долгом мы пошли с Андреем по магазинам обмундировывать меня по-зимнему: специальные ботинки, чтобы ходить в снегу, фуфайки, шарфы и вязаные шапочки и перчатки. Вещей этих было во всех магазинах вдоволь, на все вкусы и средства.

Утром, не ранее 11 часов, Андрей отправлялся на каток. Раньше было слишком холодно, надо было выждать, пока солнце не выйдет из-за гор. Первые дни я смотрела, как он катался, а по-

М.Ф.Кшесинская

Великий князь Андрей Владимирович



том и сама брала уроки, но слишком мало было времени, чтобы научиться. На катке на солнце было просто жарко, градусник подымался выше 20 градусов Цельсия, хотя одновременно в тени стоял мороз около 8 градусов ниже нуля. Это можно было видеть на двух градусниках, один на солнечной стороне, а другой в тени.

Днем мы заказывали парные сани, лошадей с бубенцами и, закутавшись в теплые пледы, отправлялись кататься по окрестностям. Их было много, все красивые и разнообразные, тут и основные леса, долины, горы, все в снегу и залито горячим солнцем. Навстречу попадались такие же сани, с такой же, как мы, катающейся публикой, всем весело и хорошо, по крайней мере на вид.

Забавен был вид главной улицы, все шли с лыжами в руках или тащили за собою санки, чтобы идти в горы и на них спускаться, все в самых разнообразных туалетах всех цветов радуги.

Надо было возвращаться домой до захода солнца, зимою не позже 5 часов, а то захватит мороз. Завтракали и обедали мы в общем ресторане нашей части гостиницы, для других была своя столовая. Иногда, если очень уставали и лень было одеваться, обедали у себя в комнатах, кормили отлично».

Приезжали не только на зимний сезон, но и летом. Восторженные воспоминания о каникулах, проведенных в Энгадине (Engadin), одной из красивейших долин Граубюндена, оставила художница Маргарита Волошина, приехавшая сюда из Италии: «После всех этих великих вещей казалось невозможным уже испытать еще нечто сильнее. И все же лето в Энгадине явилось как бы венцом всего нашего путешествия. Эта страна, где воздух напоен звоном бесчисленных стекающих струек ледяной воды, где в небе прямо за светом угадывается черная бездна, эта светящаяся страна была мне тогда, и навсегда осталась, не географическим пространством, а неким состоянием сознания, чем-то, что, может быть, в давние времена могли переживать паломники в Иерусалиме. Так ощущала я всегда и позднее, когда я там была: бытие, действительность».

Не все, однако, в восторге от модных курортов. Макс Волошин, например, во время своего путешествия в июне 1901 года обходит Сен-Мориц стороной. С друзьями он пешком идет из Италии через Бернинский перевал в долину Энгадина. В общем дневнике он записывает: «Мы прошли мимо С.-Морица с его оте-

лями и электрическими трамваями». Для ночевки путешественники выбирают соседнюю с Сен-Морицем Понтрезину (Pontresina). Здесь они останавливаются в гостинице «Штайнбок» (Steinbock). Еще одна запись в дневнике: «Комната наша в отеле Steinbock оказалась очень плохой, холодной и сырой. Я чувствовал себя очень нездоровым и ночью плохо спал и страдал тоской по родине».

Экстравагантным способом путешествует по восточной части Швейцарии в том же 1901 году Николай Лосский — на велосипеде. «Переехав через границу Швейцарии, — вспоминает философ, — я поднялся в Davosplatz и оттуда спустился в Рагац, куда прибыл поздно вечером. Утром, выйдя посмотреть город, я увидел, что рядом с моею гостиницею находится кладбище. Я зашел туда и тотчас наткнулся на прекрасный памятник Шеллинга. Как раз перед этим я переводил Куно-Фишера о Шеллинге и питал большую симпатию к этому философу. Я вспомнил, что он умер в Рагаце и что памятник ему был поставлен его почитателем, баварским королем. Большое впечатление произвело на меня то обстоятельство, что судьба привела меня провести ночь вблизи его могилы». На том же курорте Бад-Рагац (Bad Ragaz) через несколько лет будет записывать свои мемуары слепнувший Петр Боборыкин.

Романтические места привлекают людей искусства. Осенью 1912 года, например, приезжают в Сен-Мориц Белый с Асей Тургеневой. Зимой следующего года отдыхают в Ароза (Arosa), рас-

Журнал «За рубежом», выпускающийся в Давосе



положенной между Хуром и Давосом, Рахманинов с женой. Н.А.Рахманинова вспоминает: «Мы решили поехать для отдыха в Швейцарию, в Ароза. Ароза нам очень понравилась, и мы пробыли там весь январь. На солнце было тепло, а в тени мороз 17 градусов. Сергей Васильевич обещал мне, что он не будет кататься на санях по крутым дорогам, на которых незадолго до нашего приезда два человека разбились насмерть. И вот приходит раз весь в снегу без шапки... Не утерпел и скатился на санях вниз, потеряв по дороге шапку. Слава Богу, что прошло благополучно. Потом мы часто катались с ним на санках по красивым, но безопасным дорогам Ароза. Какой там был чудесный воздух. Поразителен восход солнца, когда первые лучи показывались из-за гор».

Отдыхали в Граубюндене, разумеется, и русские революционеры. Начало социал-демократическому освоению Давоса положил Плеханов — он лечится здесь зимой 1887–88 года.

Давос становится одним из центров революционной эмиграции. Здесь переживают боевики Савинкова паузы между очередными покушениями. Здесь выступают с докладами Луначарский, Коллонтай, Инесса Арманд, Чернов.

С началом войны шумная жизнь на курортах замирает, швейцарские отели лишаются доходов от богатых туристов из России. Зимой 1917 года здесь проводит Маргарита Волошина. В книге «Зеленая змея» она вспоминает: «Впервые видела я эту любимую страну зимой. Над снегами, сиявшими ослепительной белизной, разверзалась бездна неба, темно-синяя, почти грозная. Замерзшие водопады образовывали неподвижные складки, как на одеждах архаических греческих статуй. С детства я помнила Сент-Мориц как маленькую деревушку с одной скромной гостиницей. Теперь я увидела мертвый город. Из-за войны гигантские отели были закрыты и походили на ассирийские мавзолеи. Мне казалось, что с тех пор прошло не двадцать три года, а двести тридцать лет, и я стала свидетелем возникновения и гибели целой цивилизации. Я сама была как бы вырвана из жизни и перенесена к границам бытия, в безмолвие вечности. И в этот замерзший мир газеты принесли невероятную новость: в России — революция...»

Из Давоса срочным телефонным звонком вызывает Ленин в Цюрих отдохнувшего здесь в санатории Карла Радека. С курортов уезжают последние русские — эмиграция возвращается в Россию.

После революции русская речь слышится все реже в этих местах. Русскую библиотеку — 2000 томов — из Давоса за неимением спроса перевозят в Берн и сливают с фондами Восточноевропейской библиотеки.

Один из немногих русских жителей Энгадина в те годы — Вацлав Нижинский. Знаменитый танцовщик поселился после войны с женой и дочерью на вилле Гуардамунт (Guardamunt) в Сен-Мориц-Дорфе. Измученный запутавшимися отношениями со стареющим Дягилевым, с одной стороны, и своей женой Ромолой с другой, Нижинский пишет здесь в 1919 году свой нашумевший «Дневник». Он называет себя «Клоуном Божиим» и отчаянно борется с наступающей душевной болезнью — пытается объяснить всем, что только разыгрывает сумасшедшего. Он говорит гостям: «Видите, я художник, но у меня нет труппы. Я теряю сцену. Я счел, что получится интересный эксперимент, если все увидят, как хорошо я играю, и шесть недель я играл роль безумного, и вся деревня, и моя семья, и даже врачи поверили. За мной ухаживает санитар в маске массажиста».

В.Ф.Нижинский

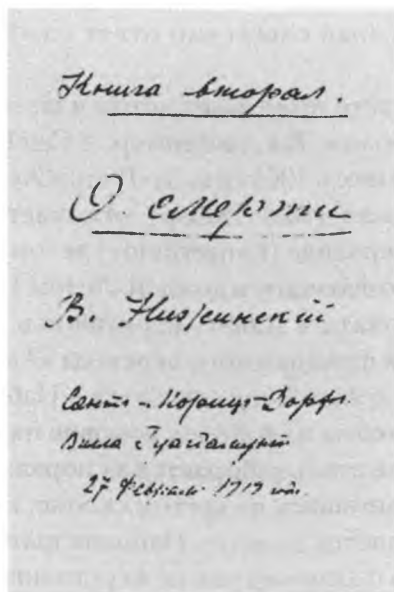


Нижинский то принимает участие в саночных соревнованиях, мчится вниз, рискуя разбиться, по крутым виражам ледяного желоба, то с дочкиным крестом скитается по округе, призывая всех встречных идти в церковь, то принимается танцевать на горных кручах безумные импровизации.

В январе 1919 года он устраивает представление в отеле Сувретта-Хаус – собирается танцем выразить страдания молодых людей, погибших на войне. Перед выходом на сцену он говорит с трепетом жене: «Сегодня день моего соединения с Богом». Танец Нижинского публика не воспринимает. Многие в зале встают и уходят. Это его последнее выступление. Из Сен-Морица жена увозит его в Цюрих, в психиатрическую лечебницу.

Иногда позволяют себе отдохнуть в горах Граубюндена после революционные эмигранты. Так, летом 1929 года в Давосе после долгого перерыва встречаются Вячеслав Иванов с Эмилием Метнером. Иванов с дочерью Лидией приезжает из Италии, Метнер, ставший в эмиграции из символиста учеником и переводчиком Юнга, – из Цюриха. В кафе, где происходит встреча, играет му-

Рукопись В.Нижинского



зыка. Метнер в Москве был известен тем, что от музыки у него начинались боли и припадки. Считалось, что причиной заболевания была семейная трагедия — любимая женщина Эмилия стала женой его брата-композитора. Однако теперь Эмилий не обращает даже внимания на шумные аккорды. На недоумение старого друга он отвечает: «Результат лечения Юнга». Лидия Иванова вспоминает: «На меня лично образ Метнера произвел крайне угнетающее впечатление: он мне представился как бы человеком, отчасти уже мертвым, который еще ходит и действует нормально. В результате лечения что-то в его душе (музыка?) было убито. Что-то очень существенное. Душа уже не вполне живая, искалечена, ампутирована. Этого добился Юнг своим психоанализом? Но какая же плата!»

Через несколько лет, получив Нобелевскую премию, в Сен-Мориц приезжает отдыхать с женой Бунин.

Совсем редким исключением является в те годы посещение курортов Граубюндена гостями из Советской России. Такой редкий случай представляет приезд в Давос Константина Федина, который лечился от туберкулеза в санатории «Гелиос» (Helios) с 7 сентября 1931-го по 2 июля 1933 года. Здесь писателем написаны «Похищение Европы» и «Санаторий “Арктур”» — своеобразный советский ответ на «Волшебную гору» Томаса Манна.

В Граубюнден часто приезжает летом в швейцарский период своей жизни Набоков. Так, например, в Сен-Морице писатель проводит с женой июль 1965 года. В «Гранд-Отеле» (Grand Hotel) курорта Бад-Тарашп (Bad Tarasp) отдыхает Набоков летом 1966 года. В Ленцерхайде (Lenzerheide) летом 1972-го проводит он месяц непрекращающихся дождей. Летом 1975 года приезжает писатель отдыхать в Давос, вернувшись из Франции, где была презентация французского перевода «Ады».

В Давосе на следующий год случается с Набоковым во время его ежедневной охоты на бабочек роковое падение. Июльским днем 76-летний писатель взбирается за порхающей добычей на скалы и, поскользнувшись на крутом склоне, падает. Выпавший из рук сачок цепляется за ветку. Набоков пытается достать его и снова падает, но подняться уже не в состоянии. На его счастье, недалеко проходит линия канатного подъемника. Едущие в кабине видят старика, который, как им кажется, прилег отдохнуть на солнышке, улыбается и машет рукой. Только уже на обратном

пути, увидев Набокова, лежащего все в том же положении, служащий подвесной дороги понимает, что нужна помощь. За Набоковым посылают людей с носилками. Обходится без переломов, но после этого случая его организм начинают одолевать болезни, от которых писатель уже не оправится. По возвращении в Монрё он должен будет лечь в больницу, и с этой поры пребывания на больничной койке станут учащаться. Набоков будет шутить, что его сачок, оставшийся в горах, висит на ветке, «как лира Овидия».

XI



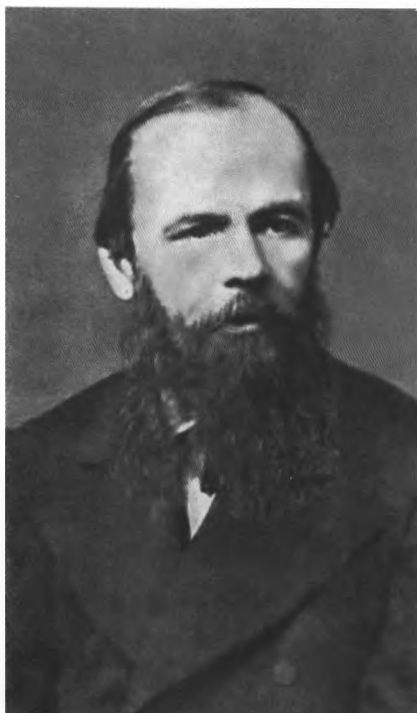
Пушкинский профиль Маттерхорна

ВАЛЛИС



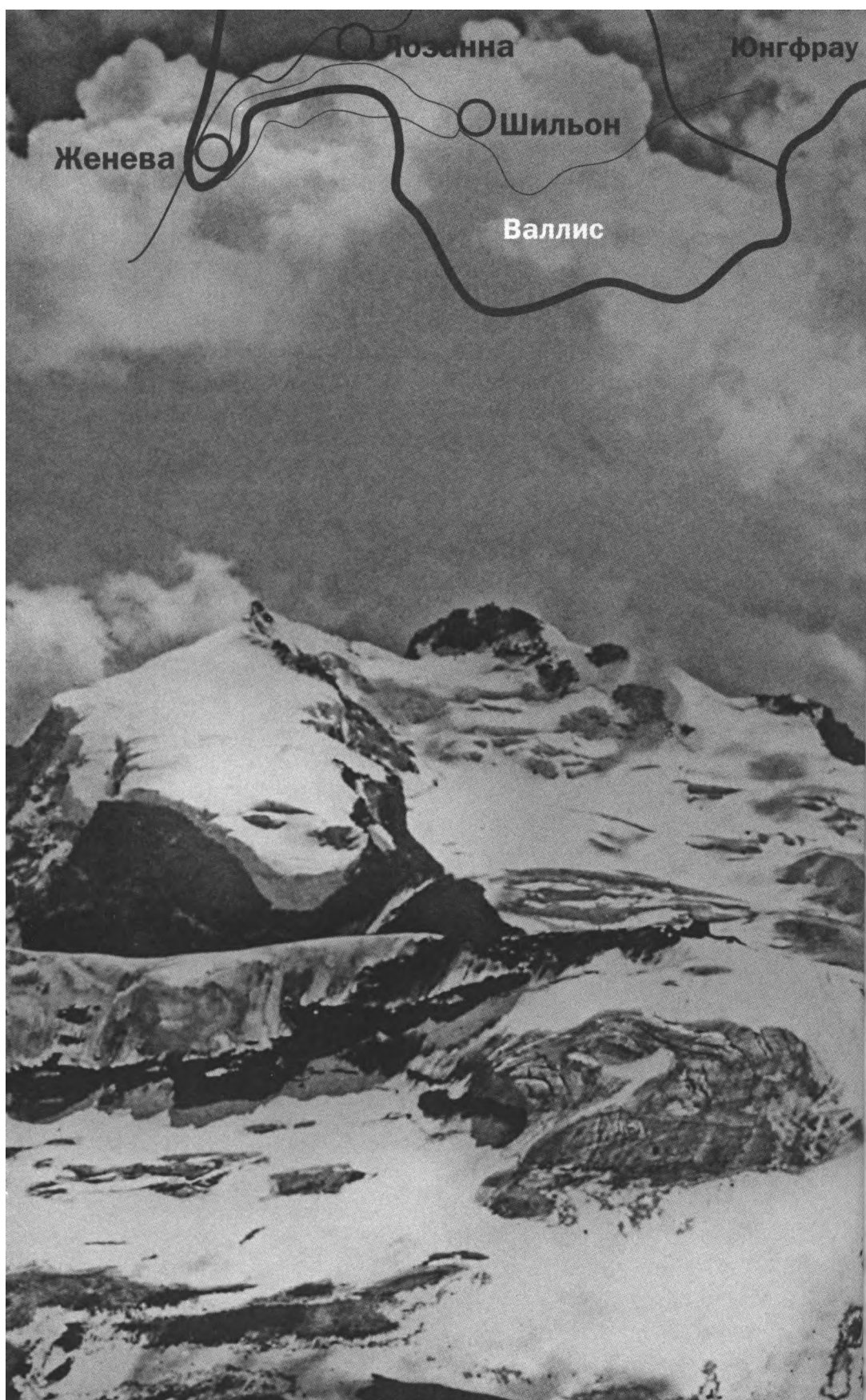
«Аня, милая, я хуже чем скот! Вчера к 10 часам вечера был в чистом выигрыше 1300 фр. Сегодня – ни копейки. Все! Все проиграл! И все оттого, что подлец лакей в Hotel des Bains не разбудил, как я приказывал, чтоб ехать в 11 часов в Женеву. Я проспал до половины двенадцатого. Нечего было делать, надо было отправляться в 5 часов, я пошел в 2 часа на рулетку и – все, все проиграл».

Ф.М.Достоевский. Из письма А.Г.Достоевской,
6 октября 1867 г.



Ф.М.Достоевский





Переход через Альпы, даже еще к середине XIX века, представлял непростую задачу и был сопряжен с многочисленными опасностями. Чтобы представить себе, как это происходило, начнем главу о горном швейцарском кантоне Валлис с того, что пройдем Симплонской дорогой к знаменитому перевалу вместе с Николаем Станкевичем, московским литератором и философом, совершившим свой переход через Альпы осенью 1839 года.

Путь, который занимает теперь лишь пару часов на автомашине, представлял собой в те времена многодневное путешествие. Из Женевы русский путешественник отправился до Веве, откуда начиналась старинная дорога, ведущая в Италию, и, сев там вечером в дилижанс, ночевал уже в долине Роны, в местечке Сен-Морисе (не путать со знаменитым курортом в Энгадине). «Оттуда узкою долиною мы добрались до Сиона, главного города в кантоне Валлис». Здесь снова ночевка. Следующую ночь путешественники должны были провести в Бриге, на подходе к Симплон, но в местечке Туртман (Turtmann) вынуждены были остановиться из-за дождя: «Вся долина к Бригу была залита водою». Переждав ночь, двинулись дальше: «Вода спала, так что можно было видеть дорогу, и мы продолжали несколько времени покойно наше странствие, как вдруг, не доезжая Брига, услышали, что нам должно спешиться и идти с час горою, потому что в долине вода. Делать нечего: мы вооружились зонтиками, взвалили чемоданы на швейцаров, пришедших к нам навстречу, и пошли...»

Добравшись до Брига, измученные путешественники узнают, что дальше дороги нет: «Новое известие: мост сломали, чтобы дать воде свободный проход и отвести ее от местечка. <...> На другой день нельзя было думать о пути: дождь лил, и горы дымились в облаках».

После еще одной утомительной ночевки Станкевич снова отправляется в путь. Дорога большей частью идет над пропастью. «Но вот мы очутились над местом, где буря оставила следы: камни лежали на дороге; сосны, вырванные с корнем, спускались к нам, одна лежала даже на самой дороге, — еще дальше, и нам пришлось слезть, потому что на дорогу съехал целый холм с горы, коляску перетащили кое-как, и мы очутились в галерее, прорезанной в скале, которая преграждает дорогу; через нее с шумом несется водопад и падает в пропасть, капли от него проникают свод и угощают путешественников дождевою ванною.

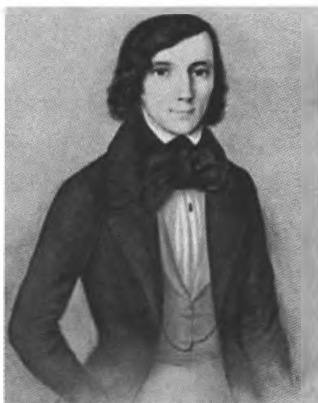
Прошедши это и еще другое подземелье, мы поднялись на высокую точку Симплон — бесплодная земля открылась перед нами. Резкий ветер веял в лицо, и мы, за час перед этим не знавшие, что делать от жару, стали кутаться. Камень и крест обозначают вершину; недалеко от них выстроены дом, принимающий в случае нужды путешественников под свою кровлю. Отсюда дорога ведет вниз, и мы скоро спустились в деревушку Симплон. <...> Оказалось, что от Симплон к Домо д'Осsole (первый итальянский город) дорога так испорчена, что даже верхом нельзя проехать...»

Уже из Флоренции, подводя итоги этому полному опасностей пути, Станкевич напишет Грановскому: «Тут бури и наводнения поставили дорогу вверх дном; мы провозились Бог знает сколько времени и наконец должны были из деревушки Симплон идти верст 20 пешком... — по большей части на четвереньках».

Пройдем же теперь по этому пути по стопам москвича вверх по течению Роны — от Женевского озера до Симплонского перевала, останавливаясь в тех местах, которые так или иначе связаны с русской историей и культурой.

На восток от Эгля идет живописная долина, полная тихих курортных местечек. Лейзен (Leysin) был известен в России до революции лечением легочных заболеваний. Например, в 1911 году здесь лечится от туберкулеза Борис Кустодиев. На «русском рождественском концерте», организованном самими больными, художник устраивал «живые картины». Связан Лейзен и с име-

Н.В.Станкевич



нем Стравинского. Здесь живет композитор в феврале-марте 1914 года в «Гранд-Отеле» (Grand Hôtel) и заканчивает работу над «Соловьем». Считается, что на сочинение «Свадебки» вдохновила Стравинского свадьба, увиденная им в Лейзене. В тридцатые годы здесь лечился поэт Анатолий Штейгер.

В Ормоне (Les Ormonts), в двадцати километрах от Эгля, в 1895 году устраивают переговоры Плеханов, Потресов и Ленин. Молодые социал-демократы, приехавшие из России, поднялись сюда пешком крутыми тропинками от Женевского озера. Это путешествие — первое знакомство Ленина, будущего любителя Альп, с горами. Потресов вспоминает: «Беседа происходила летом 1895 года в горах в местечке Ормони (неподалеку от долины Роны). В эту горную деревушку Ленин и я (третьим нашим компаньоном был А.В.Воден) пришли пешком из Кларана через довольно высокий горный перевал. Туда же, в Ормон, приехал Плеханов, и мы всей компанией поселились в одном пансионе». Здание небольшой гостинички с громким названием «Гранд-Отель», где определялась судьба империи, сгорело, но отель существует по-прежнему в новом здании под тем же названием. В эти места Ленин приедет еще раз в 1908 году, чтобы провести несколько дней в соседнем селении Вер л'Эглиз (Vers-l'Église).

В следующей деревне, если идти вверх по долине, Диаблере (Les Diablerets), отдыхает Игорь Стравинский с семьей летом 1917 года на вилле «Ле-Фужер» (Les Fougères). В тишине валлийских гор композитор работает над «Свадебкой». Сюда к нему приходит из России телеграмма о смерти брата на румынском фронте от сыпного тифа. В июле к композитору проездом в Италию приезжает Дягилев.

В Диаблере Набоковы, следуя совету своего соседа по «Монтрё-Паласу» Питера Устинова, покупают в 1962 году участок земли — по соседству с участком Устинова, чтобы, как тот, построить летнее шале, но из этого начинания так ничего и не получится. Набоков не хочет себя привязывать к одному месту и проводит каждое лето на разных курортах Швейцарии. В Диаблере писатель приедет еще раз летом 1963 года. Вместе с сыном Набоков остановится в гостинице «Гранд-Отель» (Grand Hôtel).

Вернувшись в долину Роны и продолжив путь вверх по ее течению, попадаем в Бе (Vex), место, известное своей сталактитовой пещерой с романтическим названием «Грот фей» (Grotte aux Fées). Некогда сюда привезли на экскурсию лозаннских пансио-

нерок, Марину и Анастасию Цветаевых. Последняя вспоминает в своей книге: «На неделю весенних каникул мы поехали в Бэ-ле-Бэн (Vex les Bains). Высокие травы парка, комнатки горной гостиницы, походы в горы, с щемящей — уже почти год! — памятью о Шамуни и Аржантьер. Великолепная весна сырых долин и цветущих деревьев. Поездка в Грот-о-фэй. Фонтаны у входа в пещеры, бой струй, пена, волны... Легенда о феях. И все это залито струями бенгальских огней».

В 1905 году здесь три недели отдыхает с семьей и ходит в горы Василий Розанов, приехав сюда из Женевы. Швейцарскими впечатлениями он делится в не совсем, как это часто бывает у Розанова, казалось бы, подходящем месте, а именно в очерке о Чехове:

«Голубые озера, голубой воздух, — панорама природы, меняющаяся через каждые десять верст, какие делает путешественник или проезжий, — очертания гор, определенные, ясные, — все занимательно и волшебно с первого же взгляда. Это — Швейцария.

Люди бодры, веселы. Здоровье — неисчерпаемо. В огромных сапожищах, подбитых каким-то гвоздеобразным железом, с длин-

В.В.Розанов с дочерью Верой



ными и легкими палками в руках, с маленькими и удобными котомочками за спиной, они шастают по своим горам, с ледника на ледник, из долины в долину и все оглядывают, рассматривают, должно быть, всем любуются.

Я всматривался в этих людей. «Вот гениальная природа и гениальный человек»... То есть «должно быть так». Ведь человек — конечный продукт природы. Откуда же взяться человеку, как не из природы? И я вглядывался с непременным желанием любить, восхищаться, уважать.

Лица — веселые, а здоровье такое, что нужно троих русских, чтобы сделать из них одного швейцарца. В Женеве, на общем купанье, я был испуган спинами, грудями, плечами мужчин и не мог не подумать, что этот испуг должна почувствовать каждая женщина, к которой подходит такой человекообразный буйвол, «и тогда на ком же они женятся» и вообще «как устраивается семья у таких буйволов». Я представлял тщедушных, худеньких, измученных русских женщин, каких одних знал в жизни, и, естественно не мог их представить в сочетании с такими буйволами.

И я еще думал, думал... Смотрел и смотрел... Любопытствовал и размышлял.

Пока догадался:

— Боже! Да для чего же им иметь душу, когда природа вокруг них уже есть сама по себе душа, психея; и человеку остается только иметь глаз, всего лучше с очками, а еще лучше с телескопом, вообще, некоторый стеклянный шарик во лбу, соединенный нервами с мозгом, чтобы глядеть, восхищаться, а к вечеру — засыпать...

Сегодня — восхищение и сон...

Завтра — восхищение и сон...

Послезавтра — восхищение и сон...

Всегда — восхищение и сон...

Вот Швейцария и швейцарец во взаимной связи».

И далее, размышляя о необходимости страдания, которое одно только приносит мудрость и глубину, Розанов заключает: «Зачем швейцарцам история? Зачем швейцарцам поэзия? Зачем музыка? У них есть красивые озера...»

В 1968 году выберет в качестве места своего летнего бегства от переполненного туристами Монтрё Набоков. В гостинице «Салин» (Hôtel des Salines) он будет писать «Аду».

Деревушка Эвионна (Eviopnaz) связана с Толстым. В 1857 году, возвращаясь из Италии с Владимиром Боткиным, он останавли-

вається здесь. Запись от 22 июня: «Пешком до Evionnaz. Долина, залитая лиловым чем-то <...> Грязная харчевня с клопами».

Достопримечательность, не пропускаемая туристами, — водопад Пис-Ваш (Pisse-Vache) неподалеку от города Мартини (Martigny). Русских путешественников смущает неприличное название столь благородного природного явления, не имеющего, в общем-то, ничего общего с коровьей мочой.

А далее мрачное, но величественное ущелье Горж-дю-Триан (Gorges du Trient). Роскошные альпийские виды дают повод Чайковскому, посетившему Валлис в 1873 году, написать в дневнике о своих чувствах к отечеству: «Ездил смотреть Pisse-Vache и Gorges du Trient... Подымался на какую-то неизвестную гору, где на вершине нашел двух кретинок... Среди этих величественно прекрасных видов и впечатлений туриста я всей душой стремлюсь в Русь, и сердце сжимается при представлении ее равнин, лугов, рощей. О милая родина, ты во сто крат краше и милее всех этих красивых уродов гор, которые, в сущности, не что иное суть, как окаменевшие конвульсии природы».

Соседний Сальван (Salvan) снова связан с именем Игоря Стравинского. Композитор живет и работает в 1914 году в пансионе «Бель-Эр» (Bel-Air), вернувшись из России с семьей. Тут и его застает война.

Дальше вверх за Сальваном спряталось высоко в горах местечко Фино (Finhaut), почти на самой границе с Францией. Здесь скрывается летом 1937 года порвавший со Сталиным агент Интернационала и НКВД Игнатий Порецкий с женой Эльзой, но игра в прятки с советской разведкой продолжается недолго: 4 сентября его убивают.

На юг от Мартини высоко в горах расположен курорт Шампе (Champex). Здесь останавливаются Набоковы летом 1961 года, вернувшись из Италии, где слушали выступления на сцене миланской оперы сына Дмитрия. В своей комнате в отеле «Альп-э-Лак» (Grand Hôtel Alpes et Lac) писатель работает над романом о поэме Кинбота. 13 июля он записывает в дневник: «Закончил по меньшей мере половину “ледного пламени”». Разумеется, за карточками не забывается сачок. Вера возит мужа на машине в разные уголки Валлиса. Сам Набоков не проявлял никакого интереса к чудесам техники, не водил автомобиль, ни разу в жизни не летал на самолете и даже не любил разговаривать по телефону. В Шампе к Набоковым приезжают гости — сестра Елена из

Женева, двоюродный брат Николай, дирижер Игорь Маркевич. Сын Дмитрий пугает родителей рискованными подъемами на кручи — Набоков признавался сестре, что когда он смотрит, как тот взбирается на скалы, «рука тянется креститься».

В соседней долине находится Вербье (Verbier), еще одно набовское место в Валлисе. Здесь живет писатель летом 1968 года в гостинице «Парк-Отель» (Park Hôtel) и работает над «Адой».

На юг от Мартини идет дорога к перевалу Сен-Бернар, расположенному на границе с Италией. Этой дорогой возвращается из короткой поездки в Турин в июне 1857 года Лев Толстой со своим молодым другом Владимиром Боткиным. На перевале путешественники ночуют. Толстой записывает 21 июня: «Туман, холод, русский вечер, с оттепелью зимой. Странность. Громадность Hospice в тумане. Прием — монашески сладкий. Зала с камином, путешественницы, монашенки. Славный ужин, 2 англичанки и 2 француза и 2 русские». На следующее утро: «Позавтракали, осмотрели церковь, копии плохих картин и пошли. Посмотрели мертвых, точно эскиз. Пошли в тумане по снегу вниз». Толстой и Боткин осмотрели морг при монастырском убежище, где сохранялись в течение многих месяцев тела погибших в горах и найденных монахами. О самом Мартини Толстой замечает: «Чудесное место».

Следующий за Мартини городок по направлению к Симплону — Саксон (Saxon) — связан прежде всего с именем Достоевского, которого безжалостно притягивает сюда из Женева курортная рюлетка во время его швейцарского пребывания в 1867 году, но бывали здесь и другие русские. В 1857 году в Саксоне проводит лето с беременной женой известный русский гравер и живописец Лев Жемчужников, брат создателя Козьмы Пруткова. Он описывает свои впечатления в книге «Мои воспоминания из прошлого» и особенно его поражает — после России — отношение швейцарцев к армии: «Меня очень занимал здешний обычай собираться по воскресеньям из разных деревень для стрельбы в цель, причем лучшие стрелки получали премии. <...> Я — ненавистник военщины, которая опротивела мне во время корпусной жизни, — смотрел с удовольствием на подростков-юношей, которые добровольно, без начальства, проделывали военные упражнения и участвовали в стрельбе; а женщины украшали заслуживающих премии цветами. Характер этих военных забав был такой веселый, непринужденный; лица молодежи были оживленные. Идя

дружно домой, они пели патриотические республиканские песни, прославляя свержение венчаных королей и деспотов, прославляя свободу, самоуправление и смерть за родину».

Через десять лет эта деревушка становится местом драматических событий в жизни великого русского писателя. Из Саксона Достоевский посылает каждый день письма своей жене. 5 октября, сразу по приезде, он сообщает: «Со мной случилось с первого шага скверное и комическое приключение. Вообрази, милый друг, что как ни глядел я, во все глаза, а проехал Bains Saxon мимо три станции, а образумился в городке Sion, где и вышел, доплатив еще им, разбойникам, 1 ф. 45 сант., каково! Не имею понятия, как это устроилось. Я каждую станцию смотрел».

Дорога из Женевы в Саксон заставляет Достоевского сменить гнев на милость, и, пожалуй, впервые в его швейцарских описаниях звучат нотки восторга: «Виды — восхищение! Истинно сказать, Женева стоит из всей Швейцарии на самом пакостном месте. Вева, Vernex, Montreux, Chillion и Вильнев — удивительны. И это в дождь и в град. Что же было бы при солнце!» Сам же курорт вызывает у писателя лишь ироническое замечание: «Saxon — деревнюшка жалкая. Но отелей много и на большую ногу».

В первый вечер Достоевский в выигрыше, но следующий день становится роковым. Проспав утренний поезд в Женеву, он снова играет и проигрывается до такой степени, что закладывает обручальное кольцо. «Аня, — пишет Достоевский в отчаянии оставленной дома беременной жене, — судьба нас преследует».

Через месяц, в ноябре 1867 года, Достоевский, получив часть аванса за «Идиота», снова устремляется в Саксон. Из письма Анне Григорьевне 16 ноября: «Ах голубчик, не надо меня и пускать к рулетке! Как только прикоснулся — сердце замирает, руки-ноги дрожат и холодеют. Приехал я сюда без четверти четыре и узнал, что рулетка до 5 часов. (Я думал, что до четырех.) Стало быть, час оставался. Я побежал. С первых ставок спустил 50 франков, потом вдруг поднялся, не знаю насколько, не считал; за тем пошел страшный проигрыш; почти до последков. И вдруг на самые последние деньги отыграл все мои 125 франков и, кроме того, в выигрыше 110. Всего у меня теперь 235 фр. Аня, милая, я сильно было раздумывал послать тебе сто франков, но слишком ведь мало. Если б по крайней мере 200. Зато даю тебе честное и великое слово, что вечером, с 8 часов до 11-ти, буду играть жидом, благоразумнейшим образом, клянусь тебе. Если же хоть что-ни-

будь еще прибавлю к выигрышу, то завтра же непременно пошлю тебе...» В конце следует приписка: «Аня, милая, не надейся очень на выигрыш, не мечтай. Может быть, и проиграюсь, но, клянусь, буду, как жид, благоразумен».

Благим намерениям играть, оставаясь благоразумным, не суждено сбыться. 18 ноября Достоевский пишет в Женеву: «Аня, милая, бесценная моя, я все проиграл, все, все! <...> Я заложил и кольцо и зимнее пальто и все проиграл».

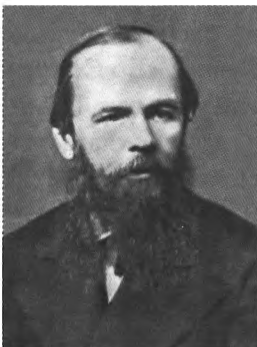
Драматизм ситуации придает то обстоятельство, что Достоевский не может выехать из Саксона, не заплатив за гостиницу и без пальто. «...Умоляю тебя, Аня, мой ангел-спаситель, пришли мне, чтоб расплатиться в отели, 50 франков». Ангел-спаситель закладывает — не в первый раз — свои вещи и вызволяет мужа.

Чудовищный стресс после проигрыша благотворно влияет на творческую активность писателя. В том же письме он заверяет жену: «Будь уверена, что теперь настанет наконец время, когда я буду достоин тебя и не буду более тебя обкрадывать, как скверный, гнусный вор! Теперь роман, один роман спасет нас, и если б ты знала, как я надеюсь на это! В Женеве писатель набрасывается на «Идиота».

И хотя Достоевский обещает жене: «Никогда, никогда я не буду больше играть», — уже всего через пару месяцев он снова, получив деньги из России, несмотря на то что все «заложено-перезаложено», оставляет жену с новорожденной дочкой и мчитя в Саксон. И опять с валлийского курорта отправляются в Женеву.

Ф.М.Достоевский

Казино в Саксон-ле-Бэн



ву письма, исполненные отчаянием. Снова писатель просит: «Заложите что-нибудь».

Панорама валлийских гор найдет отражение в его «швейцарском» романе: князь Мышкин до возвращения в Петербург лечится у швейцарского врача в лечебнице в Валлисе.

Следующее известное туристическое место по дороге к Симплонскому перевалу – Сион (Sion). Общие восторги выражает мадам Курдюкова в описании своего путешествия:

Мост в Сионе и руины,
Бесподобные картины!
Город весь Сион стоит
На горе; прекрасный вид!

В историю русской литературы Сион вошел тем, что здесь, направляясь на рулетку и проехав Саксон, вышел и в ожидании обратного поезда пообедал Достоевский: «В Сионе прождал час и поел, – сообщает он в письме жене. – В Restaurant у станции дали сосисок и супу. Это ужас ужасов».

Высоко в горах над Сионом приютилась деревня Анзер (Anzère-sur-Sion) – еще одно русское литературное место в Швейцарии. Здесь летом 1971 года в отеле «Де-Маск» (Hôtel des Masques) Набоков пишет «Прозрачные вещи».

Вообще без большого преувеличения можно сказать, что весь Валлис – набоковский кантон Швейцарии. На протяжении семнадцати лет своей жизни в Монтрё почти каждое лето писатель приезжает в эти горы. Рядом с Анзером расположен еще один горный курорт, связанный с жизнью писателя, Кран-Монтана (Crans-Montana). В 1964 году Набоков отдыхает здесь вместе с Верой, только что вышедшей тогда из больницы, в отеле «Бо-Сежур» (Beau-Sejour). Набоковы проводят в Кран-Монтане месяц. Помимо ежедневной обязательной прогулки в горы за бабочками писатель много работает, в частности, просматривает перевод своей пьесы «Изобретение Вальса», сделанный сыном Дмитрием.

В следующем по нашему маршруту к Симплону городке Сьерр (Sierre) происходит знаменательная встреча в жизни Бакунина. 30 августа 1874 года здесь в последний раз видятся бывшие друзья и товарищи по оружию – русский анархист и его итальянский ученик и одновременно благодетель Кафиеро (об истории их отношений будет рассказано в главе «В поисках Горы правды»).

«Сьерра — странный городишко, — читаем в книге «Годы странствий» писателя Георгия Чулкова. — Прежде всего странно то, что у жителей Сьерры свой собственный язык — ни французский, ни немецкий, ни итальянский, а смесь патуа с какими угодно наречиями. Улички, хотя и живописны, лишены приятности, благодаря грязи и сырости. Туманы застаиваются в этом ущелье, и я не знаю, какие демоны понудили меня, больного, поселиться здесь. А между тем над Сьеррой возвышается великолепная гора *Montana-Verkala*. Но увы! — у меня не было денег, чтобы подняться на эту гору и поселиться в отеле».

Чулков живет здесь несколько месяцев во время Первой мировой войны, которая застаёт его в Швейцарии, как и многих других находившихся здесь на лечении русских. Из его воспоминаний узнаем драматическую обстановку тех дней, когда после объявления войны русские устремились с курортов домой. «При первой возможности мы покинули Грион (*Gruon*, горная валлийская деревня недалеко от Бе, где лечился в 1914 году Чулков. — *М.Ш.*) и переселились в Женеву, где легче было сношаться с нашим консульством в Женеве и другими центрами, откуда уезжали на родину русские. Несмотря на то что я был еще очень слаб физически, мы решили ехать». Для русских граждан, возвращавшихся с курортов Италии и Швейцарии на родину, русское правительство зафрахтовало специальный пароход, выходивший из Женевы. «В Женевском консульстве, — продолжает свой рассказ Чулков, — как мы убедились, русские чиновники вели себя совершенно непристойно, и добиться от них места на пароходе не было никакой возможности. Ни докторское свидетельство о моей тяжелой болезни, ни документы, доказывающие то, что я сотрудник многих солидных изданий, нисколько не действовали на этих господ, и спальные места получали какие-то жирные купчихи и здоровенные упитанные молодые франты. Две недели я прожил с женой в Женеве, тщетно добываясь права вернуться на родину». Не добившись своего, Чулков вынужден был вернуться в Швейцарию и поселиться в туманной Сьерре, откуда он все-таки перебрался, получив солидный гонорар, в Кран-Монтану. В январе 1915 года писатель покинул Швейцарию и вернулся на родину.

Недалеко от Сьерра, в долине речки Дала (*Dala*), находится еще один знаменитый курорт, тоже связанный с творчеством Набокова, — Лейкербад (*Leukerbad*). Здесь Набоковы живут летом 1963 года в отеле «Бристоль» (*Bristol*). Сюда приезжают они к сы-

ну, который проходит лечение в ревматологической клинике. Эти места найдут отражения в «Аде», в частности лес Пфинвальд (Pfinwald) около Зустена (Susten).

После Брига дорога поворачивает на Симплон. Об этом средневековом городке, перечисление достопримечательностей которого в путеводителе по культурным местам Швейцарии занимает полстраницы, русские путешественники устами госпожи Курдюковой безоговорочно заявляют:

Бриг же сам неживописен,
Ничего в нем нет, зи виссен,
Что могло бы эските
Хоть эн пе курьезите.

С другой стороны, восторги русских путешественников от картины, открывающейся с Симплонского перевала, подытоживает Достоевский, проехавший здесь в Италию: «Самое пылкое воображение не представит себе, что это за живописная горная дорога».

Во времена Достоевского переезд через перевал уже представляет собой скорее туристический аттракцион, в то время как, например, для проехавшего здесь почти за полвека до этого Глинки путешествие по горам еще было связано с опасностью. Композитор направляется через Базель, Берн, Лозанну и Женеву в Италию со своим спутником — юным тенором Николаем Ивановым, который едет учиться у итальянских певцов. Отметим, что обратно на родину Иванов так и не вернется, будет с успехом выступать на оперных сценах Италии, в Париже, Лондоне и пользоваться там изрядной популярностью.

В записках Глинки находим описание, как путешественники в то время пересекали перевал. «Когда мы находились почти у вершины Симплона, кондуктор выпустил нас из дилижанса и позволил пройти пешком самую крутую часть пути». В дилижансе рядом с русскими сидел молодой англичанин, ехавший в Корфу. «Когда же мы находились на самой вершине и надлежало нам снова сесть в дилижанс, — продолжает Глинка, — англичанина не нашли. Начали искать и звать его и наконец увидели его сидящего спокойно на обломке утеса, отделенного глубокой трещиной от главной каменной массы, нависшей над ужасной пропастью. «Что вы делаете, сударь?» — воскликнул кондуктор. «Я испытываю ощущение опасности», — хладно отвечал остро-

витянин. «Но разве вы не видите, что рискуете скатиться в пропасть?» — сказал кондуктор. «Именно потому, что я рискую, я и испытываю реальное ощущение опасности», — сказал англичанин и пошел на свое место». Может быть, не случайно, что именно англичане изобрели в этих горах альпинизм?

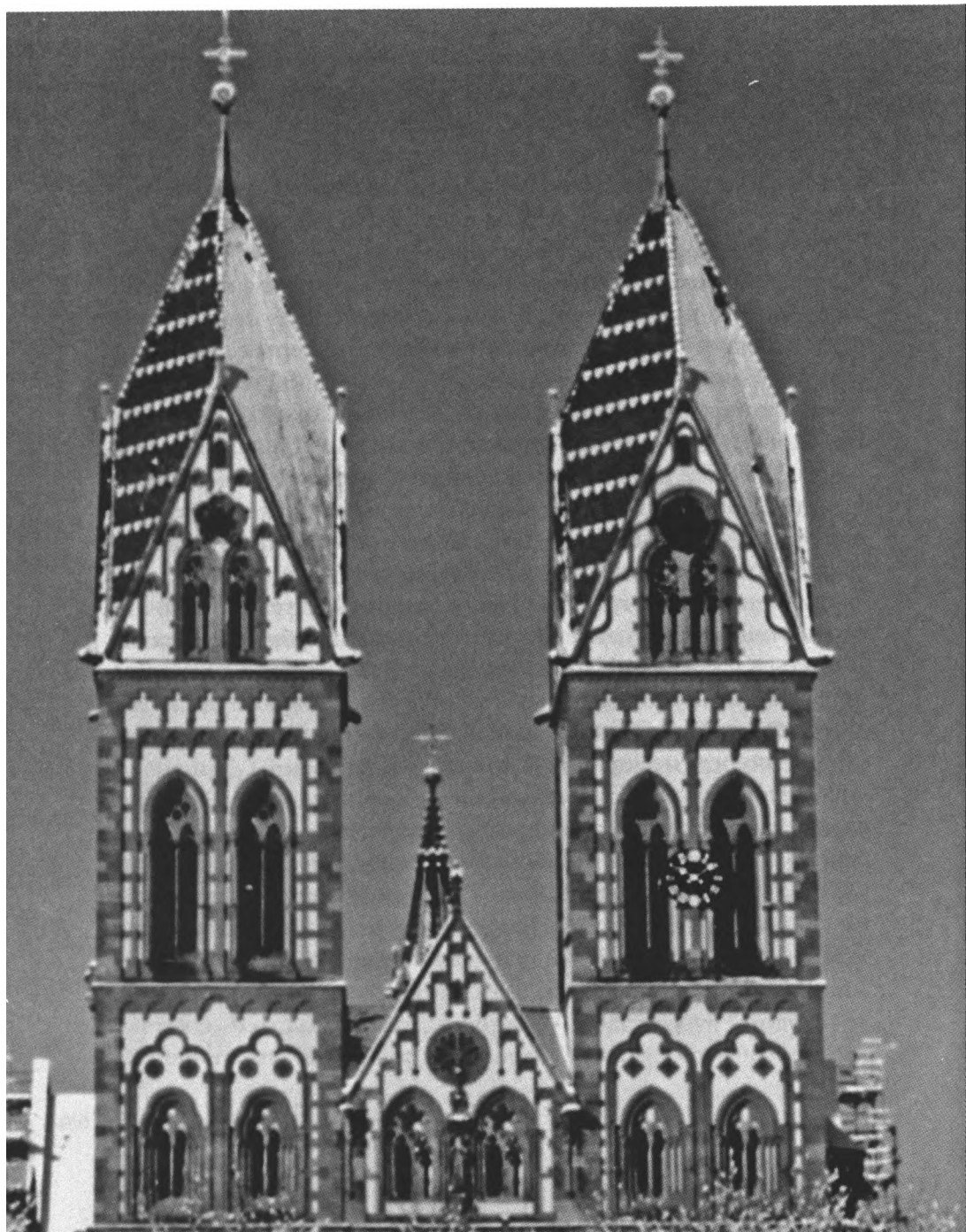
Красота Маттерхорна (Matterhorn), пирамидального символа Швейцарии, и Монте-Розы (Monte Rosa), которую Швейцарские Альпы делят с Итальянскими, заставила дрогнуть сердце даже далеко не сентиментального Герцена: «Я сошел с лошади и прилег на глыбу гранита, причаленную снежными волнами к берегу... Немая, неподвижная белизна, без всякого предела... легкий ветер приподнимал небольшую белую пыль, уносил ее, вертел... она падала, и снова все приходило в покой, да раза два лавины, оторвавшись с глухим раскатом, скрывались вдали, цепляясь за утесы, разбиваясь о них и оставляя по себе облако снега... Странно чувствует себя человек в этой раме — гостем, лишним, посторонним — и, с другой стороны, свободнее дышит и, будто под цвет окружающему, становится бел и чист внутри... серьезен и полон какого-то благочестия!»

Закончим главу о Валлийских горах еще одним упоминанием Набокова (в эти места писатель приезжает несколько раз).

Лето 1962 года Набоков с Верой проводит в Церматте (Zermatt), в отеле «Мон-Сервэн» (Hôtel Mon Cervin). Здесь догоняет его успех только что вышедшего «Бледного пламени» — писателя преследует по горам группа телевидения Би-би-си в стремлении снять его знаменитую охоту за бабочками на фоне Маттерхорна. В интервью английскому телевидению на вопрос, собирается ли он вернуться в Россию, Набоков отвечает: «Я никогда не вернусь, по той простой причине, что вся та Россия, которая нужна мне, всегда со мной: литература, язык и мое собственное русское детство. Я никогда не вернусь. Я никогда не сдамся».

Последний раз Набоков приезжает в Церматт летом 1974 года. Снова, как двенадцать лет до этого, останавливается в «Мон-Сервэне». Снова охотится за бабочками. Снова заполняет карточки. Он рисует силуэт Маттерхорна. У него получается пушкинский профиль.

XII



НА ЗАПАДЕ ШВЕЙЦАРИИ



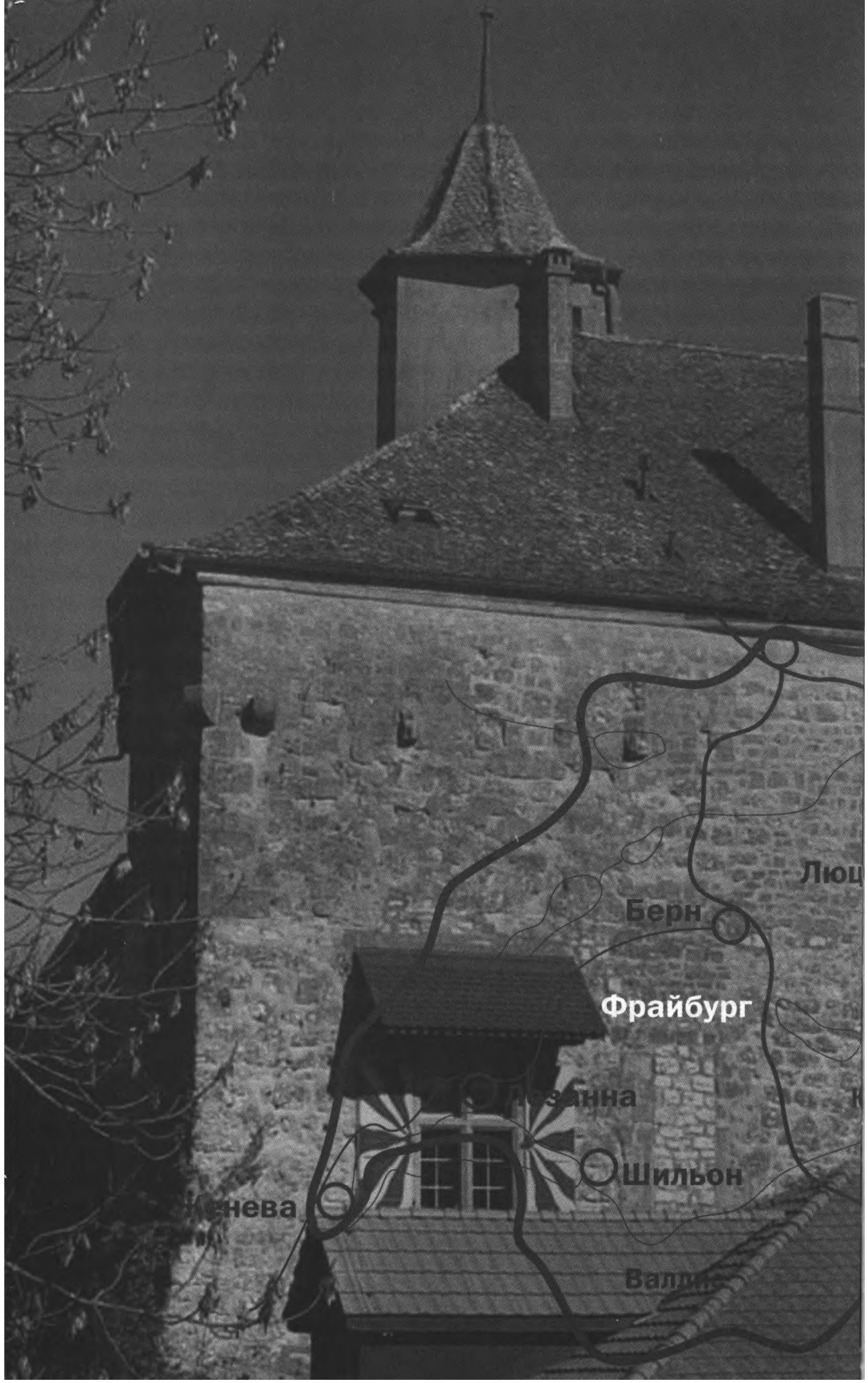
«Я стояла на деревянной скамеечке, сжав руки, закрыв глаза... Нет разницы – православная церковь, берег Ганга или католический собор, – люди везде молят о любви, о помощи ближним и покое. Я благодарила за все, что давалось мне, и просила милости и щедрости к детям. Никогда еще, никогда я не молилась так горячо, как в это пасхальное воскресенье во Фрибурге».



П.А.Кропоткин







Люц

Берн

Фрайбург

Гезанна

Шильон

Женева

Валлис

Рёшти – национальное швейцарское блюдо, распространенное в немецкой части страны. «Рёштиграбен» – ироническое название невидимой границы, отделяющей франкоязычные кантоны от тех, где говорят по-немецки. Разницу ментальностей, обычаев, самой атмосферы жизни давно подметили русские путешественники, пересекавшие этот своеобразный «ров». Так, например, в сатирической книге Николая Лейкина «Наши за границей», имевшей в дореволюционной России колоссальный успех, эти особенности отмечает пара из России, которая едет на поезде из Женевы в Цюрих. Жена, выйдя на станции за продуктами, обращает внимание на то, что все теперь говорят по-немецки.

«Глафира Семеновна, заметив изменение языка при покупке съестных предметов, начала будить мужа.

– Можешь ты думать, опять Неметчина началась, – говорила она, расталкивая его. – Повсюду немецкий язык и самые серьезные рожи. Пока был французский язык, рожи были веселые, а как заговорили по-немецки – все нахмурилось».

Город, лежащий на самой границе двух языков и вобравший в себя особенности двух культур, – Фрибур (Fribourg), или, по-немецки, Фрайбург (Freiburg).

«В маленьком средневековом городке время остановилось. Сбрасываемая в минуты пыль секунд превращалась в часы, недели, месяцы и годы, земля совершала свой путь вокруг солнца по заданной орбите, но в этом крошечном городке даже его песочные здания много веков прочно стояли на своем месте и никто, кроме меня, не царапал ногтями стены, высчитывая потенциальную затрату времен на разрушение целого города. Строили его, используя молассы утесов вдоль опоясывающей город реки Сарины, строили вольные каменщики, воздавая хвалу Великому Архитектору вселенной, но, быть может, уже тогда некоторые из них называли этим именем Великого Разрушителя, во всяком случае он участвует в истории города, теща жителей чернокнижьем, соблазнительными происшествиями, являясь то под личиной мелкого беса, то как Советник и Протектор мэтр Леонар; и лишь раз в год – Люцифером на черной мессе своих адептов. Город – сон, город – наваждение, несокрушимый бастион католицизма – 50 монастырей, церквей и часовен, 10 источников и 29 фонтанов. И множество котов с наглыми, внимательными глазами. Но,

может быть, это ведьмы обернулись днем котами, а ночью поднимаются к месяцу на метелках, спеша на шабаш?»

Эти замечательные строки, передающие своеобразную атмосферу одного из самых красивых городов Швейцарии, взяты из книги воспоминаний писательницы и художницы Валерии Даувальдер «Жизнь — любовь», русской швейцарки, эмигрировавшей в юности из России и много лет прожившей во Фрибуре.

Фрибур прежде всего известен своим собором Св. Николая. Сюда специально приезжали послушать знаменитый орган.

В Фрибурге есть мост висящий
И орган один, гремящий
Так прекрасно, что слеза
Навернется на глаза,
И мороз пойдет по коже,
Как слушаешь... —

восхищается г-жа Курдюкова.

В 1821 году посещает Фрибур во время своего путешествия по Швейцарии Василий Жуковский. «Дорога от Веве до Фрейбурга чрезвычайно гориста, — описывает поэт свои впечатления, — и легко можно слететь в глубокую пропасть с повозкою и лошадьми. Я не мог порядочно осмотреть Фрейбурга, видел только кафедральную церковь, самую высокую в Швейцарии, и Муртенскую липу, посаженную в день победы над Карлом

Ф.И.Тютчев

Эрнестина Тютчева



Смелым; глаза мои, разболевшиеся от зноя, помешали мне бродить по улицам».

Венчаться в этот город приезжает из Турина в июле 1839 года овдовевший Тютчев со своей невестой Эрнестиной. Ввиду различия вероисповеданий необходимо было заключить брак и по католическому обряду. Однако русский дипломат не получает разрешения от фрибурского епископа. Обвенчаются они по православному обряду при русской миссии в Берне, а по католическому — в Германии, в Констанце.

Поэт будет во Фрибуре еще неоднократно. В 1862 году, путешествуя с Денисьевой и детьми от нее по этим местам, Тютчев напишет дочери Дарье: «...Во Фрибурге орган, слышанный мною 22 года назад, преисполнил меня такой грустью, какую не выразить ни единым человеческим словом. Ах, дочь моя, и зачем только люди доживают до старости...»

Гражданином кантона Фрибур был Александр Герцен. Почему он натурализовался именно в Швейцарии, писатель объясняет так: «...Кроме швейцарской натурализации, я не принял бы в Европе никакой, ни даже английской; поступить добровольно в подданство чье бы то ни было было для меня противно. Не скверного барина на хорошего хотел переменить я, а выйти из крепостного состояния в свободные хлебопашцы. Для этого предстояли две страны: Америка и Швейцария». Герцен признается далее: «Американская жизнь мне антипатична». Для него Америка — это «страна забвения родины». Забывать родину Герцен не собирался, напротив, в его планы входило будить Россию «Колоколом». «Итак, оставалось вступить в союз с свободными людьми Гельветической конфедерации».

Приезжая во Фрибур, Герцен останавливался в гостинице «Церингер Хоф» (Züringer Hof), существующей и поныне (Auberge de Zaehringen, rue de Zaehringen, 13). Здесь же останавливался, кстати, и Бакунин. В этой гостинице 1 августа 1852 года Герцен пишет свое завещание, которое заверено в качестве свидетеля хозяином отеля, и оставляет его у фрибурского нотариуса.

На относительную непопулярность Фрибура у русских на рубеже веков влияет тот факт, что местный университет, основанный лишь в 1889 году, не принимал до 1904 года учащихся-женщин вообще, а затем возможность учиться здесь получили лишь швейцарки, так что русская колония, как это было в других университетских городах Швейцарии, здесь не образовалась.

Отметим еще одного человека с удивительной судьбой, зашедшего некогда во фрибурский собор. «26 марта, в воскресенье, была католическая пасха... Я пошла в собор Сен-Николя... Гремело могучее дыхание органа, серебряной рекой лился хор, вокруг было полно цветов, горели свечи... Все стояли на коленях. Я тоже молилась, потому что простая молитва рвалась из моего сердца: Благодарю Тебя, Господи!..»

Во Фрибуре, в католическом монастыре, найдет временное прибежище, пустившись в бесконечное бегство от своего прошлого, дочь тирана. «В моей комнате, выходящей на реку и необъятные дали, было тихо, — напишет Светлана Аллилуева в своем «Швейцарском дневнике». — Я начала работать — мне так хотелось писать. Я писала о Пастернаке — и к Пастернаку, о великом поэте, о докторе Живаго, о моих детях. Это был плач — есть такая форма в фольклоре, но не в литературе, — и ничего сейчас не получалось у меня, кроме этого безудержного плача... Я поняла наконец со всей беспощадной реальностью, что сама навсегда разрываю все нити любви и привязанности».

Недалеко от Фрибура, в местечке Аванш (Avenches), находятся знаменитые развалины римского города, издавна привлекавшие русских туристов. Осмотр античных достопримечательностей произвел, например, на Павла Петровича 6 сентября 1782 года такое сильное впечатление, что наследник не хотел уходить отсюда, хотя в тот вечер его на протяжении нескольких часов ожидали в соседнем Муртене (Murten) для торжественной встречи официальные представители Берна.

Карамзина античные руины заставляют задуматься о бренности человеческого: «Далее за Муртеном представились мне развалины Авентикума, древнего римского города, — развалины, состоящие в остатке колоннад, стен, водяных труб и проч. Где великолепие сего города, который был некогда первым в Гельвеции? Где его жители? Исчезают царства, города и народы — исчезнем и мы, любезные друзья мои!.. Где будут стоять гробы наши? — Настала ночь, взошла луна и осветила могилу тех, которые некогда ликовали при ее свете».

Муртен, расположенный на берегу одноименного озера, известен в швейцарской истории тем, что здесь в 1476 году состоялась битва, в которой гельветы разгромили войско бургундского короля Карла Смелого. Памятник (Schlachtendenkmal), напо-

минавший об этом событии, служил второй, после развалин Аванша, местной достопримечательностью, привлекавшей путешественников. «Князь Северный», допоздна задержавшийся среди римских руин, прибывает в Муртен уже затемно. Из соседней деревни Мерье (Meuriez) ему приносят факелы, и при их свете Павел со своей свитой осматривает мрачный монумент, представлявший собой гору костей погибших в сражении воинов. После осмотра путешественники переночевали в Муртене в гостхаузе «Шварцер Адлер» (Schwarzer Adler, Hauptgasse, 45) и на следующий день отправились в Берн.

Карамзин, ехавший по этой дороге по направлению, противоположному своему будущему монарху, также делает остановку, чтобы посмотреть на памятник. «Проехав городок Муртен, кучер мой остановился и сказал мне: «Хотите ли видеть остатки наших неприятелей?» — «Где?» — «Здесь, на правой стороне дороги». — Я выскочил из кареты и увидел за железною решеткою огромную кучу костей человеческих... Я затрепетал, друзья мои, при сем плачевном виде нашей тленности. Швейцары! Неужели можете вы веселиться таким печальным трофеем?» Чтобы освободиться от мрачного впечатления, москвич развлекает себя чтением многочисленных надписей, оставленных путешественниками. Его комментарий: «Где не обнаруживается склонность человека к распространению бытия своего и слуха о нем? Для сего открывают новые земли; для сего путешественник пишет имя свое на гробе бургундцев. Многие в память того, что они посещали этот гроб, берут из него кости; я не хотел следовать их примеру».

Памятник просуществует недолго. «Над костями погибших в битве было здание, — замечает Александр Тургенев, — но французы в 1798 году разрушили его».

Прогуливался по улочкам Муртена Герцен, направляясь в Шатель (Châtel), теперь Бург (Burg), деревню, в члены общины которой был он принят, на встречу со своими новыми согражданами. Приведем эту колоритную сцену братания русского аристократа со швейцарскими пахарями, описанную в «Былом и думах».

«Деревенька Шатель, близ Мора (Муртен), соглашалась за небольшой взнос денег в пользу сельского общества принять мою семью в число своих крестьянских семей... и я сделался из русских надворных советников — тягловым крестьянином сельца

Шателя, что под Муртенем... Послушавши знаменитые органы и проехавши по знаменитому мосту, как все смертные, бывшие во Фрибурге, мы отправились с добрым старичком, канцлером Фрибургского кантона, в Шатель... Возле дома старосты ждали нас несколько пожилых крестьян и впереди их сам староста, почтенный, высокого роста, седой и хотя несколько сторбившийся, но мускулистый старик. Он выступил вперед, снял шляпу, протянул мне широкую, сильную руку и, сказав: «Lieber Mitburger», произнес приветственную речь на таком германо-швейцарском наречии, что я ничего не понял. Приблизительно можно было догадаться, что он мог мне сказать, а потому, да еще взяв в соображение, что если я скрыл, что не понимаю его, то и он скроет, что не понимает меня, я смело отвечал на его речь:

— Любезный гражданин староста и любезные шательские сограждане! Я прихожу благодарить вас за то, что вы в вашей общине дали приют мне и моим детям и положили предел моему бездомному скитанию. Я, любезные граждане, не за тем оставил родину, чтоб искать себе другой: я всем сердцем люблю народ русский, а Россию оставил потому, что не мог быть немым и праздным свидетелем ее угнетения; я оставил ее после ссылки, преследуемый свирепым самовластием Николая. Рука его, достававшая меня везде, где есть король и господин, не так длинна, чтоб достать меня в общине вашей! Я спокойно прихожу под защиту и кров ваш, как в гавань, в которой я всегда могу найти покой. Вы, граждане Шателя, вы, эти несколько человек, вы могли, принимая меня в вашу среду, остановить занесенную руку русского императора, вооруженную миллионом штыков. Вы сильнее его! Но сильны вы только вашими свободными вековыми республиканскими учреждениями! С гордостью вступаю я в ваш союз! И да здравствует Гельветическая республика!»

Староста приглашает русского согражданина к себе и угощает вином, которое оказывается столь крепким, что сражает россиянина. «Через год, проездом изерна в Женеву, я встретил на одной станции моратского префекта.

— Знаете ли вы, — сказал он мне, — чем вы заслужили особенную популярность наших шательцев?

— Нет.

— Они до сих пор рассказывают с гордым самодовольствием, как новый согражданин, выпивши их вина, проспал грозу и доехал, не зная как, от Мора до Фрибурга, под проливным дождем.

Итак, вот каким образом я сделался свободным гражданином Швейцарской Конфедерации и напился пьян шательским вином!» — заключает Герцен, после получения швейцарского паспорта уехавший в Англию издавать «Колокол».

Спустимся вдоль «Рёштиграбена» на юг и пройдемся немного вместе с Толстым и Сашей Поливановым, поднявшимися в 1857 году от Женевского озера на Коль-де-Жаман. Первоначально Толстой планировал отправиться на Фрибур, но меняет план и идет пешком со своим юным спутником через Монбовон (Montbovon) и Шато д'Э (Château d'Oex) на Интерлакен.

Из дневника 1857 года: «Montbovon живописно открылся нам под горой, на довольно большой речке, с большим городского фасада домом гостиницы, католической церковью и большой дорогой шоссе, которую я, признаюсь, увидел не без удовольствия, после дороги, по которой мы шли нынешнее утро».

Толстой обращает внимание на разницу в благосостоянии швейцарских кантонов. «Не дошли мы до гостиницы, как особенности католического края тотчас же высказались: грязные, оборванные дети, большой крест на перекрестке перед деревней, надписи на домах, уродливо вымазанная статуэтка мадонны над колодцем, и один пухлый старик и мальчик в аглицкой болезни попросили у меня милостыню».

В гостинице русским гостям прислуживает «хорошенькая горничная из Берна», которая, «принарядившись и напомадившись для нашего приезда, усиливалась говорить с нами по-французски и без надобности забегала в нашу комнату». Однако вывод писатель делает из этой ситуации чисто толстовский: «Желательно бы было, чтобы к нам не переходил в Россию обычай иметь женскую прислугу в гостиницах. Я не гадлив, но мне лучше есть с тарелки, которую, может быть, облизал половой, чем с тарелки, которую подает помаженная плешивящая горничная, с впалыми глазами и масляными мягкими пальцами. Госпожу звали Элиза, но Саша, смотревши на картинки в зале, изображавшие историю Женевьевы, брошенной в лес и вскормленной ланью, назвал ее Женевьевкой, потом Женевесткой, потом Женеверткой, и слово Женевертка заставляло его смеяться до упаду. Кроме того, с этого дня Женевертка стала для нас словом, означавшим вообще трактирную служанку».

Именно здесь Толстому приходит мысль изменить предполагавшийся маршрут путешествия: «Проснувшись, я порадовался

по карте, как далеко мы отошли от Монтрё, и мне пришла мысль, что, так как мы стоим на дороге, ведущей из Фрибурга в Интерлакен, идти лучше любоваться горной природой в Оберланд, чем по пыльному шоссе идти в Фрибург, где я мог слушать знаменитый орган на возвратном пути».

Толстого, как в свое время Карамзина, смешит обычай делать надписи на домах: «Перед выступлением я прошелся по деревне. Дома большей частью были большие, красивые, в каждом жило по несколько семейств; но одежда и вид народа ужасно бедны. На нескольких домах я прочел надписи вроде следующей: «*Cette maison a été battie par un tel, mais ce n'est rien en comparaison de celle que nous réserve le Seigneur. Oh mortel! mon ombre passe avec vitesse et ma fin approche avec rapidité!*», — и еще раз «*Oh mortel!*» (дом сей построен имяреком, но он есть ничто в сравнении с тем жилищем, которое уготовил нам Господь. О смертный! тень моя проходит поспешно, и конец мой близится стремительно!). Что за нелепое соединение невежественной гордости, христианства, мистицизма и тщеславной напыщенной болтовни», — заключает писатель.

Дальше путешественники следуют по течению реки Сарин (Sarine). «Мы приостановились на мосту, положив мешки на перила, чтобы они не тянули нам спины, и долго любовались Саринной, которая в этом месте через большие нагроможденные друг на друга камни довольно крутым уступом спускается вниз». Знаменитый Рейнский водопад оставляет Толстого более чем равнодушным, о падении же обыкновенной горной речки он пишет: «Этот водопад был прекрасен».

В следующем селении, Шато д'Э, происходят учения швейцарской милиции. «Подходя к Château d'Oex, мы встречали на каждом шагу пьяных солдат, которые буйными развратными толпами шли по дороге...» Эта встреча служит поводом недавнему севастопольскому офицеру высказать в дневнике мысли об армии. «На площади, перед большим домом, на котором было написано: «*Hôtel de ville*» и из которого раздавались отвратительные фальшивые звуки роговой военной музыки, были толпы военных — все пьяные, развращенные и грубые. Нигде, как в Швейцарии, не заметно так резко пагубное влияние мундира. Действительно, вся военная обстановка как будто выдумана для того, чтобы из разумного и доброго создания — человека сделать бессмысленного злого зверя. Утром вы видите швейцарца в своем

коричневом фраке и соломенной шляпе на винограднике, на дороге с ношей или на озере в лодке; он добродушен, учтив, как-то протестантски искренне кроток. Он с радушием здоровается с вами, готов услужить, лицо выражает ум и доброту. В полдень вы встречаете того же человека, который с товарищами возвращается из военного сбора. Он наверно пьян (ежели даже не пьян, то притворяется пьяным): я в три месяца, каждый день выдав много швейцарцев в мундирах, никогда не видал трезвых. Он пьян, он груб, лицо его выражает какую-то бессмысленную гордость или, скорее, наглость. Он хочет казаться молодцом, расквашивается, махает руками, и все это выходит неловко, уродливо. Он кричит пьяным голосом какую-нибудь похабную песню и готов оскорбить встретившуюся женщину или сбить с ног ребенка. А все это только оттого, что на него надели пеструю куртку, шапку и бьют в барабан впереди.

Я не без страха прошел через эту толпу с Сашей...»

Шато д'Э к началу XX века станет курортным городком — сюда во время Первой мировой войны в 1915 году привезет Игорь Стравинский жену после родов, здесь ощутят они толчки землетрясения в итальянском Авеццано. В Шато д'Э композитор будет работать над оперой «Ренар». Жил композитор в отеле «Виктория» (Victoria).

Летом 1964 года приедет в эти места охотиться на бабочек Набоков. Причем приедет на поезде — жена Вера будет в больнице, а сам он не водил автомобиль. Это место — прототип городка Экс, места рождения Вэна в «Аде».

От «Рёштиграбена» отправимся на запад, в глубинку франкофонской Швейцарии, к озерам Биенн (Lac de Biemme) и Нешатель (Lac de Neuchâtel).

Биеннское (или Бильское) озеро привлекало русских путешественников тем, что некогда на острове Святого Петра жил отшельником Руссо. Проехать мимо, не поклонившись памяти философа и писателя, Карамзин не мог. «Недавно был я на острове Св. Петра, где величайший из писателей осьмого-надесять века укрывался от злобы и предрассуждений человеческих, которые, как фурии, гнали его из места в место. День был очень хорош. В несколько часов исходил я весь остров и везде искал следов женеvского гражданина и философа: под ветвями буков и каштановых дерев, в прекрасных аллеях мрачного леса, на

лугах поблекших и на кремнистых свесах берега». Притяжение знаменитого женева столь велико, что русскому почитателю чудится на берегу его призрак. «Ноги мои устали. Я сел на краю острова. Бильское озеро светлело и покоилось во всем пространстве своем; на берегах его дымились деревни; вдали видны были городки Биль и Нидау. Воображение мое представило плывущую по зеркальным водам лодку, зефир веял вокруг ее и правил ею вместо кормчего. В лодке лежал старец почтенного вида, в азиатской одежде; взоры его, устремленные в небеса, показывали великую душу, глубокомыслие, приятную задумчивость. Это он, он — тот, кого выгнали из Франции, Женевы, Нешателя — как будто бы за то, что небо одарило его отменным разумом; что он был добр, нежен и человеколюбив!»

Из этой части страны происходит швейцарец, ставший известным в России благодаря знаменитой фразе: «Все Жомини да Жомини, а о водке ни полслова!» Генрих Вениаминович Жомини прославился как военный теоретик, обобщивший опыт наполеоновских войн. В расположенном между Фрибуром и Нешательским озером городке Пайерн (Payerne), где родился Жомини, существует музей, посвященный русскому генералу. Выйдя в отставку, он вернулся из России на родину и провел долгий остаток дней — он дожил до 90 лет — в Лозанне, служа там наряду с Лагарпом живой достопримечательностью для русских путешественников. Отметим еще, что и сын генерала, Александр Генрихович Жомини, связал свою жизнь с Россией и служил по дипломатической части.

Жан-Жак Руссо



В эти места часто приезжали отдыхать учившиеся в Швейцарии студенты из России. Так, летом 1873 здесь происходит знаменательное событие в жизни будущей народоволки Веры Фигнер. Она вспоминает, как приехала сюда с сестрой Лидией: «Мы поселились в местечке Лютри на берегу Невшательского озера. В один из поэтических швейцарских вечеров во время уединенной прогулки среди виноградников сестра в выражениях, в высшей степени трогательных, поставила мне вопросы: решилась ли я отдать все свои силы на революционное дело? В состоянии ли я буду в случае нужды порвать всякие отношения с мужем? Брошу ли я для этого дела науку, откажусь ли я от карьеры? Я отвечала с энтузиазмом. После этого мне было сообщено, что организовано тайное революционное общество, которое думает действовать в России; мне были прочтены устав и программа этого общества, и, после того как я выразила согласие со всеми пунктами, я была объявлена его членом. Мне был тогда 21 год».

В горах Юра (Jura), возвышающихся над Нешательским озером, разбросаны городки, жители которых издавна занимались производством часов. Забавным образом именно юрские часовщики, люди, от которых сама профессия, казалось бы, требует предельной педантичности и любви к порядку, становятся главной опорой в Швейцарии Бакунина и Кропоткина, именно здесь находит отклик их страстная проповедь анархизма. В городках вокруг Шо-де-Фон (La Chaux-de-Fonds) основывает Бакунин в пик марксистам свою Юрскую федерацию. О силе воздействия Бакунина на людей пишет в «Записках революционера» Кропоткин. После переселения Бакунина в Тессин «работу, которую он начал в Юрских горах, продолжали сами юрцы. Они часто поминали «Мишеля», но говорили о нем не как об отсутствующем вожде, слово которого закон, а как о дорогом друге и товарище. Поразило меня больше всего то, что нравственное влияние Бакунина чувствовалось даже сильнее, чем влияние его как умственного авторитета. <...> Только раз я слышал ссылку на Бакунина как на авторитет, и это произвело на меня такое сильное впечатление, что я до сих пор помню во всех подробностях, где и при каких обстоятельствах это было сказано. Несколько молодых людей болтали в присутствии женщин не особенно почтительно о женщинах вообще.

— Жаль, что здесь нет Мишеля! — воскликнула одна из присутствовавших. — Он бы вам задал! — И все примолкли.

Они все находились под обаянием колоссальной личности борца, пожертвовавшего всем для революции, жившего только для нее и черпавшего из нее же высшие правила жизни».

Сам Кропоткин впервые приезжает в эти места в 1872 году по рекомендации женевских бакунистов. Здесь он знакомится с лидерами Юрской федерации, и в частности с Джемсом Гильомом, который станет впоследствии его другом и соратником. Одному из центров швейцарского анархизма — деревне Сонвилье (Sonvilier) суждено сыграть ключевую роль в становлении русского революционера: «Из Невшателя я поехал в Сонвилье, — вспоминает Кропоткин. — Здесь, в маленькой долине среди Юрских гор, разбросан ряд городков и деревень, французское население которых тогда исключительно было занято различными отраслями часового дела. Целые семьи работали сообща в мастерских». Гость из России знакомится с жизнью часовщиков, посещает их собрания, на которых обсуждается будущее социалистическое устройство Швейцарии. «Сознание полного равенства всех членов федерации, независимость суждений и способов выражения их, которые я замечал среди этих рабочих, а также их беззаветная преданность общему делу еще сильнее того подкупали мои чувства. И когда, проживши неделю среди часовщиков, я уезжал из гор, мой взгляд на социализм уже окончательно установился. Я стал анархистом».

П.А.Кропоткин



Через несколько лет, в 1877 году, пройдя опыт революционной борьбы в России и тюремное заключение, совершив свой сенсационный побег из Петропавловской крепости, Кропоткин снова приезжает в Швейцарию и устраивается в Шо-де-Фоне, часовой столице Юрских гор. Некогда сюда ездила наслаждаться природой княгиня Дашкова, написавшая в своих воспоминаниях: «Поездка наша была весьма приятна». Теперь здесь должен был зарабатывать себе на хлеб другой русский аристократ. Для добывания средств к существованию князь поступает рабочим в одну из местных часовых мастерских и принимается изучать часовое мастерство. В письме своему знакомому Полю Робену Кропоткин пишет: «...Я ни ученик, ни мастер... Над моей затеей смеются (часовое мастерство нельзя изучить в два-три месяца...), я много работаю, да притом надо еще находить время писать статьи для наших изданий».

Сам городок не очень нравится Кропоткину, но революционеру важнее близость к агитируемым массам: «Из всех известных мне швейцарских городов Шо-де-Фон, быть может, наименее привлекательный, — читаем в «Записках революционера». — Он лежит на высоком плоскогории, совершенно лишенном растительности, и открыт для пронизывающего ветра, дующего здесь зимой. Снег здесь выпадает такой же глубокий, как в Москве, а тает и падает он снова так же часто, как в Петербурге. Но нам было важно распространять наши идеи в этом центре и придать больше жизни местной пропаганде...»

О своей революционной работе в Шо-де-Фоне Кропоткин пишет: «Для меня началась жизнь, полная любимой деятельности. Мы устраивали многочисленные сходки, для которых сами разносили афиши по кафе и мастерским. Раз в неделю собирались наши секции, и здесь поднимались самые оживленные рассуждения. Отправлялись мы также проповедовать анархизм на собрания, созываемые политическими партиями. Я разъезжал очень много, навещая другие секции, и помогал им».

Предпринимают швейцарские анархисты под руководством русского князя и боевые акции. Из Шо-де-Фона, например, отправляется 1 мая 1877 года отряд часовщиков в Берн, для участия в запрещенной демонстрации, кончившейся столкновением с полицией.

Планируется анархистами вооруженное выступление и в соседнем местечке Сент-Имье (St.Imier), но, к счастью, все обходится

мирно. После первомайских беспорядков в Берне, рассказывает Кропоткин, «бернское правительство воспретило красное знамя во всем кантоне. Тогда Юрская федерация решила выступить с ним, несмотря на все запрещения, в Сент-Имье, где должен был состояться наш годичный конгресс, и защищать его, в случае необходимости, с оружием в руках. На этот раз мы были вооружены и приготовились защищать наше знамя до последней крайности. На одной из площадей, по которым мы должны были пройти, расположился полицейский отряд, чтобы остановить нашу процессию, а в соседнем поле взвод милиции упражнялся в учебной стрельбе. Мы хорошо слышали выстрелы стрелков, когда проходили по улицам города. Но когда наша процессия появилась под звуки военной музыки на площади и ясно было, что полицейское вмешательство вызовет серьезное кровопролитие, то нам предоставили спокойно идти. Мы, таким образом, беспрепятственно дошли до зала, где и состоялся наш митинг. Никто из нас особенно не желал столкновения; но подъем, созданный этим шествием в боевом порядке, при звуках военной музыки, был таков, что трудно сказать, какое чувство преобладало среди нас, когда мы добрались до зала: облегчение ли, что боевой схватки не произошло, или же сожаление о том, что все обошлось так тихо. Человек — крайне сложное существо».

Новые поколения русских революционеров также не оставляют своим вниманием этот уголок Швейцарии. В местечке Шарбоньер (Charbonnières), почти на границе с Францией, на берегу Лак-де-Жу (Lac de Joux), встречаются в августе 1907 года «отцы» эсеровской Боевой организации — Савинков, Гершуни и Азеф. Останавливаются русские террористы напротив станции в пансионе «Дю-Лак» (Pension du Lac). На повестке дня совещания — вопрос о продолжении террора. По мнению Савинкова, террор в том виде, как он был, исчерпал себя — настало время технических усовершенствований. «Я утверждал, — вспоминает он в «Записках террориста», — что единственным радикальным решением вопроса остается, по-прежнему, применение технических изобретений. Значит, необходимо, во-первых, поддерживать предприятие Бухало, и, во-вторых, изучить минное и саперное дело, взрывы на расстоянии и т.п.».

«Предприятие Бухало» — еще одна авантюра великого провокатора, имевшая результатом отвлечение БО от проведения

терактов в России. Речь идет о летательном аппарате, который современным языком можно было бы назвать бомбардировщиком дальнего радиуса действия.

В январе 1907 года Азеф рассказывает Савинкову, что «некто Сергей Иванович Бухало, уже известный своими изобретениями в минном и артиллерийском деле, работает в течение 10 лет над проектом воздухоплавательного аппарата, который ничего общего с существующими типами аэропланов не имеет, и решает задачу воздухоплавания радикально: он подымается на любую высоту, опускается без малейшего затруднения, подымает значительный груз и движется с максимальной скоростью 140 километров в час. Бухало по убеждениям скорее анархист, но он готов отдать свое изобретение всякой террористической организации, которая поставит себе целью царевубийство. Он, Азеф, виделся с ним в Мюнхене, рассмотрел чертежи, проверил вычисления и нашел, что теоретически Бухало решил задачу, что же касается конструктивной ее части, то в этом и состоит затруднение».

В письме Николаю Чайковскому из Мюнхена в декабре 1906 года окончивший курс с дипломом инженера Азеф сообщает: «На целую неделю я зарылся самостоятельно в теорию предмета, просиживая в библиотеке по 8 часов в сутки. Успел порядочно познакомиться и вспомнить старинку — приятно было работать. Считаю изобретение гениальным. <...> Столь важная для человечества задача решена. Теперь все дело в реальном осуществлении».

Гений провокации был плохим инженером. А может, Азеф и понял невозможность осуществления проекта и именно поэтому отправил БО по ложному пути — с целью затратить как можно более времени и средств, тем более что финансирование «бомболета» осуществлялось через него и часть средств осела на его личных счетах.

«У Бухало нет достаточно средств для того, чтобы поставить собственную мастерскую и закупить необходимые материалы, — продолжает рассказ Савинков. — Средства эти нужно достать: если действительно будет построен такой аппарат, то царевубийство станет вопросом короткого времени». Первоначальная смета проекта составляет 20 тысяч. «Азеф тут же развил план террористических предприятий с помощью аппарата Бухало. Скорость полета давала возможность выбрать отправную точку на много сот километров от Петербурга, в Западной Европе — в Швеции, Норвегии, даже в Англии. Подъемная сила позволяла сделать

попытку разрушить весь Царскосельский или Петергофский дворец. Высота подъема гарантировала безопасность нападающих. Наконец, уцелевший аппарат или, в случае его гибели, вторая модель могли обеспечить вторичное нападение. Террор действительно поднимался на небывалую высоту».

Из предприятия Бухало ничего не выходит, а до разоблачения Азефа оставались считанные месяцы.

Традиции революционной пропаганды среди швейцарских часовщиков продолжают русские социал-демократы, хотя и с еще меньшим успехом. В Шо-де-Фоне поселяется одессит Александр Абрамович. Приехав молодым человеком, но уже партийцем со стажем, в Швейцарию, Абрамович сперва поступает в Женевский университет, но скоро бросает учебу и устраивается рабочим на часовой завод в Шо-де-Фоне. Дом, где жил секретарь юрской секции большевиков, – улица Монтань, 38-д (rue de la Montagne). В годы Первой мировой войны Абрамович приглашает в Шо-де-Фон для чтения доклада Ленина, который весной 1917-го говорит здесь о «штурмующих небо коммунарах». Была в Шо-де-Фоне и специальная русская читальня – на улице Парк (rue Parc, 11).

Абрамович покинет Швейцарию в составе ленинской группы. Его опыт общения с рабочими Запада определит его дальнейшую деятельность. Будущий деятель Коминтерна в 1918 году, например, поедет под именем Альбрехта поднимать немцев во время Баварской республики на мировую революцию.

Отметим в заключение пребывание в этой части Швейцарии Сергея Эйзенштейна. В Ла-Сарра (La Sarraz), городке, известном своим средневековым замком, с 3 по 7 сентября 1929 года состоялся Международный конгресс независимого кино, организованный владелицей замка баронессой Хелен де Мандро (Helene de Mandrot). Свои владения покровительница тогда еще немой новой музыки предоставила участникам конгресса в полное распоряжение. Приехали делегации из двенадцати стран. Эйзенштейн, Александров и Тиссе, представлявшие советский кинематограф, прибыли из Цюриха, где снимали фильм об абортах, и внесли в течение докладов свой мятежный революционный дух.

Эйзенштейн заразил всех идеей прервать теоретические бедствия и снять экспромтом шуточный фильм «Штурм Ла-Сарра», что было с восторгом исполнено. Гости опустошили зал, где по

стенам висело средневековое музейное оружие. Армия независимых художников кино под командованием генерала Эйзенштейна, с рыцарским шлемом на голове и закутанного в простыню, изображавшую плащ полководца, брала штурмом крепость, чтобы освободить Киноискусство, которое символизировала дева в исполнении Жанин Буисонус (Janine Bouissonouse), скованная цепями и пустыми катушками от киноленты, что символизировало цепи коммерции.

Фильм не сохранился. По версии одного из участников, весь хэппенинг снимался незаряженной камерой. Как бы то ни было, освободить музу кино ни от коммерции, ни от идеологии Эйзенштейну не удалось — в конце жизни его будет ждать сказанное с грузинским акцентом после просмотра последней части «Ивана Грозного» короткое слово «смыть».

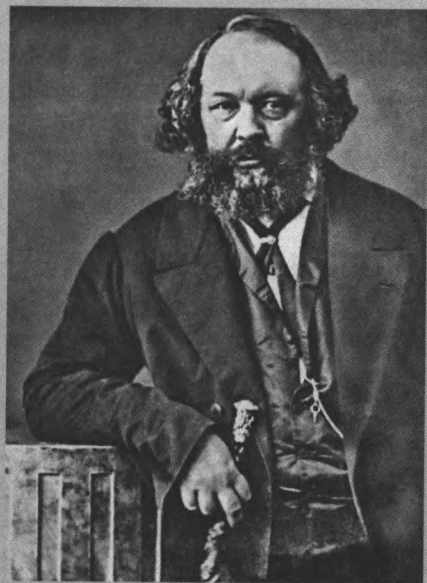
XIII



В поисках «Горы правды»

ТЕССИН





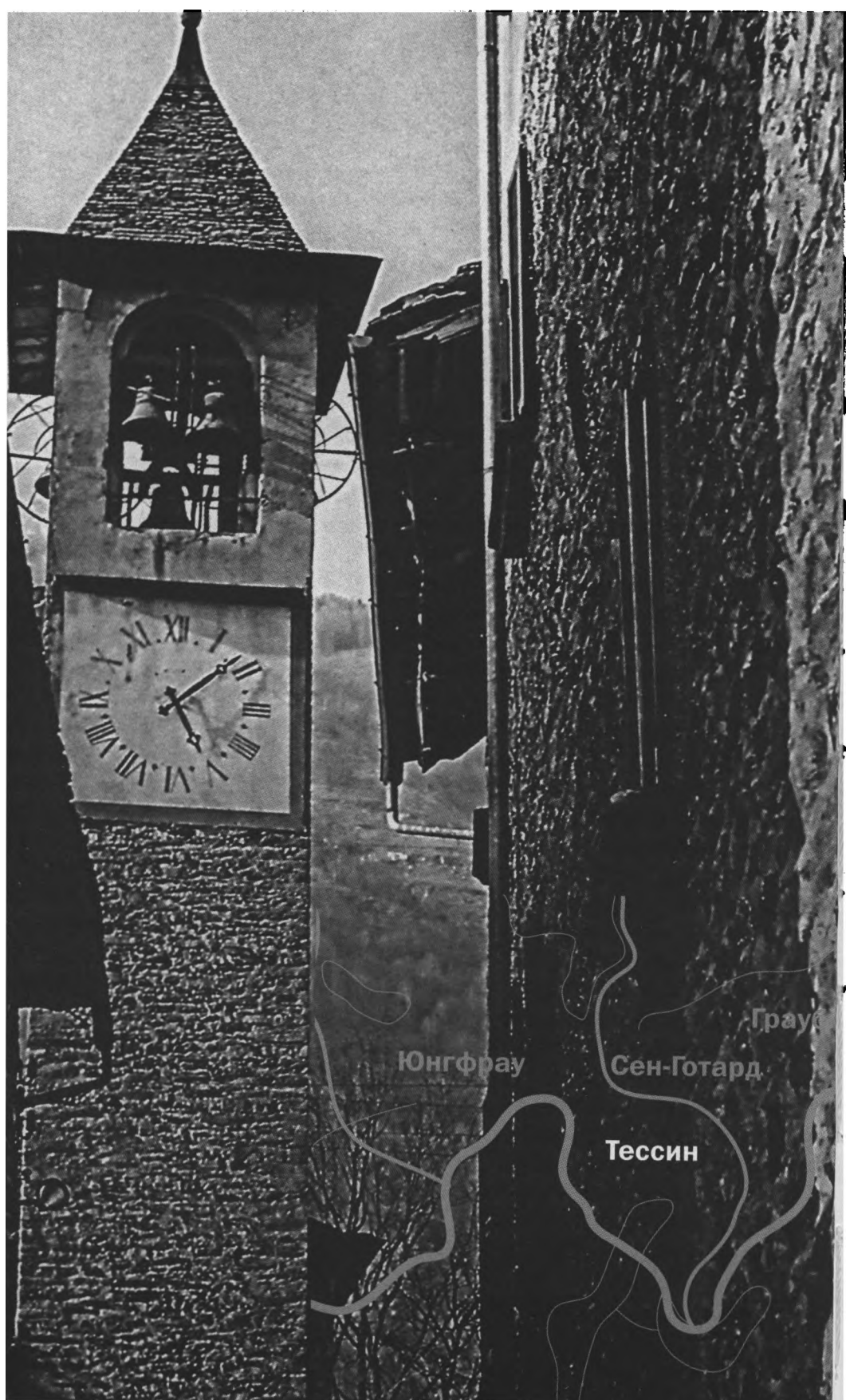
М.А.Бакунин



«Тессин теряется в Великом озере
(Lago Maggiore) – человек в вечности».

А.И.Тургенев. «Хроника русского»





Юнгфрау

Сен-Готард

Тессин

Граубюнден

«...Взошел на вершину Сен-Готардской дороги; неопи-санное зрелище природы, которой здесь нет имени; здесь она ни с чем знакомым не сходствует; кажется, что стоишь на таком месте, где кончается земля и начинается небо». Так описывает Жуковский переход в Тессин, итальянскую часть Швейцарии. «С одной стороны маленькое светлое озеро, не более дождевой лужи; из него тихо бежит ручей; с другой стороны такое же озеро и такой же тихий ручей: это Тессин и Рейса; здесь они навсегда разлучаются; отсюда бегут один на юг, другой на север, и в быстром течении разрывают гранитные горы. И с этого места начинаешь быстро спускаться к Айроло, имея вправо шумный Тессин, который скоро является во всем своем могуществе, и наконец близ самого Айроло образует каскад, удивительно живописный. На самой вершине уже увидел я спор светлого юга с угрюмым севером; со стороны Италии проглядывало голубое небо, со стороны Рейса клубились туманные облака; и небо сделалось ярко-лазурным, когда я, спустившись в Айроло, вдруг очутился посреди роскошной итальянской природы».

А вот как описывает этот путь в «Хронике русского» Александр Тургенев: «От Госпития начали мы спускаться по извилистой дороге, и довольно быстро, беспрестанно поворачивая то взад, то вперед; на поворотах привычные лошади бежали прытко над пропастьми и скалами. Снег становился реже, и сугробы мало-помалу исчезли: солнце проглянуло и разогнало туман... Мы спускаемся к долине, где укрывается Айрола. ...Все оживлено трудолюбием, все еще зелено, и вдали вы угадываете небо Италии; не только небо, природа и цвет ее, но и язык переменился: в Айроло говорят уже по-итальянски. Мы в Тессинском кантоне».

Айроло (Airolo) – первый городок после перевала. Здесь некогда произошла стычка авангарда русской армии под командованием Багратиона с французами. Это было 24 сентября 1799 году – к исходу дня суворовские солдаты были уже на Сен-Готарде.

Путешественники, прибывающие из северных кантонов в Тессин, обращают внимание не только на изменившийся язык, но и на прочие особенности южного менталитета. Например, Николай Греч, проехавший по этой дороге в Италию в 1841 году, записывает: «В Айроло мы ночевали. Здесь уже говорят по-итальянски, испорченным наречием. Исчезает немецкая опрятность, и начинается итальянская нечистота. <...> Каждую посу-

дину должно перемыть и перетереть, чтобы не съест или не выпить чего-нибудь лишнего».

Спускаясь дальше, попадаем в Фаидо (Faido), известный своим монастырем капуцинов. В нем, кстати, ночевал некогда Суворов. Остановился здесь на ночевку и Жуковский. «Этот вечер, — напишет потом поэт, — принадлежит к прелестнейшим в жизни. Какое разнообразие в зрелищах! Какое удивительное захождение солнца! По-настоящему солнце, посреди высоких гор, не всходит и не заходит для глаз. Оно еще высоко в небе, а для тебя его уже нет; но чудесно освещенные бока долин, но утесы, которые медленно угасают, долго еще говорят о невидимом. Я шел долиною Левантинскою; солнце уже было за горами; но Сен-Готар весь в огне стоял над Айроло и светил в долину, и с одной стороны на половине гор, сливающихся в одну стену, леса пылали; этот розовый пламень мало-помалу подымался, черная тень бежала за ним из долины, наконец одна светлая полоса, подобная огненной гриве на хребте горном, и та скоро исчезла, и звезды Италии загорелись... в каком прозрачном небе! С какою неизъяснимою яркостью!»

Еще ниже по течению реки Тессин, или Тичино (Ticino), расположена Беллинцона (Bellinzona) со своими знаменитыми крепостями, которые тоже имеют, пусть и косвенное, отношение к России. Русскому путешественнику сразу бросаются в глаза «московские» зубцы средневековых укреплений: в 1460 году сюда приезжал наблюдать за крепостными работами Аристотель Фирораванти, один из будущих строителей Московского Кремля.

Через Беллинцону шли в сентябре 1799 года русские войска, и здесь в течение двух дней была штаб-квартира Суворова. Полководец разместился в доме Ла-Червиа (La Cervia) на площади Нозетто (Piazza Nosetto).

Александр Тургенев так описывает Беллинцону 1840 года: «Сошел в город: улицы кривые, узкие, темные, словом, крепостные. <...> Зашел в церковь: великолепие храмов Италии уже показывается в колоннах, в мраморах, в живописи; но неизбежно следствие этого великолепия: неопрятность и рубища нищих, у сих храмов сидящих. Кто-то сказал, что в немецких кантонах Швейцарии свиньи опрятнее жителей Тессинского. Если судить по некоторым встречам... О нищенстве я не упоминаю: эта язва Италии и вообще земель католических давно уже явилась на пути моем во всем своем безобразии; в Беллинцоне она еще приметнее».

Греч вторит своему предшественнику: «Мы остановились в гостинице на почте, в неопрятных комнатах. Нам подали обед, до которого нельзя было дотронуться».

От Беллинцоны дорога спускается к озеру Лаго-Маджоре, красота которого редко кого из русских туристов оставляла равнодушным. Алексей Хомяков, например, проезжая этой дорогой в Италию в 1826 году, так был восхищен открывшимися видами и островами, что они вдохновили его на стихотворение «Isola Bella».

На берегу Лаго-Маджоре, недалеко от впадения в него Тессина, расположился Локарно (Locarno). Самым знаменитым русским жителем этого курортного городка является, безусловно, Михаил Александрович Бакунин. Объявление о продаже недвижимости в районе Локарно, опубликованное в 1873 году в «Журналь де Женев» (Journal de Geneve), привлекает внимание неистового врага частной собственности из-за тактических соображений. «Если он сделается собственником клочка земли, — излагает эти соображения в своих воспоминаниях бакунист Сажин-Росс, — тогда со стороны властей он будет неуязвим и его оставят в покое в Локарно. <...> Кроме того, итальянцы давно лелеяли мысль устроить на швейцарской территории поблизости итальянской границы склад оружия, типографию, убежище для лиц, преследуемых полицией».

Выбор виллы Бароната, живописно расположенной между Минусио (Minusio) и Тенеро (Tenero), не случаен. Эти места на бе-

А.И.Тургенев



регу самого большого итальянского озера Бакунин облюбывал уже раньше. Осенью 1869 года он покидает Женеву и живет в различных местах в Локарно и Муральто (Muralto). Переезд из «революционной» столицы русской Швейцарии в «провинциальный» Тичино анархист объясняет как необходимостью перемены климата, так и потребностью в спокойном месте жительства, где он не будет подвергаться преследованиям полиции. Не последнюю роль играют и вполне прозаические причины — итальянская дешевизна. Для Бакунина, с его «жизненным аппетитом» и неумением заработать хоть что-нибудь своим трудом, сокращение расходов было суровой необходимостью. 2 октября 1869 года он пишет Огареву: «Вообрази себе после сухой и тесно прозаической атмосферы Женевы Италия во всей ее приветливой теплоте, красоте и первобытной мило ребяческой простоте... Здесь кажется все вдвое дешевле, а приволье, а свобода, а простота и теплота и воздух... Ну, просто царство небесное. <...> Ты видишь, что я просто в восторженном состоянии духа, и боюсь только одного, что мягкость жизни и воздуха уменьшат, смягчат мою дикую социалистическую беспардонность».

Экономия необходима в связи с прибавлением семейства. Еще только женившись на молоденькой полячке-сибирячке Антонии Квятковской, мэтр революции заявил ей, что не собирается ограничивать ее свободу. Летом 1869 года жена из Италии сообщает о второй беременности от неаполитанского адвоката Гамбуцци, отца ее первого ребенка, и пишет, что возвращается в Швейцарию к Бакунину.

Переезд из Женевы происходит после Базельского конгресса (6—12 сентября 1869 года). Бакунин в ожидании жены поселяется сперва в Лугано, где жил в то время его итальянский друг и соратник по борьбе Маццини (Mazzini). Итальянские революционеры, однако, советуют обосноваться в Локарно, что Бакунин и делает. За 55 франков в месяц он снимает квартиру в две комнаты у вдовы Терезы Педраццини (Teresa Pedrazzini). Об этой квартире вспоминает Сажин, собравший для своего вечно нуждавшегося учителя у цюрихской молодежи 150 франков: «...Обстановка была самая убогая, мебелишка самая простая; так, в комнате его стояли: кровать, стол, три-четыре стула и сундук, в котором лежало белье, а единственная суконная черная пара висела на гвозде; были еще простые полки с книгами. Когда я передал чай, табак и деньги, Мишель расцеловал меня...»

Приезжает Антония с первым ребенком. 15 января 1870 года рождается Джулия Софья (Giulia Sofia). 29 января в церкви Св. Витторе в Муральто (S.Vittore) крестят первого сына Бакунина, Карло Саверино (Carlo Saverino), рожденного 25 мая 1868 года, а 1 марта в той же церкви крестят маленькую Софью Джулию. Таким образом Бакунин решает вопрос гражданского статуса детей.

Положение отца семейства заставляет его искать какого-нибудь заработка, и враг государства берется за перевод «Капитала» государственника Маркса. Предложение заработать таким образом поступает к Бакунину от петербургского издателя Полякова через студента Н.Н.Любавина, жившего за границей. Весь гонорар составляет 900 рублей, из них 300 рублей Бакунин получает авансом.

«Перевод страшно трудный. Сначала я не мог перевести более трех страниц в утро, теперь дошел до пяти, надеюсь скоро дойти до десяти», — пишет он Огареву. В другом письме делится с Герценом: «А я, брат, перевожу экономическую метафизику... И в редкие свободные минуты пишу книгу-брошюру об упразднении государства». Параллельно с денежной «халтурой» Бакунин трудится над своей главной теоретической работой «Государственность и анархия».

Сперва перевод Маркса идет споро, и Бакунин собирается все закончить в четыре месяца, но скоро работа начинает тяготить его. От мучений «экономической метафизики» анархиста спасает Нечаев. «Демон» революции бежит в Швейцарию после шумевшего убийства в Москве студента Иванова. 12 января Бакунин узнает, что Нечаев, которого в письмах любовно называет «наш Бой», в Швейцарии, и в письме Огареву признается, что от этой новости так «прыгнул от радости, что чуть было не разбил потолка старую головой. К счастью, потолок очень высок. Я сам непременно хочу увидеться с Боем, но сам ехать решительно не могу». Причина все та же — безденежье. Бакунин зовет Нечаева к себе, зная, что полиция разыскивает его по обвинению в убийстве: «Итак, буду ждать нашего Боя, или скорее боевого, сюда. У меня ждут его покров, постель, стол и комната, а также глубочайшая тайна».

Неутомимый Нечаев приезжает в Локарно и снова заражает стареющего анархиста своей ураганной энергией, убеждая его бросить работу над переводом «Капитала» и целиком посвятить себя революционной пропаганде в России. «Наш Бой совсем завертел меня своей работой, — пишет Бакунин Огареву 8 февра-

ля 1870 года. — Сегодня по его требованию... написал наскоро статью о полицейских услугах, оказываемых иностранными правительствами русскому в деле разыскивания мнимых разбойников». Через Бакунина Нечаев организует кампанию в прессе по невыдаче себя России. Интересно, что швейцарские власти, прекрасно информированные о местонахождении убийцы, не торопятся с арестом. Из письма президента Швейцарской Конфедерации Ж.Дубса начальнику Департамента внутренних дел кантона Тессин Л.Пиоде 23 февраля 1870 года: «Узнав из другого источника, что... Нечаев, вероятно, выехал в Тичино, спешу сообщить Вам об этом и посоветовать Вашему полицейскому управлению провести тщательные расследования с тем, чтобы выявить, действительно ли этот субъект находится в Локарно или в другом населенном месте Вашего кантона, и в случае необходимости в обстановке совершенной секретности принять надлежащие меры для того, чтобы он незамедлительно покинул швейцарскую территорию, потому что, я повторяю, крайне желательно для нас, чтобы он не был найден в Швейцарии».

Нечаев требует от Бакунина переехать в Цюрих, где в это время кипит русская студенческая колония, чтобы организовать там центр русской революционной пропаганды и целиком посвятить себя «русскому делу». Бакунин с радостью соглашается, но ставит одно условие — надо каким-то образом решить денежный вопрос и уладить отношения с издательством, выплатившим аванс: «Ясно, что для того, чтобы предать себя полному служению делу, я должен иметь средства для жизни... К тому же у меня жена, дети, которых я не могу обречь на голодную смерть; я старался уменьшать донельзя издержки, но все-таки без известной суммы в месяц существовать не могу. Откуда же взять эту сумму, если я весь труд свой отдам общему делу». Такие пустяки Нечаев берется с легкостью уладить — «комитет» все берет на себя.

Вскоре Любавин, сосватавший Бакунину перевод «Капитала», получает письмо: «До сведения комитета дошло, что некоторые из живущих за границей русских баричей, либеральных дилетантов начинают эксплуатировать силы и знания людей известного направления. <...> Между прочим, некий Любавин... завербовал известного Бакунина для работы над переводом книги Маркса и, как истинный кулак-буржуй, пользуясь его финансовой безысходностью, дал ему задаток и в силу одного взял обязательство не оставлять работу до окончания. <...> Комитет предписывает загра-

ничному бюро объявить Любавину: 1) что если он и подобные ему тунеядцы считают перевод Маркса в данное время полезным для России, то пусть посвящают на оный свои собственные силы... что он (Любавин) немедленно уведомит Б-на, что освобождает его от всякого нравственного обязательства продолжать перевод, вследствие требования революционного комитета».

Деньги же для Бакунина и для революционной пропаганды Нечаев достает с помощью самого Бакунина. Вместе они убеждают дочь Герцена выдать им оставшуюся после смерти отца часть бахметьевского фонда.

Однако аванс за «Капитал» и бахметьевские деньги исчезают быстро. Бакунин снова живет в долг, занимает у всех подряд кто сколько даст — об отдаче речь не ведется. После провала «русского дела» и разрыва с Нечаевым Бакунин хватается за дела европейские. Он пишет Огареву: «Ты только русский, а я интернационалист». Начинается Франко-прусская война, а затем революционные события во Франции. В сентябре 1870 года Бакунин отправляется из Локарно в Лион. Из-за привычного отсутствия денег он ищет, у кого можно занять на дорогу, и, будучи окружен шпионами, берет деньги у агента тайной полиции Романа, представившегося бывшим кавалерийским полковником, а теперь издателем Постниковым. Счет на одолженные Бакунину 250 франков Роман аккуратно выставляет Департаменту полиции в Санкт-Петербурге.

Лионская авантюра заканчивается ничем — ночью Бакунин бежит из города с подложным паспортом в Марсель, причем ему приходится изменить внешность. Сбрив бороду и надев синие очки, неудачливый заговорщик через Геную и Милан возвращается в Локарно, полный разочарований. В одном письме соратнику по «Альянсу» он пишет не без горечи: «Дорогой друг, я окончательно потерял веру в революцию во Франции. Эта страна совершенно перестала быть революционной».

По возвращении в Локарно Бакунин пишет «Кнута-германскую империю и социальную революцию», одну из своих самых известных работ.

Опять революционера грозят задавить проблемы быта. Теперь семья живет на деньги отца его детей — Гамбуцци.

Летом 1871 года Бакунин то бросается в бешеную деятельность, то хочет поселиться в тихом уголке. В то же лето он подает бумаги на получение швейцарского гражданства. Русский дворянин просит о принятии его в члены крестьянской общины Мозоньо

(Mosogno). В протоколах он назван на итальянский манер — Микеле Бакенини (Michele Bakenini). Двадцать пять голосов подано за принятие в тессинские крестьяне русского помещика, против — ни одного. Ввиду тяжелого материального положения русского дворянина положенную для оплаты сумму в 400 франков ему прощают.

Летом 1872 года Антония с детьми уезжает в Россию. Супруга государственного преступника просит царские власти разрешения навестить своих родителей и получает его. Еще одна цель этой поездки на родину — переговоры с семьей Бакунина о разделе наследства. С отъездом жены Бакунин съезжает с квартиры г-жи Педраццини и поселяется в таверне «Дель-Галло» Джакомо Фанчола (Albergo del Gallo Giacomo Fanciola) на улице Виа-алла-Мота (Via alla Mota).

Оставшегося без семьи Бакунина ничто больше не связывает, и он снова бросается организовывать мировой бунт. Летом 1872 года вождь анархистов едет в Цюрих, где работает вместе с Сажином-Россом над открытием типографии, связанной с русской студенческой библиотекой. Бакунин носится по всей Швейцарии, руководит, вдохновляет, призывает — теперь его энергия направлена на борьбу с Интернационалом.

В сентябре 1872 года на конгрессе Интернационала в Гааге Бакунина обвиняют в создании «Альянса», но особенно возмущает всех социалистов третий пункт обвинения, что и служит в конечном итоге поводом врагам частной собственности для исключения Бакунина, — речь идет о невыполнении договора на перевод «Капитала» и присвоении аванса: «3. ...Гражданин Бакунин пустил в ход нечестные средства с целью присвоить себе целиком или частью чужое имущество, что составляет акт мошенничества; что сверх того для уклонения от выполнения принятых им на себя обязательств он или его агенты прибегли к угрозам».

Устав от безуспешной борьбы, проиграв битву с прежними соратниками, Бакунин возвращается в Локарно. В ноябре туда приезжает молодой врач и известный революционный публицист Варфоломей Александрович Зайцев с женой и дочкой. Семья поселяется по соседству и скрашивает одиночество стареющего бунтаря. Зайцев записывает под диктовку Бакунина мемуары — судьба их неизвестна до сих пор.

В начале 1873 года Бакунина в его комнатке в «Дель-Галло» навещает подполковник-анархист Николай Соколов и остается там

вместе со своим кумиром два месяца. Интересны оставленные Соколовым воспоминания об этом времени. Появление гостя в четыре часа утра не застаёт Бакунина врасплох — ночью он всегда работает. На столе и стульях разбросаны газеты и книги, самовар посреди пола, стаканы под кроватью, пол усеян пеплом и окурками. Бакунин так объясняет Соколову свой распорядок дня: «Знай же навсегда, что к 11 часам утра, как сегодня, я приглашаю тебя к столу. В 12 $\frac{1}{2}$ часов мы с Зайцевым и другими отправляемся в разные кафе читать газеты, пить пунш, болтать и гулять до 4 часов. Затем я до 8 часов вечера ложусь спать. Пью чай или зельтерскую воду и отправляюсь куда-нибудь до 10 часов. После чего, в продолжение всей ночи, как вчера, я, не раздеваясь, пишу письма. Вот и весь мой день, братец. Как видишь, я веду правильный образ жизни».

Гуляет Бакунин по улицам Локарно в окружении обожавших забавного русского мальчишек, кричавших при его появлении: «Да здравствует Мишель!»

Нищета заставляет Бакунина принять предложение Зайцевых и переселиться к ним. Олимпия Кутузова, сестра жены Зайцева, описывает в воспоминаниях «Из далекого прошлого» свою первую встречу с Бакуниным весной 1873 года: «Насколько велико было чувство благоговения, с которым я вступала в жилище этого необыкновенного человека, настолько же велико было и мое изумление перед картиной, представившейся моим глазам и совершенно не соответствовавшей моим ожиданиям. В небольшой

М.А.Бакунин. Гравюра из швейцарского журнала «Альпенрозе»



комнате на кровати стоял табурет, а на табурете в широком поношенном пальто, со стаканом в руке, возвышалась колоссальная фигура Бакунина. В эту минуту все его внимание было сосредоточено на ползавшем по потолку скорпионе, которого он пытался поймать в стакан. При этом зрелище торжественно-почтительное настроение, с которым я готовилась к встрече со знаменитым старцем, разом испарилось. Я невольно бросилась к нему на помощь со словами: «М.А., позвольте я вам помогу!» Бакунин обернулся к нам и, грузно спускаясь с табурета, промолвил: «А, вот ты и приехала! Ну-ка, полезай теперь ты да излови эту бестию!»

Натянутые отношения с русскими, провал всех «русских» начинаний заставляют неутомимую натуру Бакунина искать выхода своей энергии в соседних, «итальянских» делах. С итальянскими революционерами устанавливаются у Бакунина наилучшие отношения. «Черт побери всех вас вместе и каждого в отдельности всех русских!.. — заявляет однажды в сердцах Бакунин Соколову. — Я признаю только моих итальянских друзей. Вы рабы и останетесь рабами с вашим царем!»

Самым близким другом и сподвижником Бакунина становится Карло Кафиеро (Carlo Cafiero), представитель Интернационала в Италии. Родившись в семье богатых аристократов, Кафиеро получает блестящее образование, оканчивает в 1870 году юридический факультет, отправляется в Англию для изучения философии и увлекается там рабочим вопросом. В 1871-м он вступает в Интернационал, но больше симпатизирует, как и прочие представители латинских социалистов, импульсивному русскому Бакунину, нежели немцам Марксу с Энгельсом. В мае 1872 года итальянец приезжает в Локарно специально с целью лично познакомиться с Бакуниным. После нескольких дней и ночей, проведенных в дискуссиях, молодой человек становится верным бакунистом. Привлечь на свою сторону именно Кафиеро Бакунину особенно важно: верных последователей много, но из верных последователей с большими деньгами — один Кафиеро. Дело в том, что итальянский анархист получает в это время огромную по тем временам сумму из отцовского наследства и собирается организовать центр анархизма в Локарно. Кафиеро преследует две цели одновременно: обеспечить старость Бакунина и создать революционную базу, склад оружия, приют для террористов. Выбор падает на виллу «Бароната» на склоне горы, спускавшейся к Лаго-Маджоре. Покупка на имя Бакунина совершается 2 августа 1873 года.

Олимпия Кутузова становится женой Карло Кафиеро, и в ее воспоминаниях мы находим детали бакунинской жизни в Баронате. Бакунин и Кафиеро с супругой, еще несколько революционеров, эмигрировавших из Италии, поселяются в домике, расположенном на приобретенном участке. Для далеко идущих планов дом был слишком мал. Начинается строительство новой виллы.

Об атмосфере, царившей в Баронате, Кутузова пишет: «Отношения М.А.Бакунина и Кафиеро были самые близкие и дружеские. Любя до поклонения Михаила Александровича, Кафиеро был безгранично предан ему, заменяя для него сестру милосердия, няньку, ухаживал за ним, как за ребенком. В то время Бакунин уже начал хворать — не мог без посторонней помощи вставать по утрам. Каждый день по утрам слышался по всему дому громкий призыв: «Карло! Карло!», и Кафиеро, где бы он ни был, чем бы он ни был занят, оставлял все и бежал на этот зов. И пока Карло не разотрет онемевшей руки или спины, боли в которой не давали Михаилу Алексеевичу покоя, Бакунин не мог встать с постели».

Бароната становится центром притяжения для революционеров из самых разных стран, в том числе здесь нередко появляются гости из России, так, например, к Бакунину в Локарно приезжает Ткачев — вдохновитель террора. Однако к посетителям с родины Бакунин относится скептически. «Да что русские?! — говорит Бакунин еще одному гостю Баронаты, бежавшему с сибирского этапа народнику-каторжнику Дебогорию-Мокриевичу. — Всегда они отличались стадными свойствами! Теперь они все анархисты! На анархию мода пошла. А пройдет несколько лет — и может быть, ни одного анархиста среди них не будет!»

«Жизнь в Баронате, — вспоминает Кутузова, — организовалась сама собой по коммунистическим принципам. Все необходимые работы делились по возможности поровну: мужчины работали в лесу, пилили дрова, косили, заботились об огороде, который давал нам достаточно овощей, ягод, каштанов и фруктов. Мы держали также кур и коров. По принятому в Италии обычаю мужчины ухаживают за скотом, и Кафиеро сам кормил корову и доил ее. Женщины стирали, готовили, мыли посуду и делали всевозможную работу по дому».

За повседневными заботами не забывается и главная цель: «Расположенная всего в двух часах на пароходе по Лаго-Маджоре от

итальянской границы Бароната, — продолжает Кутузова, — была удобным местом для проведения собраний и приема преследуемых полицией революционеров: они могли быть уверены, что найдут здесь временное убежище».

В это время итальянцы готовят «большое дело», и Кутузова, включившись с душой в работу мужа, перевозит в Италию закупленный в Швейцарии динамит — под юбкой, — «зашитый в полотенце, которое я обвязала вокруг талии».

Сентябрь и октябрь 1873 года Бакунин проводит в Берне, где проходит лечение у своего знакомого врача Фохта. В это время выходит брошюра Генерального совета Интернационала против Бакунина и его «Альянса». 25 сентября Бакунин публикует в *Journal de Genève* ответ, в котором все обвинения называет клеветой и заявляет о своем решении отойти от активной политической деятельности. Все последние события вызывают в Бакунине, по его словам, «глубокое отвращение к общественной жизни. С меня этого довольно, и я, проведший всю жизнь в борьбе, я от нее устал. Мне больше шестидесяти лет, и болезнь сердца, ухудшающаяся с годами, делает мне жизнь все труднее... Поэтому я удаляюсь с арены борьбы и требую у моих милых современников только одного — забвения. Отныне я не нарушу ничего покоя, пусть же и меня оставят в покое».

Его близкими это поразившее мир письмо воспринимается как тактическая уловка, сам же Бакунин действительно живет на своей вилле, как ушедший на пенсию буржуа. Расходы, несмотря на вышеприведенное описание Кутузовой, огромны, но никто денег не считает. Большую часть средств поглощают строительные работы — возведение огромного дома, проведение дороги, которая прорубается нанятыми рабочими в скале. Несостоявшийся русский помещик в отсутствие Кафиеро, отправившегося также в Россию, строит с размахом. Его непрактичностью пользуются архитектор и подрядчики. Бакунин ожидает возвращения жены из России и одержим мыслью встретить ее в земном раю фейерверком.

Отъезд Кафиеро в Россию вызван вполне драматическими обстоятельствами. Олимпия Кутузова, став подругой жизни Кафиеро, возвращается в Россию, чтобы ухаживать за больной матерью, и когда хочет вернуться в Швейцарию — ее не выпускают. Кафиеро бросается в мае 1874 года выручать из России подругу. В Петербурге в итальянском посольстве они женятся, и в июле того же го-

да оба возвращаются в Локарно, где по возвращении им предстанет картина хаоса и разорения. От огромного наследства за несколько месяцев хозяйничанья Бакунина не остается ничего.

Сажин-Росс, приехавший из Цюриха, пытается навести хоть какой-то порядок в денежных делах. «Из разговоров с ними я вполне убедился, — читаем в его воспоминаниях о вилле Кафиеро, — что ни он, ни Бакунин совсем не следили за работами, не подсчитывали расходов, а когда я подвел приблизительные итоги всего, что израсходовано, то оба они были в немалой степени удивлены большими расходами, главной причиной которых были их неряшливость, непрактичность, бестолковость».

В том же июле приезжает из России Антония со своим отцом Ксаверием Квятковским и уже с тремя детьми. Будучи в полной уверенности, что, как уверял ее Бакунин, вилла принадлежит им, она неприятно удивлена, увидев большое количество проживающих в ее доме людей.

«Для нас она была совершенно чужим человеком, — вспоминает Сажин-Росс. — И вот этот-то чужой человек внезапно врывается в нашу среду и заявляет нам, что Бароната со всем, что в ней есть, принадлежит ей, что она хозяйка, а все остальные — пришедшие, посторонние люди, и что она терпит их присутствие здесь только из уважения и снисхождения к своему старому мужу». Назревает конфликт — Антония требует от Кафиеро очистить комнату, которую тот занимал с женой, поскольку ей нужно это помещение. 15 июля происходит объяснение между Бакуниным, с одной стороны, и Сажиним с Кафиеро — с другой. Против Бакунина выдвигается обвинение в бессмысленной растрате денег, предназначенных для революционной деятельности. На обвинителей сперва обрушиваются гром и молнии, затем Бакунин признает свою вину.

Объяснение с Кафиеро становится сокрушительным ударом для старого революционера. В дневнике он записывает с болью: «Я имел еще слабость принять от него (Кафиеро) обещание обеспечить тем или иным способом участь моей семьи после моей смерти». Еще одна запись, датированная «15 среда — 25 суббота»: «Душевные муки. Кафиеро все более злобится. Росс все более разблачивается... Вечером 25-го я составил акт об уступке Баронаты Карлу... и решил выехать в Болонью».

Все кончается тем, что 25 июля Бакунин передает юридические права на виллу Кафиеро. Еще через два дня он отправляет-

ся, не сказав ничего жене, в Италию, где собирается принять участие в готовящемся восстании, с тем чтобы погибнуть и тем искупить свою вину перед революцией. Только с дороги, из Шплюгена (Splügen), где он останавливается в гостинице «Боденхаус» (Bodenhaus), Бакунин посылает письмо своей жене, назвав его «Оправдательной запиской», в котором сообщает о своем решении умереть в бою на баррикаде и которое заканчивает словами: «Я ничего больше не должен принимать от Кафиеро, даже его забот о моей семье после моей смерти. Я не должен, не хочу больше обманывать Антонию, а ее достоинство и гордость подкажут, как ей надлежит поступить... А теперь, друзья мои, мне остается только умереть. Прощайте!.. Антония, не проклинай меня, прости меня. Я умру, благословляя тебя и наших дорогих детей».

Болонский мятеж, подготовленный членами бакунинского «Альянса» и закончившийся фарсом, становится заключительным аккордом революционной деятельности Бакунина. 3 августа в Болонье распространяется воззвание: «Первый долг раба — восстать. Первый долг солдата — дезертировать. Пролетарии, поднимайтесь!» И здесь не обходится без доносчика — восстание подвергается разгрому, даже не начавшись. Бакунин записывает в дневнике: «Неудача. Страшная ночь с 7-го на 8-е. Револьвер. Смерть под рукой. Приходят один за другим Лю, Сильвио, Берарди, Нья... Остался один с 3 до 4. В 4 смерть... В 3 ч. 40 м. утра является Сильвио и не дает мне умереть». В одежде деревенского священника, в больших очках, с палкой и корзиной, полной яиц, Бакунин бежит из Болоньи.

Пока Бакунин в Италии, Сажин в Баронате говорит с его женой и, по сути, выгоняет Антонию из дома. Она уезжает с детьми и отцом к Гамбуцци в Неаполь.

На обратном пути из Италии 14 августа Бакунин снова останавливается в той же гостинице в Шплюгене. Здесь он живет какое-то время — ему некуда возвратиться. Он снова бездомный и одинокий. Бакунин телеграфирует Кафиеро, настаивает на встрече, но тот не отвечает. Вместо него появляется Сажин. Запись Бакунина в дневнике 21 августа: «Приезжает Росс, остервенелый и фальшивый, как каналья... 22-го суббота. Росс крайне раздосадован. Он уезжает после обеда. Я снова один». А вот отрывок из воспоминаний Сажина: «Здесь же впервые Бакунин сказал мне, что отныне он решительно отстраняется от всяких революци-

онных дел, что он стар, устал, болен, что теперь он вполне искренне решил уйти в частную жизнь, что, конечно, он никогда не откажется быть нашим советником, делиться с нами своею опытностью, своими знаниями, но что для активной деятельности у него нет ни силы, ни энергии».

Кафиеро соглашается на личное свидание и назначает его в Сьерре (Siegte). Встреча состоялась 30 августа. Бакунин опять вынужден обратиться к своему благодетелю Кафиеро с просьбой о деньгах.

По словам Бакунина, разговор был «чисто политический», оба были холодны как лед». Речь шла о деньгах. Старейший Бакунин, изгнанный из Баронаты и подавленный неудачей восстания в Болонье, вынужден снова униженно просить денег для существования: «Я заявил, что... принял бесповоротное решение окончательно удалиться от политической жизни и деятельности, как явной, так и тайной, и отдаться исключительно семейной жизни и личным делам... Отклонив, как и следовало, предложенную мне пенсию, попросил у него заимообразно пять тысяч франков с уплатой в два года и из 6%. Он весьма любезно согласился на это». Разумеется, ни о какой «уплате» впоследствии не было и речи.

Эпоха Баронаты подходит к концу. Отныне Бакунин расходится с Кафиеро и итальянскими анархистами и отходит от революционных дел.

«Вскоре Бароната опустела, — пишет в своих мемуарах Олимпия Кутузова. — Осенью 1875-го обитатели ее разъехались, а сам Кафиеро, истратив все свое состояние на революционные дела, оказался на краю разорения и вынужден был продать Баронату. Бакунин переехал в Лугано, где благодаря доле наследства, выделенной ему братьями, мог существовать не нуждаясь. В Лугано вернулась к нему жена со своим отцом, сестрой и детьми».

Утверждение о том, что Бакунин жил в Лугано «не нуждаясь», лежит целиком на совести мемуаристки. Рассказ о Бакунине в Тессине мы продолжим ниже, когда речь пойдет о Лугано.

Кафиеро уезжает продолжать свою борьбу в Италию, Олимпия возвращается в Россию. Она учительствует в тех местах, откуда Бакунин родом, и активно участвует в революционной деятельности, проходит каторжные этапы и ссылки. Муж ее также редко выходит на свободу, кочуя, в свою очередь, по итальянским тюрьмам. Находясь в заключении в Милане, он пытается кончить самоубийством — перерезает себе артерии на руках стеклом

от очков. Когда через много лет Олимпия Кутузова снова приедет в Швейцарию в 1883 году, она узнает, что ее муж находится в сумасшедшем доме.

Следующий по времени эпизод русского освоения берегов Лаго-Маджоре связан с Асконой (Ascona), тихой тессинской деревушкой, превратившейся в начале XX века в приют европейских интеллектуалов, а позже в модный фешенебельный курорт.

Сперва на асконские холмы обратили в конце XIX столетия внимание теософы. Альфредо Пиода, сам житель Локарно, последователь Блаватской (отметим, что сама Елена Петровна неоднократно бывала в Швейцарии), издает в 1889 году книгу «Теософия», в которой излагает идеи своей русской учительницы. Он призывает организовать в Асконе своеобразный теософский монастырь и основывает для этой цели акционерное общество «Fraternitas» («Братство»). Среди учредителей АО — сподвижник Блаватской еще по Адьяру (Adyar) в Индии, основатель германского теософского общества Франц Хартман (Franz Hartmann) и шведка графиня Констанс Вахтмайстер (Constance Wachtmeister), близкая знакомая Блаватской. Однако дальнейшего развития монастырская идея не находит, и в 1900 году этот участок приобретают у Пиода Ида Хофман (Ida Hofmann) и Генри Эденковен (Henry Oedenkoven), приверженцы образа жизни, альтернативного буржуазной цивилизации.

Начинается короткая, но яркая история «Монте-Верита» (Monte Verita), санатория, привлекшего своими «антиобщественными» идеями многих интеллектуалов, революционеров и аутсайдеров начала века. Среди жителей «Горы правды» весьма почитается Толстой с призывом к уходу к простоте, природе, труду, естеству, с его ненавистью к цивилизации, лжи и деньгам. Питание строго вегетарианское, форма одежды — костюмы Адама и Евы или туника с веревочными сандалиями. Внутренняя свобода находит себе выражение в свободе тела: одним из программных элементов «ухода» от оков цивилизации становится альтернативный танец — в частности, сюда приезжает и Айседора Дункан.

Большой популярностью пользуется «Монте-Верита» у русских. О санатории пишут в России, например, журнал «Вегетарианское обозрение» уделяет альтернативной колонии в Швейцарии много внимания, замечая, впрочем, что подобными же принци-

пами руководствуются отечественные духоборы. Особенно поток россиян, ищущих новой правды на асконской горе, усиливается после разгрома революции 1905 года. Для них строят специальный дом — Casa dei Russi (Русский дом), между отелем «Семирамис» (Semiramis) и «Каза-Анната» (Casa Annata). Домик этот сохранился и по сей день.

Врач-анархист Рафаэль Фридеберг (Raphael Friedeberg), сын раввина из Тильзита, исключенный за раскольничьи взгляды из немецкой социал-демократической партии, поселяется в 1907 году в Асконе, и сюда к нему приезжают лечиться европейские революционеры всех мастей, прежде всего анархисты. 7 марта 1906 года Фридеберг пишет своему другу анархисту Брупбахеру: «В Асконе сейчас, как и каждый год в это время, настоящая русская чума и нельзя найти свободного места; так будет продолжаться до конца каникул, когда в Берне и Женеве снова начнется учебный семестр, до этого они не уедут».

Фриц Брупбахер все-таки приезжает в Аскону, которую он называет «столицей психопатического интернационала», со своей русской женой эсеркой Лидией Кочетковой летом 1907 года. Некоторые подробности жизни в «Монте-Верита» находим в его книге воспоминаний: «Во всяком случае, хорошо было то, что не нужно было являться на ужин в лакированных ботинках и смокинге. Вполне достаточно было трусов. Намного хуже казалось нам то, что за наши 7 франков в день на человека мы не получали ничего, кроме орехов и сырых овощей. И еще нечто, напоминающее хлеб. Контрабандой нам удавалось получить молоко и яйца, что было запрещено под угрозой выдворения. Мы даже ходили в городок за мясом, пока однажды вегетарианец-ортодокс, петербургский профессор Воейков, не застал нас за «трупоедством», и мы получили серьезный выговор». Упоминаемый здесь русский профессор — Александр Иванович Воейков, академик Петербургской академии наук, метеоролог и географ, занимавшийся популяризацией асконского образа жизни в России.

Брупбахер так объясняет суть заведения: «Первоначально Эденковен хотел создать совершенно новый мир, своего рода колонию новых людей, которая могла бы окупать себя экономически. Они хотели дать пример всему человечеству. Как и многие подобные попытки, все нашло свой конец в виде частнособственного предприятия». Толстовцы из России, приезжавшие в гости в Аскону к своим европейским духовным собратьям,

наверняка немало удивлялись, когда с них брали плату за вход на территорию «Горы правды», — одноразовое посещение стоило полфранка.

Несколько раз приезжает из Англии в Аскону между 1908 и 1913 годами к своему другу Фридебергу и лечится здесь месяцами Петр Кропоткин. Интересно, что поскольку русский анархист был выслан некогда из Швейцарии, то Бернское правительство требует от кантона Тессин выслать революционера, но те игнорируют послания из столиц — на курорте действуют свои законы, и высылают только тех, кто не платит. Здесь Кропоткин пишет свою «Этику».

Среди приверженцев вегетарианства, устремившихся на рубеже столетий с берегов Невы на берега Лаго-Маджоре, Наталья Борисовна Нордман, писательница, прославившаяся в России своим воинственным суфражизмом. Будучи женой Ильи Репина, она являлась центром интеллектуального кружка, образовавшегося вокруг художника, который находился целиком под ее влиянием. По характеристике Розанова, эта женщина Репина целиком «проглотила». Так, например, активная вегетарианка заставляла художника и его гостей есть в «Пенатах» ставшие знаменитыми «сенные котлетки».

Тяжело заболев, Нордман покинула мужа и уехала в Швейцарию, в Аскону. Хорошо знавший ее Корней Чуковский пишет в воспоминаниях:

«Благородство своего отношения к Репину она доказала тем, что, не желая обременять его своей тяжелой болезнью, ушла из «Пенатов» — одна, без денег, без каких бы то ни было ценных вещей — и удалилась в Швейцарию, в Локарно, в больницу для бедных. Там, умирая на койке, она написала мне письмо, которое и сейчас, через столько лет, волнует меня так, словно я получил его только что.

«Какая дивная полоса страданий, — писала мне Наталья Борисовна, — и сколько откровений в ней: когда я переступила порог «Пенатов», я точно провалилась в бездну. Исчезла бесследно, будто бы никогда не была на свете, и жизнь, изъясв меня из своего обихода, еще аккуратно, щеточкой, подмела за мной крошки и затем полетела дальше, смеясь и ликуя. Я уже летела по бездне, стукнулась о несколько утесов и вдруг очутилась в обширной больнице... Там я поняла, что я никому в жизни не нужна. Ушла не я, а принадлежность «Пенатов». Кругом все умерло. Ни звука ни от кого».

От денег, которые послал ей Илья Ефимович, она отказалась».

Через несколько недель после написания приведенных выше строк, в июне 1914 года, Наталья Нордман умирает в Локарно, в Орселино (Orselino). Узнав о смерти жены, Репин едет в Швейцарию поклониться русской могиле на берегу Лаго-Маджоре и еще до начала войны успеваеет вернуться домой, в Куоккалу. «Возможно, он и тосковал по умершей, — продолжает Чуковский, — но самый тон его голоса, которым он в первую же среду заявил посетителям, что отныне в «Пенатах» начнутся другие порядки, показывал, как удручали его в последнее время порядки, заведенные Натальей Борисовной. Раньше всего Илья Ефимович упростил вегетарианский режим...»

В 1918 году на Пасху в Аскону приезжают из Цюриха Марианна Веревкина и Алексей Явленский. Художники находят маленький «кастелло» — Castello Bezzola — с башенкой на самой «пьяцца» на берегу Лаго-Маджоре и поселяются здесь.

Явленский вспоминает: «Три года, проведенные в Асконе, были самыми интересными в моей жизни, потому что природа там сильна и таинственна и заставляет жить с нею вместе. Удивительная гармония днем и что-то жуткое ночью. Мы приехали в Аскону в конце марта и сняли квартиру прямо на озере. Был период дождей, и дождь шел целый день без перерыва, то сильнее, то чуть ослабевая, но это было обворожительно, потому что от тепла лопались почки. Лаго-Маджоре было меланхолично, часто с туманами, ползущими по воде. Здесь я работал дальше над моими вариациями, часто вдохновленный этой природой. <...> Во время моего пребывания в Асконе я очень много работал, там появились многие вариации, и потом я начал рисовать мои «лики» и абстрактные головы. Для меня это были иконные образы. Теперь, в 1937 году, больной и за семьдесят, когда я вспоминаю то время, моя душа плачет от печали и тоски».

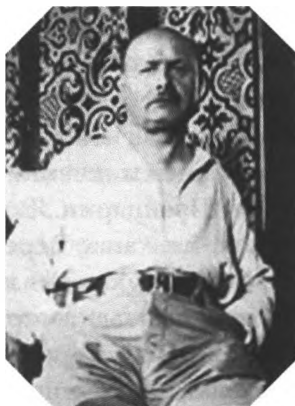
В Асконе происходит окончательный разрыв между ним и Марианной Веревкиной, его покровительницей в течение многих лет их совместной жизни в Мюнхене и в Швейцарии. Явленский женится на матери своего сына Андрея, служанке Веревкиной Елене Незнакомовой. «Эмансипации» от Веревкиной в немалой степени способствует ее обнищание после большевистской революции — до этого все жили на пенсию, которую она получала за отца, царского губернатора и впоследствии коменданта Петропавловской крепости в Петербурге.

Явленский находит в Швейцарии нового друга и мецената — художницу-немку Эмми Шейер, уже известную нам Галку, которая отказывается от своего творчества и посвящает свою жизнь творчеству русского художника. По окончании войны Эмми Шейер зовет его в Германию. После того как немцы выслали их в августе 1914 года, Явленский думает о возвращении в эту страну с тяжелым чувством. В апреле 1921 года он пишет Галке: «Я знаю, что я должен переселиться в Германию. Но моя душа не идет туда, и я не знаю, что это значит, я чувствую, что вероятно что-то произойдет...» В том же году Явленский покидает Аскону и Веревкину, с которой они были вместе тридцать лет со времени их учебы у Репина в Петербурге, и уезжает с семьей в Висбаден. Тяжелые предчувствия художника оправдались — в Германии его ожидают после нескольких коротких лет успеха болезнь, нищета, запрет пришедших к власти нацистов «художнику-вырожденцу» выставляться и работать.

Веревкина остается в Швейцарии одна и практически без средств к существованию. После блестящей жизни в мире искусства — с 1896 года по 1914-й ее салон в Мюнхене был местом встречи аристократии с международной артистической богемой — ей приходится вести жизнь новую, совершенно другую, начинается борьба за выживание.

Поддержки Красного Креста, выплачивающего ей как беженке, потерявшей в России средства к существованию, для жизни недостаточно, и в шестидесятилетнем возрасте ей впервые при-

А.Г.Явленский



М.Веревкина



ходится зарабатывать себе на пропитание. Какое-то время Веревкина пытается работать разъездным агентом одной фармацевтической фирмы. Она пишет друзьям — художнику Паулю Клее и его жене — о своих переживаниях, связанных с разрывом с Явленским: «И вот наша 27-летняя жизнь лежит растоптанная на площади Асконы в пыли и грязи. Что будет, не знаю, да мне и безразлично. Я слишком много узнала, чтобы еще о чем-то переживать. Поскольку я, как Вы знаете, получаю всего лишь 5 франков, я устроилась агентом по продаже медикаментов. Так я могу существовать дальше. Но тем, что я, художник, вместо того чтобы писать картины, должна развозить по врачам лекарства, я обязана тому человеку, который обязан, в свою очередь, мне всем своим искусством от А до Я».

Продажа медикаментов продолжается недолго, хорошие художники редко оказываются хорошими торговцами, и Веревкина пытается зарабатывать тем, что рисует открытки с видами для туристов. У русской художницы устанавливаются тесные контакты с жителями деревни. Ее называли «бабушкой Асконы» и относились к ней с уважением и любовью. «Аскона научила меня, — пишет Веревкина о своем тессинском опыте, — не презирать ничего человеческого, одинаково любить как великое счастье творить, так и убожество выживания, и носить то и другое в душе как сокровище. Но это упоительное чувство — стоять перед великим произведением в слезах восхищения и сказать себе: этот путь является и твоим путем тоже, можешь ли ты идти по нему или нет».

Эта удивительная женщина, сыгравшая свою роль в становлении нескольких окружавших ее художников, повлиявшая на переход Василия Кандинского к абстрактному искусству, сама замечательная художница, неделями живет без денег, занимая у соседей на почтовые марки. Но при этом, когда богач Макс Эмден, владелец сети универмагов в Германии, купивший себе на Лаго-Маджоре острова Бриссаго, узнав о нуждающейся русской, присылает своего слугу, чтобы купить у нее какую-нибудь картину, Веревкина гордо отказывает, чувствуя свою честь художника оскорбленной.

В последние годы она много работает, участвует в групповых выставках асконских художников «Большая Медведица» — но это не приносит ей ни успеха, ни денег. Она живет в долг, не имея возможности когда-либо вернуть его. «Мои личные потребнос-

ти невелики, если я здорова, но мое искусство требует определенных расходов, и если я болею, это тоже требует денег. С моей смертью исчезнут все мои долги, так что я не переживаю из-за своего тяжелого положения».

Когда она умерла 6 февраля 1938 года, проводить ее в последний путь пришла вся Аскона. Из Милана приехал православный священник. Отпевали Веревкину по православному обряду несколько эмигрантов из России, живших в Швейцарии и Италии. Известность пришла к русской художнице, нашедшей успокоение на асконском кладбище, лишь спустя несколько десятилетий. Ее картины выставлены в Асконе в Фонде Марианны Веревкиной (Fondazione Marianne Werefkin) и в местном Музее современного искусства (Museo Comunale d'Arte Moderna Ascona).

После революции «русский поток», разливавшийся по берегам Лаго-Маджоре, иссякает, но время от времени здесь все-таки слышится русская речь. Так, например, с февраля 1924 года по март 1925-го около Локарно, в Брионе (Brione), лечится от туберкулеза Эль Лисицкий. В Тессине художник вместе с Гансом Арпом (Hans Arp) работает над книгой «Измов», которая выходит в 1925 году в Цюрихе. В отличие от большинства художников и писателей, стремившихся на «юг» в поисках вдохновения для своего творчества, Лисицкий приехал сюда не по доброй воле, а для лечения, и относился к чудесам природы Тессина без особого восторга, будучи поглощен теоретическими работами. Его пребывание в Тессине совпадает с решением оставить станковую живопись и посвятить себя новым изобразительным средствам, более, по его мнению, соответствующим «новой России», — фотомонтаж, шрифты, архитектура. Окружение в Локарно, состоявшее из толстовцев и других искателей истины, кажется представителю советского авангарда удушающим, он пишет в письме жене Софье: «Ты знаешь, как скептически я ко всему этому отношусь». Софья вспоминает: «Мы приехали в колонию художников в Аскону на Лаго-Маджоре, напомиравшую сборище блаженных или сектантов. Мы были рады снова вернуться в холодный, чистый воздух Амбри-Сотто (Ambri-Sotto)». В этой высокогорной деревне, расположенной недалеко от перевала Сен-Готард, проводит художник несколько месяцев.

Среди русских послереволюционных эмигрантов, обосновавшихся в Тессине, пожалуй, самая интересная фигура — Эллис-Ко

былинский. Белый пишет о своем друге в «Воспоминаниях о Штейнере»: «Эллис, натура люциферическая, всю жизнь неся единым махом; и всегда — перемахивал, никогда не достигал цели в прыжках по жизни; его первый «МАХ»: с гимназической скамьи к Карлу Марксу: отдавшись изучению «КАПИТАЛА», он привязывал себя по ночам к креслу, чтобы не упасть в стол от переутомления; в результате: «УМАХ» к... Бодлеру и символизму, в котором «ЕДИНЫМ МАХОМ» хотел он выявить разделение жизни на «ПАДАЛЬ» и на «НЕБЕСНУЮ РОЗУ»; так в Бодлере совершился «УМАХ»: от Бодлера... к Данте и к толкованию «ТЕОСОФИЧЕСКИХ БЕЗДН», т.е. в Данте совершился новый «УМАХ»: от Данте к Штейнеру; в 11-м году его снаряжали в путь: без денег, знания языка, опыта; прожив с друзьями, водившими и «мывшими» его в буквальном смысле, — этот «СЛИШКОМ МОСКВИЧ», в Берлине становится «СЛИШКОМ ГЕРМАНЦЕМ», сев в первый ряд уютного помещения берлинской ветви на Гайсбергштрассе».

Жизнь Эллиса, о котором Марина Цветаева сказала: «разбросанный поэт, гениальный человек», — в чем-то типичный пример исканий-шараханий русского интеллигента начала века, с обязательным сжиганием бывших кумиров. Сын известного московского педагога Поливанова, воинственный марксист в молодости, Эллис вдруг объявляет, что все экономические знания не стоят одного стихотворения Бодлера, и становится одним из лидеров символизма. Близкий друг Белого, он был душой кружка «аргонавтов», активный участник «Весов», один из организаторов «Мусагета». Познакомившись через своих друзей с идеями Штейнера, поэт становится рьяным штейнерианцем, проповедует кругом и каждому свою новую религию, грозит побить недоброжелателей Доктора и на лекциях, как вспоминает Белый, «...садясь в первый ряд, сбрасывал с занятых мест ридикюльчики (вещь, ужасная для Германии), чтобы из первого ряда «пылать» любовью». Пройдет совсем немного времени, и на своего учителя Эллис напишет уничижительный пасквиль.

Во время Первой мировой войны происходит новый крутой поворот. Эллис оказывается в Швейцарии. Знакомство с католической писательницей Иоганной ван дер Мойлен (J. v. d. Meulen) приводит к переходу русского поэта в католицизм, Эллис становится иезуитом. В доме ван дер Мойлен «Каза-Фиоретти» (Casa Fioretti) в Локарно-Монти проводит он большую часть оставшей-

ся жизни. В двадцатые-тридцатые годы он занимается эзотерикой и космологией, увлекается европейским Средневековьем, регулярно посещает службы в церкви «Мадонны-дель-Сассо» (Madonna del Sasso). Эллис публикует статьи в католических журналах, выступает за слияние христианских церквей, причем в форме присоединения православия к католицизму. Он пишет стихи по-русски, но не публикует их. Ему хочется познакомить западного читателя с практически неизвестными ему русскими писателями, и Эллис много пишет о классической русской литературе. В Швейцарии выходят его книги о Гоголе, Пушкине, Жуковском. Русский поэт умирает в Локарно-Монти в ноябре 1947 года. Он похоронен на кладбище Св. Антония в Локарно. Могила его не сохранилась.

Еще один «русский край» в итальянской Швейцарии – берега Луганского озера (Lago di Lugano), с успехом соперничающие по живописности с Лаго-Маджоре.

«Живу я все в городе, которого нет. Lugano состоит из огромного отеля, превосходно содержимого, при котором находится озеро, – остальное вздор. Трактир называется Albergo del Lago, а озеро, вероятно, Lago del Albergo». Язвительная характеристика Герцена, по которой Лугано есть гостиница при озере, а озеро существует при гостинице, высказанная еще в 1852 году, со временем полностью себя оправдала. В XX веке эти места с удивительно мягким климатом превратились в фешенебельный курорт,

Л.Л.Эллис-Кобылинский



точкой притяжения туристов со всего мира. Русское освоение берегов Луганского озера началось давно. Сюда приезжали спастись и от русской зимы, и от русской действительности.

В тридцатые годы века XIX здесь живет, уехав из России, Владимир Печерин, один из оригинальных русских мыслителей, проделавший путь, по которому за ним пройдет немало искавших истину, — от ниспровержения к религии. В Тессин его приводит поиск связей с итальянскими революционерами. В Лугано он вращается среди политэмигрантов, приверженцев Маццини (Mazzini). Как мы уже говорили, он станет католическим монахом.

Неоднократным постояльцем «гостиницы при озере» был Герцен. Летом 1852 года он живет в Лугано во время драматической истории несостоявшейся дуэли со своим бывшим другом поэтом Гервегом. Получив вызов, Герцен обращается к суду чести революционеров разных стран. В письме своей знакомой Марии Рейхель он пишет 30 июня из «Альберго дель-Лаго» (Albergo del Lago): «Цюрихский злодей окончательно опозорен. Он сидит взаперти в своей комнате и не смеет показаться на улице. Я напечатала свой отказ и с ним вместе все наши свою декларацию, что честного боя с таким подлецом иметь нельзя. <...> Храбрость я могу еще показать на другом поле. Его я могу наказать, раздавить, сделать несчастным, презрительным, свести с ума, свести со света, но драться с ним — никогда! Это мой ultimatum».

Русский писатель мстит более жестоко, чем выстрелом на дуэли, — он уничтожает противника перед потомками в «Былом и думах» своим пером.

Приезжает Герцен в Лугано и позднее. В августе 1865 года он, например, живет здесь в гостинице напротив памятника Вильгельму Теллю и посылает дочке Лизе фотографию с надписью: «Тата должна тебе рассказать, как он стрелял в яблоко на голове сына и спас Швейцарию... Его надобно любить, как Гарибальди».

Интересно, что уже в то время швейцарские педагоги открыли для себя «русский рынок». В одном из писем Герцен возмущается школами, в которых учились здесь дети русской аристократии: его гнев вызвало объявление, в котором сообщалось, что некий доктор Гейзлер открыл в Лугано пансион для русских детей, и при этом жирным шрифтом обращалось внимание на то, что туда не принимают детей польских и русских эмигрантов.

Лугано становится местом угасания великого европейского бунтаря из России — Михаила Бакунина. Здесь, на вилле Фумагалли (Fumagalli) в Бессо, поселяется он с семьей после катастрофы с Баронатой. Луганская вилла покупается в долг в ожидании наследства. Для ведения переговоров с братьями Бакунин отправляет в Россию сестру жены, Софью Лозовскую. На участке земли вокруг дома старый анархист разводит теперь огород. В ноябре 1874 года Бакунин пишет Огареву, уехавшему провести остаток жизни в Лондон: «Я также, мой старый друг, удалился, и на этот раз удалился решительно и окончательно, от всякой практической деятельности <...> Здоровье мое становится все плоше и плоше, так что к новым революционным попыткам и передрягам я стал решительно неспособен».

О последних месяцах жизни Бакунина читаем в воспоминаниях А.В.Баулер «М.А.Бакунин накануне смерти». Своему огороду Бакунин отдается с той же страстью, с которой делал все в жизни. Он зачитывается сельскохозяйственной литературой и решает возводить свой сад строго на научной основе — вырубает на участке все деревья и выкапывает множество ям, предназначенных для удобрений.

Анархист Реклю посещает своего друга в Лугано и дает ему советы в новом начинании, но русский ниспровергатель не знает в огородничестве, как и во всей своей жизни, никакой меры и с нетерпением травит всходы чересчур большой дозой удобрений. Близкие относятся к новой затее Бакунина скептически, утверждая, что в этом саду ничего, кроме ям, никогда не будет. Да и сам Бакунин скоро остывает, видя бессмысленность любой своей деятельности. «Ямы специально для лягушек, — вспоминает Баулер слова Бакунина, — до смерти люблю их кваканье... Что может быть лучше русского летнего вечера, когда в прудах лягушки задают свой концерт?

Он опустил голову... печаль подернула лицо и тенью легла вокруг губ».

Когда разговор заходит о приближающейся смерти, Бакунин вспоминает свою сестру: «Умирая, она сказала мне: «Ах, Мишель, как хорошо умирать! Так хорошо можно вытянуться...» Не правда ли, это самое лучшее, что можно сказать про смерть?»

«В моем представлении в ту минуту, — заключает Баулер, — исчез великий революционер, неустанный борец, призывавший к разрушению. Передо мной очутился утомленный жизнью старик».

Все старые друзья бросили его, новых он находит себе среди луганских рабочих, обожавших тучного шумного старика и называвших его «глиняным русским» в отличие от «золотого русского» — Павла Григорьевича фон Дервиза, железнодорожного магната, у которого тоже была вилла в Лугано.

Последним ударом, окончательно подорвавшим его силы, становится разочарование, связанное с полученной частью наследства из России. Денег, на которые рассчитывал, оказывается так мало, что этой суммы не только не хватает на то, чтобы расплатиться за виллу, но и опять семье не на что жить. Снова ему грозит остаться без крыши над головой. Бакунины решают перебраться в Неаполь к Гамбуцци. На старости лет великому революционеру предстояло жить нахлебником у многолетнего любовника своей жены.

Болезнь спасает от унижения. Все слилось воедино — воспаление почек, гипертрофия сердца, ревматизм, простата, водянка. Вместо Неаполя он отправляется в Берн, к своему старому знакомому врачу Фохту. Бакунин уезжает из Лугано 9 июня 1876 года. Поездка, из которой он уже не вернется.

Берега Луганского озера, издавна привлекавшие живописцев, манят и русских художников. Несколько лет подряд, например, проводят в деревнях около Лугано Александр Бенуа и Мстислав Добужинский. Так, летом 1908 года они с семьями живут сначала в отеле-пансионе «Вилла-дю-Миди» (Villa du Midi) в Кастаньоле (Castagnola), потом в Соренго (Sorenго) на берегу соседнего с Луганским Лаго-ди-Муццано (Lago di Muzzano) в пансионе «Коллина д'Оро» (Collina d' Oro).

По просьбе Грабаря, искавшего материалы для своей «Истории русского искусства», Бенуа стал собирать сведения об итальянских архитекторах и художниках, работавших в России. «...Я узнал, — пишет художественный руководитель дягилевских «Русских сезонов» в своих воспоминаниях, — что потомства всех этих мастеров по сей день благоденствуют и ведут образ жизни зажиточных людей по близ царящим деревушкам, и особенно их много в лежащем повыше местечке Montagnola на склоне той же Collina d' Oro — «Золотого холма», названного так именно потому, что местные жители туда вернулись богатыми людьми из чужих краев, и главным образом из России».

Монтаньола — место, откуда происходит род Жиллярди, известных русских архитекторов. Здесь похоронен Доменико, который

отстраивал Москву после пожара 1812 года. До сих пор сохранился дом, где жили Жилярди.

Рядом с Монтаньолой расположилась Агра (Agra). Эта тессинская деревенька дала России семью архитекторов Адамини. Стоящий поныне родовый дом Адамини на холме с видом на Луганское озеро построил Томазо Адамини, вернувшись с солидным капиталом из России.

Из Тессина происходит и строитель Петербурга Трезини. Он родился в Астано (Astano), деревне, расположенной в Малькантоне (Malcantone), по другую сторону Луганского озера. Церковь, где крестили Трезини, напоминает всякому русскому путешественнику вход в Петропавловскую крепость.

Бенуа опубликовал свою работу о Тессине – статью «Рассадник искусства» – в журнале «Старые годы». Это лето, проведенное в Тессине в 1908 году, производит такое впечатление на художника, что потом еще четыре года подряд он с семьей приезжает и живет в Каза-Камуцци (Casa Camuzzi) в Монтаньоле. Кстати, Каза-Камуцци, в которой жил русский художник, была построена архитектором Агостино Камуцци, также работавшим в России. Отметим еще, что впоследствии в этом доме проживет много лет Германн Гессе.

В Тессин к Бенуа приезжали друзья из России, в частности Мстислав Добужинский. Свои воспоминания о солнечной Монтаньоле, где он остановился в 1911 году по дороге в Италию, Добужинский записал «в страшную зиму 1919–1920 в большевистском Петрограде: «Уже целая неделя, как мы медлим в этой райской стране. Живем высоко, над далеким озером, в маленькой Монтаньоле. ...Каждое утро я уходил рисовать в горы, забирался куда-нибудь в зеленую тень и оттуда смотрел вниз, где, точно на огромной географической карте, по волнистым скатам гор рассыпаны маленькие белые домики, лежит раскаленный от солнца Лугано и шелковое озеро убегает вдаль, змеясь между гор».

Летом 1912 года к Бенуа приезжают Дягилев, Нижинский и Стравинский. 24 августа композитор играет своим друзьям «Весну священную».

Из Тессина происходит и еще одна известная семья русских художников – Бруни. Эта династия родом из Мендризисо (Mendrisio).

В мае 1906 года Лугано посещает Василий Кандинский. В 1913 году Анна Остроумова-Лебедева работает над луганским «Голубым

ландшафтом». В апреле 1915 года сюда приезжает из Дорнаха Белый. С 1914 года из-за прогрессирующей болезни в Швейцарии селится писатель и мемуарист Петр Боборыкин. Последние годы потерявший зрение писатель проводит в Лугано в нищете. В 1920 году швейцарское отделение «Американского фонда помощи ученым и литераторам», которое возглавлял профессор Н.А.Ульянов, обращается к общественности с призывом поддержать 84-летнего писателя, но собранные деньги уже не могли помочь. Боборыкин умирает в Лугано в 1921 году.

Приезжают отдохнуть в Лугано после революции и советские функционеры. Например, осенью 1918 года здесь проводит две недели с женой и сыном Феликс Дзержинский, появившийся в Европе инкогнито. Софья Дзержинская вспоминает об этих днях в своих мемуарах «В годы великих боев»: «В Лугано мы совершали замечательные прогулки и катались на лодке, Феликс очень любил грести и садился на весла, а я управляла рулем. Мы сфотографировались на берегу озера, затем на подвесной дороге поднялись на вершину ближайшей горы, где провели несколько ча-

Монтаньола. Рисунок М.Добужинского



сов. <...> В тот момент, когда мы на пристани в Лугано садились в лодку, тут же рядом с нами, с правой стороны, пристал пароходик, на палубе которого рядом с трапом стоял... Локкарт, английский шпион. В Советской России он занимал высокий дипломатический пост и был организатором ряда контрреволюционных заговоров против Советской власти. Незадолго до этого он был арестован в Москве, и Дзержинский лично его допрашивал. Как официального дипломата, его не подвергли заслуженному наказанию, но выслали за пределы Советского государства. Феликс узнал его сразу.

Летом 1969 года в отеле Splendid Royal жили Набоковы. Сюда к писателю заехали, возвращаясь из России, Карл и Элендейя Проффер – слависты и издатели «Ардиса». Они рассказывали о советских писателях-диссидентах, и в частности о Бродском. Узнав, что тот – большой почитатель писателя-эмигранта (что изменится со временем), Набоковы дали денег и просили послать ему в Россию джинсы. Кстати, писатель и потом давал деньги на поддержку русских литераторов. Несколько недель в июле того же года Набоковы провели в местечке Курелья (Cureglia) в четырех километрах от Лугано.

Упомянем здесь еще раз имя русского полководца. По этим местам осенью 1799 года прошла армия Суворова. Границу русские войска перешли у Понте-Треза (Ponte Tresa) 15 сентября – 16 тысяч пехоты и восемь казачьих полков, всего около 20 тысяч человек. Следы тех давних событий можно и сегодня найти в местных музеях и частных собраниях. В Аньо (Agno), например, в краеведческом музее бережно хранится попона, выдаваемая за суворовское знамя. В Бедано (Bedano) существует так называемый Дом Суворова – Каза-Альбертолли (Casa Albertolli). На этом здании висит памятная доска с надписью, в которой неправильно указана дата: «По этой дороге начиная с 15.07.1799 на протяжении 7 дней подряд шла в направлении Швейцарии большая русская армия с генералом Суворовым и князем Константином». Как сказано выше, был уже сентябрь.

В следующей деревне, Таверне (Taverne), суворовская армия простояла несколько дней. Здесь русский полководец ждал обещанных австрийскими союзниками мулов. Знаменитые мулы вошли в историю наряду с наполеоновским насморком – потерянными здесь днями объясняли военную неудачу русских в Альпах. Кстати, именно здесь, в Таверне, познакомился Суворов с Анто-

нию Гамба (Гамма), который в свои 65 лет бросил дом и семью и стал проводником русской армии по Альпийским горам — такое впечатление произвел на него харизматический русский полководец. Тессинец будет воспет Сергеем Глинкой в «героической драме» под названием «Антонио Гамба, спутник Суворова на горах Альпийских». Интересно, что в этой деревне до сих пор существует местная легенда, что на дно колодца опущен ящик с сорока тысячами миланских лир — казной казачьего полка.

Закончим наше путешествие по русскому Тессину в пограничном с Италией Кьяссо (Chiasso). Не всегда формальности при пересечении границ для путешественников ограничивались предъявлением визы. Игорю Стравинскому, например, пришлось пережить здесь во время Первой мировой войны несколько малоприятных часов. В 1917 году он возвращался на берега Женевского озера в Морж из Италии.

«Я вез с собой свой портрет, незадолго до того нарисованный Пикассо, — рассказывает Стравинский в своих воспоминаниях. — Когда военные власти стали осматривать мой багаж, они наткнулись на этот рисунок и ни за что не хотели его пропустить. Меня спросили, что это такое, и когда я сказал, что это мой портрет, нарисованный одним очень известным художником, мне не поверили: «Это не портрет, это план», — сказали они. «Да, это план моего лица, а не чего-либо другого», — уверял я. Однако убедить этих господ мне так и не удалось».

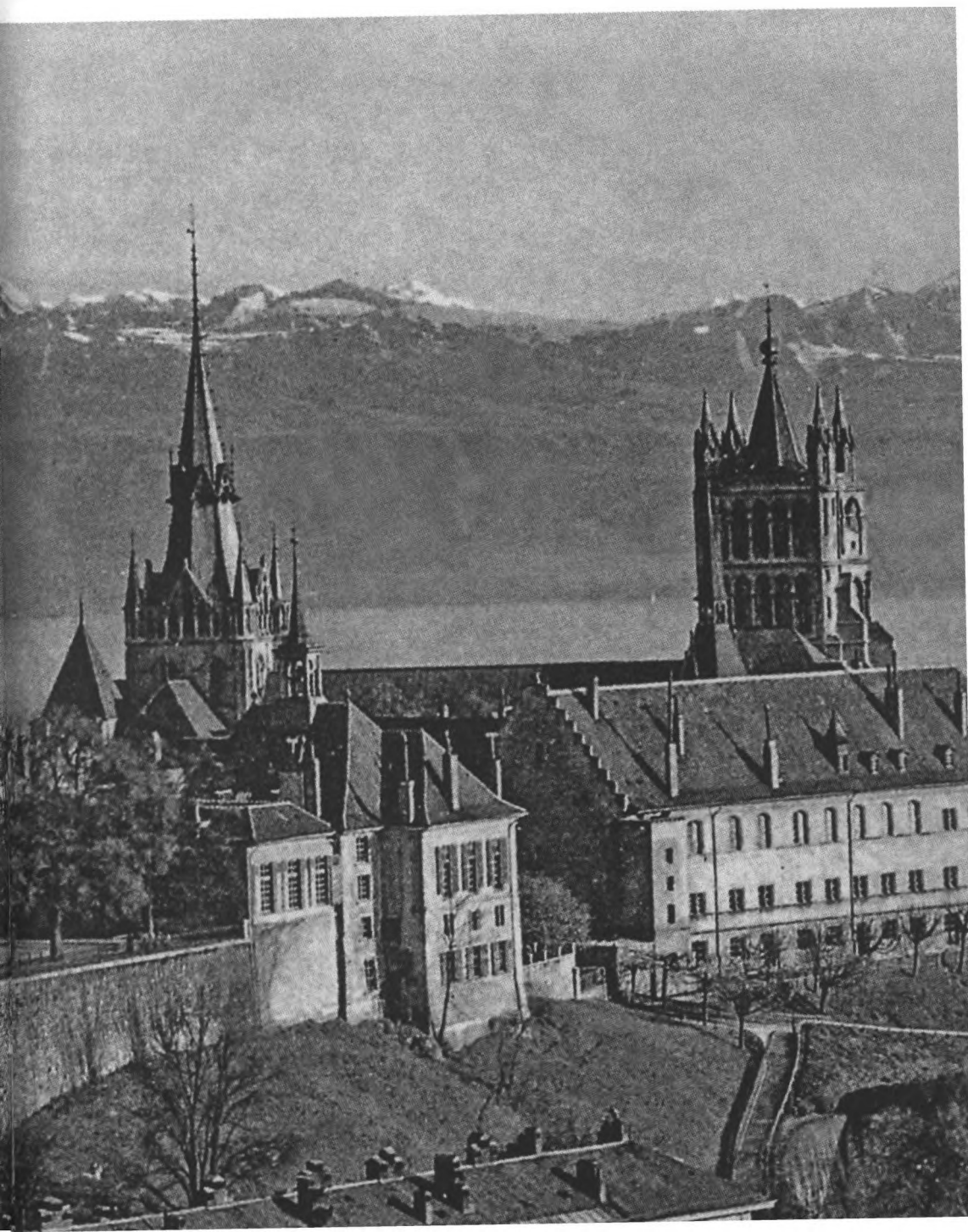
«План» Стравинскому пришлось отправить почтой знакомым в Рим. «Все эти пререкания, — заканчивает композитор, — отняли много времени, я опоздал на свой поезд, и мне пришлось остаться в Кьяссо до следующего утра».

XIV



«Когда судьба велит вам быть в Лозанне...»

ЛОЗАННА





А.И.Цветаева

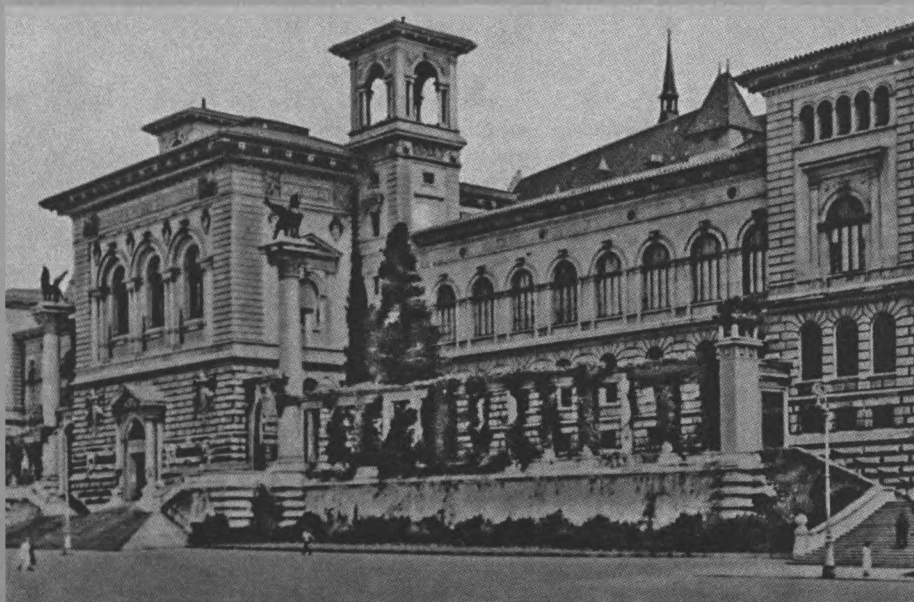


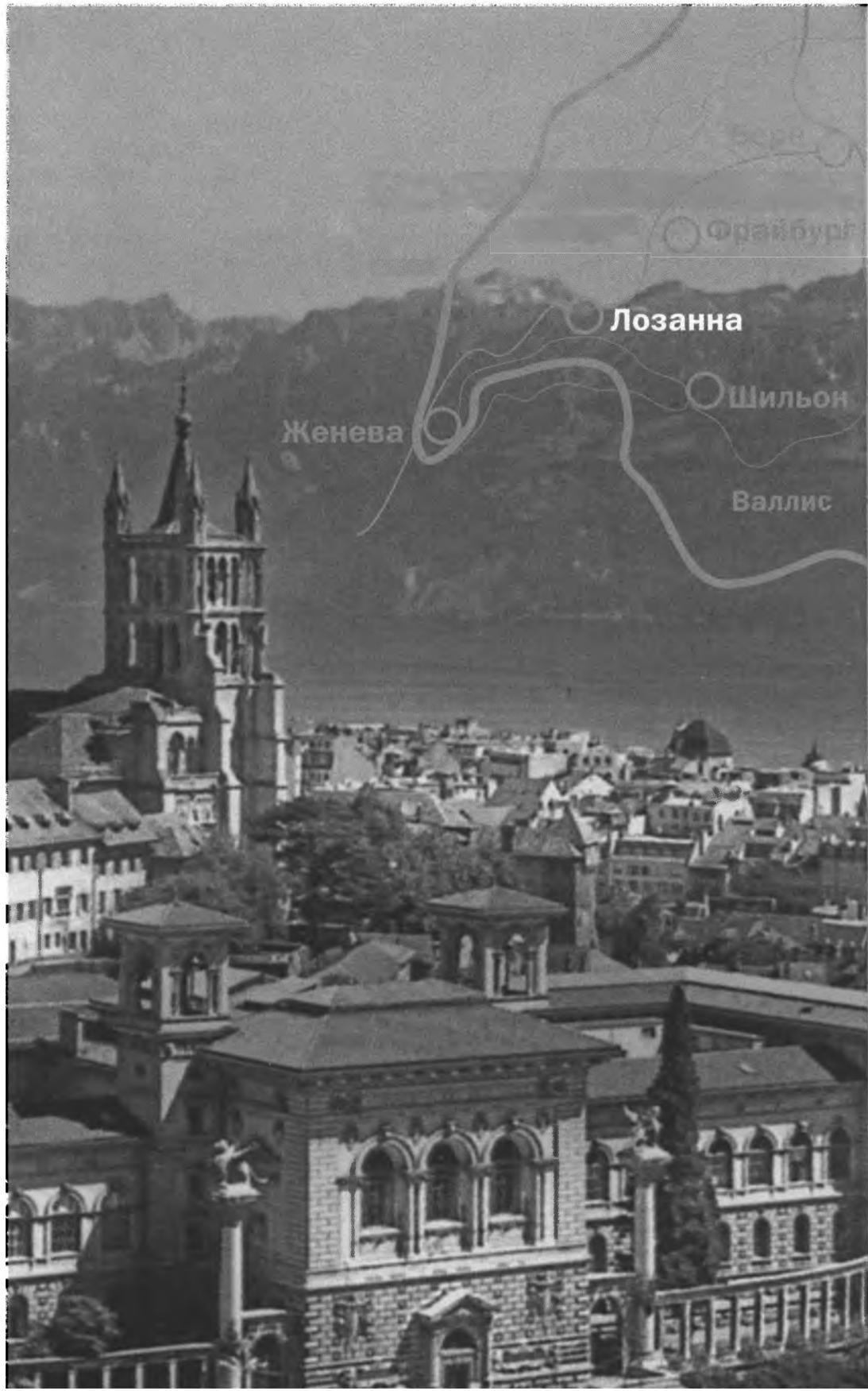
М.И.Цветаева



«Страстная, с первого взгляда привязанность к Лозанне
(точно когда-то в ней родились, точно именно
этот город мы видели с детства, во сне)...»

А.И.Цветаева. «Воспоминания»





Женева

Лозанна

Шильон

Валлис

Фрайбург

«Где началось настоящее очарование, так это в Лозанне. Это чудная местность, роскошной красоты. Когда поезд, то врываясь в глубину тоннелей, то вылетая, как птица, над обрывами Женевского озера, мчится по этому сказочному пути, — невольно любуешься дивной красотой этого ежеминутно сливающегося калейдоскопа ландшафтов».

Кто подъезжал хоть раз к Лозанне этой дорогой со стороны Берна, согласится со Львом Тихомировым, что окрестности ее являются одним из самых необыкновенных мест альпийской страны.

Начнем наш рассказ о русской Лозанне с пребывания в этом городе Князя Северного. Наследник русского престола с немногочисленной свитой остановился в «Золотом льве» (Lion d'Or, Zum Goldenen Löwen). Эта гостиница находилась на улице Бург (rue de Bourg, 29). Здание сохранилось и по сей день, но в стенах, в которых витал некогда царственный дух, расположились теперь модная лавка и закусочная.

Уже в XVIII веке облюбовали себе Лозанну русские и для более длительного проживания. Гетман Украины посылает своего сына Григория Разумовского в Европу для получения образования. Основательный юноша так увлекается минералогией и геологией Швейцарии, что остается на многие годы в Лозанне. «Здесь поселился наш соотечественник, граф Григорий Кириллович Разумовский, ученый натуралист, — пишет Карамзин. — По любви к наукам отказался он от чинов, на которые знатный род его давал ему право, — удалился в такую землю, где натура столь великолепна и где склонность его находит для себя более пищи, — живет в тишине, трудится над умножением знаний человеческих в царствах природы и делает честь своему отечеству».

Во время путешествия Карамзин намечает посетить русского ученого, однако встреча не получается: «За несколько недель перед сим он уехал в Россию, но с тем, чтобы опять возвратиться в Лозанну». Отметим, что поездка русского лозаннца на родину была связана с тем, что ученый влюбился в швейцарку Генриетту Мальсен и отправился домой за родительским благословением, в котором ему, кстати, было отказано. Брак тем не менее состоялся и без разрешения.

Сперва Лозанна встречает Карамзина не самым приветливым образом. Молодой писатель хочет остановиться в той же гостинице, где останавливался Павел, но в переполненном иностран-

ными гостями городе это оказывается не так просто. На вежливый стук в уже запертую на ночь дверь ему отвечают: «*Tout est plein, Monsieur! Tout est plein!*» («Все занято, государь мой, все занято!») Я постучался, — рассказывает дальше Карамзин, — в другом трактире, «*A la Couronne*», но и там отвечали мне: «*Tout est plein, Monsieur!*» Бедный путешественник вызывает жалость у ночного караульщика, и тот устраивает его в трактир «Олень», причем отказывается от двадцати копеек на чай. «Я развернул карманную книжку свою и записал: «Такого-то числа, в Лозанне, нашел доброго человека, который бескорыстно услуживает ближним»».

В каком «Олене» останавливался Карамзин в Лозанне, определить трудно, так как в городе было два отеля под названием *Hôtel du Cerf* и оба снесены.

После такого приема Лозанна не вызывает у Карамзина приятных чувств: «На другой день поутру исходил я весь город и могу сказать, что он очень нехорош; лежит отчасти в яме, отчасти на кособоре, и куда ни поди, везде надобно спускаться с горы или всходить на гору. Улицы узки, нечисты и худо вымощены».

Карамзин заглядывает в кафедральный собор Лозанны и находит там русский надгробный памятник. «Сию минуту пришел я из кафедральной церкви. Там из черного мрамора сооружен памятник княгине Орловой, которая в цветущей молодости скончала дни свои в Лозанне, в объятиях нежного, неутешного супруга. Сказывают, что она была прекрасна — прекрасна и чувстви-

Граф Г.К.Разумовский

Лозанна



тельна!.. Я благословил память ее». Екатерина Николаевна Орлова, урожденная Зиновьева, в 1776 году, вопреки церковным законам, вышла замуж за своего двоюродного брата князя Григория Орлова, фаворита Екатерины II, попавшего в немилость. Паре в конце концов разрешили уехать из России, что было равносильно пожизненной ссылке.

Надгробная плита двадцатитрехлетней красавицы – единственное, что тронуло сердце москвича при посещении собора. «Я слышал ныне проповедь в кафедральной церкви. Проповедник был распудрен и разряжен, в телодвижениях и в голосе актерствовал до крайности. Все поучение состояло в высокопарном пустословии, а комплимент начальникам и всему красному городу Лозанне был заключением. Я посматривал то на проповедника, то на слушателей... – пожал плечами и вышел вон».

Единственное, что мирит путешественника с Лозанной, – открывающиеся отовсюду живописные виды на окрестности: «Чистое обширное Женевское озеро, цепь Савойских гор, за ним белеющих, и рассеянные по берегу его деревни и городки – Морж, Роль, Нион – составляют прелестную, разнообразную картину. Друзья мои! Когда судьба велит вам быть в Лозанне, то взойдите на террасу кафедральной церкви и вспомните, что несколько часов моей жизни протекло тут в удовольствии и тихой радости!»

Этот карамзинский завет исполнило с тех пор не одно поколение русских путешественников, хотя у каждого любующегося с террасы перед кафедральным собором живописными ландшафтами этот вид на Женевское озеро вызывал свои ассоциации. Например, мятлевской мадам Курдюковой воды Лемана показались

Светло-серо-синеваты,
Как рейтузы, что солдаты
Носят на Руси у нас.
Вот мой поражает глаз
Ле Монт Блан, гигант суровый;
Как орел наш двухголовый,
Он могуч, неизмерим,
И отважен...

В том же, что по Лозанне не так просто ходить, русская путешественница вполне согласна со своим предшественником:

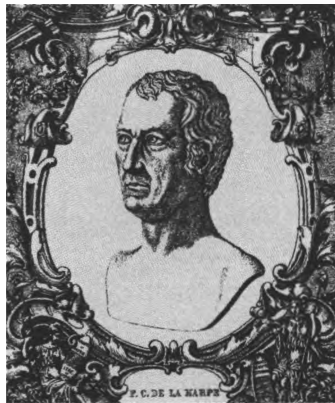
Город так бугрист, что страх;
Весь построен на горах...

Кстати, здесь же, в Лозанне, в доме для умалишенных происходит знаменательная встреча мадам Курдюковой с ее автором.

Живой достопримечательностью Лозанны первой трети XIX века, привлекавшей русских приезжих, является Цезарь Лагарп. Этот убежденный республиканец был по иронии истории воспитателем в семье русских монархов. Только с началом революционных событий в Европе уезжает он из России на родину. В Швейцарии Лагарп становится одним из лидеров профранцузски настроенного правительства Гельветической республики.

Интересно, что именно Лагарп особенно горячо протестовал против ввода русской армии в Швейцарию и пытался — без особого успеха — организовать сопротивление войскам из России. В обращении к швейцарскому народу он, в частности, писал: «По какому праву русский император, которого, тогда еще Князя Северного, столь гостеприимно принимали в Швейцарии восемнадцать лет назад, посылает свои войска против нас, хотя мы не причинили ему никакого вреда? Вся наша вина заключается в том, что мы изъявили желание быть свободными, мы хотели сбросить наши оковы; это единственная наша вина в глазах этого властителя, который уверен, что люди созданы для того, чтобы быть игрушками в руках себе подобных, и который трепещет при мысли о том, что тридцать шесть миллионов подвластных ему рабов мечтают об освобождении».

Фредерик Сезар де Лагарп



В январе 1801 года Лагарпа обвинили в государственной измене. Спасение он нашел во Франции, где находился под персональной защитой Наполеона. Он жил уединенно вблизи Парижа, когда до него дошла весть о смерти Павла. Не дожидаясь официального приглашения, Лагарп мчится в Петербург, где, как ему кажется, открылись возможности для демократического переустройства огромной империи, построенной на рабстве. Попытка закончилась ничем, уже летом 1802 года Лагарп вернулся обратно. Снова на политической арене он появляется после разгрома Наполеона — во время Венского конгресса швейцарец служил советчиком Александру, своему бывшему ученику. Конец жизни Лагарп проводит в Лозанне.

В 1833 году старого республиканца посещает Василий Андреевич Жуковский. Поэт записывает: «Лагарп хранит перчатки Павла, данные ему в минуту дружеского интересного разговора, и с ними вместе приказ о отнятии пенсионера». Здесь же, в Лозанне, видно, по контрасту, приходят Жуковскому и грустные мысли о России, где «в провинциях грубое скотство, в больших городах грубая пышность».

Лагарп играет в политической жизни того времени роль эксперта по русским делам. Так, например, юному русскому дипломату Свербееву, будущему автору замечательных мемуаров, Лагарп говорит пророчески: «Вы еще, мой милый, очень молоды, но знайте, что польские смуты переживут вас, ваших детей и даже ваших внуков. Никто из трех поколений не увидит их конца, и кровавые мятежи против России убитой Польши будут продолжаться долго, долго».

Бывая в Лозанне, Свербеев, как и другие русские знатные путешественники того времени, останавливается в лучшей гостинице города «Фокон» (Au Faucon, rue St-Pierre, 3). В этом же отеле отдыхал по дороге из Женевы в Веве Гоголь.

В 1857 году приезжает в Лозанну на народный праздник со своим молодым знакомым Владимиром Боткиным Лев Толстой. В дневнике он записывает 28 июня: «Казино. Бал блядской, солдаты. Большой бал. Лес, виды. Signal. Опять казино. 3 девки, надул их. Методистка вонючая с чудными глазами». В письме Василию Боткину от 29 июня из Кларана писатель делится подробностями своих лозаннских приключений: «Нынче ночью мы с вашим братом ночевали в Лозанне — по случаю девок. Оказывается, что там совершенно французские развратные нравы.

Даже так легко, что противно, и вследствие того я вернулся чист, ваш брат тоже».

С развитием туризма в середине XIX века начинается строительство роскошных современных отелей, население которых подчас состояло исключительно из русских аристократических семейств. Так, в Уши под Лозанной, в курортном местечке на берегу озера, рядом со скромным «Англетером», в котором Байрон писал своего «Шильонского узника», поднимается фешенебельный «Бо-Риваж» (Beau Rivage).

В этой гостинице живет в сентябре 1864 года с женой Эрнестиной и дочерью Марией Тютчев. В письме своему корреспонденту Георгиевскому поэт отмечает большое количество русских: «Вот уж скоро месяц я живу на берегах Женевского озера. В Лозанне, или, лучше сказать, под Лозанною, в местечке Ouchy встретил я целую русскую колонию: кн. Горчакова, графа Киселева, бывшего посла в Париже, и многих других...» В то же время здесь живет с дочерью великая княгиня Елена Павловна, сестра двух русских царей. У нее Тютчев берет почитать «Московские ведомости».

Оставили русские свой след и на карте города. В центре Лозанны, на площади Рипонн (Place de la Riponne), находится одно из самых импозантных зданий города — Дворец Рюмина (Palais de Rumine). История его такова. Русская дворянская семья из знаменитого рода Бестужевых-Рюминых, отпустив своих крестьян на волю, переселилась в 1840 году в Лозанну. Здесь у Екатерины Бестужевой-Рюминой, урожденной Шаховской, родился сын Гавриил. Отец рано умирает. В 1862 году кантональный совет Во в знак признательности за щедрые пожертвования признает Екатерину и ее сына своими почетными гражданами. Вскоре умирает мать. Сам Гавриил не доживает до тридцати, оставив после себя колоссальное по тем временам наследство в полтора миллиона франков.

Встает вопрос о распорядителях наследства. Решение зависит от того, гражданином какой страны Гавриил являлся. Россия настаивает на том, что Рюмин был русским подданным, поскольку официально не выходил из российского гражданства и не принимал швейцарского. Швейцарцы настаивают на том, что Габриель родился в Лозанне и был почетным гражданином кантона Во. Попытки русской дипломатии ни к чему не приводят. Деньги остаются в Швейцарии и идут на строительство университета.

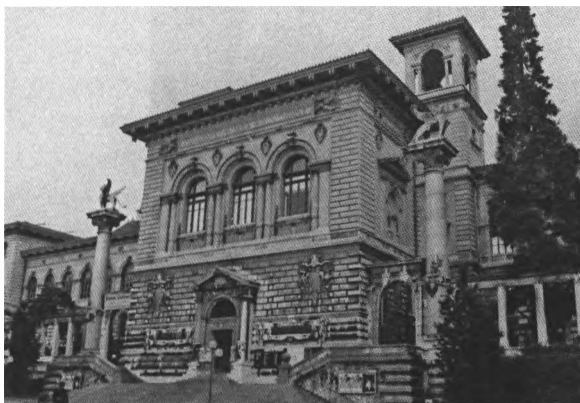
Открытие Дворца Рюмина состоялось 3 ноября 1906 года. Во дворце расположились и аудитории университета, и кантональная библиотека.

Некогда Карамзин предупреждал своих читателей не посылать сюда детей учиться: «По крайней мере я никому бы не советовал посылать детей своих в Лозанну, где разве только одному французскому языку можно хорошо выучиться». Однако, несмотря на это, количество русских детей в многочисленных лозаннских пансионах все время увеличивалось. Здесь провела несколько детских лет, например, художница Маргарита Сабашникова-Волошина. Здесь же в пансионе сестер Лаказ на бульваре Гранси (boulevard de Grancy, 3) в 1903–1904 годах живут сестры Марина и Анастасия Цветаевы.

«Как в родной, на лето покинутый дом, входят пансионерки в тяжелые двери серого каменного любимого пансиона Лаказ... — вспоминает в своих мемуарах Анастасия Ивановна. — Мы поднимались по узенькой лесенке. Что-то в ней напоминало Трехпрудный... Минуты рекреаций мы гурьбой, взрослые и маленькие, проводили в крошечном садике: огромный платан посередине, подстриженные кусты по бокам, гравий под ногами, и чудом тут умещались и азартные игры младших. Любимая Марусина была: полное сложных правил воинственное наступление двух рядов девочек друг на друга. Она была неутомима в этой игре».

Напротив пансиона находилась не сохранившаяся до наших дней кондитерская Юрлимана, куда девочки бегали покупать се-

Дворец Рюмина в Лозанне



Гавриил Рюмин



бе сладости: «Через солнцем залитый Бульвар-де-Гранси к зеркальным окнам кондитерской, к солнцем сбрызнутым витринам воздушных, эфирных, причудливейших, как из Шехерезады, сладостей, пирожных и тортов».

Пансионерок возили на экскурсии в горы, водили смотреть на народные лозаннские торжества: «Национальный швейцарский праздник – Fête des Bouchers (праздник мясников). Процессия в старинных нарядах, алебарды, бархат, позолота, музыка, знамена... Город разукрашен. Вся Лозанна на улицах. Мы под открытым небом, смотрим театральное представление».

В 1982 году по инициативе лозаннского профессора Кембалла (Kemball) на доме, где был когда-то пансион сестер Лаказ, установлена памятная доска.

Не только частные пансионы были наполнены детьми из России, но и в Лозаннском университете училось большое количество русских студентов. Кстати, и среди профессоров были русские. Так, с 1881 года профессором физиологии здесь был Александр Александрович Герцен – сын писателя.

О том, что учение как таковое стояло для студентов из России, как и в других швейцарских университетах, на втором плане, свидетельствуют воспоминания Ольги Лепешинской, поступившей на медицинский факультет в 1902 году. Муж, оставшийся в России, как вспоминает мемуаристка в своей книге «Путь в революцию», перед прощанием давал «последние советы и наказания и го-

Марина и Анастасия Цветаевы

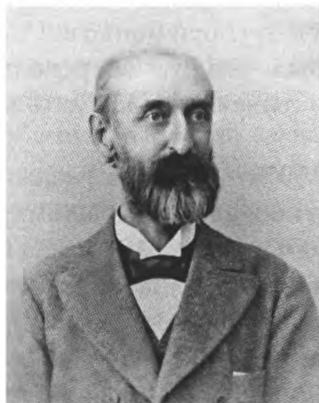


ворил: “Занимаясь естественными науками, помни и о политической работе”». Завет мужа не был забыт: «Вместе со мной в университете училось много других русских студентов, по тем или иным причинам не имевших возможности получить образование в России. Приглядевшись к ним и памятуя о том, что за наукой не должна забываться о партийной работе, я стала создавать из них социал-демократическую группу. Мы начали собираться, читать марксистскую литературу, обсуждать ее. Первое время занятия вела я сама, но вскоре почувствовала, что пороку мне не хватает. Тогда я обратилась к Плеханову, который жил тогда в Женеве. Самым бесцеремонным образом тормозила я его, приглашая приехать в Лозанну и прочесть нашей группе тот или иной реферат. Плеханов относился к моим просьбам отзывчиво и всегда приезжал».

Смело можно сказать, что в Лозанне перебивали с рефератами все главные ораторы русской политической эмиграции в Швейцарии. Более подробный рассказ об атмосфере, царившей в русской колонии Лозанны, находим в воспоминаниях «Из эмигрантской жизни в Швейцарии», написанных Семеном Клячко, ветераном революционного движения, бывшим народником, ставшим членом бюро и казначеем лозаннской группы эсеров. Описываемые события происходят в 1906 году.

«В Лозанне в то время скопилось значительное количество эмигрантов. Они разбились по группировкам; существовали организованные группы с.-д., с.-р., Бунда и др. Каждая группа имела свой

А.А.Герцен, сын А.И.Герцена



представительный выборный орган — бюро с секретарем во главе; при группе имелись: касса взаимопомощи, клуб библиотеки. Довольно значительная часть русских студентов примыкала к той или иной группе, но было также немало и беспартийных. Существовали и общеэмигрантская касса взаимопомощи, и довольно приличные библиотеки, руководимые политическими эмигрантами, избираемыми общеэмигрантским собранием.

Жило там и много русской буржуазии, бежавшей после 9 января и вообще событий 1905 г. Жили они обособленной жизнью в аристократической части города и в окрестностях — как Монтрё, Веве, Глион и др. Либеральная часть этой буржуазии оказывала материальную помощь общеэмигрантской кассе.

Имелись еще кавказские группы да несколько отдельных субъектов, называвших себя анархистами. Меж ними выделялся Сосо Давришев, бежавший по делу ограбления Тифлисского банка».

Именно революционная непримиримость кавказцев-анархистов становится причиной событий, возмутивших рутину эмигрантской жизни.

«Как-то у нас стало известно, — рассказывает Клячко, — что несколько анархистов, — так, по крайней мере, они себя называли, — собираются произвести в Лозанне экс. Немедленно было созвано общее собрание всех политических групп; председателем был избран я. На собрание были приглашены и анархисты, которые явились во главе с Сосо Давришевым.

После продолжительных дебатов собрание вынесло резолюцию, в коей указывалось, что в местах, служащих убежищем для политических эмигрантов, всякие экс недопустимы. Под давлением общего собрания Давришев от имени товарищей заявил, что они отказываются от своей попытки.

Однако Клячко забыл, что русская революционная традиция вполне допускает в тактических целях дать заведомо ложное обещание.

«В конце декабря 1907-го, — читаем дальше у Клячко, — к нам в бюро явился известный адвокат Владимир Бернштам, вызвал меня и сообщил, что часа три тому назад к кавказскому купцу Шриро, дочь которого была женой крупного лозаннского чиновника, явились трое человек, вооруженные револьверами, и, назвав себя анархистами, потребовали 5000 франков, необходимых для нужд их группы. Шриро заявил, что в данный момент у него денег нет, но обещал дать ответ завтра, в 12 часов. При-

грозив, в случае отказа, вооруженной силой, они ушли, обещав в указанное время явиться. Бернштам выразил уверенность, что у Шриро будет засада, которая захватит эксистов, и в результате эта история может принести много вреда делу эмиграции».

Клячко спешно созывает экстренное собрание всех эмигрантских групп.

«Часам к 9 собрались почти все. Председателем вновь избрали меня. Все выступавшие высказались за необходимость принять решительные меры, но ничего конкретного никто предложить не мог. Не могли же мы прибегать за помощью к местной администрации, бороться полицейскими мерами. Оставалось только отмежеваться от этих господ, указав, что они не являются членами политической эмиграции и что мы слагаем с себя ответственность за их действия».

Явились на собрание и сами «эксисты»: «Едва выслушав нас, они грубо заявили, что они ни с кем и ни с чем считаться не намерены, что они борются с буржуазией везде, где могут, что деньги им нужны для своих нужд и они их получают».

На следующий день Давришев отправляется к Шриро и попадает в засаду. Его и других анархистов арестовывают на месте преступления с револьверами в руках.

В течение двух дней были арестованы тридцать два человека, причем в тюрьме оказались и эсдеки, и эсеры, и бундовцы. Арестовали и Клячко, отвезя его в тюрьму, по местному обычаю, на трамвае. Все революционеры в самом скором времени были освобождены, поскольку, кроме как проживание по фальшивым документам, швейцарские власти ничего не могли инкриминировать своим русским гостям. Показательна в этом смысле и судьба анархистов. «Летом их судили, — комментирует события Клячко. — Дабы избежать могущего подняться вновь шума вокруг этого дела и не дать защите повода к кассации или апелляции, суд, несмотря на то что обвиняемые были захвачены на месте с оружием в руках, вынес всем оправдательный приговор».

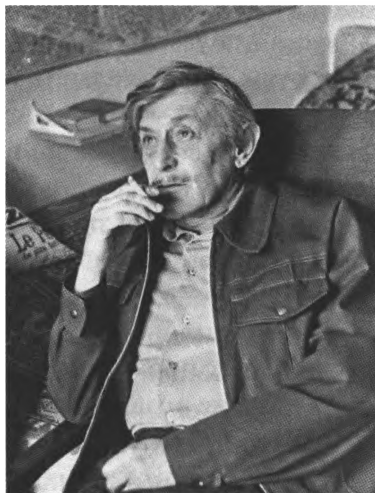
Среди лозаннских эсеров — молодой человек по фамилии Ульянов. Студент из Лозанны ездил в Россию принимать участие в Московском восстании. После поражения вернулся, занялся геологией и больше на родину не возвращался. Имя свое он прославил в науке. Французское правительство поручит ему исследовать Монблан, и за эту работу русский геолог будет удостоен ордена Почетного легиона. Через много лет судьба его удиви-

тельным образом переплетется с судьбой писателя Виктора Некрасова, лауреата Сталинской премии, автора знаменитого в свое время романа «В окопах Сталинграда».

«В Лозанне спокон веков жил вместе со своей женой, маминой сестрой, — напишет Некрасов в своей автобиографической книге «По обе стороны стены», — профессор геологии Лозаннского университета Николай Алексеевич Ульянов (упаси Бог спросить, не родственник ли), а для меня дядя Коля. Жил в маленькой, загроможденной от пола до потолка книгами двухкомнатной квартире на Монрепо, 22. Совсем один — теть Вера умерла лет 15 тому назад. И действительно, я приехал по его приглашению на три месяца, как значилось в моем паспорте». Так по приглашению «дяди Коли» сталинский лауреат оказался в женевской эмиграции.

Жили в Лозанне в последние дореволюционные годы, разумеется, не только политические эмигранты. Была и другая русская Лозанна, для которой главными событиями не были рефераты Плеханова, Чернова или Ленина в Народном доме (здание не сохранилось). Русским консулом (нештатным) в Лозанне был с 1911 по 1915 год Николай Скрябин, отец композитора. У него на авеню Уши (avenue d'Ouchy, 27) и жил Александр Николаевич в 1913 году. О своих встречах со Скрябиным писал в одном из писем Стравинский: «Тут

В.П.Некрасов



в Lausann'e проживал некоторое время Скрябин (у своего отца), я с ним видался. Меня поразило, что он о моих сочинениях ничего не знает и говорит о них понаслышке со слов других...»

Жил в Лозанне Александр Николаевич и раньше — с осени 1907-го до лета 1908 года, на Сквер-де-ла-Арп (Square de la Harpe, batiment C). Здесь он работал над Пятой сонатой. В феврале 1908-го Скрябин писал своему другу и благодетельнице Маргарите Морозовой, что живет «как в котле». «Хотя с внешней стороны, — сообщает композитор, — наша жизнь не отличается разнообразием, зато внутренняя кипит. Много обдумываю, много сочиняю, przygotowляю материал для лета, когда работается лучше. С нетерпением ожидаю весну, которая послала уже улыбку в виде нескольких чудных дней. Вообще, несмотря на все ее недостатки, я очень люблю Швейцарию». Кстати, здесь же, в Лозанне, у Скрябиных родился сын Иулиан — зимой 1908 года.

Многие останавливаются в Лозанне проездом на несколько дней. Так, например, из Женевы приезжает в 1899 году и останавливается в Уши, в отеле «Бо-Риваж», Владимир Соловьев. «Лозанна есть город не столько поэтический, сколько педагогический, — пишет философ и поэт своему знакомому Стасюлевичу 26 мая, — что явствует уже из ее названия, которое, очевидно, происходит от русского слова «лоза». Название же Уши, по мнению некоторых, также имеет педагогический смысл, а по другим — кулинарный, будучи лишь французским произношением русского восклицания «ухи!», что подтверждается и озером, кишашим форелями». В Лозанне Соловьев пишет предисловие к переводу сочинений Платона. В начале июня он отправляется в Петербург, проведя еще два дня в Базеле.

В 1900 году проезжает через Лозанну во время своего первого путешествия по Швейцарии Бунин. «На закате, — рассказывает он в письме брату 18 ноября 1900 года, — видели славную картину — все озеро густо-лиловое и солнечный столб по нем необыкновенно желтый, яркий. В Лозанне переночевали, вышли — туманно, мягко, нежно и колоссальные снеговые горы к югу сквозь туман. Внизу — озеро в белесой светлой мгле. Потом зашли на гору, обрыв — виноградники лицом к югу, к солнцу — опять Италия. В чудных виллах среди садов — фортепьяно, славные звуки в солнечный день». Из Лозанны Бунин со своим товарищем Куровским отправляется по железной дороге в Веве и Монтрё.

В Лозанне жил Лев Шестов. Здесь в 1902 году он закончил свою работу о Толстом и Ницше и начал книгу о Достоевском и Ницше. Незадолго до этого он женился на православной студентке-медичке Анне Березовской, которая училась сначала в Цюрихе, потом в Берне и затем в Лозанне. Отец Шестова, ортодоксальный иудей, крупный коммерсант, так до самой смерти и не узнал об этом браке — долгие годы Шестову и его супруге приходилось хранить эту тайну и жить врозь, причем по тогдашним русским законам брак этот считался недействительным, а две дочери — незаконнорожденными. В ноябре 1903 года Шестову пришлось из-за болезни отца вернуться из Лозанны в Киев и несколько лет работать на отцовской мануфактуре. С 1910 года он с семьей снова приезжает в Швейцарию, но селится на несколько лет уже не в Лозанне, а в Коппе, городке, расположенном тоже на Женевском озере.

В 1911 году через Лозанну возвращается в Россию из Парижа, где он ставил вместе с Сулержицким «Синюю птицу» Метерлинка, Евгений Вахтангов. В дневнике режиссер записывает: «31/13 февраля 1911 г. Утром в 8 часов в Лозанне. Походили по городу. Были около университета. Весной здесь, наверное, хорошо. Фуникулом до Уши».

Лозанна — это и город Дягилева. С началом мировой войны он переезжает в Швейцарию. Сперва в апреле 1915 года Дягилев

Л.С.Бакст, С.П.Дягилев, И.Ф.Стравинский. Лозанна



живет в Монтрё, в гостинице «Монтрё-Палас», потом май проводит в отеле «Бо-Риваж» в Уши, а затем снимает тут же виллу «Бельрив» (Belle Rive) и живет здесь в течение шести месяцев. Сюда к нему перебираются многие артисты и художники из его труппы, здесь живут танцовщик Мясин, художники Ларионов, Гончарова, часто приезжает из Женевы Бакст, из недалекого местечка Морж – на велосипеде – Стравинский. Труппа готовится в это время к турне по Америке. В 1915 году Дягилев устраивает в Женеве спектакль в пользу Красного Креста.

В том же 1915 году в Лозанну осенью приезжает из Дорнаха Андрей Белый. Здесь в кафедральном соборе с русским антропософом происходит весьма мистическая встреча, о которой пишет в своих воспоминаниях его жена Ася Тургенева. Речь идет о таинственной Анне Минцловой, оккультистке и провидице, открывшей Белому теософию. Ее загадочное исчезновение в 1910 году до сих пор остается и, наверно, навсегда останется нераскрытой тайной. «...Прежде чем «исчезнуть», — пишет Тургенева, — она передала Бугаеву свое кольцо и назвала несколько мест из Евангелия, что должно было служить ему «опознавательным знаком» для возможной будущей встречи, которая могла состояться в 1912 г. Естественно, что Бугаев, не ожидая в прямом смысле этой встречи, все же не исключал такой возможности. В странной форме нечто подобное действительно произошло. <...> Приблизительно в 1915 г. у Бугаева была странная встреча в Соборе в Лозанне. После краткого разговора с пожилым, незнакомым ему господином, этот последний вынул из кармана книжку и торжественно прочел те самые «опознавательные» места из Евангелия, о которых некогда говорила ему Минцлова. Затем он попрощался и ушел. «Встреченный вами господин, — сказал позднее Штейнер, — не имеет ко всему этому ни малейшего отношения. Фрейлен Минцлова умерла и не могла найти покоя, не закончив начатого ею дела. Это она говорила через того господина»».

Часто приезжал в Лозанну Стравинский. Поводом служили его встречи со швейцарским писателем Рамю, точнее, их совместная работа над «Историей солдата». Стравинского, потерявшего, как и многие русские, жившие в Швейцарии, после большевистского переворота источники доходов, поддерживал известный меценат из Винтертура Вернер Рейнхарт. С его помощью в 1918 году Стравинский устроил несколько концертов в Женеве, Лозанне, Цюрихе. Промышленник дал деньги на совместную

работу с Рамю над спектаклем по сказкам Афанасьева. В основе лежали приключения солдата и черта. Премьера состоялась в Лозанне 29 сентября 1918 года в Городском театре (Théâtre municipal). В спектакле приняли участие Питоевы, приехавшие из Женевы. Георгий танцевал Черта, Людмила – принцессу. План «кочевать» с «Солдатом» по всей Швейцарии, однако, не осуществился. В послевоенной Европе свирепствовала «испанка» – грипп. Вся труппа заболела.

С революцией наступает перелом в жизни русской колонии. Мечтавшие о новой России уезжают на родину, «кровью умытую». Им навстречу устремляется другой поток. Он состоит, прежде всего, из русских швейцарцев, потерявших в большевистской России все нажитое благополучие. Среди них – воспитатель расстрелянного на Урале цесаревича Пьер Жильяр. Он селится в Лозанне, преподает в университете и пишет здесь свои знаменитые воспоминания.

Отметим, кстати, что брат Пьера, Эдмонд Жильяр, будет, наоборот, проявлять симпатии к большевикам и окажется среди основателей общества Швейцария–СССР.

Другой русский швейцарец, Мориц Конради, еще раз накрепко связывает Лозанну с Россией. 10 мая 1923 года в отеле «Сесиль» (Cecil, avenue Louis Ruchonnet, 53, с 1931 года здесь располагается больница) раздаются револьверные выстрелы, прогремевшие на весь мир. Здесь, в ресторане при гостинице, сидели

Е.П.Блаватская



А.Р.Минцлова



члены дипломатической делегации из Советской России. Молодой человек долго наблюдал за ужинавшими, потом подошел и выстрелил несколько раз в упор. Воровский, глава делегации, был убит первыми двумя выстрелами, еще два советских дипломата, Аренс и Дивильковский, ранены.

Дед Конради переселился в Россию из Швейцарии и кормил весь Петербург конфетами и шоколадом, организовав свое дело — фабрику и сеть кондитерских. Во время войны Мориц воевал на немецком фронте за Россию, получил награды. Пришла революция. Отец и брат его погибли во время большевистского террора. Мориц вступил в Добровольческую армию и сражался с большевиками до конца, до Константинополя.

На суде Конради заявил: «Я считал, что будет услугой миру освободить его от одного из гнусных злодеев. <...> Если бы уничтожить дюжину главарей, правительство большевиков распалось бы и многие тысячи жизней были бы спасены». Процесс убийцы Воровского стал, по существу, первым процессом против большевизма.

Об отношении в Швейцарии к убийце ярко говорит отрывок из отчета сотрудника ГПУ, посланного в Швейцарию для проведения специального расследования. 19 мая он пишет из Лозанны в Москву Литвинову: «Обращение с преступником трудно себе представить, не будучи здесь, на месте. Представитель иллюстрированного журнала, захотевший сфотографировать преступника, встретился с ним в одной кондитерской. Жандарм сидел подле и пил кофе».

Мориц Конради



16 ноября 1923 года Конради был оправдан лозаннским судом присяжных и выпущен на свободу. Большевики, разумеется, отомстили. Брат и сестра Морица, оставшиеся в России, были арестованы. Приведем и комментарий Троцкого из его воспоминаний о Воровском: «Иначе и не могли поступить добродетельные швейцарские присяжные, почтенные собственники, которые с ужасом думали о большом и цветущем шоколадном предприятии, вырванном большевиками из рук преуспевающего компатриота».

Оправдательный приговор лозаннских присяжных сыграл роковую роль в отношениях между коммунистической Россией и Швейцарией. На долгие годы двусторонние связи были практически заморожены, и в течение нескольких десятилетий Москва и Берн даже не имели дипломатических представительств.

Русская эмигрантская колония в Лозанне была немногочисленной, но и здесь теплилась русская культурная жизнь в изгнании. В 1920 году, например, при участии эсера Вадима Руднева здесь выпускалась газета «Родина».

Русская община проводит в те годы свои собрания, которые организует «Национальная русская группа в Швейцарии», основанная в 1926 году и объединявшая выходцев из России, существует также воскресная школа для русских детей. Интересно, что у самого известного русского жителя Лозанны, Николая Рубакина, складываются далеко не лучшие отношения с соотечественниками. Рубакин переезжает сюда из Кларана в 1922 году, находит большую квартиру в верхней части города на Авеню-де-Мускин (avenue des Mousquines) и перевозит сюда свою библиотеку. Библиофил получает солидную пенсию из СССР, русская община считает его «красным», и общения с ним представители «белой» эмиграции избегают.

В Лозанну к Рубакину приезжают редкие гости из СССР. В 1932 году его сын Александр привозит на автомобиле из Женевы Луначарского, приехавшего в Швейцарию заместителем Литвинова на конференцию по разоружению. «Впрочем, — пишет Александр Рубакин в своих мемуарах «Над рекой времени», — у моего отца мы просидели недолго. Разговор не клеился. Отец мой на радостях, что встретился со старым приятелем, говорил без умолку, рассказывал ему о своих первых работах по теории созданной им новой отрасли психологии — библиопсихологии. Луначарский не любил и не умел слушать, он привык, чтобы его самого

слушали. Мы вскоре расстались с моим отцом и поехали дальше, к Роллану». Умер Рубакин в 1946 году.

У жившей в Лозанне дочери Герцена — Натальи Александровны, умершей в 1936 году в возрасте девяности двух лет, хранился бесценный архив знаменитого писателя. Перед смертью Наталья Александровна хотела передать документы и книги лозаннскому музею, но ей отказали, сославшись на нехватку места. Часть архива была отправлена в русскую библиотеку в Праге. Основную массу документов в 1938 году приобрел Международный институт социальной истории в Амстердаме.

Еще один известный житель эмигрантской Лозанны — Федор Измайлович Родичев, юрист, активный участник земского движения, один из основателей и лидеров кадетской партии, депутат всех Дум, прозванный за свои темпераментные речи «русским Мирабо». За использование в думском выступлении выражения «столыпинские галстуки» Родичев в 1907 году был вызван Столыпиным на дуэль. Ярый противник любого вида человеческого унижения, в своих становившихся сразу знаменитыми речах утверждал, что «...тот, кто задерживает эволюцию, тот создает революцию», что «надругательство над русским человеком есть ремесло русского правительства» и что долгом его поколения является «обосновать господство права над силой». После февраля 1917 года Родичев работает комиссаром Временного правительства по делам Финляндии. С приходом к власти большевиков он вступает с ними в яростную борьбу, поддерживает всеми силами дело Добровольческой армии. В эмиграции он, видя отсутствие какой-либо перспективы, отходит от политики и селится в Лозанне, где испытывает большие материальные трудности и живет до своей смерти в 1933 году на пособие швейцарского Красного Креста и за счет помощи друзей.

В сентябре 1937 года в заголовки газет попадает еще одно убийство в Лозанне, след которого также тянется из России. 4 сентября в Уши был убит Игнатий Станиславович Порецкий, он же Игнац Рейсс, агент сталинского Интернационала, решивший порвать со своими хозяевами и партией, которой «посвятил шестнадцать лет нелегальной деятельности», как он написал в своем открытом письме в ЦК в Москву.

Перебежчик решил посвятить теперь свою жизнь борьбе со своими бывшими товарищами и нанести «поражение Сталину

и сталинизму». Копия письма была опубликована в голландской социал-демократической газете в июле 1937 года. Боясь мести, Порецкий бежал из Парижа в Швейцарию с женой и сыном. Прятался бывший агент НКВД в Валлисе, в горной деревушке Фино на границе с Францией.

Порецкий был вызван в Лозанну своей бывшей знакомой Гертрудой Шильдбах (Gertrude Schildbach), еврейкой-коммунисткой, бежавшей от нацистов, с которой он проработал вместе много лет и которой доверял. Гертруда, сделав вид, что разделяет взгляды Порецкого, сказала, что хочет познакомить его с двумя товарищами. Товарищами этими были агенты НКВД Ролан Аббиат (Roland Abbiate) и Шарль Мартина (Charles Martignat). Если последний, сын крестьянина с юга Франции, представляет из себя довольно темную личность, то Аббиат вызывает наш интерес тем, что он родился в России, в семье профессора Петербургской консерватории. Родители его бежали от большевиков в 1920 году. Он относился к той части эмиграции, которая со временем изменила свои взгляды на сталинский режим и пошла на сотрудничество с советской разведкой.

Примером такой трансформации может служить еще один участник группы, готовившей убийство, — бывший белогвардейский офицер Сергей Эфрон, муж Марины Цветаевой. Его роль заключалась в координации из Парижа двух групп, отправленных в Швейцарию. Ко второй группе принадлежал Вадим Кондратьев, осуществлявший наблюдение в районе Мартини, где в местечке Фино скрывался Порецкий. За несколько часов до убийства Кондратьев был остановлен на вокзале в Лозанне полицейскими, которые обратили внимание на его нервное поведение, но он представился туристом с нансеновским паспортом и был отпущен. Кондратьев должен был в случае необходимости подстраховать группу Аббиата, но потребность в его участии отпала — уже за час до убийства он был у себя в отеле в Мартини, где нашел телеграмму из Лозанны: «Вы свободны, возвращайтесь домой».

Порецкий приехал с женой в Лозанну и остановился в гостинице «Континенталь» (Continental) 4 сентября 1937 года. В тот же вечер они отправились ужинать с Гертрудой Шильдбах, которая не решилась, следуя инструкции, передать коробку с отравленными конфетами жене Порецкого. Коробка с шоколадом, начиненным стрихнином, будет позже найдена швейцарской полицией. Потом Гертруда и Порецкий спустились на фуникулере

в Уши. Там они сели в автомобиль, где их уже поджидали убийцы, и отправились в сторону Монтрё, но поездка оказалась недолгой. После удара дубинкой по голове в Порецкого было выпущено восемь пуль. Его труп выбросили на тротуар в районе Уши, называемом Шамбланд (Chamblandes). В кулаке Порецкого был зажат клочок волос Шильдбах.

Убийцы благополучно скрылись во Франции, бросив свои вещи в гостинице «Отель-де-ла-Пэ» (Hôtel de la Paix) в Лозанне, а взятый напрокат автомобиль — в Женеве. Вскоре после убийства Порецкого Аббиат, Кондратьев и Эфрон бежали в СССР, но пережили они свою жертву ненадолго.

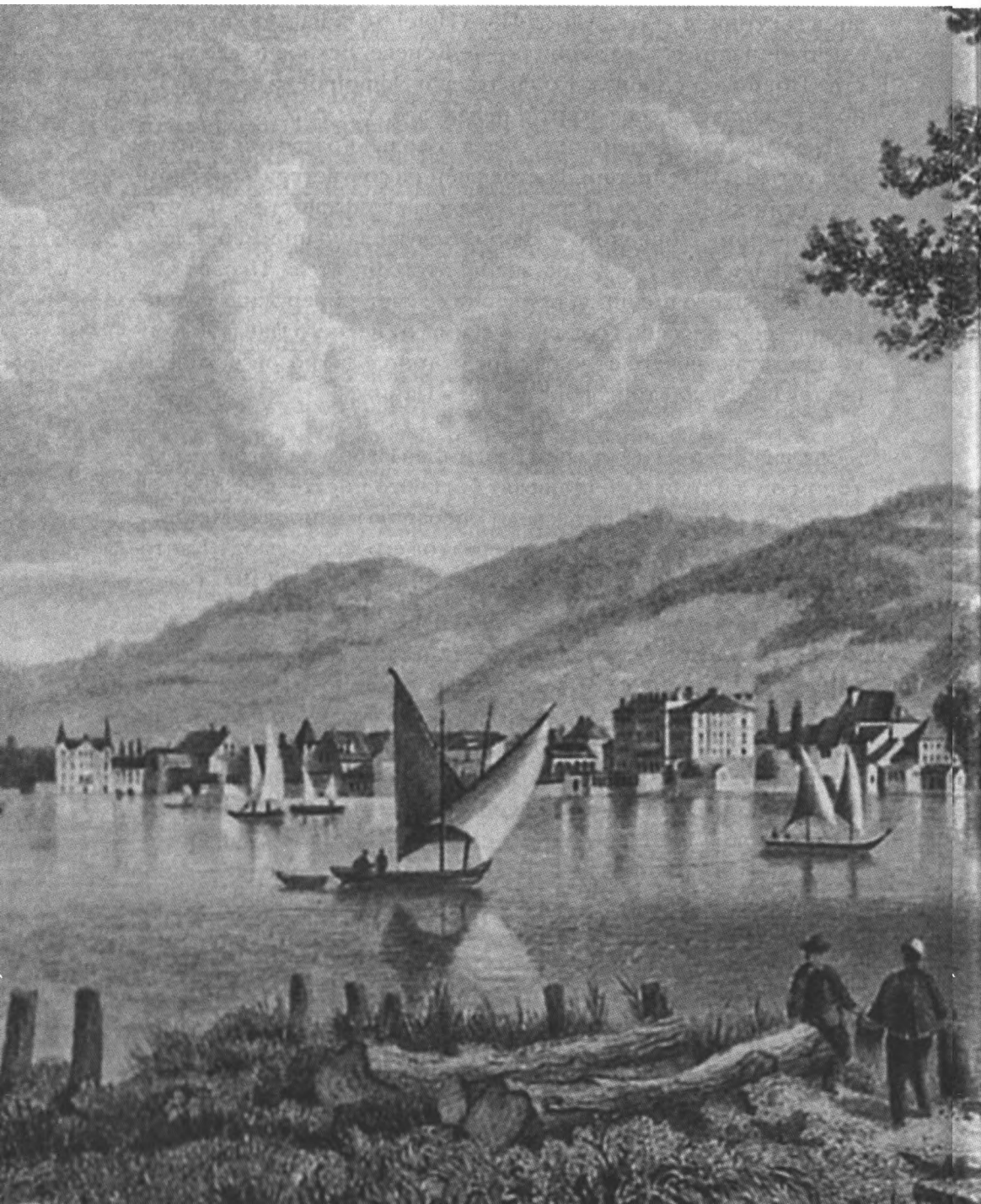
Отметим, что Порецкий обладал довольно развитой агентурной сетью в Швейцарии, состоявшей из сочувствовавших коммунистическим идеям интеллектуалов-антифашистов. «Почтовым ящиком» Порецкого в Цюрихе служила, например, Елена Гессе (Helen Hesse), невестка знаменитого писателя. После убийства Порецкого полиция, проверив ее счет, обнаружила ежемесячные перечисления солидной суммы от некоего Павла Лысенко, представлявшего в свою очередь Арнольда Грозовского, секретаря советской торговой миссии в Париже.

Связана Лозанна и с именем Владимира Набокова. В город, в котором он часто бывал, привозят больного писателя из Монтрё в октябре 1975 года — ему делают операцию в клинике «Моншуази» (Clinique de Montchoisi), а через год его доставляют в Кантональный госпиталь — здесь писатель умирает 2 июля 1977 года.

XV

В сторону Набокова

ОТ ЛОЗАННЫ ДО ШИЛЬОНА





В.В.Набоков



«Осень в Веве наконец настала прекрасная, почти лето. У меня в комнате сделалось тепло, и я принялся за «Мертвых душ», которых было начал в Петербурге. Все начатое переделал я вновь, обдумал более весь план и теперь веду его спокойно, как летопись. Швейцария сделалась мне с тех пор лучше, серо-лилово-голубо-сине-розовые ее горы легче и воздушнее. Если совершу это творение так, как нужно его совершить, то... какой огромный, какой оригинальный сюжет! Какая разнообразная куча! Вся Русь явится в нем!»

Н.В.Гоголь. Из письма Жуковскому, 12 ноября 1836 г.



Женева

Фрайбург

Лозанна

Шильон

«**В** пять часов поутру вышел я из Лозанны с весельем в сердце — и с Руссовою «Элоизою» в руках. Вы, конечно, угадаете цель сего путешествия. Так, друзья мои! Я хотел видеть собственными глазами те прекрасные места, в которых бессмертный Руссо поселил своих романических любовников». Для первых поколений русских путешественников Веве и Кларан — прежде всего места литературных поклонений. Здесь витает дух героев Руссо. Сюда, на берега Женевского озера, где происходит действие знаменитого романа, отправляется Карамзин. «В девять часов был я уже в Веве (до которого от Лозанны четыре французских мили) и, остановясь под тенью каштановых деревьев гульбища, смотрел на каменные утесы Мельери, с которых отчаянный Сен-Пре хотел низвергнуться в озеро...»

Сам Веве вызывает у русского поклонника женевского писателя восторг: «О сем городе скажу вам, что положение его — на берегу прекраснейшего в свете озера, против диких савойских утесов и подле гор плодоносных — очень приятно. Он несравненно лучше Лозанны; улицы ровны; есть хорошие дома и прекрасная площадь. Здесь живут почти все дворяне Французской Швейцарии или *Raude-Vaud*; за всем тем Веве не кажется многолюдным городом».

Вслед за Карамзиным в эти места устремляются все путешествующие русские литераторы. Жуковский устанавливает еще одну традицию: оставаться здесь на несколько месяцев и писать. В первый раз Жуковский приезжает в Веве в 1821 году, много работает, ходит пешком в Кларан, ездит озером в Шильонский замок. «Я плыл туда, читая *The Prisoner of Chillon*, и это чтение очаровало для воображения моего тюрьму Бониварову...» В Веве Жуковский начинает переводить «Шильонского узника» на другой день после поездки.

Неподалеку, между Клараном и Монтрё, проводит поэт осень и зиму 1832—1833 годов. Жуковский переводит баллады Уланда, перелагает в стихи повесть Ламотт-Фуке «Ундина», рисует окрестности. Отсюда он пишет письма воспитаннику, цесаревичу, будущему императору Александру Освободителю, развивая в них свою «горную философию». В ту зиму поэт живет здесь вместе с семьей своего друга-живописца Евграфа Романовича Рейтерна, — на его пока что двенадцатилетней дочери Жуковский женится в 1841 году, когда ему будет пятьдесят восемь лет, а ей семнадцать.

Осенью 1836 года приезжает в Веве Гоголь. Он пишет матери 21 сентября из Лозанны: «Теперь я еду в Веве, маленький городок недалеко от Лозанны. В этом городе съезжаются путешественники, и особенно русские, с тем чтобы пользоваться виноградным лечением. Этот образ лечения для вас, верно, покажется странным. Больные едят виноград и ничего больше, кроме винограду. В день съедают по несколько фунтов, наблюдают диету, и после этого виноград, говорят, так делается противен, что смотреть не захочется». Привлекает его, разумеется, не виноградная диета. Писатель ищет место, где он сможет осуществить свой замысел, — рождаются «Мертвые души».

Из письма Жуковскому 12 ноября 1836 года: «Никого не было в Веве... Сначала мне было несколько скучно, потом я привык и сделался совершенно Вашим наследником: завладел местами Ваших прогулок, мерил расстояние по назначенным Вами верстам, колотя палкою бегавших по стенам ящериц...» О своем новом произведении Гоголь пишет: «Это будет первая моя порядочная вещь — вещь, которая вынесет мое имя. Каждое утро, в при-

Н.В.Гоголь



бавление к завтраку, вписывал я по три страницы в мою поэму, и смеху от этих страниц было для меня достаточно, чтобы усладить мой одинокий день. Но наконец и в Веве сделалось холодно. Комната моя была нимало не тепла; лучшей я не мог найти». Зиму Гоголь намеревался провести в Италии, но там свирепствовала холера, и он уезжает продолжать работу над «Мертвыми душами» в Париж.

Осенью 1859 года живет здесь Тютчев с дочерью Дарьей, служившей при дворе вдовствующей императрицы Александры Федоровны, супруги Николая I. Высочайшая вдова — поклонница поэта. Дарья пишет сестре Екатерине из Веве 15 (27) сентября: «Императрица уже дважды приглашала его — один раз на обед, а вчера он был украшением ее вечера. Она просила у него книжку его стихов, которую папа постоянно забывает принести».

Приезжает в Веве и Петр Андреевич Вяземский. В октябре 1864 года он пишет здесь стихотворение «Вевейская рябина» и посвящает его внучке, с которой семидесятидвухлетний поэт прогуливался по берегу озера. Стихотворение заканчивается такими строчками:

Быть может, думою печальной
Прогулку нашу вспомнишь ты,
И Леман яхонтно-зерцальный,
И разноцветных гор хребты,

Красивой осени картину,
Лазурь небес и облака,
Мою заветную рябину,
А с ней и деда-старика.

Об образе жизни русской аристократии говорит такая деталь, которую находим в воспоминаниях Марии Клейнмихель «Картинки ушедшего мира». В качестве фрейлины мемуаристка сопровождала в 1868—1869 годах великую княгиню Александру Иосифовну, вдову великого князя Константина Николаевича, второго сына императора Николая I, в путешествии за границу. В Веве великосветское общество останавливается в отеле «Монне» (Monnet, идентичен с Des Trois Couronnes), куда привозят и фортепьяно великой княгини, поскольку она не соглашалась играть ни на каком другом. Уже Клейнмихель обращает внима-

ние на большое количество соотечественников, встреченных ими в Веве.

О наплыве русских, устремившихся на берега Женевского озера в шестидесятых годах, Герцен замечает: «Прежде было покойно и хорошо на берегу Лемана; но с тех пор, как от Вевея до Вето все застроили подмосковными и в них выселились из России целые дворянские семьи, исхудалые от несчастья 19 февраля 1861, — нашему брату там не рука».

Однако не только дворянская публика селится по берегам Лемана, все заметней становится здесь и Россия «разночинная». Курортные местечки между Лозанной и Шильоном приходятся по вкусу «революционно-демократической» эмиграции.

В Веве на Итальянской улице (rue d'Italie, 58) живет в 1867 году один из лидеров «молодой эмиграции» Николай Утин. В том же году публикует здесь Александр Серно-Соловьевич свой ядовитый памфлет против Герцена «Наши домашние дела», в котором обвиняет патриарха русского освободительного движения в нелюбви к «молодой эмиграции»: «Когда эти юноши со святыми ранами, о которых вы проливали слезу, сделались вдруг эмигрантами и, спасаясь в Швейцарии от каторги и виселицы, ободранные и голодные, обратились к вам, вождю, миллионеру и неисправимому социалисту, обратились не с просьбой о насущном хлебе, а с предложением общей работы, вы отвернулись и с гордым презрением отвечали: Что это за эмиграция? Я не признаю эмиграции! Не надо эмиграции!»

В сентябре 1868 года живший по соседству в Кларане Бакунин издает в Веве с помощью осевших здесь «молодых» эмигрантов Николая Утина и Николая Жуковского первый номер журнала «Народное дело» (об этом ниже).

Лето 1868 года проводит в Веве Достоевский. На угловом доме Рю-дю-Сентр и Рю-дю-Симплон (rue du Centre/rue du Simplon) установлена мемориальная доска.

5 июля писатель сообщает свои впечатления о городке в письме племяннице Соне Ивановой: «Что же касается до Вевея, то Вы, может быть, и знаете — это одна из первых панорам в Европе. В самом роскошном балете такой декорации нету, как этот берег Женевского озера, и во сне не увидите ничего подобного. Горы, вода, блеск — волшебство. Рядом Монтрё и Шильон. (Шильонский узник, не помните ли старый перевод Жуковского)». Но тут

же, оставаясь верным себе, Достоевский ругает свое новое местожительство на чем свет стоит: и русских газет нет, и «книжная лавка одна. Галерей, музеев и духу нет: Бронницы или Зарайск! — вот вам Вевей! Но Зарайск, разумеется, и богаче и лучше».

Месяцы жизни Достоевских в Веве наполнены работой над «Идиотом» и трагическими воспоминаниями — они бежали сюда из Женевы после смерти дочери. «За все четырнадцать лет нашей супружеской жизни, — пишет Анна Григорьевна, — я не запомню такого грустного лета, какое мы с мужем провели в Веве в 1868 году. Жизнь как будто остановилась для нас; все наши мысли, все наши разговоры сосредотачивались на воспоминаниях о Соне и о том счастливом времени, когда она своим присутствием освещала нам жизнь. Каждый встретившийся ребенок напоминал нам о нашей потере, и, чтобы не терзать свои сердца, мы уходили гулять куда-нибудь в горы, где была бы возможность избежать волновавших нас встреч».

«Есть минуты, которых выносить нельзя, — пишет Достоевский Майкову 4 июля/22 июня 1868 года. — Она уже меня знала; она когда я, в день смерти ее, уходил из дома читать газеты, не имея понятия о том, что через два часа умрет, она так следила и провожала меня своими глазками, так поглядела на меня, что до сих пор представляется и все ярче и ярче. Никогда не забуду и никогда не перестану мучиться!»

Хотя в то же время в маленьком городке живет много русских — только в одном отеле «Три короны» (Trois Couronnes) в то же

Дом в Веве, где Достоевские жили в 1868 году



время живут, например, внуки альпийского героя, князя Александр Аркадьевич Суворов, бывший санкт-петербургский генерал-губернатор, и Константин Аркадьевич Суворов, гофмейстер двора, а также барон Будберг, граф Шувалов, — но Достоевский избегает каких-либо контактов как с революционной публикой, так и с аристократической. Он работает день и ночь, стараясь за письменным столом забыть о пережитом горе, а для отдыха уходит гулять прочь из городка, поднимается к церкви Св. Мартина (St-Martin), часами смотрит на озеро и суровые Савойские горы.

В Веве Достоевскому попадается нашумевшая в то время книга «Тайны царского двора» (Les mystères du Palais des Czars), написанная неким Паулем Гриммом и изданная в 1868 году в Вюрцбурге. Чтение этого бойко состряпанного бульварного романа в немалой степени прибавило заграничных огорчений писателю. Действие книги происходит в последний год царствования Николая Павловича. Достоевский, выведенный под своим именем одним из главных действующих лиц, возвращается из Сибири, куда был сослан по делу Петрушевича (так Гримм переименовал фамилию Петрашевского), и снова участвует в тайном заговоре. Революционеры собираются в каком-то подвале, полиция их выслеживает, Достоевского арестовывают. От писателя требуют выдать своих товарищей, жандармы подвергают его пыткам и отправляют в Петропавловскую крепость. Жена Достоевского в отчаянии и, чтобы спасти его, добивается аудиенции у самого царя. Николай прощает ослушника, счастливая женщина с радостной вестью спешит в крепость, но писатель уже выслан в Сибирь и по дороге умирает в Шлиссельбурге. Жена Достоевского уходит в монастырь. Николай кончает самоубийством.

Возмущенный прочитанным, Достоевский берется даже за открытое письмо издателям. Вся эта история не прибавила ему симпатий к Западу.

«О, если б Вы понятие имели об гадости жить за границей на месте, — пишет он из Веве Майкову, — если б Вы понятие имели о бесчестности, низости, невероятной тупости и неразвитости швейцарцев. Конечно, немцы хуже, но и эти стоят чего-нибудь! На иностранцев смотрят здесь как на доходную статью; все их помышления о том, как бы обманывать и ограбить. Но पुще всего их нечистоплотность! Киргиз в своей юрте живет чистоплотнее... Я ужасаюсь; я бы захохотал в глаза, если б мне сказали это прежде про европейцев. Но черт с ними! Я ненавижу их дальше

последнего предела! Но в Женеве по крайней мере я имел газеты русские, а здесь ничего. Для меня это очень тяжело!»

Ве́ве знаменит тем, что здесь построена вторая после Женевы русская православная церковь в Швейцарии. Храм расположился на улице Коммуно (rue des Communaux, 12) рядом с полотном железной дороги, спрятавшись за музеем Ениш (Jenisch). История построения церкви такова. К числу аристократических семейств из России, подолгу живших в «Трех коронах», принадлежали и граф Петр Шувалов с супругой. Во время пребывания в Ве́ве умирает при родах их двадцатидвухлетняя дочь. Вместе с младенцем ее хоронят на местном кладбище Сен-Мартен на горе, возвышающейся над городком. Желание отца, чтобы тела дочери и внуки покоились рядом с православным храмом, приводит его к мысли построить здесь русскую церковь. Церковь была построена швейцарцем Самуэлем Кезе-Доре (Samuel Keser-Doret) в 1878 году по планам, подготовленным русским архитектором Ипполитом Антоновичем Монигетти, но община городка воспротивилась перезахоронению. Останки Варвары Орловой, урожденной Шуваловой, были перенесены сюда лишь в 1950 году.

Неоднократно в Ве́ве приезжает Чайковский, например, в 1873 году по просьбе своей сестры, Александры Ильиничны Давыдовой, он подыскивает пансион для ее дочерей: «Как только приехал и остановился в Monnet, отправился искать пансион для Сашки». Из Ве́ве композитор отправляется на прогулки по окрестностям — совершает осмотр Монтрё и Шильона. В поздние приезды он ходит в уже построенную церковь. Так, в письме Александру Чайковскому из Кларана он сообщает 7 (19) января 1879 года: «В Ве́ве я бы очень хотел сходить в церковь. Теперь та церковь, которую ты видел незаконченной, уже освящена и там проводятся службы».

В этой церкви венчается в 1902 году будущий известный философ русской эмиграции Николай Лосский. Молодые живут в пансионе в Шаи над Клараном. После венчания в Ве́ве свадьба отправляется на вершину Мон-Пельран. «Потом мы всею компанию поднялись на фуникулере на Mont Pélerin, — пишет Лосский в своих воспоминаниях, — там пили чай, любуясь на озеро. Вся компания была настроена очень весело; мое приподнятое состояние выразилось в том, что, подписываясь под общим письмом,

посланным нами в Россию, я написал свою фамилию с тремя с».

В Веве, как и в других городках по берегам Женевского озера, было много учебных заведений, куда отправляли состоятельные русские своих чад. Многие пансионы даже специализировались на приеме детей из России. Так, например, в «Русском Бедекере» по Швейцарии за 1909 год можно увидеть рекламу: «Русское подготовительное училище для мальчиков и девочек Е.Д.Озеровой. Веве, вилла Von Séjour, rue la Prairie 8».

Еще несколько слов о «самой русской» гостинице Веве — уже упоминавшемся отеле «Три короны». Начало традиции останавливаться в этой гостинице положил еще Павел с супругой Марией Федоровной в 1782 году, переночевав здесь со своей небольшой свитой, в которой находился между прочих Христофор Иванович Бенкендорф — отец знаменитого Александра Христофоровича. Книги записей гостей этой старейшей гостиницы хранят немало имен богатых русских путешественников.

Связаны «Три короны» и с творчеством Набокова. 16 февраля 1966 года сюда были приглашены знакомыми на ужин из недалекого Монтрё писатель с женой. На следующий день Набоков начинает записывать на своих знаменитых карточках новый, давно зревший роман, еще через три дня рождается название «Ада», и еще через несколько дней появляется запись в дневнике: «Новый роман развивается с тревожащей быстротой — по крайней мере полдюжины карточек в день». Решающая встреча Вэна и Ады происходит в отеле Trois Cygnes — смесь из Cygne (название крыла «Монтрё-Паласа», гостиницы, где жили Набоковы) и Hôtel des Trois Couronnes.

Насладившись видами Веве, направимся вслед за Карамзиным в Кларан.

«Отдохнув в трактире и напившись чаю, пошел я далее по берегу озера, чтобы видеть главную сцену романа, селение *Кларан*». В Кларане происходит действие «Новой Элоизы», здесь жил Руссо, здесь проходил его роман с госпожой де Варанс. И в Кларане ожидания русского путешественника оказываются несколько обманутыми. «Подошел и увидел — бедную маленькую деревеньку, лежащую у подошвы гор, покрытых елями. Вместо жилища Юлиина, столь прекрасно описанного, представился мне старый замок с башнями; суровая наружность его показывает суровость тех времен, в которые он построен».

Замок Шатлар (Chatelard) был построен некогда для защиты жителей Монтрё от нападений, в Средние века разрушен и заново отстроен, чтобы позже стать для туристов целью прогулки по холмам с виноградниками, — от замка открывается красивый вид на озеро.

Повторяет путь своего предшественника и Жуковский. Поэт приходит в Кларан пешком из Веве, причем встретившийся ему старый швейцарский крестьянин простодушно уверяет иноземца в полной достоверности истории Юлии и Сен-Пре.

В Кларане в 1857 году проводит почти два месяца Толстой. Сначала он селится в пансионе Перре (Perret, здание сохранилось: rue due Lac 10 + 12), потом в пансионе Кетерера (Ketterer, здание также сохранилось: chemin de la Prairie, 16), где жила знакомая ему чета Пущиных — декабрист Михаил Иванович Пущин (брат Ивана — друга Пушкина) и его жена Марья Яковлевна. Пущин рассказывает Толстому о своей встрече в 1829 году с Пушкиным на Кавказе, и молодой писатель убеждает Пущина написать это и послать Анненкову, собирающему материалы для биографии поэта.

В ближайших окрестностях проживают летом 1857 года еще несколько русских аристократических семейств, в частности Мещерские и Галаховы. Петр Николаевич Мещерский женат на Екатерине Николаевне Карамзиной, старшей дочери главного героя нашей книги, вместе с ней жила и Елизавета Николаевна, его младшая дочь. Галахова Софья Петровна — сестра создателя главной нашей путешественницы — мадам Курдюковой — поэта Мятлева. О Мещерских Толстой сперва записывает: «Не мои люди», — но потом меняет мнение и пишет о старшей дочери Карамзина: «славная» и «ее консерватизм мил».

В Кларане Толстой много читает, между прочим под влиянием витающего над этими местами духа Руссо перечитывает «Новую Элоизу». Здесь он работает над «Альбертом» и «Кзаками». В письмах писатель сравнивает красоты, уединенность и чистоту Швейцарии с грешным и грязным Парижем. Вот кларанские виды, схваченные толстовским пером:

«Погода была ясная, голубой, ярко-синий Леман, с белыми и черными точками парусов и лодок, почти с трех сторон сиял перед глазами; около Женевы в дали яркого озера дрожал и темнел жаркий воздух, на противоположном берегу круто поднимались зеленые савойские горы, с белыми домиками у подошвы, —

с расселинами скалы, имеющими вид громадной белой женщины в старинном костюме. Налево, отчетливо и близко над рыжими виноградниками, в темно-зеленой гуще фруктовых садов, виднелись Монтрё с своей прилепившейся на полускате грациозной церковью, Вильнев на самом берегу, с ярко блестящим на полуденном солнце железом домов, таинственное ущелье Вале с нагроможденными друг на друга горами, белый холодный Шильон над самой водой и воспетый островок, выдуманно, но все-таки прекрасно торчащий против Вильнева. Озеро чуть рябило, солнце прямо сверху ударяло на его голубую поверхность, и распущенные по озеру паруса, казалось, не двигались.

Удивительное дело, я два месяца прожил в Clagens, но всякий раз, когда я утром или особенно перед вечером, после обеда, отворял ставни окна, на которое уже зашла тень, и взглядывал на озеро и на зеленые и далью синие горы, отражавшиеся в нем, красота ослепляла меня и мгновенно, с силой неожиданного, действовала на меня. Тотчас же мне хотелось любить, я даже чувствовал в себе любовь к себе, и жалел о прошедшем, надеялся на будущее, и жить мне становилось радостно, хотелось жить долго-долго, и мысль о смерти получала детский поэтический ужас. Иногда даже, сидя один в тенистом садике и глядя, все глядя на эти берега и это озеро, как будто физическое впечатление, как красота через глаза вливалась мне в душу».

Из Кларана Толстой отправляется в пешее путешествие по Бернскому Оберланду.

«15/27 мая. Нынче утром уезжали мои соотечественники и сожители в Кларанском пансионе Кетерера, — пишет Толстой в «Отрывке дневника 1857 года» об отъезде Пуциных. — Я давно уже собирался идти пешком по Швейцарии, и, кроме того, мне слишком бы грустно было оставаться одному в этом милом Кларане, в котором я нашел таких дорогих друзей; я решил пуститься в путь нынче же, проводив их».

В горы Толстой отправляется с сыном еще одного аристократического семейства, жившего по соседству, — Сашей Поливановым. Толстой предполагает написать, отдав дань традиции, свои альпийские путевые записки. Идея взять с собой ребенка пришла ему еще в Женеве — 13 апреля он записал: «Путешествие с невинным мальчиком, его взгляд на вещи». Юный спутник нужен для придания взгляду рассказчика свежести, удивленности, что, очевидно, оказывается излишним — Толстой рушит каноны и не

прибегая к помощи аристократа-малолетки, однако хватает его на описание лишь первых дней их путешествия, которое продолжается с 15 (27) мая по 24 мая (5 июня). В путешествие спутники направляются через Монтрё. Мальчик Саша Поливанов в будущем толстовцем не станет. Он будет исправно служить офицером в лейб-гвардии Конном полку.

Вернувшись из путешествия, Толстой много гуляет по окрестностям, поднимается, в частности, вместе со своим знакомым писателем и критиком Александром Дружининым в Глион и к замку Шатлар.

Ходил к Глиону Толстой и с Александрин Толстой. Она вспоминает: «Взобравшись в гору, в поте лица, мы нашли общую гостиную единственного тогда отеля битком набитою англичанами, американцами и всяким другим людом. После чаю Лев, не обращая никакого внимания на многочисленную публику, бесцеремонно уселся за фортепьяно и требовал от нас, чтобы мы начали петь. <...> Мы пели «Боже, царя храни», русские и цыганские песни — короче, все, что приходило на ум Льву Николаевичу...»

В 1868 году живет в Кларане несколько месяцев Бакунин. В отличие от Герцена он быстро находит общий язык с «молодой эмиграцией». В первое время после приезда Бакунина в Швейцарию вокруг него собираются Утин, Жуковский, Элпидин, другие представители нового эмигрантского поколения и затевают все вместе издавать русскую революционную газету «Народное дело». Вот история этого издания в изложении Бакунина: «Жук (Н.И.Жуковский. — *М.Ш.*) в то время предложил мне основать русскую газету. Муж г-жи Левашевой (Ольга Левашева — одна из представительниц «молодой эмиграции». — *М.Ш.*) дал для этой цели тысячу рублей Жуку. Но г-жа Левашева, которая возгорелась безумной страстью к Утину, хотела, чтобы последний принял участие в редакции газеты. Между нами и Утиным было абсолютное несходство — не идей, ибо, собственно, Утин не имел никаких идей и говорил, что мы должны принять принципы, какие русская молодежь найдет нужным в нас влить, — было абсолютное несходство характеров, темпераментов, целей. Мы хотели само дело, Утин заботился только о себе. Я долго противился всякому союзу с Утиным. Наконец я устал и уступил, и после короткого опыта, так как деньги были собственно г-жи Левашевой, я оставил Утину газету вместе с ее названием». Первый номер, почти целиком принадлежавший перу Бакунина, выходит в начале сентября 1868 го-

да. После разрыва с Бакуниным Утин будет продолжать выпускать газету как антибакунинский орган русской секции Интернационала в Женеве.

Частый гость Кларана – Петр Чайковский, он приезжает сюда в 1877, 1878, 1879 годах. Здесь он работает над «Орлеанской девой». Живет композитор на вилле Ришелье. Впоследствии этот пансион снесли и возвели на его месте гостиницу «Интернасьональ-Рояль» (International Royal). Чайковский пишет Надежде Мекк 26 февраля (10 марта) 1878 года: «Я не могу себе представить никакой другой местности, кроме России, которая так бы успокаивала меня, как Кларан».

Кларан – место жительства и Петра Кропоткина. «Здоровье моей жены было плохо, и врачи велели ей немедленно оставить Женеву с ее холодными ветрами, а потому весной 1880 года мы с женой переехали в Кларан, где в то время жил Реклю, – вспоминает Кропоткин в «Записках революционера». – Мы поселились под Клараном, в маленьком домике, с видом на голубые воды Лемана и на белоснежную вершину Дан-дю-Миди. Под окнами журчала речка, превращавшаяся после дождей в ревуший поток, ворочавший громадные камни и вырывавший новые русла. Против нас, на склоне горы, виднелся старый замок Шатлар... Здесь, при содействии моей жены, с которой я обсуждал всегда всякое событие и всякую проектируемую статью и которая была строгим критиком моих произведений, я написал лучшие мои статьи для «Révolte», – между прочим, обращение «к молодежи»,

П.И. Чайковский



сотни тысяч которого разошлись на различных языках. В сущности, я выработал здесь основу всего того, что впоследствии написал».

В 1881 году русского князя за его анархистскую пропаганду высылают из Швейцарии. Жена Кропоткина сдает в это время в Женевском университете последние экзамены на степень бакалавра естественных наук, и поэтому им не хочется уезжать далеко. Кропоткины переселяются из Кларана на противоположный берег озера, во Францию, в Тонон.

Живет в Кларане последние годы жизни и умирает в 1882 году еще один видный деятель русской эмиграции — Варфоломей Зайцев. Революционный публицист, один из теоретиков русского нигилизма, он эмигрирует из России в 1869 году, подолгу живет в Париже и в Италии, прежде чем переселяется в Швейцарию. Зайцев становится другом Бакунина, который живет у него осенью 1872 года в Локарно.

В восьмидесятые годы живет в Божии над Клараном Плеханов. Во время проезда сюда по Женевскому озеру он подхватывает простуду и опасно заболевает — сильно задеты легкие, и эта болезнь оставляет свои следы на всей его жизни.

Нужно отметить, что чудесные курортные места вокруг Кларана становятся традиционными местами отдыха русских революционеров. Так, в Божии много лет живет и имеет молочную ферму известный эсер, старый земледелец, привлекавший еще по «процессу 193-х», Егор Лазарев. Отбыв свое в тюрьмах и на каторге, Лазарев бежит из Сибири через Японию и Америку и становится в 1890-е годы одной из самых заметных фигур русской политической эмиграции. В Швейцарии он женится на вдове русского подданного Лакиера, владевшего домом и молочной фермой в Божии.

Эта ферма становится приютом не только для народников, но и для представителей всех русских оппозиционных течений. Жена Плеханова, Розалия Боград, лечившая русскую женевскую колонию, как средство от всех болезней прописывала своим пациентам молочную диету на лазаревской ферме. Целебное воздействие русского кефира получило такую известность, что даже императрица Австрии Елизавета сделала русского революционера на несколько недель своим лейб-медиком.

О пребывании у Лазарева вспоминает в своих мемуарах «Давно минувшее» Екатерина Кускова: «А людей на ферме много, почти

все — революционеры. Почти все они больные, с привязанными к поясу бутылками: кефир». Местечко в конце XIX века еще отрезано от цивилизации: «В Божи — ни лавчонки, ни каких-либо признаков ресторана или кафе: все надо было покупать в Кларане». Через много лет Кускова, бежавшая в Швейцарию из большевистской России, снова придет сюда и не узнает деревеньки: «Когда мы потом уже после революции и второй войны, т.е. более чем через полстолетия, посетили Божи, — оно было просто неузнаваемо: все застроено вилами, есть рестораны, идет от Кларана трамвай. Все это испортило эту прелестную деревню, с тех пор как мы там жили в 1896 г. И нет того аромата роз, и нет фермы Лазарева... К нашему удивлению, сохранилось наше appartement, только хозяйка его уже умерла. Встретили нас ее дочери, сгорбленные, постаревшие, как и мы сами... Одна из них, Лора, узнала нас, — она часто прислуживала нам.

— Какое счастье, что вас не убили эти проклятые большевики! — сказала она. — Мы их так боимся: придут сюда!»

После октябрьского Манифеста 1905 года Лазарев приезжает в Россию и участвует в эсеровском движении, но уже в 1907-м возвращается на кларанскую ферму. Через два года снова отправляется в Петербург, арестован, сослан в Сибирь, снова отпущен в Швейцарию. Ко всему прочему Лазарев оказывается замешан в убийство Столыпина: Богров пытался через него связаться с партией для выполнения своего потрясшего всю Россию террористического акта.

После февраля 1917-го Лазарев опять отправляется на родину, причем, как ему кажется, навсегда — швейцарское имение продается. Член Учредительного собрания, министр народного просвещения правительства Комуча в Самаре, он, пройдя испытания Гражданской войны, спасается из России с эшеленом чехословацких инвалидов через Дальний Восток и США. Вот когда, наверно, он вспомнил о своей молочной ферме на тихом Лемане. Остаток жизни Лазарев проводит в Праге, существуя на скудную пенсию чешского правительства.

Конец лета 1904 года в Кларане проводит бывший ссыльный марксист и будущий религиозный философ Николай Бердяев. Живет он в том самом отеле (Hôtel Ketterer), в котором останавливался когда-то Толстой. Своей невесте Бердяев пишет 16 (29) августа: «Такой красоты, как здесь в Clarens и Montreux, я никогда не видел. На озере есть совершенно Беклиновский остров, и при

лунном освещении он производит впечатление чего-то мистического. Сегодня поеду в Шильонский замок, который виден из моего окна...» В другом письме он замечает: «Последние дни я довольно много работаю и много думаю». Своими мыслями тридцатилетний философ делится с невестой: «Я ведь не только сознательно, надуманно, по философским построениям своим, но и стихийно, безотчетно, каждой клеткой своего духовного существа верю в бессмертие, в безвременную, вечную жизнь моего индивидуального духа. В моем бессмертии я никогда, понимаешь, никогда не сомневаюсь, внутренне для меня даже тут нет вопроса, во всем могу усомниться, но не в этом. Поэтому для меня «уйти» имеет другой смысл, строго говоря «уйти» от себя нельзя, «уйти» от жизни нельзя, потому что мы во власти жизни вечной. А отсюда я делаю то заключение, что нужно принять всякую муку жизни, нужно пройти через все и творить свое будущее и будущее мира».

Божии облюбывал для жизни и Николай Рубакин. Библиограф и писатель, а по молодости и эсер, Рубакин эмигрирует в Швейцарию в 1907 году. Первое время он живет в Женеве, а затем селится в Кларане. Его сын, Александр Рубакин, вспоминает: «Там только что был построен большой пятиэтажный дом со всеми удобствами, с чудесным видом на Женевское озеро, Шильонский замок, Савойские Альпы. В этом доме все квартиры были пусты, и отец снял целый этаж — стоило это дешево, в каждой из двух квартир было по пяти больших светлых комнат с центральным отоплением и всеми удобствами. В то время Швейцария была, вероятно, самой благоустроенной страной в Европе, а также самой дешевой».

В одной квартире дома «Ламбер» Рубакин живет с семьей, в другой располагается его легендарная русская библиотека. За свою долгую жизнь Рубакин собирает 230 тысяч томов. Сам он пишет сотни, в основном научно-популярных, книг, общий дореволюционный тираж которых в России превышает 20 миллионов экземпляров. Его библиотекой пользуется вся русская эмиграция, поэтому неудивительно, что у Рубакина в Кларане побывали многие известные деятели русской революции.

Кстати, Кларан избран Рубакиным не случайно. Еще весной 1903 года во время путешествия за границу со своей будущей второй женой Людмилой Коломийцевой (с первой женой, Игнать-

евой, Рубакин разводится в 1904 году, поделив детей: младший сын остается у матери, старший, Александр, — у отца) Рубакин очарован красотами французской Швейцарии, особенно Клараном, где происходит его встреча с Плехановым.

Дом Рубакина в Кларане становится центром русской политической жизни на Женевском озере. Он дает книги всем, невзирая на политические убеждения читателя, особенно после того, как выходит из партии эсеров после разоблачения своего знакомого Азефа. Для некоторых читателей, например Плеханова, строгий библиотекарь отпускает книги без ограничения на любой срок. Пользуется библиотекой и Ленин, о котором Рубакин однажды сострил, что тот ненавидит буржуазию больше, чем любит пролетариат.

Бывают у Рубакина и нелюбимые читатели — те, кто неаккуратно обращается с книгами, например Луначарский, которого он называет «несерьезным человеком». С будущим наркомом просвещения Рубакин ругается по поводу его манеры читать — все книги возвращаются исчерканными. Интересно, что самыми популярными книгами среди эмигрантов были «Война и мир» Толстого и «Балканский кризис» Милюкова.

Среди постоянных гостей Рубакина — ветераны освободительного движения, «бабушки» и «дедушки» русской революции, поселившиеся после каторги и ссылок на берегах Женевского озера в ожидании падения царизма. Близкий в те годы к революционным кругам Иван Егоров в своих мемуарах «От монархии к Октябрю» описывает свою жизнь в 1912–1913 годах в Кларане и, в частности, вспоминает: «У Рубакина мы застали маленького старичка, прямо гнома, который только что облобызался с молодой, красивой женщиной. Это были знаменитые революционеры-народовольцы: Осип Васильевич Аптекман и Вера Николаевна Фигнер».

Проведя четверть века в тюрьме, Вера Фигнер возвращается в страну своей студенческой молодости и селится в Кларане, рядом с домом «Ламбер». Каждый вечер она приходит к Рубакину на музыкальные вечера, гуляет с его детьми, работает над своими воспоминаниями.

Егоров вспоминает, как Рубакин показывал ему книги: «Они стояли в десятке комнат на полках от пола до потолка». Однако собеседником Рубакин был не самым легким: «Беседовать с Николаем Александровичем было трудно. Говорил он один, и все

о книгах, и только о книгах. Книги заслонили от него всю прочую жизнь. Он даже не заметил, что с его женой творится неладное. Однажды утром, войдя к ней в спальню, он обнаружил записку, в которой жена сообщала, что уходит от него к другому, так как жить с ним больше не в состоянии. Это случилось именно в 1912 году. Вечером того дня я случайно был у Николая Александровича. И он в разговоре о книгах мимоходом заметил, что у него жена сбежала. И тут же рассмеялся, заговорил о другом...»

С началом войны, в сентябре 1914 года, Рубакин организует в соседнем Монтрё, в отеле «Сплендид» (Splendid, Grand-Rue, 52), «Русский клуб», который, по его замыслу, должен был объединить разбитую на враждующие группки эмиграцию. Клуб предполагается надпартийным, с запретом играть в карты и пить спиртные напитки. За два первых месяца деятельности проводится десять встреч, здесь выступают с рефератами об отношении к войне Плеханов, Ленин, толстовец Павел Бирюков, будущий первый советский Верховный главнокомандующий и наркомюст СССР периода «чисток» Николай Крыленко. Проводятся и неполитические, музыкальные вечера, которые устраивает вернувшаяся к Рубакину жена Людмила.

Оказавшись из-за войны отрезанным от основных источников доходов в России, Рубакин обращает свои взоры на Германию — немецкие деньги не были изобретением большевиков, идея настойчиво витала в воздухе. В 1915 году с увеличением количества русских пленных в Германии Рубакин предлагает немцам организовать революционную пропаганду в лагерях путем издания и распространения популярных брошюр на русском языке. Для этого он вступает в контакт с германским послом в Швейцарии Ромбергом. Речь идет об организации небольших библиотек в немецких лагерях для русских пленных. После долгих переговоров он получает от германского правительства на печатание его книг гонорар в 10 000 франков.

В 1916 году Рубакина в Кларане посещает его старый друг Павел Милюков, приехавший в Швейцарию в качестве члена русской парламентской делегации, одна из ведущих фигур русской истории начала века, лидер партии кадетов, будущий министр иностранных дел Временного правительства.

В отличие от большинства своих читателей Рубакин не возвращается в Россию после революции и остается до самой смерти в Швейцарии. Большевистский переворот Рубакин принимает

и откликается на него серией очерков о главных деятелях русской революции, благо всех знал лично. За отсутствием дипломатических отношений представитель советского Красного Креста в Швейцарии Багоцкий в двадцатые годы выполняет роль фактически посла, в то время как Рубакин с его библиотекой – культурного атташе Советской России.

В 1920-е годы Рубакин переселяется из Божы в Лозанну, но тот факт, что он открыто принял советскую власть, ставит его в полную изоляцию среди новой эмиграции. Заслуги Рубакина перед новой Россией признаются в Кремле: с 1930 года СССР – уникальный случай – начинает выплачивать ему пенсию, причем деньги поступают на его счет регулярно, вплоть до его смерти после войны. Неоднократно Рубакина зовут вернуться на строящую социализм родину, но библиофил не торопится – начались «чистки». Контакт с Россией практически полностью прекращается – за исключением пенсии.

Во время Второй мировой войны Рубакин, оставаясь верным своим культуртрегерским идеалам, снабжает книгами лагеря русских интернированных в Швейцарии. Умирает он в возрасте восьмидесяти четырех лет в ноябре 1946 года. В 1948 году его библиотеку перевозят в Москву, где она хранится в Российской государственной (Ленинской) библиотеке под шифром «Рб». Урна с прахом покоится в стене Новодевичьего монастыря.

Но вернемся к эмиграции начала века. В нескольких шагах от «Ламбера» располагалась вилла Винсент (Vincent, теперь Ле-Лила – «Les Lilas»). В этом доме постоянно снимают комнаты русские эмигранты. Например, в 1916 году там живет Инесса Арманд. Ленин заботливо пишет ей: «Как-то Вы устроились? Холодная ведь квартира Maison Vincent?»

Здесь же, в Божы, живет во время войны Николай Бухарин. Как и Ленина, Бухарина война застает в Австрии, там его также арестовывают по подозрению в шпионаже, но и ему удается перебраться в нейтральную Швейцарию.

Лето 1915 года проводит в Кларане пролетарский поэт Демьян Бедный.

Одним из любимых русских мест становится также Шай (Chailly), маленькая деревня над Клараном, – здесь проводят лето женевские революционеры, среди которых стоит упомянуть Владимира Бурцева как одного из самых ярких представителей

того времени. Расскажем поэтому об этом дачнике, устроившемся летом 1903 года в Шаи, поподробнее.

Революционер-народоволец, Бурцев бежит в 1888 году из Иркутской ссылки в Швейцарию, затем живет во Франции и Англии, где публично призывает убить Николая II, за что получает полтора года заключения. Из Англии его высылают, и в 1903 году он селится по подложному паспорту на берегу Женевского озера. Живя над Клараном, помимо издания «Былого», где публикуются материалы по истории «Народной воли», этот неутомимый борец с деспотизмом занимается печатанием газеты «Долой царя», все материалы которой принадлежат его перу, возобновляет в Швейцарии издание «Народовольца», за которое был осужден в Англии и в котором призывает русскую молодежь «следовать славному примеру их предшественников» — цареубийц. Кроме того, Бурцев выпускает в Женеве брошюру «К оружию» с подробными объяснениями, как самому изготовить взрывные устройства.

В докладе директора швейцарской центральной полиции Е.Жорно департаменту юстиции и полиции Женевы 21 ноября 1903 года говорится о Бурцеве: «Этот человек, горячий сторонник пропаганды делом, обладает огромным даром убеждения и привлек на свою сторону многих молодых российских революционеров. Это убежденный, опасный, способный на все человек». И для швейцарских ведомств Бурцев оказывается слишком шумным. Благодушно не обращая внимания на анархистов и эсеров, потихоньку готовящих свои теракты на нейтральной альпийской территории, швейцарская полиция не может позволить открытую пропаганду «желябовских» методов политической борьбы. Постановлением Федерального совета от 7 декабря 1903 года Бурцев высылается и из Швейцарии — за распространение изданий, содержащих подстрекательство к убийству, а также инструкции по способам этих убийств.

С возрастом Бурцев все больше увлекается историей революционного движения и разоблачениями агентов полиции, что становится его коньком. Настоящую славу Бурцеву приносит разоблачение Азефа. До Первой мировой войны он издает за границей «Былое» и газету «Будущее», которую рассылает царю, великим князьям, министрам и в библиотеку Государственной думы. С началом войны неистовый борец с царизмом становится патриотом и добровольно сдается властям на русской гра-

нице. Его судят, ссылают, но скоро амнистируют. Кстати, в ссылке Бурцев коротает сибирскую зиму вместе со Свердловым и Сталиным, так что неудивительно, что большевики арестовывают его одним из первых — прямо в ночь октябрьского переворота. Через несколько месяцев ему удается вырваться на свободу, и в конце концов Бурцев снова оказывается в эмиграции, где занимается привычной издательской деятельностью, посылая теперь из-за границы проклятия уже большевикам. Судьба еще раз приведет этого борца за правду в Швейцарию — в 1934—1935 годах. Бурцев выступит в Берне в качестве свидетеля на суде, выяснявшем вопрос о подлинности «Протоколов сионских мудрецов», и посвятит этому вопросу свою известную книгу «Протоколы сионских мудрецов» — доказанный подлог». Потом он будет бороться против фашизма. В конце жизни, глубоким стариком, умирая в оккупированном Париже в лечебнице для бедных, Бурцев, по воспоминаниям дочери Куприна, «спорил с пеной у рта и доказывал, что Россия победит, не может не победить».

И в других курортных местечках вокруг Веве и Монтрё русские политэмигранты были частыми гостями.

Неподалеку от Кларана расположилась деревенька Пюиду (Puidoux), облюбованная русскими дачниками из Женевы. Здесь, на озере Лак-де-Бре (Lac de Bret), проводят лето женевские большевики, в частности, летом 1904-го приезжают на велосипедах Ленины. Бонч-Бруевич вспоминает: «К этому времени из Женевы выехали на летнее время М.С.Ольминский, А.А.Богданов с женой и Е.П.Первухин с женой Александрой Николаевной Первухиной в небольшую деревушку Puidoux (Пюиду) <...> за Лозанной, в 2 с половиной часах езды от Женевы. Туда же должны были приехать Владимир Ильич с Надеждой Константиновной. Проездом из Женевы Владимир Ильич предполагал остановиться в Лозанне, чтобы встретиться, кажется, со своей сестрой Марией Ильичичной, на время приезжавшей из России повидаться с ним и привезшей в подарок Владимиру Ильичу и Надежде Константиновне велосипеды от матери Владимира Ильича. <...> Сюда же наезжал Воровский и здесь жила Нина Львовна, «Зверь» (тов. Эссен). Мы все останавливались в доме, где жили Первухины».

«Большой любитель физического труда, — вспоминает Крупская, — Владимир Ильич с удовольствием работал в саду и огороде, помогая хозяину дома — крестьянину Форне». Эта ни к чему

не обязывающая фраза сделала скромную крестьянскую семью своего рода местной достопримечательностью — многочисленные советские авторы, приезжавшие впоследствии в Швейцарию по ленинскому пути, обязательно заглядывали в Пюиду, с благоговением отмечая в своих путевых записках, что «в семье Форне и по сей день передаются воспоминания о работающем русском».

Местечко Сен-Лежье (St.Légier) связано с именем малоизвестного русского литератора и известного большевистского комиссара. Во время Первой мировой войны здесь живет с семьей на полученное в России наследство Луначарский. Он занимается переводами своего знакомого — швейцарского «писателя-народника», ныне основательно забытого, Карла Шпиттелера (Carl Spitteler) — и сочиняет стихи, причем одно посвящает красотам Сен-Лежье. В своих «Воспоминаниях и впечатлениях» Луначарский пишет: «Я должен сказать, что пребывание мое в Швейцарии в течение двух лет (1915–1916 гг.) оставило во мне самые приятные воспоминания, но не в силу политической ситуации... Живя около города Вева на даче, мое свободное время я расходовал на усиленные занятия. Я занимался швейцарской литературой и особенно великим поэтом Шпиттелером».

Продолжим наше путешествие по берегу озера в сторону Шильонского замка и, прежде чем отправиться в Монтрё, остановимся еще ненадолго в Кларане как городке Стравинского.

Композитор приезжает сюда с семьей в 1910 году. Его переезд на берега Женевского озера связан с болезнью жены, вынужденной лечиться в Швейцарии. Это первое пребывание композитора в Швейцарии оказывается удивительно плодотворным.

«Прежде чем приступить к «Весне священной», над которой предстояло долго и много трудиться, — пишет Стравинский в своих воспоминаниях, — мне захотелось развлечься сочинением оркестровой вещи, где рояль играл бы преобладающую роль, — нечто вроде *Konzertstück*. <...> Закончив этот странный отрывок, я целыми часами гулял по берегу Леманского озера, стараясь найти название, которое выразило бы в одном слове характер моей музыки, а следовательно, и образ моего персонажа.

И вот однажды я вдруг подскочил от радости: «Петрушка!»

К молодому композитору в Кларан приезжает Дягилев, уже поставивший с успехом его «Жар-птицу», и приходит в такой восторг от музыки, что предлагает переделать написанное в балет.

«Мы взяли с ним за основу мою первоначальную мысль, — продолжает композитор, — и во время его пребывания в Швейцарии набросали в общих чертах сюжет и интригу пьесы».

Стравинский несколько раз приезжает сюда «на зимовку»: «В течение всей зимы (1912/13 года. — *М.Ш.*), живя в Кларане, я все время работал над партитурой “Весны священной”». Этой зимой композитор пишет еще три японские песни, кроме того, Дягилев поручает ему обработать «Хованщину» Мусоргского для парижской премьеры. Такой объем срочной работы приводит в ужас Стравинского, привыкшего к методичному планированию своего времени и сил. Он предлагает прислать на помощь Мориса Равеля. Таким образом, в Кларан приезжает и молодой французский композитор, приглашенный Дягилевым для совместной работы над «Хованщиной». Музыканты встречаются ежедневно в отеле «Дю-Шатлар» (*Hôtel du Chatelard*, больше не существует), где живет Стравинский.

В 1914 году Стравинский с семьей приезжает из России в Швейцарию и остается здесь до 1920 года. Первое время, вернувшись

С.П.Дягилев на Женевском озере. Фото И.Ф.Стравинского



после начала войны из Сальвана в Валлийских горах в Кларан, Стравинские поселяются у знаменитого в будущем дирижера Ансерме, который руководит в то время оркестром курзала в Монтрё. Именем русского композитора будет назван концертный зал — «Аудитория Стравинского» (Auditorium Stravinski).

Несколько шагов по берегу, и мы попадаем в Монтрё, набоковскую столицу Швейцарии, но о жильце шестикомнатного люкса в «Монтрё-Паласе» чуть позже.

«5 мая. Встал поздно. Буквально целый день ничего не делал. Утром ходил в Montreux, в ванну. Прелестная, голубоглазая швейцарка. Написал ответ на полученное от Тургенева письмо. Англичане морально голые люди и ходят так без стыда». Стиль сразу выдает автора. Это отрывок из швейцарского дневника Толстого 1857 года. Отсюда он отправляется в свое путешествие с Сашей Поливановым: «От Монтрё мы стали подниматься по лесенке, выложенной в виноградниках, прямо вверх в гору». Дорожка приводит их на Жаман (Col de Jaman), откуда открывается описанный всеми туристскими путеводителями вид.

«Странная вещь — из духа ли противоречия, или вкусы мои противоположны вкусам большинства, но в жизни моей ни одна знаменито-прекрасная вещь мне не нравилась. Я остался совершенно холоден к виду этой холодной дали с Жаманской горы; мне даже и в голову не пришло остановиться на минуту полюбоваться. Я люблю природу, когда она со всех сторон окружает меня и потом развивается бесконечно вдаль, но когда я нахожусь в ней. Я люблю, когда со всех сторон окружает меня жаркий воздух, и этот же воздух, клубясь, уходит в бесконечную даль, когда эти самые сочные листья травы, которые я раздавил, сидя на них, делают зелень бесконечных лугов, когда те самые листья, которые, шевелясь от ветра, двигают тень по моему лицу, составляют линию далекого леса, когда тот самый воздух, которым вы дышите, делает глубокую голубизну бесконечного неба; когда вы не одни ликуете и радуетесь природой; когда около вас жужжат и вьются мириады насекомых, сцепившись, ползут коровки, везде кругом заливаются птицы. А это — голая холодная пустынная сырая площадка, и где-то там красивое что-то, подернутое дымкой дали. Но это что-то так далеко, что я не чувствую главного наслаждения природы, не чувствую себя частью этого всего бесконечного и прекрасного це-

лого. Мне дела нет до этой дали. Жаманский вид для англичан. Им, должно быть, приятно сказать, что они видели с Жаман озеро и Вале и т.д.».

В 1866 году в Монтрё отдыхает с семьей создатель Козьмы Пруткова поэт Алексей Жемчужников. В своих мемуарах Кошелев вспоминает, как, гуляя по набережной, уговаривал его вернуться в Россию. Поэт, глядя на Женевское озеро, отмалчивался.

Монтрё не только любимый курорт реальных русских, но и место развязки романа Альфонса Доде «Тартарен в Альпах». Здесь умирает брат главной героини, и его хоронят на местном кладбище. В Монтрё русская революционерка делает влюбленному в нее Тартарену предложение вместе перейти границу России, чтобы участвовать там в террористической борьбе против правительства: «Я возвращаюсь в самое пекло. О нас еще услышат. <...> Кто любит меня, идет за мной!» Знаменитый охотник на львов хотя и покорен русской девушкой, но броситься в «самое пекло» не решается. Увидев, что француз замялся, Соня бросает легкомысленному ухажеру: «Болтун!» – и отправляется в Россию одна. Бедного влюбленного тут же арестовывают и бросают в темницу Бонивара в Шильонском замке, а в качестве улики предъявляют его тарасконскую веревку, на которой русские повесили певца, заподозренного в шпионстве.

Как и в других швейцарских курортных местах, здесь учится много русских детей. Например, в пансионе в Монтрё учится дочка Герцена Лиза.

Окрестности Монтрё



Здесь же проводит детство дочь ялтинского аптекаря Алла Назимова, сначала будущая актриса Московского Художественного театра, а потом, после переезда в Америку во время первой русской революции, — звезда американского театра и кино. Энциклопедия напишет о ней как о «мифологической фигуре Голливуда 20-х». Ее вклад в американское киноискусство будет отмечен двумя звездами в Аллее славы Голливуда — как актрисе и немому, и звукового кино.

В Монтрё живет в детстве с матерью Борис Поплавский, обещавший, по мнению Ходасевича, стать самым талантливым поэтом и писателем русской эмиграции. Он погибнет от наркотиков в возрасте 32 лет.

В 1900 году Вева и Монтрё посещает Бунин во время своего первого путешествия по Швейцарии. «В Монтрё, в затишье, в котловине — совсем лето, — делится впечатлениями писатель в письме брату. — Италия! Спустились к озеру, сняли пиджаки, пили хрустальную воду и пошли к Шильонскому замку».

Монтрё уже в начале века — фешенебельное место, куда приезжают мировые знаменитости. В своих уже цитированных выше воспоминаниях «От монархии к Октябрю» Егоров так описывает этот городок: «Монтрё тогда резко отличался от Кларана. Монтрё стал модным курортом, и там понастроили множество самых комфортабельных отелей. Был сооружен дворец дневного чаепития — «Файв-о-клок», концертные залы, дансинги, дворцы спорта для игры в теннис, волейбол и баскетбол. Постоянного населения в Монтрё было немного, но, несмотря на это, город был переполнен магазинами, парикмахерскими и прочими заведениями на потребу и развлечение туристам».

Кстати, о парикмахерских. Конкуренцию местным куаферам успешно составляли и русские мастера ножниц. В «Русском Бедкере» за 1909 года обращает на себя внимание рекламное объявление: «Сергей Буров (Serges Bourouff). Русский парикмахер 1-го класса, для дам и мужчин. Монтрё. Rue Von-Port (против отеля Насьональ). Телефон 165».

Среди знаменитостей леманского сезона 1906 года — Максим Горький. Буревестник революции, находившийся на вершине славы, тиражей и гонораров, по дороге в Америку останавливается со своей женой Марией Андреевой в Глионе (Glion) над Монтрё, в гостинице «Мон-Флери» (Mont Fleury), в которой живет в это время его друг писатель Леонид Андреев.

Андреев из-за своих симпатий к революционерам попал в смертные списки «Черной сотни» и спасался с семьей в Швейцарии от мести погромщиков — в Глионе он проводит несколько месяцев, с февраля по июль 1906 года. Швейцария хоть и приютила беженца из России, но не вызвала ответных добрых чувств. Горький в очерке о Леониде Андрееве вспоминает: «Через несколько месяцев мы встретились в Швейцарии, в Монтрэ. Леонид издевался над жизнью швейцарцев. «Нам, людям широких плоскостей, не место в этих тараканьих щелях», — говорил он».

Свидетелем встречи двух писателей 20 марта 1906 года оказывается большевик Кирилл Злинченко, который занимался организацией «Международного комитета помощи безработным рабочим России». Собранные этим комитетом деньги предназначались на партийные нужды. Злинченко приезжает в Глион с намерением пригласить знаменитого писателя Андреева в учредители, но, к своему удивлению, застаёт там еще и Горького. Услышав, что дело идет о воззвании, Горький берет за карандаш и начинает править текст, приписав в конце боевую фразу (речь идет о рабочем народе): «Помогите ему ускорить битву!» На прощание все втроем поют:

Ой, за гаем, гаем,
Гаем зелененьким,
Там орала дивчинонька
Вольком черненьким...

Призыв «помочь ускорить битву», конечно, услышан, деньги в партийную кассу текут, но не все революционные эмигрантские организации ограничиваются выпрашиванием у капиталистов денег на разрушение капитализма. Русские анархисты, например, смело проводят свои «эксы» и в Швейцарии: в сентябре 1907 года группа русских террористов совершает попытку вооруженного ограбления банка в Монтрё.

Во главе «эксистов» — Николай Дивногорский. Саратовский дворянин, увлекшись идеями Толстого, бросает университет и отправляется в народ пропагандировать идеи непротивления злу насилием и всеобщей любви. Разочарование в неудавшейся проповеди скоро приводит молодого человека к анархистам-террористам, но в память о юношеских идеалах он берет себе партий-

ную кличку «Толстой». В 1906 году его арестовывают, в Петропавловской крепости Дивногорский симулирует сумасшествие и бежит из тюремной больницы в Швейцарию, в Женеву, где присоединяется к группе «Безначалие», выпускает теоретические работы по анархизму и не забывает о практике.

Ограбление банка в Монтрё заканчивается неудачей. При задержании Дивногорский оказывает вооруженное сопротивление швейцарской полиции. Его помещают в лозаннскую тюрьму, приговаривают к двадцати годам заключения. Непривычная строгость наказания соответствует ужасу лозаннских присяжных, ведь русские покусились на святая святых — банк! В тюрьме Дивногорский протянет недолго — уже через год русский аристократ-революционер умрет в демократических застенках от разрыва сердца.

В августе 1909 года, проведя две недели в Беатенберге на берегу Тунского озера, в Монтрё приезжает Осип Манделъштам, студент Гейдельбергского университета, отдыхающий на каникулах в Швейцарии. В письме от 26 августа он рассказывает о своей курортной жизни Вячеславу Иванову: «Теперь я наблюдаю странный контраст: священная тишина санатории, прерываемая обеденным гонгом, — и вечерняя рулетка в казино: *faites vos jeux, messieurs! — remarquez, messieurs! — rien ne va plus! —* восклицания *sgourpiers* — полные символического ужаса. У меня странный вкус: я люблю электрические блики на поверхности Лемана, почтительных лакеев, бесшумный полет лифта, мраморный вестибюль *hôtel*'я и англичанок, играющих Моцарта с двумя-тремя официальными слушателями в полутемном салоне. Я люблю буржуазный, европейский комфорт и привязан к нему не только физически, но и сентиментально. Может быть, в этом виновато слабое здоровье? Но я никогда не спрашиваю себя, хорошо ли это».

В этом же письме поэт отправляет несколько стихотворений, в том числе «Истончается тонкий тлен...», которое войдет в состав подборки, с которым Манделъштам дебютирует на следующий год в «Аполлоне». Через четыре дня из Монтрё отправляется в Царское Село открытка Иннокентию Анненскому, из которой узнаем, где жил поэт: «Глубокоуважаемый г. Анненский! Сообщаю Вам свой адрес на случай, если он будет нужен редакции «Аполлона». *Montreux-Territet, Sanatorium l'Abri*. С глубоким

почтением Осип Мандельштам». Санаторий находился по адресу: chemin des Terrasses, 4.

Осенью 1915 года в Глионе проводит несколько недель Белый. В письме Сизову отсюда в начале октября поэт рассказывает, что Штейнер отправил его в «ссылку» из Дорнаха: «Он приказал мне 6 недель не появляться в Дорнахе и писать книгу». В Глионе Белый работает над вступлением и первой главой «Котика Летаева».

В клинике Валь-Мон (Val-Mont) близ Монтрё проводит последние месяцы своей жизни, заживо разлагаясь, Рильке. Поздней осенью 1926 года, за несколько недель до смерти, умирающий поэт знакомится с Евгенией Черносвитовой, «совершенно волшебной девушкой», олицетворившей для него «вечную Россию».

Двадцатитрехлетняя тулячка становится поэту не только его последним секретарем и сиделкой, но и его последней любовью. Черносвитова происходит из старинной аристократической семьи. Девочкой она заболевает туберкулезом и в 1913 году со своей матерью приезжает лечиться в Швейцарию, где семья и остается. Евгения получает образование в Лозанне, прекрасно говорит на пяти языках. Случай дарит девушке встречу с гением.

Черносвитова сопровождает Рильке на прогулках, работает как стенографистка, ведет его многочисленную корреспонденцию. 15 ноября 1926 года она пишет в письме Леониду Пастернаку: «Судьба послала меня к нему — добрая, милостивая, грандиозная судьба!» После смерти Рильке оставляет ей часть своего архива, касавшегося России: личные документы, письма, переводы че-

Р.-М.Рильке



ховской «Чайки» и «Бедных людей» Достоевского, а также тексты, написанные Рильке на русском языке. Все эти материалы Черносвитова собиралась использовать для своей монографии «Рильке и Россия». Почему доцентом Лозаннского университета так ничего и не будет написано — загадка для будущих исследователей. Евгения Черносвитова умрет в Женеве в 1974 году, не оставив наследников. Вся ее библиотека, в том числе архив Рильке, будет частично распродан букинистам «1 франк за книгу», частично попросту пропадет.

Кстати, в этой же клинике близ Монтрё за несколько месяцев до смерти будет лежать Набоков.

В июле-августе 1927 года в Глионе отдыхает с женой Натальей Сергей Рахманинов. «Целый день я на воздухе: или лежу, или хожу, или сплю», — сообщает композитор в письме Ю.Э.Конюсу 6 августа и прибавляет с присущим ему юмором: «Результат от всего этого пока тот, что я ем раза в три больше обыкновенного, к великой радости моей жены и к великому сожалению хозяина гостиницы, которому платим за «пансион». Другой ест прилично, а я неприлично, — а платим одинаково. Не знал же хозяин вперед, какой у нас аппетит!»

Здесь же, в Глионе, проведет остаток своей жизни легендарный Серж Лифарь. Он хорошо знал Швейцарию, часто выступал на сценах ее городов, писал о ней, например статьи о празднике винограда в Веве. Свой архив он завещал городу, в котором умер, — Лозанне.

Но, конечно же, Монтрё — это Набоков.

После шумного успеха «Лолиты» американский профессор русской литературы оставляет университет и становится «свободным» писателем. Лето Набоковы проводят в Европе, подыскивая местечко для того, чтобы переселиться в Старый Свет, поближе к сыну, учившемуся в Милане, и к сестре Владимира Елене Сикорской, проживавшей в Женеве. Главной причиной он сам назовет желание быть поближе к альпийской лепидоптере.

Путешествуя по Италии и Швейцарии в 1961 году, Набоковы останавливаются в Монтрё в отеле Бельмон (Hôtel Belmont, avenue Belmont, 31). В середине августа они приезжают в недалекий Вийар-сюр-Оллон (Villars-sur-Ollon) в гости к семье Игоря Маркевича, известного пианиста, композитора, дирижера. Киевлянин Маркевич, кстати, провел детство в Швейцарии, что

было связано с болезнью его отца, лечившегося здесь от туберкулеза. Близкий знакомый Шаяпина, Стравинского, Прокофьева, Дягилева, он был женат на дочери Нижинского.

Маркевичи проводили лето в Швейцарии. Здесь, в горах Валиса, во время обеда у дирижера происходит знакомство Набокова с киноактером Питером Устиновым, повлиявшее на выбор писателя. Устинов рекомендует остановиться в отеле «Монтрё-Палас» (Montreux Palace), где он сам жил с семьей. Набоков решает остаться здесь на зиму — он хочет дописать до конца «Бледное пламя».

Сперва русский писатель из Америки заключает контракт на два номера (комнаты 35 и 38) на третьем (четвертом, по русскому счету) этаже — прямо под номером Устинова — в правом, старинном крыле отеля La Cygne. Эта гостиница, называвшаяся первоначально Hôtel du Cygne, была построена в 1837 году, перестроена в современном виде в 1865-м, а в 1906-м был пристроен «Монтрё-Палас», образовавший с La Cygne единый комплекс.

Этот отель всегда служил местом проживания и встреч аристократии и людей искусства. Стравинский, например, описывает свою встречу с Дягилевым в 1913 году: «Я был с Дягилевым в гостинице Монтрё-Палас, когда я услышал новость, что Нижинский женился, и на моих глазах Дягилев превратился в сумасшедшего, умолявшего нас с женой не оставлять его одного».

В зимний сезон, когда наплыв туристов со всего света в Монтрё иссякал, номера роскошной гостиницы сдавали по льготным ценам постоянным жильцам. Набоковы переезжают сюда в начале октября 1961 года. Писатель предполагает прожить здесь сперва лишь несколько месяцев, но возвращение в Америку все время откладывается — и этот отель на набережной станет его домом до самой смерти.

На второй год осенью Набоковы переселяются в шестикомнатный люкс с окнами на озеро под самой крышей, их комнаты занимают пол-этажа. В этом номере писатель проживет семнадцать лет. Как и всю жизнь, снова в меблированных комнатах, но на этот раз в роскошном исполнении. Единственный предмет, принадлежавший Набокову, составляет конторка, за которой он обычно пишет, — ее подарил именитому гостю хозяин отеля.

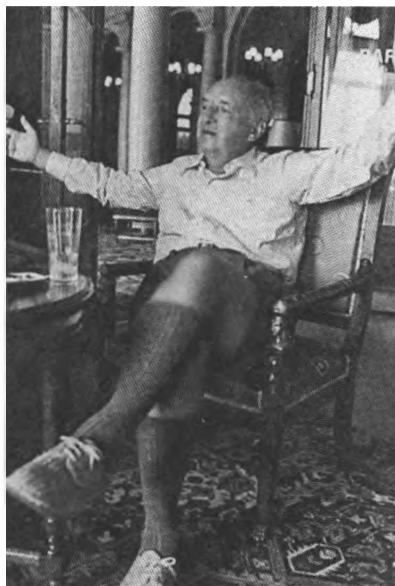
Монтрё, летом набитый битком туристами, с осени успокаивается, становится тихим провинциальным курортным городком. Здесь Набокову нравится, он был еще под впечатлением от

Ниццы, которую помнил ребенком и которая отпугнула его теперь. На тихом берегу Женевского озера он находит покой — свою «Земблю». Каждый день его можно видеть в саду отеля, где писатель работает с карточками. Здесь он заканчивает в декабре 1961 года «Бледное пламя».

Жизнь в «Монтрё-Паласе» делится на два сезона. Летом Набоковы уезжают подальше от шума и туристов в горы: в Саас-Фее (Saas-Fee), Церматт (Zermatt), Вербье (Verbier), Кран (Crans) и другие места, где писатель охотится с сачком за бабочками. Зимой он пишет, готовит к печати книги, просматривает переводы, переводит сам себя. Проводит с карандашом в руке каждый день минимум по семь часов. В Монтрё он заканчивает работу над переводом и комментариями к «Евгению Онегина». После выхода этого труда в свет он пишет: «Мне кажется, я сделал для Пушкина не меньше того, что он сделал для меня». В Монтрё Набоков переводит на русский «Лолиту».

Знаменитость одолевают интервьюеры. Допуск имеют лишь избранные. Вопросы принимаются только в письменном виде,

В.В.Набоков в холле отеля «Монтрё-Палас»



даже в телеинтервью Набоков читает ответы по бумажке. Он не может позволить себе ни одного неряшливого слова.

Он почти ни с кем не общается, живет затворником. Переписка и общение с внешним миром осуществляются через жену Веру. В одном интервью Набоков называет своим обществом уток Женевского озера, героев романов и сестру Елену, которая приезжает из Женевы на выходные в Монтрё.

Лето 1963 года Набоковы проводят в Лейкербаде (Leukerbad), где проходит лечение в ревматологической клинике сын Дмитрий, потом в Ле-Диаблере (Les Diablerets), следующее лето — в Шато д'Э (Châteaux-d'Oex) и Кране (Crans), лето 1965-го — в Сен-Морице (St. Moritz).

Из Швейцарии Набоковы ездят в Италию, на оперный дебют сына, в 1962 году отправляются за океан на лайнере «Куин Элизабет» на премьеру «Лолиты». В 1964 году писатель в последний раз едет в Америку.

Аполитичность Набокова — миф, который писатель усердно возводит вокруг себя, как стену. Он следит за всеми политическими событиями в мире и в России. Его каждодневный маршрут проходит мимо киоска, где он покупает все главные газеты на известных ему языках. Когда осенью 1965 года начинается волна протестов против вьетнамской войны, особенно после приказа Джонсона начать бомбардировки Северного Вьетнама, писатель посылает телеграмму американскому президенту, которому была сделана операция желчного пузыря, с пожеланием скорейшего выздоровления и возвращения к «деятельности, достойной восхищения». Позднее в печати он выступит в поддержку русских диссидентов, в частности, заступится за Буковского.

Набоков читает русскую литературу или, по крайней мере, то, что доходит до него из России. В феврале 1966-го он переводит «Сентиментальный марш» Булата Окуджавы — единственный сделанный им перевод советского поэта.

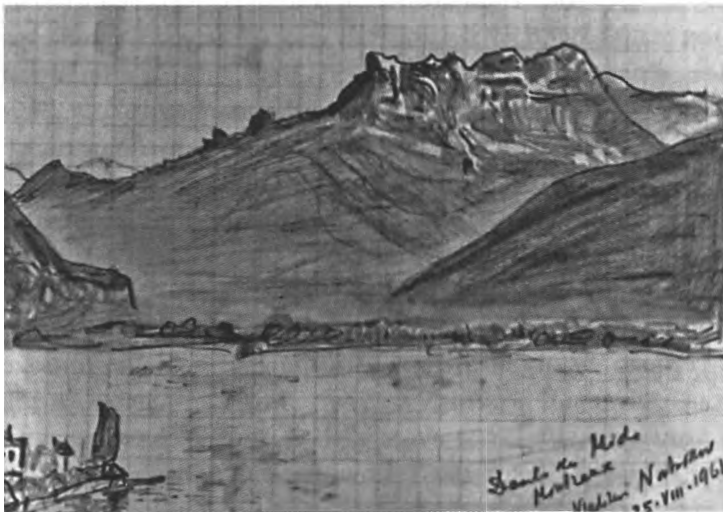
В том же 1966-м к Набокову приходит «Ада». Два года он пишет этот роман, который должен стать вершиной его творчества. Рабочий день размерен по часам. Работа над романом не прерывается даже летом — «Ада» не отпускает его ни в Бэ-ле-Бэн (Vex les Bains), ни в Вербье, где Набоковы проводят лето 1968-го.

Вот как о рабочих буднях в Монтрё рассказывает сам писатель в беседе с Пьером Домергом: «Моя жизнь здесь очень размеренна и все же не лишена переживаний. Могу представить вам план

моего дня. Я встаю рано, около 7 часов утра, проглатываю фруктовый сок, облачаюсь в свою домашнюю рясу и становлюсь за аналоем писать. Виктор Гюго и Флобер тоже писали стоя, кажется, ошибочно полагая, что молния апоплексии разит вертикального писателя реже, чем пишущего в другой позе. Поработав час или два, я съедаю очень скромный завтрак, тарелку корнфлекса, чашку кофе без сахара, и жена прочитывает мне почту, иногда забавную и всегда обширную, после чего я вновь устраиваюсь за моим пюпитром. Около одиннадцати я бреюсь и принимаю ванну. Мы часто обедаем в городе. В два часа работа возобновляется, но, как правило, около полудня я покидаю конторку и погружаюсь в кресло со своими карточками. Мы обедаем в семь. Около девяти я ложусь и засыпаю моментально, как ребенок. В полночь я просыпаюсь от адской судороги посреди бессонной пустыни, и вот тут начинается мучительная дилемма – принимать или не принимать снотворное. Как видите, довольно бурная жизнь».

Набокова выдвигают на Нобелевскую премию. По негласной очереди комитета литературная премия 1969 года должна до-

Рисунок В.Набокова



статья русскому. После выхода «Ады» «Нью-Йорк Таймс» пишет: «Если он не получит Нобелевской премии, то только потому, что она не достойна его». Лауреатом становится Солженицын. Из России он пишет в 1970-м в Шведскую королевскую академию, что именно Набоков заслужил эту премию, и как лауреат выдвигает его на следующий год. «Это писатель ослепительного литературного дарования, именно такого, какое мы зовем гениальностью...»

Набоков не большой любитель солженицынского пафоса, но публично не высказывает свое мнение о его текстах, поскольку автор преследуется по политическим мотивам. Также не в восторге Набоков и от стихов Бродского, присланных славистом Карлом Проффером. «Однако эстетическая критика была бы несправедливой, если учесть эти ужасные условия и страдания, которые читаются в каждой строке», — пишет Набоков Профферу. Что же касается Нобелевской премии, Набоков знает, что лауреатами ее не были ни Кафка, ни Джойс, ни Пруст.

В 1969-м после летнего пребывания в Лугано и Адельбодене осенью он начинает писать «Прозрачные вещи».

В шестидесятые годы Набоков имеет возможность, подобно другим эмигрантам, ездить в Россию, как это делала ежегодно его сестра. В первый раз Елена едет в Ленинград на две недели в 1969-м, привозит фотографии Выры и Рождествена. Писатель слушает ее рассказы, но сам не едет. Он посылает туда героя своего романа «Погляди на арлекинов» — Вадим Вадимыча. Восьмой роман Набокова на английском языке станет последним, как последним русским тоже был восьмой — «Дар».

Работая над «Арлекинами», Набоков подробно расспрашивает Елену, а перед ее поездкой летом 1973 года в Россию дает сестре длинный список необходимых ему деталей: его интересуют все подробности нового русского быта, вплоть до запахов.

В интервью немцу Циммеру (Zimmer) на вопрос, приедет ли он когда-нибудь в Германию, в которой прожил два десятилетия перед войной, Набоков ответил: «Нет, я никогда не вернусь туда, как я никогда не вернусь в Россию. <...> Пока я живу, значит, могут еще жить и те мерзавцы, которые мучили и убивали беспомощных и невинных. Откуда мне знать, что прячется в прошлом моего ровесника — добродушного незнакомца, которому мне случится пожать руку?»

14 февраля 1974-го, едва узнав о высылке Солженицына, Набоков сразу пишет ему письмо, приветствуя автора «Архипелага»

на свободе, благодарит за его послание Шведской академии и предлагает встретиться.

Первый советский писатель, посетивший его в Монтрё в сентябре 1974-го, — это эмигрировавший лауреат Сталинской премии Виктор Некрасов. Через месяц в «Монтрё-Палас» заезжает к Набоковым Владимир Максимов, издатель парижского «Континента». Между этими двумя визитами должна была состояться встреча с Солженицыным. Встречи не произошло.

Вот как комментирует эту невстречу Солженицын в своих «Очерках изгнания»: «Когда я приехал в Швейцарию — он написал мне дружественно. И в этом письме было искренне: «Как хорошо, что дети ваши будут ходить в свободную школу». Но, по свежести боли, покорило меня. Я ответил, тоже искренне: «Какая же это радость, если большинство оставшихся ходят в несвободную?» Вот так, наверное, шел и диалог между нами, если бы мы встретились в Монтрё».

В семидесятые стареющий Набоков по-прежнему каждое лето охотится за бабочками: в 1970-м в Саас-Фее, в 1971-м в Анзер-сюр-Сьон (Anzère-sur-Sion) и в Гштааде (Gstaad), в 1972-м в Ленцерхайде (Lenzerheide) и снова в Гштааде, в 1974-м он едет в Церматт, в 1975-м — в Давосс.

В интервью Домергу Набоков говорит о своих летних путешествиях: «Я обожаю горы <...> Я люблю гостить где-нибудь на тысячеметровой высоте и каждый день подниматься минимум до двух тысяч метров, чтобы ловить там альпийских бабочек. Нет ничего более восхитительного, чем выйти ранним утром с сачком, подняться по канатной дороге в безоблачное небо, наблюдая за тем, как подо мной, сбоку, поднимается тень воздушного стула с моим сидячим силуэтом и тенью сачка в руке, — она стелется по склону, колеблется под ольховыми деревьями, стройная, гибкая, помолодевшая, преображенная эффектом проекции, грациозно скользит в этом почти мифологическом вознесении. Возвращение не столь красиво, так как солнце переместилось, — я вижу карликовую тень, два толстых колена, все изменилось. Изменилась перспектива сачка, и я больше не смотрю на него».

После падения в горах Энгадина около Давоса он начинает болеть. Осенью он попадает в больницу в Монтрё, потом в Лозанну, в клинику Моншуази (Clinique de Montchoisi), где ему делают операцию, вырезают опухоль простаты.

Набоков начинает свой последний роман «Оригинал Лауры» («The Original of Laura»), который так и останется незаконченным. Он пишет, мучаясь болями и бессонницей, от которой страдает последние годы. Начинается борьба со временем. Писатель чувствует приближение смерти и, пытаясь опередить ее, пишет. Ему кажется, что Лаура — лучшее из всего им сделанного. Он должен довести начатое до конца.

В одном из последних интервью он говорит о романе, уже написанном в голове и ждущем карточек: «Я, должно быть, прошелся по нему раз пятьдесят и в своей ежедневной горячке читал его небольшой и сонливой аудитории в садовой ограде. Аудиторию составляли павлины, голуби, мои давно умершие родители, два кипариса и несколько молодых медсестер, склонявшихся надо мной, а также семейный врач, такой старенький, что стал почти невидимым. Вероятно, из-за моих запинок и приступов кашля моя бедная Лаура имела меньший успех, чем, надеюсь, возымеет у мудрых критиков, когда будет должным образом издана».

Последний год наполнен болезнями, Набоков все время в больницах — то в «Моншуази», то в Кантональном госпитале в Лозанне. В короткие перерывы он возвращается в Монтрё, заполняет карточки своей Лаурой и читает присланную славистом Проффером из Ардиса «Школу для дураков» Саши Соколова. Писатель называет этот роман лучшей русской книгой, написанной в последнее время.

Могила В.Набокова



В сентябре 1976-го на несколько недель его отправляют в частную клинику Валь-Мон в Глионе. Набоков знает, что здесь умирал Рильке — с видом на озеро внизу и Савойские Альпы напротив.

Ему становится все хуже — лихорадка, температура, бессонница. Впервые за вечерним русским скрэбблом он проигрывает в свою любимую игру сестре Елене — больше 200 очков.

В начале июня резко поднимается температура. Его отвозят в Кантональный госпиталь в Лозанну. Там он умирает 2 июля 1977 года.

7 июля в Веве происходит кремация. Присутствуют несколько человек — сын, жена, сестра, двоюродные братья Николай и Сергей, немецкий издатель Ровольт. На следующий день вдвоем, жена и сын, Вера и Дмитрий, приходят с урной на кладбище под замком Шатлар в Кларане. Это кладбище он присмотрел себе заранее. Здесь была похоронена его двоюродная бабка, Прасковья-Александрия Набокова, урожденная Толстая.

Вера живет сначала в их комнатах в отеле, работает над изданием его текстов, переводит «Бледное пламя» на русский. Потом, с приходом старости, переезжает к сыну. Она умирает 7 апреля 1991 года. Ее прах помещен в урну мужа.

Кладбище это расположено по дороге в Кларан — под горой с виноградниками и замком.

4323 экземпляра альпийских бабочек из его коллекции переданы в Зоологический музей в Лозанне и выставлены в «набоковском уголке».

В двух шагах от Монтрё уютно устроился на скале в озере Шильонский замок, прославленный Байроном и Гюго, средневековая крепость, одна из самых известных в мире достопримечательностей Швейцарии. Редкий русский путешественник не заглядывал сюда подивиться с башен на красоты альпийской природы и ужаснуться в знаменитом подземелье жестокости природы человеческой — в крепостной тюрьме томился в XVI веке на цепи женевский патриот Бонивар, прототип байроновского узника. И по сей день бережно сохраняется в замке-музее то самое кольцо в каменном столбе и выцарапанное английским поэтом имя на стене.

На испещренных туристами стенах подземелья можно встретить и кириллицу. Расписался некогда на колонне рядом с Байроном и его переводчик Жуковский. Гоголь в письме 12 ноября 1836-го сообщает, что «нацарапал даже свое имя русскими буква-

ми в Шильонском подземелье, не посмел подписать его под двумя славными именами творца и переводчика «Шильонского узника»; впрочем, даже не было и места. Под ними расписался какой-то Бурнашев, — внизу последней колонны, которая в тени; когда-нибудь русский путешественник разберет мое птичье имя, если не сядет на него англичанин».

23 апреля 1857 года был здесь Толстой, но автографа не оставил, а в дневнике ограничился скупой записью: «Ездил в Шильон». Зато часто посещает Толстой ресторан гостиницы «Байрон» (Вугон), расположенной между Шильоном и Вильневом. 23 июня, например, он записывает: «Поехали на лодке в Шильон. Чай пить в Hôtel Вугон. Хорошо, но неполно без женщин.» А вот запись от 27 июня: «Ездил в Villeneuve и Hôtel Вугон. Красавица с веснушками. Женщину хочу — ужасно. Хорошую».

Заметим, кстати, что даже в XIX веке Шильонский замок по совместительству с туристической достопримечательностью по-прежнему служит еще и тюрьмой, только заключенных содержали в верхних этажах, а подземелье показывали туристам. Худож-

Шильонский замок



ник Лев Жемчужников, брат создателя Козьмы Пруткова, в своих воспоминаниях описывает, как с женой он в том же 1857 году зашел, осмотрев музей, на службу в тюремную церковь Шильона: «Мы пошли в церковь, находившуюся внутри замка; час был обедни, и заключенные сидели чинно на скамейках в несколько рядов; проход к престолу разделял скамьи на две половины. Когда мы вошли, поп говорил проповедь; мы тихо заняли места с края задней скамейки левой стороны. Швейцар с булавой величественно пропустил нас. Я занялся рассматриванием заключенных, но не мог этого сделать, так как поп привлек наше внимание. Я ничего подобного не видел. Это было воплощение лицемерия, лжи, бездарности, фиглярства. Он то кричал на всю церковь, поднимаясь на носки, протягивая руки кверху и тараща глаза; то вдруг делал серьезное лицо, хмурил брови, сжимался и приседал, говоря шепотом. Ни я, ни Ольга не могли сдерживать своего невольного смеха, закрывая лицо платками; на нас строго смотрел швейцар; подходил к нам, постукивая булавою, но смех наш не унимался, а от сдержанности превращался в нервный хохот, и мы ушли, едва не выведенные из церкви. Господи, что может эта обезьяна внушить хорошему несчастным заключенным или закоренелому преступнику?»

Поэт Семен Надсон, приехавший в Швейцарию лечиться от туберкулеза, так описывает свои впечатления от посещения Шильона в мае 1885 года в письме А.Н.Плещееву из Монтрё: «Последний мне не понравился, в особенности после Туринского средневекового замка: ни само здание, ни его местоположение не представляют ничего интересного; или, может быть, я уж очень избалован хорошими видами. Зато Монтрё — прелесть, и Женевское озеро гораздо более по душе мне, чем необъятный простор пугающего Средиземного моря».

А вот впечатления Алексея Михайловича Ремизова, который в письме Александру Блоку от 11 июня 1911 года сообщает: «Видел Шильонский замок, везде ходил, все трогал: умели люди жить и изводить!»

Описание посещения тюрьмы Бонивара находим и у Анастасии Цветаевой, которая была здесь пансионеркой вместе с Мариной: «Мы входим в Шильонский замок. Впереди — вода, как мамины голубые шары (синие) шары, стеклянные (три и сверху один). А у стен зелень, мох, вонь воды. Страшные владения Бонивара. Мы входим на трап-мостик, ведущий к Шильонскому зам-

ку через темно мерцающую вокруг деревянных столбов воду. Детство и юность входят во мрак, сырость и цвель истории. Мы поворачиваем за угол скользкой каменной стены, мы трогаем ржавую цепь, впаянную в нее. Мы выглянули в стенное отверстие над водой, куда выбрасывали тела умерших узников. Был блещущий солнечный день. Леманское озеро лежало серебряным слитком, и по серебру таяла зеркальная глубина...»

Посещает тюремный замок во время своего путешествия по Швейцарии и, пожалуй, самый знаменитый узник России. «В Монтрё, на восточном берегу Женевского озера, почти на ощупь мы попали к замку Шильонского узника, — записывает Солженицын в «Очерках изгнания» в Вермонте, еще не зная о том, как скоро предстоит ему возвращение на родину. — Туда, после закрытия решетчатых ворот, не пустили бы нас — но немецкие экскурсанты узнали меня через ворота и стали со смехом кричать, что я — из их группы. Замок на малом островке, внутренние каменные дворики, вот и цепь для приковки узника к стене, уж и не та и в том ли месте? — но отзывается зэческое сердце: как легко устраивается тюрьма, непроницаемая для одних, легко-прогулочная для других! В детстве по многу раз читал я все свои домашние книги, так и поэму Жуковского. Как-то грезилось это все намного мрачней, грозней, и волны не озерные, — и вдруг невзначай вступаешь в грезу, с комичным эпизодом непусканья. Эти жизненные повторы, всплывы, замыканья жизни самой на себя — до чего мы их не ждем, и сколько еще встреч или посещений наградят нас в будущем. (В России бы!..)»

В следующем за замком местечке Вильнев (Villeneuve) прожил на вилле «Ольга» много лет вместе со своей русской женой Марией Павловной Кудашевой французский писатель Ромен Роллан, некогда столь популярный в России. В 1923 году нобелевский лауреат получает письмо от незнакомой почитательницы из России. Между молодой женщиной и знаменитым писателем завязывается переписка. Роллан приглашает ее посетить Вильнев. Приехав в Швейцарию, Мария Кудашева сперва помогает писателю в качестве секретаря в литературных делах, потом становится его женой. Свидетелем для регистрации брака в мэрии молодые приглашают Николая Рубакина из недалекого Кларана.

В Вильнев к Роллану, интересовавшемуся успехами строительства социализма, приезжают гости из СССР. В 1932 году по протекции Горького на вилле «Ольга» появляется лечившийся в Да-

восье советский писатель Константин Федин. В том же году приезжает сюда из Женевы представитель Советской России на международной конференции Анатолий Луначарский.

Своих детей у Роллана не было, с первой женой он развелся еще в 1901 году. Сын Кудашевой от первого брака, Сергей, часто приезжает к своему отчиму в Швейцарию. В 1938 году Роллан с женой переедет во Францию. Переписка с Москвой с началом войны прервется. В ноябре 1944 года Роллан напишет в Москву своему знакомому коммунисту Жан-Ришару Блоку: «Нас тревожит судьба нашего сына Сергея Кудашева, о котором мы ничего не знаем с 1940 года...» К этому времени младшего лейтенанта-артиллериста уже не будет в живых – Сергей Кудашев погиб в самом начале войны.

XVI

«Сперва я хотел продолжать в Сен-Пре работать так, как я работал в Мюнхене. Но что-то внутри меня не позволяло писать красочные, чувственные картины. Страдания изменили мою душу, и нужно было найти другие формы и краски, чтобы выразить то, что волновало мою душу».

А.Г.Явленский. «Воспоминания»



«Насыщайся, мое зрение...»

ОТ ЛОЗАННЫ ДО ЖЕНЕВЫ



А.Н.Скрябин



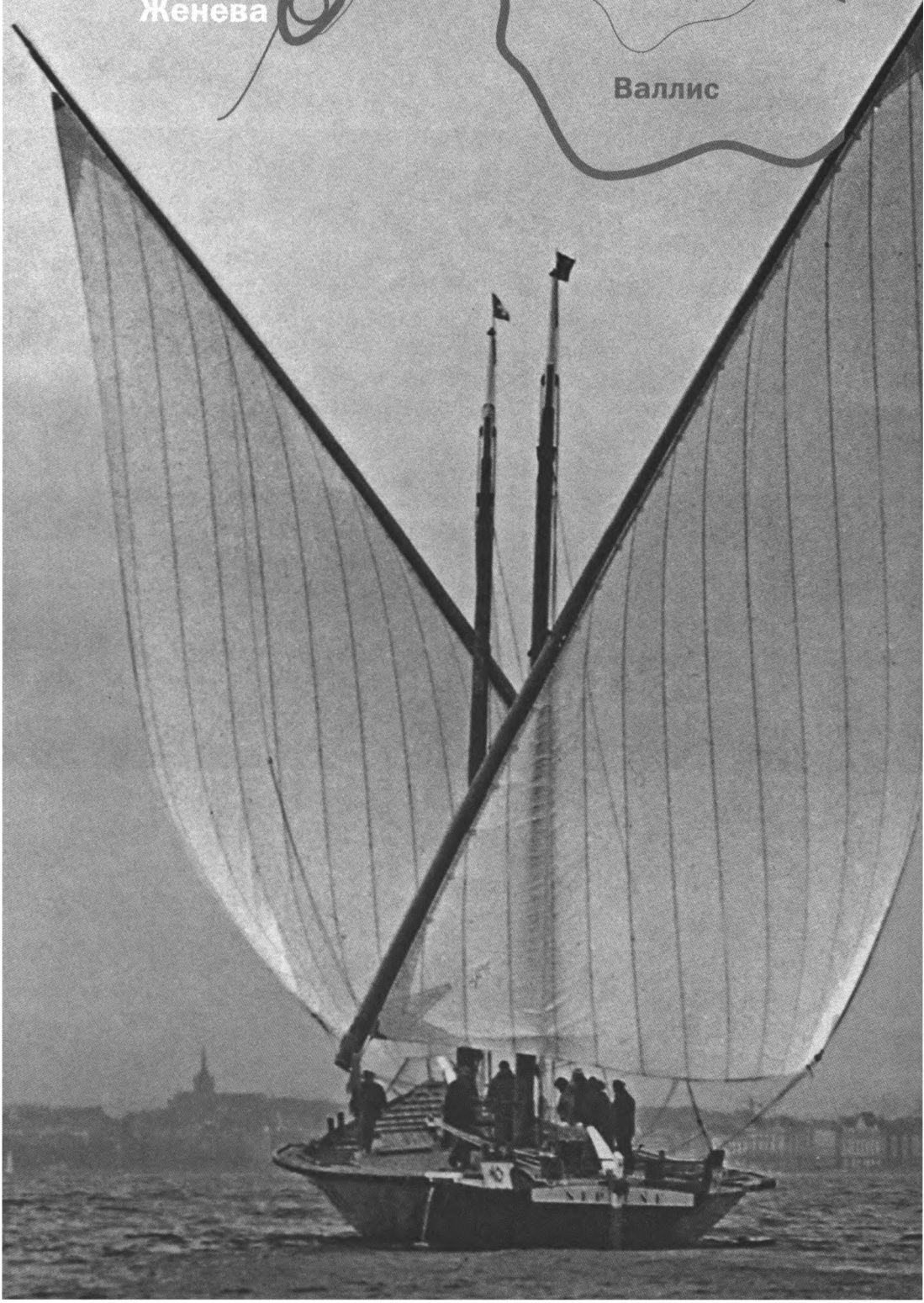


Женева

Лозанна

Шильон

Валлис



«**О**т Лозанны до Женевы ехал я по берегу озера, между виноградных садов и полей, которые, впрочем, не так хорошо обработаны, как в Немецкой Швейцарии, и поселяне в Pays-de-Vaud гораздо беднее, нежели в Бернском или Цюрихском кантонах. Из городков, лежащих на берегу озера, лучше всех полюбился мне Морж». О бедности жителей кантона Во вряд ли кто-нибудь теперь заговорит, но разница даже во внешнем облике деревень немецкой и французской Швейцарии бросается в глаза и сегодняшнему туристу.

Хотя местечки, разбросанные между Лозанной и Женевой, не пользовались такой популярностью, как Монтрё или Веве, здесь тоже останавливались русские путешественники.

Полюбившийся Карамзину Морж (Morges) выберет для жизни во время Первой мировой войны Игорь Стравинский. Композитор жил здесь по трем адресам. Первое время он располагается на вилле «Ле-Сапэн» (Les Sapins) в восточной части городка с видом на озеро и Лозанну. Здесь он живет с июня 1915 года по январь 1916-го, когда переезжает на виллу Роживию (Rogivue), поближе к озеру. 8 мая 1917 года Стравинский занимает дом Борнар (Maison Bognard), расположенный в самом центре городка напротив церкви, который можно легко найти по памятной доске. В этом доме прожил композитор три года. Надпись на здании церкви «A la gloire de Dieu», которую каждый день видел Стравинский, станет посвящением в «Симфонии псалмов».

«В это время я очень часто виделся с Рамю, — пишет Стравинский в своих воспоминаниях о времени, проведенном в Морже. Со швейцарским писателем шла совместная работа над «Историей солдата» и другими произведениями. — Мы работали вместе над переводом на французский язык русского текста моих «Прибауток», «Кошачьих колыбельных песен» и «Байки про Лису». Я посвящал его в различные особенности и тонкости русского языка, в трудности, обусловленные его тоническим ударением. Меня восхищало его проникновение в самую суть, его интуиция, его талант передавать дух русской народной поэзии на такой непохожий и далекий язык, как французский».

Морж, однако, связан для Стравинского не только с приятными переживаниями. Здесь композитор заболевает межреберной невралгией: «На почве перенесенной болезни у меня были почти парализованы ноги, и я не мог двигаться без посторонней по-

мощи». Узнав о болезни Стравинского, в Морж приезжает Дягилев. Посещение больного соединяется с делами насущными — здесь они обсуждают возможность постановки «Соловья», как это было сделано с «Золотым петушком».

Композитора в Морже посещают также Вацлав Нижинский с женой. Заходят в гости и поселившиеся в соседнем местечке Сен-Пре (St.Prex) русские художники Марианна Веревкина и Алексей Явленский.

Набережная Моржа носит имя русского композитора.

Веревкина и Явленский живут в Сен-Пре с 1914 по 1917 год. Выбор этот обусловлен, в частности, тем, что поблизости, в Лозанне, жил их состоятельный русский знакомый по фамилии Хрущов, на поддержку которого им приходилось рассчитывать, — с началом войны резко сократилась пенсия, которую получала Веревкина от царского правительства за своего отца, некогда команданта Петропавловской крепости в Петербурге.

С началом войны русские подданные должны были покинуть Мюнхен в течение 48 часов. Все имущество и собрание картин Веревкиной и Явленского осталось в мюнхенской квартире — с собой они могли взять только то, что имели на себе.

Среди депортированных из Германии русских был еще один художник — Василий Кандинский. После шестнадцати лет, проведенных в этой стране, он, как и Веревкина с Явленским, вынужден покинуть ее в течение двух суток. 3 августа 1914 года

В.В.Кандинский



художник вместе с Габриелой Мюнтер (Gabriele Münter) пересекает Боденское озеро. В Швейцарии он пробудет почти четыре месяца — в конце ноября он отправится через Балканы в Россию. Приют себе Кандинский находит в местечке Гольдах (Goldach) на берегу Боденского озера. Здесь он работает над теоретическим материалом, нашедшим выражение в его будущих текстах. С окончанием войны связывает художник надежды на новый мир, в котором искусство займет подобающее ему место. В письме своему другу Паулю Клее Кандинский пишет из Гольдаха 10 сентября 1914 года: «Какое будет счастье, когда пройдет это ужасное время. Что придет потом? Мне кажется, великое освобождение внутренних сил, которые приведут и к пониманию всеобщего братства. И великий расцвет искусства, которое сейчас должно прятаться по щелям».

Но вернемся в Сен-Пре. После богемной жизни в центре культуры художники вдруг оказались в провинциальном одиночестве. Веревкина и Явленский снимают верхний этаж маленького домика с видом из окна на аллею, ведущую к озеру.

С ними живет служанка Веревкиной — Елена Незнакомова, будущая официальная жена Явленского, и их сын, двенадцатилетний Андрей, на людях считавшийся «племянником» художника. В своих воспоминаниях Явленский пишет: «В Сен-Пре мы прожили три года. Квартира была маленькая, и у меня не было своей комнаты, и мне принадлежало, так сказать, только окно. На моей душе из-за всех ужасных событий было так мрачно и несчастливо, что я был рад просто спокойно сидеть у окна и собирать свои чувства и мысли. У меня было немного красок, но не было мольберта. Я поехал в Лозанну, двадцать минут по железной дороге, и купил у одного фотографа маленький мольберт за четыре франка, на котором он выставлял свои фотографии. Этот маленький мольберт совершенно не был приспособлен для работы, но я писал на нем больше двадцати лет и сделал мои лучшие картины».

Своему знакомому Веркаде художник пишет о работе в Сен-Пре: «Я чувствовал, что должен найти другой язык, более духовный. Я чувствовал это в моей душе. Я сидел у окна. Перед собой я видел дорогу, несколько деревьев, и время от времени показывалась вдали гора. Я начал искать новый путь в моем искусстве. Это была огромная работа. Я понял, что должен писать не то, что я вижу, и даже не то, что я чувствую, но то, что жило во мне, в мо-

ей душе. Образно говоря, я чувствовал во мне, в моей груди орган, и его я должен был заставить звучать. И природа, которую я видел перед собой, мне только суфлировала. И это был ключ, который открывал этот орган и приводил к звучанию. В начале было очень трудно. Но потом я мог красками и формой легко найти то, что было в моей душе. Формат моих картин стал меньше, 30 x 40. Я сделал очень много картин, которые я назвал «Вариациями на тему пейзажа». Это песни без слов».

В крошечной комнате с одним окном Явленским было написано более ста пейзажных вариаций. Одиночество первого года пребывания в Сен-Пре сменяется в 1915 году активными контактами. Летом Веревкина и Явленский едут во Фрибур, где встречаются со своим другом Паулем Клее. С сыном Андреем — тоже будущим художником — Явленский в том же году едет в Женеву, где посещает Ходлера. Знаменитый швейцарский художник в восторге от работ тринадцатилетнего Андрея и обменивает два своих рисунка на один юного русского художника.

В Сен-Пре начинается знакомство, которое приведет к кардинальному повороту в жизни художников: познакомиться с Явленским приезжает молодая — на двадцать пять лет моложе Веревкиной — Эмма Шейер, Галка.

Шейер занимает место Веревкиной в жизни Явленского — через нее устанавливается связь с богатым коллекционером Генрихом Кирххоф (Heinrich Kirchhof) из Висбадена, куда позже переедет Явленский. Она организует его выставки, занима-

А.Явленский. «Галка»



ется пропагандой его творчества сначала в Германии, потом в Америке, где Явленский вместе с Кандинским, Клее и Файнингером станут известны под именем «Голубая четверка».

В 1917 году Явленский и Веревкина, которые все же чувствовали себя в деревне на берегу Женевского озера оторванными от культурной жизни, переселяются в переполненный эмигрантами Цюрих, в центр европейского авангарда того времени, где уже буйствовали дадаисты.

Русским, оказавшимся в местечке Обонь (Aubonne), расположенном чуть в стороне от озера, на горе, откуда открывается необыкновенный вид на Леман, будет, возможно, небезынтересно узнать, что живописный замок, венчающий городок, принадлежал некогда Жан-Баптисту Тавернье (Jean-Baptiste Tavernier), знаменитому в свое время путешественнику, жизнь которого оказалась навсегда связанной с Россией. Об этом человеке и о своем посещении Обоня пишет в своих письмах Карамзин: «Тавернье, который объездил большую часть света, — Тавернье говорил, что он, кроме одного места в Армении, нигде не находил такого прекрасного вида, как в Обоне. Сей городок лежит на скате высокой Юры, недалеко от Моржа, верстах в тридцати от Женевы; итак, взяв в руки диогенский посох, отправился я в путь, чтобы собственными глазами видеть ту картину, которою восхищался славный французский путешественник».

На сей раз ожидания Карамзина не были обмануты — он потрясен увиденными картинами: «Насыщайся, мое зрение! Я должен оставить сию землю... Для чего же, когда она столь прекрасна? Построю хижину на голубой Юре, и жизнь моя протечет, как восхитительный сон!...» Для восхитительного сна, однако, не хватает чего-то существенного. «Но ах! — восклицает путешественник. — Здесь нет друзей моих!» Восхищение от увиденного так переполняет молодое сердце, что, не имея возможности поделиться с друзьями, Карамзин хочет разделить это чувство хотя бы с будущим своим читателем: «Может быть, дети друзей моих придут на сие место, да чувствуют они, что я теперь чувствую, и Юра будет для них незабвенна!»

О владельце замка Карамзин пишет: «Тавернье, возвратясь из Индии с великим богатством, купил Обонское баронство и хотел здесь провести остаток дней своих. Но страсть к путешествиям снова пробудилась в душе его — будучи осьмидесяти четырех лет от роду, поехал он на край севера и скончал многотрудную жизнь свою в столице нашего государства в 1689 году».

Городок Нион (Nyon) связан с именем Герцена, и наоборот, имя Герцена связано с Нионом, вернее, псевдоним, под которым за-прещенный в России Искандер печатался в еженедельной петербургской газете «Неделя». Весной 1868 года во время встречи в Нионе А.П.Пятковский, работавший в «Неделе», предлагает Герцену легально издаваться в России — писать очерки о заграничной жизни. Так рождается цикл «Скуки ради». Поскольку печататься под своим именем было невозможно, Герцен взял себе псевдоним И.Нионский.

Городок и окрестности так понравились Герцену, что он выбирает это место для встречи своей разбросанной семьи в августе 1868 года. Для летнего проживания в качестве дачи снимается замок Пранжэн (Prangins).

«Собираясь в Эльзас для осмотра школ и пансионов, мы все-таки решили съездить в Швейцарию для свидания с Огаревым и с детьми Герцена, — рассказывает в своих мемуарах Тучкова-Огарева. — Тогда Тхоржевский (польский эмигрант, один из ближайших помощников Герцена по вольной русской прессе. — *М.Ш.*) нанял старинный замок Prangins, кажется, часа полтора от Женевы; туда съехалось в последний раз все наше семейство... Позже и Огарев с маленьким Тутсом присоединились к нам. Последним прибыл в Prangins Александр Александрович Герцен со своей молоденькой женой. Он только что женился тогда, и Терезина его не говорила еще по-французски, так что нам всем пришлось объясняться с ней по-итальянски, что значительно сокращало наши разговоры. Была великолепная осень; Терезина охотно ходила гулять то с Герценом, то со мной».

Это была последняя встреча его с детьми. Горячее желание Герцена жить всем вместе так и осталось неосуществленным. Видя, что та семья, которую так хотел собрать, рассыпается, он пишет Огареву из Ниона 14 августа горькие слова: «Ты был поставлен необыкновенно счастливо нравом и обстоятельствами. Мимо тебя все идет, не зацепляясь; все на свете понимая глубоко, ты выходишь сух из воды. Отсутствие детей сняло с тебя страшные вериги; вымышленные отношения все же легче. Вместо крутой раздражительности, невольно берущей мелочи к сердцу, у тебя кроткий и безмерный эгоизм, и притом до нежности гуманный. Внешний ветер не подымает злую тину со дна, а только подергивает темнотой зыбь. Тебе иерархическая власть была не нужна, ты никого не вел, не тащил, и если попал в беду, то попал один.

Тут антиномия авторитета и воли. Все скверное, что разрушено, разрушено волей против авторитета. Все хорошее, что создано, создано авторитетом. Ты славно ломал, без шума; я не умел ни того, ни другого, — и попусту шумел».

Вообще судьба семьи Герцена складывается трагически. Ко времени этой встречи в Нионе он пережил уже достаточно драм. После истории с предательством друга, немецкого поэта Гервега, умирает при родах первая жена Наталья, новорожденное дитя живет только несколько часов. Их глухонемой сын Николай погибает вместе с матерью Герцена при кораблекрушении. Приезд из России друга Огарева с женой оборачивается еще одной драмой — Тучкова-Огарева уходит от мужа к Герцену. Старшие дети не принимают ее, отходят от отца все дальше. Дети Герцена и Тучковой-Огаревой, близнецы Елена и Алексей, умирают в трехлетнем возрасте на руках отца от дифтерита. Психическая болезнь старшей дочери Натальи подкосит самого Герцена. Дочь Лиза кончит самоубийством через пять лет после смерти отца. Более счастливо сложится жизнь старшего сына Александра —

А.И.Герцен с дочерьми Наталией, Ольгой и сыном Александром



профессора Лозаннского университета, преподававшего до самой смерти в 1906 году. Библиотеку Герцена и переписку он оставит своему сыну Николаю, внуку Герцена, преподававшему в Лозаннском университете римское право. Интересно, что многочисленное потомство Герцена укоренилось в Швейцарии, упомянем, например, праправнука писателя Сержа, инженера-химика, директора знаменитого концерна «Нестле». Дочь Герцена Наталья, не имея своей семьи, посвятит жизнь брату Александру, будет писать портреты отца, в 1931 году издаст мемуары. Другая дочь, Ольга, выйдет замуж за французского историка Габриэля Моно, проживет больше века и умрет в один год со Сталиным.

Связан Нион и с именем Скрябина. В 1904 году здесь жила знаменитая русская меценатка Маргарита Морозова, поддерживавшая композитора. В своих мемуарах она вспоминает, как Скрябин приезжал сюда из Весна на пароходе: «Когда он приезжал к нам, то мы занимались и он часто играл сам. Потом мы гуляли по нашему парку, который удивительно живописно спускался с высокой горы, где стоял дом, к самому озеру, где в голубой прозрачной воде плавали красные и золотистые рыбы. Александр Николаевич очень любил побежать быстро-быстро по тенистой аллее и, отбежав далеко, высоко подпрыгивал. Это соответствовало его настроению, которое можно было бы определить как стремление к полету! Издали он мне казался каким-то Эльфом или Ариэлем из Шекспира, так легко и высоко он взлетал...»

А.Н.Скрябин



Нион использовался и русскими революционерами, готовившими на берегах Женевского озера свои террористические акты в России. В воспоминаниях лидера эсеров Чернова «Перед бурей» находим рассказ о том, как знаменитый боевик Егор Созонов (Сазонов) готовил здесь бомбу для своего покушения: «Мне вспоминается Сазонов в маленьком швейцарском отеле на набережной города Н(ион), уже хлопочущий с привезенным откуда-то динамитом. Два товарища, навестившие его, замечают слежку. Проверка подтверждает их наблюдение. Что делать? Сазонову предлагают, между прочим, избавиться от динамита, утопив его в озере. Но Сазонов против таких поспешных решений. Он хочет спасти это оружие во что бы то ни стало, и он верит в успех. Он оказался прав – ему удалось вывернуться из трудного положения и спасти динамит». Спасенный от леманских вод динамит взрывает министра внутренних дел Плеве. Сам Сазонов при взрыве будет тяжело ранен. И на каторге революционер будет бороться с ненавистным ему порядком, объявлять голодовки, бунтовать и даже умрет с пользой для революции – примет морфий, чтобы своим самоубийством вызвать протесты против русского правительства.

Направляясь от Ниона к Женеве, попадаем в местечко Фуне (Founex). Здесь в пансионе «Этье» (Pension Etier) живет в июне 1913 года Алексей Михайлович Ремизов. 30 июня он пишет отсюда Блоку: «Дорогой Александр Александрович! Тут томимся, в Сюисе скучном». Бороться со швейцарской скукой помо-

А.М.Ремизов



гает писателю общение со Львом Шестовым, с именем которого связан соседний Коппе (Coppet). Здесь философ жил с марта 1910 года в течение четырех лет.

Шестов, интереснейший русский мыслитель и – из-за болезни отца – компаньон крупной фирмы, снимает в этом курортном месте виллу «Ле-Соль» (Les Saules), просторный двухэтажный дом в десять комнат и большим садом у самого озера – с купальней и причалом для лодки. Сюда в 1911 году приезжают и проводят два года его сестра Фаня и ее муж, композитор Ловцкий. В Коппе у Шестова часто гостят друзья и знакомые, здесь бывали, в частности, поэт Юргис Балтрушайтис, писатель Евгений Лундберг и другие. В «Записках писателя» Лундберг вспоминает: «Вилла «Соль» на Лемане. Панорама Монблана. Вечера, когда мы ждали телеграммы о Льве Толстом, покинувшем ночью дом свой. «Так и я когда-нибудь уйду», – сказал Шестов, постукивая палкой по асфальту Лозаннского шоссе».

Евгения Герцык в своих «Воспоминаниях» пишет, как жила весной 1912 года в Лозанне и ездила в гости к Шестову: «Весна была холодная. Яблоня, персик, вишня зацвели поздно, но как внезапно, пьяняще, белым дымом застилая все дали и близи. Мы с Шестовым шли меж горных складок тропинкой под сплошным бело-розовым шатром. Помню его возбуждение: “Это я – скептик? – пересказав мне какую-то о себе критику, – когда я только и твержу о великой надежде, о том, что именно гибнущий человек стоит на пороге открытия, что его дни – великие каниуны...”»

Алексей Ремизов, часто бывающий в гостях у Шестова, пишет 11 июля 1911 года из Коппе Блоку: «Первые дни в этой невыносимо скучной Женеве скучал, как собака. Теперь последние главы Пруда делаю и не замечаю скуки. <...> С Шестовым выдаемся каждый день. <...> Ни гор, ни озер я не люблю. Я камни люблю, серые камни».

В Коппе Шестов начинает работу над книгой «Sola fide», но война мешала ее закончить. Из Швейцарии Шестовы уезжают в Россию за несколько дней до начала войны – 21 июля. Они едут через Германию, где под Берлином умирает его отец. В Россию им удается вырваться через Швецию только в сентябре. Библиотеку Шестов отправил в Россию, но границу уже закрыли, и ящики возвращаются в Швейцарию. Книги остаются до конца войны в Женеве у его сестры. Там же будет дожидаться возвращения

автора незаконченная рукопись «Sola fide». Шестов вернется к ней через шесть лет, уже в эмиграции.

Пожалуй, вот здесь, «на берегу прекраснейшего в свете озера», мы и закончим эту книгу.

«Ныне минуло мне двадцать три года! — записал некогда один русский юноша в день своего рождения. Впереди ждали его и «Письма русского путешественника», и «Бедная Лиза», и «История государства российского». — В шесть часов утра вышел я на берег Женевского озера и, устремив глаза на голубую воду его, думал о жизни человеческой».

К самому, как утверждают путеводители, большому пресному водоему Западной Европы русское сердце питает особое чувство. Хоть что-то самое большое в этой стране-невеличке. Леманская ширь зовет задуматься и заглянуть поглубже в себя. Из души, уязвленной швейцарскими красотами, рвется русская песня. Так, княгиня Дашкова едет кататься на лодке со своим новым знакомцем, французским живописцем Робером Юбером: «Гюбер оказал мне любезность — с помощью и по указаниям Воронцова прикрепил на самом большом судне русский флаг. Он пристрастился к русской музыке и, слушая, как я и госпожа Каменская пели русские песни, вскоре выгучил их наизусть, благодаря отличному слуху».

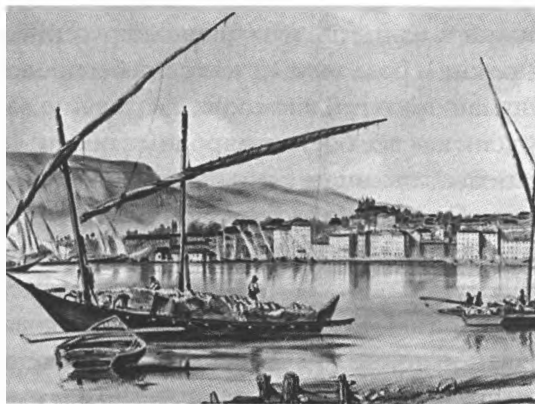
Приходят новые поколения на берега Женевского озера, а его волны снова и снова несут к Савойским Альпам родные напевы. «Скиталец, — вспоминает Бонч-Бруевич прогулки знаменитого в то время писателя социал-демократа со своими товарищами по набережной, — певал нам многие народные песни: и волжские — лихой понизовой вольницы, и заунывные русские, и печально звенящие, широкие и раздольные, как сама беспредельная степь, украинские, чумацкие и гайдамацкие, хватавшие за душу и подмывавшие к удали, как все боевые народные песни, сохранившие старинные напевы, давнишние мотивы вековой борьбы с угнетением и злом. Георгий Валентинович (Плеханов. — М.Ш.) любил слушать это пение. Могучий голос Скитальца привлекал к себе внимание не только всех нас, но и многих женевцев, гуляющих здесь по вечерам. С нескрываемым удовольствием слушали они это бесплатное пение (а для них это было очень важно!) не известного им артиста, поющего на незнакомом языке незнакомые мотивы...»

Уже сам только вид леманского простора оказывает на русско-го путешественника целебное действие, как это происходит, например, с загрустившей мадам Курдюковой:

До Тонена, до Копея,
Озеро, как эпопея,
Развернулось предо мной;
Умиленно душой,
Как на озеро взглянула,
Я от скуки отдохнула.

А вот после смерти дочери плывут по озеру на пароходе из Женевы в Веве Достоевские. И Леман становится для них местом горя, исповеди и утешения. «Пароход, на котором нам пришлось ехать, — вспоминает Анна Григорьевна, — был грузовой, и пассажиров на нашем конце было мало. День был теплый, но пасмурный, под стать нашему настроению. Под влиянием прощания с могилкой Сонечки Федор Михайлович был чрезвычайно расстроган и потрясен, и тут, в первый раз в жизни (он редко роптал), я услышала его горькие жалобы на судьбу, всю жизнь его преследовавшую. Вспоминая, он мне рассказал свою печальную одинокую юность после смерти нежно любимой им матери, вспоминал насмешки товарищей по литературному поприщу, сначала признавших его талант, а затем жестоко его обидевших. Вспоминал про каторгу и о том, сколько он выстрадал за четыре года

Женевское озеро



пребывания в ней. Говорил о своих мечтах найти в браке своем с Марьей Дмитриевной столь желанное семейное счастье, которое, увы, не осуществилось: детей от Марии Дмитриевны он не имел, а ее «странный, мнительный и болезненно-фантастический характер» был причиной того, что он был с ней несчастлив. И вот теперь, когда это “великое и единственное человеческое счастье — иметь родное дитя” посетило его и он имел возможность сознать и оценить это счастье, злая судьба не пощадила его и отняла от него столь дорогое ему существо! Никогда, ни прежде, ни потом, не пересказывал он с такими мелкими, а иногда трогательными подробностями те горькие обиды, которые ему пришлось вынести в своей жизни от близких и дорогих ему людей».

Леман Карамзина. Леман Мятлева и Леман Достоевского. Леман Дашковой и Леман Скитальца. Озеро тысячи лиц. Озеро-двойник. Озеро, что приходится впору каждой судьбе.

В его прозрачной волне Гоголь видит Селифана. Стравинский — Петрушку. Набоков — Аду.

Озеро — чудо.

Да и есть ли он вообще, этот Лак-Леман? Может, это просто обман зрения, отблеск солнца на бунинской брусчатке?

«Но где озеро? И на минуту мы остановились в недоумении. Вдалеке все было в легком светлом тумане, а мостовая в конце улицы блестела под солнцем, как золотая. И мы быстро пошли к тому, что казалось мокрой и блестящей мостовой».

XVII



Вместо послесловия

ШВЕЙЦАРСКИЕ СТИХИ РУССКИХ ПОЭТОВ



Переход в Швейцарии чрез Альпийские горы
российских императорских войск под
предводительством Генералиссимуса; 1799 года

(Отрывки из оды)

О радость! – Муза, дай мне лиру,
Да вновь Суворова пою!
Как слышен гром за громом миру,
Да слышит всяк так песнь мою!
Побед его плененный слухом,
Лечу моим за ним я духом
Чрез доли, холмы и леса;
Зрю – близ меня зияют ады,
Над мной шумящи водопады,
Как бы склонились небеса.

О ты, страна, где были нравы,

В руках оружие, в сердце Бог!
На поприще которой славы
Могущий Леопольд не мог
Сил капли поглотить сил морем;
Где жизнь он кончил бедством, горем!
Скажи, скажи вселенной ты,
Гельвеция, быв наш свидетель:
Чья Россов тверже добродетель?
Где больше духа высоты?

Услышьте! Вам соплещут други,
Поет Христова церковь гимн;
За ваши для царей заслуги,
Цари вам данники отнынь.
Доколь течет прозрачна Рона,
Потомство поздно без урона
Узрит в ней ваших битв зари;
Отныне горы ввек Альпийски
Пребудут Россов обелиски,
Дымящи холмы – алтари.

1799

Изола Белла

Красавец остров! Предо мною
 Восходишь гордо ты в водах,
 Поставлен смертною рукою
 На диких мраморных скалах,
 Роскошным садом осененный,
 Облитый влагой голубой,
 И мнится, изумруд зеленый
 Обхвачен чистой бирюзой.
 Меня манит твой берег счастливый;
 Он сладких дум, он негой полн.
 Спешу, спешу, пловец ленивый!
 Лети в зыбях, мой легкий челн!
 Там, меж ветвей полусокрыты,
 Лимоны золотом горят;
 Как дев полуденных ланиты,
 Блистает пурпурный гранат;
 Там свежих роз благоуханье;
 Там гордый лавр пленяет взор
 И листьев мирта трепетанье,
 Как двух влюбленных разговор.
 Прелестный край! Все дышит югом —
 И тень садов, и лоно вод;
 И Альпов цепь могущим кругом
 Его от хлада стережет,

 И ярко в небе блещут льдины,
 И выше сизых облаков
 Восходят горы исполины
 Под шлемом девственных снегов.
 Не так ли в повестях Востока
 Ирана юная краса
 Сокрыта морем, далеко,
 Где чисто светят небеса,
 Где сон ее лелеют пери
 И духи вод ей песнь поют;
 Но мрачный Див стоит у двери,
 Храня таинственный приют.

1826 (?)

АЛЕКСАНДР ОДОЕВСКИЙ

Сен-Бернар

Во льдиных шлемах великаны
Стоят, теряясь в облаках,
И молний полные колчаны
Гремят на крепких раменах;
Туманы зыбкими грядами,
Как пояс, стан их облегли,
И расступилась грудь земли
Под их гранитными стопами.

Храните благодатный юг,
Соединясь в заветный полукруг,
Вы, чада пламени, о Альпы, исполины!
Храните вы из века в век
Источники вечно-шумящих рек
И нежно-злачные Ломбардии долины.

1831. Петровская тюрьма

КОНСТАНТИН АКСАКОВ

Путешествие на Риги

Прочтя в своей дорожной книге,
Что Риги — чудная гора,
Решился я идти на Риги,
Отправясь с самого утра.

Мои хозяева со мною
Хотели на гору идти
И в лодке раннею порою
Чрез озеро перевезти.

Бьет два часа. Они уж встали
И будят сонного меня.
Вскочил и я. Мне свечку дали,
С которою оделся я.

Еще под небом мгла лежала.
И только звезды с вышины
В спокойном озере дрожали
При блеске трепетном луны.

Мы медленно и бодро плыли,
И, нарушая тишину,
Рыбачьи весла мерно били,
Будя уснувшую волну.

Швейцары пели песни, сладко
Напевам горным я внимал
И песни родины украдкой
В душе своей припоминал.

Уже восток алел, но горы,
Широкою кидая тень,
Еще задерживали скоро
Уже рождающийся день.

Вот мы у берега оставить
Спешим у привязи челнок

И на гору наш путь направить;
А восход и долог и высок.

1838

ПЕТР ВЯЗЕМСКИЙ

Горы под снегом

Блестят серебряные горы,
И отчеканились на них
Разнообразные узоры
Из арабесков снеговых.

Здесь серебра живого груды;
Здесь, неподдельной красоты,

На пиршестве земном сосуды –
Огромно-чудной высоты.
Своею выставкой богата
Неистошима земля:
Здесь грановитая палата
Нерукотворного Кремля.

1855

14 января в Веве

Моя вечерняя звезда,
Моя последняя любовь!
На вечеряющий мой день
Отрады луч пролей ты вновь!

Порою невоздержных лет
Мы любим блеск и пыл страстей;
Но полу-радость, полу-свет
Нам на закате дня милей.

1855

ЯКОВ ПОЛОНСКИЙ

На Женевском озере

На Женевском озере
Лодочка плывет –
Едет странник в лодочке,
Тяжело гребет.
Видит он – по злачному
Скату берегов
Много в темной зелени
Прячется домов.
Видит – под окошками
Возле синих вод
В виноградном садике
Красный мак цветет.
Видит – из-за домиков,
В вековой пыли,

Колокольни серые
Подняли шпили,
А за ними – вечные
В снежных пеленах
Выси допотопные
Тонут в облаках.
И душой мятежной
Погрузился он
О далекой родине
В неотвязный сон –
У него на родине
Ни озер, ни гор,
У него на родине
Степи да простор.
Из простора этого
Некуда бежать,
Думы с ветром носятся,
Ветра не догнать.

1858

АПОЛЛОН МАЙКОВ

Альпийская дорога

На горе, сияньем утра
Деревянный крест облит,
И малютка на коленях
Перед ним в мольбе стоит...

Помолись, душа святая,
И о странных и чужих,
О тоскующих, далеких,
И о добрых и о злых...

Помолись, душа святая,
И о том, чей путь далек,
Кто с душой, любовью полной,
В мире всюду одинок...

1859

КАРОЛИНА ПАВЛОВА

Озеро Вален

День весенний всходит ало,
С глади озера сбежала
Тень прибережных высот;
И над каждой мглой угрюмой,
И над каждой тяжелой думой
Луч небесный верх берет.

Даль раскинулась пред нами:
Над зелеными горами
Блещут снежных гор хребты;
Полон весь простор окрестный
Торжествующей, чудесной,
Ненаглядной красоты!

Сентис сбросил с плеч туманы,
И венок надел румяный
Он на белую главу;
Над равниной вод сияя,
Смотрит ясно небо мая
Синевою в синеву.

Сыплются кругом богато
Искры яхонта и злата
Из лазуревой струи;
Тешится ль русалок стая,
Вверх наперерыв бросая
Ожерелия свои?..

1861

ФЕДОР ТЮТЧЕВ

Утихла биза... Легче дышит
Лазурный сонм женевских вод —
И лодка вновь по ним плывет,
И снова лебедь их колышет.

Весь день, как летом, солнце греет,
Деревья блещут пестротой,
И воздух ласковой волной
Их пышность ветхую лелеет.

А там в торжественном покое,
Разоблаченная с утра,
Сияет Белая гора,
Как откровенье неземное.

Здесь сердце так бы все забыло,
Забыло б муку всю свою, —
Когда бы там — в родном краю, —
Одной могилой меньше было...

1864

КОНСТАНТИН СЛУЧЕВСКИЙ

Озеро четырех кантонов

И никогда твоей лазури ясной,
Сквозящей здесь по страшной глубине,
Луч солнца летнего своей улыбкой страстной,
Пройдя до дна, не нагревал вполне.

И никогда мороз зимы холодной,
Спустившись с гор, стоящих над тобой,
Не смел оковывать твоей пучины водной
Своей тяжелой, мертвенной броней.

За то, что ты не ведало, не знало,
Того, что в нас, в груди людей живет, —
Не жглось огнем страстей, под льдом не обмирало —
Ты так прекрасна, чаша синих вод.

Не позднее 1875

Тяжелый день... Ты уходил так вяло...
Я видел казнь: багровый эшафот
Давил как будто бы сбежавшийся народ,
И солнце ярко на топор сияло.

Казнили. Голова отпрянула, как мяч!
Стер полотенцем кровь с обеих рук палач,
А красный эшафот поспешно разобрали,
И увезли, и площадь поливали.

1880

ДМИТРИЙ МЕРЕЖКОВСКИЙ

Гриндельвальд

Букет альпийских роз мне по пути срывая,
В скалах меня ведет мой мальчик проводник,
И, радуясь тому, что бездна мне родная,
Я с трепетом над ней и с жадностью поник.

О, бледный Зильберггорн на блеклом небосклоне
О, сладкогласная мелодия звонков —
Там где-то далеко чуть видимых на склоне
По злачной мураве пасущихся коров!

Уже в долинах — зной, уже повсюду — лето,
А здесь еще — апрель, сады еще стоят
Как будто бы в снегу, от яблонного цвета,
И вишни только что надели свой наряд.

Здесь одиночеству душа безумно рада,
А в воздухе кругом такая тишина,
Такая тишина и вечная прохлада,
И мед пахучих трав, и горная весна!

О, если б от людей уйти сюда навеки
И, смерти не боясь, лететь вперед, вперед,

Как эти вольные бушующие реки,
Как эти травы жить, блеснуть, как этот лед.

Но мы не созданы для радости беспечной, —
Как туча в небесах, как ветер и вода:
Душа должна любить и покоряться вечно, —
Она свободною не будет никогда!

Не позднее 1892

МАКСИМИЛИАН ВОЛОШИН

Via Mala

Там с вершин отвесных
Ледники сползают,
Там дороги в тесных
Щелях пролегают.
Там немые кручи
не дают простору,
Грозовые тучи
Обнимают гору.
Лапы темных елей
Мяжки и широки,
В душной мгле ущелий
Мечутся потоки.
В буйном гневе свирепея,
Так грохочет Рейн.
Здесь ли ты жила, о фея —
Раутенделейн?

Тузис, 1899

Под знаком Льва

М.В.Сабашниковой

Томимый снами, я дремал,
Не чуя близкой непогоды;
Но грянул гром, и ветер упал,
И свет померк, и вздулись воды.

И кто-то для моих шагов
Провел невидимые тропы
По стогам буйных городов
Объятой пламенем Европы.

Уже в петлях скрипела дверь
И в стены бил прибой с разбега,
И я, как запоздалый зверь,
Вошел последним внутрь ковчега.

Дорнах, август 1914

ИВАН БУНИН

Зимний день в Оберланде

Лазурным пламенем сияют небеса...
Как ясен зимний день, как восхищают взоры
В безбрежной высоте изваянные горы, —
Титанов снеговых полярная краса!

На скатах их, как сеть, чернеются леса,
И белые поля сквозят в ее узоры,
А выше, точно рать, бредет на косогоры
Темно-зеленых пихт и елей полоса.

Зовет их горный мир, зовут снегов пустыни,
И тянет к ним уйти, — быть вольным, как дикарь,
И целый день дышать морозом на вершине.

Уйти и чувствовать, что ты — пигмей и царь,
Что над тобой, как храм, воздвигся купол синий
И блещет Зильберггорн, как ледяной алтарь!

1902

В Альпах. Сонет на льдине

На высоте, на снеговой вершине,
Я вырезал стальным клинком сонет.
Проходят дни. Быть может, и донныне

Снега хранят мой одинокий след.
На высоте, где небеса так сини,
Где радостно сияет зимний свет,

Глядело только солнце, как стилет
Чертил мой стих на изумрудной льдине.

И весело мне думать, что поэт
Меня поймет. Пусть никогда в долине
Его толпы не радуется привет!

На высоте, где небеса так сини,
Я вырезал в полдневный час сонет
Лишь для того, кто на вершине.

1901

Эйгер

С высоты привет тебе, заря!
Океаном облака клубятся,
А меж ними цепи гор таятся,
И сквозят, рубинами горя.

С высоты сияет небосклон —
И встает над бездною туманной,
Весь в огне и славе первозданной,
Древний Эйгер, как господний трон.

1900

ВЯЧЕСЛАВ ИВАНОВ

Альпийский рог

Средь гор глухих я встретил пастуха,
Трубившего в альпийский длинный рог.
Приятно песнь его лилась; но, зычный,
Был лишь орудьем рог, дабы в горах
Пленительное эхо пробуждать.
И всякий раз, когда пережидал

Его пастух, извлекший мало звуков,
Оно носилось меж теснин таким

Неизреченно-сладостным созвучьем,
Что мнилось: незримый духов хор
На неземных орудьях переводит
Наречием небес язык земли.
И думал я: «О гений! Как сей рог,
Петь песнь земли ты должен, чтоб в сердцах
Будить иную песнь. Блажен, кто слышит».
А из-за гор звучал ответный глас:
«Природа – символ, как сей рог. Она
Звучит для отзвука. И отзвук – Бог.
Блажен, кто слышит песнь и слышит отзвук»

1902

КОНСТАНТИН БАЛЬМОНТ

Голубая Роза

Фирвальдштетское озеро – Роза Ветров,
Под ветрами колышутся семь лепестков.
Эта роза сложилась меж царственных гор
В изумрудно-лазурный узор.

Широки лепестки из блистающих вод,
Голубая мечта в них, качаясь, живет.
Под ветрами встает цветовая игра,
Принимая налет серебра.

Для кого расцвела ты, красавицы вод?
Этой розы никто никогда не сорвет.
В водяной лепесток – лишь глядится живой,
Этой розе дивясь мировой.

Горы встали кругом, в снеге рады цветам,
Юной Девой одна называется там.
С этой Девой далекой ты слита Судьбой,
Роза-влага, цветок голубой.

Вы равно замечались о горной весне,
Ваша мысль — в голубом, ваша жизнь — в белизне.
Дева белых снегов, голубых ледников,
Как идет к тебе Роза Ветров!

1903

ВАЛЕРИЙ БРЮСОВ

Фирвальдштетское озеро

«Фирвальдштетское озеро — Роза Ветров...»
К. Бальмонт

Отели, с пышными порталами,
Надменно выстроились в ряд
И, споря с вековыми скалами,
В лазурь бесстрастную глядят.

По набережной, под каштанами,
Базар всесветной суеты, —
Блеск под искусными румянами
В перл возведенной красоты.

Пересекая гладь бесцветную,
Дымят суда и здесь и там,
И, посягнув на высь запретную,
Краснеют флаги по горам.

И в час, когда с ночными безднами
Вершины смешаны в тени,
Оттуда — спор с лучами звездными
Ведут отельные огни.

Люцерн, 1909

МАРИНА ЦВЕТАЕВА

В Ouchy

Держала мама наши руки,
К нам заглянув на дно души.
О, этот час, канун разлуки,
О предзакатный час в Ouchy!

– Все в знаньи, скажут нам науки...
Не знаю... Сказки – хороши!
О эти медленные звуки,
О эта музыка в Ouchy!

Мы рядом. Вместе наши руки.
Нам грустно. Время, не спеши!..
О этот час, преддверье муки,
О вечер розовый в Ouchy!

После 1904

БОРИС ПАСТЕРНАК

В пучинах собственного чада,
Как обращенный канделябр,
Горят и гаснут водопады
Под трепет траурных литавр.

И привиденьем Монгольфьера,
Принесшего с собой ладью,
Готард, являя призрак серый,
Унес долины в ночь свою.

1912

АНДРЕЙ БЕЛЫЙ

Самосознание

Мне снились: и море, и горы...
Мне снились...

Далекie хоры
Созвездий кружились
В волне мировой...

Порой метеоры
Из высей катились,
Беззвучно
Развеявши пурпурный хвост надо мной.

Проснулся – и те же: и горы,
И море...

И долгие, долгие взоры
Бросаю вокруг.
Все то же...
Докучно
Внимаю,
Как плачется бездна:
Старинная бездна лазури;
И – огненный, солнечный
Круг.

Мои многолетние боли –
Доколе?..

Чрез жизни, миры, мироздания
За мной пробегаете вы?

В надмирных твореньях, –
В паденьях, –
Течет бытие... Но – о, Боже! –

Сознание
Все строже, все то же –
Все то же
Сознание
мое.

Базель, февраль 1914

Разорвалось затишье грозное...
Взлетает ввысь громовый вопль племен.
Закручено все близкое, родное,
Как столб песков в дали иных времен.

А — я, а — я?.. Былое без ответа...
Но где оно?.. И нет его... Ужель?
Невыразимые, — зовут иных земель
Там волны набегающего света.

Арлегейм, октябрь 1914

ОСИП МАНДЕЛЬШТАМ

«Морожено!» Солнце. Воздушный бисквит.
Прозрачный стакан с ледяною водою.
И в мир шоколада с румяной зарею,
В молочные Альпы мечтанье летит.

Но, ложечкой звякнув, умильно смотреть —
Чтоб в тесной беседке, средь пыльных акаций,
Принять благосклонно от булочных граций
В затейливой чашечке хрупкую снедь...

Подруга шарманки, появится вдруг
Бродячего ледника пестрая крышка —
И с жадным вниманием смотрит мальчишка
В чудесного холода полный сундук.

И боги не ведают — что он возьмет:
Алмазные сливки иль вафлю с начинкой?
Но быстро исчезнет под тонкой лучинкой,
Сверкая на солнце, божественный лед.

1914

По Швейцарии

Агате Вебер

Мы ехали вдоль озера в тумане,
И было нескончаемо оно.
Вдали горели горы. Час был ранний.
Вагон дремал. Меня влекло окно.

Сквозь дымку обрисовывались лодки,
Застывшие на глади здесь и там.
Пейзаж был блеклый, серенький и кроткий,
Созвучный северным моим мечтам.

Шел пароход откуда-то куда-то.
Я знал – на нем к кому-то кто-то плыл,
Кому всегда чужда моя утрата,
Как чужд и мне его восторг и пыл.

Неслись дома в зелено-серых тонах.
Вдруг возникал лиловый, голубой.
И лыжницы в костюмчиках зеленых
Скользили с гор гурьбой наперебой.

Базель, 31 января 1931

АНАТОЛИЙ ШТЕЙГЕР

Может быть, это лишь заколдованный круг
И он будет когда-нибудь вновь расколдован.
Ты проснешься... Как все изменилось вокруг!
Не больница, а свежий некошенный луг,
Не эфир – а зефир... И не врач, а твой друг
Наклонился к тебе, почему-то взволнован.

Берн, 1936

Не получая писем, сколько раз
Мы сочиняли (в самоутешенье?..)
Наивно-драматический рассказ
Про пистолет, болезнь или крушение...

Отлично зная – просто не до нас.
(Но уж не в силах обойтись без фальши,
Поверить правде до конца страшась,
Не смея думать, что же будет дальше)...

Хайлигеншвенди, 1936

Можно пожать равнодушно плечом,
Мимо пройти, не добравшись до связи.
Разум, увы, здесь не будет ключом.
Жизнь точно сон... Не понять в пересказе
Что-то... О чем-то. Но только о чем?
(И не всегда о какой-нибудь грязи.)

Берн, 1939

ВЛАДИМИР НАБОКОВ

Средь этих лиственниц и сосен,
под горностаем этих гор
мне был бы менее несносен
существования позор:

однообразнее, быть может,
но без сомнения честней,
здесь бедный век мой был бы прожит
вдали от вечности моей.

Санкт-Мориц, 10.7.1965

А

- Аарау (Aarau) 61
Аванш (Avenches) 470
Агра (Agra) 516
Адельбоден (Adelboden) 239, 422, 584
Айроло (Aiolo) 351, 489, 490
Альпнахштад (Alpnachstad) 390
Альтдорф (Altdorf) 356, 358–360, 363
Амбри-Сотто (Ambri-Sotto) 510
Андельфинген (Andelfingen) 31, 32
Андерматт (Andermatt) 353, 354, 356
Анзер (Anzère-sur-Sion) 458, 585
Аньо (Agnò) 518
Аппенцель (Appenzell) 180
Арлесхайм (Arlesheim) 318, 322, 331, 627
Ароза (Arosa) 438–439
Арт (Arth) 375
Аскона (Ascona) 237, 504–510
Астано (Astano) 516

Б

- Бад-Рагац (Bad Ragaz) 438
Бад-Тарашп (Bad Tarsasp) 442
Базель (Basel) 16, 19, 27, 42, 87, 177, 185, 241, 259, 261, 264, 299, 302–331, 340, 356, 460, 537, 627, 629
Бе (Bex) 451, 459, 582
Беатенберг (Beatenberg) 403, 404, 577
Бедано (Bedano) 518
Бекенрид (Beckenried) 390
Беллинцона (Bellinzona) 361, 387, 490, 491
Бенинген (Böningen) 405, 418
Бельвю (Bellevue) 155, 156, 402
Берн (Bern) 17, 24, 42, 60, 80, 87, 90, 97, 130, 148, 151, 177, 185, 187, 191, 197, 210, 219, 220, 226, 230, 254–301, 314, 318, 354, 369, 389, 401, 408, 413, 416, 422, 436, 440, 460, 470–472, 479, 500, 515, 541, 629

Бернский Оберланд (Berner Oberland) 41, 185, 259, 396–423, 560, 474, 560, 622
Бильское или Биеннское озеро (Bieler See, Lac de Bienne) 475, 476
Бриг (Brig) 449, 460
Бриенц (Brienz) 393, 409, 418
Бриенцское озеро (Brienzer See) 401, 409, 418, 421
Брионе (Brione) 510
Бруннен (Brunnen) 362, 372, 390, 393
Брюниг (Brünigpass) 393
Бург (Burg) 471
Бюлах (Bülach) 27, 179, 234
Бюрглен (Bürglen) 363

В

Вайсенбург (Weissenburg) 423
Валлензее (Wallensee) 429, 618
Валис (Wallis) 444–461, 544, 560, 580
Веве (Vevey) 17, 25, 42, 55, 68, 145, 449, 456, 468, 529, 534, 537, 546, 551–559, 570, 571, 575, 579, 587, 597, 608, 316
Веггис (Weggis) 374
Венгернальп (Wengernalp) 414, 417
Вербье (Verbier) 455, 581, 582
Вер л'Еглиз (Vers-l'Eglise) 451
Верне (Vernex) 456
Весна (Vésenaz) 153, 604
Веттергорн (Wetterhorn) 417, 420
Виа-Мала (Via Mala) 429, 432, 621
Вийар-сюр-Оллон (Villars-sur-Ollon) 579
Вильнев (Villeneuve) 456, 560, 588, 590
Вэденсвилл (Wädenswil) 390

Г

Гемми (Gemmipass) 402
Гешенен (Göschenen) 356
Гларус (Glarus) 180, 362, 363, 429
Глион (Glion) 561, 575, 576, 578, 579, 587
Гольдау (Goldau) 17, 18, 374
Гольдах (Goldach) 599
Горж-дю-Триан (Gorges du Trient) 454
Граубюнден (Graubünden) 424, 432–442
Гриндельвальд (Grindelwald) 408, 413, 415–417, 620

Грион (Gryon) 459
Гштаад (Gstaad) 422, 423, 585

Д

Давос (Davos) 433–442, 585, 590, 591
Диаблере (Les Diablerets) 451, 582
Дитикон (Dietikon) 179, 180
Дорнах (Dornach) 223, 235, 283, 315–331, 517, 539, 578

Ж

Женева (Genève, Genf) 19, 23, 25, 35–164, 187, 190, 193, 200,
209, 211–213, 234, 238, 242, 261, 265, 266, 270, 271, 273, 276,
299, 313, 354, 355, 391, 410, 412, 436, 449, 452, 453, 455–457,
459, 460, 467, 476, 492, 529, 533, 539, 540, 545, 557, 560, 562, 570,
582, 592, 601, 605, 606, 608, 619

З

Зарнен (Sarnen) 390
Зеренберг (Sörenberg) 375
Зильбергорн (Silberhorn) 420, 622
Зустен (Susten) 460

И

Иланц (Ilanz) 422, 429
Иммензее (Immensee) 375, 390
Интерлакен (Interlaken) 282, 393, 401, 404–409, 411–413,
421, 423, 473, 474

К

Кандерштер (Kandersteg) 421
Кастаньола (Castagnola) 515
Кинталь (Kiental) 422
Кинциг (Kinzigpass) 360
Кларан (Clarens) 17, 25, 43, 44, 98, 152, 290, 295, 405, 451, 529,
542, 511, 557–573, 575, 587, 590
Клентальское озеро (Klöntaler See) 429
Коппе (Corpet) 538, 606, 608
Кран-Монтана (Crans-Montana) 458, 459, 581, 582
Кройцлинген (Kreuzlingen) 239, 298
Кьяссо (Chiasso) 519
Кюснахт (Küssnacht am Rigi) 374, 375, 390

Л

Лаго-ди-Муццано (Lago di Muzzano) 515
Лаго-Маджоре (Lago Maggiore) 356, 484, 491, 498,
499, 504–512

Лак-де-Бре (Lac de Bret) 570
Лак-де-Жу (Lac de Joux) 480
Лангнау (Langnau am Albis) 180
Ла-Сарра (La Sarraz) 241, 489
Лаутербруннен (Lauterbrunnen) 413, 414, 418, 420
Лейзен (Leysin) 450, 451
Лейкербад (Leukerbad) 459, 582
Ленцбург (Lenzburg) 413
Ленцерхайде (Lenzerheide) 442, 585
Ловерцкое озеро (Lauerzer See) 17
Лозанна (Lausanne) 17, 25, 42, 27, 261, 264, 408, 409, 436, 460, 476,
520–552, 554, 568, 570, 578, 579, 586, 587, 592, 597–599, 606
Локарно (Locarno) 77, 81, 195, 197, 199, 491–496, 498, 499, 501,
504, 507, 510, 511, 563
Лугано (Lugano) 16, 180, 297, 3807, 492, 503, 512–517, 584
Луганское озеро (Lago di Lugano) 512, 515–518
Лютри (Lutry) 477
Люцерн (Luzern) 15, 16, 33, 36, 185, 297, 356, 362, 370, 376,
378–381, 382–393, 625

М

Майенфельд (Maienfeld) 432
Майринген (Meiringen) 417, 418
Малькантоне (Malcantone) 516
Мартини (Martigny) 454, 455, 544
Матт (Matt) 429
Маттерхорн (Matterhorn) 419, 420, 444, 461
Мендризио (Mendrisio) 516
Мёнх (Mönch) 421
Мерлиген (Merligen) 402
Мерлишахен (Merlischachen) 375
Мерье (Meuriez) 471
Минусио (Minusio) 491
Мозоньо (Mosogno) 495, 496
Монбовон (Montbovon) 473
Мон-Пельран (Mont Pelerin) 557
Монтальола (Montagnola) 515, 516
Монте-Роза (Monte Rose) 461
Монтрё (Montreux) 16, 25, 28, 29, 67, 408, 422, 443, 453, 456, 458,
474, 534, 537, 539, 545, 551, 554, 558,–561, 567, 570–590, 597
Морж (Morges) 519, 527, 539, 597, 598, 601

Морне (Mornex) 101
Москва (Moskau) 338
Муотаталь (Muotathal) 361–363, 388
Муральто (Muralto) 492, 493
Муртен (Murten) 20, 64, 259, 470–472,
Мюнсинген (Münsingen) 239, 412, 413
Мюррен (Mürren) 420

Н

Нейхаузен (Neuhausen) 343
Нетсталь (Netstal) 429
Нефельс (Näfels) 429
Нешатель (Neuchâtel) 91, 478
Нешательское озеро (Lac de Neuchâtel) 475, 476
Нион (Nyon) 527, 602–605

О

Оберрид (Oberried bei Bern) 261
Обонь (Aubonne) 601
Онэ (Onex) 152
Ормон (Les Ormonts) 451
Орселино (Orselino) 507

П

Пайерн (Payern) 476
Паникс (Panixerpass) 408, 429–431
Пилатус (Pilatus) 387
Пис-Ваш (Pisse-Vache) 454
Понте-Треза (Ponte Tresa) 518
Понтрезина (Pontresina) 438
Прагель (Pragel) 362, 429
Пфинвальд (Pfywald) 460
Пюиду (Puidoux) 570, 571

Р

Райхенбах (Reichenbach) 417
Рамзен (Ramsen) 338
Рапперсвиль (Rapperswil) 242, 390, 391
Рарон (Raron) 32
Рейнский водопад (Rheinfall) 14, 208, 307, 332–345
Риги (Rigi) 14, 208, 366, 369–374, 390, 393, 406, 614
Ридерн (Riedern) 429
Розенлауишлухт (Rosenluischlucht) 417
Роль (Rolle) 527

Росшток (Rosstock) 360
Рютли (Rütli) 364, 365
Рюшликон (Rueschlikon) 420

С

Саас-Фе (Saas Fee) 585
Саксон-ле-Бэн (Saxon les Bains) 51, 455–457
Салев (Salève) 44, 135
Сальван (Salvan) 454, 573
Санкт-Галлен (St.Gallen) 180
Сен-Бернар (St.Bernard) 455, 614
Сен-Готард (St.Gotthard) 222, 346, 351, 356, 357, 361, 433, 489, 490, 510, 626
Сен-Лежье (St.Légier) 571
Сен-Мориц (St.Moritz) 239, 433, 436–442, 582, 630
Сен-Имье (St.Imier) 91, 479
Сен-Пре (St.Prex) 235, 592, 598–600
Сентис (Säntis) 618
Симплон (Simplon) 449, 450, 455, 458, 460
Сион (Sion) 449, 456, 458
Солотурн (Solothurn) 204
Сонвиле (Sonvilier) 91, 478
Соренго (Sorengo) 515
Сьерр (Sierre) 458, 459

Т

Таверне (Taverne) 518
Тайнген (Thayngen) 345
Тенеро (Tenero) 491
Тессин (Tessin) 77, 297, 477, 484–519
Трюммельбах (Trüm) 414
Тузис (Thuisis) 424, 621
Тун (Thun) 259, 282, 318, 401, 402, 404, 408, 413
Тунское озеро (Thuner See) 282, 396, 401–404, 408, 409, 421, 577
Тургау (Thurgau) 180

У

Унтерзеен (Unterseen) 413
Унтерэгери (Unterägeri) 295
Уншпуннен (Unspunnen) 413
Урзерн (Ursern) 354
Ури (Uri) 358, 359, 365
Уши (Ouchy) 14, 150, 530, 536, 537, 539, 543, 545

Ф
Файдо (Faido) 490
Ферней (Ferney) 156–159
Фино (Finhaut) 454, 544
Финстерааргорн (Finsteraarhorn) 419, 420
Фирвальдштетское озеро (Vierwaldstättersee)
16, 164, 186, 352, 359, 360, 364, 366, 369, 372, 374–376, 378,
387, 406, 409, 625
Фицнау (Vitznau) 366, 367, 369
Флюэльн (Flüheln) 372, 406
Фрайбург или Фрибур (Freiburg, Fribourg) 64, 404, 462–470,
472–474, 476, 600
Фуне (Founex) 605

Х
Хайлигеншвенди (Heiligenschwendi) 404, 629
Хам (Cham) 390
Хертенштайн (Hertenstein) 375–378
Холе-Гассе (Hohle Gasse) 375, 390
Хоспенталь (Hospental) 352, 353
Хур (Chur) 429, 432, 439

Ц
Церматт (Zermatt) 461, 585
Циммервальд (Zimmerwald) 25, 288, 422
Цуг (Zug) 295, 390
Цугское озеро (Zuger See) 375, 390
Цюрих (Zürich) 14, 15, 19, 20, 22, 25, 27, 29–32, 84–86, 90, 93,
94, 98, 106, 130, 138, 140, 151, 166, 171–253, 259, 287, 290,
291, 295, 296, 298, 299, 308, 314, 338, 355, 359–361, 391, 395,
441, 467, 482, 494, 496, 501, 510, 539, 545, 601
Цюрихберг (Zürichberg) 25, 101, 180, 248–251

Ш
Шампе (Champex) 454
Шарбоньер (Charbonnières) 480
Шарнахтал (Scharnachtal) 421
Шатель (Châtel) 20, 471, 472
Шато д'Э (Château-d'Oex) 473–475, 582
Шафхаузен (Schaffhausen) 14, 27, 176, 179, 234, 293, 307, 332,
337–341, 343–345
Шаи (Chailly) 557, 568
Шайдегг (Scheidegg) 416, 417
Швиц (Schwyz) 360–362, 365, 366, 390

Шелленен (Schöllenen) 353
Шильон (Chillon) 28, 456, 546, 551, 554, 560, 565, 571, 574, 587–590
Шо-де-Фон (La Chaux-de-Fonds) 477–479, 482
Шпиц (Spiez) 402, 403
Шплюгена (Splügen) 502
Шрекгорн (Schreckhorn) 417
Штансштад (Stansstad) 390
Штауббах (Staubbach) 414

Э

Эвионна (Evionnaz) 453, 454
Эглизау (Eglisau) 179, 343
Эйгер (Eiger) 420, 623
Эйнзидельн (Einsiedeln) 174, 365
Эльм (Elm) 429
Энгадин (Engadin) 429, 437, 449, 585
Энги (Engi) 429
Энтлебух (Entlebuch) 401
Этвиль (Oetwil) 287

Ю

Юнгфрау (Jungfrau) 15, 396, 404–406, 408, 409, 418–420
Ютлиберг (Ütliberg) 248, 251–253

А

- Аббиат Роланд (Roland Abbiate) (1904—?) 545
 Аванесов Варлаам Александрович (1884—1930) 297
 Авенариус (Avenarius) Рихард (1843—1896) 213, 214
 Авксентьев Николай Дмитриевич (1878—1943) 130, 366, 367
 Адамини 516
 Азеф Евно Фишелевич (Евгений Филиппович) (1869—1918)
 14, 25, 126—130, 133, 135, 136, 218—221, 254, 278—281, 368,
 410, 411, 480—482, 566, 569
 Аксаков Константин Сергеевич (1817—1860) 364, 370, 614
 Аксельрод Ида Исаковна (1870—1918) 282
 Аксельрод Любовь Исаковна (Ортодокс) (1868—1946) 281
 Аксельрод Павел Борисович (1850—1928) 25, 98, 100, 105,
 114, 124, 216—218, 281, 287, 288, 403, 422
 Алданов (Ландау) Марк Александрович (1886—1957) 159,
 160, 353
 Александр I (1777—1825) 14, 66, 173, 179, 180, 263, 264, 308,
 309, 338, 339, 529, 551
 Александр II (1818—1881) 20, 42, 60, 92, 374, 418
 Александр III (1845—1894) 248
 Александров Григорий Васильевич (1903—1983) 240, 482
 Алехин Александр Александрович (1892—1946) 242
 Аллилуева Светлана Иосифовна (р. 1924 г.) 404, 462, 470
 Андреас-Саломе Лу (1861—1937) 214
 Андреев Леонид Николаевич (1871—1919) 156, 575, 576
 Андреева Мария Федоровна (Юрковская) (1868—1953) 575
 Анна Федоровна (1781—1860) 66, 163, 263—265
 Анненков Павел Васильевич (1813—1887) 271, 342, 559
 Ансерме (Ansermet) Эрнест (1883—1969) 150, 380, 573
 Аптекман Осип Васильевич (1849—1926) 566
 Арманд Инесса Федоровна (1874—1920) 251, 283—285, 422,
 439, 568

Б

- Багоцкий Сергей Юстинович (1879—1953) 235, 299, 300, 568
 Багратион Петр Иванович (1765—1812) 352, 361, 429, 489

Бакст Лев Самойлович (1866–1924) 538, 539
Бакунин Михаил Александрович (1814–1876) 24, 63, 68–71, 73–77,
79–83, 85, 91, 137, 181, 191, 194–197, 199, 207, 263, 267, 271, 272,
275, 459, 469, 477, 491–503, 514, 515, 554, 561, 563
Балабанова Ангелика (1878–1965) 285, 287, 297, 298, 422
Балтрушайтис Юргис Казимирович (1873–1944) 606
Бальмонт Константин Дмитриевич (1867–1942) 393, 624
Бардина Софья Илларионовна (1853–1883) 192, 209, 210
Бартенев Виктор Иванович (1838–1918) 87
Бартенева Екатерина Григорьевна (1843–1914) 87
Бауман Николай Эрнестович (1873–1905) 14, 115
Бах Алексей Николаевич (1857–1946) 135
Бедный Демьян (Ефим Придворов) (1883–1945) 568
Беклин (Böcklin) Арнольд (1827–1901) 312
Белый Андрей (Бугасев Борис Николаевич) (1882–1934) 15, 223, 239,
283, 302, 314–321, 323–331, 369, 393, 402, 511, 517, 539, 578, 626
Бенкендорф Христофор Иванович (1749–1823) 558
Бенуа Александр Николаевич (1870–1960) 312, 356, 391, 393, 515, 516
Бердяев Николай Александрович (1874–1948) 26, 102, 103, 160,
161, 223, 224, 403, 564
Березовская Анна Елеазаровна (1870–1962) 538
Берзин Ян (1881–1941) 287, 293–296, 298, 299
Билит Борис Григорьевич (Бонцеон Гершович) (1864–?) 135
Бирюков Павел Иванович (1860–1931) 152, 567
Блаватская Елена Петровна (1831–1891) 161, 316, 504
Блейлер (Bleuler) Евгений (1857–1939) 239, 314
Блок Александр Александрович (1880–1921) 122, 156, 313, 314,
315, 319, 328, 369, 605, 606
Боборыкин Петр Дмитриевич (1836–1921) 86, 271, 438, 517
Бобровская (Зеликсон) Цецилия Самойловна (1876–1960) 110,
217, 250
Богданов (Малиновский) Александр Александрович (1873–1928)
120, 570
Боголюбов Алексей Петрович (1824–1896) 44
Бокова Мария Александровна (Обручева) (1839–1929) 187, 202
Бонч-Бруевич Владимир Дмитриевич (1873–1955) 101, 110–112,
115, 117–120, 136, 147, 149, 213–217, 570, 607
Бонштеттен (Bonstetten) Карл Виктор (1745–1832) 40
Боткин Василий Петрович (1812–1869) 185, 389
Боткин Владимир Петрович (1837–1869) 454, 455, 529

Бохановский (Бобырь-Бохановский) И.В. (1848–1917) 125
Брешко-Брешковская Екатерина Константиновна (1844–1934)
129, 130, 131, 219, 277
Бриллиант Дора Владимировна (1880–1906) 128, 410, 411
Бронский Мечеслав (1882–1941) 232, 422
Брупбахер (Brupbacher) Фритц (1874–1945) 125, 210, 215,
216, 226, 229, 232, 298, 505
Брюллов Карл Павлович (1799–1852) 44
Брюсов Валерий Яковлевич (1873–1924) 148, 393, 409, 625
Бугаева Александра Дмитриевна (1858–1922) 318
Бугаева Клавдия Николаевна (Васильева) (1886–1970) 330
Булгаков Сергей Николаевич (1871–1944) 15, 344
Бунин Иван Алексеевич (1870–1953) 14, 16, 154, 160, 242,
282, 372–374, 393, 420, 421, 442, 537, 575, 622
Бунина (Муромцева) Вера Николаевна (1882–1961) 282, 374,
393, 420
Бурцев Владимир Львович (1862–1942) 568–570
Бухарин Николай Иванович (1888–1938) 124, 228, 285, 568

В

Вагнер (Wagner) Рихард (1813–1883) 222
Валентинов (Вольский) Николай Владиславович
(1879–1964) 114, 115
Варшавский Владимир Сергеевич (1906–1978) 162
Васильев Николай Васильевич (1857–1920) 274, 275
Вахтангов Евгений Багратионович (1883–1922) 159, 538
Вейцман Хайм (1874–1952) 107
Величкина Вера Михайловна (1868–1918) 117, 147
Вербицкая Анастасия Алексеевна (1861–1928) 26, 103
Веревкина Марианна (1860–1938) 235, 236, 300, 507–510, 598, 601
Вернадский Владимир Иванович (1863–1945) 15, 344
Веселовский Авраам Павлович (1685–1783) 39
Вишневская Галина Павловна (р. 1926) 246
Воейков Александр Иванович (1842–1916) 505
Волошин Максимилиан Александрович (Кириенко) (1877–1932)
148, 222, 252, 322, 323, 329, 424, 437, 621
Волошина-Сабашникова Маргарита Васильевна (1882–1973)
148, 222, 223, 235, 252, 320–323, 437, 439, 531, 621
Вольтер (Voltaire) (1694–1778) 15, 156–159
Воровский Вацлав Вацлавович (1871–1923) 115, 299, 541, 570
Воронихин Андрей Никифорович (1760–1814) 40

Врубель Михаил Александрович (1856–1910) 164, 391–393
Вырубов Григорий Николаевич (1843–1913) 70
Вышеславцев Борис Петрович (1877–1954) 161, 240
Вяземский Петр Андреевич (1792–1878) 261, 553, 615

Г

Ганецкий (Фюрстенберг) Яков (1879–1937) 289, 290
Гапон Георгий Аполлонович (1870–1906) 105, 130–132
Гарibaldi (Garibaldi) Джузеппе (1807–1882) 70, 513
Ге (Голберг) Александр Юльевич (1879–1919) 138, 140
Гервег (Herwegh) Георг (1817–1875) 59, 181, 184, 513
Герцен Александр Александрович (1839–1906) 58, 68, 77, 151, 532, 533, 602, 603
Герцен Александр Иванович (1812–1870) 114, 19–21, 30, 36, 43, 51, 52, 56–71, 74–82, 91, 92, 141, 143, 145, 149, 181, 183, 184, 195, 197, 212, 247, 263, 265, 270–272, 311, 365, 387, 388, 461, 469, 471, 473, 495, 512, 513, 554, 561, 574, 602–604
Герцен Наталья (Захарьина) (1822–1852) 387, 603
Герцен Наталья Александровна (1844–1936) 11, 64, 66, 77, 79–82, 84, 184, 543, 603, 604
Герцен Николай Александрович (1873–1929) 604
Герцен Ольга Александровна (1850–1953) 66, 604
Герцык Евгения Казимировна (1878–1944) 606
Гершуни Григорий Андреевич (Герш Ицкович) (1870–1908) 136, 220–222, 280, 480
Геснер (Gessner) Соломон (1730–1788) 173, 176, 177
Гёте (Goethe) Иоганн Вольфганг (1749–1832) 173
Гинзбург Мария (1867–?) 248, 249
Гинзбург Софья (1865–1891) 248–250
Глинка Михаил Иванович (1804–1857) 460
Глинка Сергей Николаевич (1775–1875) 519
Гогелиа Георгий Ильич (1878–1924) 137, 138
Гоголь Николай Васильевич (1809–1852) 15, 19, 39, 42, 158, 261, 512, 551–553, 529, 546, 552
Головина Алла Сергеевна (1909–1987) 301
Гольбейн (Holbein) Ганс (1497–1543) 302, 307, 308, 310–312
Гончарова Наталья Сергеевна (1861–1962) 539
Горев (Гольдман) Борис Исаакович (1874–1937) 104
Горовиц Владимир Самойлович (1904–1989) 240, 378, 379, 393
Горький Максим (Пешков Алексей Максимович) (1868–1936) 109, 115, 138, 156, 330, 575, 590

Гоц Абрам Рафаилович (1882–1940) 127, 366, 367
Гоц Михаил Рафаилович (1866–1906) 125–127, 220, 280
Гребницкая Екатерина Ивановна (Писарева) (1853–1875) 211
Грейлих (Greulich) Герман (1842–1925) 204, 205
Греч Николай Иванович (1787–1867) 14, 16, 158, 177, 332,
342, 343, 358, 370, 387, 489
Григоров Борис Павлович (1883–1945) 320
Гримм (Grimm) Роберт (1881–1958) 25, 216, 235, 285–288,
291, 422
Гримм (Grimm) Роза (Шлейн) (1875–1954) 286, 287
Гроссман Александр Соломонович (1878–1908) 138
Гроссман Иуда Соломонович (1883–1934) 137–139
Гуревич Абрам (1872 – после 1934) 218
Гусев (Драбкин) Сергей Иванович (1874–1933) 115

Д

Дайнов Мендель (1873 – после 1909) 137, 138, 140
Дан (Гурвич) Федор Ильич (1871–1947) 105, 110, 124
Дауваальдер Валерия Флориановна (р. 1918 г.) 468
Дашкова Екатерина Романовна (1743–1810) 15, 39, 156, 157,
479, 607, 609
Дебогорий-Мокриевич Владимир Карпович (1848–1926)
189, 194, 499
Дейч Лев Григорьевич (1855–1941) 26, 98–100, 105, 115, 131,
312, 313
Дембо (Бринштейн) Исаак (1865–1889) 248, 249
Демидов Никита Акинфиевич (1724–1789) 40
Демидов Павел Григорьевич (1740–1826) 40
Денисьева Елена Александровна (1826–1864) 45, 164, 402,
421, 469
Державин Гаврила Романович (1743–1816) 612
Дзержинская Софья Сигизмундовна (1882–1968)
295–299, 517
Дзержинский Феликс Эдмундович (1877–1926)
295–298, 517, 518
Дивногорский Николай Валерианович (1882–1909) 576, 577
Дмитриева (Кушелева, Томановская) Елизавета Дмитриевна
(1851–1898) 87, 88
Добужинский Мстислав Валерианович (1875–1957) 340,
372, 515–517
Доде (Daudet) Альфонс (1840–1897) 24, 371, 408, 409, 574

Долгоруков Петр Владимирович (1816–1868) 268–271
Дора Д'Истрия (Елена Кольцова-Массальская) (1828–1888) 421
Достоевская Анна Григорьевна (1846–1918) 48–55, 70, 111,
143–145, 149, 311, 312, 444, 456, 457, 555, 556, 608
Достоевский Федор Михайлович (1821–1881) 13, 19, 39, 47–56, 71, 111,
143–145, 149, 164, 187, 311, 312, 391, 403, 444, 455–458, 555, 556, 608–609
Драгоманов Михаил Петрович (1841–1895) 201
Дружинин Александр Васильевич (1824–1864) 561
Дурново Петр Николаевич (1845–1915) 25, 411
Дюнан (Dupant) Анри (1828–1910) 292
Дягилев Сергей Павлович (1872–1929) 150, 403, 440, 451, 516, 538,
539, 571, 572, 580

Е

Егоров Иван Васильевич (1887–1971) 566, 575
Екатерина Павловна (1788–1819) 338
Ефремов Иван Николаевич (1866–1932) 299

Ж

Жемчужников Алексей Михайлович (1821–1908) 574
Жемчужников Лев Михайлович (1828–1912) 44, 455, 589
Жилярди Доменико (1788–1845) 515
Житловский Хаим Осипович (1865–1943) 277, 280
Жомини Александр Генрихович (1814–1888) 476
Жомини Генрих Вениаминович (Антуан Анри) (1779–1869) 476
Жуковский Василий Андреевич (1783–1852) 14, 15, 17, 42, 158,
263, 342, 343, 363–365, 369, 370, 374, 387, 396, 405, 418, 468, 489,
490, 512, 529, 546, 551, 552
Жуковский Николай Иванович (1842–1895) 81, 91, 94, 554, 561

З

Забела Надежда Ивановна (1868–1913) 164, 391, 392
Зайцев Варфоломей Александрович (1842–1882) 496, 497, 563
Засулич Вера Ивановна (1849–1919) 98, 99, 105, 124, 214, 217
Збарский Борис Ильич (1885–1954) 107
Зензинов Владимир Михайлович (1880–1953) 116, 130, 134–136,
221, 366
Зиновьев (Апфельбаум) Григорий Евсеевич (1883–1936) 234, 282,
285, 287, 288, 290, 291, 375, 422
Злинченко Кирилл Павлович (1870–1947) 576

И

Идельсон Розалия Христофоровна (1848–1915) 191, 193, 196
Иванов Александр Андреевич (1806–1858) 405, 406

Иванов Вячеслав Иванович (1866–1949) 148, 240, 315, 441, 577, 623

Иванов Николай Кузьмич (1810–1880) 460

Ильин Иван Александрович (1883–1954) 160, 242, 243

Ильина Екатерина Александровна (?–1933) 318, 320, 326

Иоффе Адольф Абрамович (1883–1927) 297

К

Калам (Calame) Александр (1810–1863) 44, 45

Кальвин (Calvin) (1509–1564) 15, 40, 142, 143

Каляев Иван Платонович (1877–1905) 128, 129

Каменев (Розенфельд) Лев Борисович (1883–1936) 120, 282

Каменская Анна Алексеевна (1867–1952) 160, 161

Камков (Кац) Борис Давидович (1885–1938) 130, 287

Камо (Тер-Петросян) Симон Аршакович (1882–1922)
120, 122

Камуцци Агостино (Agostino Camuzzi) (1808–1870) 516

Кандинский Василий Васильевич (1866–1944) 509, 516, 598, 599

Каподистрия Иоаннис (1776–1831) 263, 264

Каракозов Дмитрий Владимирович (1840–1866) 197

Карамзин Николай Михайлович (1766–1826) 8, 14, 16, 17, 20,
29, 41, 141–143, 157, 158, 174–176, 248, 259, 260, 307, 308,
311, 313, 318, 340–343, 401, 414–418, 470, 471, 474, 475, 525,
526, 531, 551, 558, 597, 601, 609

Карамзина-Мещерская Екатерина Николаевна (1805–1867) 559

Карамзина Елизавета Николаевна (1821–1891) 559

Карпинский Вячеслав Алексеевич (1880–1965) 96, 118,
121, 122, 239

Кескула Александр Эдуард (1882–1963) 288, 289

Киселева Татьяна (1881–1970) 320

Клее (Klee) Пауль (1879–1940) 509, 599–601

Клеменц Дмитрий Александрович (1848–1914) 97

Клячко Семен Моисеевич (1867–?) 25, 273, 533, 535

Ковалевская Софья Васильевна (Корвин-Круковская)
(1850–1891) 88–90, 94, 195

Ковалевский Владимир Онуфриевич (1842–1883) 89, 186

Ковалевский Максим Максимович (1851–1916) 88

Коллер (Koller) Рудольф (1828–1905) 185, 186

Коллонтай Александра Михайловна (Домонтович)
(1872–1952) 120, 214, 439

Кондратьев Вадим (1903–1939) 544, 545

Коноплянникова Зинаида Васильевна (1879–1906) 134
Конради Мориц (1896–1947) 541, 542
Константин Павлович (1779–1831) 264, 265, 352, 361, 431, 518
Корвин-Круковская Анна Васильевна (Жаклар) (1847–1887) 89, 90
Костомаров Николай Иванович (1817–1885) 370, 432
Кочеткова Лидия Петровна (1872–1924) 125, 210, 215, 216, 505
Кошелев Александр Иванович (1806–1883) 41, 370, 374
Кравчинский Сергей Михайлович (Степняк) (1851–1895) 96–98
Красиков Петр Ананьевич (1870–1939) 115, 120
Красин Леонид Борисович (1870–1926) 120
Краснов-Левитин Анатолий Эммануилович (1915–1991) 393, 395
Кржижановский Глеб Максимилианович (1872–1959) 120
Кропоткин Петр Алексеевич (1842–1921) 85, 90–92, 95, 101, 192, 193, 211, 224, 272, 407, 477–480, 506, 562, 563
Кропоткина (Рабинович) Софья Григорьевна (1856–1941) 92
Крупская Елизавета Васильевна (1843–1915) 284
Крупская Надежда Константиновна (1869–1939) 28, 115, 117, 119, 120, 122, 195, 230–232, 250, 283–285, 291, 375, 570
Крупский Станислав (Stanislaus Krupski) (1839–1904) 203
Крыленко Николай Васильевич (1885–1938) 285, 567
Кудашева Мария Павловна (Кювилье) (1895–1986) 590, 591
Куклин Георгий (1877–1907) 119, 121, 122
Кулябко-Корецкий Николай Григорьевич (1846–1931) 189–191, 196–199, 201, 202, 206–208, 212, 251, 371
Кускова Екатерина Дмитриевна (1869–1958) 104, 162, 271, 563, 564
Кустодиев Борис Михайлович (1878–1927) 450
Кшесинская Матильда Феликсовна (1872–1971) 232, 436

Л

Лавров Петр Лаврович (1823–1900) 191, 195, 196, 199–201, 209, 217, 407
Лаврова Софья Николаевна (1840–1916) 192, 193
Лагарп (La Harpe) Фредерик Сезар де (1754–1838) 476, 528, 529
Лазарев Егор Егорович (1855–1937) 280, 563, 564
Ларин Юрий (Лурье Михаил Залманович) (1882–1932) 124
Ларионов Михаил Федорович (1881–1964) 150, 539
Лафатер (Lavater) Иоганн Каспар (1741–1801) 171–177
Левицкий (Цедербаум) Владимир Осипович (1883–1938) 123, 124
Лейкин Николай Александрович (1841–1906) 467
Ленин (Ульянов) Владимир Ильич (1870–1924) 27, 28, 30, 31, 39, 97, 105, 106, 110–112, 114, 115, 117, 119, 121–124, 127, 140, 141,

146, 195, 217, 226–235, 245, 247, 250, 251, 283–291, 313, 314,
345, 375, 422, 439, 451, 482, 536, 566–568, 570
Леонтьева Татьяна (1883–1922) 409–413
Лепешинская Ольга Борисовна (1871–1963) 119, 120, 532
Лепешинский Пантелеймон Николаевич (1868–1944) 119, 120
Лисицкий Лазарь Маркович (Эль Лисицкий) (1890–1941) 510
Лигский Константин Андреевич (?–?) 322, 329
Лист (Liszt) Ференц (1811–1886) 173
Литвинов Максим Максимович (1876–1951) 14, 115, 218,
299, 541, 542
Литвинова Елизавета Федоровна (1850–1919) 90, 195
Лифарь Сергей Михайлович (1905–1986) 579
Ловцкая Фаня Исааковна (1873–1965) 160, 276, 606
Ловцкий Герман Леопольдович (1871–1957) 422, 606
Лопатин Герман Александрович (1845–1918) 81
Лосский Николай Онуфриевич (1870–1965) 160, 165, 225,
275, 276, 331, 438, 557
Луначарский Анатолий Васильевич (1875–1933) 104, 110,
119–121, 213, 223, 234, 439, 542, 543, 566, 571
Лундберг Евгений Германович (1887–1965) 606
Любатович Вера Спиридоновна (1855–1907) 192, 200, 209,
210, 272
Любатович Ольга Спиридоновна (1854–1917) 192, 200, 209, 272
Лядов Мартын Николаевич (1872–1947) 99
Ляхоцкий Антип (Кузьма) (?–1918) 95, 96

М

Майков Аполлон Николаевич (1821–1897) 39, 48, 49, 50–52,
54–56, 71, 143, 555, 556, 616
Маклаков Василий Алексеевич (1870–1957) 294, 300, 378
Максимов Владимир Емельянович (1932–1995) 30, 246, 585
Мандельштам Осип Эмильевич (1891–1938) 403, 404, 577,
578, 628
Маркевич Игорь Борисович (1912–1983) 455, 579
Маркс (Marx) Карл (1818–1883) 57, 63, 87, 88, 90, 99, 133,
194, 216, 493–495, 498
Мария Николаевна (1819–1876) 43, 353
Мария Федоровна (1759–1828) 172, 292
Мартов Юлий Осипович (Цедербаум) (1873–1923) 105, 110,
114, 123, 124, 226, 287, 290, 422
Мартынов (Пиккер) Александр Самойлович (1865–1935) 124

Матюшенко Афанасий Николаевич (1879–1907) 132, 133
 Медем Владимир (1879–1923) 277, 402
 Мейснер Иван Иванович (1864–?) 220
 Менделеев Дмитрий Иванович (1834–1907) 371, 406
 Менжинский Вячеслав Рудольфович (1874–1934) 229
 Мережковский Дмитрий Сергеевич (1865–1941) 620
 Меркуров Сергей Дмитриевич (1881–1952) 226
 Метнер Эмилий Карлович (1872–1936) 154, 161, 239, 240, 327, 378, 441, 442
 Мечников Илья Ильич (1845–1916) 74
 Мечников Лев Ильич (1838–1888) 74, 81
 Мещерский Арсений Иванович (1834–1903) 44
 Милорадович Михаил Андреевич (1771–1825) 352, 362
 Милюков Павел Николаевич (1859–1943) 566
 Милютин Дмитрий Алексеевич (1816–1912) 179
 Мозер Анри (Henry Moser) (1844–1923) 344
 Мозер Генрих (Heinrich Moser) (1805–1874) 344
 Мозер Ментона (Mentona Moser) (1874–1971) 344
 Монаков Константин (1853–1930) 222, 223
 Морозов Николай Александрович (1855–1946) 97
 Морозова Маргарита Кирилловна (Мамонтова) (1873–1958) 153, 154, 403, 537, 604
 Моцарт (Mozart) Вольфганг Амадей (1756–1791) 173
 Музиль Николай Игнатьевич (1880–1934) 138, 139
 Мюнценберг Вильгельм (Münzenberg) (1889–1940) 227, 228, 234, 285
 Мясин Леонид Федорович (1895–1979) 150, 539
 Мятлев Иван Петрович (1796–1844) 142, 262, 401, 559, 609

Н

Набоков Владимир Владимирович (1899–1977) 29, 30, 369, 422, 423, 442, 443, 451, 453–455, 458, 459, 461, 545, 546, 558, 579–587, 630
 Набокова Вера Евсеевна (1902–1991) 582, 587
 Набокова Прасковья-Александрия (Толстая) (1837–1909) 587
 Надсон Семен Яковлевич (1862–1887) 284, 423, 589
 Назимова Алла Яковлевна (1879–1945) 575
 Натансон Марк Андреевич (1850–1919) 130, 287, 290
 Некрасов Виктор Платонович (1911–1987) 28, 162, 563, 585
 Некрасов Николай Алексеевич (1821–1878) 406
 Нечаев Сергей Геннадиевич (1847–1882) 11, 29, 74–77, 80–85, 94, 98, 190, 204–208, 493–495
 Нижинская Ромола (1891–1978) 239, 440, 598

Нижинский Вацлав Фомич (1890–1950) 166, 239, 422, 440,
441, 516, 580, 598
Николай I (1796–1855) 20, 43, 57, 64, 553, 556
Николай II (1868–1918) 134, 292, 553
Нобс (Nobs) Эрнст (1886–1957) 27, 229
Новомирский (Кирилловский Янкель Ицков) (1882–1936)
138, 140
Нордман-Северова Наталья Борисовна (1862–1914) 506, 507
Носков Владимир Александрович (1878–1913) 250

О

Огарев Николай Платонович (1813–1877) 51, 52, 58–62,
64–68, 70, 75–77, 79–83, 145, 149, 184, 271, 365, 388, 492, 493,
495, 514, 602, 603
Одоевский Александр Иванович (1802–1839) 614
Озеров Александр Петрович (1817–1900) 81
Ольминский Михаил Степанович (Александров)
(1863–1933) 120, 570
Орлов Григорий Григорьевич (1734–1783) 527
Орлова Варвара Петровна (Шувалова) (1850–1872) 557
Орлова Екатерина Николаевна (Зиновьева) (1758–1781) 526, 527
Осипов Николай (1877–1934) 314
Остерман-Толстой Александр Иванович (1770–1857) 42, 43
Остроумова-Лебедева Анна Петровна (1871–1954) 516

П

Павел I (1754–1801) 172, 173, 175, 177, 179, 259, 307, 308, 346,
401, 413, 432, 470, 471, 525, 529, 558
Павлова Каролина (Яниш) (1807–1893) 405, 618
Панина Софья Владимировна (1871–1957) 160
Пантелеева Серафима Васильевна (Латкина) (1846–1918)
106, 201
Парвус Александр Лазаревич (Израиль Гельфанд)
(1869–1924) 289, 290, 313, 314
Пастернак Борис Леонидович (1890–1960)
302, 357, 470, 578, 626
Песталоцци (Pestalozzi) Иоганн (1746–1827) 309
Петровский Алексей Сергеевич (1881–1958) 319
Петрункевич Иван Ильич (1844–1928) 345
Печерин Владимир Сергеевич (1807–1885) 180, 181, 513
Писарев Дмитрий Иванович (1840–1868) 52
Питоев Жорж (Георгий Иванович) (1884–1939) 155, 156, 540

Питоева Людмила Яковлевна (1895–1951) 155, 156, 540
Платтен (Platten) Фриц (1883–1942) 27, 216, 227, 228, 233, 291,
299, 344, 345
Плеханов Георгий Валентинович (1856–1918) 26, 98–105, 110, 114,
122–124, 150, 151, 216, 217, 226, 234, 275, 282, 403, 439, 451, 533, 536,
563, 566, 567, 607
Полонский Яков Петрович (1819–1898) 44, 616
Поляков Сергей Александрович (1874–1843) 148
Поплавский Борис Юлианович (1903–1935) 575
Порецкий Игнатий Станиславович (Игнац Рейсс) (1899–1937)
160, 454, 543–545
Поссе Владимир Александрович (1864–1940) 275
Потресов Александр Николаевич (1869–1934) 124, 451
Поццо Александр Михайлович (1882–1941) 318, 319, 329
Поццо Мария Александровна (1911–1990) 319
Прокопович Сергей Николаевич (1871–1955) 158, 162, 217, 277
Пуцин Михаил Иванович (1800–1869) 559, 560
Пятаков Георгий Леонидович (1890–1937) 285

Р

Равель (Ravel) Морис (1875–1937) 572
Равич Сарра Наумовна (1879–1957) 121–123, 293
Радек Карл Бернгардович (1885–1939) 226–228, 230, 284, 285, 287,
288, 291, 439
Радомысльская З. (Лилина З.И.) (1885–1939) 285
Разумовский Григорий Кириллович (1759–1837) 525
Раковский Христиан Георгиевич (1873–1941) 287
Ралли-Арбор Земфирий Константинович (1846–1933) 94, 191, 197
198, 204, 205, 207
Рамю (Ramuz) Шарль Фердинанд (1878–1947) 539, 597
Рахманинов Сергей Васильевич (1873–1943) 160, 240, 242, 356,
364, 375–381, 439, 579
Рахманинова Наталья Александровна (Сатина) (1877–1951)
376–381, 393, 439, 571
Рачковский Петр Иванович (1853–1911) 135
Рейтерн Евграф Романович (1794–1865) 551
Рейхель Мария Каспаровна (1823–1916) 80, 272, 387, 513
Ремизов Алексей Михайлович (1877–1957) 122, 605, 606
Репин Илья Ефимович (1844–1930) 506, 508
Риземан Оскар (1888–1934) 375
Рильке (Rilke) Райнер Мария (1875–1926) 214, 215, 578, 579

Римский-Корсаков Александр Михайлович (1753–1840) 150,
177–180, 337, 351, 360, 361
Рихтер Святослав Теофилович (1915–1998) 393
Родичев Федор Измайлович (1854–1933) 543
Розанов Василий Васильевич (1856–1919) 15, 47, 142, 143,
159, 452, 506
Розенталь Татьяна (1884–1921) 239
Роллан (Rolland) Ромен (1866–1944) 543, 590, 591
Ростропович Мстислав Леопольдович (р. 1927 г.) 246, 393
Рубакин Александр Николаевич (1889–1979) 109, 152, 542,
565–568
Рубакин Николай Александрович (1862–1946) 109, 290, 542,
543, 565–568, 590
Руднев Вадим Викторович (1874–1940) 130, 321, 366, 368, 369, 542
Руссо (Rousseau) Жан Жак (1712–1778) 141, 194, 476
Рыков Алексей Иванович (1881–1938) 120
Рылеев Кондратий Федорович (1795–1826) 309
Рысс Семен Яковлевич (Соломон Янкелевич) (1876–1908) 276
Рюмин Гавриил (1841–1871) 530, 531
Рязанов (Гольдендах) Давид Борисович (1870–1938) 287

С

Савинков Борис Викторович (1879–1925) 25, 126–132, 136,
223, 409–411, 439, 480, 481
Саврасов Александр Кондратиевич (1830–1897) 405
Сажин Михаил Петрович (Арман Росс) (1845–1934) 86, 93,
190, 191, 195, 196, 198, 202–205, 212, 492, 496, 501, 502
Сакен фон-дер-Остен Фабиан Вильгельмович (1752–1837) 180
Салтыков-Щедрин Михаил Евграфович (1826–1889) 15, 387,
407, 408
Сандомирский Герман Борисович (1882–1938) 104, 110, 146,
147, 212, 213, 355
Сатина Софья Александровна (1879–1975) 376–381
Свербеев Дмитрий Николаевич (1799–1876) 17, 263, 265,
266, 529
Северин Дмитрий Петрович (1792–1865) 261, 266
Северянин Игорь (Лотарев Игорь Васильевич) (1887–1941) 628
Семашко Николай Александрович (1874–1949) 24, 109, 122, 123
Серно-Соловьевич Александр Александрович (1838–1869)
59–64, 141, 186, 554
Серно-Соловьевич Николай Александрович (1834–1866) 60, 63

Сеченов Иван Михайлович (1829–1905) 187, 371, 406
 Сиверс Мария фон (1867–1948) 296, 298, 326, 404
 Сизов Михаил Иванович (1884–1956) 113, 319, 329, 578
 Скиталец (Петров) Степан Гаврилович (1869–1941) 607–609
 Скрыбин Александр Николаевич (1871–1915) 13, 151, 153, 154, 165, 251, 366, 391, 403, 536, 537, 604
 Слетов Степан Николаевич (1876–1915) 128
 Случевский Константин Константинович (1837–1904) 619
 Смецкая Надежда Николаевна (1850–1905) 211
 Смирнов Валерьян Николаевич (1850–1900) 191, 193, 196–198, 205
 Созонов (Сазонов) Егор Сергеевич (1879–1910) 129, 280, 281, 605
 Соколов Николай Васильевич (1832–1889) 197, 198, 496–498
 Сокольников (Бриллиант) Григорий Яковлевич (1888–1939) 120
 Солженицын Александр Исаевич (р. 1918 г.) 14, 29, 30, 120, 227, 244–247, 251, 584, 585, 590
 Соловьев Владимир Сергеевич (1853–1900) 314, 395, 537
 Станкевич Николай Владимирович (1813–1840) 261, 311, 402, 414, 449, 450
 Степняк-Кравчинский *см.* Кравчинский
 Стравинский Игорь Федорович (1882–1971) 150, 156, 160, 451, 454, 475, 516, 519, 538, 539, 571, 572, 580, 597, 598
 Страхов Николай Николаевич (1828–1896) 47
 Строганов Александр Сергеевич (1733–1811) 40
 Строганов Григорий Александрович (1770–1857) 40
 Суворов Александр Васильевич (1730–1800) 177, 179, 180, 346, 351–356, 358–363, 408, 429–432, 490, 518, 519
 Суриков Василий Иванович (1848–1916) 282, 408, 430
 Сулова Аполлинария Прокофьевна (1840–1918) 47, 48, 145, 187
 Сулова Надежда Прокофьевна (1843–1918) 20, 47, 48, 187, 188, 202

Т

Тавернье Жан-Баптист (Jean-Baptiste Tavernier) (1605–1689) 601
 Тиссе Эдуард (1897–1962) 240, 482
 Тихомиров Лев Александрович (1852–1923) 23, 164, 525
 Ткачев Петр Никитич (1844–1885) 94, 200, 204, 273, 274, 499
 Толстая Александра Андреевна (1817–1904) 43–45, 389, 561
 Толстой Лев Николаевич (1828–1910) 14, 19, 33, 43–45, 153, 156, 164, 183, 185, 268, 284, 343, 370, 382, 389–391, 405, 417, 418, 423, 434, 454, 455, 473, 474, 504, 529, 559–561, 564, 573
 Тормасов Николай Алексеевич (1761–1812) 180

Трапезников Трифон Григорьевич (1882–1926) 319, 329
Трезини (Trezzini) Доменико (1670–1734) 516
Троцкий (Бронштейн) Лев Давидович (1879–1940) 27, 120,
124, 140, 217, 226, 228, 236, 238, 239, 285, 288, 293, 294, 313,
319, 541
Трусов Антон Данилович (1835–1886) 93
Тумаркина Анна (1875–1951) 276
Тургенев Александр Иванович (1784–1845) 15, 260, 261, 263,
351, 352, 365, 374, 375, 387, 471, 484, 4893 490, 491
Тургенев Иван Сергеевич (1818–1883) 16, 262, 271, 356, 357
Тургенев Николай Иванович (1789–1871) 41, 42, 158
Тургенева Анна Алексеева (Ася) (1890–1966) 223, 283, 314–
320, 326–328, 330, 331, 369, 393, 539
Тургенева-Поццо Наталья Алексеевна (1888–1942) 318–320, 328
Турский Михаил (1847–1926) 94, 204, 205, 207
Тучкова-Огарева Наталья Алексеевна (1829–1913) 61–69, 74,
75, 77–8, 83, 84, 603
Тютчев Федор Иванович (1803–1873) 14, 45, 46, 164, 182,
266, 310, 370, 402, 405, 421, 469, 530, 553, 618
Тютчева Эрнестина (Дернберг, фон Пфесфель) (1810–1894)
45, 182, 266, 310, 370, 469, 530
Тютчева Дарья Федоровна (1834–1903) 46, 402, 405, 421, 469, 553
Тютчева Мария Федоровна (1840–1872) 45, 47, 530

У

Ульянов Александр Ильич (1866–1887) 248
Ульянов (Ленин) Владимир Ильич *см.* Ленин
Ульянов Николай Алексеевич (1881–1977) 517, 535, 536
Устинов Алексей Михайлович (1879–1937) 292
Утин Николай Исакович (1841–1883) 56–59, 64, 85–88, 91,
554, 561, 562

Ф

Федин Константин Александрович (1892–1977) 442, 591
Федорченко Леонид Семенович (Н. Чаров) (1874–1929) 95,
104, 114, 152
Фигнер Вера Николаевна (1852–1942) 22, 96, 97, 128, 190–
195, 199, 200, 204, 205, 210, 272–274, 278, 279, 284, 477, 566
Фиораванти (Fiogavanti) Аристотель (1415–1486) 490
Фокин Михаил Михайлович (1880–1942) 378
Фондаминский Илья Исидорович (1880–1942) 130, 366–368
Форш Ольга Дмитриевна (1873–1961) 321

Фотиева Лидия Александровна (1881–1975) 119, 120

Франк Семен Людвигович (1877–1950) 15, 344, 345

Фрейд (Freud) Зигмунд (1856–1939) 237, 238, 314

Х

Харитонов Моисей (1887–1948) 30, 289

Хееб (Нееб) Фриц (1912–1994) 244

Хилков Дмитрий Александрович (1854–1914) 133, 134

Ходасевич Владислав Фелицианович (1886–1939) 16, 391, 575

Ходлер (Hodler) Фердинанд (1853–1918) 600

Хомяков Алексей Степанович (1804–1860) 491, 613

Ц

Цвейг (Zweig) Стефан (1881–1942) 236

Цветаева Анастасия Ивановна (1894–1993) 452, 511, 520,
531, 532, 625

Цветаева Марина Ивановна (1892–1941) 14, 160, 331, 531, 532,
544, 625

Цедербаум Сергей Осипович (1879–1939) 123, 124

Цеткин (Zetkin) Клара (1857–1933) 285

Ч

Чаадаев Петр Яковлевич (1794–1856) 17, 263, 265, 266

Чайковский Николай Васильевич (1850–1926) 272, 273, 481

Чайковский Петр Ильич (1840–1893) 150, 343, 366, 371, 391, 406,
433, 454, 557, 562

Черкесов Александр Александрович (1839–1908) 61, 186

Чернов Виктор Михайлович (1873–1952) 106, 114, 125–128, 130,
134, 219–221, 226, 277–280, 287, 366, 367, 439, 536

Черносвитова Евгения Александровна (1903–1974) 578, 579

Чернышевский Николай Гаврилович (1828–1889) 56, 60, 97, 187, 284

Чертков Владимир Григорьевич (1854–1936) 153

Чехов Антон Павлович (1860–1904) 156

Чуковский Корней Иванович (1882–1969) 506, 507

Чулков Георгий Иванович (1879–1939) 459

Ш

Шагал Марк Захарович (1887–1985) 15, 243

Шаляпин Федор Иванович (1873–1938) 160, 240, 356, 580

Шевырев Степан Петрович (1806–1864) 41

Шелгунов Николай Васильевич (1824–1891) 57, 187

Шелгунова Людмила Петровна (1832–1901) 61, 62, 64, 187

Шестов Лев (Лев Исаакович Шварцман) (1866–1938) 159, 276,
403, 421, 422, 538, 606, 607

Шиллер (Schiller) Фридрих (1759–1805) 375
Шишкин Иван Иванович (1832–1889) 44, 185, 186, 405
Шишко Леонид Эмануилович (1852–1910) 125, 130, 280
Шкловский Георгий Львович (1875–1937) 283, 293, 294
Шлецер Татьяна Федоровна (1883–1922) 153, 154, 403
Шмелев Иван Сергеевич (1875–1950) 160
Шпильрейн Сабина Нафтуловна (1885–1941) 237–239
Шпиттелер (Spitteler) Карл (1845–1924) 571
Штейгер Анатолий Сергеевич (1907–1944) 160, 301, 404, 451, 629
Штейнер (Steiner) Рудольф (1861–1925) 15, 161, 314–321, 325–327, 330, 331, 404, 511, 539, 578
Штерн Лина Соломоновна (1878–1968) 107
Штюрлер Николай Людвиг фон (1786–1825) 401
Шувалов Петр Павлович (1819–1900) 556
Шедрин Сильвестр Феодосиевич (1791–1830) 14, 339

Э

Эйзенштейн Сергей Михайлович (1898–1948) 240, 241, 393, 482, 483
Эйнштейн (Einstein) Альберт (1879–1955) 236
Эллис-Кобылинский Лев Львович (1874–1947) 327, 510–512
Элпидин Михаил Константинович (1835–1908) 81, 93, 96, 561
Эльсниц Александр Людвигович (1849–1907) 94, 191, 195, 205, 207
Энгельгардт Василий Павлович (1828–1915) 351
Энгельс (Engels) Фридрих (1820–1895) 99, 498
Эрисман Федор Федорович (Фридрих) (1842–1915) 187
Эфрон Сергей Яковлевич (1894–1939) 544, 545
Эшер (Escher) Альфред (1819–1882) 184
Эшер (Escher) Ганс Конрад (1767–1823) 180

Ю

Южакова Елизавета Николаевна (1852–1883) 211
Юнг (Jung) Карл Густав (1875–1961) 161, 237–239, 314, 442
Юрьевская Зинаида (1896–1925) 356

Я

Явленский Алексей Георгиевич (1864–1941) 235, 236, 507–509, 592, 598–601

Литературно-художественное издание

Шишкин Михаил Павлович
Русская
Швейцария

Выпускающий редактор
Е.Д.Шубина

Младший редактор
А.С.Прохорова

Художественный редактор
Т.Н.Костерина

Технолог
С.С.Басипова

Оператор компьютерной верстки переплета
В.М.Драновский

Оператор компьютерной верстки
Е.В.Абрамова

Корректоры
Т.П.Поленова, Н.В.Семенова

Подписано в печать 15.10.2006
Формат 70x100/16
Тираж 10 000 экз.
Заказ № 5728

ЗАО «Вагриус»
107150, Москва, ул. Ивантеевская, д.4, корп.1
E-mail: vagrius@vagrius.com

Отпечатано в ОАО «ИПК
«Ульяновский Дом печати»
432980, г. Ульяновск, ул. Гончарова, д. 14



Михаил Шишкин – автор романов, которые сразу становятся литературным событием: «Взятие Измаила» удостоен в 2000 году Букеровской премии, «Венерин волос» завоевал премию «Национальный бестселлер».

Все его сочинения опровергают привычное мнение, что интеллектуальная проза – достояние узкого круга читателей.



Михаил Шишкин

Писатель живет в Швейцарии, и свою новую книгу, названную им «литературно-исторический путеводитель», посвятил русско-швейцарским связям, ведь «на берегах альпийских озер тесно от русских теней, и одна шестая часть суши и поднебесный пятачок соединены невидимой натянутой жилой».

Со Швейцарией связаны биографии русских писателей, композиторов, художников, политиков.

Сюжеты многих великих произведений неотделимы от «швейцарского контекста», и автор напомнит нам и о «крике базельского осла», что будил по утрам князя Мышкина, и о швейцарском гражданстве Ставрогина, и о поэтических описаниях альпийских вершин, вышедших из-под пера Ф. Тютчева, И. Тургенева, И. Бунина, Б. Пастернака...

- Кандинский Василий Васильевич
- Карамзин Николай Михайлович
- Ленин Владимир Ильич
- Лифарь Сергей Михайлович
- Мандельштам Осип Эмильевич
- Мятлев Иван Петрович
- Набоков Владимир Владимирович
- Некрасов Виктор Платонович
- Нижинский Вацлав Фомич
- Огарев Николай Платонович
- Одоевский Александр Иванович
- Павел I Пастернак Борис Леонидович
- Рахманинов Сергей Васильевич
- Репин Илья Ефимович
- Солженицын Александр Исаевич
- Суворов Александр Васильевич
- Толстой Лев Николаевич
- Тургенев Иван Сергеевич
- Тютчев Федор Иванович
- Утин Николай Исаакович
- Фигнер Вера Николаевна
- Хомяков Алексей Степанович
- Цветаева Марина Ивановна
- Чаадаев Петр Яковлевич
- Чайковский Петр Ильич
- Шагал Марк Захарович
- Шаляпин Федор Иванович
- Эйзенштейн Сергей Михайлович
- Эфрон Сергей Яковлевич
- Южакова Елизавета Николаевна
- Явленский Алексей Георгиевич

ВАГРИУС